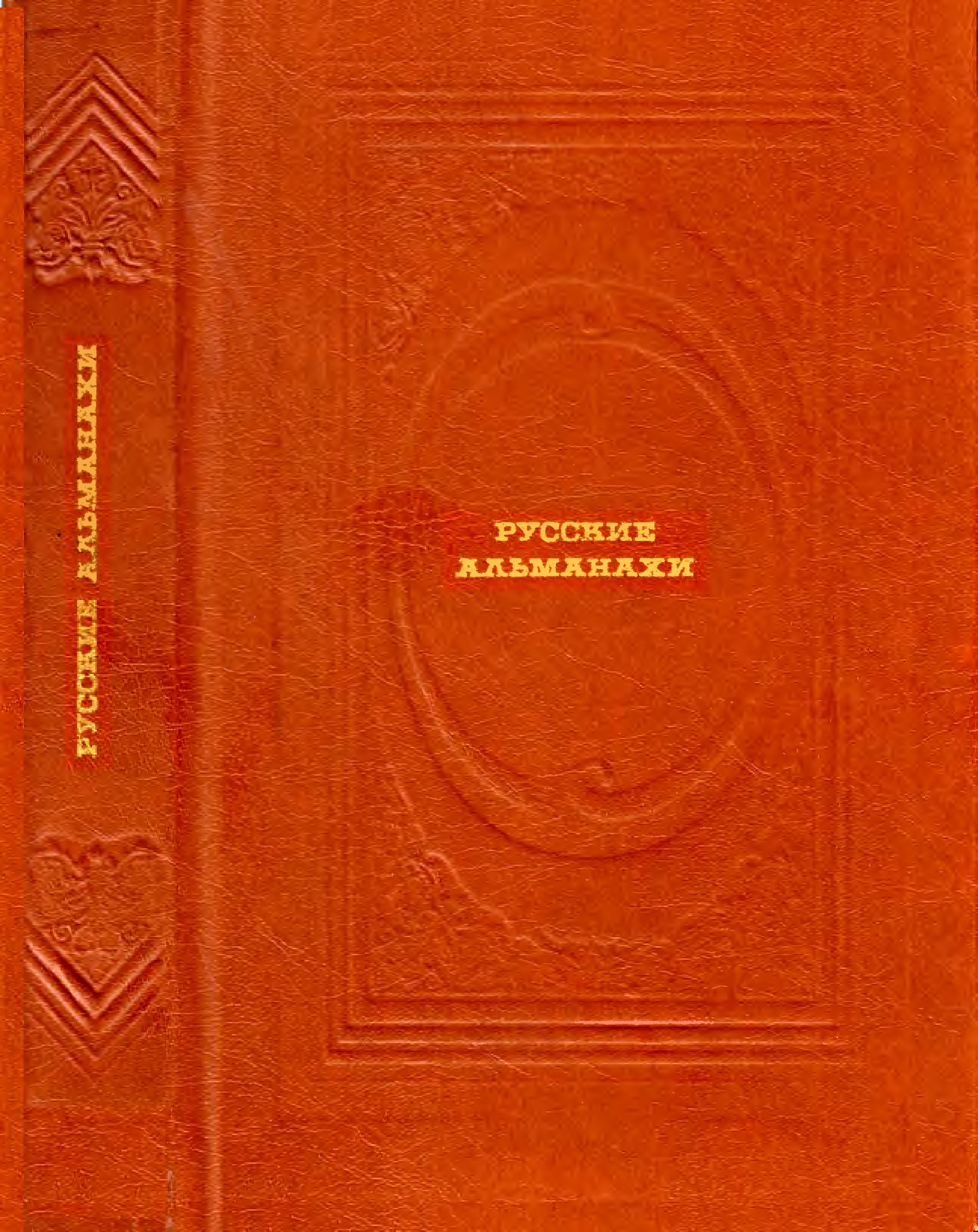
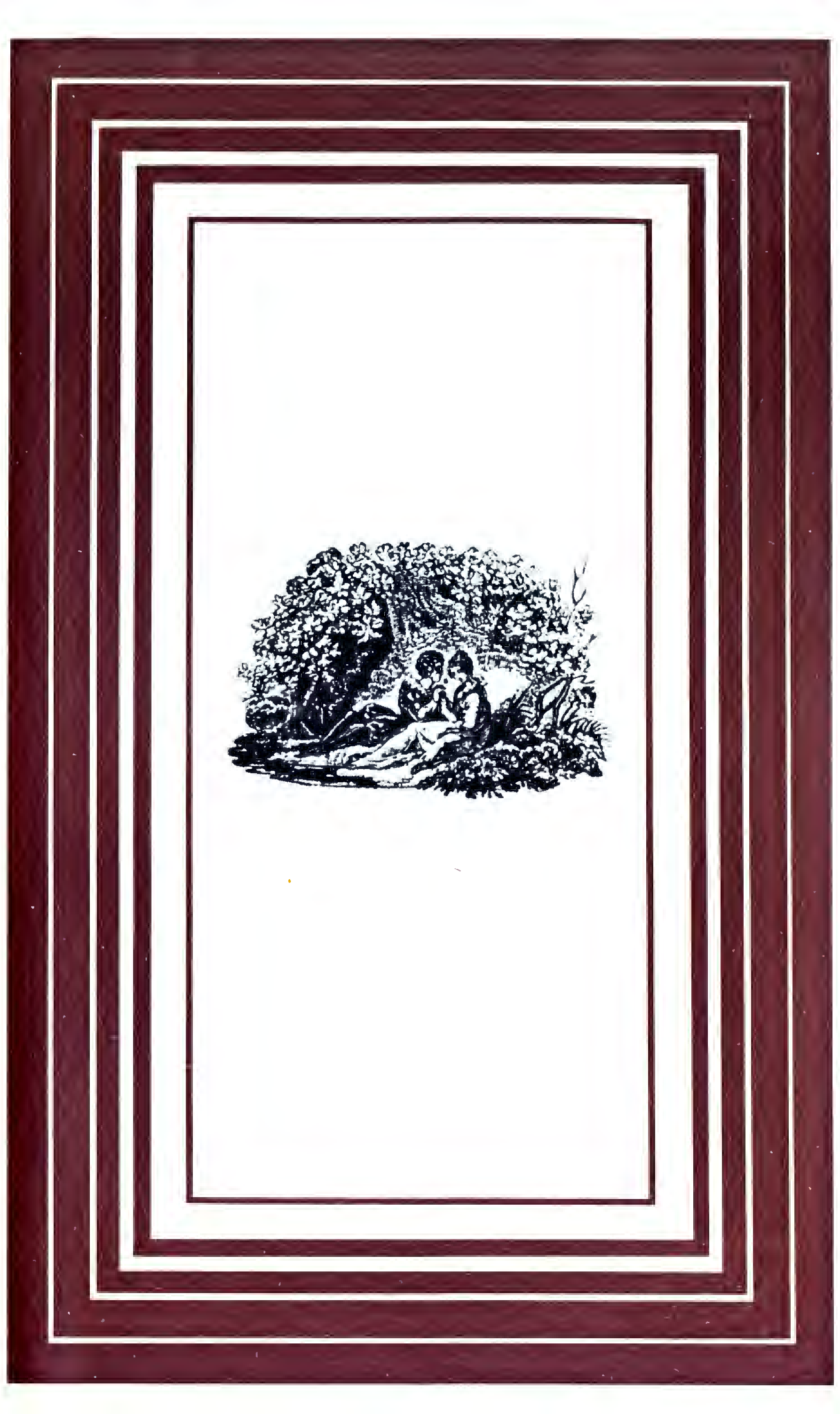
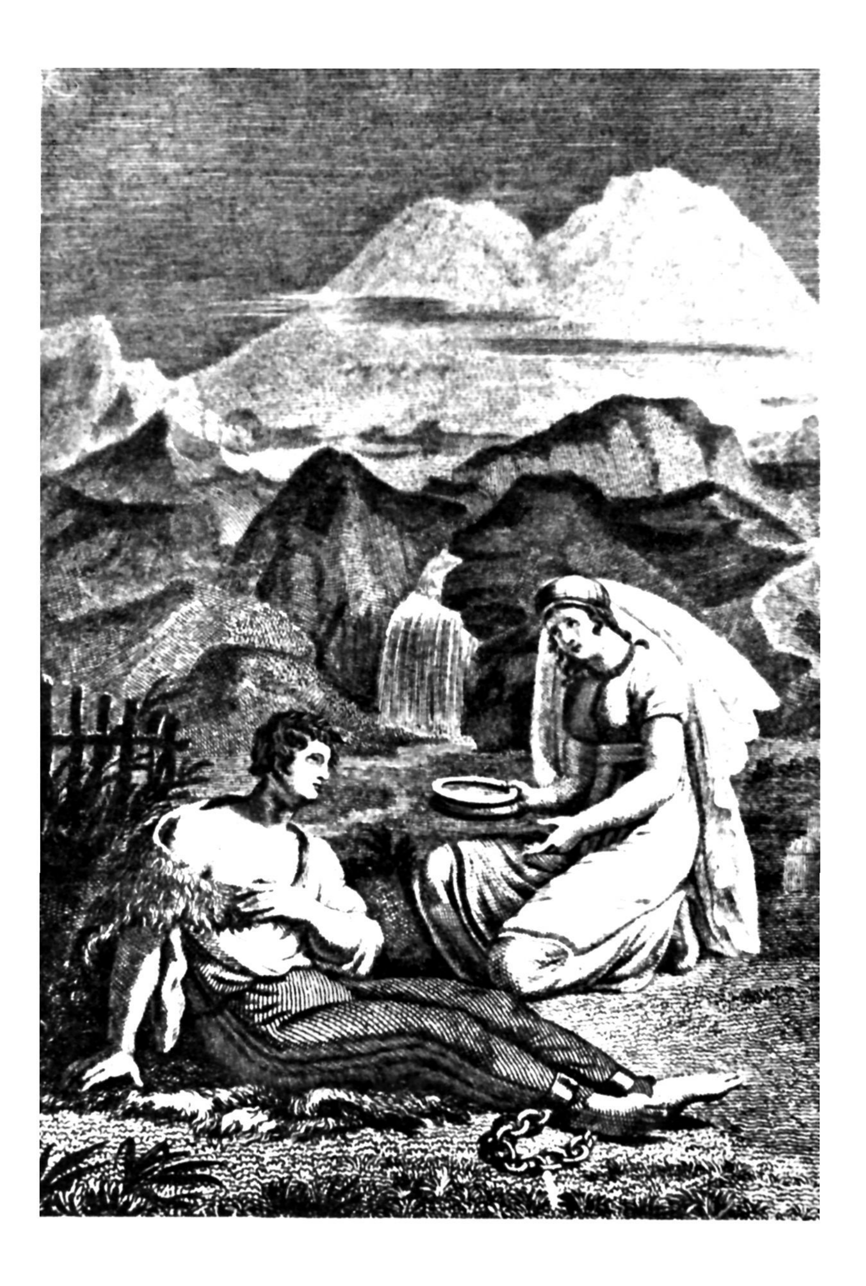

РУССКИЕ АЛЬМАНАХИ
РУССКИЕ
АЛЬМАНАХИ



КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННИКА
РУССКИЕ АЛЬМАНАХИ



КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «СОВРЕМЕННИКА»

РУССКИЕ АЛЬМАНАХИ

СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ

МОСКВА «СОВРЕМЕННИК» 1989

ББК 84Р1
Р89

Составитель, автор вступительной статьи и примечаний В. И. КОРОВИН

Рецензент *В. И. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ*

Русские альманахи: Страницы прозы/Сост.,
Р89 автор вступ. статьи и примеч. В. И. Коровин.— М.: Современник, 1989.— 558 с.—(Классическая б-ка «Современника»).

Первую треть XIX века великий русский мыслитель и критик Виссарион Григорьевич Белинский назвал «альманашным периодом» в русской литературе. В сборник включены лучшие произведения представителей русского сентиментализма и романтизма, публиковавшиеся в начале девятнадцатого столетия в альманахах — от «Аонид» Карамзина до «Северных цветов» Дельвига и Пушкина и «Полярной звезды», издававшейся декабристами.

Р $\frac{4702010100—086}{М\ 106(03)—89}$ 10—88 ББК84Р1

ISBN 5—270—00107—1

© Составление, вступительная статья и примечания
Издательство «Современник», 1989

«ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАШЕЙ СЛОВЕСНОСТИ»

«Назад тому ровно *двадцать* лет была сильная мода на альманахи»[1] — писал Белинский в рецензии на литературный сборник «Вчера и сегодня», изданный в 1845 году. В то время, когда были сказаны эти слова, альманахи уже вытеснялись журналами. Но альманахи не исчезли совсем с литературной сцены — они лишь отошли с ее освещенной части в тень и, перестав играть роли главных героев, смирились со своей неяркой жизнью скромных статистов. Так и дожили они до наших дней.

А была пора в русской литературе, когда альманахи светились всеми цветами радуги, блистали своими виньетками, гравюрами, чаровали глаза поклонниц и поклонников словесности, привлекали сердца необычными, всегда поэтично звучащими, завораживающими названиями. Расцвет альманахов приходился на 1820-е и самое начало 1830-х годов. Тогда, по словам Белинского, наступил «альманачный период, продолжавшийся с лишком десять лет»[2] и «русская литература была по преимуществу альманачною»[3].

И это неудивительно, потому что успех альманахов на русской почве обусловлен, с одной стороны, проникновением романтических настроений в общественно-бытовые отношения, а с другой — вытеснением их новыми, гораздо более жесткими, даже грубыми, но менее «поэтическими», а потому менее наивными, реальными деловыми и прочими связями. Сложностям и противоречиям конкретной реальности, зависимости писателя от корыстолюбивых издателей, а иногда и бесстыдных шарлатанов, наживавшихся на таланте, одаренные авторы стремились противопоставить дружеские узы, рыцарское бескорыстие, соблюдение денежных прав литератора и утверждение свободы личности и творчества. Альманах — это такой тип издания, в котором напору торгашеского бесчестия литераторы бросили вызов, смыкаясь в кругу либо единомышленников, либо друзей. Альманах нес в себе черты любительства и дилетантизма в литературе и одновременно стремился придать лучшим качествам дилетантизма профессиональный характер. В аль-

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во. АН СССР, 1955. Т. 9. С. 28.

[2] Там же. Т. 4. С. 120.

[3] Там же. Т. 8. С. 214.

манахе совершалось живое преображение дилетанта в профессионала. Здесь формировались этические нормы взаимоотношений авторов с издателями, с книгопродавцами и внутри пестрого и неоднородного состава вкладчиков. Альманах стал своеобразной лабораторией профессионального писательства. Без этой стадии был невозможен переход к журналу — чисто профессиональной форме литературного сотрудничества.

Это значение альманаха нисколько не мешало осуществлению в нем многообразных задач: просветительских, идейных, эстетических, художественных и других. Но все они так или иначе выражают одно насущное требование времени — независимость писателя.

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать —

вот смысл разрыва с прежним романтическим дилетантизмом и усвоение реальностей наступающего «железного» века. Отстоять свободу творчества, свободу писателя, обеспечить защиту его материальных интересов перед лицом торгашеской беззастенчивости и попрания авторских прав — такова роль альманаха в период его расцвета.

Первыми альманахами, которые завершали традицию литературных сборников XVIII века и открывали историю альманахов нового времени, были, несомненно, издания Карамзина «Аониды» и «Аглая». Карамзин ставил перед собой цель европеизировать русское общество, в том числе и по части новых и свежих изданий. В предисловии к альманаху «Аониды» он обращался к читателям: «Почти на всех европейских языках ежегодно издается собрание мелких стихотворений, под именем Календаря Муз (**Almanac des muses**)[1]; мне хотелось видеть и на русском нечто подобное, для любителей поэзии: вот первый опыт под названием «Аониды». Надеюсь, что публике приятно будет найти здесь вместе почти всех наших известных сти-

---

[1] Слово «альманах» (от арабского «аль манах») означает календарь. Европейцы в средние века называли альманахами таблицы с астрономическими и другими сведениями. Эти таблицы содержали календарь дней, недель, месяцев в году, перечень церковных праздников, в них имелись данные о восходе и заходе солнца, повышении и понижении уровня воды. Альманах был настольным справочником городского и сельского жителя. В дальнейшем альманахи «специализировались»: появились отдельно астрономические, метеорологические, медицинские, сельскохозяйственные, почтовые, придворные, коммерческие и прочие. Наконец, впоследствии литературный материал окончательно обособился от всех остальных справок, и альманах превратился в сугубо литературный сборник, не растерявший своего универсального содержания: в нем помещались, помимо художественных произведений, исторические, публицистические, критические, этнографические, географические и другие статьи (см.: Ник. Смирнов-Сокольский. Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX вв. М.: Книга, 1965. С. 7—8). К этому надо добавить и то, что альманах по внешнему виду отличался от обычных книжных изданий: как правило, альманахи выходили небольшими по формату книжечками.

хотворцев; под их щитом являются и некоторые молодые авторы, которых зреющий талант достоин ее внимания. Читатель похвалит хорошее, извинит посредственное,— и мы будем довольны. Я не позволил себе переменить ни одного слова в сообщенных мне пьесах»[1]. «Аониды» были вторым альманахом, издание которого предпринял Карамзин. В нем не было прозы, а печатались только стихотворения близких к Карамзину поэтов. В первом альманахе («Аглая») почти все произведения, за немногими исключениями, принадлежали самому издателю. Кроме стихотворений, Карамзин поместил здесь и художественную прозу, и публицистические произведения, в которых затрагивались очень злободневные темы. Например, в первой книге «Аглаи» опубликованы такие важные для последующего развития литературы и литературного языка статьи, как «Что нужно автору?», «Нечто о науках, искусствах и просвещении», а во втором — знаменитые отклики на события Великой французской революции —«Филалет к Мелодору» и «Мелодор к Филалету», содержащие глубокие раздумья о судьбах Просвещения в России, кризисе просветительства и выходе из него. В целом «Аглая» была альманахом по существу одного автора, тогда как «Аониды» вместили дань дружеского круга, принесенную главе русского сентиментализма.

Заслуга Карамзина заключалась прежде всего в том, что он решительно ввел в альманах серьезное художественное и публицистическое содержание, определив тем самым будущее лучших русских альманахов. Хотя Карамзин и воспользовался типом европейских изданий, он вдохнул в них новую жизнь. Один из фельетонистов писал о французских альманахах: «Хотя и водится, чтобы... ридикюль и работный столик модной щеголихи были наполнены альманахами... но как недолговременно их торжество! Едва роскошные альманахи побудут несколько дней в белых и нежных ручках той, которой поднесли их ее обожатели; едва наступит крещение, как эти блестящие книжечки, отданные детям, переходят из гостиной в передние, где изорванный их переплет, измаранные их листочки забавляют еще несколько времени праздных лакеев»[2]. Альманахи на Западе превратились в игривые однодневки, в изящные, забавные и недолговечные сборники. В России со времен Карамзина к ним относились иначе. Альманах у нас — литературная и даже общественно-политическая программа писателей, объединенных часто принципиальными идейными и эстетическими позициями. Разумеется, речь идет о наиболее значительных изданиях этого рода. Альманахи — при всех неизбежных издержках, понятных при участии множества авторов,— несли в себе большие мысли о современном состоянии общества и литературы, формировали вкус публики и вдумчивого читателя, вводили в круг волновавших писателей идей и образов. Эта просве-

---

[1] «Аониды, или Собрание разных новых стихотворений». М., 1796. Кн. 1. С. 3.

[2] Жуи Г. Антенский пустынник. Пер. С. де Шаклет. Ч. 1. Спб. 1825. С. 305.

тительская и общественно-культурная миссия русских альманахов резко отличает их от европейских собратий. Она настолько очевидна, что на нее тут же указали тогдашние журналы. «В литературах европейских...— писал «Телескоп» в 1832 году,— альманахи составляют роскошь, забаву, игрушку. Наравне с прочими праздничными сюрпризами, они поставляются к новому году, как приятные безделки, не имеющие другой цели, кроме удовольствия. Не то совсем значат или хотят значить наши альманахи. У нас альманах *comme il faut* есть дело немаловажное. Над ним трудятся известные литераторы, компании литераторов и трудятся не на шутку»[1]. «У нас,— еще раньше свидетельствовал «Московский телеграф»,— альманахи не подарки для Нового года, не сбор повестей и не игрушки типографского и гравировального искусства, но важные книги, представители годового трудолюбия почти всех наших поэтов... Не купив русских альманахов, вы не узнаете, что написали русские поэты в протекшем году»[2]. Такой же вывод следовал из рассуждений уже упомянутого «Телескопа»: «Итак, альманах у нас значит более, чем игрушку. Это ежегодная выставка литературы, если можно так выразиться. Посему не наружное изящество исполнения (коим библиография наша вообще похвалиться не может), а внутреннее достоинство содержания составляет главную цель, к коей стремятся издатели наших альманахов»[3]. И далее «Телескоп» утверждал решающую роль альманахов в литературной жизни: «Все богатство, весь сок литературы высасывается ими: не только забытые крохи минувшего собирают они с заботливой попечительностью, даже самая будущность любит обнаруживать себя в них преждевременно, отрывками из неконченных поэм, преднамереваемых романов. Коротко сказать: из наших альманахов можно получить достаточное понятие не только о современном состоянии нашей словесности, но и о будущих ее надеждах!»[4]

Такое глубоко продуманное содержание альманахам, какое впоследствии отмечали литературные журналы, придал именно Карамзин. Однако, по словам Белинского, «пример Карамзина не родил подражания»[5]. Понадобилось немалое время, прежде чем альманахи наконец пробили дорогу в литературе. И не в последнюю очередь начавшееся кружение альманашного вихря зависело от подъема национально-патриотического и освободительного движения. После войны 1812 года, когда передовые дворяне в составе русских войск приобщились к европейской культуре, к европейским нормам общежития, когда в их сознании зародились мысли об освобождении крепостного крестьянства на родине, о конституции и ограничении самодержавного режима, личной независимости каждого человека,

---

[1] Телескоп. 1832. № 2. С. 295.
[2] Московский телеграф. 1829. № 8. С. 478—479.
[3] Телескоп. 1832. № 2. С. 295
[4] Там же. С. 297.
[5] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 120.

о необходимости гражданских свобод, когда, наконец, идеи преобразования России потребовали просвещения дворянства и вовлечения вольнолюбиво настроенных, но колеблющихся сторонников перемен в активную общественную деятельность,— тут-то и настала пора альманахов.

Именно с успеха «Полярной звезды»— альманаха декабристов — начинается подлинно «альманачный период» в истории нашей словесности. Уже само присутствие в альманахе имени того или иного автора расценивалось как весьма важный и совсем не случайный факт. Издатели «Полярной звезды»— А. Бестужев и К. Рылеев — помещали в каждой новой книжке альманахов «Взгляд...» или «Обзор...» русской словесности. Они сосредоточились на трех основных темах, которые насквозь пронизывали ее содержание: свободолюбие, национальная история и энергичная поддержка романтизма вкупе с запальчивой, задорной войной с классицизмом. Все эти темы были для декабристов сопряженными в неразрывном единстве. В пропаганде национальной самобытности, романтического пафоса, гражданского свободолюбия прозе отводилось почетное место. Недаром прозаическая часть, хотя особо и не выделенная, считалась весьма высокой по своему идейно-художественному качеству. Тут заключался и еще один немаловажный оттенок. В поэзии господствовало чувство, стихотворения воздействовали на эмоциональную сферу человека, возбуждая гражданские страсти. Проза придавала разумный, сознательный характер высоким чувствам, превращала их в убеждения. Поэтому истолковать современное состояние литературы, поведать о старинных русских обычаях и нравах означало не только вдохнуть и пробудить «живые чувства», но и вкоренить понятия о национальной гордости, о вольнолюбии как свойстве русского характера. Стойкость, мужество, твердость духа в предстоящих неизбежных испытаниях провозглашались долгом перед отечеством.

А. Бестужев и К. Рылеев сумели привлечь к участию в альманахах весь цвет литературы двадцатых годов. Тут блистало созвездие имен: Пушкин, Жуковский, Баратынский, Вяземский, Дельвиг, Гнедич, Крылов... Поскольку перед восстанием декабристов отчетливого размежевания в общественно-литературной среде еще не произошло, то на страницах альманаха печатались Булгарин, Греч, слывшие завзятыми «либералами».

Успех альманаха превзошел все ожидания. Публика с энтузиазмом откликнулась на издание — ее увлекла отечественная романтическая словесность. Первая книжка (1823 года) разошлась с неслыханной быстротой. Надо было срочно собирать материал для второй книжки. И тут А. Бестужев и К. Рылеев сделали отважный шаг. В двух первых выпусках альманаха деятельное участие принял книгопродавец Иван Васильевич Сленин. Он ведал коммерческой и типографской сторонами дела. Сленин, по традиции, платил А. Бестужеву и К. Рылееву за право издания, но ничего не платил авторам-вкладчикам. А. Бестужев и К. Рылеев сочли это несправедливым. Они отказались от услуг Сленина и обязались поощрять авторов гонораром. Это был смелый и назревший в тогдашних условиях план. Писатель стано-

вился независимым и самостоятельным от произвола издателя-коммерсанта. Он продавал свой товар (рукопись) и получал за свой труд деньги. Замысел А. Бестужева и К. Рылеева содействовать гражданскому просвещению общества теперь дополнялся еще одним необычайно существенным обстоятельством. В быстрой распродаже «Полярной звезды» друзья-издатели увидели острую заинтересованность русской публики судьбами родной словесности и расценили удачу как общественное признание заслуг отечественных писателей. Отсюда они сделали вывод о необходимости обеспечить материальные права литераторов и поставить эти права в прямую зависимость от плодов авторской духовной деятельности. Литератор-любитель, литератор-дилетант, часто ощущавший себя «сочинителем в прихожей» у меценатов-вельмож, превращался в независимого от них профессионала.

На деле такое превращение совершилось не в один миг. По-прежнему круг авторов подбирался издателями из числа друзей, добровольных и часто бескорыстных данников на алтарь приятельства, уважения и близкого знакомства. Коммерсанты тоже не желали упускать выгоды: им куда доходнее было платить сравнительно небольшие суммы издателям, чем рассчитываться с авторами, теряя значительную часть прибыли. Поэтому долгое время в издании альманахов любительство уживалось с профессионализмом.

«Полярная звезда» не единственный альманах декабристов-романтиков. В Москве В. Одоевский и В. Кюхельбекер, издатели «Мнемозины», также держались декабристской ориентации. Если это и нельзя в полной мере отнести к В. Одоевскому, то мысли В. Кюхельбекера развивались в близком А. Бестужеву и К. Рылееву направлении. Московские издатели также ставили перед собой просветительские задачи, хотя иногда и не были согласны друг с другом. В. Одоевский уже в ту пору напитался идеями немецкой философии, взгляды же В. Кюхельбекера оставались в рамках традиционной французской эстетики. В прозаических произведениях, появившихся на страницах «Мнемозины», русское общество знакомилось с толкованием живописных полотен Европы, с романтическими повестями, с изречениями новейших мыслителей, с критическими статьями о современной литературе. Одним из самых острых был нашумевший и вызвавший полемику обзор В. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Молодой поэт затронул живую тему национальной самобытности, отражения национального характера в лирике.

Статья Кюхельбекера вызвала большой общественный резонанс и послужила толчком к оживлению споров о самых насущных задачах русской литературы.

Именно декабристы и близкие к ним литераторы ввели в альманашный обиход литературные «Обзоры», сделав их обязательными и необходимыми материалами. С тех пор наиболее серьезные альманахи («Северные цветы» и др.) непременно включали критическую прозу.

После того как издатели «Полярной звезды» отказались от услуг Сле-

нина, книгопродавец предложил Дельвигу издавать альманах, взяв на себя его выпуск и распродажу. Выбор Сленина, конечно, не случайно пал на Дельвига, знакомого едва ли не со всеми талантливыми писателями. Личные качества Дельвига сыграли тут не последнюю роль: его ценили как верного и обаятельного товарища, его мнением дорожили, к нему тянулись. Дельвигу удалось собрать в «Северных цветах» лучшие литературные силы. А. Бестужев и К. Рылеев понимали, что в лице Дельвига они получали опасного конкурента, и был момент, когда отношения между соперничающими издателями охладились.

«Северные цветы» отразили то расслоение в передовой литературной среде, которое давно назревало. Умеренная часть литераторов той поры тяготела к «Северным цветам», радикальная — к «Полярной звезде». И весьма существенное значение отводилось литературным позициям и симпатиям. «Северные цветы» не могли, например, допустить в авторский корпус ни Булгарина, ни Греча. Они собирали действительно прогрессивные силы писателей, но отказывали беспринципным и ловким литераторам, которые к тому же, после восстания 14 декабря 1825 года, переметнулись на сторону правительства и стали откровенно враждебными. Пожалуй, не меньшее значение имело и то, что задачи литературы Дельвиг, Пушкин и почти весь их дружеский круг понимали иначе, чем Бестужев и Рылеев. Об этом свидетельствовали слова Пушкина со ссылкой на Дельвига о цели поэзии, о несогласии с формулой Рылеева «Я не Поэт, а Гражданин».

Дельвиг сразу же в своем альманахе размежевал отделы прозы и поэзии. «Северные цветы» открывались прозой, но в первом выпуске она оказалась беднее, чем в «Полярной звезде». Напротив, отдел поэзии вышел решительно богаче и искупал недостатки прозы. В дальнейших книжках (всего их восемь, последняя издана Пушкиным в память Дельвига) проза заметно оживилась и окрепла. Здесь были напечатаны «Трактирная лестница» Н. Бестужева, «Юродивый» и «Гайдамак» О. Сомова, повести «Последний квартет Бетховена» и «*Opere del cavaliere Giambattista Piranesi*» В. Одоевского, «Уединенный домик на Васильевском» В. Титова, отрывки из романов И. Лажечникова и А. Никитенко. Издатели помещали разнообразные материалы: путешествия, письма, отрывки из записных книжек, этнографические и ботанические очерки.

«Северные цветы» были типичным альманахом, его основу составили дружеские и бытовые связи. Альманах выступал против охранительных тенденций в общественной жизни, а также и против «торгового» направления и литературной невзыскательности. Конечно, и в нем участвовали авторы малоодаренные, но решающая роль принадлежала писателям даровитым. Они-то и делали погоду.

После прекращения издания «Полярной звезды» и «Мнемозины» из-за событий на Сенатской площади и обрушившихся репрессий «Северные цветы» обрели исключительную популярность в 1820 — начале 1830-х годов. Они привлекли к участию литераторов разных ориентаций, способствовали

объединению талантливых писательских сил. Сборники «Северных цветов»— изящные, со вкусом оформленные — завоевали у читателей заслуженный авторитет. «Общее мнение,— писал «Московский телеграф»,— признало «Северные цветы» лучшим по содержанию русским альманахом»[1]. Ту же оценку подтвердил впоследствии Белинский: «Северные цветы» считались в свое время лучшим русским альманахом; появление этой крохотной книжки в продолжение семи лет было годовым праздником в литературе, к которому все приготовлялись заранее и журнальными и словесными толками»[2].

Одновременно с «Северными цветами» жил «Невский альманах». Его издатель — Егор Васильевич Аладьин, писатель вполне заурядный, удачно проявил себя на коммерческом поприще. «Невский альманах» издавался старательно, в нем помещались отличные гравюры, книжки были оформлены любовно. Аладьин умел выпрашивать у знаменитостей литературные дары, и потому в альманахе можно было встретить крупные имена, придававшие ему вес и привлекавшие сердца. Но «Невский альманах» был лишен какого-либо принципиального направления. Публика покупала книжки, но критика была к ним неизменно и по праву строга. Пушкин, отдавший в «Невский альманах» несколько произведений, всегда снисходительно и даже иронично отзывался о нем.

«Невский альманах» и «Северные цветы» были самыми долговечными изданиями. Другие альманахи угасали через два-три года, а иногда после выхода одной книжки не возобновлялись вовсе. Тем не менее число их в 1820—1830-е годы росло и многие получили признание.

Выразительную картину альманашного периода нарисовал Белинский: «Одни из альманахов были аристократами, как, например, «Северные цветы», «Альбом северных муз», «Денница»; другие — мещанами, как, например, «Невский альманах», «Урания», «Радуга», «Северная лира», «Альциона», «Царское село» и проч.; третьи — простым, черным народом, как, например, «Зимцерла», «Цефей», «Букет», «Комета» и т. п. Альманахов последнего разряда не перечтешь — так много их. Аристократические альманахи украшались стихами Пушкина, Жуковского и щеголяли стихами гг. Баратынского, Языкова, Дельвига, Козлова, Подолинского, Туманского, Ознобишина, Ф. Глинки, Хомякова и других модных тогда поэтов. Эти альманахи издавались или известными литераторами, или людьми, имевшими большие и прочные литературные связи,— и потому все знаменитости охотно снабжали их своими произведениями; сочинения же посредственные или плохие попадали туда для балласта. Альманахи-мещане преимущественно наполнялись изделиями сочинителей средней руки и только для обеспечения успеха щеголяли несколькими пьесками, вымоленными у Пушкина и других знаменитостей, которые бросили в них что-нибудь залежавшееся в их порт-

---

[1] Московский телеграф. 1829. № 8. С. 479.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 418.

фелях, что-нибудь такое, чего бы они даже и совсем не желали видеть в печати. Альманахи-мужики наполнялись стряпнею сочинителей пятнадцатого класса, горемык, которые за удовольствие видеть себя в печати готовы были платить деньги. Вот почему некоторые писаки издавали свои собственные сочинения в виде альманахов!»[1].

Содержательность альманахов всецело зависела от круга знакомств издателя или от его расторопности и умения выклянчивать у литературных светил их произведения. Альманах не мог надеяться на маломальский успех без вкладов талантливых сочинителей. «Северные цветы» держались долго, потому что свои таланты отдали им Пушкин, Жуковский, Дельвиг, Баратынский и другие. «Невский альманах»— вследствие способностей Аладьина добыть произведения тех же авторов. Рост альманахов сопровождался, однако, рядом условий, ущемлявших авторские права. Пушкину, например, совсем не хотелось видеть свое имя в окружении бездарных сочинителей, но ему приходилось уступать настояниям прилипчивых и наглых издателей. Очень скоро поэту надоела «альманашная грязь», в изобилии распространявшаяся «лавочниками литературы». Издание альманахов стало все больше напоминать коммерческое предприятие. Издателям не было дела ни до направления, ни до принципиальной позиции, ни до авторов. Возник даже особый тип альманашника. «А что это был за курьезный народ — эти альманачники!»— писал Белинский. И продолжал: «Альманачник — это родной брат литературщику, тоже очень типическому лицу. Альманачник — это человек, у которого не хватает способности произвести самому что-нибудь порядочное, который если и пытался писать, то всегда неудачно, и неудача однако ж не отбила у него охоты во что бы то ни стало приобрести известность в литературном мире. Что же ему остается делать? Собирать чужие труды и на сборнике ставить свое имя. Средство легкое и приятное!»[2]. Одни из альманашников были тщеславны и собирали материалы с той целью, чтобы втереть свои произведения между сочинениями известных литераторов; другие стремились поправить финансовые дела; третьи засвидетельствовать свою «жалкую и горемычную» любовь к литературе, не имея никакого о ней понятия. Словом, развелся легион альманашников самого разного рода и сорта.

Об одном таком бесстыдном вымогателе и бесчестном издателе, ловко использующем примелькавшиеся инициалы литературных знаменитостей, написал Пушкин в сатирических сценках «Альманашник». Герой пристает к Сочинителю с просьбой о «свободной пьеске»: «Поверьте, что крайность, бедственное положение, жена и дети». На самом же деле Бесстыдин — пошлый франт и вымогатель. Но он уже усвоил, как спроворить дело и состряпать альманах. «Увидишь, как пойдет наш Альманак; с моей стороны даю 34 стихотворения; под пятью подпишу А. П. (Александр Пушкин.— *В. К.*),

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 214—215.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 215—216.

под пятью другими Е. Б. (Евгений Баратынский,— *В. К.*), под пятью еще К. П. В. (князь Петр Вяземский.—*В. К.*). Остальные пущу без подписи; в предисловии буду благодарить господ поэтов, приславших нам свои стихотворения. Прозы у нас вдоволь: лихое Обозрение словесности, где славно обруганы наши знаменитые писатели, наши аристократы...»[1]. Соль сатирических сцен как раз и состоит в том, что, выдавая свои поделки за сочинения крупных поэтов, альманашник в другой, прозаической части обругивает тех же поэтов — ведь именно Пушкина, Баратынского и Вяземского бульварная пресса называла «аристократами».

Тем не менее при всех издержках альманашной продукции лучшие и серьезные издания вызывали уважение и признательность. Как бы то ни было, альманахи отразили состояние русской литературы, намечавшиеся и происходившие в ней сдвиги. Что же касается прозы, то альманахи наряду с журналами были ее ревностными проводниками.

Общее движение прозы в альманашных изданиях можно наметить как переход от романтической повести к повестям писателей «натуральной школы», от малых форм к романам. Конечно, объем альманахов не позволял печатать обширные произведения, но издатели все-таки довольно охотно публиковали отрывки из романов. Ведущим жанром оставалась повесть.

Альманахи познакомили со всеми разновидностями жанра повестей. В них помещались исторические повести, посвященные русской и рыцарской тематике, светские и фантастические повести, «восточные» повести, повести о художниках и гениальных безумцах. Альманахи откликнулись на интерес читателей к народным преданиям и национально-патриотическим сюжетам, к повестям о вольных разбойниках, чья мораль часто оказывалась выше нравственных понятий светского круга и чиновников, преданно служивших правительству. Даже таким повестям, как «Сохатый» Н. Полевого, изобилующим романтическими банальностями, страдающим преувеличенной выспренностью чувств, нельзя отказать в гуманных мыслях, в отрицании светских условностей, в желании поставить бескорыстную любовь выше сословных предрассудков и денежных расчетов. Те же идеи в еще большей мере свойственны и удачнее проведены в «Сказках о кладах» О. Сомова и других произведениях.

Проза альманахов безусловно способствовала пробуждению чувства историзма в публике, решительно обращала взоры читателей к обыденной, незаметной жизни нищих, простых людей, мелких чиновников, истерзанных господскими капризами воспитанниц, крепостных крестьян, стремилась охватить как можно более широкий круг явлений, ранее не попадавших на печатные страницы. Все чаще авторы повестей изображали судьбу того или иного горемыки не как стечение случайных обстоятельств, а как следствие объективных условий. Проза нередко поднималась до объяснения сложностей жизни, ее реальных противоречий. Так, в светской повести тот или

---

[1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.— Л.: Изд.-во АН СССР, 1951. С. 157—158.

иной характер представал уже не воплощением исключительно злого начала в самом человеке, а результатом прямого воздействия обстоятельств, вынуждавших героя поступать против совести или вступать с ней в сделку. Например, ломка характера светской девушки обусловлена в значительной мере, по мысли М. Погодина, дворянскими нравами, а ничтожность бригадира в повести В. Одоевского объяснена пагубным, ложным воспитанием, семейным мучительством, сложившимися как бы независимо от самого человека отношениями, превратившими его в жалкое, пустое и бесконечно несчастливое существо, подавившее добрые наклонности, естественные душевные инстинкты. По убеждению писателя, виноватой оказывается не столько злая воля героя, сколько тот общественный круг и социальный климат, к которому персонаж принадлежал по рождению, воспитанию, роду деятельности и связям.

Подобное извращение и перерождение людей, наделенных естественными чувствами, происходит и в персонажах, принадлежащих к простой среде. Обстоятельства вынуждают их поднимать руку на обидчика, а потом расплачиваться загубленной судьбой («Нищий» Погодина). Еще более драматичный сюжет изложен в повести Гребенки «Кулик», где герой убивает свою возлюбленную, с которой ему не позволяют соединиться, а потом умирает в тюрьме. Такие повести одновременно наталкивали читателя на мысль о высоком духе обыкновенного человека, о его самоотверженности, о свободолюбии. Вместе с тем они еще не были свободны от мелодраматизма и форсированной чувствительности.

Нередко романтическая повесть оказывается лишенной протестующего начала. В ней обнаруживаются «примирительные мотивы». Например, в «полуисторическом» рассказе В. Ушакова юношеский максимализм побивается опытом, рассудительностью, и в конце концов герой признает правду старшего поколения. Жизнь как бы возвращается в прежнее русло, и некогда отвергаемые привычки и поступки признаются основательными и справедливыми. Несостоятельность бунта молодости против укоренившихся нравов — один из признаков кризиса романтической повести и растерянности далеких от передовых кругов писателей-дворян в годы реакции, попытки доказать бессмысленность перемен и порывов к ним.

Особую группу составляют широко публиковавшиеся в альманахах фантастические повести. Это повесть В. Титова «Уединенный домик на Васильевском», представляющая собой письменную обработку устного рассказа Пушкина, и произведения О. Сомова. Фантастика служила здесь целям непрямого проникновения в сущность действительности, обнажала ее противоречия. В повести В. Титова в жизнь городских обывателей неожиданно входит «бес» и, прельщая соблазнами, увлекает персонажи к гибели. Часто фантастическая повесть строилась на фольклорном материале, причем он преображался в трагическую романтическую историю. Так, в повести О. Сомова «Киевские ведьмы» рассказывается о драме любви между казаком и прекрасной девушкой-ведьмой. Их объяснения полны лиризма, они

любят друг друга, и ничто, казалось, не мешает семейному согласию и счастью. Однако на героине лежит бесовское проклятие, а любопытный герой подсматривает шабаш нечистой силы на Лысой Горе. Узнав тайну жены, он оказывается обреченным на смерть, а Катруся — на исчезновение. Так *любовь приводит к гибели обоих героев. Ощущаемая писателями непредсказуемая* трагичность человеческих отношений побуждает их глубже проникать в психологические тайны характеров.

Одной из заслуг романтической прозы альманахов было чисто просветительское стремление сообщить русской публике о новых идеях в философии, эстетике и включить современное состояние общества в целостную картину мира в его историческом развитии. В особенности это свойственно прозе любомудров (Д. Веневитинов, В. Титов, И. Киреевский).

С течением времени изменялся и самый язык прозы. Если в произведениях А. Бестужева лирические пассажи противоречиво соседствовали с русскими речениями, оборотами, пословицами, то впоследствии проза отказалась, хотя и не в полной мере, от лирической напряженности речи, эффектных восклицаний и вопросов, от обнаженной патетичности в пользу более ясного и точного повествования, неторопливого рассказа с диалогами, подробностями и деталями, указывающими на время, место событий, на душевное настроение. Это был важный процесс выработки повествовательной манеры, который по-своему проявлялся в те годы не только в творчестве крупных мастеров (Пушкин, Лермонтов, Гоголь), но и в сочинениях второстепенных авторов.

Словом, в альманашной прозе многое из того, что параллельно развивалось в журналах и отдельно изданных авторских книгах и что будет затем продолжено русской литературой, находило свое место и выражение. Но именно проза и была той областью литературного творчества, которая вкупе с другими причинами убила альманахи. Проза требовала объема и простора, ей было тесно на страницах небольших по формату книжек. В двери литературы уже стучался роман, а печатать большие вещи альманахи не могли. Альманах — это прежде всего стихи. Вместо альманахов стали нужны журналы, в которых большая часть страниц отдавалась художественной прозе и критике.

Переход к журналам означал торжество профессионализма. Альманах был порождением профессиональной литературы в ее истоках, но он же стал ее жертвой, уступая велениям века. Альманаху необходим дружеский круг, тесные связи,— иначе нельзя рассчитывать на литературные приношения. Журнал менее зависим от приятельских уз: он довольствуется сотрудниками, деловым партнерством. Необязательно быть другом редактора-издателя — достаточно и того, если исключить привходящие обстоятельства, чтобы произведение было талантливым. Альманахи избегали платить гонорар авторам, журнал обязывался исправно вознаграждать за духовный труд. Журнал сделал, писал Белинский, «очень трудным для издателей альма-

нахов добывание даровых статей»[1]. Любопытно, что когда кончалась короткая пора альманахов, то новые издания были совсем не похожи на прежние. Книгопродавец А. Ф. Смирдин выпустил «Новоселье» не в виде небольших книжек, а солидных и толстых по объему. Так же поступил и В. А. Владиславлев, собравший «Утреннюю зарю». Примечателен и сам характер этих альманахов. Авторы отдали произведения Смирдину в уважение к его заслугам, из особенной к нему благосклонности, как свидетельствовал сам издатель. Альманах возник случайно и был временным, а не постоянным объединением авторов. А издание альманаха «Утренняя заря» было и попросту курьезным: Владиславлев служил адъютантом в корпусе жандармов и упросил своего начальника А. Ф. Бенкендорфа содействовать сбору статей и распространению альманаха. Бенкендорф обратился с полуофициальными письмами к известным литераторам: «Не угодно ли вам удостоить участием вашим...», «Всякое приношение ваше в сей альманах принято будет мною с искреннею благодарностью» (письмо М. Н. Загоскину). В дальнейшем он разослал письма губернаторам и городским головам с целью побудить их к скорейшей распродаже альманаха. «Чудную спекуляцию сделал Владиславлев «Утреннею зарею»[2],— писал Н. Полевой брату. «Большинство,— иронизировал И. И. Панаев,— приобретало этот альманах по предписанию жандармского начальства, которое, в противоречие своим принципам, возбуждало таким образом интерес к литературе в русской публике.

Все литераторы очень хорошо знали, какими средствами расходится «Утренняя заря», но такая спекуляция никого не смущала и казалась всем обыкновенною и понятною.

Владиславлев ничего не платил за статьи и поэтому приобретал от своего альманаха довольно значительные барыши»[3].

В конце 1830 — начале 1840-х годов время альманахов прошло, и они воспринимались типичными анахронизмами. Выход альманаха В. Крыловского «Мое новоселье» дал повод Гоголю к элегическому раздумью: «Это Альманах! Какое странное чувство находит, когда глядим на него: кажется, как будто на крыше опустелого дома, где когда-то было весело и шумно, видим перед собою тощего мяукающего кота. Альманах! Когда-то Дельвиг издавал благоуханный свой Альманах! В нем цвели имена Жуковского, князя Вяземского, Баратынского, Языкова, Плетнева, Туманского, Козлова. Теперь все новое, никого не узнаешь; другие люди, другие лица. В оглавлении, приложенном к началу, стоят имена гг. Куруты, Варгасова, Крыловского, Греча; кроме того написали еще стихи буква С, буква Ш, буква Щ. Читаем стихи — подобные стихи бывали и в прежнее время; по край-

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 120.

[2] «Записки» К. А. Полевого. СПб., 1888. С. 486.

[3] Панаев И. И. Литературные воспоминания. [Л.]: ГИХЛ, 1950. С. 66—67.

ней мере в них все было ровнее, текучее, сочинители лепетали вслед за талантами. Грустно по старым временам!..»[1]

Еще на некоторое время альманахи воскреснут под видом «сборников», но это уже ничего не изменит в их судьбе.

Было бы неисторично и несправедливо думать, будто пора альманахов исчезла бесследно. В наброске статьи для «Московского вестника» об альманахе «Северная лира» Пушкин писал: «Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о ее движении и успехах»[2]. Поэт засвидетельствовал объективную роль альманахов в литературе, но сам уже ею не был удовлетворен. Своими помыслами он в это время обращен к европейскому по типу журналу. «Современник» еще сохранял признаки альманаха, но вскоре их окончательно вытеснили из своей практики «Отечественные записки» и другие издания. Ведущее значение в литературной жизни приобрели журналы, и это стало торжеством принципов новых, профессиональных отношений между издателями и авторами, которые от дружеского кружка перешли на почву делового сотрудничества.

Русские альманахи открыли процесс постепенного и неуклонного превращения литературы в огромной важности общественное дело, а те художественные искания, которые подчас робко, а часто настойчиво и уверенно обозначились в прозе русских альманахов, будут затем подхвачены в произведениях писателей «натуральной школы», в очерках, повестях и романах великих мастеров отечественной словесности.

Валентин Коровин.

---

[1] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.]: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 6. С. 197.

[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 49.

АГЛАЯ.

Les Eſprits bien ſaits qui ne peuvent lire mon cœur, liront au moins mon livre.

Боннетъ.

КНИЖКА I

1794

МОСКВА,

ВЪ Университетской Типографіи,

у Ридигера и Клаудія.

Н. КАРАМЗИН

ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ

Друзья! Прошло красное лето, златая осень побледнела, зелень увяла, дерева стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное море, зимний пух сыплется на хладную землю — простимся с природою до радостного весеннего свидания, укроемся от вьюг и метелей — укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекарство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине нашем — пусть свирепствует ветер и засыпает окошки белым снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу, видел много чудного, слышал много удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случалось со мною. Слушайте — я повествую — повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Маину[1], время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих»,— сказал и сел в Лондоне на корабль *«Британию»*, чтобы плыть к любезным странам России.

---

[1] Во времена древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения — но вдруг переменился ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием,— местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву, под столетним вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенистые валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслися к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к оной дремоте, к оному сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою... Я взглянул и увидел — молодого человека, худого, бледного, томного,— более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором: чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слыхал ничего. «Несчастный молодой человек!— думал я.— Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!»

Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские — отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор *N. N.*):

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю — любить век буду.
Кляните страсть мою.
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее —
Природа! Ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви.

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лила!
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему, но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развевает наши парусы и что нам не должно терять времени. Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами — смотрел на синее море.

Волны пенились под рулем корабля нашего, берег гревзендский скрылся в отдалении, северные провинции Англии чернелись на другом краю горизонта — наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы устрашенные необозримостию моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытом море, где *одна*

тонкая дощечка, как говорит Виланд, *отделяет нас от влажной смерти*, но где искусный пловец, распуская парусы, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. «*Nil mortalibus arduumest*»—«*Нет для смертных невозможного*»,— думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн, едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу; море, освещаемое златыми его лучами, шумело; корабль летел на всех парусах по грудам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развевались белые, голубые и розовые флаги, а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

«Где мы?»— спросил я у капитана. «Плавание наше благополучно,— сказал он,— мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь».

«Остров Борнгольм, остров Борнгольм!»— повторил я в мыслях, и образ молодого гревзендского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе. «Они заключают в себе тайну сердца его,— думал я,— но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?»

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной натуры; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неописанного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось в волны — и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва-едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: «Там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памя-

ти!» Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбачьи хижины, решился я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матрозами. Он говорил об опасности, о подводных камнях, но, видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на хладной стихии, под шумом валов морских, и незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас, сквозь распавшуюся кремнистую гору, к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на пространную зеленую равнину, где, подобно как на долинах альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матрозов, а сам пошел далее, чтобы наслаждаться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок. «Мы туда не ходим,— говорил он,— и бог знает, что там делается!» Я удвоил шаги свои и скоро приблизился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина, вдали шумело море, последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка — ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня идти назад к хижинам, но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос — эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос — спрашивали: *«Кто там?»*—«Чужеземец,— сказал я,— приведенный любопытством на сей остров, и если гостеприимство почитается добродетелью в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи». Ответа не было, но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост, с шумом отворились ворота — высокий человек, в длинном черном платье, встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад, но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами, мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою, висела лампада и едва-едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столпов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня проницательными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданьем чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо — в углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с некоторою печальною ласкою, подал мне слабую свою руку и сказал тихим, приятным голосом: «Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! Я не знаю тебя, но ты человек — в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям — мой дом, мои объятия тебе отверсты». Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым — хотелось улыбкою вселить в меня доверенность и приятные чувства дружелюбия; но знаки сердечной печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

«Ты должен, молодой человек,— сказал он,— ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении, давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на олтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою виденных?»—«Свет наук,— отвечал я,— распространяется более и более, но еще струится на земле кровь человеческая — льются слезы несчастных — хвалят имя добродетели и спорят о существе ее». Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он: «Мы происходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших, но мы, во мраке идолопоклонства, приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах славили вы великого творца вселенной, но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия». Старец говорил со мною об истории северных народов, о происшествиях древности и новых времен, говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы — и мы вошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу, под золотым балдахином, стояла высокая кровать, украшенная резьбою и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел в ту же минуту; железная дверь хлопнула — звук страшно раздался в пустых стенах — и все утихло. Я лег на постелю — смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца,— думал о своем хозяине, о первых словах его: «*Здесь обитает вечная горесть*»,— мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем,— мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. Наконец образ печального гревзендского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей, что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! Как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плаватели при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! Умри за сие пагубное любопытство!» Мечи застучали надо мною, уже тысячи ударов сыпались на грудь мою,— но вдруг все скрылось,— я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслися, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которое

описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приблизился к окошку, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад.

Ночь была ясная, свет полной луны осребрял темную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую, длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясаемых ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой — открытая равнина и маленькие рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей — и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец сия длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова, но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма. Оно было невелико, и человек с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой натуры. Я вошел — почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь, которая, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее — тут, за железною решеткою, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная ко своду, а в углу, на соломенной постеле, лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва-едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! Кого не трогает вид несчастного! Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице,— вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судь-

бою,— мог бы подобно Орфеевой арфе влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестию и думал сам в себе: «Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Ужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!»

В самую сию минуту она проснулась — взглянула на решетку — увидела меня — изумилась — подняла голову — встала — приблизилась — потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями,— снова устремила их на меня, хотела говорить и — не начинала.

«Если чувствительность странника,— сказал я через несколько минут красноречивого молчания,— рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь, если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность, требуй его помощи!» Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом: «Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда,— чужеземец!— я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказывает».—«Но сердце твое невинно?— сказал я.— Оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?»—«Сердце мое,— отвечала она,— могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!» Тут приблизилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила: «Ради бога, оставь меня!.. Если он сам послал тебя — тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе,— скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце мое высохло от горести, что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его нежною, несчастною...» Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо свое, через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостию: «Ты, может быть, знаешь мою историю, но если не знаешь, то не спрашивай меня — ради бога, не спрашивай!.. Чужеземец, прости!» Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей, но взор мой еще встретился с ее взором — и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился — ждал вопроса,

но он, после глубокого вздоха, умер на бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Утренняя заря алела на небе, птички пробудились, ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. «Боже мой!— думал я.— Боже мой! Как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства натуры! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки твоей прекрасно — творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утесами,— и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благости, и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат, под ногами человека, и здесь поют птички — поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого, и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но — бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения: роса утренняя не окропляет ее томного сердца, ветерок не освежает истлевшей груди, лучи солнечные не озаряют помрачненных глаз ее, тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! Почто даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя?» Силы мои ослабели, и глаза закрылись, под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени.

Сон мой продолжался около двух часов.

«Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру»— вот что услышал я, проснувшись,— открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке, шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старец взглянул на меня с некоторою суровостию, встал, пожал мою руку — и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости, но вдруг остановился и, устремив на меня проницательный, огненный взор, спросил твердым голосом: «*Ты видел ее?*»—«Видел,— отвечал я,— видел, не узнав, кто она и за что она страдает в темнице».—«Узнаешь,— сказал он,— узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что небо излияло всю

чашу гнева своего на сего слабого, седого старца; старца, который любил добродетель, который чтил святые законы его?» Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю — историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца — тайну страшную!

Матросы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою — наконец я взглянул на небо — и ветер свеял в море слезу мою.

АГЛАЯ.

Les Eſprits bien faits qui ne penvent lire mon cœur, liront au moins mon livre.

Боннетъ.

КНИЖКА II.

1795

МОСКВА,

ВЪ Университетской Типографіи,

у Ридигера и Клаудія.

Н. КАРАМЗИН

СИЕРРА-МОРЕНА

Элегический отрывок из бумаг N.

В цветущей Андалузии — там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадалквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена[1],— там увидел я прекрасную, когда она в унынии, в горести стояла подле Алонзова памятника, опершись на него лилейною рукою своею; луч утреннего солнца позлащал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры; ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор.

Эльвира любила юного Алонза, Алонзо любил Эльвиру и скоро надеялся быть супругом ее, но корабль, на котором плыл он из Маиорки (где отец его отправлял должность королевского наместника), погиб в волнах моря. Сия ужасная весть сразила Эльвиру. Жизнь ее была в опасности... Наконец отчаяние превратилось в тихую скорбь и томность. Она соорудила мраморный памятник любимцу души своей и каждый день орошала его жаркими слезами.

Я смешал слезы мои с ее слезами. Она увидела в глазах моих изображение своей горести, в чувствах сердца моего узнала собственные свои чувства и назвала меня другом. Другом!.. Как сладостно было имя сие в устах любезной! Я в первый раз поцеловал тогда руку ее.

Эльвира говорила мне о своем незабвенном Алонзе, опи-

---

[1] То есть Черная гора.

сывала красоту души его, свою любовь, свои восторги, свое блаженство, потом отчаяние, тоску, горесть и, наконец,— утешение, отраду, находимую сердцем ее в милом дружестве. Тут взор Эльвирин блистал светлее, розы на лице ее оживлялись и пылали, рука ее с горячностию пожимала мою руку.

Увы! В груди моей свирепствовала этна любви: сердце мое сгорало от чувств своих, кровь кипела как бурное море — и мне надлежало таить страсть свою!

Я таил оную, таил долго. Язык мой не дерзал именовать того, что питала в себе душа моя: ибо Эльвира клялась не любить никого, кроме своего Алонза, клялась не любить в другой раз. Ужасная клятва! Она лежала на устах моих подобно горе диамантовой.

Мы были неразлучны, гуляли вместе на злачных берегах величественного Гвадалквивира, сидели над журчащими его водами, подле горестного Алонзова памятника, в тишине и безмолвии; одни сердца наши говорили. Взор Эльвирин, встречаясь с моим, опускался к земле или обращался на небо. Два вздоха вылетали, соединялись и, мешаясь с зефиром, исчезали в пространствах воздуха. Жар дружеских моих объятий возбуждал иногда трепет в нежной Эльвириной груди — быстрый огнь разливался по лицу прекрасной — я чувствовал скорое биение пульса ее — чувствовал, как она хотела успокоиться, хотела удержать стремление крови своей, хотела говорить... но слова на устах замирали. Я мучился и наслаждался!

Часто темная ночь застигала нас в отдаленном уединении. Звучное эхо повторяло шум водопадов, который раздавался между высоких утесов Сиерры-Морены, в ее глубоких расселинах и долинах. Сильные ветры волновали и крутили воздух, багряные молнии вились на черном небе, или бледная луна над седыми облаками восходила. Эльвира любила ужасы натуры: они возвеличивали, восхищали, питали ее душу.

Я был с нею!.. и радовался сгущению ночных мраков. Они сближали сердца наши, они скрывали Эльвиру от всей природы — и я тем живее, тем *нераздельнее* наслаждался ее присутствием.

Ах! Можно сражаться с сердцем долго и упорно, но кто победит его? Бурное стремление яростных вод разрывает все оплоты, и каменные горы распадаются от силы огненного вещества, в их недрах заключенного.

Сила чувств моих все преодолела, и долго таимая страсть излилась в нежном признании!

Я стоял на коленях, и слезы мои текли рекою. Эльвира бледнела — и снова уподоблялась розе. Знаки страха,

сомнения, скорби, нежной томности менялись на лице ее!...

Она подала мне руку с умильным взором. «Жестокий!— сказала Эльвира — но сладкий голос ее смягчил всю жестокость сего упрека.— Жестокий! Ты недоволен кроткими чувствами дружбы, ты принуждаешь меня нарушить обет священный и торжественный!.. Пусть же громы небесные поразят клятвопреступницу!.. Я люблю тебя!..»— Огненные поцелуи мои запечатлели уста ее.

Боже мой!.. Сия минута была счастливейшею в моей жизни!

Эльвира пошла к Алонзову памятнику, стала перед ним на колени и, обнимая белую урну, сказала трогательным голосом: «Тень любезного Алонза! Простишь ли свою Эльвиру?.. Я клялась вечно любить тебя и вечно любить не перестану, образ твой сохранится в моем сердце, всякий день буду украшать цветами твой памятник, слезы мои будут всегда мешаться с утреннею и вечернею росою на сем хладном мраморе! Но я клялась еще не любить никого, кроме тебя... и люблю!... Увы! Я надеялась на сердце свое и поздно увидела опасность. Оно тосковало — было одно в пространном мире — искало утешения,— дружба явилась ему в венце невинности и добродетели... Ах!.. Любезная тень! простишь ли свою Эльвиру?»

Любовь моя была красноречива: я успокоил милую, и все облака исчезли в ангельских очах ее.

Эльвира назначила день для нашего вечного соединения, предалась нежным чувствам своим, и я наслаждался небом! Но гром собирался над нами... Рука моя трепещет!

Все радовалось в Эльвирином замке, все готовилось к брачному торжеству. Ее родственники любили меня — Андалузия долженствовала быть вторым моим отечеством!

Уже розы и лилии на олтаре благоухали, и я приблизился к оному с прелестною Эльвирою, с восторгом в душе, с сладким трепетом в сердце, уже священник готовился утвердить союз наш своим благословением — как вдруг явился незнакомец, в черной одежде, с бледным лицом, с мрачным видом: кинжал блистал в руке его. «Вероломная!— сказал он Эльвире.— Ты клялась быть вечно моею и забыла свою клятву! Я клялся любить тебя до гроба: умираю... и люблю!..» Уже кровь лилась из его сердца, он вонзил кинжал в грудь свою и пал мертвый на помост храма.

Эльвира, как громом пораженная, в исступлении, в ужасе воскликнула: «Алонзо! Алонзо!..»— и лишилась памяти. Все стояли неподвижно. Внезапность страшного явления изумила присутствующих.

Сей бледный незнакомец, сей грозный самоубийца был

Алонзо. Корабль, на котором он плыл из Маиорки, погиб, но алжирцы извлекли юношу из волн, чтобы оковать его цепями тяжкой неволи. Через год он получил свободу — летел к предмету любви своей,— услышал о замужестве Эльвирином и решился наказать ее... своею смертию.

Я вынес Эльвиру из храма. Она пришла в себя,— но пламя любви навек угасло в очах и сердце ее. «Небо страшно наказало клятвопреступницу,— сказала мне Эльвира,— я убийца Алонзова! Кровь его палит меня. Удались от несчастной! Земля расступилась между нами, и тщетно будешь простирать ко мне руки свои! Бездна разделила нас навеки. Можешь только взорами своими растравлять неизлечимую рану моего сердца. Удались от несчастной!»

Моя горесть, мое отчаяние не могли тронуть ее — Эльвира погребла несчастного Алонза на том месте, где оплакивала некогда мнимую смерть его, и заключилась в строжайшем из женских монастырей. Увы! Она не хотела проститься со мною!.. Не хотела, чтобы я в последний раз обнял ее со всею горячностию любви и видел в глазах ее хотя одно сожаление о моей участи!

Я был в исступлении — искал в себе чувствительного сердца, но сердце, подобно камню, лежало в груди моей — искал слез и не находил их — мертвое, страшное уединение окружало меня.

День и ночь слились для глаз моих в вечный сумрак. Долго не знал я ни сна, ни отдохновения, скитался по тем местам, где бывал вместе — с жестокою и несчастною; хотел найти следы, остатки, части *моей* Эльвиры, напечатления души ее... Но хлад и тьма везде меня встречали!

Иногда приближался я к уединенным стенам того монастыря, где заключилась неумолимая Эльвира: там грозные башни возвышались, железные запоры на вратах чернелись, вечное безмолвие обитало, и какой-то унылый голос вещал мне: «Для тебя уже нет Эльвиры!»

Наконец я удалился от Сиерры-Морены — оставил Андалузию, Гишпанию, Европу,— видел печальные остатки древней Пальмиры, некогда славной и великолепной,— и там, опершись на развалины, внимал глубокой, красноречивой тишине, царствующей в сем запустении и одними громами прерываемой. Там, в объятиях меланхолии, сердце мое размягчилось — там слеза моя оросила сухое тление — там, помышляя о жизни и смерти народов, живо восчувствовал я суету всего подлунного и сказал самому себе: «Что есть жизнь человеческая? Что бытие наше? Один миг, и все исчезнет! Улыбка счастия и слезы

бедствия покроются единою горстию черной земли!» Сии мысли чудесным образом успокоили мою душу.

Я возвратился в Европу и был некоторое время игралищем злобы людей, некогда мною любимых; хотел еще видеть Андалузию, Сиерру-Морену и узнал, что Эльвира переселилась уже в обители небесные; пролил слезы на ее могиле и обтер их навеки.

Хладный мир! Я тебя оставил! Безумные существа, человеками именуемые! Я вас оставил! Свирепствуйте в лютых своих исступлениях, терзайте, умерщвляйте друг друга! Сердце мое для вас мертво, и судьба ваша его не трогает.

Живу теперь в стране печального севера, где глаза мои в первый раз озарились лучом солнечным, где величественная натура из недр бесчувствия приняла меня в свои объятия и включила в систему *эфемерного бытия*,— живу в уединении и внимаю бурям.

Тихая ночь — вечный покой — святое безмолвие! К вам, к вам простираю мои объятия!

1793

въ С Петербургъ

РОМАН И ОЛЬГА

*Старинная повесть**

I

Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть! — вы им сказали:
Всему конец!
Что пользы в платье золотое
Себя рядить?
Богатство на земле прямое
Одно: любить!

Жуковский.

«Этому не бывать! — говорил Симеон Воеслав, именитый гость новогородский, брату своему. — Не бывать, как двум солнцам на небе. Правда, твой любимец, Роман Ясенский, хорош и пригож, служил верой и правдой Новугороду, потерпел много за Русь святую; горазд повесть слово на вечах, в беседах; удал на игрушках военных[1] и на все смышлен, ко всем приветлив... Одна беда, — примолвил Симеон, с гордостью перебирая связки ключей на поясе, — он беден — стало быть, не видать ему за собой Ольги.

— У тебя ль, Симеон, нет золота? — возразил брат его, Юрий Гостиный, сотник конца Славенского. — Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной.

— Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа к моей дочери?

— Его чувства, Симеон, его поступки: кто бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтоб он не достался врагам Новагорода, тот, конечно, не променяет души на приданое!

— Так не хочешь ли, братец любезный, чтоб я бросил мою лучшую, заветную жемчужину в мутный Волхов, чтоб я отдал мою дочь — за человека, у которого нет три-девяти снопов для брачной постели[2], у которого и любимый конь пасется муравою приятелей! Моей ли Ольге он чета! У нее корабли в море, у него — журавли в небе.

— Брат! не порочь доброго гражданина! Сердце Романово стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет не худая кровь детей боярских: племяннице моей не стыдно сложить руку с рукою правнука Твердиславова[3].

— Да будь он потомок самого Вадима, и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и своей славною саблей не отворить кованого ларца с ее приданым!

— Чудный человек! Ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа; ее слезы...

— Слезы — вода, а про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать.

— Брат Симеон! сердце не слуга, ему не прикажешь!

— Зато можно отказать. С этого часу запрещаю Ольге и мыслить о Романе, а ему — ходить ко мне. Я хочу, чтобы она думала не иначе, как головою отца да матери: жила бы по старине, а не по своей воле, и не подражала б чужеземным, привозным обычаям. Правду молвить, в этом первою виной — германцы, и когда бы мог, то изгнал бы их всех из православного Новагорода.

— Если б не торговые выгоды!— прервал Юрий, с усмешкою разглаживая усы свои.

— Да, да, если б не торговые выгоды!— отвечал Симеон, тронутый таким замечанием.— Выгоды, которые сделали меня первым гостем новогородским, а мою дочь — богатейшею невестой, у которой свахи лучших женихов обили пороги.

— И всегда и навсегда напрасно: Ольга не изберет другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг! ты хорошо знаешь свои счеты, но худо страсти людские. Ольга может в твою угоду скрыть слезы свои, но эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет, как цвет, иссохнет, как былинка на камне. Не делай же ее несчастною, не заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтоб после не плакаться богу; исполни мою просьбу, а молодых мольбу — отдай Ольгу Роману!..

Слово совет пробудило гордость Симеонову.

— Побереги эти советы для детей своих!— сказал он, нахмурив брови, чтобы под суровостию чела скрыть слезы, на-

вернувшиеся на глазах от речи Юрия.— Старшему брату поздно жить умом младшего.

Долго длилось молчание. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя — за помин о старшинстве. Один глядел в косящатое окошко, другой играл кистью своего узорчатого кушака — оба искали слов к разговору и не находили. Наконец нетерпеливый Юрий решился избавить себя и брата от затруднения уходом.

— Прощай, братец!— тихо сказал он, снимая со стопки бобровую свою шапку.

— С богом, Юрий! Но почему ты не останешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином заморским.

— Если б даже ты угостил меня княжескими павлинами, я не останусь: тоска племянницы отравит редкие твои яствы и дорогую мальвазию.

— Вольному воля!— повторил раза два Симеон, провожая брата.

Задумавшись, сел он под божницей, блестящей золотыми окладами и венцами старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство Романа не выходило из его головы: участь дочери лежала на сердце; гордость боролась с отеческою любовью. Больше всего на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше всего уважал богатство, и потому-то человек, не отличенный еще согражданами, не наделенный счастьем, с своими заслугами и достоинствами казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противность на вече, где Роман сильно опровергал его мнения. Симеон скоро увидел истину; но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладила в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого; судьба Романа решилась. Симеон не любил говорить дважды.

«Брат посердится и уймется,— думал он,— а любовь девушки — лед вешний: поплачет она, поскучает... и другой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом шубы своей!»

Бледен как полотно выслушал Роман из уст Воеслава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца родного; он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждой далекою; но мог ли обольстить несчастливца! Сердце влюбленного чутко, взоры его необманчивы; Роман издалека прочитал беду на лице благодетеля. В исступлении немого отчаяния, вперив неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыхание; наконец природа взя-

ла верх — в два ключа брызнули слезы из очей юноши; он, рыдая, упал на грудь великодушного друга.

В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердца под приветной улыбкою: были друзьями и недругами явно. Воеслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешилась росою отрады.

II

Уста раскрыв, без слез рыдая,
Сидела дева молодая;
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор.

А. Пушкин

Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем. В высоком липовом своем тереме, в кругу нянек и сенных девушек, сидела она за пяльцами, вышивая ковер шелковый, и между тем как нежная рука выводила узоры, воображение рисовало ей блестящие картины будущего. Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцу. Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрасным юношею, когда он забыл поклониться, пораженный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной. С младенческою подробностью припоминала она ту прелестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, под дыханием первой любви; тот незабвенный семик, когда впервые рука ее трепетала в руке Романа, когда нехотя убегала она в резвых горелках от милого незнакомца и как будто случаем с ним встречалась, с ним завивала березку и, когда Волхов умчал гадальный венок ее, в глазах Романовых хотела прочесть будущую свою участь. Припоминала места, где видались они, и тайные речи, и поступь, и одежду сердечного друга. Иногда, опустив иголку, в обмане мечты, ей казалось как наяву, будто Роман стоит перед нею в светло-синем кафтане своем, с серебряными застежками, обтянутом около стройного его стана, в зеленых сафьяновых сапожках с золочеными каблуками! Казалось, она видела, как он кланяется с обычною уветливостью, как отряхает русые кудри свои, как закладывает шитые с бахромою перчатки за кушак шамаханский, и мимолетный ветер чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она Романовы повести о дальних походах новогородцев, на Поморье и на Подолье, о битвах с богатырями железными, с суровыми шведами, с дикими половцами и литовцами. Она заслушивалась им, растворив окно светлицы над крыльцом отеческим, где милый воитель беседовал за стопой кипящего меду, сидя с бра-

тьями Воеславами по субботам в час вечера, когда кончены все заботы недели, и тонкий пар встает с бань приволховских, и река кипит пловцами. С каким трепетом, с каким благоговением внимала она рассказу о недавнем нашествии Тамерлана, о промысле всемогущего, спасшего Москву от гибели верою граждан, заступлением девы пречистой, образом Владимирской богоматери[4]. С каким участием провожала Романа, плененного в Ельце, за войском монголов, гонимых мечом невидимым из России! Описание вечно цветущей Астрахани, коверчатых берегов закубанских и Кавказа, подпирающего небо шлемом снежным, оперенным тучами, и грозного величия бича вселенной — Тимура, его роскошного двора, его зверонравных подданных с их нарядами, с их обрядами и забавами,— привлекало внимание Ольги. «Добыча целого света, запечатленная кровию миллионов людей, лежала горами в престольном стане Тимуровом,— говорил Роман.— Цари и владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры персидские, украшение дворцов Багдада, стали попонами верблюдам, многоценные пояса дев русских обратились в смычки собак; багряницы князей веяли чепраками на конях победителя. Гордые моголы, нежась на войлоках под шалевыми палатками Тибета, пили вино разграбленной Грузии из священных чаш Царя-града». Сердце ее замирало, когда она внимала ужасам, висевшим над головою Романа во время плена, и опасностям во время бегства его на родину, от берегов Черного моря.

Неустрашимость мужчины вливает в грудь девушки какое-то возвышенное к нему уважение. Соучастие дружит, сближает с страдальцем, и любовь, как тиховейный ветер, закрадывается в душу. Пленили Ольгу повести богатырские, но что было с нею, когда Роман садился за звонкие гусли и под говор струн запевал томную песню! Его голос казался тебе, красавица, отголоском тайных чувств твоих; твоя душа сливалась и замирала с звуками любовных припевов; ты млела в каком-то сладостном забытье, и долго-долго слышались тебе отрадные звуки знакомого голоса, и взоры певца ласкали, проницали сердце. «Неужель все то правда, что поется в песнях?»— не раз спрашивала Ольга у добродушной няни своей. «О, конечно!— отвечала няня.— В сказке — басня, а в песне — быль».

И вслед за тем запевала она любимые песни Ольгины, сложенные Романом, и неопытная предавалась страсти злосчастной и с потворством внимала шепоту сердца, которое от часу громче твердило: люблю, люблю Романа! Ты спознала, непреклонная красавица, грусть и сладкие вздохи, и неясные желания, и, в награду бессонницы — сны, украшенные образом

незабвенным. Да и кто ж коль не он, ей суженный? Разве даром ей явился Роман в зеркале, разве даром приснился о святках, накануне крещенья, и перевел, как наяву, через мост свадебный? Неужели лучший вещун — сердце ее обмануло!..

Так лелеяла надежды свои невинная Ольга; но жребий судил иначе...

Вечерел ясный день рюэня[5]. Ольга задумчиво сидела под густою яблонью, в тенистом саду отеческом. Вдруг затрещал частокол высокий, кто-то спрыгнул с него; еще миг — и Роман очутился перед испуганною Ольгою.

— Не беги, не пугайся, не гневайся, милая!— говорил он, схватив ее за руку.— Выслушай твоего верного Романа. Моя жизнь, мое счастие от того зависят.

Красавица вырывалась напрасно; рассудок советовал ей: беги! сердце шептало: останься! Что скажут добрые люди?— повторял разум. Что станется с милым, когда ты скроешься?— замечало сердце! Еще борьба страха и стыдливости не кончилась, а Ольга нехотя, сама не зная как, сидела уже с Романом рука об руку и пленительным голосом любви упрекала любезного льстеца в безрассудстве.

— Ольга,— сказал тогда Роман,— я принес весть нерадостную: я сватался, и мне отказано! Жить без тебя я не могу, и когда твоя любовь не одни пустые речи — бежим к доброму князю Владимиру: у него найдем приют, а в сердцах своих счастье. Решайся!

Поражена, изумлена вестью и предложением Романа, безмолвна сидела Ольга. Все кончилось! Все мечты — любимые подруги сердца — погибли. Исчезла радость навек, будто павшая звезда, и так безнадежно, так неожиданно! Долго бушевали страсти в груди ее; долго тускнело зеркало разума под дыханием отчаяния; наконец ужасающая мысль о побеге возбудила внимание Ольги.

— Бежать, мне бежать!— воскликнула она, рыдая.— И ты, Роман, мог предложить средство, позорное для моего роду и племени, пагубное для меня самой! Нет, ты не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чистоте ее совести. Бежать! совершить дело неслыханное, бросить край родимый, обесславить навек родителей, прогневать бога и святую Софию! Нет, Роман, нет! Отрекаюсь любви, если она требует преступлений, и даже тебя, тебя самого.

Слезы прервали речь ее.

С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими взорами, внимал вспыльчивый Роман укорам девы.

— Женщины, женщины!— произнес он с дикою усмеш-

кою.— И вы хвалитесь любовию, постоянством, чувствительностию! Вы, жалостливые только до песен; вы, из тщеславия пленяющие легковерных! Любовь ваша — одна прихоть, болтлива и летуча, как ласточка; но когда приходится доказать ее не словом, а делом, как вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на старые басни и на упреки! И для чего ж было льстить мне коварными взорами, речами ласки и надежды? Чтоб убийственным *нет* оледенить сердце любовника! Не для тебя ль, непреклонная, забывал я славу, и свет, и все, меня окружающее; не замечал, как откидывались от глаз, будто ненароком, при встрече со мною, фаты первых красавиц, какие взгляды стремились ко мне из-за штофных занавесов богатейших из моих соседок? Не я ли вековал на улице, чтоб уловить небесный взор твой, услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? не я ли посвятил тебе жизнь и счастие жизни? И ты разом все у меня похищаешь: меняешь мою руку на роскошь, хочешь, чтоб золотым обручальным кольцом приковали тебя к чугунной цепи немилого супружества,— немилого, говорю я?.. но ведь женская любовь — привычка; долго ль красавице позабыть прежнее!.. И может статься, если переживу свое несчастие, Ольга захочет видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руке скакал я в ночь около ее спальни и охранял покой новобрачных!..

В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу Ольги, но, излив словами сердце, он увидел слезы ее; они потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе.

— Неблагодарный друг!— говорила красавица.— И ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя! Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? думала ли получить такую награду, когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих?.. а теперь!

— Прости, прости меня, бесценная!..— повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку.

Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши; щеки обоих горели румянцем — и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение.

— Жить и умереть с тобою!— тихо произнесла Ольга, и все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым.

Души пылкие! вам они понятны: вы изведали сии волшебные мгновения, когда каждая мысль — радость, каждое ощущение — нега, каждое чувство — восторг!

— Через три дня, в праздник пятилетия мира с немцами,

в час полуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым; борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поблагоприятствует побегу, и на берегу чуждой реки найдем мы покой и счастие и, может статься, дождемся благословения отеческого.

Роковое *да*! излетело со вздохом. Любовники поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули — Роман удалился.

III

Они в ручной вступили бой,
Грудь с грудью и рука с рукой.
От вопля их дубравы воют —
Они стопами землю роют.

Дмитриев

Наступил день праздника.

Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород запестрел народом; собираются стар и мал: граждане в церковь Софийскую, немцы к св. Петру. Громогласно читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом; молебствие отходит, и все спешат от обедни к обеду на городище. Сановники за столами браными ждут гостей, гости ожидают друг друга. И вот уже посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников литовцев, земляков россиян. Владыка благословляет яствы, гремит труба — и все садятся: богач подле бедного, знатный с простолюдином, иноверец рядом с православным. Все смешано, все дышит братством и дружеством; благодатное небо раскинуто одинаково над всеми. Казалось, тогда обновился пир Изяслава, князя, любезного народу, угощавшего на этом же месте любимый народ свой.

Протекли с того дня три века; изменились князья Новагорода; зато новогородцы остались те же. По-прежнему шумны, как липец, по-прежнему гнев их сердец опадает, как пена, и незлопамятная рука новогородца охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую.

Текут часы, течет вино рекою, и заздравный рог кружится между гостями, и цветные наливки румянят ланиты пирующих. Смех и шум возвещают конец обеда. Встают — и веселые, живые песни раздаются по берегу.

— Милости просим, алдерман Бруно, фогт фон Роденштейн и все господа рыцари немецкие, и все ясные паны Литвы!— говорил ласковый Юрий Воеслав приезжим.— Милос-

ти просим послушать песенок русских: певец Роман, верно, не откажется потешить дорогих гостей наших.

Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил гусли, робко окинул взором собрание и запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гаральду, витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принятому при дворе новогородском. «Князь,— говорил ему мудрый Ярослав,— ты мил моей дочери, этого довольно: меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними песнями не купишь руки Елисаветиной, покуда слава не будет твоею свахою». «Иди и заслужи меня!»— произнесла полумертвая княжна, Гаральд полетел в Грецию, сражался годы за св. крест, побеждал потому, что любил, и, презрев страсть императрицы Зои, с верною дружиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился к Новугороду, и корысти, и славу, и почести поверг к ногам верной Елисаветы.

Вдруг затихли живые струны, и светлая дума минувшего налетела на кругстоящих. Роман, зарумянясь, будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. Как подстреленный орел рвется в путах, завидя добычу, так билось в груди юноши сердце, когда в княжем саду увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку одобрения: он был счастлив!

— К играм, к играм!— прокликнул бирюч, скача на татарском коне по набережной, звуча по временам в трубу серебряную.

Расхлынули волны народа, и просторный круг образовался для борьбы и для ристания. Немцы были первыми гостями на празднике; они первые въехали за веревку. Взоры всех стремятся на оружие всадников: один из них в светлом серебряном панцире, в таких же поручах и поножах, в стальных перчатках, закрыт от золотой шпоры до золотого нашлемника, расцветшего, будто махровый мак, страусовыми перьями. Забрало опущено. Черный крест украшает левую грудь; чешуйчатый прибор гремит на сером коне рыцаря. Стальной клетчатый намордник, прикрепленный к ветвистому мундштуку, охраняет конскую голову. Молодой витязь рыщет по поприщу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выглядывающих сквозь ветви окружных садов, вьет пыль и окровавленною шпорою вперяет свой жар в хладнокровного бегуна фряжского. Другой тихо разъезжает кругом. Его броня чернее ночи, тяжко вооружение, и меч огромен. Голова мавра видна в золотом поле щита[6]; кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстрастные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные скважины глухого его забрала. Но вот расскакались против-

ники, летят навстречу, сердца зрителей бьются по скоку коней — удар!— и копья в осколках, и кони, сгрянувшись, повергլись наземь; рыцари, запутанные, задавленные латами, лежат под своими бегунами недвижимы и невредимы.

— Прекрасны ваши брони,— говорили, поднимая их, новгородцы,— но для нас несручны: русский не согласится сидеть, будто в засаде, в таком панцире и, как в тюрьме, дышать божьим воздухом сквозь решетку!

Литовские пятигорцы[7] на резвых конях внеслись на площадь. Их было трое; легкие кольчуги облекают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят за спиною. Бобровые прильбицы[8] надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат; мелькают копья, увенчанные полосатыми значками; высоки сафьянные седла их, увитые золотом, увешанные корольковыми кисточками и ременными плетнями; лядунки с снарядом огнестрельным висят на правом боку; фитили курятся в жестяных трубках. Они гарцуют и с воплем скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их на полете или, покинув повода на шею послушных бегунов, берутся за едва виденные дотоле самопалы[9] и как перуном разят перелетных ласточек и дивят народ своим проворством.

— Удалы наездники!— говорят про них меж собою новогородцы.— А не раз случалось нам щипать этих орлов задвинских.

Пращи свистят; русские стрелы решетят цель; юноши опереживают ветер, бегая взапуски; всадники скачут, сопровождаемые восклицаниями, ожидаемые наградою у меты. Борьба, любимая забава племен славянских, привлекает удальцов; кулачный бой решит победу. Уж строятся стороны: особо Софийская, особо Торговая; уже громко вызывают поединщики друг друга; двое первых бойцов выходят на средину, сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны и с правых рук — рукавицы, обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны Торговой, Буславич — от Заречья. Первый ретив, быстр, грозит взорами и словами, другой насмешливо молчалив и неподвижен. В двух шагах друг от друга колеблются они, склонясь наперед всем телом, закрыты, как щитом, левыми руками, стерегут удачного мгновенья, чтобы поразить правою — вот удар, и великан Айфал сгорел от руки Буславича; но вот и обе стены сошлись, схватились, смешались; воздух стонет от кликов; удары дождят — как вдруг раздался глухой звон вечевого колокола: изумленные борцы остановились и, еще стиснув в руках противника, прислушивались к вестовому звуку. Удары повторялись за ударами, и с каждым разом росло смятение. Новго-

родцы забыли и бой и веселье, когда общее дело зовет их на вече. Народ потек на двор Ярослава; у каждого в глазах было написано недоумение, на всех устах летал вопрос: что значит эта неожиданность и что она сулит нам?

— Граждане!— сказал посадник Тимофей собравшемуся народу.— Послы князей Василия Димитриевича и Витовта, сына Кестутиева, привезли грамоты о делах важных и неотлагаемо хотят вручить их новогородскому вечу. Когда и как дозволите вы явиться им перед собою?

— Теперь, сейчас!— воскликнули тысячи.— Допускаем их поклониться святой Софии и по старине справить свое посольство.

Послы явились. Московский боярин Константин Путный взошел на крыльцо с обнаженною головою, поклонился народу и читал:

«Василий Димитриевич, великий князь Московский, Суздальский, Ниже- и Новогородский и всея Руси, шлет поклон своим верным людям новогородцам!.. Вложив меч в ножны после кары строптивых городов ваших, я три года жду покорности новогородской митрополиту Москвы — жду и не дождусь. Ужели вечно раздумье ваше? Знайте же, что мое терпение не вечно. Это старое; желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют в ущерб православным: обрывают соседние союзные области и из вашего железа куют стрелы на русских. Призванный на княжение по роду, я и по сердцу блюду моих подданных и обязан предупредить вас от зла, тем вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем Витовтом мы ссудили войну Ордену меченосцев: требуем того же от Новагорода».

Еще не смолк гул изумления, когда литовец Ямонт гордою поступью вышел на середину и громко вещал:

«Новогородцы! вас приветствует Витовт, князь Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли витязей и всей Литвы. Я с вами в мире, а вы с врагами моими, рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете моих беглых мятежников[10]. Так ли поступают союзники? так ли платят за ласку нового брата по вере, у которого с вами одни друзья, одни враги? Новогородцы! хочу знать решительно, меня или магистра предпочитаете? Если его, то вспомните, что Витовт не за горами, и болота не щит Новугороду. Ваши леса склонятся мостом для моих бесстрашных; я пущу огнь и меч по вашей волости и подковами вытопчу нивы. Мой зять, а ваш государь седлает коня заодно со мною. Выбирайте: жду ответа!»

Невнятное жужжанье негодования пронеслось в толпе народной. Один из старших посадников[11] проводил послов до

посольского дома. Граждане, по обычаю, остались судить о слышанном. Епископ, после краткой молитвы, благословил всех на правое совещанье о святом деле родины. Все сановники удалились, ибо старинный закон запрещал им присутствовать на вечах, дабы уничтожить влияние власти. Как море, шумело собрание: разногласие волновало умы; наконец огнищанин Иоанн Завережский, муж правдивый, но миролюбивый, взошел на ступени и громко спросил позволения вымолвить слово; ему позволили, и вот что говорил он:

— Народ и граждане, вольные люди новогородцы! Вы слышали предложение князей; вы чувствуете неправоту оного, и обидность угроз, и высокомерие княжее; но вы знаете меру сил своих, и теперь благоразумие должно начертать ответ наш. Дело состоит в разрыве с лифляндцами или в войне с могучими князьями, и мое мнение: избрать меньшее, первое зло из двух необходимых. Правда, от Ганзы получаем мы все прихотные товары, но жизненные потребности в руках Василия: он может пересечь нам и путь к Каменному Поясу, а без соболей что будет с нашей заморскою торговлею? Это еще не все: немцы — приятели нам только в гостином дворе и злодеи в поле; набеги их на границы наши от Невы и Великой тому порукою; за них ли, чужеземцев, прольем кровь братьев, наведем беды на отечество? И без того еще не встали из пепла села и монастыри и запольские[12] посады Новагорода, недавно принесенные в жертву, великодушно, но бесполезно. Прошлый раз Василий вооружил двадцать городов; теперь один Витовт приведет более, и тяжкая сила задавит волю. Не лучше ли ж до поры до времени уступить некоторые выгоды, чем вдруг потерять все?

— Правда, правда!— закричали многие.— Куда нам ведаться с двумя сильными врагами?

Тогда, кипя досадой и гордым мужеством, Роман просил слова.

— Говори!— зашумели все.

Роман говорил:

— Вольные местичи вольного Новагорода! Не диво было, когда послы князей винили и стращали нас по-своему; дивлюсь, как новогородец мог предложить меры, столь противные пользам соотечественников! Мы поклялись управляться в делах церкви своим епископом; мы целовали крест на мир с рыцарями — ужель будем играть душою, чтоб угодить Витовту? Ужели новогородская совесть отдана в приданое за его дочерью? Недовольный клятвопреступством, он хочет и нас сделать предателями, требуя, чтоб мы выдали Василия и Патрикия на участь Скиригайла и Нариманта, им изведенных; но можем ли,

захотим ли нарушить искони славное гостеприимство наше! Изменим ли заповеди евангельской, повелевающей прощать и благотворить врагам? Витовт, забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится, что разил врагов Новагорода, пирует с зятем в Смоленске и вооружает его на немцев. Василий жалуется на них, чтоб обвинить нас, но от кого будет сам получать парчи, бархаты, сукна, оружие? Чрез какие ворота потекут в Русь искусства, рукоделия и все новые изобретения стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? Разорвется узел торговли, и обедневший Новгород — верная добыча первому пришельцу. Вспомните, граждане, старинную пословицу: «Пустой мех стоять не может!»

Громкие знаки одобрения заглушили речь Романа. Когда утихло, он продолжал:

— Говорят, что ключ от новогородской житницы в руках Василия; но разве нет хлеба за морем? Дорогою же к золотому сибирскому дну завладеть нелегко; в Двинской области у нас есть войско, которое отстоит города, примышленные копьем в поле, а не поклонами в Орде; здесь найдутся люди, чтоб их выручить. Враги наши ужасны: зато в них нет единодушия; Витовт, роскошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого пожара и теперь, собираясь громить монголов, не завяжется в битву с соседами. Василий могущ, опасен — тем сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предлагают купить мир временною уступкою прав своих и вечным стыдом родины. Граждане! разве не испытали вы, что уступки становятся чужим правом? разве серебряным лезвием отразили предки булат Андрея Боголюбского? Наш колокол не дает спать в Кремле Василию; заснем ли мы под грозою? Или забыли замученных торжецких братий своих[13], или нет в Новегороде сердцев новогородских, иль не стало мечей, или мы разучились владеть ими? Пускай же восстают тьмы русских на своего прадеда, на великий Новгород: за нас наша мать, святая София!

Скоро окончилось вече, и каждый понес домой страх или надежду в сердце.

IV

Ах ты, душечка, красна девица,
Не сиди в ночь до бела света,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди к себе друга милого!

Народная песня

Стих, стемнел шумный Новгород; гасли огни в окнах граждан и чужеземцев: сон смежил очи заботы. Покойно все на бе-

регах Волхова; только ты не спишь и не дремлешь, прелестная Ольга! И сильно бьется сердце девическое, высоко вздымается грудь твоя; ожидание, страх и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распустила ей русую косу, сняла с нее праздничные ферези, прочитала молитву вечернюю, спрыснула милую барышню крещенскою водою, осенила крестом постелю, нашептала над изголовьем и с наговорами благотворными ступила правою ногою за порог спальни. Добрая старушка! для чего нет у тебя отговоров от любви-чародейки! Ты бы вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, от истомы сердечной. Или зачем сердце твое утратило память юности? Ты бы провидела страсть милой Ольги, заглушила б ее еще в цвету — советами и рассеянием. Но ты сама раздувала пламень, сама напевала ей песни Романовы, хвалила его нрав и стать. Беда юноше, когда ветреная красавица только думает, что его любит; горе девушке, если она любит неложно! В шуме боевой, походной жизни, с чужеземными красавицами забывает молодец прежнюю милую, но в тиши девичьего терема гнездятся томительные страсти, и любовь глубоко впивается в невинную душу. Ах, зачем, добрая няня, ты не ведаешь отговоров от любви-чародейки? Зачем старостью отуманились твои очи?

Но вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и робкою белоснежною рукою осторожно отдергивает камчатные завесы полога — прислушивается: дыхание замирает в груди, блеск лампады перед иконою обличает волненье беглянки. Трепеща, надевает она соболью шубку и наконец — решается встать с постели; долго ищет ножкою по холодному полу туфлей сафьянных — каждый скрип половицы бросает ее в холод. Красавица отворила окно. Все было мертвенно, тихо в окрестности, и месяц плыл в зыбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в нивах соседних; изредка бренчанье цепей на собаках, стерегущих немецкий гостиный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склоняясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий вдали Волхов, и тоска по родине сдавила ее сердце. «Прости в последний раз, все, что семнадцать лет меня радовало! Простите, добрые, милые родители!» Ольга залилась горючими слезами, и невольно упала на колени пред спасовым образом, и в теплой молитве излила свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярче слышался голос раскаяния. «Где найдешь ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей, тобою убитых? Проклятие отца отяготеет над тобою; грызение совести и общее през-

рение будут преследовать тебя в жизни и заградят грешнице небо; ты истаешь слезами, иссохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок засыплет глаза твои, твое имя надолго будет укором!» Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать низлетела на ее сердце светлою мыслию. «Нет! не огорчу, не обесславлю побегом родителей!— сказала она с благородною твердостию.— Роман ослеплен любовью, но он меня послушает — я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна: зато невинна!» Победа над собою пролила небесную отраду в утомленные чувства красавицы, и ангел сна осенил ее крылом своим.

Покойся, душа непорочная! Ты не одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы, не одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, ни поцелуй сострадательной матери, ни самое время, и долго тебе ронять их на ветер, долго ждать друга милого!

V

Под звездным небом терем мой,
И первый друг мне — мрак ночной,
И мой второй товарищ ратный —
Неумолимый нож булатный;
Товарищ третий — верный конь,
Со мною в воду и в огонь;
Мои гонцы неподкупные
Летуньи — стрелы каленые.

Старинная песня

Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софийские ворота Новагорода и на вороном коне поскакал по дороге Московской. Быстро, не озираясь, несся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от изменнической стрелы. Пал холодный туман на поляны; тяжкая грусть налегла на сердце. Ветер взвевал кудри Романа; широкие полы опашня трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремена. Протяжный звон службы всенощной раздался с седой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, выезжая в дорогу, не осенил себя крестом, и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел «богородице дево, радуйся», и трижды склонялся к луке поклонами молитвенными.

«Мучительно оставить милую,— мыслил Роман,— когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски, но, видно, бог не хотел сою-

за тайного, неблагословенного; да будет воля его святая!»

С думою на угрюмом челе пустился он далее. Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает: то же самое было с Романом.

Долго ехал молодец по дороге-разлучнице; кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков, на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепенется птичка; только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. Настала полночь, час привидений, но наваждение ада бессильно против невинности, ужасной ему, как песнь петуха, по преданию. Чего ж нам страшиться за нашего витязя, когда теплая вера ему покровом!

Частой рысью спускался Роман с крутого берега Вишеры на утлый мост, через нее брошенный; громкий свист пробудил его из глубокой задумчивости, другой свисток отозвался в глуши леса. Конь вздрогнул и поднял голову — по телу всадника пробежал мороз. Узкий бревенчатый мост, опирающийся на шаткие козлы, лежал перед ним, сзади круть берега, кругом седой бор. Шатром перекачнувшиеся ели заслоняли месяц, поток невидимый журчал внизу между камешками. Рассуждать было бы напрасно: Роман выправил рукоять сабли и, озираясь, проехал до половины моста. Чуткий конь прял ушами, храпел, робко ступал — но все было тихо: Роман думал, что ему почудилось.

— Стой, или убью!— загремел неведомый голос, и пять удальцов, выскочив из-за обрушенных пней из-под моста, заступили ему дорогу.

— Прочь, бездельники!— вскричал бесстрашный Роман, и дерзкий, схвативший под уздцы его лошадь, покатился от сабельного удара.

— Режьте его!— воскликнули разбойники, и кистени засвистали вокруг витязя. Бодро отмахивался он от наступающих: пробиться и ускакать была его единственная надежда, но бог судил иначе. Блестящий нож испугал бегуна Романова; он с маху рванулся вбок, скользнул и полетел с мосту и там, на дне ручья, всей тяжестью тела придавил разбитого, бесчувственного всадника...

Светало.

Вкруг умирающего огонька спали нераздетые разбойники; на их бранных медью поясах сверкали длинные ножи. Самострелы, колчаны, кистени висели кругом на ветвях; три коня под седлами ели пшено вместе с Романовым. У переметных сум, полных добычею, дремал сторожевой, с свистком в руке;

атаман, с завязанною головою, лежал на волчьей коже и читал какую-то грамоту: вот какое зрелище представилось изумленному Роману, когда он опамятовался.

«Где я?»— спрашивал он у самого себя. Как давно забытый, зловещий сон, мелькало в его памяти прошлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, о вече, о любви, принесенной в жертву отечеству, о вине пути своего, наконец со страхом схватился за грудь... На ней уже не было хранительной сумки, ни данных ему наказов, ни золота, ему вверенного. Обморок снова охватил чувства Романа, испуганного сею важною потерею.

Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с Романовой груди, и гласно повторял каждую речь. Послушаем, что в нем написано.

«Наказ тысяцкого и посадников новогородских боярскому сыну Роману Ясенскому! Добрые люди знают тебя за твою правду; мы уверены в твоей верности: мы поручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не ждет бороды, а нам не старого, а бывалого надо. Внимай! Великий князь грозится на нас войною. Не боимся ее, но не хотим лишь крови христианской, если можно того избегнуть; к этому один путь — золото. Бояре московские, сдружась теперь с баскаками, любят стольничать добром народа. Собирают татарской рукою двойные подати, продают правду, обманывают князей и простолюдинов. Итак, спеши в Москву; никем не знаемый, ты можешь выдать себя за иногородца и тайком склонять на нашу сторону княжих сановников. Не жалей ни казны, ни красного слова; представь им несправедливость требований, неверность счастия в битве, силу Новагорода и упорство новогородцев. Корысть и нелюбовь бояр к трудностям похода будут стоять заодно с тобой. Князь молод, и может, ими отговоренный, он отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, на ласки придворных,— с ними дружись, а за саблю держись. Замечай сам за всеми, поверяй все собою. Спи и гляди, и чтоб первая боевая труба слышна была на Ильмене, чтоб не пал на нас князь, будто снег на голову. Крепко держи наш совет на уме, тайною запечатлей осторожность исполнения, а в остальном указ своя голова. Когда приложишь сердце к делу правому — святая София тебе поможет и государь Великий Новгород тебя не забудет. С богом!»

Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к лежащему без чувств Роману, кропил его студеною водою, лил вино в посиневшие губы — все напрасно: смертный сон оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь в Романе — мгно-

венный румянец, как зарница, мелькнул на щеках его, он поднял отяжелевшие веки и удивился, увидя себя на коленях разбойника, между тем как другой окуривал его жженым опереньем стрелы.

— Здравствуй, земляк!— сказал радостно атаман, смягчая грубый свой голос.

Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это, и сомнительный взор его остановился на приветствующем — и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткрытых уст.

— Понимаю!— возразил, усмехаясь, атаман.— Тебе чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буйную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невестой; не дивись этому: гонец новогородский всегда будет у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты новогородец! Но, говорят, от судьбы на коне не ускачешь, и я нехотя стал твоим грабителем. Ободрись, однако, добрый молодец! ты не в худые руки попал: я не век был разбойником.

С сими словами он помог Роману встать, подвел его к огню, тер целительною мазью его ушибы и потчевал вином кипящим.

— Благодарю!— отвечал Роман.— Я еще не пью питья хмельного; оно для меня как яд.

— Ах, кому оно полезно!— сказал атаман, вздохнувши.— Многих бы грехов не лежало на моей совести, когда бы вино не мрачило разума. Буйные страсти от него кипели гневом, и невинная кровь лилась. Ты имеешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и презрением; но было время, в которое и моя душа светлела, как хрустальное небо, в которое мог бы я встретить твои взоры своими, не краснея. Меня сгубила роскошная, разгульная жизнь. Одиннадцать лет тому назад весь Людинский конец пировал и бражничал за моими столами, и прозвище хлебосола Беркута гремело на Волхове. Всего было разливанное море — но с ним скоро утекло наследство отеческое. Я привык жить шумно, блистательно, весело; я не мог снести бедности и правдивых укоров — ложный стыд повлек меня с вольницею новогородскою на берега Волги, нечестным копьем добывать золота[14].

Умолчу о злодейском молодечестве моих товарищей, умолчу о пылающем Ярославле, о разграбленной Костроме, о залитом кровью Новегороде Нижнем. Русские губили русских, продавали их в неволю болгарам; добром одноземцев запружали Волгу и Каму. Небесный гнев постиг святотатцев: шайка наша встретила гибель у стен астраханских. Князь монго-

лов, Сальчей, заманил ее к себе, упоил, усыпил, и неосторожные заплатили головами за коварное угощенье. Нас двое избегли побоища, и я с раскаянной совестию спешил на родину, где ждали меня новые беды. Война с Димитрием кончилась, но не устал в новогородцах дух раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостию, и три Софийские конца вооружились против концов Торговых; грозили друг другу, разметали мост волховский, разграбили, срыли под корень домы бежавшего посадника и всех его сторонников. Я был жених его внучки, и буйная толпа, предводимая моим завистным соперником, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменником. Я бежал. Месть глубоко заронилась в оскорбленное сердце; как лютый зверь стерег я по дебрям и оврагам своего злодея,— и он пал от моего железа, но с ним схоронилось мое счастие. Его труп лежит непереступаемым порогом между людьми и мною. Ужасная клятва вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я напрасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, в крови и в вине утопить чувства человека. Мне всюду чудятся тени, и вопли, и запах тления. Солнце в день кроваво, и звезды в ночи как глаза мертвеца, и кажется, листья в лесу шепчут невнятные укоризны. Мутный сон не освежает очей моих, а палит их! О, как тяжки мучения душегубца — он не может забыть ни былого, ни вечного будущего!

Роман прослезился, внимая раздирающему голосу преступника.

— Счастливец ты!— продолжал Беркут.— У тебя есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало злодеям и в этом.

Он закрыл лицо руками. В безмолвной думе пролетел час рассвета.

Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого леса. Конь Романа кипел под седлом; Беркут прощался с гостем.

— Вот твои письма,— говорил он,— и твое золото; оно невредимо. Спеши, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новогородская. Новогородцы лишили меня счастия в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю свое отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом!

Роман поблагодарил атамана и, чудясь виденному и слышанному, выехал заглохшею тропою из чащи в сопровождении одного из разбойников.

VI

> «Ты без союзников»
> Мой меч союзник мне
> И сограждан любовь к отеческой стране.
>
> *Озеров*

Три дня ждали ответа послы княжие; в четвертый позвали их на Ярославль двор. Уже вече было созвано: посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Бояре, люди житые, купцы и народ толпились за ними; все кипело, шумело и волновалось. Послы взошли на возвышение, поклонились на все четыре стороны — посадник Юрий дал знак, и жужжанье умолкло.

— Послы московские и литовские! по своей воле и старине мы совещались миром о предложениях государей ваших, и вот что присудило вече в ответ им.

Посадник разогнул и громко прочел грамоту:

«Великому князю Василию Димитриевичу благословение от владыки, поклон от посадников, от огнищан, от старейших и меньших бояр, от людей торговых и ратных и всех граждан новогородских! Господин князь великий! у нас с тобою мир, с Витовтом мир и с немцами мир».

— Только!— примолвил Юрий, завертывая висячие печати в свиток и отдавая оный изумленному москвитянину.— Князю Витовту тот же самый ответ от нашего государя, великого Новагорода.

Литовец получил одинаковый свиток, и раздались рукоплескания. Ямонт обратился к народу.

— Новогородцы!— сказал он.— Именем и словом Витовтовым спрашиваю еще раз: хотите ль покоя или брани?

— Хотим дружбы со всеми соседами!— воскликнули тысячи голосов.— Но, имея щиты для друзей, есть у нас и мечи для недругов!

— Война, война!— воскликнул разъяренный литовец, удаляясь.— Гибель области Новогородской!

— Пусть Витовт творит, что хочет; мы сделаем, что должны!— говорили старейшины. Тогда посол московский начал слово к предстоящим.

— Новогородцы! Еще есть время одуматься: еще гром Василия не грянул над Новым-градом за строптивость, неправду и волжские разбои ваши. Как отец, он ждет раскаяния сынов заблудших; как государь, накажет ослушников. Выбирайте любое: или исполнение требований моего государя, или гнев его и месть Новугороду!

Упреки Путного раздражили народ: ропот разлился в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан выступил тогда на крыльцо и, горя негодованием, отвечал:

— Москвитянин! вспомни, что ты говоришь не слугам князя: Новгород еще не отчина Василия. Напоминать старое напрасно: презрение людей и мщение божеское наказали расхитителей поволжских и двинских. О разрыве с немцами ты слышал ответ веча — а что им сказано, то свято. Князь твой целовал крест, чтоб держать нас по старине и по грамоте Ярославовой: для чего ж теперь изменяет слову, требуя неправедного?

— Обидные речи!— воскликнул Путный.— Вы сторицей за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени пожара, и казнь Торжка повторится над Новым-градом!

— Мы докажем, что не забыли ее!— зашумели все — но у нас не найдется, как в Нижнем, другого предателя Румянца[15].

— Мы докажем, что не забыли ее!— зашумели все.— Но бога и Великого Новагорода!

Московский посол удалился при буйных кликах народа.

VII

Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы?
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
Средь копий, средь мечей?

Батюшков

Между тем Роман ехал далее и далее. Скоро остались за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними пожарами. Дороги пустели; редкие обозы тянулись по ним, и гордый новогородец кипел в душе негодованием, видя, как смиренно сворачивали они в сторону перед каждым татарином, который, спесиво избочась, скакал на грабленом коне. Между полуразрушенными деревнями, разбросанными по два, по три двора, между заглохшими нивами возвышались невредимые монастыри и церкви; расчетливые моголы не смели касаться святынь — сего последнего убежища угнетенного ими народа, которому оставили они одно имущество — жизнь, одно оружие — терпение, одну надежду — молитву. Развращение нравов, эта ржавчина золота, не перешло еще от бояр к бедным; в дымных, покрытых соломою хижинах находил Роман гостеприимный ночлег, и радушное «добро пожаловать!» встречало его у порога. Хозяева угощали проезжего чем бог послал и, наутро, провожали его как родного, от сердца желали ему доброго пути и

счастья. «Для меня нет счастья!— думал грустный Роман.— Оно поманило мне надеждой, будто песнею райской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночи».

На девятый день к вечеру показались башни Кремля, золотоверхие церкви и многоглавые соборы московские; заревые тени играли на великанских стенах города; слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон вселял какое-то благоговение! Радостна, прекрасна была погода, но Роман вспомнил о первом своем проезде через Москву белокаменную, когда он был так счастлив неопытностью, так удивлен, так занят каждою безделкою!.. А теперь, теперь!.. С тяжким вздохом проехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка за ним запала.

Роман в точности выполнил поручение веча. По долгу, но против сердца, казался веселым и приветливым, нашел друзей между сановниками двора, настроил многих своею мыслию, узнал мысли великого князя; они были нерадостны новогородцам. Юный Василий далеко превзошел отца своего в науке властвовать, хотя и не наследовал от героя Донского ни прямодушия, ни храбрости личной. Он не привык быть самострелом в руках вельмож: слушал их и делал по-своему. Разметная грамота была отослана к новогородцам с объявлением войны; но Роман заране предуведомил купцов новогородских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в руки грозного князя; товары их не были разграблены. Новогородцы радовались, Василий негодовал.

Прошла зима, и нет приказа от веча: Роман тщетно ждет, с ноющим сердцем, тайного гонца с родины.

Сон, единственный друг несчастных, веял над изголовьем Романа, измученного тоскою разлуки и неизвестностью будущего. Льстивые сновидения сближали его с милою; сладко билось сердце от поцелуя мечтательного — вдруг, сквозь сон, слышит он скрып двери, бренчанье оружия — чувствует, кто-то схватил его руки; силится встать — его вяжут, клеплют рот, обвертывают глаза, влекут, бросают в телегу и скачут; но куда? но зачем? Он приходит в себя уже в тесном, сыром подземелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что он в темнице. Тогда-то отчаяние врывается в чувства пленника, и силы души цепенеют. Все кончено. Роман узнан: позорная казнь ожидает его.

Унылый звон колоколов возвестил уже первую неделю великого поста, а позабытый Роман все еще глотает ядовитый воздух тюремный. Однажды вошел к нему боярин Евстафий Сыта, недавно бывший княжим наместником в Новегороде,— и отступил от изумления.

— Тебя ли, Роман, вижу я?— воскликнул он.— Когда и как ты сюда попался?

Роман рассказал, что его схватили как врага Москвы.

— Сожалею о твоей участи,— молвил Сыта,— но, посланный великим князем творить за него по тюрьмам милость и милостыню, я могу испросить тебе свободу перед его исповедью, однако ж не иначе как с условием — остаться здесь навсегда. Послушай, Роман! я знаю твои достоинства и знаю, как мало их ценят в Новегороде. Здесь не то; даю мое слово, что князь осыплет тебя дарами и почестями; сделаю больше: издавна любя тебя, отдаю за тебя свою дочь, которая хорошо знает Романа, которою не раз и Роман любовался. Я уверен, ты не отказываешь,— продолжал он, протягивая руку,— не правда ли, старый знакомец?

— Неправда!— отвечал Роман с хладнокровием.— Я не продам своей родины за все блага в мире, не хочу вести переговоров с врагом Новагорода, когда не в руках, а на руках моих гремит железо! Если б я принял твое предложение, бывши на воле, то я стал бы изменником, но теперь сделался бы презрительным трусом, нет, Евстафий, мне, видно, одна невеста — смерть, и одной милости прошу у князя: не морить, а уморить меня поскорее.

— Ты получишь ее, упрямая голова!— с гневом сказал Сыта, хлопнув дверью.

С гордою, утешительною мыслию: умереть за любовь и отечество — ждал Роман неминуемой смерти.

VIII

Как мне слушать пересудов всех людских!
Сердце любит, не спросясь людей чужих;
Сердце любит, не спросясь меня самой.

Мерзляков

Быстро текут слова повести; не скоро делается дело. Прошла зима; лето исчезло, как утренняя тень; наступили вновь зимние вьюги, а Романа нет как нет с Ольгою. Вешнее солнце растопило синий лед на Ильмене; уже резвые ласточки, рея по воздуху, целуют пролетом поверхность Волхова; все оживает, все радуется—одной Ольге нет радости! И кому же светел день

сквозь слезы? кому не долги короткие ночи, когда измеряют их кручиною? Увядает краса милой девушки, будто радуга без дождика, и бледность изменяет тоске сердечной. Напрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в жемчужные кружева, в алмазные серьги и запястья; напрасно молодые подружки забавят Ольгу играми и песнями: она дичится игр юности, и петли ее терема ржавеют мало-помалу.

С утра до позднего вечера она любит сидеть под окном светлицы и ждать, кого не надеется увидеть, кого уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы пробуждалась при мысли, что Роман уехал, не простясь с нею, не сказав ни слова, куда, для чего. Часто ревность возмущала душу ее и придавала возможность призракам подозрительного воображения, но скоро любовь укрощала бурю. «Нет! он не может изменить,— говорила с собою невинная,— потому что я любила его нежно и нераздельно. Кто не верит чистой любви, тот недостоин взаимности. Если б можно было скинуться птичкою, с каким бы нетерпением полетела я по свету искать милого: когда он жив, наглядеться на него; когда ж убит, умереть на его могиле».

Горько плакала тогда Ольга, склоняясь на грудь доброй матери, и редко, ей в угоду, мелькала улыбка на лице задумчивом, как блудящий огонек над кладбищем.

— Ольга! полно горевать, полно упрямиться!— не раз говорил ей Симеон.— Слезами не наполнить моря; живым безрассудно мертвить себя для умерших; твой Роман пропал без вести навеки. Забываю все прошлое, но исполни теперь мою волю, порадуй отца на старости, ступай замуж, дитя милое, чтобы не угасла поминная свеча по мне безродном! Выбирай... женихов именитых много!..— И Симеон нежно целовал дочь свою, и рыдания Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раздосадован, выходил Симеон из девичьего терема. «Это пройдет!»— думал он и обманывался, как прежде.

Наконец созрела гроза на Новгород; Андрей Албердов, воевода Василия, ворвался в Двинские области, принудил жителей задаться за великого князя и осадного воеводу края, новогородского боярина Иоанна с братьями сделал изменниками отчизне. Послышав о том, новогородцы сзвонили вече.

— Князь идет на нас: что делать?— спросили сановники.

— Предложить мир и готовиться к битве!— воскликнули все единогласно.

— Посадник Богдан был отправлен в Москву и воротился без успеха; Василий принял их, но не хотел слушать.

— Да будет!— сказали тогда оскорбленные новогородцы.— На начинающего бог!

Обнялись, как братья, и под благословением епископа поклялись пасть до одного. Кликнули клич: люди житые поскакали во все пятины вооружать, собирать, одушевлять ратников, исполчить старого и малого. Симеон вызвался поднять всю пятину Деревскую, как самую опасную по соседству с землями Московскими.

В кольчатых латах зашел он проститься к жене и дочери.

— Прощай, Ольга!— сказал Воеслав решительно.— Я еду на службу Новагорода: чему быть, того не миновать, но если бог судит воротиться — мы отпируем твою свадьбу с Михаилом Волотом: он добрый слуга вечу, молод, пригож и богат — очень богат!— примолвил Симеон, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со взором дочери.— Понравился мне — и тебе полюбится. Готовься!

Отчаяние помрачило взор Ольги: она не видела, как священник окропил отца ее святой водою, как в безмолвии все сели, встали и прощались по обряду проводов русских; не чувствовала, как Симеон прижал ее к своей груди, благословил и уехал. Бедная девушка! какая участь ждет тебя?

IX

Крепка тюрьма, но кто ей рад.

Русская пословица

— Приветствую тебя, первый гость обновленной природы, милый певец жаворонок! как весело вьешься ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в поднебесье! Странник воздушный, ты не ведаешь, как грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как мучительно за стеной тюрьмы видеть весну и жизнь и каждый миг ожидать смерти. Слетай, жаворонок, на мою родину святую и принеси оттоль весточку о милой Ольге: любит ли она Романа по-прежнему, помнит ли друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней и об родине!

Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь решетку окна жаворонка.

Спустилась ночь — и кто-то стукнул в косяк отдушины.

— Спишь или нет, товарищ?— шепотом спросили Романа.

Роман отозвался, и на вопрос: «Кто там?»— отвечали:

— В этот раз добрые люди.

— Зачем?

— Спасти тебя от плахи.

— А эта цепь, эта решетка?

— Распадутся, как соль, от нашей разрыв-травы.

И в то же мгновение, обернув кушаками железные полосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать их. Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два удальца разбили его рогатки; по веревке перелезли они через монастырскую стену — на коней, и вот уже Москва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, какому чуду приписать свое избавление, а его проводники скакали вперед, не говоря ни слова.

Наконец они своротили с большой дороги в лес дремучий и поехали тише. Через полчаса свисток раздался и откликнулся, и Беркут с тремя наездниками выехал к ним навстречу: загадка Романова разгадалась.

— Здравствуй, земляк!— сказал атаман.— Я рад, что удалось сослужить тебе службу, и вот каким образом: мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда забросил тебя Василий. Чтобы не попасть в западню, надо было ощупать все закоулки, и в одном погребе вместо бочонка с золотом нашли они тебя, невзначай, да кстати; говорю кстати, потому что через три дня (это узнал я от болтливого приворотника) твою голову расклевали бы птицы, как вишню. Медлить было некогда, и ты видишь, каково успели мои молодцы, из которых каждый стоит самой высокой виселицы. Теперь, Роман, ты волен, как рыбка; куда ж едем? Отдыхать ли в Новгород или биться к Орлецу?

— Туда, где мечи и враги!— воскликнул пылкий юноша; они поворотили к области Двинской.

Оставя в стороне Дмитров, Бежецкий, Красноходмский, избегая встреч с московскими кормовщиками и отсталыми, они без всякого приключения пробрались околицею за три часа езды до Орлеца, который с самой христовской заутрени был в руках изменников-двинян, предводимых княжим наместником Федором Ростовским. Там заметили они в стороне огонек. Двадцать всадников отдыхали на поляне; к копьям привязаны были кони; одни поили их из шишаков, другие лежали вкруг огня, смеялись и пили. Все доказывало непривычку сих новобранцев к военному делу: никто не думал о страже; кольчуги развешаны были как будто сушиться, луки распущены и сабли сброшены в одно место; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе. Роман долго не мог понять, что за остроконечная надета на нем шапка, и с трудом разглядел, что он вместо тяжелого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой. Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, прокрался тихонько и подслушивал их разговоры: пленный обратил речь к десятнику:

— Скажи мне, добрый человек, куда вы меня везете?

Десятник, который по праву старшинства, казалось, не упустил случая поздороваться с круговою чаркою, оборотился к нему, зевнул вслух — и замолчал.

— Неужто вы, москвичи, только умеет такать?— продолжал пленник.

— Когда бы и вы, упрямые новогородцы, держали свои языки на привязи, ты, старый затейник, спокойно бы сидел дома и против воли не плясал бы по канату до Москвы.

— Что же там со мной сделают?

— Что сделают? Отправят на покой!— сказал десятник, улыбаясь и начертив пальцем букву П на воздухе; ратники захохотали, а наш остроумец охорашивался с самодовольным видом.

— Беркут!— сказал Роман атаману.— Спасем новогородца! Нет нужды, что их двадцать человек, а нас семеро: у страха глаза велики. Впрочем, как хочешь, я и один решаюсь на все.

Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком: «Сюда, товарищи!»— обок Романа налетел грозой на оплошных москвитян: через мгновенье уже не было ни одного противника. Самые храбрейшие разбежались; другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал полоненного и узнал в нем — Симеона.

— Добрый, великодушный юноша!— говорил Воеслав своему избавителю, с чувством сжимая его руку.— Я не стою тебя! Но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовский. Теперь время дорого: посадник Тимофей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а между нами и Орлецом еще двадцать верст и только остаток ночи: поспешим!

Роман с радости о битве и невесте перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою.

На рассвете полки новогородские облегли ров города, остановились на перелет стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью, или он возьмет город копьем.

— У этого копья еще не выросло ратовье!— отвечали с насмешкою москвитяне.— Впрочем, милости просим: мы готовы — мечом охристосоваться с дорогими гостями.

— Вперед!— воскликнули воеводы, и ливнем прыснули стрелы.

Новогородцы лезли и падали в тинистый ров, зажигали деревянные стены, вонзали в них тяжкие стрикусы[16]. В это мгновение приспели наши путники.

— Други!— сказал Беркут разбойникам.— Мы долго жили чужбиной без чести,— погибнем теперь за свою родину со славою. Туда!

Он указал на московское знамя, веющее на крепости новогородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна: русские поражали и отражали русских; победа колебалась, как вдруг в дыму и огне, будто ангел-разрушитель, явился Роман на гребне бойницы и скликал дружину свою — но подгоревшая твердыня рухнула, и витязь исчез в ее обломках...

Затихла битва. Труба новогородская прозвучала на отступленье, но осажденные уже не имели сил на новый отпор, и крепость сдалась победителю.

X

Отворяйся, божий храм!
Вы летите к небесам,
Верные обеты!
Собирайтесь, стар и млад,
Сдвинув звонки чаши, в лад
Пойте: многи леты!

Жуковский

В Новегороде носились печальные слухи: говорили о какой-то несчастной битве, о погибели первейших воинов, о приближении войска княжего. Народ толпился по площадям; все спрашивали, многие сомневались, никто не знал истины.

В один из сих вечеров, волнуемая страхом Ольга молилась за спасение отца от опасностей и невольно включала в молитву свою имя любезного. Вот слышит она бег коней по Михайловской улице, топот ближе и ближе,— пронеслись мимо сада: ворота заскрыпели, и два всадника взъехали на двор, слезли с коней и, к удивлению Ольги, привязали их к почетному кольцу[17].

— Это батюшка, батюшка!

Весь дом поднялся на ноги; огни забегали по сеням, и Ольга бросилась в объятия отеческие.

— Тише, тише!— говорил Симеон ласково.— Ты задушишь меня своими поцелуями — не худо бы поберечь для твоего жениха!

Это приветствие как громом поразило Ольгу.

— Милый батюшка! не делай дочь свою несчастною, избавь от постылого замужества, я в святом монастыре окончу дни свои и, может быть, умолю бога, что прогневила родителя.

— Полно, полно, Ольга, что за черные мысли? К чему такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не пройдет и получаса — и ты будешь кружиться и петь, словно ласточка.

— Нет, никогда, ни за что!

— Эй, дочь, не ручайся за свое сердце — да вот, кстати, и жених; он поможет развеселить несговорчивую!

Ольга вскрикнула и закрыла лицо руками, увидя входящего юношу; но скоро любопытство преодолело: сквозь пальцы, украдкой взглянула она на приезжего.

Пред нею стоял Роман Ясенский.

— Обнимитесь, дети!— сказал Симеон, сложив руки их.— Благословляю вас на брак, живите мирно и счастливо и твердите своим детям, что бог, рано или поздно, награждает бескорыстную любовь!

Долго еще проповедовал Симеон, но влюбленные не слыхали ни слова, и долго б длился поцелуй свидания, когда бы отец не прервал их восторга и своего нравоучения.

Весь город праздновал на свадьбе Романовой с тем большим весельем, что победы доставили новогородцам выгодный мир с Василием, на всей их воле и стране. Ольга с гордостию шла под венцом подле Романа, и взор ее, брошенный на подруг, говорил: «Он мой!»—«Как мила невеста!»— шептали мужчины. «Какая прелестная чета!»— твердили все.

Молодые жили благополучно. Симеон, часто любуясь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал брату коней и слонов, и добрый Юрий говаривал: «Брат и друг! не прав ли я в выборе?» и Симеон, с слезами умиления в глазах, отвечал: «Так я *был* виноват!»

ПРИМЕЧАНИЯ

* Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 1398 годов (считая год с первого марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествия и лица, в ней упоминаемые, представлены с неотступной точностию, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников. Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим по-

кажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен, сказок. Предмет сей книги не позволяет мне умножить число пояснительных цитат, но читатели, для проверки, могут взять 2-ю главу 5-го тома «Истории государства Российского» Карамзина: «Разговоры о древностях Новагорода» преосвященного Евгения и «Опыт о древностях русских» Успенского.

[1] Так назывались на Руси турниры. См. 5-й том. «Ист. гос. Росс.» Карамзина, примеч. 251.

[2] Брак сопровождаем был в старину множеством обрядов: перед выездом в церковь жених и невеста ступали на ковер, под венцом стояли на соболе, по приезде в дом жениха невесте расплетали косу, которой она уже не могла показывать. Во время пира подруги молодой пели приличные песни. При входе в спальню новобрачных осыпали хмелем и деньгами, чтобы они жили весело и богато. Постель стлалась на 39 снопах разного жита, и один из дружек, с саблею в руке, должен был разъезжать всю ночь кругом брачной клети или сенника.

[3] Твердислав был посадником новгородским в 1219 году, о его великодушии смотри «Ист. гос. Росс.» Карамзина, том 3, стр. 172.

[4] Тамерлан, или Тимур, с московского пути обратился на юг России, как пишут современники, в самый тот день (26 авг. 1395 года), когда москвитяне встретили сию чудотворную икону, нарочно из Владимира привезенную.— «Ист. гос. Росс.», том 5.

[5] Рюэнь — сентябрь.

[6] Военно-торговое общество братьев *Шварцейнгейптеров*, существовавшее в Ревеле и Риге, в гербе своем имело голову с. Маврикия, который был мавр по роду и воин по званию.

[7] Пятигорцы — род легкой кавалерии на образец венгерских пятигорцев. См. *Opis starozitny Polski przez T. Swieckiego.* Старинное описание Польши Т. Свецкого.— *Ред.*

[8] Прильбица — шлем, а иногда наличник (*visiere*).

[9] Самопалы — пищали или ружья. Витовт употреблял огнестрельное оружие при осаде Витебска в 1395 году. У нас вошло оно в употребление немного позже.

[10] Здесь Витовт говорит о Василии Иоанновиче, князе смоленском (который, видя свое владение изменою захваченное, Смоленск сожженный и разграбленный, бежал от братоубийцы Витовта в Новгород) и литовском князе Патрикии, сыне Нариманта, которому новгородцы дали в управление приневские области.

[11] Действительный посадник назывался *степенным*, прежние посадники *старшими*. Каждый конец, или часть, города имел своего *старосту*, делился на военные и торговые *сотни*. Первейшие *местичи*, или граждане, назывались *огнищанами* и *житными людьми*. В *боярское* достоинство, равно как и во все должности, избирал народ миром, то есть обществом; но оно не было наследственным. Простой, или черный, народ пользовался одинакими

правами с прочими сословиями. Купцы, или *гости*, имели свою особую расправу — в думе.

[12] Запольские — загородные.

[13] Первая торговая и смертная казнь была при Димитрии Донском. Василий усугубил ее. Пленных граждан Торжка, числом 70, терзали на площади Московской. «Они исходили кровию в муках; им медленно отсекали руки и ноги и твердили, что так гибнут враги государя московского». «Ист. Г. Р.» Кар., том 5, стр. 135.

[14] Это было в 1385 году. Привыкнув грабить области рыцарей меча, новогородская вольница отправлялась в ладьях (ушкуях) по рекам и грабила чужих и своих.

[15] *Румянец*, вельможа Борисов, присоветовал ему впустить Василия в Нижний и предал своего прежнего князя в руки сего последнего.

[16] *Стрикусы, пороки* — стенобитные орудия, род таранов (*belier*).

[17] На двор именитого человека мог въезжать только ему равный или высший,— если верить песням. В коновязном столбе бывали всегда три кольца: одно железное, другое серебряное, третье золотое.

А. КОРНИЛОВИЧ

О ПЕРВЫХ БАЛАХ В РОССИИ*

Посвящено Кат. Ив. Гр...

Вы желали знать, милостивая государыня, как веселились наши предки. Я хотел было описать вам великолепные прежних царей обеды, шумные праздники, на коих заграничное вино, вкусные яства и скоморохи тешили пирующих. «Но,— отвечали вы мне,— на сих праздниках не было женщин, а если они и были, то безмолвными свидетельницами, никем не видимые, с робостию поглядывали сквозь длинные фаты на происходившее». Вы хотели иметь описание балов, собственно так называемых, знать, в какое время исчезла в русских грубость нравов, свойственная народу полуобразованному, и когда женский пол получил право гражданства в наших обществах. Исполняю вашу волю.

Балы введены в Россию Петром Великим, по возвращении его из-за границы, в 1717 году. Парижские общества, и тогда законодатели моды, вкуса, любезности и светского обращения, были заманчивою новостию для российского монарха. Следствием этого был указ 1719 года о неслыханных дотоле собраниях обоего пола, названных *ассамблеями.* Вот его содержание:

«1. Желающий иметь у себя ассамблею должен известить о том каждого прибитым к дому билетом.

2. Ассамблеи начинать не ранее 4 или 5 часов пополудни, а оканчивать не позже 10.

3. Хозяин не обязан ни встречать, ни провожать гостей или для них беспокоиться, но должен иметь, на чем их посадить, чем их потчевать и осветить комнаты.

---

* Желающие увериться в подлинности предлагаемых здесь сведений могут найти оные в Веберовой книге: *Neuverandertes Russland* в журнале Беркгольца, помещенном в 19, 20 и 21 частях Бишингова магазина, в Штелиновой *Geschichte der Tauzkunst in Russia* и, наконец, в книге: *Letters of an English Lady who resided some years in Russia.*— *Соч.*

4. Каждый может приходить в ассамблею в котором часу ему угодно, сидеть, ходить или играть.

5. В ассамблеи могут приходить чиновные особы, все дворяне, известнейшие купцы, корабельные мастера и канцелярские служители с женами и детьми.

6. Слугам отвести в доме особые комнаты, чтобы в покоях ассамблеи было просторнее.

7. Преступивший сии правила подвергается наказанию осушить кубок *большого орла*».

Говорят, что указ сей произвел разные впечатления: заключенные в высоких теремах красавицы наши, которые только по праздникам осмеливались подходить к косящатым окнам, чтоб посмотреть на гуляющий по улицам народ, втайне радовались большей свободе. С другой стороны, матушки, воспитанные по старине, неохотно повиновались воле государевой и жаловались на развращенное время, в которое девушкам позволяется, не краснея, разговаривать и даже (чего боже сохрани!) прыгать с молодыми мужчинами.

Ассамблеи устроены были следующим образом: в одной комнате танцевали, в другой находились шахматы и шашки, в третьей — трубки с деревянными спичками для закуривания, табак, рассыпанный на столах, и бутылки с винами. Вы видите, м. г., что в первых ассамблеях господствовала смесь французского, голландского и английского вкусов, что уважение к вашему полу не было доведено еще до той степени утонченности, которая теперь столь обыкновенна всем мужчинам.

Обер-полицмейстер по списку извещал особ, у коих надлежало собираться, о наступавшей очереди. Впоследствии, когда любезность утвердила в наших обществах законы приличия, вошел в употребление следующий обычай: хозяин подносил букет цветов даме, которую хотел отличить; дама сия становилась царицею бала, распоряжала танцами, и тот же букет торжественно отдавала другому кавалеру, назначая притом день, в который желала танцевать в его доме. Получивший цветы обязан был слепо повиноваться воле красавицы. Обыкновение сие, напоминающее времена рыцарские, в которые красота была душою всего великого, продолжалось до царствования императрицы Екатерины II.

Русская пляска, вместе с длинными кафтанами и сарафанами, осталась только у нижнего класса народа: заменили оную степенный польский, тихий менуэт и резвый английский контрданс. Пленные шведские офицеры, находившиеся в Петербурге, первые учили танцевать русских дам и кавалеров: они долгое время были единственными танцорами в ассамблеях; кро-

ме сказанных танцев, был церемониальный, которым всегда начинались свадебные и вообще все торжественные праздники: становились, как в экосезе; при степенной музыке мужчина кланялся своей даме и потом ближайшему кавалеру; дама его следовала тому же примеру, и, сделав круг, оба возвращались на свое место. Сии поклоны, повторенные всеми, заключались польским. Тогда заведывавший праздником громко объявлял, что церемониальные танцы кончились. Наставала шумная веселость: всякий из посетителей мог участвовать в танцах. В менуэтах дамам предоставлен был выбор кавалеров; кавалер, кончивший танец с выбравшею его дамою, обязан был в свою очередь выбрать даму и, протанцевав с нею, перестать. Дама же продолжала танцевать с другим кавалером. Таким образом менуэт продолжался, пока музыка не возвещала о перемене. Польские и контрдансы похожи были на нынешние, с тою только разницею, что первые были весьма продолжительны, а в последних каждая пара делала свои фигуры, повторяемые прочими.

Вскоре различные степени образования разделили общества: собрания не переставали, но их могли посещать только особы, приглашенные хозяином. Там-то важнейшие в государстве люди забывали на время свое величие; императорская фамилия в ассамблеях старалась ласковым обращением и участием в забавах не дать заметить своего присутствия. Император, императрица и великие княжны всегда много танцевали, особенно последние. Всякому свободно было просить великих княжен, и как многие искали сей чести, то они и не знали отдыха. Люди преклонных лет и почтенного звания часто также танцевали вместе с другими. Царь забавлялся их усталостию: ослушные его воле должны были осушать огромный кубок орла. Из танцующих кавалеров отличались граф Ягужинский, австрийский посланник граф Кинский, гольстинский министр Бассевиц и молодые князья Трубецкой и Долгорукий. Из дам первое место занимала великая княжна Елизавета Петровна; отличались также княжны Черкасская, Кантемир, Трубецкая и Долгорукая, бывшая впоследствии невестою императора Петра II.

Ассамблеи были не в одном Петербурге: с переездом двора в Москву в 1722 году завелись собрания и в сей столице. Собрания по указу были три раза в неделю: по воскресеньям, вторникам и четвергам. Кроме того, давались частные балы, где было посетителей менее, но более веселости: на сих последних танцевали иногда до 3 часов пополуночи.

Музыка на ассамблеях была большею частию духовая: тру-

бы, фаготы, гобои и литавры. Многие вельможи имели, однако ж, свои капелли: лучшая принадлежала княгине Черкасской. Герцог Гольстейн-Готторпский Карл Ульрих, приехавший в Россию в 1721 году и который после взял в супружество великую княжну Анну Петровну, имел в своей свите капелль, состоявшую из одного фортепиано, нескольких скрипок, одной виоль-д'амур, одного альта, одного виолончеля, одного контрбаса, двух флейт и двух валторн. Пленительная игра сих музыкантов и новость привезенных инструментов доставляли им частые случаи показывать свое искусство: говорили, что тот праздник не в праздник, где не играли гольстинские музыканты.

Охота к танцам час от часу более распространялась. При императрице Екатерине I незнание танцев считалось уже в девице недостатком воспитания. Двору не было надобности приказывать ассамблеи: они вскоре и совсем уничтожились, зато частные балы не уставали. Замечательно, что около сего времени введена была в обществах карточная игра. Петр Первый не терпел карт и предпочитал им шашки и шахматы.

Императрица Анна, придавшая много великолепия двору, любила веселость. В ее царствование праздники сделались пышнее и получили более европейский вид. Табачный дым и стук шашек не беспокоил уже танцующих, и наконец совершенно уничтожилось наказание осушать кубок большого орла. В торжественные дни и при всяком необыкновенном случае были при дворе балы. Современные писатели упоминают между главнейшими об одном, на который приглашены были съехавшиеся тогда в Петербурге посланники бухарский, турецкий и китайский. Императрица Анна спросила у одного из сих последних, кто из дам, съехавшихся на бал, более ему нравится. «В звездную ночь,— отвечал китаец,— трудно решить, которая звезда всех светлее». Но увидев, что государыня не довольствуется таким ответом, он подошел к великой княжне Елисавете Петровне, низко поклонился и, отдав ей пред прочими преимущество, примолвил, что невозможно было бы перенести ее взгляду, если б только глаза ее были поменьше. Так всякий народ имеет свой вкус: большие глаза, считающиеся у нас красотою, казались азиятцу недостатком!

Весьма много шуму наделал праздник, данный в Петербурге в Летнем саду по случаю взятия Данцига в 1735 году. Бал открылся под длинным навесом из зеленой шелковой ткани, протянутым в главной аллее сада. Разноцветные огни, коими освещен был сад, поставленные в разных местах транспаранты и аллегорические изображения, приличные празднуемому тор-

жеству, представляли очаровательную картину. В начале бала ввели в палатку двенадцать французских офицеров, взятых в плен под Данцигом. Когда каждый из них поцеловал у императрицы руку, государыня, обратясь к начальнику их, бригадиру графу де ла Мотт-Перуз, сказала: «Не удивляйтесь, что я выбрала это время для вашей аудиенции: французы дурным обращением с русскими*, имевшими несчастие попасться в их руки, дают мне право к отмщению, но я довольствуюсь учиненною вам теперь неприятностию, а как народ наш славится любезностию, то надеюсь, что дамы здешние успеют в нынешний вечер истребить из памяти вашей тягостное ваше положение».—«Ваше величество,— отвечал граф де ла Мотт,— умели найти средство победить нас два раза: в первый, когда мы, против желания, положили оружие пред храбрыми войсками вашими, и теперь, когда охотно отдаем сердца наши прекрасным нашим победительницам!»

Императрица Анна любила народную пляску. Ежегодно в масленицу приглашали ко двору унтер-офицеров гвардии с их женами, которые плясали по-русски. Придворные и даже члены императорской фамилии принимали участие в этом народном увеселении.

Во время Елисаветы Петровны балы российского двора славились во всей Европе. Известный балетмейстер Ланде говаривал, что нигде не танцевали менуэта с большею выразительностью и приличием, как в России. Это тем вероятнее, что сама государыня танцевала превосходно и особенно отличалась в менуэте и русской пляске. При ней же завелись и маскерадные балы вместо масленичных маскерадов, при Петре I бывших, которые ограничивались одним катаньем в санях. Катанья вошли в придворный церемониал, но без масок, а вместо того имевшие въезд ко двору приезжали маскированные в определенные дни танцевать во дворец. В Новый год все мужчины являлись в женском, а дамы — в мужском платьях без масок. Мужской наряд весьма шел к лицу императрицы Елисаветы Петровны. Однажды, помнится, 1 января 1752 года, на одном из таковых маскерадов великая княгиня Екатерина Алексеевна, справедливо удивленная красотою государыни, сказала ей: «*Jl est très heureux, Madame, pour nous autres femmes que Vous n'etes cavalier que, pour ce soir: saus cela Vous seriez trop dangereuse*»**—«*En ce*

* Французы, не объявив войны, овладели в то время одним российским фрегатом на Балтийском море и забрали в плен весь экипаж.— *Соч.*

** «Это большая удача для нас, женщин, мадам, что Вы выступаете в роли кавалера лишь в течение сегодняшнего вечера: иначе Вы были бы слишком опасны».

cas-la,— отвечала императрица,— *c est certainement á Vous la premiere gue j'aurois adresse mes hommages»**.

Вот вам, милостивая государыня, краткий отчет о первых балах в России! Боюсь улыбки сожаления на устах ваших, особенно когда, взглянув на исписанный лист, не нахожу ни слова о нарядах, какие были в употреблении у почтенных бабушек. Но вы сами не раз жаловались на частые перемены моды, а ветреная мода точно так же распространяла владычество на прежние степенные покрои, как на нынешние легкие одежды.

Но так и быть! Чтоб избежать вашего неудовольствия, постараюсь в нескольких словах схватить некоторые эпохи господствовавшего в России вкуса в нарядах. Заимствовав у французов ассамблеи, мы у них переняли и бальные наши платья. Не думайте, чтоб то были те легкие, эфирные ткани, в каких ныне приезжают на бал наши красавицы. Старики твердят, что в их время молодежь была степеннее нынешнего. Вообще трудно верить старикам, обыкновенно хвалящим былое, счастливые годы их славы и побед, и нарекающим на настоящее, когда они принуждены уступать другим право пленять и быть любезными; но в сем случае едва ли они не правы. Представьте себе женщину, стянутую узким костяным кирасом, исчезающую в огромном фишбойне (которые, скажу мимоходом), с башмаками на каблуках в полтора вершка вышины, и танцующего с нею мужчину в алонжевом напудренном парике, в широком матерчатом шитом кафтане, с стразовыми пряжками в четверть на тяжелых башмаках, и посудите, может ли сия пара кружиться, летать по полу в экосезе с тою легкостию, с тою быстротою, какую видим ныне! Робы были большею частию одной с корсетом материи, с длинным хвостом, парчовые или штофные, шитые золотом, серебром, а иногда унизанные жемчугом и драгоценными каменьями и обшитые богатыми кружевами. Головной убор был также весьма различен. Ни над чем, кажется, мода не тиранствовала столько, сколько над волосами: каждый год, каждое собрание то повышали, то понижали прическу, а потому и весьма трудно очертить ее в нескольких словах: волосы покрывали пудрою или, оставляя в природном виде, переплетали их бриллиантами и жемчугом. Вообще пышность в нарядах заменяла вкус: дамы не одевались, как теперь, по рисунку граций, не знали пленительной простоты; в каждой безделке блистало тяжелое великолепие, а не нынешний милый, утонченный вкус.

---

* «В таком случае... вне всякого сомнения, именно Вам первой я стала бы поклоняться».

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА

изд. А. Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ

1824.

С. Петербургъ.

А. КОРНИЛОВИЧ

ОБ УВЕСЕЛЕНИЯХ РОССИЙСКОГО ДВОРА ПРИ ПЕТРЕ I

Посвящено бар. А. Е. А.

Век Петра I есть одна из любопытнейших эпох в истории наших нравов, сказал я вам однажды, милостивая государыня, когда, глядя на изображение кремлевских теремов, вы заговорили о том, как жили наши предки. Царствование его представляет странную борьбу между обыкновениями, освященными временем и обычаями прививными, вывезенными из-за моря, смесь прежних полуазиятских обыкновений со вновь вводимыми полуевропейскими. Вы потребовали на это объяснения, т. е. чтобы я описал вам светские наши общества во время Петра. Дабы исполнить сие в точности, надлежало бы войти в большие подробности, которые утомили бы ваше внимание. На сей раз позвольте мне ограничиться описанием одних увеселений двора, имевших непосредственное влияние на начало и забавы наших обществ.

Светские общества, в которых участвовали мужчины и женщины, начались при Петре Великом. Государь ввел оные, справедливо полагая, что ничто более обращения с женщинами не может благоприятствовать развитию нравственных способностей российского народа. Чтоб сблизить все состояния, двор давал праздники, учреждал гулянья, маскарады. Торжественные дни и воспоминания о победах, которые были часты в блистательное царствование Петра, нередко подавали к тому повод. В то время указами предписываемо было участвовать в забавах двора, и, таким образом, жители столицы съезжались час-

то, ибо одна только болезнь извиняла отсутствовавших.

Придворные праздники делились на летние и зимние. Первые давались в Царском и Царицыном саду (нынешние Летние — верхний и нижний); последние в Сенате или на Почтовом дворе (там, где ныне Мраморный дворец). Иногда сзывали гостей барабанным боем или афишками; иногда, после обедни, в соборе Святыя Троицы, желтый флаг с изображением двуглавого орла, держащего в когтях четыре моря (Белое, Балтийское, Черное и Каспийское), выставленный на одном из бастионов Петропавловской крепости, и пушечные выстрелы возвещали жителям столицы, что должно собираться после обеда в сад. Чиновные особы, дворяне, канцелярские служители, корабельные мастера и даже иностранные матросы имели право приходить туда с женами и детьми. В 5 часов пополудни являлись в сад государь и вся императорская фамилия. Посетители собирались в трех галереях, построенных на берегу Фонтанки. Государыня и великие княжны, держась старинного обыкновения, как хозяйки сада, подносили знатнейшим из гостей по чарке водки или по кружке вина. Император же угощал таким образом из деревянных больших кружек гвардию, полки Преображенский и Семеновский, которые строились на Царицыном лугу. Прочим посетителям предоставлено было самим черпать из бочек с пивом, водкою и винами, которые стояли в стороне от главных аллей. После того каждый мог забавляться по произволу: одни гуляли по саду, другие оставались в галереях, где были приготовлены разного рода закуски, иные садились за круглые столики в разных углах сада, на которых находились трубки с табаком и деревянными спичками или бутылки с винами. Более всего замечательны непринужденность и простота в обращении, царствовавшие во время сих праздников. Казалось, все были заняты одним желанием — веселиться и забывали о различии сословий. Сам государь, отбросив весь этикет, обходился со всеми, как с равными: иногда, сидя с трубкою за столом с матросами, говорил он о трудностях морской службы или, ходя с некоторыми под руку по длинным аллеям сада, рассказывал о своих походах. В другое время рассуждал с духовными о богословских предметах или вел переговоры с иностранными министрами. С наступлением вечера сад был освещен. Начинались танцы в аллеях или, в дождливое время, в галереях сада. Праздник оканчивался фейерверком, зажигаемым на судах, расположенных на Неве. Тут, между прочим, горели всякий раз транспараны с аллегорическими картинами, приличными предмету празднуемого торжества. Во все время праздника ворота сада были заперты;

никто не смел уйти от оного прежде государя без особенного на то позволения.

Из числа известнейших праздников упомяну о двух, более достойных внимания: об одном, который дан был 27 июня 1721 года в воспоминание Полтавской победы, и другом, по случаю заключенного в Нейштате мира. В первый служили молебен в открытой палатке пред собором св. Троицы. У входа палатки стоял государь с эспонтоном в одной и простреленною шляпою в другой руке и в том же платье, которое носил во время сражения: в зеленом мундире с небольшими красными обшлагами и старою лядункой чрез плечо и зеленых чулках с башмаками на высоких каблуках; позади находились подполковники гвардии: фельдмаршал князь Меншиков и генерал-лейтенант Бутурлин. Императрица с царицею Прасковьею Федоровною и придворными дамами находилась в близлежащем доме на балконе. Во весь день производилась пушечная пальба с царского фрегата, стоявшего на Неве против Летнего сада. Ввечеру, после гулянья и танцев в сем саду, был дан фейерверк, в котором аллегорические картины изображали успехи российского оружия против шведов.

Праздник 28 генваря 1722 года, данный в Москве по случаю Нейштатского мира, отличался необыкновенным великолепием. После обедни в соборе Успения пресвятыя богородицы двор и все знатнейшие особы собрались в устроенном на сей случай пред Кремлевским дворцом обширном здании. Мужчины были в праздничных кафтанах; дамы в платьях, шитых золотом и серебром, с великолепными головными уборами. Одна только вдовствующая царица Прасковья сохраняла право одеваться по старинному обыкновению, т. е. в черной бархатной шубейке с меховою шапкою на голове. После пышного стола, который был накрыт на 1000 кувертов, раздавались золотые медали, выбитые по случаю мира. Праздник кончился танцами, за коими последовал великолепный фейерверк. Между прочим, представлялся тут храм Януса, освещенный 20 000 плошек; за ним, в некотором отдалении видны были на волнах синеющегося моря корабли, над коими летал голубь с масличною ветвию. Пред храмом, на высоких подмостках, лежали для народа жареные быки с позлащенными рогами; по сторонам били фонтаны белого и красного вина.

Вскоре пример двора перешел и к частным людям. Русские вельможи, следуя законам сродного им гостеприимства, охотно исполняли государеву волю. Тогда не знали зазывных билетов: приглашали только самых знатных; прочие знакомые и незнакомые приходили в назначенный час, садились за стол

и, покушав хлеба-соли, уходили, часто не заботясь о хозяине. Пирушки были часты. Вкусные обеды Меншикова, вина Шафирова, роскошное угощение Строганова и радушный прием Апраксина обратились в пословицу. Хозяин или хозяйка встречали гостей в дверях, при звуке труб и литавр, поклоном и рюмкою водки или вина. Обеды, начинавшиеся в 12 часов, были продолжительны и состояли из множества блюд. В частных собраниях, когда съезжались одни короткие знакомые, жребий назначал даме кавалера, который должен был вести ее к столу, садиться рядом с нею и услуживать за обедом. В торжественные дни дамы находились в одной, а кавалеры в другой комнате. В конце стола подносили дамам сахарные закуски, к мужчинам же приносили ящики с винами: венгерским, рейнскими и некоторыми французскими. Начинались тосты: обыкновенно предлагал оные сам хозяин. Когда случалось, что государь находился в числе пирующих, то первым тостом было всегда *благоденствие семейству Ивана Михайловича Головина, то есть флоту*[1]. Петр считал сей тост столь важным, что обещал шуту своему Лакосту 100 000 рублей, если бы ему случилось когда-нибудь пропустить оный. Во время стола государь уходил отдыхать и через час возвращался. После обеда гости переходили в другую комнату к дамам, где ждали их чай, кофе и лимонад. Если общество было немногочисленно и нельзя было танцевать, то призывали домашнего козака, который тешил посетителей пляскою с припевом и игрою на торбане или на балалайке. В другое время, когда не случалось гостей, пред коими надлежало чиниться, садились играть: мужчины между собою в кости, шахматы или шашки, дамы с некоторыми кавалерами в короли, марияж, ломбер, ламуш или лантре.

В орденские кавалерские праздники один из кавалеров (обыкновенно Меншиков) давал обед; все же другие угощали друг друга тремя кружками вина: одну выпивали за благоденствие флота и войска, другую за здоровье всех кавалеров, третью за здоровье хозяина. Число кавалеров в столице определяло число кубков, осушенных ими в таковые дни.

Одною из любимых забав Петра I было катанье в лодках.

---

[1] Генерал-майор Головин отправлен был Петром I в конце XVII века в Венецию для обучения корабельному строению; но сии занятия были не по его вкусу. Четыре года своего пребывания в Венеции посвятил он на изучение музыки и один только раз был на тамошней верфи. Несмотря на то, государь, как будто в шутку, сделал его адмиралтейским советником и главным надзирателем С.-Петербургской корабельной верфи. Петр любил Головина за его испытанную верность и за оказанное в сражениях мужество.

Вам известно, милостивая государыня, что в Петербурге во все время его царствования не было на Неве мостов. Государь раздал всем для переправы суда. Первоклассным вельможам по яхте, буеру и по 2 шлюпки, одну в 12, другую в 4 весла. Прочим из жителей менее, смотря по чинам. Каждый хозяин обязан был содержать суда свои в целости и отвечал за них. В назначенный для катанья день выставляли в четырех концах города флаги: все суда, под опасением значительного штрафа, должны были собраться близ Петропавловской крепости у дома 4-х фрегатов, неподалеку от Троицкого моста. По пушечному выстрелу флотилия сия выступала в поход. Адмирал Апраксин открывал шествие с яхтою своею, имевшею для отличия красный с белым флаг. Никто не смел опередить его или уехать без его позволения. Потом следовала императорская шлюпка, где находились государыня и великие княжны, а рулем правил сам Петр, одетый в белое матросское платье; а за сею шлюпкою прочие без разбора. Знатные возили с собою музыку. Сие множество судов, стройно следовавших одно за другим, согласные усилия гребцов в белых рубашках и звуки труб, литавр и валторн, далеко раздававшиеся по волнам, очаровывали зрение и слух. Катанья обыкновенно оканчивались у загородных дворцов Екатерингофа и Стрельны. Там всякий раз готовы уже были закуски: гуляющие, вышед на берег, полдничали, ходили по рощам и с наступлением вечера возвращались в в город в том же порядке. Иногда предпринимались дальнейшие поездки: т. е. в Ораниенбаум, принадлежавший князю Меншикову, в Кронштадт и даже в Ревель. Беспрестанная пальба с судов и гром музыки оглашали воздух во время пути. Иногда сии забавы имели неприятные следствия. Не говоря уже, что многие дамы долго не могли приучиться к плаванию в открытом море, неуменье управлять судами во время бури приводило в страх и часто подвергало опасности гуляющих. Подобный случай был 21 мая 1714 года. В то время приезжал в Петербург посланник бухарского хана Гаджи-Магомед-Багадира. Царь пригласил его принять участие в предполагаемом путешествии в Кронштадт. По неопытности капитана, шнява, на которой находился посланник, канцлер граф Головкин и несколько сенаторов, попала между мелей. Пока было тихо, опасность была невелика; но к 9 часам вечера восстала сильная буря: разбило шлюпку, привязанную сзади, оторвало якорь и бросило судно на мель; все, казалось, грозило шняве погибелью. Посланник, никогда до того не видавший моря, дрожал от страху: но видя наконец, что нет надежды на спасение, закутался в шелковое одеяло, лег на палубе и велел мулле

своему, став на колена, читать над собою молитвы из Корана. К утру буря утихла, и присланные от царя галеры привели шняву в Кронштадт.

Говоря о катаньях по воде, могу ли не упомянуть о спусках кораблей? Петр, создатель русского флота, не мог не радоваться успехам великого своего предприятия. Оттого всякий корабельный спуск был истинным для него праздником. Накануне извещали о сем происшествии барабанным боем. В самый день по пушечному выстрелу из крепости все отправлялись в Адмиралтейство. По совершении молебна на новопостроенном судне царь, взяв в руки топор, подрубал одну из подпорок, на которых стоял корабль. Звуки труб и литавр, громкие восклицания народа и пушечные выстрелы с крепости и Адмиралтейства оглашали воздух. Когда якорь был брошен, Петр в матросской куртке всходил первый на корабль и приветствовал приходивших к нему с поздравлениями поцелуем в голову. Императрица и великие княжны подносили всем по рюмке вина. Между тем в каютах накрыты были столы, в верхних для дам, а в нижних для мужчин. За стол, где находился государь, садились по правую сторону корабельные мастера, плотники и все участвовавшие в постройке вновь спущенного судна, по левую — знатнейшие особы. Не было обедов шумнее: сам Петр был всегда за оными чрезвычайно весел. Между гостьми его царствовала совершенная непринужденность: тосты быстро следовали один за другим. Вино, особенно венгерское, лилось полной чашей. Сии пирушки на кораблях продолжались от 4 часов пополудни до 2 пополуночи, и всякий обязан был принимать в оных равное участие.

Говорить ли вам, милостивая государыня, о масленичных маскарадах, где маски, собравшись по пушечному выстрелу на площади против собора св. Троицы, у так называемой пирамиды 4-х фрегатов[1], по сигналу, поданному самим государем, который был одет барабанщиком, скидали плащи и показывались в своих нарядах; где посреди множества испанцев, греков, турок, китайцев, индейцев являлись карлы в длинных бородах, возившие в тележках гайдуков царских, спеленанных как дети? Говорить ли вам о зимних катаньях, где между множеством огромных саней, которые сделаны были наподобие лодок, иные в 20 футов длины, и в которых находились в костюмах царская фамилия, иностранные министры и знатнейшие особы обоего пола,— видны были Нептун в раковине с трезубцем,

---

[1] Пирамида сия была деревянная и построена в память первой морской победы над шведами при Гангёудде в 1714 году.

влекомый двумя сиренами, Бахус, едущий на бочке с кубком в одной и ливером в другой руке; государев шут, одетый медведем, в санях, запряженных шестью медведями же, камчадал и камчадалка, ехавшие на собаках, и, наконец, множество арлекинов и масок, изображавших разных зверей и птиц? Подобные маскарады и катанья продолжались целую неделю. Опасаясь наскучить вам подробностями, ограничусь одним только замечанием, что все масленичные маскарады во время Петра I носили на себе отпечаток вкуса грубого, необразованного, в то время еще общего в Европе.

Я упоминал уже о музыке в письме моем о русских ассамблеях. Некоторые вельможи имели свои капелли, но между высшим сословием весьма немногие сами занимались музыкою. По известиям современных писателей, из русских дам княгини Кантемир и Черкасская и графини Головины, воспитанные в Швеции, где отцы их, генерал-лейтенант князь Трубецкой и генерал-адмирал Головин находились в плену, умели только играть на фортепиано. Прочие считали неприличным посвящать часы досуга сему занятию. Концерты были, однако же, в моде. Прусский посланник барон Мардефельд, сам превосходно игравший на лютне, не раз забавлял оными петербургскую публику. Голстинский министр граф Бассевиц также давал музыкальные собрания. В великий пост 1722 года вся Москва съезжалась к нему слушать духовные оратории, игранные музыкантами голстинского герцога Карла Фридриха. Вы знаете уже, какою славою пользовались сии музыканты в Петербурге. В дни Нового года, светлого воскресенья или именин государыни герцог до рассвета являлся с ними под окнами императрицы и серенадами приносил ей свои поздравления. Рюмка вина, подносимая великою княжною Анною Петровною герцогу и всей его свите, была обыкновенно наградою за их внимание.

Из сказанного выше вы видите, милостивая государыня, что все увеселения времени Петра I имеют нечто отличное, свойственное своему времени. Вы еще более в том удостоверитесь, взглянув на множество карл и шутов, которые занимают немаловажное место в летописях тогдашних забав. В конце XVII и в начале XVIII века карлы и шуты были еще в употреблении при всех европейских дворах. Оттого вы встретите их во множестве и у нас, как при дворе, так и в частных домах. Государю вздумалось однажды позабавить герцога и герцогиню Курляндских свадьбою карл. Петр повелел одному из них выбрать себе супругу из девушек одинакового с ним роста. 13 ноября 1710 года назначена была свадьба. Созвали на сей

праздник указом 19 августа 1710 года[1] всех карл, находившихся тогда в Москве и Петербурге. Накануне свадьбы двое из них, бывшие шаферами, поехали в колясочке о трех колесах, в одну лошадь, убранную разноцветными лентами, звать гостей, имея впереди верхом 2 офицеров в ливрее. На другой день, когда все гости съехались в назначенный дом, молодые отправились в большом торжестве к венцу. Впереди шел карла, исправлявший должность маршала, с жезлом, к концу которого привязан был букет из лент. За ним жених и невеста с шаферами; потом сам царь, множество дам, некоторые министры и другие знатные особы. Шествие заключалось 72-мя карлами и карлицами, первые в светло-голубых или розовых французских кафтанах, треугольных шляпах и при шпагах; последние в белых платьях с розовыми лентами. После церемонии все отправились к князю Меншикову, где ожидал молодых богатый обед. Карлы сидели всредине: столы жениха и невесты были под шелковыми балдахинами, а над стулом невесты висели три лавровых венка. Маршал и 8 человек шаферов имели для отличия кокарды из кружев и разноцветных лент. Кругом по стенам залы сидели царская фамилия и прочие посетители. Праздник кончился пляскою, в коей участвовали одни карлы.

Шуты или, как их тогда называли, дураки, были едва ли не в большем числе, нежели карлы. При дворе и во всяком почти доме находились шуты или шутихи. Дура днем играла с барынею в дураки и не смела никогда выиграть; вечером рассказывала ей сказки, чтоб прогнать ее бессонницу. В праздничные дни или когда случались гости, разряженная как 18-летняя девушка, дура забавляла собрание прыжками, кривляньем и пеньем. Преимущественно старались выбирать для сего старых женщин, полагая, что чем дура старее, тем она охотнее к рассказам и тем забавнее в пляске.

Вот вам, милостивая государыня, некоторые черты общественной жизни при Петре I; я исполнил, сколько мог, ваше требование. Если слабый труд сей удостоится лестного вашего внимания, то я буду продолжать начатое: скажу несколько

---

[1] Вот Указ в подлиннике:

«Карл мужеска и девическа пола, которые ныне живут в Москве в домах боярских и других ближних людей, собрав всех, выслать с Москвы в С.-Петербург сего августа 25-го, а в тот отпуск в тех домех, в которых те карлы живут, сделать к тому дню на них, карл, платье: на мужской пол кафтаны и камзолы нарядные цветные с позументами золотыми и с пуговицы медными золочеными, и шпаги, и портупеи, и шляпы, и чулки, и башмаки немецкие добрые; на девическ пол верхнее и исподнее немецкое платье, и фантанжи, и всякой приличной доброй убор и в том взять тех домов и стряпчих сказки и проч. 19 августа 1710».

слов о церемонии, наблюдаемой в ту важную для девушки эпоху, когда отец или мать объявляли ее вышедшею из детского возраста, о свадебных обрядах при Петре I и пр. Потом постараюсь показать постепенный ход наших обществ, состояние оных при Анне и Елисавете и, наконец, совершенное их преобразование при Екатерине Великой. Снисходительный взор ваш будет лучшею наградою для автора, улыбка вашего одобрения придаст ему новые силы и заохотит его к новым трудам.

А. БЕСТУЖЕВ

ЗАМОК НЕЙГАУЗЕН

*Рыцарская повесть**

Посвящена Д. В. Давыдову

I

Летний день западал, и прощальные лучи солнца бросали уже волнистые тени на круглые стены замка Нейгаузена. Туман подернул поверхность речки, обтекающей кругом холма, на котором воздымаются твердыни, и она, гремя, бежала вдаль *сереброчешуйною змейкою*. Ворота замка были отворены, и сквозь них, среди широкого двора, виднелись терема рыцарские. Остроконечные их кровли пестрели разноцветною черепицею; все углы обозначались стрелками, и на многих висели башенки. Неровной величины окна, с чудными изображениями были разбросаны в стенах без всякого порядка, и контрафорсы, упираясь широкою пятою в землю, поддерживали громаду здания. Казалось, оно не было древним, но молодой мох лепился уже по стенам, из неровного плитняка сложенным, и местами зеленил мрачную их наружность. Двухъярусные переходы вокруг бойниц амфитеатром замыкали окружность — и на них грудами лежали каменья, бревна, станки для огромных самострелов, тяжелые топоры, даже стенные пищали — тогда весьма редкие и столь же опасные своим, как врагам; словом, все доказывало близость опасного соседа и возможность внезапной осады. Часовые в шишаках, однако ж без лат, бродили по гребню, и в замке было так тихо, что слышалось пенье кузнечика. Направо от ворот щипал мураву статный конь; влеве тянулись полосатые гряды огорода. Между ими, опершись на заступ, стоял садовник Конрад и с высоты любовался на закат солнца. Он не заметил, когда подошел к нему рыцарь в бархатной, сереброшвейной мантии и в весьма коротком полукафтанье малинового цвета. Лицо его было нахмурено, и руки, сложенные на груди, закрывали до половины осьмиконечный малтийский крест. Тщательно завитые волосы и

вообще щеголеватость в одежде показывали, что он чужеземец, ибо тогда ливонские рыцари не пышно рядились.

— Пусть крапива забьет твои гряды!— сказал он мимоходом Конраду, и Конрад, почтительно бросив свою шапку на землю, отвечал:

— Благодарю за желание, благородный рыцарь; но у меня и без того плохо идет работа. Здешнее солнце светит только по праздникам, а эти башни и совсем не пускают его заглянуть в огород...

— Старый дурак! Когда строят корабль, думают ли о приволье мышам?

— Преумно и премилостиво, благородный рыцарь. Но вы, кажется, рассержены; смею ли я, старый слуга ваш, спросить о причине?

— Бесстрастное творенье! разве не понимаешь ты, что нежданный возврат барона разрушает все мои надежды: теперь Эмма станет еще неприступнее. Впрочем, я на все решился, Конрад! Меняй свой заступ опять на кинжал, поедем лучше галерою бороздить море. Право, доходнее резать турецкие головы, чем сажать турецкие огурцы.

— Я всегда в вашей воле, рыцарь!

— Если б ты к моей воле прилагал и свою,— эта честолюбивая женщина не ускользнула бы из рук моих!

— Пусть каждый шиллинг, от вас полученный, прожжет мой карман, если я даром брал награды. Всякий раз, когда госпожа приходила сюда учиться заморскому садоводству, я издалека заводил речь о вашей славе, о вашем богатстве, потом о вашей красоте... потом намекал о вашей любви, о вашей страсти, рыцарь! Вы сами знаете, что есть вещи, о которых молчать невыгодно, а самому их высказать нельзя... и эти-то вещи были все рассказаны мною — похвалы сыпались у меня, как чечевица.

— И просыпались мимо. Нет, ты не умел, Конрад, посеять в ее сердце ко мне соучастия и взаимности.

— Благородный рыцарь! любовь растет скоро, как кресс-салат, но она все-таки не огородный овощ. Ее зародить в баронессе было ваше, а не мое дело. Впрочем — терпение!

— Терпение — добродетель верблюдов, а не людей.

— Может быть, не таких, как вы, благородный рыцарь; но вы сами видите, как наш русский пленник Всеслав своею терпеливостью отбивает у поспешных прекрасную Эмму. Ну, право, на него глядя, можно подумать, что он вырос в школе странствующих меннезингеров: только и дела, что вздыхает, а между тем баронесса поглядывает на него очень умильно.

— Проклятый утешитель! Ты раздираешь мне сердце намеками, которые давно мне кажутся истиною. Любовь палит меня, но еще более ревность грызет душу. Так, я уже решился на все. Я хочу, я жажду удалить и мужа и этого воздыхателя-новогородца, чтобы самому сблизиться с нею. Ты знаешь, Конрад, что я говорю не с ветра и не на ветер; теперь требую твоего совета?

— Мое мнение, рыцарь, начать с гостя; то есть намекнуть барону о склонности его супруги к Всеславу — и русский соперник ваш уберется восвояси.

— Ты прав, Конрад; ты стоишь золотой петли за эту богатую выдумку. Так: я неприметно волью в его чувства отраву, которая льется в моих жилах; передам ему все затейливые подозрения ревности и с ним разделю ненависть к общему сопернику, а потом найдем средство удалить и ненавистного супруга. О! Я уже предвкушаю торжество мое: мои арабские бегуны умчат нас за тридевять земель. Для Эммы сброшу я эту командорскую мантию, забуду почести Ордена и славу света, чтобы в забытом углу его найти с нею счастие!..

— Скорее ваш меч разрастется в ножнах, нежели Эмма согласится бежать...

— Но скорее рука моя будет вращать веретено вместо копья, чем я откажусь от своего намерения. Для моей воли нет завета, ни препон — кроме гибели. Пусть Эмма добродетельна, верна — но ведь она женщина, она прекрасна и, следовательно, тщеславна. Одним словом, Конрад, я истощу весь арсенал обольщений: буду нежен, как дамская перчатка, гибок, как страусовое перо; стану звенеть золотом и железом, пролью слезы и кровь, и волею или неволею, но Эмма будет в моих объятиях — или Ромуальд фон Мей в когтях демона. Что же до самого барона...

Конрад прервал его запальчивость, показав на часового, который приближался к ним по зубчатой стене. Рыцарь понизил голос, но по его движениям, по его сверкающим взорам видно было, что дело шло о чем-то важном. Конрад сомнительно покачал головою, и два злодея расстались.

II

Круглая зала Нейгаузена освещена была двумя большими свечами из желтого воска, воткнутыми в двурогий железный светец. Пламя их веяло по воле ветра, проникающего в неровный свинцовый переплет готических окон,— но блеск не достигал под вершину остроконечных сводов, зачерненных дыха-

нием времени, и только изредка отсвечивались по стенам щиты и кирасы и двойная тень мелькала от оленьих рогов, между ими прибитых. Две тяжелые печи, испещренные муравлеными украшениями, стояли друг против друга. Дебелый дубовый стол занимал средину комнаты. За ним сидел рыцарь Ромуальд фон Мей и беспечно стучал шашкою по доске... игра была не кончена, стаканы опрокинуты, и владетель замка Эвальд фон Нордек ходил быстрыми шагами по зале. По нервному звуку его шпор, по волнению в груди заметно было, что он вне себя; его лицо пылало гневом, и кровавые глаза разбежались.

— Да, да,— вскричал он, остановившись против Мея,— теперь вижу, что был до сих пор слепцом, был игрушкою жены своей. И я был так прост, что доверился этому русскому варвару, оставил волка в овчарне. Теперь не дивлюсь, что жена моя — что Эмма, хотел я сказать, так нежно ухаживала за его ранами, так жаловала его песни и разговоры. Теперь понятно мне, отчего шепчут рыцари, когда я вхожу в их общество, отчего дамы так часто спрашивают об ее здоровье. Лицемерная, неблагодарная женщина! Не я ли презрел для нее все обычаи предков и все толки дворян — извел ее из пыли ничтожества и из безродной сироты сделал владетельницей Нейгаузена; но что более всего: не я ли любил ее так нежно, так пламенно! О, какое яркое пятно положила ты на славное имя Нордеков. Что сказал бы теперь дед мой, гермейстер Ордена, если бы такие обиды могли воскрешать мертвых, как они умерщвляют живых!

— Думаю,— сказал Мей двусмысленным голосом и пожимая плечами,— он сказал бы то же самое, что и я повторяю: что люди завистливы и, статься может, слухи об этой связи — пустые.

— Нет, друг Ромуальд, не утешай меня, как ребенка; я знаю, что подобные вести позже всех доходят до ушей мужа, и, верно, уже они имеют вес, когда ты, чужеземец, их знаешь...

Ромуальд встал, чтобы скрыть волненье души, и как будто нечаянно подошел к окну.

— Они еще не едут с охоты,— сказал он притворно равнодушным голосом.

— Не едут — и, поверь мне, еще долго не будут,— отвечал Эвальд нетвердым тоном презрительного бесстрастия.— Они не ждут меня из похода, а часы летят для них так скоро, что они и не думают о возврате... или,— что я говорю,— может, они нарочно ждут вечера... лес широк, тропинки излучисты... мудрено ли заблудиться!

— Какие черные мысли, Эвальд; разве не могло, в самом деле, случиться, что их соколы разлетелись.

— Я скличу их завтра на тело Всеслава!

— Едут, едут!— раздалось по замку; топот коней и восклицания охотников огласили окружность; оконницы дребезжа отозвались на звук вестового рога с башни, и сердце барона оледенело... Он бросился в широкие кресла и закрыл глаза рукою. Кто-то бежал по лестнице, дверь скрыпнула, Эвальд вскочил; яростным взором встретил он входящего — и напрасно — это был паж баронессы.

— Скажи госпоже твоей,— крикнул он,— чтобы она дожидалась меня в своих покоях, но чтобы она не входила сюда... это моя воля, мое приказание, слышишь ли: мое приказание!

Изумленный паж удалился с трепетом — и опять мертвая тишина в зале. Ромуальд молчал, Нордек не мог говорить. Наконец с шумом вбежал Всеслав в комнату. На нем был красный кафтан, на полах вышитый золотом. За кушаком татарский кинжал — на руке шелковая плетка, и красные каблуки его сапогов пестрели разноцветною строчкою; яхонтовая запонка и жемчужная пронизь на косом воротнике доказывали, что Всеслав не простого происхождения; но смелая, развязная поступь, открытое лицо и быстрые взоры еще более заверяли в его благородстве.

С радостным челом, с дружеским приветом кинулся он обнять Эвальда, но Эвальд яростно оттолкнул его.

— Прочь, изменник!— воскликнул он.— Прочь, не пятнай меня своим иудиным лобзаньем...

— Что это значит, Эвальд?— произнес Всеслав, пораженный видом и выраженьем барона.

— Ты слишком хорошо знаешь, об чем говорю я; но притворство ни к чему не послужит... признайся!

— Ты потерял рассудок, Эвальд!

— О, как бы желал я потерять его, но, к несчастию, он теперь яснее, нежели когда-нибудь. Я теперь вижу, чем ты заплатил за мое гостеприимство, как ты отвечал на мою доверенность. Я с тобой, со врагом, поступил как с братом, а ты, обольститель, ты с другом поступил будто со злейшим неприятелем.

Лицо Всеслава загорелось негодованием.

— Эвальд,— вскричал он,— не для того ли ты возвратил мне жизнь, чтобы отнять честь; не для того ль почтил пленника гостеприимством, чтобы сильнее оскорбить гостя клеветою?

— Это правда, это ужасная правда! И... не заставь меня употребить силу... если ты в ней не сознаешься, то богом клянусь, Всеслав, тем богом, которого ты забыл,— волки и вороны будут праздновать мой гнев твоим трупом.

Всеслав, внимая этим угрозам, гордо сел в кресла и спокойным голосом отвечал:

— Рыцарь фон Нордек, я пленник твой, делай что хочешь. Но ты видел под Вейзенштейном, когда рубился я с твоими латниками, пугала ли меня смерть! Ужели думаешь теперь застращать ею? Поверь, Эвальд, мне легче будет умирать безвинному, чем тебе жить после злодейства. Впервые вижу я такое утончение злобы: зачем было не умертвить меня на поле битвы, чтобы здесь выхолить на убой!

— Затем, что ты был тогда лишь неприятелем Ордена, а теперь стал моим личным врагом, моим кровным злодеем, похитив любовь легковерной Эммы.

— Рыцарь! Именем чести и доброй славы невинной супруги твоей, требую доказательств!

— Невинной?.. Давно ли волки проповедуют невинность лисиц, давно ли русские говорят о чести?

— Русские всегда ее чувствуют. Вы, германцы, ее пишете на гербах, а мы храним в сердце.

— В твоем черном сердце — не бывало искры других чувств, кроме неблагодарности, обмана и обольщения!

— Слушай, рыцарь!— вскричал Всеслав, вскочив.— Низко и в поле ругаться над безоружным, но еще ниже обижать в своем доме. Я бы умел тебе заплатить за обиду, если б моя свобода и сабля были со мною.

— Ты будешь иметь их на свою пагубу,— отвечал в бешенстве Эвальд,— и суд божий поразит вероломца!

— Когда ж и где мы увидимся?— спросил Всеслав.

— Как можно скорее и как можно ближе. Я удостоиваю тебя поединка, чтобы иметь забаву самому излить твою кровь и ею смыть пятно со щита моих предков. Оружие зависит от твоего выбора. Я готов драться пеший и конный, с мечом и с копьем, в латах и без оных. Бросаю тебе перчатку не на жизнь, а на смерть.

Всеслав хладнокровно поднял перчатку.

— Итак, на рассвете,— сказал он,— с мечами, пешие и без лат. У меня нет товарища, а потому и Нордека прошу не брать свидетелей. Место назначаю отсюда в полумиле, по дороге к Веро, под большим дубом. Там я жду обидчика для свиданья, чтобы сказать ему вечное: прости.

— Но куда ж спешите вы, благородный русский?— спро-

сил Мей с тайною радостию, подозревая, что Всеслав сбирается скрыться.

— Куда глаза глядят,— отвечал Всеслав, снимая со стены свою саблю и шлем, висевшие в числе трофеев.— Чистая совесть постелит мне ложе в лесу дремучем, и мне не будет там душно, как в этом замке, где меня берегли, чтобы чувствительнее обидеть.

Он вышел из замка, со вздохом взглянул на окно Эммы и побрел в темноте по сыпучему песку.

III

Светло и радостно встало утро над замком, но в замке все было угрюмо и печально. Старик Отто, отец Эвальда, в беличьем полукафтанье, сидел в своей комнате у окна; подле него лежала Библия, но он уже не мог читать ее, он с беспокойством глядел в поле сквозь цветные стекла. Эмма, заливаясь слезами, молилась перед распятием, и бледное лицо ее и белокурые волосы, разметанные по плечам, ярко отделялись от черного камлотового, опушенного горностаями платья, которое длинными складками упадало на пол.

— Не плачь, не крушись, моя милая, добрая Эмма,— с нежностию сказал старый барон; но голос его доказывал, как трудно было исполнять ему совет свой.— Прости моему Эвальду и надейся на всевышнего, может, все кончится счастливо. Злые наветы заставили моего вспыльчивого сына обидеть безвинного человека... но ведь не каждая рана смертельна,— а по-моему, лучше носить язву на теле, чем убийство на совести. Солнце уже высоко — и он, верно, скоро воротится. Рыцарь Мей с капелланом давно поехали на место поединка узнать, чем он кончился, но вот пылят по дороге...

Сердце в Эмме забилось часто и сильно, голова кружилась, дыханье занялось в груди... она не смела ни взглянуть в окно, ни услышать, может быть, радостной, может быть, смертельной вести.

— Это они, это точно они,— воскликнул Отто... Уже я распознаю жеребца Ромуальдова, вот и капеллан... вот и пегий бегун Эвальда... но... боже мой!.. он убит!

— Кто убит, батюшка? кто?

— Он, Эвальд. Эмма, у тебя нет более супруга; бедный Отто! у тебя нет уже сына. Он, единственный мой Эвальд, убит, убит.

С воплем опустился Отто в кресла и потерял чувства. Эмма вскочила, шатнулась и едва могла удержаться о распятие. Взо-

ры ее померкли, голос замер, и голова скатилась на грудь. Это зрелище представилось Ромуальду и Всеславу, когда они, запыленные, вошли в комнату.

— Где, где он?— вскричала Эмма, которой приход их возвратил жизнь.— Отдайте мне моего Эвальда!

— Его нет,— сурово отвечал Мей.

— Рыцарь, не обманывайте меня... впервые прошу вас, Ромуальд,— скажите мне всю правду. Где муж мой?

— Я не лгу, баронесса, он пропал без вести.

— Скажите лучше — без возврата.

Рыдания Эммы раздули искру жизни в старом Отто, и тот же вопрос был повторен Мею.

— Мы искали его везде,— отвечал Мей,— обскакали кругом на милю, перешарили все кустарники — и следу нет. Вероятно, разбойники, или наездники-русские,— примолвил он, взглянув подозрительно на Всеслава,— схватили и увезли его за свой рубеж.

Казалось, внезапный луч осветил мысли Эммы. Все и все обвиняло Всеслава. В самом деле, для чего избрал он такой уединенный час поединка и место на границе русской? Для чего желал видеть противника без лат, без свидетелей? О, это верно, это несомненно. Удар наемного кинжала есть скорейшее средство избавиться от сильного неприятеля. Эмма, как помешанная, бросилась к Всеславу, который, опершись на окно, с глубокой тоской смотрел на нее.

— Кровопийца,— вскричала она,— разве недоволен ты, лишив меня доверия и любви моего супруга, когда теперь потаенно убил его? Признайся в своем злодействе! Отвечай, где совершил ты преступление? Куда бросил его тело? Скажи, чья кровь дымится на руках твоих?..

Эмма не могла продолжать.

— Эмма, Эмма!— с укором возразил до глубины души огорченный Всеслав.— И ты могла подумать, что я способен на такое низкое дело! Неужели все, кого так искренно любил я, кого так беспредельно уважал, сговорились подозревать, обвинять меня в гнуснейшем вероломстве и преступлении, едва вероятном для самых закоснелых злодеев!

Слезы навернулись на глазах Всеслава. Все умолкли, наблюдая друг друга. Какое-то злобно-радостное чувство просвечивало сквозь угрюмую физиономию Мея, но его взор выражал то сожаление к Эмме, то ненависть к обвиненному. Отто отирал серебряными волосами глаза свои, но ни одна слеза не выкатилась, чтобы облегчить растерзанное сердце отеческое. С живым участием, но с мучительною тоскою обвиненного чело-

века, который жаждет и не может утешить своих обвинителей, боясь упрека в ласкательстве, стоял Всеслав между ими, но его взгляд был горд и покоен. Эмма в забытьи, с бродящими окрест взорами, опиралась на плечо Отто. Все беды, все горести слились для нее в одно тяжкое ощущение, в чувство хладного и немого отчаяния. Картина была ужасна.

Молчание прервано было криком Сигфрида, щитоносца Эвальдова.

— Беда, беда...— вопиял он, вбегая в залу,— горе и смерть нашему бедному господину, он схвачен тайным судом; вассалы видели, как утром провезли его связанного, и три зарубки на воротах это доказывают!

— Все погибло!— диким голосом воскликнула Эмма и как труп упала к ногам Оттовым.

IV

В глухую полночь тайное Аренсбургское судилище[1] собралось под открытым небом в дремучем сосновом лесу, осенявшем некогда берега Эзеля; собралось, чтобы судить привезенного рыцаря.

Нордеку развязали глаза, и он с изумлением увидел себя на поляне перед камнем судным. На средине его иссечен был крест; на нем лежали кинжал и книга. Четыре факела, вонзенные в землю, проливали какой-то зеленоватый свет на грозные лица присутствующих — и при каждом колебании пламени тени дерев, как привидения, перебегали через поляну. Члены, опершись на длинные мечи свои, закутавшись в мантии, сидели недвижны, вперив на обвиненного тусклые очи. Черно было небо, гробовые ели шептались с ветром — и, когда стихал их говор, порой слышался плеск волн между камней прибрежных.

— Твое имя, рыцарь?— спросил председатель.

Нордек величаво стоял между стражей, закинув за плечо цепь и накрест сложив руки.

— Мое имя?— повторил он, озирая с любопытством заседание.— Странный вопрос, ежели ты судья, и бесполезный, когда разбойник. Зачем же лишили меня свободы, как преступника, еще не зная, кто я таков?

— Такова форма суда. Кто ты, рыцарь?

— Меня должен знать каждый, кто не бегал, а дрался лицом к лицу. Впрочем, я, не краснея, могу высказать свое имя и достоинство; я рыцарь Эвальд фон Нордек, владетель Нейгаузена и ротмистр Монгеймовых латников.

— Рыцарь Эвальд фон Нордек! Ты предстоишь священному, тайному суду Аренсбургскому, сидящему на земле и водах преступников совести и чести. Итак, именем сего суда объявляем тебе: я, Оттокар фон Оснабрюк, фрейграф Аренсбурга, брат Эзельского епископа Германа III, и мы все, духовные и рыцари Тевтонского ордена, что ты обвинен в зажигательстве и в измене Ордену по сношениям с врагами его русскими. Оправдывайся, если можешь!

— Скажи лучше, если захочу, а я не могу и не должен хотеть этого. Я не признаю другой расправы, кроме орденской.

— Здесь ты видишь многих собратий своих.

— Собратий по епанче, не по мечу — потому что вы воюете веревкой и кинжалом, не по кресту — вы изменили ему, преступив клятву повиноваться одному гермейстеру. И значит, вы враги Ордена, когда обвиняете за то же самое, за что славил меня гермейстер: за верное исполненье воинской должности.

— Но ты забыл тогда долг человека.

— Фрейграф!.. Пролитая кровь, пожары и расхищенья святыни и все злодейства, необходимые спутники войны, лежат на ответе епископа Иоанна и гермейстера Монгейма, а я был только орудием высшей воли. Монастырь Дюнамюнда вредил нам при осаде Риги как крепость, и я взял его приступом, как солдат, а следствия упрямого отпора известны. Но там духовные сражались и гибли, как рыцари,— а вы, рыцари, судите за военное дело, будто за святотатство.

— Вольные члены! В первом обвинении фон Нордек признается.

— Я горжусь тем как воин, но сожалею о том как человек. Об остальном же нелепом и низком обвинении скажу, что настоящие сыны Ордена не подражают примеру вашего Фехтена[2] и не братаются с язычниками-литовцами для грабежа братних имений. Впрочем, как можете вы вступаться за Орден, когда сами его первым случаем вините? Разве можно быть вдруг и за епископа и за гермейстера?

— Истина не принадлежит ни к какой стороне, и правосудие казнит без лицеприятия!

— Истина не имеет нужды пресмыкаться во мраке и тайне; правосудие обвиняет гласно и казнит всенародно, а не уязвляет, как змея в пятку, не поражает, подобно бандиту, из-за угла. Еще раз спрашиваю, какое право имеете вы судить меня?

— Рыцарь! Ты должен здесь только отвечать; можешь только просить, а не спрашивать.

— Мне просить! Вас просить! Ты смешишь меня, фрейграф! Послушайте вы, господа самозваные судьи мои, я знаю,

что здесь обвинение есть уже смертный приговор и что вы привлекли меня в этот вертеп не для того, чтобы судить, но осудить; со всем тем не надейтесь, чтобы страх смерти заставил меня в жизни унизиться. Знайте, что я всегда ненавидел вас и даже теперь презираю, что я умру в сладостной уверенности на отмщение вам, моего друга Монгейма, и верьте, что каждый волосок, каждый состав мой выкупится сотнями черепов безземельных ваших рыцарей, белое знамя гермейстерское очервленится вашею кровью, и огонь очистит землю от трупов злодейских. Таково будет наказание от человека, господа судьи... Я уже не говорю о воздаянии всевышнего судии! Ваша совесть вам скажет о нем перед смертным часом — и не будет вам отрады, ни прощения.

— Нордек! Ты напрасно расточаешь брань и угрозы. Тайный суд бесстрастен, как провидение, и неумолим, как судьба.

— Но кто дал вам, безумные люди, взор провидения, кто вручил вам меч судьбы? Разум, дар неба и земная власть гроссмейстера отвергают суд ваш. Я не признаю его определений!

— Так испытаешь его силу,— с злобною усмешкою отвечал Оттокар.— Господа вольные члены тайного Аренсбургского суда: по статутам и законам нашим клянитесь за мною судить обвиненного по совести и чести!

Все склонили колена и подняли правые руки... Эвальд услышал следующую клятву:

— Клянусь стоять за тайный суд против отца и матери, против жены и детей, против друзей и кровных, против ветра и огня, противу всего, что солнце греет и дождь кропит, противу всего, что между землею и небом находится; и пусть на душу мою обратится проклятие, а на мою голову казнь, присужденная преступнику, если не выполню я судного приговора.

Как злые духи, встали и уселись опять члены суда, бренча оружием. Фрейграф продолжал:

— Итак, вольные сочлены мои, перед вами стоит рыцарь фон Нордек, уличенный в святотатстве; измена же его против Ордена и тайная связь с русскими, которым хотел он предать пограничный свой замок Нейгаузен, доказана еще в прошедшем заседании клятвенными показаниями известного вам сочлена. Братья и члены, что присудите вы за такие ужасные злодейства?

Молчание.

— Гельмольд фон Лоде, твой приговор?

— Рыцарь Эвальд фон Нордек осужден!

— *Verfemt*!*— раздалось со всех сторон.

---

* Осужден! (*нем.*) — *Ред.*

— *Verfemt*!— радостно повторил фрейграф.— Лишен покрова всех законов и обречен на смерть. Секретарь, занеси в книгу его имя и преступление. Стражи!

Фрейграф махнул рукою, и несчастного увлекли.

— Рыцарь Ромуальд фон Мей, член тайного суда Вестфальского, ты был обвинителем Нордека — вручаю тебе кинжал для его казни. Еще сутки будет он жить, чтоб выведать из него тайны гермейстерские, потому что он был во всем правою рукою Монгейма, но потом соверши что начал и объяви главному суду красной земли[3], как подвизается здешний для общей пользы и славы.

Ромуальд безмолвно встал, склонил голову в знак согласия и, взяв кинжал, хладнокровно пробовал его остроту... но взоры предателя сверкали злобно, как глаза волка на добычу. Члены попарно медленным шагом скрылись во мраке и чаще леса.

V

Видали ль вы восход солнца из-за синего моря? Уже холодеет раннее утро, и заря зарумянилась на небе. Легкие туманы улетают к ней навстречу, и пролетом их едва тускнеет стеклянная поверхность морская, подобно зеркалу, тускнеющему под дыханьем красавицы. Дальний берег, мнится, висит в воздухе и зеленою стрелкою исчезает в небосклоне. Все тихо; только изредка клик плещущихся вдали лебедей по заре раздается, и нетерпеливый ветерок порой заигрывает с звонкими камышами. И вот вспыхнул восток, и золотая к нему тропа пересекла воды: солнце в лоне туманов, без блистания, как бы в раздумье, стоит на краю небосклона и, вдруг воспрянув от вод, величественно устремляется по небу.

Такое утро сияло над диким берегом Ливонии, когда человек двадцать русских гостей любовались им. Две большие высокогрудые их ладии стояли близ утеса. Невдалеке светлели высокие башни замка Пернау, недавно отстроенного гермейстером Иокке. Двое, в кольчугах, с секирами, стояли на страже. Другие лежали беспечно, раскинувшись вкруг огонька, лишь по дыму заметного против солнца. Это были товарищи молодого и богатого гостя Андрея Гремича. В то время все новогородцы вырастали в море и в воде, и звание купца было неразлучно с достоинством воина. Случалось нередко, что торговцы, отправляясь в чужбину за мирными прибылями, возвращались с добычею битвы. Каждый своевольно, когда пробуждался в нем боевой дух или корысть к себе манила, вооружался и разгули-

вал по Варяжскому морю и озеру Ладожскому, на страх немцам и шведам. К такому же разряду, казалось, принадлежала дружина Андреева. Тяжелое их оружие не могло принадлежать людям, непривычным к битве, и жилистые их руки были способнее наносить раны, чем нарезывать бирки[4] или выкладывать на счетах.

— Эй, земляки!— раздалось над их головою, и русские увидели на утесе рыцаря в вороненых латах на гнедом мекленбургском коне.

— Мы все земляки, все из земли сделаны,— грубо отвечал ему один из гостей, зажигая фитиль самопала.

— Что тебе надобно, рыцарь?

— Узнать, где можно безопаснее к вам спуститься,— отвечал тот.

— Пусть молния опалит мне бороду, если я не спущу тебя вниз одним прыжком!— возразил Илья, прикладываясь; но рыцарь мелькнул и исчез.

— К ружью!— закричал Андрей, хватаясь за меч.

Русские повскакали и приготовились принять незваного гостя. Между тем незнакомец показался опять, тихо съезжая к ним по узкой тропинке.

— Бьюсь об заклад,— сказал Илья,— что это передовщик какой-нибудь ватаги бродячих немецких рыцарей. Ну уж народец! С ним не плошай ни на торгу, ни в мире. Как ворон крови, так они жаждут золота, и хоть деньги ничем не пахнут, но они чутьем своим как раз спроведают, где есть пожива. Сказывали, они еще недавно разграбили наших купцов в самом Юрьеве. Проклятые язычники!

— Они, кажется, христиане,— важно заметил один из гостей.

— Да, да, христиане!..

Рыцарь приблизился, слез с коня, вонзил копье в землю и смело пошел в середину русских. Бесстрашный Андрей вышел к нему навстречу; они сошлись.

— Андрей!— воскликнул рыцарь... и с поднятым наличником кинулся обнимать его.

— Брат Всеслав, ты жив еще!

Сладостно было свидание братьев. Они плакали и усмехались, прерывистые восклицания и безответные вопросы летели. Умиленные новогородцы столпились вкруг своих начальников, кланялись, жали руку Всеславу, целовали и обнимали его, как воскресшего: на родине его давно считали убитым.

— Полно, полно,— сказал Андрей, вырываясь из объятий братних,— ты сломал мне грудь своими латами; но скажи, по-

жалуйста, зачем ты променял свою серебряную кольчугу на этот кирас, в котором гуляешь, словно черепаха?

— Затем, чтобы безопаснее проехать по Ливонии, но, брат и друг, мне надо освежить свою душу рассказом...

Братья удалились к стороне: сели под иву, которая шатром развесилась над берегом, и рука в руке, взоры в глазах друг друга, разговаривали они об родных и родине, и все чувства души и все страсти сердца мгновенно отсвечивались на прозрачном облике Всеслава, и он жадно ловил рассказы о подвигах соотечественников, о их славе. Он забыл о себе, внимая о Новегороде... ах, кто не заслушается вестью об родине, как пением райской птички!

— А я,— сказал наконец Всеслав на повторенный вопрос брата,— как ты знаешь, пал окровавленный, избитый и израненный на полях Вейзенштейна, куда удальство завлекло меня с горстью бесстрашных. Я не знал, где я очувствовался. Прошлое для меня исчезло; память истощилась с кровью — и все, что тогда увидел я наяву, мне чудилось, будто во сне. Надо мною вздымались плитные своды, как в могильном погребе, на мне, как саван, белое покрывало, и тусклая лампада едва освещала окружность. Я ужаснулся; мне представилось, будто я погребен заживо! Холодный пот проступил на лице... приподнимаю голову, озираюсь... у моего изголовья сидела прелестная, как ангел, женщина... признаюсь тебе, я обомлел, суеверное воображение представило мне, что в ней вижу я свою душу, которая, перед отлетом на небо, прощается с бренным своим жилищем. Брат, это была супруга рыцаря фон Нордека, великодушного моего победителя.

— Нордека!— воскликнул пылкий Андрей.— Этого рыцаря словом и делом, который первый под градом камней и проклятий взлез на стены дюнамюндские, которого рижане страшатся, как божьего гнева! Я недавно видел его, когда он о́бок гермейстера въезжал в пролом покорившейся им Риги, в пролом, который был для них победными воротами. Этот Нордек ехал так гордо, глядел так смело всем в глаза... что... признаюсь, меня взяла охота померять с ним силы,— он должен быть славный человек.

— Он в самом деле таков,— продолжал Всеслав,— вспыльчив до бешенства и неустрашим до безрассудства, зато как добр и радушен. Теперь буду говорить о себе: между тем как медленно возвращались мои силы, раздоры Ордена с Новым-градом продолжались, и мне невозможно было в целые полгода дать весточки, нельзя было спроведать о родимых. О, как часто, друг, у меня было тяжко на сердце —

и некому было открыть тоски своей, не с кем погоревать вместе. Часто, каждый день глядел я с башни Нейгаузена на Псковскую дорогу, которая вилась и скрывалась в лесу; иногда скакал по ней русский всадник — и надежда моя воскресала, сердце билось крепко; но мнимый вестник скрывался — и вновь оно ныло и замирало. Только с Эммою находил я отраду; и благодарность за ее нежные попечения об раненом превратилась во мне в какую-то неизъяснимо тихую к ней привязанность.

— Неизъяснимую?— перебил, грозя пальцем, Андрей.— Для меня это очень понятно: ты влюбился в нее...

— Нет, Андрей, нет; это не была та бурная любовь, которую судьба судила мне испытывать. В этом неприхотливом чувстве нет волнений, нет бешеной веселости без причины, нет отчаяния от безделиц, огонь не снедал моего сердца и ревность не раскаляла его. Только не знаю отчего, при ней я дышал свободнее, с нею был веселее, но совесть моя была светла, как клинок твоей сабли. Мы почти не разлучались — все трое езжали на охоту, на прогулку, утром учили друг друга родным языкам своим, а вечером рассказывали повести. Добрый Эвальд радовался, что пленнику не скучно; гостеприимство и доверенность царствовали в доме, время мчалось, и пагубная минута пробила. К Эвальду приехал погостить старинный друг его, вестфалец фон Мей, малтийский рыцарь, который в числе воинов прусского графа Аренсбурга помогал гермейстеру на русских. В его душе сходились все знойные страсти Востока с необузданною волею, которая всего желала и все могла. Он вспыхнул страстию к прекрасной Эмме и употребил все средства опытного волокитства, все тонкости тщеславия, все обольщения богатства, чтобы преклонить ее на любовь. Гордая невинностию Эмма не хотела даже приметить этого, и ее презрение возбудило в развратном его сердце злобу. Он оклеветал ее в глазах мужа, заставил меня взяться за оружие, чтобы отвечать на обидный вызов Эвальда, и — должно подозревать, обвинил его перед тайным судом, потому что Эвальда схватили и увезли на Эзель. И что сказать тебе еще о злодействах этого разбойника? Он, пользуясь смятением, похитил Эмму, туда же увез сестру мою, нашу Эмму — и может быть... как еще кровь не брызжет из жил моих!— она поругана, обесчещена! Что же ты смотришь на меня с таким изумлением? Да, там я нашел сестру, ту самую Марфу, которая еще двухлетняя похищена была у родителей наших при набеге рыцарей на предместие Пскова. Отто, отец Эвальда, сжалился над погибающею малюткой — привез домой и воспитал как дочь, под име-

нем дальней родственницы, не открывая никому тайны ее рода, ибо он знал, как ненавидят германцы все русское племя. Я узнал о том нечаянно, перед ее похищением, когда Отто хотел благословить меня крестом русским для поиска об Эвальде. Брат, вот он, вот семейный наш крест — вот и половина кольца с перста чудотворной великомученицы Варвары, которым нас, близнецов с Марфою, благословил архиепископ, разломив на полы. Подобный крест и полкольца уверили Эмму — и я прижал к груди моей погибшую сестру, я нашел ее — и мы потеряли ее, может быть, навсегда. О брат, брат, мы ее потеряли!

— Чего же медлим,— воскликнул Андрей,— для чего ж волочем время в рассказах, когда наш зять теряет, может быть, жизнь, а сестра честь свою! О, как бы обрадовались наши старики такою находкою; а чего не сделаю я, чтобы их обрадовать. В поход, товарищи! Мечите в море лишний груз — надобно жертвовать драгоценным благороднейшему. На Эзель, в Аренсбург, в этот притон тайного суда, об котором довольно наслышался я, в это гнездо плутов, которые во зло употребляют слово правосудие и льют кровь невинных.

— На Эзель, в Аренсбург!— восклицал Всеслав, вскакивая в ладью.— И дай мне руку, брат, на смерть беззаконникам, если казнь уже постигла благородного Эвальда. Я подкрадусь туда, как тать, и зарежу их, как разбойник; в крови отцов утоплю детей, дымом пожара задушу все племя злодейское, и пламень — знамя истребления разовьется над главами башен.

Якорь был уже поднят, когда Андрей послал одного из своих на берег.

— Возьми братнину лошадь,— говорил он ему,— и скачи по берегу, ищи русских, расскажи им дело и сбери удалых в Ревеле. Там господами датчане, и они будут с нами заодно. Если через два дни нет вести — то спешите на Эзель и совершайте по нас поминки как знаете. Прощай!

Паруса размахнулись, и ладья, разбрызгивая волны, полетела по морю.

«Счастливый путь вам, други!— думал оставшийся новогородец на берегу.— Спешите: ветер изменчив, и злодейство не теряет минут. Кто знает, на избавление или на бесплодную месть вы спешите».

VI

Скован, как злодей, осужден, как преступник, лежал Эвальд на полу в одной из башен аренсбургских. Неумолкаю-

щая тоска грызла его сердце, и все насмешливые воспоминания счастия, и все жестокие ощущения души будто нарочно роились в воображении, чтобы отравить последние минуты жизни. Пять дней тому назад он был счастливейшим человеком в свете. Увенчан молвою, отличен гермейстером, почтен равными себе, спешил Эвальд в объятия прелестной супруги и друзей, ему обязанных. А теперь: о боже мой, боже мой! Кто испытал вдруг столько душевных и вещественных несчастий! Обманут другом, изменен женою, безвозвратно оклеветан, очернен перед рыцарством, перед потомками, осужден беззаконно и безвинно на гибель, на смерть, на казнь!..

«Умереть легко,— думал он,— но умереть на поле чести или на ложе предков, не на плахе потаенного палача, на которой не застыла еще кровь какого-нибудь бездельника. Погибнуть столь внезапно, оставить без награды лучших друзей, без отмщения злейших врагов!.. Умереть так темно, что ни один наследник, даже для виду, не придет поплакать на прах мой... его развеет ветер, размоют волны, и хищные птицы разнесут по лесам и болотам... о, это ужасно, это нестерпимо».

В отчаянии грыз Эвальд оковы, и слезы ужаса бесчестной смерти замерли в очах его. К счастию человечества, сильные удары страстей непродолжительны. Выстрел потрясает твердь, но исчезает мгновенно; так и отчаянье Эвальда утихло, как стихает ниспавшая волна водопада. Казалось, разум сжалился над несчастным и отлетел прочь. Настоящее, прошлое и будущее смешались для него в хаос. Мечты, будто сонные видения, проходили, кружились, сталкивались в воображении; но тусклое понятие не могло схватить ни одной черты, ни одной мысли — все было мрачно, как могила, и безначально, как вечность. Наконец звук цепей извлек Эвальда из сего ничтожественного забытья.

«Может быть,— подумал он с горьким вздохом,— эти цепи заржавлены слезами других обвиненных, до меня здесь погибших... может быть, и они были так же невинны, так же несчастны, как я!.. Их уже нет... скоро и меня не станет, и поздний потомок найдет наши имена, записанные в кровавой книге преступлений!.. Худая слава живет долее доброй, и, статься может, имя Нордека, которым гордились доселе рыцари ливонские, предастся на поругание в веках грядущих. Так! Благодетели людей тлеют в гробах наравне с теми, кому благотворили они, а ненависть переживает поколения. Знаменитые подвиги умышленно забываются завистью, неодолимые замки исчезают под бороною, славные удары могучих снедает время и ржавчина, с сокрушенными от них бронями, а между тем низ-

кая клевета таится в архивах, и предатель-пергамин чрез сотни лет выдаст сказки за истину, обесславит добрых и возвеличит ничтожных злодеев!.. Но разве нет вечного судии, чтобы творить награду и суд независимо от прихотей случая и обманчивых понятий человека? Разве нет другой жизни, где все истина и все благость?..»

Сердце Эвальда смягчилось, общая судьба людей примирила его с своею судьбою, и какой-то внутренний голос вопиял ему: молись! И Эвальд молился. Правда, он часто забывал молитву в боях и на пирах; но теперь, на пороге смерти, он молится, и молится не от страха, но от умиления сердца. Часто забывают смерть в припадках чести на поединках, ее не замечают в блестящей мантии славы на сражениях; но не тогда, как она является во всей своей наготе, со всеми ужасами неизбежной казни. Эвальд молился чистосердечно, искренно... и час его пробил. Визгнули тяжкие засовы, скрипя, отворилась дверь на пятах, и убийца с фонарем и кинжалом предстал осужденному.

VII

— Куда вы везете меня?— говорила умоляющим голосом Эмма в эстонской ладье своим бесчувственным похитителям; говорила, и буйный ночной ветер развевал ее волосы, уносил ее слова.

— Конрад, Конрад! Сжалься хоть ты надо мною, вспомни мои всегдашние к тебе милости... злой человек, чем заслужила я от тебя такую измену!.. Любезный Конрад, скажи, куда и зачем везут меня?

— На Эзель, сударыня, на славный остров Эзель, в гости к прекрасному господину моему, рыцарю фон Мею.

— Но увижу ль я там моего Эвальда?

— О, конечно; он, верно, дожидается вас на первом дереве, а не на виселице,— в этом я уверен, и это же самое докажет вам, что г[осподин] Эвальд осужден не гражданским, а тайным судом. Да, впрочем, вам, высокорожденная баронесса, печалиться не о чем. Такая красавица, как вы, в женихах нужды иметь не будет. Ромуальд вас повезет с собою в Вестфалию, а там не то, что ваша Ливония, где не найдешь, прости господи, кочна цветной капусты; там, сударыня, шпанских вишен куры не клюют, а винограду больше, чем здесь рябины; а рейнвейн-то, рейнвейн! О, да вы будете жить припеваючи. Правда, ему нельзя явно жениться на вас; так что ж? Вы обвенчаетесь с левой руки, а ведь с левой руки и сердце!

— Святая Мария! Подкрепи меня,— воскликнула Эмма, рыдая,— до чего я дожила: последний вассал смеет надо мною насмехаться, о злодей Ромуальд, я проклинаю тебя!

— Ведь я говорил, что напрасно снимать повязку со рта баронессы — она может простудиться, говоря так много. Ух! Как качает, как плещет! Не правда ли, сударыня баронесса, что ветер здесь немножко посильнее, чем ветер от вашего опахала? Не поблагодарите ли вы меня за эту прогулку по морю! Могу похвастаться, что я избавил всех от погони: это была мастерская штука; я каждой лошади вколотил в ногу по гвоздику. Ба, да вот и огни в Аренсбурге; посвищи, друг Рамеко, чтобы еще крепче задул ветер. Скоро, скоро мы выйдем на берег, скоро вино польется в горло и деньги в карманы.

Вдруг взглянул Конрад в сторону: огромная ладья на всех парусах с наветра катилась к ним наперерез.

— Кто едет?!— оробев, закричал Конрад.— Кто, друзья или неприятели?

— Это он, это изменник Конрад,— заревел в ответ громовой голос, и вмиг русская ладья врезалась к ним в бок.

Ужас охватил сердце Эммы... Она слышит треск досок, хлопанье парусов, крики битвы и клятвы умирающих. Мечи скрестились, искры сверкают по шлемам — и вот несколько выстрелов, и опять сеча, и, наконец, вопли о пощаде...

— Нет пощады, топите разбойников!— раздалось, и вмиг ярящиеся волны заплескались над тонущими и залили их пронзительные голоса.

Конрад схватился было за край,— но мольбы злодея были бесплодны, и он, проклиная себя, с обрубленными руками опустился на дно морское.

Какой переход от отчаяния к надежде, от чувства страха к нежным ощущениям. Спасенная Эмма опамятовалась в объятиях братьев!

— Слушай, Рамеко,— говорил Всеслав избегшему от смерти кормщику эстонской ладьи,— дарую тебе жизнь и свободу, но веди нас мимо камней, прямо к Аренсбургу, прямо к той башне, где заключен пленный рыцарь. Ты сегодня оттуда, следовательно, должен все знать. Веди — или я познакомлю тебя с рыбами!

Эстонец повиновался охотно, ибо он ненавидел владельцев своих столько же, сколько их страшился.

Между тем буря свирепела от часу более, дождь лил ливмя, и только блеск молний показывал близость замка.

— Смотри,— говорил Всеслав брату,— как дождь гасит ложный маяк, сложенный из бревен разбитого корабля, что-

бы приманить другие к погибели. Смотри, как вьется молния вкруг шпицев замка, воздвигнутого на костях несчастных пловцов, и не для защиты, а для угнетенья людей,— но минута карающего гнева приспеет, и гроза небес испепелит грозу земли.

— Сюда, сюда,— тихо говорил кормчий, устремляя бег ладьи на высокую стену.— Опустите паруса, снимите мачты, склонитесь сами: мы проедем сквозь низкий свод, оставленный для протока воды по рвам, к самому подножию башни.

Не без трепета и сомнения пустились русские под свод, где измена и гибель могли встретить их.

Страшно плескали волны залива в стену и, отраженные, стекали из-под свода, журча между расселинами камней, но там все было тихо, и каждый шорох вторился многократно. Чрез минуту они уже были во рву между башнею и стеною.

— Вот окно заключенника,— сказал проводник, и русские остановились в недоумении; окно было, по крайней мере, четыре сажени от земли.

— Wer da?*— закричал часовой, беспечно прохаживаясь по стене, и завернулся в плащ в полной уверенности, что над ним потешаются злые духи.

— Я укорочу тебе язык, зловещая птица,— тихо сказал Гедеон; стрела взвилась, и часовой полетел в воду.

— Счастливый путь, товарищ! Спасибо, что ты открыл нам дорогу наверх... посмотри, брат Всеслав, его плащ зацепился за зубец и раскинулся по стене... помогите мне, друзья, достать кончик: так, теперь крепко, не сорвется. Тише, тише... я уже наверху, а отсюда не более полуторы сажени до окошка. И ты уже здесь, брат Всеслав, это славно! Теперь, товарищи, вырвите из частокола бревно и подайте его сюда, оно послужит нам вместо лестницы и тарана.

Чрез четверть часа десять удальцов были на гребне стены и по приставленному бревну, скользя и обрываясь, лезли к башне. К счастию, подле рокового окна выдавалась над рвом висячая стрельница, и с нее-то Всеслав достиг до него. Приложив ухо к решетке, ему послышался голос, но это не был голос Эвальда! Неужели же все труды напрасны, неужели его обманули?

VIII

Всеслав приник внимательнее к решетке, не смея, однако ж, заглянуть в нее... гневные слова раздавались в башне: то говорил Ромуальд.

---

* Кто там? *(нем.)*—*Ред.*

— Вероломец, изменник, предатель, говоришь ты; такие названия мне сладостны из уст моей жертвы. Так, я изменил дружбе, я скрывал свои чувства, я предал тебя сторонникам Иоанна, чтобы удовлетворить свои страсти, а мщение есть первейшая моя страсть. Помнишь ли, Эвальд, турнир в Кенигсберге, помнишь ли тот удар копья, которым ты выбил меня из седла; это еще я мог простить тебе: тут была обижена только гордость, но помнишь ли, что вместе с призом ты похитил у меня и сердце ветреной Аделаиды,— этого я не мог простить и никогда не прощу тебе, и с той же минуты погибель твоя была решена. Ревность заставила меня облечься в эту мантию и загнала на скалы Африки, но месть привела сюда. Ты видел, умел ли я притворяться, теперь узнай еще, что я оклеветал твою Эмму и очернил Всеслава, чтобы заставить тебя их обидеть; этого еще мало, Эвальд: недовольный, что я поругал твое имя, что вонзил в твое сердце муки совести,— я похитил твою Эмму — теперь она уже в руках моих, и, вышед отсюда, зарезав тебя, я осушу ее слезы поцелуями. Эмма — женщина: я ручаюсь, что через два дни она будет уже играть этим кинжалом, который напьется кровью ее супруга.

— Изверг природы!— воскликнул Эвальд, всплеснув руками.— Человек ли ты?

— О, конечно, не ангел,— злобно отвечал Мей,— но какие существа мне не позавидуют: я наслаждаюсь мучениями моего врага... ну... полно тебе жить, Эвальд, теперь я хочу жить за тебя.

Ромуальд взмахнул кинжал, но вдруг сбитая решетка, гремя, ринулась к ногам его. Убийца оцепенел — и Всеслав, как ангел мщенья, ворвался в темницу и одним ударом меча обезоружил Ромуальда.

— Полно тебе злодействовать, Мей,— загремел он.— Твой час пробил. Выкиньте этого тигра в окно,— сказал он своим,— чтобы он не заражал воздуха своим дыханием!

Новогородцам не нужно было повторять приказа; Ромуальда схватили, раскачали и вышвырнули в окно с башни.

— Бездельник не утонет,— сказал Гедеон с насмешкою, прислушиваясь к падению Мея,— у него препустая голова: слышишь ли, как звенит она, стукаясь о камни?

— Его и дребезгов не останется,— отвечал Илья,— прежде нежели долетит он до низу: все стены утыканы частоколом.

— Поделом вору и мука,— промолвил Гедеон,— он был великий злодей.

В одно мгновение разбил Всеслав рукоятью меча цепи Эвальдовы, и Нордек склонил перед ним колено.

— Склоняюсь перед невинно обиженным мною,— воскликнул он,— и объемлю моего великодушного избавителя!

Они взирали друг на друга с чувством безмолвного восторга, и горячие слезы умиления и раскаяния смешались.

— Спеши к Эмме,— сказал Всеслав,— она невинна и добра, как прежде,— она здесь, внизу...

С криком безумной радости спрыгнул Эвальд на стену, с нее в ладью, и счастливый, прощенный супруг упал в объятия восхищенной супруги. Для таких сцен есть чувства и нет слез.

Гроза стихала, и наши пловцы выбирались из-под свода, когда чей-то стон привлек их внимание. Всеслав выпрыгнул на каменья, чтобы посмотреть, кто это, и ужаснейшее зрелище поразило его взоры: Ромуальд, изможденный, проткнутый насквозь заостренным бревном, висел головою вниз и затекал кровью; руки замирали с судорожным движением, уста произносили невнятные проклятия.

— Чудовище,— сказал Эвальд, содрогаясь от ужаса,— ты жаждал чужой крови и теперь задыхаешься своею.

Зажав уши, отвратив глаза, бежал он прочь. Но долго после того ему слышалось впросонках смертное хрипение Мея, и картина его казни представлялась как живая.

Ладья летела будто окрыленная, и новые родные уже беззаботно предались излиянью чувств и рассказам.

— Посмотри, брат,— сказал Андрей Всеславу,— как расцветает над замком зарево,— это мое дело; я вместо тебя распустил на башне огненное знамя истребления и позаботился, чтобы нам было светло в дороге. Огонь горячо принялся за наше дело, да и ветер раздувает его так усердно, будто приверженец гермейстера. Послушайте, как кричат они, как стелется дым и кидает уголья во все стороны. О, это утешно, это будет памятная отплата господам тайным судьям за явные их проказы. Однако ж посоветуй зятю Эвальду не выезжать впредь без свиты. У него не две головы, и мщенье не обманывается дважды.

Спешите к берегу, молодые счастливцы! Там встретит вас дружба и под щитом своим проведет на родину. Спешите! В Нейгаузене ждет вас радость и ликованье; гостеприимство и приветы найденных родителей ждут вас в Новегороде.

Я видел живописный Нейгаузен, и в нем не раздавался уже звук стаканов, ни гром оружия. Верхом въехал я в круглую залу пиршества — там одно запустение и молчанье. Этот замок, построенный Валтером фон Нордеком в 1277 году и наступивший пятою на границу России, доказывал некогда могу-

щество Ордена; теперь доказывает он силу времени. Лишь одна круглая башня, прекрасной готической архитектуры, устояла; остальное распалось. По карнизам стелется плющ, деревья венчают зубчатые стены; из бойниц, откуда летали некогда меткие стрелы, выпархивает теперь мирная ласточка, и ручей, пробираясь между развалин, омывает главы обрушенных башен, которые когда-то гляделись с высоты в его поверхность.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Эпохою своей повести избрал я 1334 год, заметный в летописях Ливонии взятием Риги герм. Эбергардом фон Монгеймом у епископа Иоанна II; он привел ее в совершенное подданство, взял с жителей дань и письмо покорности (Sönebref), разломал стену и через нее въехал в город. Весьма естественно, что беспрестанные раздоры рыцарей с епископами и неудачи сих последних должны были произвести в партии рижской желание обессилить врагов потаенными средствами.

[1] Тайное судилище (Freigerichte, Femegerichte, Heimliche Gerichte) — это пугалище средних веков из Германии с рыцарством перешло и в Ливонию. Заседания их (Freistuhl) были в замках Арраше и Аренсбурге, где доселе находится множество костей, в стену закладенных. Позывы свои оно делало и посредством зарубок на воротах или на деревах. Впоследствии гроссмейстер Эрлингсгаузен запретил особым декретом повиноваться сему суду, основанному вначале для удержания насилий самосудных баронов и впоследствии превратившемуся в скопище разбойников, влекомых корыстью или мщением. Слово Femegerichte происходит от старинного саксонского слова verhemmen — проклясть, осудить, лишить убежища законов (vogelfrei).

[2] Рижский епископ Фехтен, воюя против герм. Думпесгагена, в 1286 году соединился с литов. кн. Витовтом.

[3] Rotes-land — так называли в старину Вестфалию, где находился главный тайный суд, который уже заведовал всеми.

[4] Бирки и доныне употребляются русскими подрядчиками в виде векселей. Это не что иное, как лучинки, на которых нарезываются кресты и палочки, означающие количество. Потом эта лучинка раскалывается надвое и половинки хранятся у отдатчика и приемщика до расчета.

Н. БЕСТУЖЕВ

ОБ УДОВОЛЬСТВИЯХ НА МОРЕ

ПИСЬМО К***

Пользуясь впечатлением, которое осталось в вас последним посещением Кронштадта, спешу отвечать на вопрос, сделанный вами прежде: почему я избрал себе скучный род морской службы. Я нарочно ожидал случая, чтобы доказательства мои были подкреплены собственным вашим убеждением; для меня довольно было, что вы видели военный корабль и восхищались его устройством. Вам понравилось все на этой плавающей машине; вы признались, что живое чувствование неожиданно великого до сих пор наполняет еще ваши мысли приятным воспоминанием. «Но опасности,— говорите вы,— но скука долгого плавания, вечное однообразие предметов, молчанье страстей — красы нашей жизни не позволяют видеть в службе моряков ничего приятного!»

Послушайте меня — и если вы не согласитесь, что наша служба может быть приятна, по крайней мере я лишний раз поговорю о ней с удовольствием.

Не буду разбирать: судьба или наши наклонности заставляют избирать род службы; жребий мореходца делается в самой юности и в десять лет должно быть записану в морской корпус. Надобно знать, что последние три года пред выпуском кадет посылают на кораблях в море для практики... Сии, возвращаясь осенью из своих походов, рассказывают случившееся, описывают виденное — и юные слушатели, кипя от восторгов, с неизъяснимым чувствованием ожидают той счастливой минуты, когда успехи в науках и отличие в поведении доставит им случай самим видеть и испытать слышанное от товарищей. Таким образом, с молодых ногтей, еще не быв на море, они заранее с ним знакомы, питают и укрепляют сердце свое

заблаговременными повествованиями, и вместе с другими страстями их растет любовь к службе.

Первое прибытие на корабль довершает очарование воображения, которое в сем случае идеалом своим уступает вещественности. В самом деле, никто не вообразит того впечатления, которое производит огромный корабль, плавающий на воде, вооруженный громадою пушек в несколько этажей, снабженный мачтами, превосходящими высочайшие деревья, перепутанный множеством веревок, из коих каждая имеет свое название и назначение, обвешанный парусами, невидными, когда подобраны, и ужасными величиною, когда корабль взмахнет ими как крыльями и птицею полетит бороться с ветрами и волнами. Сотни людей населяют его; для юного сердца он кажется целым плавающим городом. Настают бури; пучина разверзается; корабль стонет,— неопытный юноша смотрит на выражение лиц начальников своих — видит спокойствие, и думает, что буре так быть надобно. Не понимая ужасов, беспечно любуется борьбою стихий; они становятся для него предметом любопытства, и, прежде нежели разум его постигнет меру опасности, он уже знакомится с нею, привыкает ее видеть без боязни и хладнокровно уже впоследствии встречает ее.

Таким образом, с самой юности, мореходец вменяет в ничто ужасы природы, и силою привычки он так же беззаботно пускается в море, как вы ложитесь в вашу постелю.

При таком спокойном расположении духа — вы, конечно, поверите — можно найти удовольствие на море; чтобы исчислить их, надобно бы описать всю нашу жизнь корабельную; но, не входя в подробности, я постараюсь начертать легкий ее абрис.

Не распространюсь о том, что, прежде выступления корабля в море, надобно вооружать и оснастить его, что это вооружение имеет свои приятности, ибо каждый, изготовляя корабль, заботится о нем столько же, как бы строил себе дом, с тою только разностью, что соревнование службы и товарищества берут здесь сильное участие в самолюбии каждого. Казалось бы, что общая форма в вооружении всех кораблей должна быть одинакова: но со всем тем каждый корабль некоторым образом носит отпечаток вкуса и сведений того офицера, который его вооружает. Есть тонкости и в этом искусстве, не приметные глазу неопытному, но составляющие красоту форм вооружения, и в сих-то тонкостях заключаются удовольствия моряков, полагающих славу свою, надежды и безопасность в искусстве, с которым приготовляют они корабли к походу.

С выступлением корабля на рейд каждый из офицеров за-

ботится устроить маленькое свое жилище, в котором он располагается всем домом,— вы видели, что младшие живут внизу и днем зажигают там огонь, потому что их жилище под водою. Старшие помещены в так называемой каюте-компании, или общественной, от которой парусная перегородка их отделяет; пушка стоит в каждой каюте, и при малейшем приготовлении к сражению переборки подымаются, каюты опрастываются, и чистая батарея готова грянуть громом.

В сей-то каюте-компании собираются все служащие на корабле офицеры. Воспитанные в одном месте, как бы дети одной матери, с одинаковыми привычками, одинаким образом мыслей, общество офицеров морской службы отличается тою дружескою связью, тем чистосердечным прямодушием, каких не могут представить другие общества, составленные из людей, с разных сторон пришедших. Между сими людьми сердце каждого отдыхает от трудов, им понесенных, и деятельная жизнь корабельная дает полное право веселиться в минуты отдыха. Одни играют в карты, другие занимаются музыкою, иногда общая веселость уступает место вниманию при поучительных повествованиях. Рассуждения практические и тактические оживляют умы, искры противоречия освещают истину; но никогда не зажигают пламенника вражды и раздора. Поверите ли вы, что от создания российского флота у нас между флотскими не было ни одной дуэли?

Конечно, человеку постороннему на корабле, а следственно и праздному, жизнь наша покажется единообразна. Установленное для занятий время, положенные часы обеда, ужина и пр., число удовольствий ограниченное, и самые удовольствия слишком простые, потому что заключаются не во внешних предметах, переменою своею ласкающих чувства прихотливых любимцев счастия, но в наших сердцах, в чувствованиях, не всегда и не всякому понятных. Например, как изъяснить удовольствие сидеть за столом, где двадцать человек офицеров различных характеров и склонностей, но проникнутых каким-то общим духом, представляют семейственную картину и общими силами стремятся ко взаимному удовольствию. Живость характера одних в противоположности с флегмою других, радость надежд юности и воспоминания опытности, все это вместе действует на душу, принимающую участие в беседе тихим, но приятным образом. Конечно, математическая, точная жизнь наша делает и характер наш будто холодным и равнодушным, но поверьте мне, что человек, рожденный с пылким сердцем, силою привычки принимающий равнодушие, не переменит своих чувствований; только образ выражения его будет

иной; поверьте, что равнодушный человек не есть еще хладнокровный и что между тем и другим такая же разница, как между текучею и стоячею водами, льдом покрытыми; наружный вид обоих одинаков, но одна промерзает до самого дна, другая не перестает течь и журчать под своим непроницаемым покровом. Конечно, служба наша, требующая несмигаемого надзора за непостоянною стихиею,— надзора, от которого зависит жизнь нескольких сот людей, внушая порядок в образе мыслей и поступков, не дает времени воображению подстрекать страстей наших: зато она сохраняет к случаю всю живость их и ощущение, ими производимое, неизъяснимо приятнее в наших сердцах, нежели в тех, которые, опустив узду страстей своих, несутся вскачь на поприще жизни и падают, не добежав меты. Не смотрите на скромный, иногда застенчивый вид мореходца, который делает его оригинальным и даже странным в обществе,— ежели вы не судите людей по наружности, дайте ему руку и поговорите с ним. Ежели вы захотите блеснуть умом большого света — он будет отвечать здраво, но скажет мало, потому что ему редки были случаи развернуть свои дарования и сделать их блестящими в свете; но ежели разговор ваш пойдет от сердца, вы увидите человека рассудительного, который не бросится в ваши объятия с уверениями, но в продолжении времени поступками своими докажет, что недаром загорается огонь в глазах его при имени любви и дружбы. Не то железо горячо к ощущению, от которого брызжут искры, но то, которого поверхность уже темнеть начинает.

С таким расположением характера самые обязанности делаются для нас удовольствием, а это бывает очень редко. Оттого-то и удовольствия наши становятся уже не единообразны: ибо служба наша столько же имеет перемен, сколь непостоянно море со своими случаями; оттого-то мореходцы, разлученные со светом, с его обольщениями и веселостями, на краю гибели каждую минуту, отделенные от смерти одною доскою, умеют находить в самих себе источник радостей и привязываться к такой жизни, в которой другие видят одну только скуку. Душа человеческая всегда жаждет неизвестного; мысль наша всегда стремится вдаль; несытая, летит воображением в страны далекие — и что же может быть приятнее, когда мореходец, удовлетворяя потребностям души своей, несется по беспредельным морям и видит туго натянутые паруса, округляемые попутным ветром; когда, в мечтании сидя на корме, чувствует ее содрогание от скорого хода, видит катящиеся сзади волны, от которых убегающий корабль приближает его к желанному берегу. Взоры его с удовольствием обращаются в ту страну горизонта,

куда совет магнитной стрелки обратил его путь. Настают ли бури, подымаются ли противные ветры? Его наслаждение увеличивается гордостью победы над стихиями. Не так ли обладание любимым предметом становится дороже от препятствий?..

Вам самим известны прелести воображения, известно и то, что надобно слишком быть знакому с самим собою, слишком независиму от внешних впечатлений, чтобы наслаждаться мечтами и воспоминаниями. Это наше наслаждение; и в то время, когда другой мучается бездействием и отыскивает способы к новым удовольствиям, мореходец, уединенный в своей каюте, при свече, которой пламень волнуется в ту и другую сторону сообразно колебанию корабля, окружает себя призраками своего воображения, переносится мысленно на родину, перебирает воспоминания и часто на походном висячем столике своем приводит мысли в порядок в скромном журнале, который пишется не для публики, но для образования сердца и отчета собственных чувствований.

Конечно, часто море держит нас вдали от берегов целые недели и месяцы, и нельзя, чтоб грусть не закрадывалась в сердце, как вода пробирается в корабль, потому что на все есть мера, но, во-первых, человек носит печаль и радость в собственном сердце, и смотря по тому, спокойно ли оно, и окружающие предметы кажутся ему грустны или веселят его. Во-вторых, неужели вы не сочтете во что-нибудь дружбы, прелестной в самой рассеяности и драгоценнейшей в одиночестве? Дружба наша усиливается малочисленностию людей, на корабле заключенных; и в сем случае оную можно уподобить свече, у которой чем менее круг освещения, тем сильнее светят ее лучи, тем ближе они к своему началу. Напротив, на большом пространстве лучи ее расходятся, слабеют, светятся, но не освещают. Сверх того, я похвалюсь, что дружеские связи крепче между моряками, потому что у них друзья приобретаются в самой юности. Обманываются те, которые думают найти друзей в зрелых летах. Юноши, как воск, удобно принимают впечатления, и склонности одного врезываются в другом; время утверждает мягкий состав души, и в форму, образованную давным дружеством, не придется новое. Что же приятнее, когда после трудов, в теплой каюте, за чайным столиком, беседуя с другом, изливаешь ему сердце, рассчитываешь надежды и так обманываешь скуку, разделяя время между дружбой и службою. Конечно, для жизни, совершенно приятной, недостаточно одного дружества; человек не сотворен быть в сообществе одних мужчин; и самой дружбе сгрустнется в отдалении от милых сердцу; но разве

одиночество наше вечно? Разве откажете вы мореходцам в нежных чувствованиях, оживляющих сердце других человеков? Неужели вы думаете, что влажная стихия, по которой мы плаваем, может ужасать страсти? Знаете ли вы, что нарочно прыщут водою на угли, чтоб увеличить жар их? Как часто ветрам морским вверяются вздохи, и на крыльях бури посылаются тайные обеты туда, где остались любезные наши!.. Какое обновленное ощущение несет каждый из нас после долгого плавания в свое отечество!

Это весьма естественно. Но что скажете вы, когда я, описывая удовольствия мореходца, думаю включить туда же самые бури и сражения? Конечно, ежели смотреть на то и на другое как на зло и судить по впечатлению, ими производимому с первого взгляда, мое мнение покажется странно; но ежели, вооружась бесстрастием, приобретенным привычкою, хладнокровно смотреть на священные ужасы природы и чувствовать в душе своей силу противустать ее силе, тогда, поверьте мне, на все усилия ярящегося моря вы будете смотреть, как на картину, представленную для удовольствия особенного рода — не живого, не пылкого, но меланхолического. Есть какое-то тайное сочувствие природы с сердцем человека: чего он не боится, то уже ему нравится; есть в душе струны, которые по своенравию или по потребности, как на эоловой арфе, отдаются приятно при реве бурь и ветров,— и сколько ни грозят человеку гибелью бездны морей,— он только приобретает новую решительность, новые силы презирать опасности и не уважать смертью. Это неуважение к смерти — в самый час сражения, когда свистящие картечи и ядра рвут воздух и оставляют за собою тысячи смертей и опустошение, когда со зверством человека соединяются самые стихии на пагубу, тогда, говорю я, это высокое чувствование равнодушия и смерти и вместе чувствование собственного достоинства, повелевающего всем ужасом, изображает на спокойном лице мореходца гордую улыбку и наполняет душу каким-то тайным, неизъяснимым восторгом. Я не говорю уже о радостях победы, о упоении славы!..

Не думайте, однако же, чтобы все удовольствия наши были только воображаемые. Приходим ли мы к якорному месту? Прелестные прогулки ожидают нас. Хотим ли кататься? Свежий и ровный ветер вызывает охотников; легкие шлюбки с белыми парусами, с музыкой и песнями, как ласточки, рея по волнам и едва бороздя воду, гоняются одна с другою.

Желаете ли охотиться за дичиною на берегу? Идете с ружьем. Хотите ли ловить рыбу? Садитесь на борте корабля с удою и в прозрачной океанской воде видите на 10 на сажен и

более, как резвая рыбка приближается к вероломному крючку; часто жадные камбалы хватаются одна за хвост другой, и вы до половины вытаскиваете вдруг две рыбы на уде. Редко крючок ваш закидывается понапрасну, а это не безделица для охотника.

Но есть еще удовольствия простейшие: мы знакомимся с береговыми жителями; настают праздники; мы веселимся от сердца, потому что балы нам не прискучили;— зовем новых своих друзей и к себе: корабль оживляется, все на нем принимает новый вид. Я опишу вам один из наших корабельных праздников.

На шканцах, т. е. на верхней палубе, убираются пушки и растягивается палатка; борды украшаются флагами, зелеными ветвями и цветами, из которых вязи, освещенные разноцветными огнями, изображают имена почетнейших наших гостей; в пушечных окошках стоят блестящие фонари; в углах подвешенные подносы отягощены закусками, плодами и прохладительными напитками; в каюте приготовлено угощение для мужчин. Музыка гремит; гости подъезжают на шлюбках к освещенному кораблю; по лестнице, покрытой коврами и увешанной флагами, они всходят и принимаются хозяевами; каждый выбирает занятие, ему приятное: одни садятся в каюте за карточные столики, другие подходят к чашам, в которых зажженный ром, арак и другие напитки окружают синим пламенем тающие сахарные головы и распространяют благоухание в воздухе. Вино пенится и брызжет. Наконец начинаются танцы. Прохладный морской воздух освежает танцующих; каждому предоставлена свобода. Иной, утомясь от движения, идет на нос корабельный и, пользуясь свежестью вечернего ветерка, безмолвно наслаждается красотою звездной ночи и моря, отражающего на верхушках легких волн блеск праздничных огней. Рассеянные чувства собираются; сердце начинает волноваться тише, сообразно колебанию струй, на которые устремляются взоры.

Наконец все утомлены. Настает пора ужина. Гости, попарно с хозяевами, идут по всему кораблю из палубы в палубу, их желают занять, покуда накрывается стол, и показывают расположение корабельное, чистоту и порядок. Обошед таким образом по всему ярко освещенному кораблю, поднимаются опять наверх, где готовый стол ожидает гостей. Вы можете себе представить, что за столом присутствует не придворный этикет с выученными разговорами и приветствиями, но искренность людей добродушных, развязанная вниманием и изощряемая веселостью. После ужина еще несколько легких вальсов

заключают праздник и гости при звуках музыки и при повторениях громогласного «ура» разъезжаются на шлюбках.

Таковы наши забавы внутри корабля; но есть также приятные случаи, приходящие извне.

Хотите ли вы видеть, как встает солнце, нигде с таким великолепием не восходящее, как на море? Представьте, что вы в должности с полночи до пятого часа утра, проходите Зундом и остановились на якоре против Гельзенера у крепости Кронборга. Август месяц в начале; безлунная ночь темна, хотя звезды сияют во всем блеске. На корабле ударило три склянки или, по-береговому, половину второго часу, и мало-помалу на северо-востоке серый небосклон начинает становиться светлее — еще светлее. Вы начинаете различать предметы; становятся приметны крепость Кронборг, оба берега пролива, стоящие на рейде корабли; но тонкий туман как покрывало лежит на спящих окрестностях. Ветер не шевелит флюгерами; море спит и будто дышит от колыхания легкой зыби, тихо идущей от севера. Показалась утренняя звезда; заря подвигается вправо по небосклону; туманы, понемногу поднимаясь, образуют сребристые облака, и потом, будто волшебством, подобно брызгам растопленного золота, загораются они на востоке. Грянула заревая пушка с брандвахты, и, при грохоте ее отзывов, солнце по светлому небу катится из-за мшистых камней Шведского берега. Ветерок дунул; море тронулось быстрее; нити дыма над городом потянулись к востоку; все проснулось навстречу царю светил небесных. Предметы, освещаемые мало-помалу, выходя как бы из воды, рисуются одни за другими, и великолепная картина живописного Зунда представляется глазам вашим. Налево гордый замок Кронборг возвышается на Датском берегу. Окопы с двойным рядом орудий блестят яркою зеленью. На ближнем бастионе ходит часовой — его нельзя различить, но виден отблеск лучей на светлом ружье, когда он поворачивается, расхаживая мерными шагами по валу. Подле красивый Гельзенер; высокий берег усеян садами, мельницами, веселыми и чистыми домиками. Назади высокий и ровный остров Твен, жилище и обсерватория славного Тихо Браге, перегораживает горизонт пролива. Направо картина переменяется: натура дика; серые угрюмые камни Швеции, изредка покрытые красноватым мохом, и бедный Гельзинборг между ними, разительно противоположен смеющейся Дании. Расстояние не велико. Девятиверстный пролив разделяет их: но влеве — роскошь природы, направо — печать ее отвержения. Против Кронборга вдруг пролив расширяется, и на светло-зеленых водах его видны окрыленные корабли; далее высокие шведские

скалы ограничивают зрение и, теряясь в синеве дали, кажутся громадами туч на горизонте.

Наконец, корабль ваш снимается с якоря, проходит Зунг. Попутный ветер прогоняет вас засветло мимо всех опасностей Каттегата. К вечеру остается вправе маяк Мальстранд подле камней Патерностера, у берегов Шведских; потом проходите влеве Шкаген, предостерегающий от далеко лежащих отмелей сыпучих песков Ютланда, и вступаете в Немецкое море. Ночь стемнела; тучи сдвигаются над головою; горизонта не видно. Легко покачиваемый корабль зарывается в волнах, которые, с плеском разбегаясь, загораются мгновенным фосфорическим сиянием, бьются в корабль, брызжут светлые искры и, соединяясь за кормою в длинную струю, означают путь корабля огненной бороздою. Вдруг сияние угасает,— вдруг загорается снова, и глаз не устает смотреть на эту игру природы.

Проходит ли корабль срединою Немецкого моря, чрез Доггер-Банку и Фиш-Банку, так называемые по особенно малой глубине, и если ветер стихнет, спускают трал или большую сеть, и корабль тихо ее тащит, едва подвигаемый по зеркальной поверхности вод. Час или два наполняют сеть для обеда почти всего корабля множеством вкусной рыбы и различных чудовищ, на дне моря обитающих. Во время лова трески и сельдей вы встречаете на сих местах целые флоты рыбаков; тогда тихая ночь после солнечного заката представляет очаровательную картину. Небо, как опрокинутая чаша, с алмазными звездами своими отражается в совершенно тихой поверхности моря. Края горизонта исчезают в сумраке; воды не видно; такое же небо, такие же звезды внизу; мрак удвояет обман, и корабль, кажется, летит по воздушному пространству, усеянному бесчисленными огнями на рыбачьих лодках.

Еще ли говорить вам о удовольствиях плавания в страны далекие, о приятности новизны, о прелестях любопытства? Путешественник, едущий сухим путем, постепенно переменяет свои впечатления; с каждым шагом привыкает к окружающим его предметам. Новая страна для него уже не нова, потому что он каждую минуту видел ее признаки, видел ее приближение. У нас на море не так: как бы волшебством переносимые с домами своими из страны в страну, мы не видим промежутков путешествия, и очарование новости не понемногу, но внезапно поражает взоры и чувствования наши.

Говорить ли вам о красотах морей, где незаходимое солнце в продолжение нескольких дней для того только скатывается к горизонту, чтобы, опершись на край моря, с новым блеском востечь на безоблачные небеса и оттуда рассыпать яркие лучи,

которые, дробясь миллионы раз, горят огнями радуги в зеркальных горах льдов, миру современных. Ночь и день сливаются там в одном беспрерывном свете лучей, и солнце, опускаясь к полночи, катится по волнам, не погружая лица своего. Иногда только качаемый зыбью корабль мгновенно теряет его из виду и опять открывает во всем величии. Иногда поднявшаяся волна, закрывая солнце, вдруг освещается сама и во всю длину свою сквозит какою-то яркою неизъяснимою эмалевою зеленью. Таковы полярные моря летом; осенью же мраки продолжительных ночей рассекаются там живым блеском луны и звезд и чудным метеорным сиянием, которое беспрерывно, подобно шатру, раскидывается над головами плавателей.

Послужит ли нам счастье обрести неизвестные страны? Как изъяснить прелесть нового, неиспытанного чувствования при виде особенной земли, при вдохновении неведомого бальзамического воздуха, при виде незнаемых трав, необыкновенных цветов и плодов, которых краски вовсе незнакомы нашим взорам, вкус не может быть выражен никакими словами и сравнениями. Сколько новых истин открывается, какие наблюдения пополняют познания наши о человеке и природе с открытием земель и людей нового света! Не высока ли степень назначения мореходца, который соединяет рассеянные по всему миру звенья цепи человечества. Прежде мореплавания самая даже мысль не смела нестись далее столпов Геркулесовых и всякий раз смиренно ложилась к их подножию, ныне всякое новое изобретение, мысль, чувствование, понятие обтекают кругом целый свет, сообщаются, усвоиваются и получают право гражданства везде, куда только ветры могут занести отважного человека. Теперь посредством мореплавания повсюду настлан широкий мост благодетельному просвещению, нет более препон для сообщений к пользе человеков. Одно только любопытство еще встречает их во льдах полярных, но оно уже борется с ними и, конечно, вскоре пробьется к самим полюсам, на коих утверждена незыблемая ось мира.

Не думайте, однако же, чтобы прелесть морских путешествий заставляла нас забывать об отечестве. По долгом отсутствии мы наконец привыкаем к окружающим новым предметам; любопытство удовлетворено; мало-помалу тоска по отчизне закрадывается в сердце, представляя родину в ярких красках, туманит безоблачные небеса чужой стороны и набрасывает тень на ее цветущие берега. Задумчивость овладевает самыми живыми характерами, мысли и разговоры посвящены одному только отечеству. Но настает счастливый день отплытия, и все оживляется. С радостными восклицаниями поднимают

якорь, весело распускают паруса, и мысли нетерпеливых сердец летят впереди быстро плывущего корабля. Время пути сокращается приятностию надежды, и вскоре по пройденному расстоянию полагают себя близко отечественных берегов; тогда все, как пригвожденные к корабельному борду, в беспокойстве какой-то радостной грусти, с трепетанием сердца устремляя взоры вперед, стараются различить на горизонте признаки близкой земли. Вдруг с верху мачты раздается радостный крик: берег! берег! И потрясает всех электрическим ударом. Где возьму слов выразить сладость чувствования, с которым жадные взоры наши ловят каждый предмет, подымающийся понемногу из-за черты, разделяющей небо с морем! Восходящий дым, светлые кресты на церквах, благовест колокола, едва доносимый ветром, напечатлевают радость на самых неподвижных лицах. Брошен якорь, и с последним трепетанием подбираемых парусов счастливцы, не обязанные должностию на это время, летят приветствовать родную землю и забыть труды долгого плавания в объятиях дружбы и, может быть, чувствований еще нежнейших.

О. СЕНКОВСКИЙ

ВИТЯЗЬ БУЛАНОГО КОНЯ

*(Арабская кассида)**

Халиф Омар спросил однажды у Караб-эль-Зобейда, кого он в жизни своей признал за храбрейшего? «Охотно расскажу тебе, властитель правоверных,— отвечал Караб.— В один день выехал я на коне славнейшего поколения бегунов Неджду[1], которому пищею был ветер пустыни и пойлом волны *Сурабу*[2]. Рыская по степи, я кидал коня моего влево и вправо, проскакал много пространства и ничего не видал, кроме следов гиены. Вдруг зачернело что-то на краю небосклона, и чрез несколько мгновений стал передо мной юноша, стройный, как дерево баму. Первый пух молодости едва проседал на милом его лице, и никогда от рожденья не видал я прекраснейшего юноши. Он вежливо приветствовал меня, приближаясь; я отвечал ему тем же и спросил: кто ты, витязь? «Я Харес, сын Саада, витязь буланого коня»,— ответствовал он. «Берегись же,— я воскликнул ему,— ты должен со мной сразиться».—«Но кто ты такой?»— вопросил меня Харес. «Мое имя Амру-Караб, я сын Маада и Зобеиды; Перуном пустыни зовут меня бедуины!»—«Ничтожный враг,— вскричал он,— лишь твое бессилие спасет тебя от смерти!» Разорвалось мое сердце от такого самохвальства. «Клянусь богом,— возразил я,— что только один из нас воротится к своей палатке, бедуин! Нагую истину скажу тебе: завтра песок занесет здесь труп твой! Знай, что я из поколенья, в котором еще ни одна мать не оплакивала смерти витязя-сына и ни одна красавица не обрезывала долгих кудрей своих по убитом женихе».—«Выбирай же,— воскликнул он,— ты ли будешь убегать, а я догонять тебя, или я пущусь на уход, а ты нападать станешь?»—«Буду нападать»,—сказал я,— и вмиг бедуин помчался стрелою. Я стремился вослед... уже

мыслил копьем пронзить его насквозь, когда он исчез с коня: я, уже миновав его, увидел, что он гибкою подпругою обвился вокруг конского тела. Пришла его череда: он достиг меня и, копейным железом ударив по голове, сказал: «Вот тебе первый раз, Омар! Копьем моим заклинаюсь, что если б не жаль было убить такое красивое создание,— теперь бы уже твой конь ржал над твоим трупом». Я сгорел со стыда, халиф правоверных, и смерть показалась мне милее обиды. Нет — воскликнул я,— один только из нас увидит свою палатку. Он снова предложил, и я опять избрал первую очередь. Конь мой летел — я, казалось, касался наездника — как вдруг разостлался он по хребту коня и тем уникнул верного удара. Очередь оборотилась: он наскакал на меня и, несмотря на все мое искусство, на все мои уловки,— снова улучил ударить в голову. «Вот и другой раз, Омар»,— произнес он. Гнев и стыд охватили мою душу. Решено,— вскричал я,— или ты мой, или я твой дротик привезем в свое поколенье. Вместо ответа юный бедуин ринулся вперед,— я гнал его, доспел — и уже меткое копье за плечами, как в нем... но он спрыгнул на землю, и когда удар миновал седла, то опять на коне очутился. С череды пустился бедуин за мною, наскочил — и я не мог ускользнуть от него. «Омар, вот тебе и третий раз»,— сказал он, ударив меня по голове. Лучше убей меня,— воскликнул я,— чтобы услышали арабские наездники о вражде нашей. «Знаешь ли, Омар,— ответствовал он,— что я только до трех раз прощаю!» И потом он продолжал стихами[3]:

Тобой клянуся, меч стальной,
Ты не кропился кровью чистой!
Коль раз еще мы вступим в бой —
Ты кровли не узришь холмистой,
Намёта родины святой!

Признаюсь, властитель правоверных, меня устрашило боевое искусство его, и я, смущенный, сказал: Харес, у меня есть до тебя одна просьба! «Какая?»— спросил он. Возьми меня к себе в товарищи! «Ты не годишься быть моим товарищем»,— отвечал Харес. Это выраженье огорчило, но не отвратило меня. Я спросил его снова и так пристально — что, наконец, он сказал мне, усмехаясь: «Беда тебе со мною; знаешь ли, куда спешу я?» Конечно, нет!— был ответ мой. «Еду,— продолжал он,— туда, где ожидает меня кровавая смерть, которой жажду, как отрады». Всюду с тобой,— я воскликнул,— и туда, где ждет нас кровавая смерть. Мы ехали целый день и часть ночи и, наконец, наехали на одно из поколений арабских.

«Омар,— сказал тогда юный мой витязь, указывая на кочевые шатры оного,— здесь найдем мы кровавую смерть. Хочешь ли ты подержать моего коня, а я пойду за тем, чего мы ищем, или дай мне своего и сам поди за тем, чего мне надо». Подержу коня твоего,— отвечал я,— ты лучше ведаешь, чего тебе нужно. Легко спрыгнул с коня юноша, бросил мне поводья и скрылся во мраке, как падучая звезда исчезает в пустынном воздухе. Я рад был служить ему за конюшего в таком случае; между тем бесстрашный юноша проникнул в глубь стана, и вскоре из одной палатки вывел двух верблюдов и девицу, прекраснейшую молодого месяца; такой красоты никогда не зрели очи мои ни в пустынях Аравии, ни в краях, подвластных царям. Посадив ее на быстроногого верблюда, мы пустились в дорогу. «Омар,— сказал мне бедуин, по кратком молчании,— хочешь ли ты вести верблюдов, а я повезу девушку, или ты примешь на себя эту должность?» Лучше я буду проводником верблюдов, а ты охраняй нас своим оружием,— возразил я. Он, отдав мне поводки, заметил, чтобы я правил бег свой на восходящие плеяды[4]. Так ехали мы, и уже день начал заниматься, когда молчаливый мой витязь мне промолвил: «Оглянись, Омар, не видно ли кого-нибудь?» Видны за нами верблюды,— отвечал я. «Удвой шаг»,— сказал он и замолкнул снова; но через несколько минут он опять произнес: «Посмотри еще раз; и если их мало — укрепись мужеством — то кровавая смерть следит нас; если же много, то не бойся!» Их четверо или пятеро,— отвечал я. «Погоняй сильнее»,— сказал он и смолк. Более часу бежали мы и остановились не ранее, как топот погони послышался вблизи. Юноша велел мне стать по правую сторону верблюдов, а сам занял место с левой. Скоро явились перед нас на конях двое статных юношей из поколения бекров и с ними седовласый старец, который возвышался между ними, как огромная смоковница между тонкими пальмами. То был отец красавицы, то были ее братья. «Отдай мне девицу, сын мой»,— сказал, приблизившись, старец. «Не для того я похитил ее»,— гордо ответствовал Харес. Тогда отец велел одному из сыновей сразиться с моим храбрым товарищем. Юноша выступил, потрясая копьем; Харес соскочил с коня ему навстречу и вот что сказал стихами:

Тебя теперь, о витязь сильный,
Омочит крови дождь обильный;
Любовник пламенный с тобой
Горит схватиться в смертный бой!
И весть о нем к родным стрелою
Одна примчится — иль со мною.

Битва длилась недолго: Харес пронзил копьем противника. «Иди, померься с ним,— сказал старец другому сыну,— смерть краше бесславия!» Юноша выступил против Хареса, который, ринувшись на него, воскликнул:

Посмотри, как дротик зыбкий[5]
Верной смертию грозит!
Знай: жестоки кровных сшибки!
Лишь кончина разлучит
Нас с сестрой твоей невинной,
Пусть умру, зато в пустынной
Аравийской стороне
Не расскажут обо мне:
Он любезной изменил,
Он ее на жизнь сменил.

Настал бой, и та же участь постигла другого брата. Тогда отец, спокойно смотревший на кончину двух сыновей своих, приблизился к Харесу и произнес: «Сын мой, отдай мне дочь или во мне найдешь ты не мальчика!» — «Никогда я никому не уступлю ее»,— отвечал Харес. Старец, услышав это, сошел с верблюда и обнажил саблю, то же сделал и Харес, весело встречая его словами:

Мне смерть милей, чем поношенье,
И пусть рассказ об этом мщенье
Взволнует бекров поколенье.

Старец, ставши перед ним, возразил:

Не драгоценнее мгновенья
Жизнь многолетная моя,
Когда за славу поколенья,
За девы честь сражаюсь я.

«Избирай,— сказал он ему,— я даю тебе право первого удара, но если и тогда не убьешь меня, то простись с жизнию!» — «Охотно»,— отвечал юноша и занес саблю; но с другого же взмаху старец, увидев, что не может отразить удара, летящего ему в голову, пронзил грудь Хареса... и оба поверглись мертвы. Властитель правоверных! Во все это время страх и сожаленье во мне сменялись; но когда я узрел кончину и двух остальных витязей, то собрал их сабли, копья, коней и верблюдов и, приступивши к девице, сказал ей: теперь принадлежишь ты мне. «Нет,— отвечала печальная красавица, вспыхнув гневом,— по смерти братьев, отца и любезного, я никому не принадлежу. Впрочем, когда желаешь владеть мною, отдай мне копье и коня Харесовы и пустимся гнаться. Если ты успеешь до меня дотронуться — я твоя, но ежели тебя достигну, то убью тебя».

Совсем не желаю этого,— отвечал я,— видно, из какого вы все роду,— но и без битвы ты моя добыча. «Если ты араб от настоящей крови арабов,— возразила она,— то отведешь меня к моему поколению». Соглашаюсь на это,— ответствовал я,— но с условием: оправдать меня перед твоими родными и преломить со мною хлеб гостеприимства. «Клянусь смертью отца и любезного выполнить это»,— сказала красавица. Мы пустились в путь по старым следам, но через несколько времени, когда оглянулся я назад, то заметил, что девица пропала с верблюда. Не сомневаюсь, что чувствительность увлекла ее к месту битвы, я быстро поворотил коня и прискакал туда, отколе мы недавно уехали. Велико было мое удивление, когда вместо четырех трупов я нашел там тела только двух братьев. Озирая повсюду, я не мог придумать, куда девались остальные, как вдруг заметил следы влеченных по земле тел. По них-то дошел я до лежащего за несколько сот шагов камня, к которому ветром намело груду песку. Осмотрев пристально холмик сей, я увидел полу одежды, и, разрыв оный, я узрел... Властитель правоверных... тело отца, Хареса и подле них умершую красавицу!— Она, сокрыв в землю все, что было для нее драгоценнейшим на земле, сама с ним же схоронилась. Не мог удержаться я от слез и долго горевал над столь плачевным зрелищем. Наконец, положив подле девицы тела ее братьев, я вместе зарыл всю благородную семью и пустился вспять, к родному стану. Вот, властитель правоверных, те люди, которых мужественнее не знавал я в жизни моей!»

С арабского И. Сенковский.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Пустынные арабы так страстно любят коней своих и столь ими гордятся, что от масти или имен своих бегунов дают себе прозвища. Кассидою же называется у них небольшая поэма.

[1] Недж д — часть Аравийской пустыни, славная породистыми конями. Некогда там, на месте, за заводскую кобылицу плачивали от 40 до 60 тысяч турецких пиастров.

[2] Сураб — воздушный феномен, частый в Аравии, есть не что иное, как пар земли, который, представляя издали подобие рек и озер, обманывает путника.

[3] Арабы, особенно бедуины, имеют чрезвычайно много природного дара

к поэзии. Часто простой бедуин без всякого приготовления импровизирует посреди разговора несколько прекраснейших стихов.

[4] В бездорожных пустынях своих бедуины всегда путеводствуются звездами.

[5] Дротики бедуинов, сделанные из длинного и гибкого тростника, почти всегда из багдадского, беспрестанно зыблются.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

А. БЕСТУЖЕВ

РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

I

> «Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии. Теперь я отворю вам дверь в их жилище, я покажу их вблизи и по правде».

Звон колоколов с Олая великого звал прихожан к вечерней проповеди, а еще в Ревеле все шумело, будто в праздничный полдень. Окна блистали огнями, улицы кипели народом, колесницы и всадники не разъезжались.

В это время рыцарь Бернгард фон Буртнек спокойно сидел под окном в ревельском доме своем за кружкою пива, рассуждая о завтрашнем турнире и любуясь сквозь цветное окно на толпу народа, которая притекала и утекала по улице, только именем *широкой*. Судя по бороде, по собственному его выражению, с серебряною насечкой, то есть с сединою, Буртнек был человек лет пятидесяти высокого и когда-то статного роста. Черты его открытого лица показывали вместе и доброту и страсти, не знавшие ни узды, ни шпоры, природное воображение и приобретенное невежество.

Зала, в которой сидел он, обита была дубовыми досками, на коих время и червяки вывели предивные узоры. По углам со всех панелей развевались фестонами кружева Арахны. Печка, подобие рыцарского замка, смиренно стояла в углу, на двенадцати ножках своих. Налево дверь, завешенная ковром, вела в женскую половину через трехступенный порог. На правой стене, в замену фамильных портретов, висел огромный родо-

словный лист, на котором родоначальник Буртнеков, простертый на земле, любовался исходящим из своего лона деревом с разноцветными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именем Бернгарда Буртнека, остального представителя своей фамилии, дородностию своею, в отношении к прочим, величалось как месяц перед звездами. Подле него, в левую сторону вниз, спускался коронованный кружок с именем Минны фон... Бесцветность будущего скрывала остальное, а раззолоченные гербы и арабески, наподобие тех, коими блестят наши вяземские пряники, окружали дерево поколений.

— Нагулялся ли ты, любезный доктор,— спросил Буртнек входящего в комнату любчанина Лонциуса, который приехал на север попытать счастья в России и остался в Ревеле, отчасти напуганный рассказами о жестокости московцев, отчасти задержанный городскою думою, которая не любила пропускать на враждебную Русь ни лекарей, ни просветителей. Надо примолвить, что он своим плавким нравом и забавным умом сделался необходимым человеком в доме Буртнека. Никто лучше его не разнимал индейки за обедом, никто лучше не откупоривал бутылки рейнвейна, и барон только от одного Лонциуса слушал правду, не взбесившись. Ребят забавлял он, представляя на тени пальцами разные штучки и делая зайца из платка. Старой тетушке щупал пульс и хвалил старину, а племянницу заставлял краснеть от удовольствия, подшучивая насчет кого-то милого.

— Нагулялся ли ты?— повторил барон, отирая с усов своих пену.

— И с пользою нагулялся, барон,— отвечал весельчак доктор, выгружая из карманов своих, будто из теплиц, разнородные растения.— Вот целые пучки лекарственных кореньев, собранных мною, и где бы вы думали?.. на вышегородских укреплениях!.. Эту полынь, например, целительную, в виде желудочных настоек, сорвал я в трещине главной башни; эту ромашку выдернул из затравки одного ржавого орудия, и я, конечно бы, собрал на стене гораздо более трав, если бы комендантские коровы не сделали там прежде меня ботанических исследований.

— Ну, каковы же тебе кажутся наши неприступные, грозные бойницы?

— Ваши грязные бойницы, барон, мне кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены, а грозны они только издали: половина пушек отдыхает на земле, на валах цветет салат, а в башнях я, право, больше видел запасенного картофелю, нежели картечий.

— Да, да... это сказать — так стыд, а утаить — так грех! Хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Ведь сколько раз говорил я гермейстеру, чтобы поставить все пушки на дыбы и не давать растаскивать ядер на поварни!

— Славно сказано, барон; еще лучше, когда б это исполнилось. Тогда перестали бы ревельцы потчевать приятелей, как их потчуют русские, калеными ядрами в виде пирожков. Не далее как вчерась я насилу залил пожар моего желудка, вспыхнувшего от подобного брандскугеля.

— И заливал, конечно, не водою, доктор?

— Без сомнения, мальвазиею, г[осподин] барон. Неужели вы не знаете, что многие вещества от воды разгораются еще сильнее? А ваш дикий перец, конечно, стоит греческого огня.

Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал. И потому он с важною улыбкою одобрения отвечал доктору: «Знаю... знаю»; но, между прочим, не желая обжечься этим греческим огнем, он подвинул к Лонциусу кружку с пивом и предложил ему потушить остатки вчерашнего пожара.

— Тебе завтра будет вдоволь работы,— продолжал он, сводя разговор на турнир.

— Работы, барон, разве я кузнец!— отвечал доктор, выменивая каждое слово на глоток пива.— Зачем вам хирурга, когда вы ломаете не ребра, а латы! С тех пор как выдуманы эти проклятые сплошные кирасы, нашему брату приходится вспоминать о своих опытах, словно сказку о семи Семионах. Велика очень храбрость залезть в железную скорлупу да и стоять в битве наковальней! Право, от вашего вооружения более терпят кони, чем неприятели!..

— Полно, полно, Густав, хулить наши брони за то, что они берегут нас от вражьих мечей и твоих ланцетов. Спроси-ка лучше у русских, любы ли они им! Наши латники гоняют кольчужников тысячами.

— Для того-то русские и не ждут ваших конных бойниц, а любят заставать вас по-домашнему — в замше. Сказывают, в Новгороде очень дешевы из нее перчатки!.. Оно и не мудрено: отнятое хоть грошем, но дешевле купленного.

— Вздор, Густав, небылица! Клянусь своими шпорами, что если бы русские увезли у меня хоть уздечку — я бы нагнал удальцов и выкроил бы из их кож себе подпруги...

— У других с уздечками они уводят и коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпруг из такого сафьяна.

— У прочих... у других!.. другие мне не указ. Я уверен, что

русские не забудут встречи со мною под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!

— Это и я помню наизусть. Но к чему толковать нам о прошлых сражениях, когда речь завелась о наступающем турнире? Не приготовить ли мне перевязку для почтенного моего хозяина? Я бы от чистого сердца желал, барон, чтобы благодетельный удар вышиб вас из седла или чтобы конь ваш, ревнуя к славе хирургии, сломал бы вам руку или ногу. Вы увидели бы тогда искусство Лонциуса.. и хотя б кости ваши прыгали, как игральные косточки в стакане,— я ручаюсь, что через месяц вы бы могли сами поднести ко рту кубок за мое здоровье.

— Я постараюсь лучше сохранить свое. Нет, милый мой Лонциус, Буртнеку не бросать больше из седел противников! Некстати ему мерять плечо с мальчиками. Притом же и лета отяготили броню мою, а сила руки улетела с ее ударами. Нет, я не поеду туда, откуда не уверен выехать. Не заманили бы меня и на эту пирушку, если бы не просьбы дочери и не дело с бароном Унгерном. Гермейстер обещал его на днях окончить.

— Только обещал?— Это не много. Он два месяца обещает мне пропуск в Москву и до сих пор не дает его, хотя я вовсе не прошу г. гермейстера заботиться о здоровье моей головы, которая, по его словам, может простудиться от обычая снимать там шапки за версту до княжеского дворца, а у забывчивых будто прибивают их гвоздями, чтобы не снесло ветром. Если он и для одноземцев так же приветлив, как для заезжих, то вы смело можете надеяться, что, явясь сюда с первыми жаворонками, воротитесь домой позднее той поры, когда кулики полетят на теплые воды.

— Может ли это статься! Мое дело так ясно, как мой палаш, так право, как эта правая рука.

— Зато барон Унгерн хоть левою, но крепко держится за гермейстера; говорят, он ему сродни...

— А я с ним разве не брат по Ордену? Нет, доктор, о правосудии не сомневаюсь; но желал бы поскорее убраться из Ревеля. Здесь не то, что в деревне, пиры да обеды, от гостей да в гости,— а смотришь, деньги улетают, как время, и долги налегают на шею гирями!.. Золотыми шпорами своими клянусь — мне скоро нечем будет клясться, потому что придется заложить их. Нет ли у тебя, доктор, какого заморского лекарства от денежной чахотки?

— Если б оно и было, барон, то без употребления бы осталось: у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого их нет — тому не на что купить его. По умственной алхимии доз-

нался я, что орвиетан от болезней карманного рода есть *умеренность.*

За этим словом, не знаю, с умыслом или ненарочно, доктор так громко брякнул стопою об стол, что яркий звон ее будто выговорил: «Я пуста».

— Понимаю,— сказал с улыбкою рыцарь.— Понимаю это нравоучение; но, судя по нашей природе, оно останется без действия, точно так же, как и твои пилюли. Между прочим, любезный доктор, не выпить ли нам бутылочку рейнвейну, хоть это и противно вашему обряду? Говорят, каждая в пору выпитая рюмка рейнвейну отнимает по талеру у лекаря.

— Зато каждая бутылка дает ему по два. У вас очень старое вино, барон?

— Немного моложе *потопа,* г[осподин] доктор; но ты увидишь, что оно совсем не водяно.

Бернгард свистнул, и в ту же минуту вбежал не красивенький паж, как это водилось у французских рыцарей, не оруженосец, как это бывало у германских паладинов, а просто слуга-эстонец, в серой куртке, в лосиных панталонах, с распущенными по плечам волосами, вбежал и смиренно остановился у притолоки с раболепно-вопросительным лицом.

— Друмме,— сказал ему Бернгард,— скажи ключнице Каролине, чтобы она достала из погреба одну из плоских склянок за зеленою печатью. Я уверен, что она обросла мохом и пустила корни в песок,— продолжал он, обращаясь к Лонциусу (который уже заранее восхищался видом рейнской бутылки, любимой им, по его словам, только за то, что она весьма похожа на реторту),— и мы докажем доктору, как старое вино молодит людей. Да убери эту стопу, Друмме,— слышишь ли, глупец!

Друмме, трепеща, подкрался к столу и так бережно взялся за стопу, как будто боясь пролить из нее воздух.

— Чего ты боишься, истукан!— грозно закричал рыцарь.— Кружка эта пуста, как твоя голова... Куда, нечесаное животное, куда?.. Чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? Я и без него тебе предскажу березовую лихорадку за твои глупости. Проклятый народ,— продолжал Бернгард, провожая Друмме взором презрения,— скорее медведя выучишь плясать, чем эстонца держаться по-людски. Еще-таки в замке они туда и сюда, а в городе — из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Икскулю за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала.

— Признаться, я не думал, чтобы у ратсгеров ваших стало довольно ума, чтоб выдумать, и довольно решимости, чтоб выполнить такой закон.

— Не мое ремесло рассуждать, глупо это или умно; я знаю только, что оно бесполезно. Ну что мне закон, когда я палашом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам петли боится[1]. Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же, как вы больных,— безответно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково винцо, доктор?..

— Гораздо лучше ваших обычаев. Еще слово, барон: для чего же вы иногда прибегаете к суду в своих обидах?

— О, конечно, не по уважению к законам, а оттого, что сила не берет управиться иначе. Оттого-то я замарал пальцы чернилами в деле с Унгерном.

— И, по всей вероятности, напрасно.

— Все-таки вероятность лучше невозможности. Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится подумать — у меня так болит голова, будто с двух стоп русского меду. Сыграем лучше партию-другую в пилькентафель:[2] это разгуляет твою заморскую ученость и повеселит мое рыцарское сердце.

— И даст движение, очень полезное для здоровья. Об этой игре смело можно сказать с Горацием: *utile dulci*[3].

— Пощади, сделай милость, пощади меня от этого язычества; со мною ты смело можешь вешать его на гвоздик, потому что изо всей латыни я только помню и люблю слово vale[4].

Так говоря, они вышли из залы.

II

На радуге воображенья
Воздушный замок строит он;
Его любви лелеет сон...
Но бьет минута пробужденья!

Угадываю любопытство многих моих читателей, не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном,— и спешу удовлетворить его, во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не

---

[1] Прошу читателя вспомнить о феодальных правах. (*Прим. автора.*).
[2] Род бильярда. (*Прим. автора.*)
[3] Полезное с приятным (*лат.*).
[4] Прощай (*лат.*).

таюсь — люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними. Послушайте.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнейшая девушка. В ее время Ливония более нынешнего изобиловала красотами, но на светлокудрых сих красавицах лежала печать бесстрастия. В тени своих девичьих они расцветали, как полные тюльпаны, блестя, но не благоухая. Удаленные не обычаем, но привычкою от мужчин, потому что им нечего было говорить друг другу, их занятием были одни пересуды; все их тщеславие ограничивалось нарядами, все честолюбие не стремилось выше верхнего конца за столом или красного стула на вечеринках. Сердце было у них пятое колесо в колеснице; ум такая монета, которую никто не мог ни оценить, ни разменять; а потому эпохи жизни своей они считали от балу до балу и приятные воспоминания поверяли по расходной книжке. Таковы были почти все красавицы ливонские, но не такова была Минна. Природа, по словам отца ее, не тростниковый клинок одела в такие красивые ножны. Это «не знаю что-то милое» одушевляло черты ее лица, давало величавость ее поступи, ловкость приемам, сладость речам. Из голубых ее очей, из-под длинных ресниц, скользили взоры... но какие взоры! От них вспыхнул бы и лед. Коротко сказать, Минна была из числа тех красавиц, которые поражают красотою и вместе пленяют прелестию. Она рано потеряла мать, но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило ее, но книга света была перед нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро приметила, что ее не понимали, что ее любили не так, как хотелось ее возвышенному сердцу, осужденному биться без ответа; и это невольно уединенное чувство вовлекло ее в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины счастия; ее сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеале; а сердце в восемнадцать лет — порох, одна смелая искра — и прощай спокойствие.

Между тем как барон с доктором спорят, кто из них в лучшем ударе, сбивая городки пилькентафеля, Минна в ближайшей комнате готовила наряды к завтрему. В углу за занавесом, вокруг длинного стола, сидели и что-то шили три эстонские девушки с бисерными повязками на голове, с серебряными бляхами на груди. Старая тетушка Минны дремала в другом углу под тению крылатого чепчика, устав бранить новые моды и неуменье племянницы, по ее, одеваться. Перед Минной

стоял белокурый, статный юноша, сын одного из богатейших купцов в Ревеле: он принес ей вчера заказанную богатую цепочку. Синий бархатный шпензер его вышит был золотою битью; частые сквозные пуговицы висели, как ягоды, по полам, золотая бахрома украшала цветные отвороты замшеных сапожков, и только недостаток шпор показывал, что он не рыцарь; хотя смелая осанка и умное лицо его давали ему над многими из них преимущество.

— Так вам нравится лиловый цвет, любезный Эдвин?— сказала Минна, повертываясь перед зеркалом.— И вы думаете, что это платье будет мне к лицу?

Прилагательное *любезный* и тогда уже не было лестным, относясь к низшему; оно и Эдвину напомнило о его состоянии, но сладостно было для его сердца. Однако ж он молчал, погруженный в мечтательное любование красотою Минны.

— Пробудитесь, Эдвин,— сказала она вполовину тронутым, вполовину ласковым голосом.

— Так, я грезил, фрейлейн Минна, простите меня или, лучше, самую себя в том вините. От звука вашего голоса теряешь ум прежде, чем слова дойдут до него.

— Мы, кажется, говорили о цветах, а не о звуках, Эдвин!

— Еще раз виноват, фрейлейн Минна,— я и забыл, что дамы более любят пестроту, чем гармонию. На вопрос ваш, впрочем, буду отвечать тоже вопросом... Какой наряд не пристанет к стройному вашему стану, какой цвет, какое украшение может возвысить или изменить прелестное ваше лицо?

Эдвин договорил это приветствие трепещущим голосом, но был доволен, что сказал его, конечно, более читателя, которого я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первых, потому, что он не читал ни одного французского словаря комплиментов, а во-вторых, стоял пред прекрасною девушкою, к которой был очень неравнодушен. Ах! кто из нас не казался порой учеником пред светскими красавицами? Кто не говорил им неловких похвал? Бог знает почему: когда разыграется сердце, остроумие прячется так далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угрозами. И что ни говори — я не верю многословной любви в романах.

— Лесть — поддельное золото, Эдвин; я не беру ее на свой счет,— сказала Минна.

— Лесть, но не искренность, Минна! Не то ли же самое я сказал вам, в чем уверяет вас ваше верное зеркало, в чем (вы видите, что я умею говорить правду) вы и сами не сомневаетесь?

— Поэтому вы считаете меня тщеславною, самолюбивою?

— Я знаю только, что скромность не мешает ни зрению, ни слуху... Завтра тысячи голосов скажут вам в миллион раз более моего.

— Кто завтра вздумает обо мне, когда сюда съехались все красавицы, которыми славится Ливония и блестит Ревель!

— И недаром блестит, фр[ейлейн] Минна. Особенно теперь мы вправе гордиться: первая из них украсит завтрашний турнир своим присутствием и одушевит всех своим взором.

— Кто же эта первая?— спросила Минна нетвердым голосом.— И для всех или только для вас она кажется такою? Не подкуплены ли глаза ваши сердцем?..

— Я думаю наоборот, фр[ейлейн] Минна: глаза ее очаровали мое сердце.

— Вы рассказываете про свои чувства — а мне бы хотелось знать ее имя,— сказала Минна холоднее,— могу ли услышать его, не трогая вашей скромности?

— Ах, Минна, вы тронули нежную струну!.. Со всем тем я бы решился сказать, кто она, если б не одно любопытство участвовало в вашем вопросе.

Между тем он так нежно глядел на Минну, что, казалось, щеки ее зажглись от пламени его взоров. Краснея, она опустила свои — и молчала, зато сердце говорило тем громче. Эдвин был развязен, пылок, умен — Минна чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать и чувствовать, а рыцари ливонские могли только смешить и редко, редко забавлять. Она любила — он возбуждал мысли высокие, говорил с жаром, если не с красноречием, и увлекал, если не убеждал. Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским и образованностию, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии, которые росли на охоте, а мужали в разбоях, рыцарей, неприветливых с дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою, предпочитающих напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в их беседе. Они думали пленить Минну рассказами своей любви, своей верности,— Эдвин говорил ей о *ней* самой. Те считали головы убитых ими зверей и неприятелей — он напоминал о плененных ею сердцах; они заглядывались на ее алмазные серьги — он любовался ее очами. Следствие угадать нетрудно, ибо состояния выдуманы не для любовников,— и любовь, как иной цвет на бесплодном утесе, растет и в безнадежности. Лавка Эдвинова была первая по городу и, как на беду, против окон Буртнекова дома. Там находились все дорогие ткани, все искусственные изделия, жемчуг и ценные камни. Девушки того века любили рядиться не менее наших столич-

ных, и лавка прекрасного Эдвина всегда была полна посетителями. Нужно ли сказывать, что Минна ходила туда часто? И хотя лавка сия служила для Ревеля вместо нашего английского магазина (то есть местом свидания молодежи), ее влекла туда не одна страсть к уборам, не одно желание всем нравиться там удерживало. То надобно прикупить бархату, то переделать по-новому ожерелье, то распаялось кольцо, то из-за моря привезли что-то чудное. И каждый раз приветливый Эдвин спешил к ним навстречу, развертывал перед тетушкой штофы, сверкал племяннице алмазами и — глазами. Рассказывал ей про чужбину, слушал ее с восхищением; и обыкновенно горький вздох развевал его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную — не сводил их с ее окна — и в молчании изнывал, как былинка. Тяжко любить без надежды на счастие, тяжело без надежды взаимности; но беспримерно тяжелее видеть себя любимым и не сметь словом любви вызвать признания, жаждать его, как отрады небесной, и бежать, как преступления чести; не иметь права на ревность и таять от страха измены; винить свой холод в ее огорчениях, множить собственные муки то упреками против любви, то против долга!.. Тогда-то страсти из кипящего сердца черными парами налетают на разум и ядовитое отчаяние взгрызается в душу!.. О, други, други! пожалейте того, кто любил подобным образом.

— И вы могли сказать, что одно любопытство внушило мне вопрос мой,— наконец произнесла Минна, подняв голубые очи свои с таким нежно-укорительным взором, что суровое выражение лица Эдвинова смешалось в одно мгновение с умилительным, голос замер, сердце как будто пронзилось, но это ощущение было сладостно, как первый вздох наяву после страшного сна. Души их слились в один выразительный, но невыразимый взгляд.

Минна пришла в себя.

— Итак, любезный Эдвин, если б вы были рыцарем, какой цвет избрали бы вы на завтрашний турнир?

— Навеки, навсегда, фрейлейн Минна, я бы избрал цвет первой красавицы; цвет, составленный из небесно-голубого и украшенья земли — розового; я бы избрал,— продолжал он пламенно, схватив ее руку,— прелестный, несравненный лиловый цвет, ваш цвет, Минна!

Рука Минны пылала и трепетала; голова ее невольно склонилась на плечо Эдвиново...

— Ах! зачем вы не рыцарь!— прошептала она.

Воздушный замок Эдвина разлетелся.

— Ах! зачем я не рыцарь!— вскричал он вне себя.— Зачем я злосчастен своим благополучием!

И в одно время на руке Минны запечатлелись жаркий поцелуй восторга и охладевшая слеза безнадежности.

— Минна, Минна!— закричал отец из другой комнаты.

— Минна!— повторила впросонках ее тетушка.

III

В любви, добыче и утрате
Мои права — в моем булате.

Кто не читывал рыцарских романов? кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титло царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда — худо ли, хорошо ль — передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно — это аксиома: вот и сошлись избранные судьи турнира в риттергауз. Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писаные и устные предания о способе избрания — пошумели, поспорили, кого избрать, и когда от кружения «козьей ноги»[1] у них закружились головы и отнялись ноги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право, не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею.

Минна слышала зов отца своего, оправила волосы и, подняв фрез, чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу.

За нею последовал Эдвин.

— Благодари господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею...— сказал барон, потирая от удовольствия руки.— Благодари, я за себя и за тебя дал слово...

Один из герольдов в вышитом гербами далматике преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую из трефов коронку, и смущенная нечаянностию Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.

— Я не поздравляю вас,— тихо сказал Эдвин, положа руку на сердце,— вы и без короны владели сердцами.

Минна покраснела и молчала.

Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем,

---

[1] Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревельских рыцарей — в честь Ревеля, которого имя производят они от слова — падение серны. (*Прим. автора.*)

одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны.

— Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей,— сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь...— Соколом моим, фр [ейлейн] Минна, клянусь, что завтра за каждую искру ваших глаз так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь; конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость фрейлейн Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф,— у меня уж и черпак лиловый заказан.

— Много чести... благодарю вас за внимание... но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугою.

— И быть полосатым шутом,— тихо примолвил доктор.

— Знатная мысль!— воскликнул Доннербац, хлопая в ладоши,— вот, что называется, соглашаться, не сказав да. Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе.

— Милости прошу присесть, господа,— говорил Буртнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту.— Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества — моей дочери; растолкуйте ей должность царскую,— а ты, милый Эдвин, постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле.

Молодежь уселась в одном углу близ тетушки без речей, а доктор и Буртнек в другом присели к столику.

— Добро пожаловать, старая кукушка,— сказал барон входящему Фрейлиху, рассыльщику гермейстера,— добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!

— И, батюшка, ваша высокобаронская милость! что вздумали,— отвечал коротенький рассыльщик, закладывая перчатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога.— Я ведь, как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, так же часто и так же верно вещую на прибыль, как и на убыль.

— Что же нового, Фрейлих?

— Чему быть новому на этом старом свете, г [осподин] барон?— продолжал словоохотный немец, развязывая сумку.— У меня даже для завтрашнего праздника и новой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям.

— Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды.

— Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый

крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу.

— Не лучше ли выпить за мое здоровье?— сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги.— Конечно, повестки от гермейстера?

— Приказы, благородный рыцарь!

— Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..

— Где нам это знать, г[осподин] барон,— стать ли нам соваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру — я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего.

— Правда, правда,— ворчал про себя Буртнек,— ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя легавая собака о вкусе перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих.

(Читает.)

— «Ба... ба... барону... Бур... Бур...» Провал возьми неучтивость сочинителя и почерк писца — это так связно, как венгерская цифровка; по крайней мере титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами![1]

— О! конечно!— сказал, не слушая его, рыцарь Доннербац.

— Без сомнения,— прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на игле петли полосатого чулка, который она вязала.

— Это еще учтивее,— примолвил с усмешкою доктор,— письмо написано ломаным языком.

— У тебя он очень гибок на споры,— возразил Буртнек,— посмотрим-ка его рысь на деле... прочти, пожалуй... у меня глаза слабы, не могу разобрать: буквы мелки, как маковые зернышки, и меня недаром берет дремота с одной строчки.

— Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них,— сказал доктор, пробегая бумагу глазами.— От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггенея пре... при...

— Возьми очки,— сказал барон.

— Возьмите терпенье...— возразил доктор.— Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь.

— Далее, далее?

— Не далее, а назад, барон! Мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: «Гермейстер Бруггеней благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста барону Эммануилу Христофору Конраду... фон Буртеку, урожденному...»

---

[1] Fraktur — Buchstaden. *(Прим. автора.)*

— Ты рехнулся, доктор...

— Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс при смерти не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: *для урожденной такой-то...*

— Какая мне надобность до ее рождения и смерти и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу! Ни дать ни взять, ты словно мой конюх Дитрих, который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор...

— Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу. Приказ, кажется, дан в придачу титулам; он весь в четырех словах: «Исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».

— Пусть он сам его перемащивает своим пергамином — а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу.

— Не ездите? так и незачем. Жаль только бедных путешественников по нужде — они не журавли — не перелетят чрез болото.

— Это уж их дело, а не мое.

— Но ведь большая дорога вещь мирская, а как она идет через ваше владение...

— Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать.

— Это значит, что где многие делают все, что хотят, там все терпят то, чего не хотят.

— Другую, другую, доктор...

— Разве третью,— сказал Лонциус, наливая стопу.

— Я говорю про бумагу,— с досадой произнес Буртнек.

— А я думал про стопу,— отвечал Лонциус с притворным чистосердечием, снимая со свечи.

(Читает.)

— «Гермейстер...» и тому подобное... «По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседственными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и беззаконно, наездом и вооруженною рукою, и насилием, и грабежом, с угрозами повторения оных впредь, я с фогтами и командорами Ордена, рассмотрев сие дело, *нашли...*»

— Ошибка против грамматики!— вскричал доктор, останавливаясь.

— Скажи лучше, против правды,— сказал Буртнек.— Гермейстер только празднует с фогтами, а судит и рядит своей головой...

— «...Рассмотрев, *нашел*, по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами; а потому объявляем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на полюбовные сделки и многократные свои требования, и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия и положить новую границу от ручья Куремсе до озерка Пигуса, до заводи, где коней купают, оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к новой Пойгиной бане, а оттуда...»

— Оттуда пусть он убирается к черту!— вскричал барон, вскокнув со стула... и гнев его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак, и бранные шутихи полетели во все стороны...

— Вот правосудие! Вот законы!.. Когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножнами, тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон *так* кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копье вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет,— а теперь, смотри, пожалуй! Эти ходячие чернильницы, эти черепокожные писаря вздумали притиснуть границу к самому рву замка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень башен, которая ляжет на его землю, за каждый стакан воды из ручья — и какой воды!

— Без воды обойтиться можно,— возразил доктор, возвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение.—«Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгерна во владение...»

— Пусть только явится ко мне... Пусть только приедет... Я его под бичами заставлю вертеться кубарем... я его попрошу отведать спорной воды в озере!..

— «И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высечь их на каждом заметном месте новой разграннички, чтобы они ее памятовали и в мо-

гущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями...»

— Этому не бывать... шпорами клянусь, не бывать!.. Всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы вассалов своих... но в этом случае разве я злодей, чтобы согласился обратить их спины памятною книжкою для безголовых судей?..

— А что скажет на это гермейстер?

— То, чего я не послушаюсь... Что мне дорожить его благосклонностью? его флюгерною дружбой! Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Унгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не поживится он ею без боя — даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незваного гостя найдется живой частокол с железными маковками и не одна пара сильных рук указать ему дорогу восвояси.

Так восклицал раздраженный барон, топая ногами,— и громче и громче раздавался голос его до того, что стаканы и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга.

Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка — и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдороге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием.

Добрый Лонциус, сбросив с лица шутливое выражение, беспокойно слушал барона и следил взорами его движения.

— Да, да,— продолжал Буртнек,— я докажу и Унгерну и гермейстеру... что Буртнек прожил и умрет не без друзей.

— Честию клянусь,— вскричал Эдвин от души.— Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото — ваше.

— Располагайте,— сказал, пошатываясь, Доннербац,— мною каждый день до обеда, а удальцами моими всегда.

— Благодарю... Сердечно благодарю...— отвечал умиленный барон, подавая им руки.— Но утро мудренее вечера, и мы завтра потолкуем об деле... Боже мой!... завтра турнир — и Унгерн, наверно, по-прежнему сорвет награду, и моя дочь должна будет увенчать моего злодея!.. Проклятое слово... отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу... Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами, и где же? Перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья!.. Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен и сломишь Унгерна как тростинку. Одна только лень мешала тебе померяться с ним доселе...

но теперь... Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится... но лишь победитель Унгерна будет ее мужем... вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг — кто бы ни выбил Унгерна из седла,— я отдаю ему мою дочь и свою вечную признательность.

— Руку и слово, барон,— вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку,— и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставлю я хоть каплю души, как в этом кубке, если не так же сомну его!

С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.

— Батюшка, милый батюшка!— воскликнула испуганная Минна.

— Минна... я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волею, а моя воля — твоим желаньем; что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет хорошим мужем и мне добрым защитником.

Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями... и скрылся.

— Куда, куда, любезный Эдвин?— кричал вслед ему Буртнек; но ответа не было.— Чудак!.. а славный малый,— примолвил он,— скажи слово — и Эдвин отдаст все без росту и закладу.

— Молодец,— повторил Доннербац,— даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских.

— Преумница,— прибавил доктор,— хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца...

«Прекрасный юноша, бесценный человек!»— думала полумертвая Минна, но она не сказала этого вслух.

IV

> J writte in haste, and if a stain. Be on this shect, tis not whatin appears mycyeballs burn and throb, but have no tears.
>
> Byron[1]

Как бешеный вбежал Эдвин домой.

Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разле-

[1] Я пишу второпях, и если на этой странице встретится пятно, то это не то, что кажется: мои глаза горят и трепещут, но в них нет слез.

Байрон *(англ.)*.

телися вдребезги — и он с сердцем вырвал свечу из рук старого служителя...

— Кончено... Решено...— говорил он, скрежеща зубами,— турнир и Минна — люди, люди!.. Поклонники предрассудков!.. О, для чего не могу я стать с копьем у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет ее руки! Герман! я еду,— вскричал он слуге своему.

— Куда?— спросил тот с изумлением.

— Кто смеет спрашивать куда? Я еду — и этого довольно; ветер хорош: кораблей много: готовься.

Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!

Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими руками горящее лицо. В его груди буревали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме; вот оно:

«Для меня все решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно,— тогда уж рука ваша принадлежать будет другому; другой... Безумец, я безумец! Из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. Или ты думал, что пылкое, верное сердце стоит рыцарского герба? Ты думал... Нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья! Я дорого плачу за тебя наяву... Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое яд ревности, испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня — и кажется, все часы, все дни, потерянные в рассеянности, промелькнувшие в восторге,—склубились теперь в минуты, в бесконечные минуты!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор... Простите моему безумию и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тогда мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неумолимы, иначе кроткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость — еще один взор, как сегодня... и я причарован — и что тогда? Мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастлив-

ца, которому выпадет мое счастие, и в ту же минуту корабль умчит меня, куда повеет ветер, и тем лучше, чем далее... Буду скитаться по свету, чтобы забыться,— не для того, чтобы забыть вас... Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будут мне отрадою... буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна,— и верьте сердечному, хотя не рыцарскому слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Минна! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите.

Эдвин».

Холодный ветер взвивал кудрями Эдвина, который, прислонясь челом к косяку отворенного окна, в горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч тусклой лампады — и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись, как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо, и медлил в нерешимости... Наконец, замирая сердцем, метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.

V

«Amour aux dames, honneur aux braves!»[1]

Летит как вихорь, как огонь
Пред недвижимым строем;
И пышет златогривый конь
Под будущим героем.

Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали сребристооблачной бахромой касался воде полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо — и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; все было оживлено, все дышало радостию, все праздновало возвращение весны, воскресение природы.

С зарею Ланг- и Брейтштрассе — две дороги, ведущие к Домплацу в Вышгороде, заперлись толпами народа. Эстонцы

---

[1] Любовь — дамам, почет — храбрецам *(франц.)*.

и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж немногие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вкруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, нарядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня, трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зрительницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями.

Под балдахином сидел гермейстер, в белой бархатной мантии с черным на левом плече крестом, в полукафтанье с разрезами, унизанными застежками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски... Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домашнем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую его руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизанной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображеньем кратковременного владычества прелести!

Между тем как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность,— Лонциус и Эдвин стояли у въезда, откуда им видна была вся окружность, и от доброты сердца перебирали соседей и соседок. Часто душевное горе, раздраженное общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась злословием и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.

— Мне жаль бедную Минну,— сказал доктор, которому все казалось в забавном виде.— Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку,

а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы; какое противоречие — гермейстер и Минна!

— Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука — самые близкие соседи!— отвечал Эдвин.— Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин ревельских,— следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похожая на корабельную статуйку,— жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворочает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр Фегезак с дражайшей своей половиной; они горят одною страстью — к стеклу, то есть он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу,— дворянка Зегефельс. Он, сказывают, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати об ушах... тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой — это ландрат Эзелькранц; за ним сидит певица фрейлейн Лилиендорф — знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с совиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою,— баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма... Не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы...

— Полно, полно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?

— Всем, кому угодно, доктор!.. Он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт — он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова изо всего Ревеля.

— Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние; но кто этот в пух разубранный рыцарь... с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?

— Это мученик и образец щегольства... фогт фон Тулейн... В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плет-

тенберга[1]: шейная цепочка его весит ровно в [тридцать] фунтов, и посмотрите, в какие перстни закованы его пальцы. Он имеет *вес* между рыцарями.

— Ну, а тот, с бекасиною фигурою, низенький?

— И низкий человек? Это продажная душа, вицбетрейбер Рабенштраль. Но вот въезжают и рыцари. В голове их командор Везенберга Гарткнох: он прост как страус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвибель; сквозь его прозрачность[2] можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока... Он заложил женино ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы... Далее...

Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.

Рыцари, при звуке труб и литавр, по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копья перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашлемники и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натуралистов мира. Но все это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржание коней, бренчание сбруи и плески и разнообразие кругом — все изумляло странностию, было дико, но пленительно.

И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставя место для бою. Снова звучит труба — и уже копья ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат, более чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копья поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага. Вот уж рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы прогремели ему туш, народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой

---

[1] Гер. Плеттенберг в 1503 году издал для удержания роскоши указ, в коем предписал простоту в платье и уборах всех сословий; но это осталось без действия. *(Прим. автора.)*

[2] Seine Durchbaucht — его светлость, его прозрачность, немецкий титул. *(Прим. автора.)*

увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с конем своим. Забавнее всего был удар копья Унгернова — он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на ноги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противника.

Бросив повода и оперши́сь на копье, величаво стоял он среди площади.

Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала,— никто не являлся.

Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду, отдать лучшему, храбрейшему!»

— Отворите!— закричал неизвестный рыцарь, приближаясь. И в то же мгновение, не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее.

Хвост разом осаженного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле — только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрянули от удара. Минуту стоял он как вкопанный, слегка поигрывая поводами, как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом поехал кругом ристалища, приветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненые с золотою насечкой. Огненный цветом и ходом конь его храпел и фыркал, и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвеваемой его ногами.

— Какой статный мужчина!— сказала, прищуриваясь, фрейлейн Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.

— Какой жеребец!— воскликнул ее брат.— Во всех статях — даже и хвост трубою. Это картина — не конь. Крестец, хоть спи на нем, ноги тоньше, нежели у италиянца Бренчелли... и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна... только что не говорит.

— Эту привилегию имеют только ослы,— с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.

— Это я вижу теперь,— смеючись, отвечал фон Клокен.— Но кто этот неизвестный удалец?

— Это Доннербац,— отвечали многие голоса.

— Неужели он так скоро успел просушить свою голову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида.

Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склонил копье, низко, низко поклонился Минне — и вдруг поднял на ды-

бы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но он сразу и так близко осадил коня, что мундштук звякнул о мундштук...

— Что это значит?— с досадою произнес Унгерн, изумленный такою дерзостью.

— Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике,— насмешливо отвечал неизвестный,— то брошенная перчатка значит вызов на бой!

— Рыцарь, я уже давно этою указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремена!

— Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединок.

— Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой... Нет, брат, это уж чересчур потешно!

— Чему ты смеешься, гордец? Я тебя не щекотал еще копьем своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали.

— Ах ты, безымянный хвастун! Ты стоишь быть стоптан подковами моего коня.

— Наглец и пустослов, поднимай перчатку или убирайся вон из турнира.

— Я выгоню тебя вон из света, безумец,— вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копье в перчатку противника,— и также воткну на копье твою голову.

— Пощупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!

— Это твой приговор... поклонись в последний раз петуху на Олаевской колокольне,— вы уж больше не свидитесь...

— А ты приготовь поздравительную речь сатане...

— Посмотрим, какого цвета кровь, двигающая этот дерзкий язык!

— Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца,— говорили рыцари, разъезжаясь.

И вот герольды разделили им пополам свет и ветер, сравняли копья — и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склонясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам бьются от страха, сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн сбирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно; садится в седло, крутит копьем. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос гривы его коня не шевелится... Труба гремит.

Вихрем понеслись противники друг на друга — раз, два — и копьев как не было, но удар был столь силен, что незнако-

мец зашатался, упал на шею коня, и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завеяли платками в одобрение Унгерна.

Таковы-то люди, таковы-то женщины — они всегда на стороне победителя.

— Славно, славно, земляк! — кричали ему ревельцы.— Ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного куска с лошадью.

— Едва ли это неправда,— промолвил Лонциус Буртнеку, который ни жив ни мертв ждал развязки боя.

— Теперь он знает, каково рвать незабудки с копья Унгернова,— прибавил другой.

— Я, чай, у него в глазах сверкают такие звезды, что и во сне не увидишь,— сказал третий.

— Распечатай его наличник!— кричали многие.

Но рыцарь очнулся, и насмешки возбудили в нем новые силы. Так дымится и кипит вода от капли кислоты,— так вспыхивает умирающее пламя от немногих зерен пороху.

Снова, с новыми копьями устремились рыцари навстречу; один с уверенностью в победе, другой с злобою мщения... Сразились, и Унгерн пал.

Разгорячен, спрыгнул с коня незнакомец и, наступив ногой на грудь полумертвого Унгерна, простертого в пыли, поднял его оплечье острием меча, направил меч в грудь и оперся на него.

— Ну, Унгерн. Кто победитель?

— Судьба,— отвечал тот едва внятно.

— И смерть — если ты не сознаешься; кто победил тебя?

— Ты, ты!— отвечал Унгерн, скрежеща зубами.

— Этого мало. Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней — или через минуту тебе довольно будет и той земли, которую теперь закрываешь телом. Да или нет?..

— Я на все согласен!

— Слышите ли, герольды и рыцари! Я лишь на этом условии дарю ему жизнь.

Подобно электрическому удару, восторг обуял зрителей, доселе безмолвных, то от страха за Унгерна, то из участия к незнакомцу.

— Слава великодушному, награда и честь победителю!— раздалося в громе рукоплесканий.— Ему, ему награду!— восклицали все.

— Неизвестный рыцарь выиграл золотой кубок,— решили судьи турнира, и герольды провозгласили то.

Величаво кланяясь на все стороны, приблизился рыцарь к возвышению, где сидел гермейстер с царицею красоты; поклонился им и в безмолвии оперся на меч.

— Благородный рыцарь!— сказал гермейстер Бруггеней, стоя.— Ты оказал свою силу, свое искусство и великодушие; покажи нам победное лицо свое для принятия награды!

— Уважаемый гермейстер! Важные причины запрещают мне удовлетворить ваше любопытство.

— Таковы уставы турнира.

— В таком случае я отказываюсь от прав своих и сердечно благодарю судей за честь, которою не могу воспользоваться.

Сказав это, неизвестный с поклоном отворотился от гермейстера...

— Храбрый паладин!— сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубок вином венгерским.— Неужели откажетесь вы ответствовать на мой привет за здоровье победителя?.. Как царица праздника, я требую повиновения, как дама, прошу вас...

Она отпила и поднесла кубок к незнакомцу.

— Нет, нет,— *говорил тот, отводя рукою бокал; видно было*, что страсти сражались в нем,— он колебался.

— Минна!— воскликнул он наконец, хватая кубок.— Да будет!.. я выпил бы смерть из чаши, которой коснулись вы устами... Вожди и рыцари! За здравие и счастье царицы красоты!

При громе труб незнакомец поднял наличник...

VI

> Не встанешь ты из векового праха,
> Ты не блеснешь под знаменем креста,
> Тяжелый меч наследников Рорбаха,[1]
> Ливонии прекрасной красота.
>
> *Н. Языков*

Происшествие, которое представляю теперь, было в 1538 году, то есть лет [пятнадцать] спустя после введения лютеранской веры.

Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду, и уже дряхлел в грозном одиночестве. Долгий мир с Россиею ржавил

[1] Рорбах был первым магистром Ордена лифляндских меченосцев (Swerdt ⟨Schert⟩ Brüder). (*Прим. автора.*)

меч, страшный для ней в руке Плеттенберга. Рыцари, вдавшись в роскошь, только и знали, что полевать да праздничать, и лишь редкие стычки с новогородскими наездниками и варягами шведскими поддерживали в них дух воинственный. Впрочем, если они не наследовали мужества предков, зато гордость их росла с каждым годом выше и выше. Дух того века разделил самые металлы на благородные и неблагородные; мудрено ли ж, что, уверяя других, рыцари и сами, от чистой души, уверились, что они сделаны по крайней мере из благородной фарфоровой глины. Надо примолвить, что дворянство, образовавшееся тогда из владельцев земель, много тому способствовало. Оно доискивалось слиться с рыцарством, следовательно, возбуждало в оном желание исключительно удержать за собою выгоды, которые, бог знает почему, называло правами, и нравственно унизить новых соперников. Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный изо всех обитателей Ливонии, льстимые легкостию стать дворянами через покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностию, кидались в роскошь. Дворяне, чтобы не уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари, в борьбе с ними обоими, закладывали замки, разоряли вконец своих вассалов... и гибельное следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду; слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали. Военно-торговое общество Черноголовых (S ⟨ch⟩ warzen-Häupter), как градское ополчение Ревеля, пользовалось почти рыцарскими преимуществами, следовательно, было ненавидимо рыцарями. Час перелома близился: Ливония походила на пустыню,— но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед паденьем. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие.

На чем бишь мы остановились?

VII

Что будет, то будет, что будет,
то будет, а будет то, что бог даст.

Богдан Хмельницкий

Медленно открыл незнакомый рыцарь бледное лицо свое и пал без чувств к ногам изумленной Минны, пал от изнеможения и первого удара.

— Эдвин!— воскликнула Минна.

— Купец!— закричали дамы и рыцари, и ропотное волнение разлилось по собранию.

— Такая наглость стоит наказания... Эта обида заслуживает месть!— раздавалось отовсюду, и рыцари, дворяне, шварценгейптеры хлынули на ристалище.

— Выбросьте вон, прибейте, убейте этого самозванца!— кричали рыцари.— Он не наш.

— Он будет наш!— возражали шварценгейптеры, стеснясь в кружок около бесчувственного Эдвина.— Мы не дадим тронуть его волоском...

— Кто не даст? Кто не позволит? Кто? Не по нашей ли милости впущены вы в круг рыцарей?— шумели дворяне.

— Не из милости, а по праву.

— Кто дал права, тот может и взять их.

— Вы их продали нам, а не дарили. Мы такие же господа, как и вы, в Ревеле, который не раз уже выкупали своим золотом и спасали своею кровью.

— Старые песни, старые сказки... Храбрость ваша качается на весовой стрелке, а честь, как обстриженный червонец, очень упала в цене...

— Гром и буря! Мы напечатаем на лбах ваших такие монеты, что век не износите штемпеля...

— Аршинники — разбойники!— летело навстречу друг другу, и обе стороны пышали боем, когда венденский фогт фон Дельвиг вскочил на перила и громовым голосом говорил:

— Дворяне и рыцари! вот следствие нашей доброты! Когда бы не позволили мы шварценгейптерам и первым гражданам мешаться с нами, этот купчишка не стоптал бы нашего собрата — и преимущества Ордена, не обидел бы в лице Унгерна нас всех. Но пусть прошлое будет нам уроком для переду. Да будет же отныне и навсегда запрещено всем без изъятия, не носящим звания рыцаря или дворянина, въезжать за турнирную решетку.

— Да будет, да будет!— загремели дворяне и рыцари, и герольды под звуком труб возгласили, что никто, кроме дворян и рыцарей, не может отныне ломать с ними копья в турнире.

— Так мы сломим их в битве,— зашумели обиженные таким исключением шварценгейптеры, обнажая мечи.

— А коли так, бейте Черноголовых,— закричали рыцари.

— Рубите пустоголовых,— восклицали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и вмиг мечи запрыгали по латам, и бой завязался.

Вопли женщин, клятвы противников, громы оружия огла-

сили воздух. Теснота умножила тревогу, конные и пешие, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смешались, и все орудия от рук до копий были в деле. Обиженное самолюбие и неуклонная гордость подстрекали сражающихся, вино и гнев ослепляли всех, ожесточение росло. Напрасно гермейстер просил, уговаривал, повелевал; напрасно, крича и топая ногами, бросил свой жезл, даже шляпу и мантию на ристалище в знак закрытия турнира,— никто не слушал, никто не замечал его. Наконец, усталость сделала то, чего не могли совершить ни моления жен, ни приказы старших. Обе стороны склонились на увещания доброго бургомистра Фегезака, и противники разошлись, грозя друг другу мечами и взорами. Опустелое побоище усеяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшениями. К счастию, теснота помешала дальнему убийству, ибо сражение превратилось в борьбу; говорят, немногие заплатили жизнию за эту игрушку.

Эдвин все еще лежал в смертном обмороке от сильного ушиба и бури чувств. Подле него на коленях стояла прелестная Минна, забыв весь мир для любезного и ничему не внимая, кроме чуть слышного биения его пульса; Лонциус, ухаживая за Эдвином, уговаривал беснующегося Буртнека, который всем тогда известным светом клялся, что он не отдаст Эдвину дочери, хотя он и остался победителем.

— Но ваше слово, барон, ваше рыцарское слово!

— Но мои предки, г[осподин] доктор, мои предки! Лучше не сдержать слово, чтобы поддержать имя. Коротко сказать — Эдвин очень высоко задумал; я вовек не выдам Минны за человека без славного имени.

— Зато с доброю славою.

— За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба.

— У него их тысячи, барон, и все на золотом поле.

— Хоть весь он рассыпься червонцами — я не соглашусь раздвоить[1] свой щит с вывескою.

— Вспомните, барон, что Эдвин кровью выручил вам отнятое Унгерном,— неужели за великодушие заплатите вы неблагодарностию?

— Добродетель — не титул...

— Мы производим его в командоры шварценгейптеров,— гордо возразили старшины сего сословия.— Он заслужил это достоинство храбростию.

---

[1] Écarteler — геральдическое выражение. *(Прим. автора.)*

— Слышите ли?..— сказал доктор.— Это почти рыцарское достоинство!

— Батюшка,— вскричала наконец Минна, будто вдохновенная,— он оживает — мой Эдвин оживает. Простите...— продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами...— я люблю Эдвина, я не могу жить без него... В руке моей вольны вы, но мое сердце навечно принадлежит Эдвину.

Казалось, она истощила все силы души и тела, чтобы выговорить слова сии,— и, сказав их, как лилия, поникла головою и без чувств опустилась на плечо отца.

Это тронуло Буртнека более всех доводов. В гербе его не было сердца, но оно билось в груди отеческой. С нежною заботливостью поддерживая дочь левою рукой, он веял над ней перьями шляпы — хотел поцелуем призвать в нее жизнь — и даже слеза блеснула на непривычной к тому реснице.

Между тем добрый Лонциус наступал на него сильнее и сильнее.

— Он богат, прекрасен, командор и храбр — это пресечет злые языки... Неужели вы хотите уморить дочь и лишить счастья друга, изменив слову? Притом же любовь дочери вашей известна всему городу...

— Дай мне подумать хоть день, хоть час...

— Вы никогда не выдумаете лучше того, что говорит вам сердце... Итак, Эдвин зять ваш?

— Зять и сын... Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!

* * *

Светел и радостен скакал с турнира Эдвин подле колесницы невесты своей, не сводя с нее глаз и поминутно целуя ее руку.

Спускаясь с Блоксберга, им встретился Доннербац в полном вооружении и с копьем в руке...

— Куда едешь, любезный Доннербац?— спросил Буртнек.

— На турнир,— отвечал тот, протирая глаза.

— Ты проспал его... Поедем-ка лучше ко мне на свадьбу,— с усмешкою сказал Эдвин.

— На твою свадьбу — неужели с фр[ейлейн] Минною?.. не сон ли это?

— Дай бог век не просыпаться от такого счастливого сна!

Шумно промчался поезд мимо — и Доннербац долго стоял на улице с отверстым ртом от удивления.

Н. БЕСТУЖЕВ

ГИБРАЛТАР

ПИСЬМО 1

...Чувствуешь приближение к испанским и португальским берегам: в 20 милях от земли утренний ветер наносит уже благовоние померанцевых и апельсинных деревьев. Неизъяснимо чувствование, пробуждаемое вдохновением этих ароматов, зрелищем безоблачного неба и ощущением живительной теплоты, после туманов Англии, запаху каменного угля и беспрерывных непогод, царствующих около Англинского канала.

Друзья мои, весело в море, когда благоприятствует погода, и посреди самого Океана, где беспредельность воды ограничивается только беспредельностью неба; где человек не замечает ничего, кроме пустоты, которая еще ощутительнее, когда прозрачные небеса здешней стороны кажутся гораздо отдаленнее — и в этой пустыне, говорю я, сердце наполняется радостью, если попутный ветр гонит корабль к желаемому пристанищу. Тогда заботы прекращены, по всему кораблю слышны песни или громкий смех добрых моряков, меняющихся шутками за веселыми играми, которые они мгновенно оставляют, бросаясь смотреть на стадо резвых касаток, быстро выпрыгивающих из воды, ныряющих и гоняющихся одна за другою. Иногда явления важного кита, его кувырки и фонтаны, его старание определить корабль забавляют долго неозабоченных плавателей. Ясная ночь еще лучше: звезды и луна населяют эфирное пространство; пределы зрения ближе, человек и корабль его не кажутся так малы, так ничтожны, как днем, и сам он становится важнее. Тогда место шумной веселости заступает тихое удовольствие; половина команды спит, другая, настороже, смирно и внимательно расположена по своим местам; только где-нибудь протяжная вполголоса песня, мешаясь с шумом пены, прерывает торжественное молчание.

От самого Англинского канала мы шли попутным ветром и приближались к Гибралтару в 12-ть дней. Это было счастливое плавание. Спускаясь к проливу, пришли на вид Кадикса; средней высоты берег пересекался вдали горами; с правой стороны довольно высокая гора оканчивала славный мыс Трафальгар; еще правее виден был высокий Африканский берег. Прежде нежели поравнялись с проливом, стемнело, и мы, не решаясь идти ночью в узкость, где теченья так переменчивы, поворотили от берега в море, в намерении вступить в пролив не прежде рассвета. Ясный и жаркий день сменился темною, туманною и холодною ночью, которую мы провели в близости Африканского берега, поворачивая к нему и отходя прочь, как скоро по счислению полагали его близко.

Рассвет был также туманен: мы легли прямо в берег, подошли к нему, но густая мрачность скрывала возвышения и потому невозможно было судить о его положении. Дождавшись солнечного всхода, рассеявшего туман и давшего способ опознать берег, мы поворотили вдоль оного; ветр следовал за всеми изворотами нашими — и мы, обогнув мыс Спартель, от которого начинается узкость, вступили в пролив между столпов Геркулесовых.

Путь наш был подле самого Африканского берега, в виду Испании и Африки, потому что самая большая ширина пролива только 12-ть морских миль, а есть места, где он не шире 7-ми. Утреннее солнце не совсем рассеяло туман: высокие горы обоих берегов имели вид величественный, задернутые прозрачным покрывалом испарений, которые, разносясь ветром и опять задерживаясь горами, переменяли фигуру их бесчисленными образами, или спускаясь нитями по бокам их наподобие бахромы, или венчая возвышенные вершины белыми кудрями.

Мы прошли в правой стороне Тангер; видели белые стены домов, минареты мечетей, вытащенные лодки; шли к берегу так близко, что казалось, будто слышался прибой волнения о прибрежные камни.

Вскоре открылась влеве Тарифа и ее башня, служащая для плавателей маяком; потом увидели французский фрегат перед островком у Тарифы; услышали выстрелы с фрегата и крепости — и, зная, что перед нами из Бреста вышла французская эскадра к Кадиксу для крейсирования — мы не обратили на это внимания.

Наконец показалась гора Гибралтар и мало-помалу отделилась от Испанского берега. Она возвышалась наподобие са-

харной головы; за нею синелось Средиземное море; на правой стороне, совершенно против Гибралтара, пролив оканчивался обезъянною горою (Абилла), почти такой же фигуры. Течение и ветр быстро несли нас, и в 2 часа пополудни мы уже бросили якорь в губе, вдающейся в берег между мысом Карнеро и горою Гибралтара.

Еще не улеглись волны, вспрыгнувшие от брошенного якоря, к нам пристали с обеих сторон шлюбки, одна с офицером, посланным для поздравления от капитана небольшого английского шлюпа, и другая с самим капитаном порта, г. Свитландом (*Sweetland*). Англичане в своих портах очень спесивы с иностранцами; кто бы ни явился под их крепостями, они отвечают на пушечную салютацию менее двумя выстрелами. Мы не хотели салютовать; но Свитланд уверил, что здесь в вольном городе (*Porto-franco*) они отвечают учтивостью за учтивость. Мы сделали 17-ть выстрелов, и вдруг на вершине горы блеснула молния, показалось облако, другое, третье, а за ними раскаты и грохот гор повторили 17-ть громовых ударов. Когда уже пронесло дым, мы увидели незамеченную сначала под облаками батарею, с которой нам отвечали.

С Свитландом познакомились очень скоро: он пригласил капитана и меня к себе обедать; мы поехали на шлюбке вдоль всех укреплений с приморской стороны, возвышающихся бастионами сажен на 7-мь от поверхности воды. Каменная высокая гора в 1200 футов (200 сажен) отвесной высоты соединяется весьма низким песчаным перешейком с испанским берегом. Три холма ее теряются иногда в легких облаках, собирающихся сребристою дымкою около вершины; красновато-желтый цвет Гибралтара противоположит вечной зелени гор Испанских. Редко промелькивающие кустики и дерева на камне еще более выказывают наготу природы в этом месте.

Вид города с рейда прекрасный: чистые домики с плоскими крышами возносились одни над другими амфитеатром почти до трети высоты горы, которая с этой стороны имеет такую отлогость, что можно прилеплять к ней строения. В самом деле, в некоторых местах есть домы, приставленные к горе боком. На рейде стояло до 400 судов разной величины и между ними множество тартан, шебек, каюк и других мелких судов Средиземного моря; у пристани едва можно было проехать, на ней самой едва пройти, потому что шлюбки и грузовые суда затесняли пристань с одной, а толпа народу и телег, выгружающих или принимающих товары, не давали проходу с другой стороны.

По ясному зною, еще сильнее отражавшемуся от скалы, мы прошли несколько улиц между домами, всячески защи-

щенными от жара. Окна закрыты жалузями, марокезами; над плоскими крышами поставлены палатки — везде ходит сквозной ветр. Наконец добрались до дому г. Свитланда, обращенному на рейд и стоящему на самом берегу; мы были представлены жене хозяина, очень любезной и весьма образованной англичанке.

За семейным обедом говорили о Гибралтаре.

Гибралтар построен маврами; еще в 714 году по Р[ождеству] Х[ристову]. Тариф Абензакка дал свое имя городу и горе, которая с сих пор стала называться *Гибель-аль-Тариф,* или Скала Тарифа. Испанцы, выгнав мавров, завладели сим местом и имя его превратили в Гибралтар. В 1704 году англичане отняли его у испанцев и укрепили как только было можно, хотя и при тех он считался уже неприступным. Обстроившийся у новых хозяев город объявлен свободным (*porto-franco*) и сделан складочным магазином меновой торговли. Купцы Германии, Франции, Италии, Греции и всего Средиземного моря не имеют никакой надобности везти свои товары далее Гибралтара, потому что, сбывая их там без пошлины, беспошлинно же получают все произведения северных морей. Оттого в прошлом 1823 году здесь было до 12 000 кораблей, из коих большая часть назначена была в Гибралтар, где живут консулы всех наций. В мирное время в нем содержится пять полков, что составляет 3000 чел. (считая по 600 чел. в полку), в военное — гарнизон удваивается, и тогда все содержание крепости восходит до 200 т. пиастров (1 000 000 руб.).

Теперь понимаю, подумал я, почему англичанам надобна эта голая скала. Англия оперлась на нее локтем, простирая руку в Средиземное море за Левантскою торговлею.

Солнце уже было близко заката, когда мы с хозяевами поехали в коляске осматривать город. Что можно сказать о нем,— я уже сказал. Загородные дороги, высеченные в камне, очень хороши и с обеих сторон обсажены деревьями: тополь и кактус, похожий на лопаточный алой, составляют живые ограды дорог.

Уступы дороги вывели нас до 1/3 части высоты горы, т. е. почти на 70 саж. над поверхностью моря. Внизу под нами виден был на скате город, подле него сад, далее испанский берег, объемлющий полукругом Гибралтарский рейд, на котором корабли казались маленькими мошками. Заходящее солнце, бросая из-за гор последние свои лучи, рассыпало их по морю, которое подобно ковру, затканному золотом, развертывалось под ногами нашими. Проезжая далее, подвинулись мы к утесистому отрубу южной оконечности горы, названному мысом Европы.

Дорога, идущая по западную сторону утеса, круто поворачивается на этом мысе на восточную его сторону и вдруг открывает обширность Средиземного моря и теряющийся в горизонте Африканский берег. По восточной дороге, в версте от поворота, стоит летний дом губернатора с прелестным садиком. Здесь светит только утреннее солнце: в 11-ть часов утра оно переходит гору, которая закрывает сама себя тенью на весь остаток дня. Но это одно только место, где можно найти прохладу в Гибралтаре: дорога оканчивается домом губернатора и далее гора неприступна.

Солнце садится здесь очень скоро и не оставляет за собою зари, так что переход от света к темноте почти без сумерек. Покуда мы выходили из коляски и сделали несколько шагов к утесу, чтобы посмотреть на море и ступить на самую южную точку Европы в этом месте, день сменился ночью, как театральная декорация,— мы поехали обратно. В самом деле, вся картина переменилась, город заблистал бесчисленными огнями по всей горе; Испанский берег во всем протяжении освещался различными фигурами и в разных направлениях от горящей для удобрения земли; огни на судах и все это освещение кругом залива отражалось в тихой поверхности моря и, переливаясь в легкой зыби, идущей от прилива, представляло какую-то волшебную иллюминацию. К довершению очарования, на краю бездны, не видя ничего под ногами и обманываемый колебаньем коляски, я воображал, что лечу под самым небом, на котором звезды, озаренные ярким блеском, невиданным в наших странах, казались от того вдвое больше и ближе над самою головою. То было совсем другое небо, другие созвездия! Наша Медведица двигалась медленно по самому горизонту — а ваша Полярная звезда, друзья мои, не много ее выше.

Из-под небес мы приехали домой пить чаю.

Здесь мы должны были в свою очередь рассказывать хозяевам наши русские обычаи, жизнь общества и прочее. Хозяйке более всего было занимательно описание костюмов наших дам; в особенности понравился ей русский простонародный наряд. Она обещалась нынешнею зимою наряжаться в маскарады в русское платье: для этого я нарисовал ей полную пару, начиная от кокошника до черевичков.

Мы хотели уехать на фрегат, но опоздали; городские ворота, запираемые с закатом солнца, хотя и были исключительно для русских отперты до десяти часов, но мы не видали времени, пролетевшего далеко за полночь; и так мы ночевали в трактире.

ПИСЬМО 2

Редкостей в городе, кроме самого города, нет;— зато он один стоит которого-нибудь из семи чудес. Не хочу входить в подробности, что за городом есть сад, где стоит несколько бюстов, напоминающих англичанам великих людей и их деяния; что в городе есть две библиотеки, одна для гарнизона, другая для купечества; что есть плохой театр, где изрядные певицы, приехавшие из Лиссабона, сердятся вместе со слушателями на дурную музыку; не стану говорить о том, что на этом голом камне местами, в ущелинах есть садики и деревья; что жители воду пьют дождевую, а свежую привозят туда на ослах из Испании, что говядину им продает по контракту марокский владелец — все это вещь обыкновенная: скажу нечто о крепости.

Гора имеет отлогость только с одной стороны, где стоит город; с востока к Средиземному морю и с севера к песчаному перешейку она возвышается совершенно отвесно. К отлогой стороне с моря изгибаются каменные укрепления, а к перешейку, в вертикальной 200-саженной стене, вырваны порохом казематы, служащие крепостью для обороны на Испанскую сторону.

Эту крепость и пошли мы смотреть. Мы взбирались туда по крутой улице, которая вела в старый мавританский замок, служащий входом в казематы. Во времена испанцев в нем существовала инквизиция; ныне толстые стены его сделались домами многих семейств, во внутренности их живущих, и весь он вообще превратился, с помощью нескольких новейших укреплений, в цитадель. С лишком тысячу лет башня и тройные стены замка стоят почти невредимы; кроме верхних частей и осыпавшихся углов в некоторых местах, камни слились в один состав, и ни время, ни испанские ядра, испестрившие стены сии, ни многочисленные переделки снаружи и в самой толстоте стен для жилья не могут отнять величественного вида, с которым возвышается замок над городом. Это Велизарий в слепоте и нищенстве, но в котором узнает каждый бывшего защитника отечества.

Из замка крутая дорога, высеченная извилинами в скале, привела нас к входу в казематы. После несносного жара охватил нас холодный и сырой воздух. Галереи, образующие эту подземную крепость, идут коленами в высоту постепенно; каждая из них пробита беспрестанными амбразурами, из которых торчат пушки. Толщина наружной стены галереи будет около четырех сажен; амбразуры, в ней пробитые, образуют около каждой пушки каземат, в котором люди удобно могут действовать орудием; ширина гале-

реи и высота ее около 18-ти фут, иногда более, иногда менее.

Если скажу, что сих галерей, высеченных в камне, шесть и они вооружены 700-ми пушек, что на каждом уступе горы лепится наружная батарея, что каждый ее уступ имеет фланковую оборону: тогда вы можете представить, награждены ли труды создания крепости, защищающей каменную непроницаемую стену? Напрасно испанская артиллерия гремела против сих невероятных укреплений: бессильные бомбы и ядра скатывались обломками к подножию скалы; невредимые батареи гибралтарские беспрестанно зажигали деревянные редуты испанцев, и пять тысяч англичан, под командою Эллиота, целые пять лет противустояли всем усилиям соединенных армий и флотов испанских и французских.

Посреди галерей есть две круглые залы, называемые св. Георгия и Корнваллис, куда часто жители собираются на пикники, избегая жаров лета; но признаюсь, надобно быть очень привычну, чтоб переносить быструю перемену из жара в чувствительный холод и сырость, а иногда и сквозной ветер.

Один из выступов скалы, образованной самою природою наподобие башни, называется Мавританскою башнею, потому что мавры первые сделали в ней галереи с бойницами. Недалеко от выхода из третьей галереи, сквозь просеченную в горе арку, есть выход на площадку над Средиземным морем: мы вышли туда. Восточный ветр гнал волны прямо на скалу, и единообразное море то бросалось белою полосою пены, наступая на острые камни у подошвы, то окраивалось черною лентою при отступлении, обнажая камни, почерневшие от нападений воды и времени. Мы остались тут недолго; неприятный сквозной ветер заставил нас воротиться, и тем скорее, что видеть более было нечего: оба берега, Испанский и Африканский, были покрыты туманом, обыкновенно ложащимся на землю при восточных ветрах.

По узкой, крутой лестнице, называемой *чертовою*, мы взошли на самый гребень скалы, оканчивавшейся трехпушечною батареею. Эта часть горы выше всех прочих ее вершин, с нее видно во все стороны и слышно во все шесть галерей посредством отверстия, просеченного сквозь камень, наподобие слуховой трубы. Отсюда под ногами нашими у самой подошвы к перешейку видны еще укрепления со рвами, наполняющимися водою посредством шлюзов, далее по перешейку кордонные домики, разграничивающие владения англичан и испанцев, за ними видны укрепления последних, пришедшие в упадок; справа к этому песчаному языку примыкает Испанский берег и виден даже до Малаги; влево белеются на прелестном возвыше-

нии домики С. Роха; с этой стороны берег заворачивается и образует рейд, в котором на противной стороне виден в лощине между живописных гор красивый Алгезирас; подле — развалины замка, называемого старым Гибралтаром; еще далее — мыс Карнеро, за которым берег в самом проливе виден до Тарифы. Тут сквозь пролив синеется небольшой промежуток Атлантического океана и тотчас подле возвышаются Африканские горы и оканчиваются против Гибралтара Абиллою и Цейтою; вид их дик и суров, густая атмосфера давит их, опоясывает облаками и закрывает вдали какою-то фиолетовою полосою. Я прежде полагал, что расстояние между берегов Африки и Европы гораздо более; теперь, от высоты берегов, оно кажется не много более расстояния Кронштадта от Ораниенбаума.

Нам хотелось побывать на всех трех вершинах Гибралтара; но как проводник сказал, что надобно идти вниз и взбираться туда особыми дорогами, то мы, несмотря на его убеждения, предпочли карабкаться прямо по горе, скользить по серебристой полыни и мелкой душистой мяте, до обсерватории, устроенной на среднем холме. Горные куропатки и дикие козы попадались нам во множестве; в некоторых оврагах видели обезьян, которые с криком разбегались и из-за выступов швыряли в нас каменьями. Это довольно опасно, и хотя жители жалуются на дерзость этих животных, кидающихся на гулящих и обкрадывающих их фруктовые садики, но им жаль истреблять обезьян, потому что голая скала Гибралтара есть единственный пункт в Европе, где они водятся. Притом же природа так скупа в этом месте, что и последний из ее даров кажется здесь бесценным. Для сего запрещено делать какой-либо вред обезьянам, козам и куропаткам.

С трудом добрались мы до обсерватории, где нас встретил смотритель и предложил освежиться плодами; когда же мы собирались спускаться, он просил вписать имена наши в книгу, в которой многие путешественники были прежде нас записаны; против имени каждого он сам выставил чин; а бывшего с нами слугу одного из товарищей он почел натуралистом, потому что этот человек держал в руке несколько трав и камешков, собранных им на вершине.

Спускаясь, набрели мы на кладбище мавров; разрушенные памятники с чалмами, высеченными из камней, и полуистертые арабские надписи свидетельствовали о именах погребенных. Сказывают, что находили во многих местах кости человеческие в самих камнях. Это возможно потому, что известковое свойство камня наполнило могилы капельником и кости заплывали каменною массою. Доказательством тому служат многие из-

вестковые накипи в галереях и целая сталактитовая пещера немного ниже кладбища, называемая гротом св. Михаила, где капельники образовали множество столбов, странные фигуры зверей, человеков и проч. Глубина этой пещеры, говорят, ниже горизонта воды; мы не смели опуститься туда без проводника, без свечей и веревок и отложили посещение оной до другого дня,— но это нам не удалось, равно как и видеть две огромные в горе ямы, сделанные испанцами наподобие мортир, из которых они намерены были выстрелить каменьями в англичан во время приступа; но эту опасность отвратил нечаянный случай, доставивший Гибралтар в руки последних.

На третьей вершине мы видели башню, построенную для телеграфа, но разбитую громом, который каждый раз бьет в это место. Полюбовавшись еще прекрасною панорамою, мы спустились вниз утомленные чрезвычайно и поехали на свой фрегат отдохнуть.

ПИСЬМО 3

Сегодня мы были с визитом у губернатора, который, как я сказал, живет в своем загородном доме. Старик лорд Чатам, старший брат славного Питта, принял нас очень ласково; говорил с нами о разных материях, но его нездоровье сократило наш визит. Ему по виду около 80 лет, хотя англичане и уверяют, будто он не старее 70.

Мы ездили туда поутру; солнце пекло нестерпимо, маленькие мушки (mosquites) беспокоили чрезвычайно. Часовые на валу стоят под нарочно устроенными из циновок зонтиками; иначе оставаться на открытом месте невозможно. Здесь несносно жарко в продолжение короткого дня; но зато росистые ночи очень холодны. Говорят, что климат довольно здоров и одни только восточные ветры приносят с собою жаркую, удушливую и сырую погоду, которая, расслабляя человека, причиняет простуды, головные боли и другие припадки. Уверяют, будто при этом ветре ничего не должно запасать впрок, разливать вина, солить мясо и проч.; иначе все будет вскорости испорчено.

Я сказывал уже, что испанская граница недалеко от Гибралтара: через 1/4 часа вы уже в Испании. В Алгезирас можно доехать не с большим в 2 часа, заливом же расстояние не более часовой езды — и при таком близком расстоянии мы не могли быть там по причине беспокойства от инсургентов. Весь Испанский берег от Кадикса был в движении во все то время, пока мы были в Гибралтаре. Идучи проливами, мы видели лежавший у Тарифы французский фрегат и слышали с него и с крепости выстрелы, но не могли догадаться о причине; наконец, по

прибытии в Гибралтар, это объяснилось следующим образом.

Остатки конституционных испанцев, в числе 700 человек, преследуемые во всех направлениях, собрались под начальство подполковника Вальдеса (Waldez), бросились в Тарифу, имевшую маловажный гарнизон, овладели городом и затворились в нем, в твердом намерении не сдаваться без обороны.

Покуда французские войска, рассеянные в окружностях, могли собраться в довольном числе, из Алгезираса вышел стоявший там французский фрегат и подошел к лежащему против города островку Тарифе, начал канонаду, полагая принудить к сдаче находящийся на этом островке замок. Не сделав ничего и получив большое повреждение в мачтах, он должен был уйти того же вечера, обитый, в Алгезирас. Эту самую перестрелку мы и слышали, проходя Тарифу.

В продолжение суток под городом собралось до 3000 чел. французских войск; другим партиям дан был приказ двинуться к берегу, по которому стали заметны большие движения между испанцами, ободренными примером инсургентов в Тарифе. Они начали собираться толпами; везде показалось оружие; раздались песни вольности; смятение становилось всеобщим; беспорядки начались; личная безопасность была нарушена; тайные убийства сопровождались явными угрозами — и только военная сила удерживала народ от совершенного возмущения.

В самый день прибытия нашего, для удержания этих беспорядков, расстреляны были четверо самых пылких революционистов. В долине перед Алгезирасом выведены были войска и при стечении множества народу была совершена казнь. Один из инсургентов не хотел завязывать глаз; но увидя генерала О'Донеля в числе зрителей, схватил с нетерпением платок и сказал: «Не хочу осквернять последних минут жизни моей видом человека, предавшего отечество и пришедшего любоваться кровью сограждан». С сими словами он был расстрелян.

Инсургенты, узнав в Тарифе казнь четырех своих собратий, выставили на другое утро с городских стен головы двух монахов и двух французов напоказ войскам.

На другой день в Алгезирасе опять были расстреляны четыре испанца — и мена сия продолжалась бы ежедневно, если б участь Тарифы не решилась формальным приступом. Французские войска разделились на три части и атаковали город с трех сторон. Многие граждане приняли конституционных; многие были против них; сражение происходило внутри и вне стен города; инсургенты сражались отчаянно, наконец город был занят войсками. Множество граждан побито и почти весь корпус

революционеров истреблен; только пятьдесят человек с самим Вальдесом в живых могли спастись в замок на островок Тарифу.

Лишенные всей надежды, инсургенты могли бы долго защищаться в крепком и почти неприступном замке, если б недостаток воды, которой не могли заготовить в продолжение короткого владычества над городом, не заставил их поколебаться. Мнения разделились; увещания Вальдеса не действовали, страх томительной смерти поселил уныние в сердцах малочисленного гарнизона; раздался ропот; начали говорить о том, чтобы отворить ворота; наконец повиновение к начальнику исчезло. Вальдес, видя такое расположение умов, воспользовался темнотою ночи и уехал на маленькой лодке с шестерыми в Гибралтар; еще несколько человек бежали на Африканский берег, а остальные, отворив на другое утро крепость, были взяты и перевешаны французами.— Так рассказывали об этом в Гибралтаре.

Истребление этой партии, последней надежды инсургентов, восстановило спокойствие в народе. Осада, взятие Тарифы, завладение замком происходили в продолжение пяти дней нашей бытности в Гибралтаре; с высоты горы можно было в трубу видеть дым сражения. Вальдес приехал ночью накануне нашего отъезда.

В Гибралтаре безопасен всякий, пришедший укрыться под защиту английских законов; таким образом многие из испанских конституционных министров, как-то: Лопес-Баньос, Наварро, Эспиноза и много других укрываются до сих пор в Гибралтаре, но положение их, впрочем, самое жалкое. Английское правительство, давая им убежище, позволяет только жить на рейде, но не вступать в город. Одна безопасность составляет все их выгоды, потому что они едва имеют насущный хлеб для своего пропитания, и то частные люди дают некоторым из них по 1/4 испанского пиастра (по 1 руб. 25 коп.). Лопес-Баньос, Наварро, Алава, Квирога, Мина и другие все вместе не имели более 100 пиастров, когда приехали в Гибралтар.

ПИСЬМО 4

Гибралтар, как и вообще вольные торговые города на юге Европы, представляет удивительное разнообразие в жителях и посетителях. Кроме всех почти наций нашей части света, видишь жидов, индейцев, турок, мавров, варварийцев, в их костюмах, с их обычаями. Всего удивительнее, что португальцев гораздо более в Гибралтаре, нежели испанцев: португалец там

настоящий жилец, испанец только привозит на продажу свои продукты или приезжает покупать товары, которые после перепродает тайным образом в Испании. Контрабандисты составляют особливый класс людей и особливые даже селения по берегу и горам. Решительность, мужество, верность в слове, самая честность в их бесчестных поступках, а более всего наличные деньги, заставляют их уважать в Гибралтаре. В городе, где торговля отправляется беспошлинно, всякий тот честен, кто платит исправно деньги; но в Испании законы противу непозволенной торговли весьма строги. Однако, несмотря на преследования, эта торговля очень значительна; местное положение, туманы, темные ночи, совершенное познание берегов и их опасностей, куда ни одна душа не отважится следовать за контрабандистами, избавляют их от весьма бдительного, впрочем, надзора.

Одежда испанского простолюдина очень красива, особенно если она побогаче. Мне показали одного контрабандиста, который, вероятно, имел способ хорошо одеться. Соломенная шляпа с круглой тульей и весьма широкими полями, около которых висят шелковые кисточки, куртка с наплечиками, обшитыми позументом, большие пуговицы, оплетенные золотом, шелковый пояс, бархатные штаны, вышитые золотыми шнурками по швам и застегнутые во всю высоту сбоку на крючки, башмаки и штиблеты из белой кожи, выстроченные узорами и обхватывающие статную ногу — составляют одежду. Небрежно накинутая на левое плечо короткая епанча оканчивает наряд.

Испанок, превозносимых всеми путешественниками, я не видал; малое число их в Гибралтаре состояло из низшего класса женщин, по которым не можно судить о всем поле их. Однако же блестящие, живые глаза, одни только видные из-за покрывала, кинутого фатою на голову и схваченного впереди или рукою или булавкой перед самым носом, чрезвычайно маленькая нога и прекрасная поступь, даже в этом классе людей, заставляли нас думать, что мы лишились большого удовольствия, не видав красавиц Андалузии, и особенно славящихся красотою женщин Кадикса.

Нас принимали в Гибралтаре как нельзя лучше; флотских здесь не было; зато мы подружились с офицерами полков, составляющих гарнизон, особенно с 43-м полком. Отлично воспитанные, прекрасные собою молодые люди не разлучались с нами во все пребывание наше. Красивые шлюбки, на которых сами офицеры в щеголеватых матросских платьях сидели вместо гребцов и полные любопытствующими дамами, беспрестан-

но приставали к нашему фрегату. Нам едва доставало времени, чтоб обегать Гибралтар: мы или принимали посещения, или должны были ездить с своими гостями на обеды и вечера. Общество офицеров имеет общий стол; женатые живут своим хозяйством, но часто холостые беседы оживляются присутствием дам; здесь в Гибралтаре дамы не выходят из-за стола по окончании обеда; здесь изгнаны из обществ продолжительные послеобеденные возлияния в честь Бахуса.

Задул попутный ветер от востока; нам нельзя было терять его: должно было сниматься с якоря. Все наши знакомцы приехали проводить нас; мы благодарили за гостеприимство. «Не за что,— отвечал Свитланд;— кроме того, что любим русских, мы рады видеть чужестранцев, с которыми можно поговорить: здесь видим много людей и мало таких, с которыми бы можно было возобновить свои идеи. Все новости наши состоят в газетах, которые возвещают здесь уже то, что состарилось для других частей Европы, и теперь единственный для нас источник новостей — война инсургентов — иссяк со взятием Тарифы. Необходимость иметь что-нибудь новое заставляет газетчиков выдумывать свое; так, например, о вашем прибытии сюда в нашей газете стоит следующее: «Сюда прибыл российский фрегат, которого назначение неизвестно; офицеры на вопросы отвечают таинственно и двусмысленно, что дает причину полагать в этой экспедиции какое-нибудь скрытное и важное намерение. Но кажется, это намерение разгадано и состоит в завладении *Порт-Магоном*. Офицеры говорят, что останутся здесь несколько дней для отдыха команде; но, как кажется, они ожидают своей эскадры, вышедшей в море вместе с ними и прошедшей в океан севернее Англии, для лучшего скрытия своих намерений».

Как же удивится г. газетчик, вскричали мы, когда увидит, что вместо востока мы пойдем к западу! Прощайте, любезные наши хозяева! С сими словами паруса наши развернулись, якорь был поднят, и мы при пушечном громе с фрегата и с крепости, при громких восклицаниях ура, с шлюбок нас провожавших, с ветром и с теченьем понеслись в отечество.

Прощай, благословенная Андалузия! Желание возвращения на родину смешивается с грустью при мысли, что взоры наши, уставшие видом моря, неба, туманов и камней, не отдохнули на вечнозеленых твоих виноградниках.

Прощай! Синяя полоса твоих берегов уже исчезла; одна только морская ласточка вьется за кормою и щебетаньем напоминает близость земли — скоро и та оставит нас!..

СѢВЕРНЫЕ
ЦВѢТЫ.
1825.
С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Е. БАРАТЫНСКИЙ

ИСТОРИЯ КОКЕТСТВА

Венера почитается матерью богини кокетства. Отцом ее называют и Меркурия, и Аполлона, и Марса, и даже Вулкана. Говорят, что, перед ее рождением, непостоянная Киприда была в равно короткой связи со всеми ими и, разрешившись от бремени, каждого поздравила на ухо счастливым отцом новорожденной богини.

Малютка в самом деле с каждым имела некоторое сходство. Вообще была она подобием своей матери; но в глазах ея, несмотря на их нежность и томность, было что-то лукавое, принадлежащее Меркурию. Тонким вкусом и живым воображением казалась она обязанною Аполлону; Марсу нравились ее свободные движения, доказывающие, по словам его, что отец ее был человек военный; добрый же Вулкан не обнаруживал своих замечаний, но ласкал малютку с истинно родительскою нежностию.

Все они имели одинакое право принимать некоторое участие в будущей судьбе новой богини, с равным усердием старались о ее воспитании. Жители Олимпа удивлялись быстрым ее успехам и превозносили необыкновенные ее дарования. Одна Паллада усмехалась им подозрительно; да иногда Амур поглядывал на молодую богиню с видом беспокойства и недоверчивости.

Многие недостатки были в ней заметны, особенно непомерное тщеславие. Она более любила выказывать свои знания, нежели любила самыя науки; в угодительном ее обхождении с богами было более желания казаться любезною, нежели истинного благонравия. Ко всему имела она некоторое расположение, ни к чему настоящей склонности, и потому никем и ничем не могла заниматься долго. Непостоянство ее, может быть, происходило от ее генеалогии; но усоверщенствовалось своевольным ее воспитанием. «Наставники ее недальновидны»,— говорила иногда Паллада (которая кстати и некстати любила-таки похвастать своим глубокомыслием и мерною прозою произносить торжественныя изречения),— наставники ее недальновидны: поверхностное обо всем понятие составит удивительный хаос в голове ее. Они стараются усовершенствовать ее дарования, образовать вкус и развить воображение; но некому просветить ее разума и наставить сердца. По-моему, она не доставит особенной чести Олимпу».

Давно уже достигнув совершеннолетия, пресытясь однообразными похвалами богов ее остроумию, красоте и любезности, может быть, несколько завидуя грациям, помраченным ею сначала, но которым мало-помалу стали отдавать справедливость,— новая богиня упала к ногам Юпитера и выпросила себе дозволение переселиться на землю.

В последний день ее пребывания на Олимпе пригласила она богов на прощальное пиршество. Приветливость ее при угощении, соединенная с некоторою задумчивостию, тронула бессмертных: все оставили ее с некоторою грустию; правда, каждому из них дала она почувствовать, что одна разлука с ним заставляет ее жалеть об Олимпе.

Богиня сначала поселилась в Греции; однако ж не имела в ней храмов. Народы, принявшие ее за любезность ее, поздно заметили свою ошибку и стали подозревать существование новой богини. В обхождении некоторых прелестниц, в блестящих, но неосновательных сочинениях многих софистов ощутительно стало ее влияние. Раздоры, возгоревшиеся между наследниками Александра Македонского; раздоры, наполнившие Грецию ужасом и кровию, отвлекли их внимание и самую бо-

гиню принудили искать другого убежища: она переселилась в Рим.

Худо ее приняли в Риме. Изнеженность ее нрава и слишком вольное обращение не полюбились строгим республиканцам. При триумвирах было ей лучше, но немногим: *буйный разврат* столько же противоречил ее свойству, сколько чрезмерно строгие обычаи.

Дикие племена, завоевавшие Рим, изгнали ее из сей столицы вселенной. Здесь история ее становится темною: иные говорят, что, до самого ее возвращения в Европу, странствовала она по Азии и Африке; другие, что она провела это время в уединении, придумывая способы для будущего своего величия.

Как бы то ни было, но в XVIII веке торжественно явилась она в Италии и во Франции с молодою прелестною дочерью, не уступающею своей матери в непостоянстве, своенравии и проворстве: дочь сия была — Мода. Подобно Юпитеру, отцу Паллады, богиня зачала ее в голове своей и так же счастливо разрешилась от бремени. Народы приняли ее с восторгом. Воздвиглися храмы и воскурились жертвы. Обрадованная усердием галлов, богиня основала свое пребывание между ними.

На берегах Сены, посреди великолепного сада, возвышается столичный храм ее. Витые золотые колонны поддерживают его купол. На барельефах изображены разные двусмысленные аллегории, поныне еще не разгаданные, например: в одном месте представлена она подающею руку Амуру, вместо дурачества, которому грозит пальцем, чтоб оно молчало; в другом — побеждающею богиню красоты; в третьем — наряжающею граций и проч. Многие приняли сии аллегории в выгодном значении для богини, другие совершенно напротив: кто весть, говорили они, какой путеводитель выгоднее для Амура — дурачество увлекало его силою, кокетство завлекает обманом: что лучше? Искусство превышает Природу! Жаль, ежели это правда! Наряженные грации похожи на прелестниц и тому подобное. Внутри храма, в зеркальной, освещенной кенкетами зале, таится непонятная богиня. Мечты блестящие, но почти не

имеющие образа (так быстро они переходят из одного в другой), вьются, волнуются перед нею. Мусикийские орудия, отличительные знаки всех искусств, разные игрушки, выдуманные прихотью, небрежно около ее разбросаны. Тут-то проводит она время, примеряя наряды, вымышленные ее дочерью, и приучая лицо свое к разного рода выражениям. В известные дни принимает она своих обожателей и издает свои прорицания; ласковость ее обхождения привлекает каждого; разнообразные дарования, полученные ею от олимпийских ее наставников, заслужили ей уважение людей всякого состояния, всяких понятий, всякого нрава: даже два великие, хотя разнородные, гении последнего времени, Фридрих II и Вольтер не пренебрегали ее советами. Не говорю уже о женщинах, кокетство можно назвать — политикою прекрасного пола.

По прошествии некоторого времени богиня заметила однако ж разительное охлаждение в мужской половине своих поклонников: ужас объял ее сердце; но ум ее, богатый вымыслами, скоро внушил ей способ оживить их усердие. Она удвоила свою приветливость, даже казалася нежною наедине со многими. Нового рода надежда закралась в их сердце и совершенно его взволновала, когда в приемной зале богини увидели посетители несколько новых картин довольно замечательного содержания; на них изображены были некоторые приключения жителей Олимпа, где они являлись довольно благосклонными к бедным смертным: Диана, посещающая Эндимиона; Киприда, ласкающая Адониса, и проч. Внизу надписано было: *Для любви не существует разницы между смертными и богами*. Хитрость сия удалась богине; охлажденные поклонники превратились в пламенных искателей; и хотя никому еще не сдержала она нежного своего обещания, но все надеются, что она сдержит его некогда,— и храм ее никогда не бывает праздне.

Ученый антикварий, собравший материалы для сей достоверной истории, собрал их прежде Французской революции и, соделавшись жертвою ее, не мог продолжать занимательного труда своего. Если верить слухам, то ужасы возмущения силь-

но и благодетельно подействовали на сердце богини; говорят, что она отреклась от божества своего и даже сама сделалась набожною. Живет уединенно, читает полезные книги и вздыхает о прежних своих заблуждениях. Время покажет, справедливы ли сии слухи и чистосердечно ли ее обращение?

НЕВСКІЙ АЛЬМАНАХЪ

НА 1827 ГОДЪ.

ИЗДАННЫЙ

Е. АЛАДЬИНЫМЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

1826.

О. СОМОВ

ГАЙДАМАК

Малороссийская быль

ГЛАВА I

Так, вічной пам'яті, бувало
У нас в Гетьманщині колись...
Котляревский

Была осень; частые дожди растворили малороссийский чернозем; глубокая и вязкая грязь превращала в топкие болота улицы и проселочные дороги. В это время в Королевце собиралась Воздвиженская ярмарка. По грязным улицам небольшого и худо обстроенного поветового городка тянулись длинные обозы; чумаки с батогом на плече шли медленным шагом подле волов своих, которые с терпеливою покорностию тянули ярмом тяжелые возы. Русские извозчики без пощады погоняли усталых лошадей, суетились около телег, навьюченных московскими товарами, кричали и ссорились. В *ятках*[1] на площади толпились веселые казаки в красных и синих жупанах и те беззаботные головы, кои, уставши *чумаковать*, пришли к ярманке на родину попить и погулять; одни громко рассуждали о старой гетманщине, другие толковали про дальние свои чумакованья на Дон за рыбою и в Крым за солью. Крик торговок и *крамарей*[2], жиды с цимбалами и скрыпками; цыгане с своими песнями, плясками и звонкими ворганами, слепцы-бандуристы с протяжными их напевами — везде шум и движение, везде или отголоски непритворной радости, или звуки неподдельного веселья. Огромные груды арбузов, дынь, яблок и других плодов, коими небо благословило Малороссию и Ук-

раину, лежа рядами на подстилках по обе стороны площади, манили взор и вкус и свидетельствовали о плодородии края.

Посереди площади собралась толпа народа. Молодой чумак в синем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущенным по груди длинными концами, и в красных сафьянных чоботах шел, приплясывая и припевая, вел за собою музыкантов и ватагу весельчаков и сыпал деньгами в народ. Чтобы показать свое удальство и богатство, он то расталкивал ногою плоды у торговок, то бил нарочно стеклянную посуду в ятках — и платил за все вдесятеро. Все: купцы, жиды, цыгане, бандуристы и нищие — обступили его; каждый или предлагал свои услуги, или без всяких услуг просил чего-нибудь, и каждый получал или награду, или подаяние. Большой круг составился около молодца: всяк ему дивился и хвалил его; женщины в этом случае были не последние. «Какой *завзятый* чумак! какой лихой парень! какой статный и пригожий мужчина! какой богатый и тороватый!»— раздавалось отовсюду.

Поодаль человек среднего роста, в простой чумацкой свите с *видлогою*[3] стоял, опершись на *батог*[4] и, насвистывая в пальцы, внимательно смотрел на молодого безумца. Вид этого человека с первого взгляда не обращал на себя внимания, но, всмотревшись пристальнее, не скоро можно было отвести от него глаза. Он стоял без шапки, которую сронил в толпе. Длинный *оселедец*[5] спускался с бритой его головы и закручивался около уха. Смуглое лицо, правильные черты, орлиный нос, нагибавшийся над черными усами, и быстрые, проницательные глаза обличали в нем ум, сметливость и хитрость, а широкие плечи и грудь, крепкие, жилистые руки и богатырское сложение тела ясно говорили о необыкновенной его силе. В движениях и поступках его, даже в самом спокойном положении, видны были решительность и смелость. Ему казалось от роду не более сорока лет, но или сильные страсти, или заботы поборозлили уже чело его морщинами. Он выжидал, пока роскошный молодой чумак, обходивший в это время круг, с ним поравняется. «Здорово, Лесько»,— сказал он гуляке, когда наконец тот подошел к нему. «Ба! это ты, Кирьяк? давно, от самой Умани, я с тобою не видался. Здорово, приятель, здорово!»—«Ну, как поживаешь?»—«Как видишь: бью в свою голову, пью да гуляю».—«А волы?»—«Всех распродал! Отец отпустил со мною тридцать пар — остался налицо вот этот батог».—«Хорошо же ты отцу припрочиваешь на старость!»—«А, что будет, то будет! Живу, пока звенит в кармане, а перестанет звенеть —

тогда или под красную шапку, или в удалую шайку».—«Дело вздумал! то есть: и в том и в другом случае ты будешь спиною отвечать за голову...» Это истолкование рассмешило стеснившуюся вкруг них толпу, и молодой чумак, не находя лучшего ответа, сам рассмеялся.

«А ты, Кирьяк Максимович,— сказал он после короткого молчания своему знакомцу,— каково чумакуешь? Человек ты осторожный и даром копейки не роняешь; я видел тебя в Умани на пятидесяти парах, и ты привез туда бог весть сколько московских товаров! С тобою были лихие купчики: также любили потешиться, как и я, грешный!»—«Я и теперь с ними приехал; да переморил своих бедных волов по этой слякоти и даю им отдых. Добрый человек и скотов милует, говорит святое писание».—«Знаю, что ты человек письменный; где же теперь пристал?»—«Я оставил свой *табор* по Путивльской дороге, над Эсманью, а сам пришел сюда принанять молодцов; мои почти все разбрелись».—«Если тебе надобно лихого погонщика, так возьми меня; батог мой исправен... *Гей, цоб!*»— прикрикнул он, ловко помахивая ременным батогом своим. «Я добрых людей не чураюсь,— отвечал Кирьяк,— хочешь, так сейчас к делу; зайдем ко мне на постоялый двор, а так и к табору».—«Спасибо, что так сговорчив, Кирьяк Максимович! спасибо, что ты не таков, как те седые чубы, которые бранят нас, молодых парней, за шалости и не верят, если раз замотаемся... Прощайте, приятели! вот вам на расставанье».— Тут Лесько метнул в народ последнюю горсть мелкой монеты; все бросились подбирать — и когда оглянулись, то уж обоих чумаков как не бывало.

ГЛАВА II

> То пан Хмельницький добре учинив,
> Польшу засмутив,
> Волощину побідив,
> Гетьманщину взвеселив.
>
> *Старинная малороссийская песня*

В конце городка стоял маленький полуразвалившийся домишко; в нем приставали приезжавшие на ярмарку евреи, которые почти всегда под ветхою кровлею прячут от любопытных и завистливых глаз накопленные ими богатства и часто всякими неправдами добытые драгоценности. Еврей Абрам, заперши двери засовом и наглухо закрыв ставнями окна, отбивал донышки у маленьких бочонков, вынимал из них дорогие жемчуги, перстни, серьги и другие золотые вещи, осыпанные блес-

тящими каменьями, и раскладывал их по ящикам, готовя к ярманке на продажу. Он беспрестанно прислушивался, озирался и при малейшем шуме снаружи бледнел, как Каин.

Вдруг кто-то дважды стукнул в дверь. Абрам вздрогнул, но вспомня, что это условный знак товарища, накинул про всякий случай толстое полотно на стол, на котором отбирал вещи, и отнял дверной засов.

— Горе и страх сынам Иуды!— вскрикнул, всплеснув руками, вошедший жид, между тем как товарищ его снова запирал дверь,— горе и страх! я видел *его*...

— Кого?— торопливо спросил Абрам.

— *Его*, гайдамака, Гаркушу!— отвечал Гершко печальным голосом.— Ты его знаешь, он не посмотрит на город и людство; налетит на нас, как Сеннахерим, заберет и свое, и наше.

— Я говорил тебе: не водись с этим проклятым моавитом! долго ли до беды.

— Знал ли я, ждал ли я, когда он на Волыни отдавал мне для продажи пограбленные им вещи, что через три луны увижу его здесь в Малороссии? Ах, эти большие серебряные стопы, эти богатые золотые цепи, эти яркие дорогие перстни пана Манивельского! сгубят они нас!

— Опомнись! разве ты не еврей? Бог отнял у нас силу и смелость, а мы поневоле взялись за хитрость и пронырство. Придумаем, как бы спастись от когтей сего месопотамского коршуна. Но где и как ты его встретил?

— Я бродил в толпе этих назареев и высматривал, не удастся ли чего повыгоднее купить или продать. Вкруг одного погибшего сына стеною стеснился народ, и всякий подбирал серебро, расточаемое безумцем. Я также думал пробраться к нему, хотя ползком... Взглянул и вижу в толпе услужника Велиалова. Тогда я притаился за народом, и когда он увел с собою молодого чумака, я шел за ним издали; припав за забором, сторожил его выход из постоялого двора и видел, по какой дороге они вдвоем отправились.

— Послушай: нам надобно обсудить, как бы и свое спасти, и чужого не выпустить из рук. Благодаря нашим братьям, которые повсюду рассеялись и везде ведут торги, если чего не посмеем выказать здесь, то Польша и немецкая земля велики: там будет простор и нажитому, и добытому.

— Правда, правда! только как теперь избавиться от гайдамака?

— Знаешь ли ты здешнего поветового судью?

— Пана Ладовича? как не знать; добрый пан, честный пан!

В нем только три худа: что не слишком жалует евреев, что ему ничего не продашь, а его ничем не подкупишь.

— Зато у него и своим не лучше наших, когда у них руки или совесть не чисты. Слушай же: ступай ты к нему, расскажи про гайдамака все, что знаешь, укажи дорогу, по которой он пустился,— и после спокойно переплавливай в слитки золото и серебро и сбывай алмазы и яхонты пана Манивельского.

— Рабби Рувим! ты умный человек, Абрам. Так к делу, не теряя времени. Сейчас иду к поветовому судье.

— Не позабудь только взять серебряных ключей: не для него, он ничего не возьмет, а для челяди, которая всегда и везде жадна, как наши праотцы в пустыне.

Гершко пошел скорым еврейским шагом к дому поветового судьи, согнув шею, заложа обе руки в карманы и бросая вкруг себя недоверчивые, испытующие взгляды.

На крыльце судейского дома встретил его молодой цыган, живший у пана Ладовича для услуг, а больше для забавы. Он был одет козачком; на шее у него висел на широкой ленте торбан, на котором он обязан был играть перед гостями и веселить их своею пляскою и пеньем. Не по летам был он высок и статен; живое и выразительное лицо его, на которое падали черные самородные кудри, могло бы назваться прекрасным, если б излишняя смуглость не затмевала его пригожества; под широкими сросшимися бровями прыгали быстрые, огненные глаза; во всех его движениях заметны были ловкость, проворство и лукавство.

— Здравствуй, Жале,— сказал ему Гершко, подойдя к крыльцу.

— Здравствуй, *свиное ушко*!— отвечал цыганенок.

— Как поживаешь, Жале?— продолжал льстивый еврей.

— Хорошо, твоими молитвами: скачу, пою и щиплю твою братью жидков, когда попадутся. Ты каково поживаешь? все ли по-прежнему обманываешь простаков и копишь золото?

— По-прежнему,— отвечал жид с притворным простосердечием и как бы не вслушавшись.— Пожалуйста, Жале, доложи обо мне пану поветовому судье...

— Ему не до тебя, у него теперь гости.

— Крайне важное дело, не терпящее отсрочки...

— Верно, векселя, которым минули сроки, или покупщик, не заплативший денег?

— Что тебе до этого; твое дело доложить.

— Так потерпи ж, пока пану будет время. Постой здесь: вы привыкли стоять без шапок на дворе во всякую погоду, а теперь еще не зима.

Сколько жид ни упрашивал, но цыганенок только вертелся вокруг его, дразнил, подергивал его за длинные рыжие пейсики и за полы платья и делал ему разные проказы.

— Душа моя, Жале! перестань и пойди докладывать; я не даром прошу тебя...

Тут еврей со вздохом вынул из-под полы небольшой изношенный кошелек и начал дрожащею рукою вытаскивать одну по одной мелкие серебряные монеты, как будто боясь обсчитаться. Но резвый цыган не дал ему кончить: подбежал, подставил руку и, вытряхнув в нее все деньги из кошелька, пустился от жида во всю прыть.

— Стой! я закричу *гвальт*, наделаю шуму, стану стучаться в двери! пан судья не даст меня в обиду.

— А если я доложу ему о тебе, будут ли эти деньги мои?

— Твои, твои! только скорее.

Цыганенок опрометью бросился на крыльцо, вошел в комнаты и через несколько минут вышел сказать жиду, что судья его ожидает.

— Что тебе надобно, еврей?— сказал пан Ладович, когда жид кончил низкие, почти земные свои поклоны.

— Ваша ясновельможность! я имею вам донести о важной тайне,— отвечал жид, оглядываясь на стоящего тут цыганенка.

— Так ступай за мною,— сказал судья, ввел его в небольшую боковую комнату и притворил дверь.

Цыганенок, по свойственному летам и породе его любопытству, а может быть по каким-либо догадкам, приставил к двери внимательное ухо, навыкшее слышать издалека, и не отходил прочь, пока не кончился разговор. Тогда он на цыпочках отошел и стал на прежнее место.

Судья пошел к гостям своим, а жид отправился домой, отвесив снова несколько поклонов. Цыганенок выбежал за ним на улицу.

— Послушай, Гершко! ты купил меня своим подарком, и я хочу тебе отплатить по-приятельски. Там, над Эсманью, остановились обозом знакомые мне купцы; они дешево продают разные шелковые товары и другие вещи: видно, провезли их по-твоему — без пошлины. Я давно уже хотел удружить доброму человеку: благо, что ты мне первый попался.

— Спасибо, спасибо за приязнь! А как их отыскать?

— Не мудрено: они стали над яром вправе от большой дороги, под леском. Только поспеши, чтоб они всего не распродали; они для того и в город не въезжают, что хотят сбыть с рук все лишнее.

— Сегодня же, хоть и поздно, отправлюсь туда... Прощай!

Жид пошел скорыми шагами, а цыганенок лукаво покачал вслед ему головою, посмотрел во все стороны, прокрался в боковой переулок и подал знак свистком.

На свист его выказался из-за забора высокий и сухой цыган свирепого вида. «Зачем зовешь меня?»— сказал он отрывистым голосом.

— Понура! не тратя ни минуты,— на коня и скачи в табор гайдамаков; скажи там, что жид Гершко донес поветовому судье о Гаркуше и дал его приметы; что сейчас пошлется за ним погоня; скажи, что я спровадил Гершка к ним в табор за товарами; пусть сладят с ним, как знают. Оттуда опрометью ступай по следам Гаркуши и дай ему осторогу...

— Славно! ты добрый малый, не выдаешь своих. Мы недаром тебя продали пану Ладовичу...

— Тс! слышится шум... Прокрадься отсюда, хоть на четвереньках — и давай бог ноги!— С этими словами молодой цыган исчез.

Он вошел в светлицу, или гостиную комнату, судьи как такое лицо в доме, которому за его дар увеселять многое было позволено и которое позволяло себе еще больше.

В гостиной было тогда очень шумно. Гайдамак и его дерзкое появление сделались предметом общего разговора. Судья, подсудок, подкоморий и возный, уже разославшие гонцов по разным дорогам для задержания Гаркуши,— теперь, отошедши в сторону, совещались о мерах, которые должно было принять для безопасности города и повета от набега бесстрашной шайки удальцов. Прочие гости все толковали разное, и все об одном.

— Давно не было вести о гайдамаке,— говорил отставной сотник Ченович,— слух о нем было призамолк, с тех пор как он за Лубнами ограбил богатого и скупого пана Нехворошу и наделил одного бедного казака[6]...

— Извините,— прервал речь его войсковой писарь Потяга,— давно ли все жужжали, что Гаркуша на Украйне обобрал до нитки тучную ростовщицу Цвинтаревичку и вдобавок сделал ей сильное поучение нагайками за то, что она прогнала из дому простака своего мужа?

— Это жужжало только у вас в ушах, господин войсковой писарь,— отвечал ему Ченович,— носился слух, что гайдамак после ушел за Киев...

Спор загорелся; колкости с обеих сторон посыпались градом, и, как водится в больших собраниях, одни поджигали спорщиков, другие принимали их сторону, все шумели. Но миролю-

бивый хозяин, предвидя неприятный конец спора, заклял бурю: он ввел в гостиную слепца-бандуриста, давно уже в передней ожидавшего, когда его позовут, и вежливо пригласил гостей своих послушать веселых дедовских песен и стародавних былей.

Безыскусственная игра на многострунной бандуре и звучный, полный, хотя необработанный голос слепого певца, попеременно унывные и веселые напевы малороссийских песен нравились неизбалованному слуху земляков его, страстных к музыке, одаренных верным ухом и впивающих с чистым воздухом родины способность и склонность к пению. Вдруг вещий слепец переменил строй: пальцы его медленно и торжественно перебегали по звонким струнам бандуры; и он молчал еще, но внимание всех было приготовлено; жадный слух ловил уже в знакомых звуках близкие сердцу напевы и предугадывал смысл самой песни[7].

Несколько минут он молча прелюдировал; наконец запел, или лучше, заговорил по музыке следующие слова:

З низу Дніпра тихий вітер віе, повіває;
Військо козацьке в похід виступае:
Тільки бог святий знае,
Що Хмельницький думае, гадае.
О тім не знали ні сотники,
Ні атамани курінніі, ні полковники;
Тільки бог святий знае,
Що Хмельницький думае, гадае!

Певец повествовал о быстром набеге гетмана Хмельницкого на союзную Польше Молдавию, о страхе и жалобах ее господаря Василия Липулы, о робком бегстве ляхов из Сочавы и заключил песнь свою обращением к славе Гетманщины[8]:

В той час була честь, слава,
Військовая справа!
Сама себе на сміх не давала,
Неприятеля під ноги топтала.

Громкие знаки одобрения и восторга раздались по светлице. Между ними прорывались и вздохи на память старой Гетманщине, временам Хмельницкого, временам истинно героическим, когда развившаяся жизнь народа была в полном соку своем, когда закаленные в боях и взросшие на ратном поле казаки бодро и весело бились с многочисленными и разноплеменными врагами и всех их победили; когда Малороссия почувствовала сладость свободы и самобытности народной и сбросила с себя иго вероломного утеснителя, обещавшего ей равен-

ство прав, но тяжким опытом доказавшего, что *горе покоренным!*

ГЛАВА III

> ...Усі звізди потьмарило,
> Половину ясності місяца заступило;
> З чорної хмари
> Буйнії вітри вставали.
>
> *Старинная малороссийская песня*

Дул сильный холодный ветер; дождливые облака разносились по небосклону; луна то выплывала из-за туч, то пряталась за мрачными их грядами. В это время жид Гершко шел одиноко по дороге; он часто останавливался, вслушивался в вой ветра и шелест желтых осенних листьев, падавших на землю и крутившихся вихрем по дороге; робея при малейшем шорохе, он готов был затаиться в глуши. Но так сильна в еврее страсть к прибытку, что он пошел бы на явную опасность, если бы знал, что, избегнув ее, получит барыш. Из бережливости или по благоразумию Гершко надел самое ветхое платье и по тому же благоразумию взял с собою денег очень немного, в надежде, что, сторговавшись с купцами за товар и дав им задаток, уговорит их принять остальную плату в условленном месте.

В таборе его ждали. Шайка кочевала при дуброве, в месте пустынном, над глубоким, крутым оврагом, примыкавшим к самому берегу Эсмани. Гайдамаки, отогнав волов на пастбище, сделали из возов своих род стана или каре и обвешали их непроницаемыми для взора полстями, чтобы любопытному прохожему не видно было, что делается внутри табора. Чтоб еще более отклонить подозрения, часть гайдамаков была одета чумаками, другая русскими купцами, у которых будто бы первые нанялись везти товары на ярманку. Сторожевые стояли повсюду: по дороге, над оврагом, по берегу Эсмани и по опушке леса. Внутри табора гайдамаки поделились на кружки: одни старались в вине затопить воспоминание грозившей им и атаману их опасности, другие, самые беззаботные, курили табак и играли в кости и карты; но самые заботливые рассуждали, как избыть беды и спасти атамана. Кони их были уже готовы в ближнем лесу; табором они не дорожили: тем, что было навьючено на конях, могли б они скупить все чумацкие обозы в Малороссии.

— Вот вам честный еврей, который спрашивал у меня русских купцов над Эсманью,— сказал гайдамак, стороживший на большой дороге, ведя за собою Гершка, который кланял-

ся, сложа руки на грудь и бросая недоверчивые взгляды.

Как рой шмелей, гайдамаки сыпнули к нему со всех сторон.

— Узнаешь ли меня, земляк?— сказал ему выкрест[9] Лемет,— я хочу на тебе доказать благодарность свою тебе и всему бердычевскому еврейскому обществу. По милости вашей — я крестился, и по вашей же милости, бедный Лейба теперь в честной компании.

— Святые праотцы!— вскричал несчастный Гершко, предвидя участь, его ожидавшую, и разгадав, в какие сети завлек его коварный цыганенок.

— Не до праотцев, а до нашего отца атамана!— закричали ему многие голоса.— Сказывай, злодей, что с ним сделалось?

— Что хотите, честные господа! хоть замучьте меня — не знаю.

— Запираться не время: мы сами не меньше тебя знаем, что ты продал Гаркушу поветовому начальству, что за ним разосланы поиски. Если ты не знаешь, где он теперь,— то для тебя ж хуже.

— Как бог свят, не знаю.

— Ну, делать нечего, товарищи,— сказал гайдамак Несувид, занимавший должность атамана в его отсутствие,— приговаривайте, какую казнь положить ему за измену.

— Прежде всего,— подхватил Лемет,— поджарить его, как тарань, на тихом огне и допросить, где он упрятал дорогие вещи, данные ему атаманом на продажу.

— Досуг толковать о такой безделице, когда дело идет о жизни Гаркуши! видно, ты и теперь еще такой же жид: у тебя все для золота... Товарищи! к голосам.

— Повесить его на осине: на ней и брат его Иуда повесился,— сказал один гайдамак.

— Отдайте его мне,— перебил цыган Паливода,— я расплющу его молотом на наковальне глаже, чем он расплющивал медные кружки для фальшивых червонцев.

Злобный смех раздался во всей шайке, бедный Гершко был ни жив ни мертв: холодный пот проступал по всему его телу; все члены были в судорожной лихорадке.

— Не лучше ли,— подал свой голос гайдамак Товпега,— кончить с ним без затей; Эсмань близко, жернов у нас есть... Пустим его греться по месяцу[10].

Предложение принято, жернов прикачен и крепкою веревкою привязан к шее несчастного жида; его потащили к берегу и покатили за ним жернов. Тогда, вдруг вышед из бесчувствия и видя, что ни просьбы, ни слезы не помогут и не смягчат зло-

деев, закричал он жалким, пронзительным голосом, раздиравшим душу и возвещавшим последнее, отчаянное усилие существа, расстающегося с жизнию.

Ветер разносил вопли еврея. Луна вышла из-за облак и в полном сиянии катилась по темно-синей тверди. В это время старец Питирим, инок П...го монастыря, ходивший навещать больного в одном отдаленном хуторе, возвращался береговою тропинкою в смиренную свою обитель. Голос погибающего человека проник ему в сердце, и он поспешил на помощь, забыв свою старость и слабосилие, забыв, что сам может сделаться жертвою христианского сострадания. Он увидел свирепые лица и зверскую радость гайдамаков, увидел жалкого иноверца — и ревность к добру придала ему крылья.

— Стой!— закричали разбойники.— Руку на нож!

Но старец Питирим неробко подошел к ним, и гайдамаки, из невольного уважения к его сану и летам, остановились. Тогда инок начал свое увещание, представил им ясно важность преступления и гнев небесный, постигающий убийц.

— Безумцы!— заключил он речь свою.— Кто дал вам право разрушать превосходнейший дар божества — жизнь человеческую? Кто дал вам право быть судиями чужих поступков, когда карающий меч правосудия висит уже над преступными вашими головами, и муки ада, стократ лютейшие всех терзаний телесных, ждут вас после бесчестной смерти от руки палача?..

Гайдамаки, в которых вдохновенное красноречие старца минутно пробудило совесть, поникли головами, не смели поднять на него глаз и, опустя руки, стояли в нерешимости. Бедный Гершко, чувствуя, что его не держат, упал к ногам монаха, обнимал его колена, стирал лицом пыль с его ног и заклинал спасти ему жизнь.

— Я сделаюсь христианином,— говорил он с плачем,— отдам на ваш монастырь все... все, что имею, очень немного: несколько серебряных монет...

Инок, не могши победить внутреннего презрения к человеку, в котором корыстные склонности пересиливали даже мысль о самосохранении, невольно отвратил от него лицо свое.

— Честный отец! иди своею дорогой,— сказал тогда суровый Несувид.— Мы знаем, на что решились — знаем, к чему осуждаемся на том и на этом свете. Но если б одним волосом сего негодяя могли искупить свою жизнь или души, то и тогда б не миновать ему петли и песчаного дна эсманского... Товарищи! дружней за работу.

Монах вздрогнул от слов закоснелого злодея. Между тем

одни из гайдамаков принялись раскачивать жида, другие жернов, чтоб лучше и дале бросить их от берега. Отчаянный вопль несчастливца перерывался быстротою и силою качки. Монах стоял, как в онемении, возведя глаза и воздев руки к небу. Крик бедной жертвы мщения терзал его душу; и вдруг крик умолк — вода расплеснулась и скрыла свою добычу.

ГЛАВА IV

> На конях їхали чинненько,
> З люльок тютюн тягли смачненько,
> А хто на конику куняв.
>
> *Котляревский*

Утро было ясно и свежо. Рассыльные казаки и понятые ехали по Глуховской дороге от Путивля и везли в середине человека, у которого руки и ноги были связаны. Казалось, однако ж, что бодрость и надежда не совсем его покинули; он весело разговаривал с окружавшими, шутил с ними, рассказывал были и небылицы и приковывал жадное их внимание умным и живым разговором.

«Молодец! весельчак! нечего сказать: скручен, как теленок, которого везут на убой,— а все не унывает».—«Мне все не верится, чтоб это был Гаркуша; посмотри: человек как человек, нет семи пядей во лбу!» Так разговаривали двое из понятых, ехавшие позади. «Да как его поймали?»— продолжал последний.

— На всякого мудреца много простоты. Вот видишь, у него было похоронище, в глухом месте, над Сеймом, близ Клепала; там он прятал награбленные им богатства. Вчерась, когда удалый королевецкий рассыльный казак Моторный следил за ним с четырьмя своими товарищами, заметили они, что гайдамак пробирается к тому месту. Они видели, как он сошел с коня, и сами, оставя лошадей за ивняком, почти ползком прокрались к кустарнику, за которым Гаркуша, отыскав заступ, начал разрывать землю. Вдруг они на него бросились и, не дав опомниться, связали ему руки и ноги, завязали рот, прикрутили молодца к седлу его же коня и вскачь пустились с ним к селению за понятыми. Остальное ты знаешь.

Конвой между тем приближался к Клевенскому перевозу. Сквозь просеки приятной рощицы видны были вдали, на высоком прелестном месте, большой помещичий дом и купол церкви села В***на; внизу текла излучинами быстрая Клевень, сливающая воды свои с Эсманью; по долине, за тундрами и сага-

ми[11] мелькали купы дерев, хутора и мельницы. Узник, казалось, любовался видами и любопытно расспрашивал о всем своих проводников; в таких разговорах подъехали они к перевозу.

Паром был уже готов. Казаки и понятые взвели на него гайдамака, поставили усталых коней своих к одной стороне и столпились вокруг пленника. Только ретивый конь Гаркуши, не зная устали, бил от нетерпения в доски копытами и, казалось, хотел пуститься вплавь к другому берегу. К нему приставили одного из понятых и велели крепко держать за повода.

Гайдамак окинул беглым взором своих спутников; потом, устремя глаза на крутые горы противуположного берега Клевени, сказал:

— Кажется, там, за этими горами, влево, есть селение над Эсманью... Не могу вспомнить его имени. Покойный дед мой был родом из здешней стороны и часто рассказывал нам, ребятам, страшную быль об этом селении.

— Какую?— спросили в один голос вожатые, увлеченные любопытством и уже прежде заохоченные искусными его рассказами.

— Хорошо вам, друзья, слушать на свободе! у меня гортань пересохла от жажды, а руки и ноги затекли кровью от ваших веревок.

— В самом деле, братцы, к чему его мучить без нужды? Паром теперь отчалил, нас здесь человек сорок, уйти ему нельзя. Развяжем ему руки и ноги, пока на середине реки; а начнем приставать к берегу, тогда пусть не погневается, опять опутаем молодца по-прежнему.

Так говорил один казак, и товарищи охотно его послушались. В наружности и речах Гаркуши было нечто такое, что вожатые, при всем убеждении в его преступлениях, почувствовали к нему невольное доброхотство. Они совершенно потеряли суеверный страх, который на малороссиян наводило одно его имя.

Руки и ноги гайдамака уже свободны; ему поднесли полную кружку вина, которую он выпил «за здоровье братьев земляков». Тогда все приступили к нему, прося рассказать страшную быль, и он начал:

— Давно, не за нашею памятью, селение, о котором я говорил, было за другими панами. Один из них был человек чудной: не ходил в церковь божию, чуждался людей, считал звезды ночью, собирал росу на заре и папоротниковый цвет под Иванов день. Никто не знал, какою смертью он умер и где погребен; только видели, что в ту ночь, как его не стало, огнен-

ный клуб прокатился над селением и рассыпался искрами над самым домом панским. Дом сгорел дотла, а с ним и все, что в нем было. Вот спустя малое время начали делаться дела небывалые и неслыханные. Каждый день, и в самую полуденную пору, при ясной погоде, вдруг набегут облака и застелют солнце, подымется пыль столбом по дороге, и сквозь пыль видали те, кого бог не миловал от такого виденья, что *старый пан* (как его называли) вихрем пронесется по селу в старинном *рыдване*[12] шестеркою черных как смоль коней, которые, пенясь и сарпая и бросая искры из глаз, на четверть не дотрогивались до земли. Кучера и лакеи сидели на своих местах, как окаменелые, в белых саванах, с бледными лицами, со впалыми глазами,— словно теперь только вырыты из могил. В один день...

В эту минуту паром приставал к берегу; некоторые из провожатых сидели на помосте с полурастворенными ртами и жадно ловили каждое слово; у одних волос становился дыбом, у других лица вытягивались от ужаса; державший коня гайдамакова опустил руку с поводом и стоял как вкопанный. Вдруг Гаркуша одним прыжком через сидевших выскочил из круга, столкнул в воду оплошного надзирателя за конем, впрыгнул в стремена, перескочил расстояние, отделявшее паром от пристани, и стрелою полетел на крутизну. На самом гребне придержал он коня, махнул шапкою своим сторожам и, вскликнув: «Спасибо, земляки, за ласку!»— исчез за склоном горы.

— Человек это — или бес?— рассуждали провожатые, опустя головы и еще не опомнившись от столь внезапного побега.— Разве мы не знали, что он водится с нечистою силою! как он нас обморочил...

Долго стояли они на пароме, не зная, что начать, и не смея взглянуть друг на друга.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Шалаши, где производится на ярманках в Малороссии продажа хлебного вина.

[2] Купцы, продающие враздроб красный товар.

[3] *Свита* — род армяка из домашнего сукна, обыкновенное платье простого народа в Малороссии; *видлога* — мешок с вырезкой из того ж сукна, пришиваемый к спине и накидывающийся на голову в дождь или дурную погоду.

[4] Особый бич, или плеть, на длинной палке, чем малороссийские чумаки погоняют волов своих.

[5] Чумаки, отправляясь в дорогу, бреют себе голову, чтобы пыль не на-

бивалась в волосы. Иногда оставляют они, подобно казакам старой Сечи, узкий и длинный клочок волос на теме и завивают его за ухо. Этот клочок называется *оселедцем*.

[6] Казаками в Малороссии называются и теперь все казенные крестьяне. В Слободско-Украинской губернии носят они имя казенных обывателей.

[7] Музыка старинных, так называемых бандурных малороссийских песен идет аккомпанементом, самые песни поются речитативом. Их начинают прелюдией, или интродукцией, на бандуре.

[8] Малороссия, управлявшаяся тогда гетманами, называлась от жителей Гетманщиною.

[9] Имя, которое в Украйне дают крестившимся евреям.

[10] Народное поверье в Малороссии, что утопленники выходят в лунные ночи из воды и греются на лучах луны. Отсего луна в Малороссии называется у суеверных поселян — *солнцем утопленников*.

[11] *Сага* — малороссийское слово, означающее залив реки.

[12] Так малороссияне называют карету или старинный берлин.

БИБЛІО
ТЕКА

Н. БЕСТУЖЕВ

ТРАКТИРНАЯ ЛЕСТНИЦА

I had baried one and all
Who loved me in a human shape;
And the whole carth would hencefort be.
A wider prison into me:
No child — ne sire — no kin had i,
No partner in my misery;

. . . .

Вугоп

Все, что знавал, все, что любил,
Я невозвратно схоронил,
И в области веселой дня
Никто уж не жил для меня!
Без места на пиру земном,
Я... лишний гость на нем.

Жуковский

Я путешествовал довольно по свету, и если обстоятельства не всегда были благоприятны для наблюдений над целыми странами, по крайней мере я не пропускал случаев рассматривать людей в частности, и редко проходило, чтоб наблюдение человека не было для меня поучительно. Таким образом, в одно из моих путешествий, я узнал замечательного старика, историю которого постараюсь рассказать здесь, как умею.

В 1815 году, когда ехал я морем в чужие края, мне надобно было остановиться на несколько дней в Копенгагене, который хотя и был мне известен, но за всем тем привлекал

еще мое любопытство. Ничем не занятый, с утра до вечера бродил я по городу; или гулял по живописным окрестностям и любовался видом прекрасного Зунда. В королевский трактир, где была моя квартира, приходил я только для обеда и ночлега; за общим столом занимали меня путешественники всех наций, которые большею частию останавливались в сей столице для отдыха после морского пути, совершаемого ими в который-нибудь из портов Балтики, или оттуда в прочие части Европы; ввечеру я приводил в порядок в своем журнале мысли и замечания, сделанные в продолжение дневных моих бродяжничеств.

Комната моя была прямо против большой лестницы; рядом со мною жил дряхлый старик, которого каждое утро трактирный слуга вывозил на креслах с колесами к лестнице, увозил в комнату для обеда и после снова вывозил до вечера. Слуга, которого спросил я о нем, мог только сказать, что он знает его очень давно и что всякое утро ходит смотреть, не умер ли этот скучный старик, который, несмотря на то что платит хорошо за услуги, надоел всем в трактире своим единообразным поведением и молчаливостью. Хозяин знал не более; он сказал мне его имя, сосчитал богатство, говорил много; но со всем тем я ничего не узнал, ни кто он, ни почему избрал такой странный род жизни.

Этого, однако же, довольно было, чтобы возбудить любопытство: я начал наблюдать за стариком. Проживши несколько дней в трактире, я считал себя некоторым образом вправе с ним кланяться, как со знакомым; иногда сказать ему: доброе утро или похвалить погоду, и с удовольствием заметил, что участие живого существа ему было приятно. Датчане, как и все северные германские народы, не очень общежительны, и любопытство нельзя поставить им в порок. Скупость, эгоизм и жизнь каждого про себя делают то, что сосед боится поклониться соседу, чтобы не ознакомиться с ним короче, и часто люди, живущие друг подле друга всю свою жизнь, не только не знакомы, но даже не знают один другого по имени. По этому самому я был, может, единственный человек, приветствовавший учтиво старика, который, время от времени, привыкал ко мне более и более. Ему приятно было внимание чужестранца; кланяясь мне, он снимал теплый свой картуз и долго смотрел за мною вслед, не покрывая своей головы, с которой остатки белых волос вились редкими кудрями по плечам.

Физиономия его была приятна, но чрезвычайно печальна; часто по целым дням сидел он у лестницы, не примечая про-

хожих; но иногда какой-то признак улыбки сгонял туман с бледного лица, и большие голубые глаза его оживлялись любопытством. Видно было, что он с особенным удовольствием смотрел на молодых людей: но при виде женщины черты его переменяли выражение. Он смотрел в ту сторону, куда она проходила; взоры его останавливались в этом положении; голова склонялась на руку, и я часто, из своей комнаты, сквозь полурастворенную дверь видал, как он отирал слезы.

Наконец я принял в нем самое живое участье; начал чаще говорить с ним, даже сидеть вместе у лестницы. Со всем тем заметил, что он охотнее спрашивал, нежели отвечал на мои вопросы. В разговоре его много было ума и образования; и хотя он берег слова, но короткие вопросы и еще кратчайшие ответы имели в себе удивительную силу опыта и здравого рассудка. Понемногу он привык ко мне, любил слушать мои рассказы, любил спрашивать о моем отечестве; подсмотрев, что я веду журнал, любил, чтоб я прочитывал ему свои замечания; для меня это было незатруднительно, потому что, готовясь жить в Германии, я писал для практики журнал свой на немецком языке. Таким образом я доверялся, не требуя взаимной доверенности, и это был лучший способ выиграть ее.

Однажды, возвратясь с утренней прогулки, остался я после обеда, за дурною погодою, дома и, записав виденное мною в тот день, вышел к своему старику и сел с ним у лестницы.

— Вы писали?— спросил он меня.— Желал бы очень слышать сегодняшние ваши случаи.

— Охотно прочитаю,— сказал я,— сегодня для меня была приятная прогулка.— С сими словами я развернул тетрадку своего журнала и начал:

«Сентября 15 погода поутру прекрасная. Надобно было посетить академию художеств, где мне хотелось посмотреть работы славного Торвальдсена. Я обежал все залы и нашел только одно его ученическое произведение: Амура и Психею. Оно изрядно. Чего же более для ученика? Другого ничего нет замечательного.

Я вышел за город по дороге, ведущей к королевскому зверинцу. С левой стороны рассеяны были прекрасные загородные домики, с правой Зунд катил свои светло-зеленые волны. Песчаная дорога вскоре утомила меня, и я, не дошед до зверинца, сел на камень подле самой воды. Легкие набеги струй спокойного моря взливались почти до ног моих и образовали

во всю длину отлогого песчаного берега узкую черту прибитой травы, вымываемых камешков и раковин. Черта сердитого моря была выше на береге и далеко за мною; видна была граница, до которой докатывались бурные волны; тут они оставляли обломки, обрывки снастей и пену своей ярости. Трава не смела расти на месте, подверженном их нападению; но далее за границей расцветали в безопасности и подорожник, и цикорий, и серебристая мать-и-мачеха. В проливе светлела вода, как зеркало; корабли, при западном ветерке, бежали в обе стороны на юг и на север. Множество лодочек, покачиваясь под парусами, бороздили воду во всех направлениях, будто гоняясь за тенью легких облаков, летевших по ветру и отражавших образ свой в гладкой поверхности моря, на которое изредка набегала мелкая рябь от ветерка, временно вырывавшегося из-за берега.

Каменистые холмы шведского берега и на нем Карлскрона были прямо предо мною и под золотыми утренними испарениями живописали всю картину. Облака летели над моею головою к востоку и скрывались за серым шведским берегом; я провожал их взорами, и мысли мои неслись вместе с ними к родине моей. Шелест волн, ласкавшихся к прибережным камешкам, прелесть ландшафта, воспоминания, возбужденные мыслями об отечестве, погрузили меня в мечты; память перелетала от случая к случаю и с грустью остановилась на обстоятельстве, побудившем меня к путешествию. Я вспомнил и ласки надежды и вероломные обманы счастия.

Мои мысли были печальны; я отвернулся от моря и увидел другую картину: по ту сторону дороги, сквозь ворота низенькой изгороди, увидел я подле опрятного домика на скамейке безногого, но еще не старого солдата. Двое здоровых мальчиков прибивали к стене домика грушевое дерево; двое других катали обручем; пятого инвалид, посадив на деревянную ногу свою верхом, качал, припевая веселую песню. Я подошел к нему и попросил напиться. «Сию минуту, сударь»,— сказал он, приложив руку к фуражке, и закричал жене своей в окошко, чтоб она вынесла пива. «Не угодно ли вам присесть, пока она нацедит»,— продолжал он. Я сел с ним на каменную скамейку и, похвалив детей, спросил с участием, где он потерял ногу?

Он рассказал мне об осаде Копенгагена англичанами, при которой пушечное ядро лишило его возможности продолжать службу; каким образом после сего он женился и живет небольшою пенсиею, счастлив и благополучен, посреди своего семейства с милою женою.

Рассказ его был короток, но чувствования благодарности к провидению, выраженные им с горячностию, и противуположность моих мыслей с картиною семейственного счастья тронули меня за сердце, особенно когда прекрасная женщина вынесла мне на тарелке пару больших груш и в кружке пива, а служивый, взяв ее за руку, продолжал: «Так, сударь, я счастлив, и несмотря на то, что беден и без ноги, любим доброю Бертою; на что мне после этого богатство, когда я сыт и счастлив в своем семействе теперь, а в поздние лета надеюсь быть утешен и призрен попечениями детей своих».

Я взял кружку из рук хозяйки и, чтоб скрыть проступившие на глазах моих слезы, делал усилие пропустить несколько глотков...»

Я был остановлен рыданиями старика, который, закрыв одною рукою лицо, махал другою, как бы упрашивая не продолжать более.

Испуганный, я не знал, чему приписать это, припадку ли, или моему чтению. Горесть имеет в себе нечто торжественное и внушает какое-то почтение; иногда самое утешение бывает не у места, и потому я, со стесненным сердцем, безмолвно ожидал, пока пройдет сила первого возмущения. Старик скоро открыл свое лицо, протянул ко мне руку и с усилием голоса просил извинения, что встревожил меня. «Я постараюсь вам заплатить за это,— продолжал он,— и как скоро соберусь с силами, то расскажу вам, почему вы видели слезы мои». Он позвонил; слуга увез его в комнату.

Прошло несколько дней точно таких же, как и прежде. Старик по-прежнему сидел у лестницы, он был очень слаб. Наконец мне надобно было ехать: я сказал ему об этом за день до отъезда, и казалось, что это известие тронуло старика.

«Мне жаль, что расстаюсь так скоро с вами,— сказал он,— Однако же надобно исполнить свое обещание: не откажитесь обедать сегодня у меня, и вы услышите мою историю, молодой человек».

Я дал слово.

За обедом старик против обыкновения хотел казаться веселым; часто слова его сопровождались приятными шутками, но минутная улыбка тотчас исчезала с лица его, омраченного выражением горести. Так точно потешный огонь, блеснув ночью на несколько секунд, оставляет после себя еще большую темноту, нежели прежде.

Это было осенью. В шесть часов уже смеркалось. Старик

будто дожидался времени, в которое сердце человеческое по каким-то непонятным побуждениям становится смелее, доверчивее и откровеннее.

Кофе был снят, стол убран; мы сидели друг подле друга на софе; сердце мое билось от ожидания. Наконец после долгого молчания старик начал.

«Я вступил в свет 19 лет, с отличным образованием, с большим богатством, с хорошим именем, с живым и пылким характером и блестящими надеждами на будущее: передо мной открыто было поприще гражданской службы; я занял видное место; мои способности, со вспомогательными средствами образования и богатства, обещали мне в свете все почести. Ревность к службе, снискавшая мне доверенность высших начальников, ручалась за постоянство успеха на пути к отличиям. Я был любим в обществе и уважаем товарищами. Казалось, ничего мне не доставало к моему возвышению.

Юность, ловкость, богатство завлекали меня часто в любовные связи, но никогда сердце не участвовало в сих успехах тщеславия. Предоставленный рано самому себе, я сделался ветреником и, надменный несколькими легкими победами, начал не уважать женщин. Я не знал, какого наслаждения лишал себя, теряя это благороднейшее чувствование, которое одно только доставляет нам истинное на земле счастие.

Я сделался горд, независим в своих поступках; сердился на свет и скучал всеми его удовольствиями. Судьба слишком рано поставила меня выше товарищей, и потому я не находил себе равного. К женщинам я был уже совершенно равнодушен. В таком пресыщении души и холодности сердца достиг я до двадцатипятилетнего возраста, наскучив жизнью, подобно многим любимцам счастия, избалованным преждевременными успехами в свете.

Такое существование мало приличествовало моему пылкому характеру. Деятельность службы занимала только ум; сердце же, по ошибочному направлению искавшее занятия в рассеянности, не находило пищи и снедало само себя.

Мне предлагали жениться; но мнение, составленное о женщинах и какое-то удаление от девиц, между которыми не встречал еще ни одной, обратившей моего внимания, отвлекали меня от супружества.

Однако же час мой настал. В одном обществе я увидел девицу, которой красота и скромный вид поразили меня. Сна-

чала по гордости чувствований думал я, что смотрю на нее, как художник на прекрасное изображение, но когда мне сказали, что она уже невеста, тайная горесть, овладевшая душою, и образ ее, не оставлявший моих мыслей, показали, что я заплатил дань любви. Не знаю, было ли бы продолжительно впечатление, сделанное милою девушкою, если б она была свободна, или, по своенравию человеческой природы желания наши возбуждаются одними препятствиями, только огонь неиспытанной страсти загорелся в сердце моем со всею силою.

Свадьба той, которая умела внушить незнакомые чувствования, лишила меня вовсе спокойствия. Не подозревая за собою любви, я думал сначала, что терзания сердца были движениями оскорбленного самолюбия и что мне должно отнять то сокровище, которым владел другой не по праву; свое же право я поставлял в том, что оно мне нравилось, следовательно, должно было принадлежать мне.

Не буду описывать, как и после каких долгих искушений, от которых надобно было устоять только свыше, нежели человеку, я восторжествовал над милою женщиною; скажу только, что искания мои начались от самолюбия, кончились самою пламенною любовью, и эта любовь решила участь моей жизни.

Несколько месяцев протекли в совершенном блаженстве; тайна острила чувствование наслаждения. Я переселился в новый для себя мир, оживленный собственными чувствованиями; казалось, все в нем создано было для нашего счастия: небо было светлее; скука, туманившая землю, исчезла; люди казались добрее; согретая душа моя отверзлась вновь для благодарных чувствований. То, чему я перестал верить, возобновилось во мне с удивительною свежестью. Эгоизм, возрожденный холодным наблюдением, исчез, место его заступила жаркая любовь к ближнему; я стал счастливее и добродетельнее.

Так думал я основать свое счастие, но увидел, что преступные чувствования, как бы ни казались они возвышенными, не ведут нас никогда к благополучию. Вскоре яд ревности отравил общее наше спокойствие. Муж моей любезной начал подозревать наше обращение. Домашние ссоры заступили место согласия, и привязчивость ко мне возрастала беспрестанно. Я должен был терпеть, потому что любил пламенно. Все оскорбления, сделанные моему самолюбию, считал я ниже чувствования, заставлявшего переносить их; самая совесть, вмешиваясь в рассуждения мои, твердила, что я заслужи-

вал это, и потому, следуя внушениям благоразумия, успевал я иногда успокоивать встревоженные подозрения ревности; но не менее того причина подозрений всегда существовала: мир семейственный был нарушен; брюзгливость водворилась между супругами, и лучшие люди, отдаляясь друг от друга, близки были к ненависти.

Чтобы отвлечь подозрения, снова начал посещать я противу воли общества и по-старому ласкаться к женщинам большого света. Никакая мысль измены не могла найти места в сердце моем, полном любви; но неопытность юной подруги моей, ее младенческая доверчивость, моя дурная слава, укоренившаяся во мнении общем и наконец подтверждаемая собственным ее опытом, заставляли бояться моей неверности. Уверения мои, что такое поведение нужно для спокойствия общего, не действовали: она была несчастна от ревности мужа, но собственная ревность делала ее несчастною вдвое. Не в состоянии воздерживать пламенных чувствований своих, часто изменяла она своей страсти, невзирая на присутствие посторонних людей, несмотря на беспокойный и бдительный надзор своего мужа. Живой и пылкий характер ее принимал глубоко впечатления. Как часто видал я нежное лицо ее, оживленное улыбкой удовольствия и неизъяснимой прелестью выражавшееся во взорах любви, изменявшимся совершенно: в одно мгновение румянец пропадал, бледность и судорожное оцепенение губ заменяли улыбку. Краска выступала снова, но не та, которая дает новую прелесть красоте; глаза сверкали и потухали; дыхание замирало. Это бывало в обществах; наедине горестнейшие сцены меня ожидали: я бывал обременен всеми проклятиями, которые влечет за собою сознание преступления.

Этого было еще недовольно к моему несчастию: мною овладело чувствование, похожее на ревность, но которого точно определить не умею. Я не мог упрекнуть любимую женщину ни даже в тени неверности, обвинить хотя в легкомысленном взгляде, уважал ее добродетель в самой слабости; но мысль, что она должна была делить свое сердце, волею или неволею, умерщвляла совершенно душу мою. Эта мысль была тем мучительнее, что нечистый источник ее был в собственном моем сердце; подозрение обыкновенной ревности гнездится только в воображении: муж, угнетавший жену своей ревностью, и она, отравлявшая тем же все минуты жизни своей, могли только подозревать; но подозрение неутвержденное имеет и свои покойные минуты. А мне, мне же не в чем было сомневаться! Одно имя мужа приводило меня в трепет; прибли-

жение его к любимой мною особе оледеняло всю мою внутренность; мучительная достоверность, увеличиваемая чувствованием бессилия к отвращению наносимых им оскорблений, которые он делал мне умышленно язвительными своими супружескими ласками, наполняла все мое существование ужаснейшими терзаниями. Бывали минуты, когда я забывал сам себя; когда кровь, застывая капля по капле в сердце, вдруг разливалась жгучим пламенем по жилам. Тогда я готов был броситься на противника своего как тигр и растерзать его; но кроткий и умоляющий взгляд любви обезоруживал меня, и я, делая жесточайший перелом чувствований своих, вонзал нож в собственное сердце.

Таково было начало непозволительной любви, в которой многие думают искать своего счастия. И хотя действительно бывают минуты, которых нельзя купить ни за какие сокровища земные; но эти минуты кратки и не в состоянии выкупить последующие за ними дни горестей и раскаяния.

Хладнокровный человек спросил бы: почему же ты, чувствуя такие мучения, не переменил своих поступков и для общего спокойствия не сделал усилия разорвать преступную связь?

Я бы отвечал тогда и отвечаю теперь, что такая любовь подобна падению человека, который, сделав неосторожный шаг с крутой горы, не может уже остановиться и, не взирая на все усилия, только увеличивает скорость своего бега; наконец, увлекаемый непреоборимою силою, падает в разверстую пред ним пропасть невозвратно.

Так было и с нами. Несчастия наши увеличивались; но они, казалось, разделяя, более стягивали узел, нас соединявший. Связь наша еще более утвердилась союзом отеческой любви. Тайна осталась неразгаданною для супруга: он считал себя счастливым отцом прекрасного мальчика, для которого родительские ласки его были неистощимы. С какою завистию смотрел я на его восхищение, на те попечения, которыми он осыпал младенца! Сердце мое терзалось от горести и негодования, что я должен скрывать, что не могу дать свободы жаркому и священнейшему чувствованию природы. Но я вымещал изъявление любви своей на других детях; ласки мои даже были неистовы: часто доходили до того, что я плакал вместе с ребенком, испуганным от стремительности восторгов, которыми вознаграждал я свое принуждение. Это принуждение и негодование росли вместе с мальчиком, которого слепая любовь отца делала образцом баловства и дурных привычек. Преступление боязливо, и робкая любовь матери не име-

ла силы останавливать успехов безнравственного воспитания сына, несмотря на все мои убеждения. Ребенок в пять лет превосходил все примеры сверстников в дурных поступках, и каждая минута его возраста была моим мучением: я казнился собственными своими делами.

Общие наши несчастия увеличивались с минуты на минуту. С трудом восстановляемое согласие расстраивалось беспрестанно; спокойствие было нарушено. В продолжение этого времени горестное мое положение, обратившее все мысли и способности мои к одному предмету, отняло у меня нравственные силы для занятий чем-либо другим. Я начал небречь обществом, службою, собственными делами. Люди прозвали меня дикарем; начальство остерегалось делать какие-либо поручения человеку, который не хотел заниматься должностью. Я лишился места; имение было расстроено; я ни о чем не думал; непонятное равнодушие ко всему разительно противоречило беспрестанному терзанию страстей моих; все мои душевные качества слились в одно только чувствование; я пылал только при одной мысли; другие же мои действия оттенялись какою-то неизъяснимою грустию и подавлялись при самом начале тяжким душевным унынием.

Страдания разрушили меня, но успехи разрушения еще быстрее действовали над нежною подругою моего несчастия. Потеря спокойствия душевного, порывы страстей, а более их принуждение, мое положение, дурное воспитание сына растерзали слабое сердце ее. Болезнь быстрыми шагами привела ее к дверям гроба. Я не забуду ужасной минуты, улученной мною перед ее кончиною. «Ты причиною моей смерти и смерти ужасной,— говорила она,— я умираю, не имея силы раскаяться, потому что еще люблю тебя. Я не уношу за пределы жизни ни одного утешительного чувствования. Холодность к мужу моему, рожденная твоею взыскательною любовью, не оставляет меня при смерти; да и самая любовь моя к тебе может ли назваться утешительною при дверях гроба, когда она отравлена угрызениями совести? Помышление же о судьбе сына, мужа и твоей приводит меня в трепет: я не вижу в будущем ничего, кроме страданий. Но я тебе прощаю. Живи, если можно, для сына!»

Старик остановился; дрожащий голос его прервался; слезы выступили на глазах. «Она умерла,— сказал он, помолчав,— и конечно, судьбе угодно было оставить мне жизнь для того, чтоб продолжать мои мучения до сих пор; просто человеческих сил недостало бы переносить страдания так долго.

Смерть жены открыла мужу нашу связь; он нашел несколько писем, которые объяснили ему даже тайну рождения сына... Он был столько благоразумен, что скрыл от света несчастие жены и собственное... Но мог ли он смотреть равнодушно на дитя, которое беспрестанно напоминало ему бесчестие семейства? Нет, этого нельзя ему было сделать... Я сужу по неукротимости собственных страстей. И так холодность и отвращение к ребенку увеличивались; пренебреженное воспитание сделало из него совершенного негодяя. Я не мог видеть его, не мог направить склонностей, но какая-то тайная надежда быть ему полезным привязывала меня к жизни и заставляла переносить страдания души растерзанной.

Таким образом сын мой достиг до 17-летнего возраста, а ненависть отца до высочайшей степени; он не мог долее скрываться и, выведенный из терпения его дурными поступками, открыл с упреками тайну его происхождения. Молодой человек, после многих знаков взаимной холодности, решился избегнуть презрительного принуждения, оставив родительский дом.

Вообрази, друг мой, восхищение мое при этом случае. Я думал, что терпение мое награждено; мне казалось, что этот поступок возвращает мне сына, мои права и что я уже не один в мире. Болезнь препятствовала мне самому броситься в объятия сына; я написал к нему письмо; изъяснил то, что могло быть от него скрыто, и нетерпеливо и радостно ожидал прижать к оживленному сердцу плод стольких страданий и несчастий... Но я жестоко обманулся в моей льстивой надежде... сын мой не пришел... он прислал только письмо... вот... прочти... ты увидишь, что я не в состоянии сам прочесть его...»

Я взял бумагу из трепещущих рук старца и про себя читал следующее:

«Милостивый государь!

Кто бы вы ни были, человек или чудовище, но если в самом деле дали мне жизнь, то я должен вас ненавидеть. И какую жизнь дали вы мне? Без семейства, без отца, без доброго имени. Кто убил мать и сына сделал не человеком, не дав ему ни имени, ни нравственности, тот сам не заслуживает имени отца. Прощайте! Я никогда вас не увижу!..»

Я видел, как глаза старика следовали за движениями моих глаз и как черты лица его и движение руки выражали значение каждой строчки, каждого слова, вытвержденного им

наизусть; наконец он не вытерпел напряжения чувств: глаза его налились, он закрыл себе лицо и долго рыдал, не могши вымолвить ни одного слова.

«Моя история кончилась,— начал он, успокоившись,— какой случай разительнее этого могу рассказать я? Я не видал и не слыхал более о моем сыне. Несчастный, отчаянный, терзаемый раскаянием, тридцать лет после сего влачу тяжкую и презрительную жизнь. Мучимый совестию человек похож на того, кто осмелился пристально поглядеть на солнце: он после беспрестанно видит перед глазами, куда ни оборотит их, черное пятно. Это пятно ложилось на все мои мысли, на все дела, на все мои поступки, и меня, пораженного проклятием неба, дряхлость постигла в сем положении. Я не мог выходить из комнаты, не мог ни о чем заботиться. Родственников у меня нет, и люди мои, употребляя во зло слабость и невнимательность, обманывали меня базнаказанно, потому что меня ничто не тревожило более. Однако же мысль о том, что у меня, может, есть сын, заставила подумать о приведении в порядок дел своих. Я перевел свое имение на деньги, положил в банк с условием, если чрез 20 лет не найдется мой наследник, то употребить капитал на богоугодные дела. Одна надежда увидеть когда-нибудь сына и попросить у него прощения подкрепляла меня. Таким образом, живучи процентами, для избежания несносной скуки, меня подавляющей, нанял я комнату в этом трактире, и, чтобы не совсем раззнакомиться с видом людей, заставляю вывозить себя к лестнице.

Итак, ты видишь, друг мой, что приятная жизнь, честная служба, счастие семейственное, удовольствия общества для меня не существовали: они были сном, идеалом, к которому стремилась душа моя, и вместо блестящего удела, который обещали мне богатство и те дары, которыми щедро наделила меня природа, осталось мне только горестное утешение сидеть у лестницы и смотреть на прохожих, которые часто, смеясь над участью старого холостяка, беспрестанно возобновляют мучительную казнь моего сердца.

Впиши мою историю в свой журнал, молодой человек,— продолжал он,— может быть, когда-нибудь случится тебе сделать из нее полезное употребление».

Он перестал; горькие слезы катились по щекам его. Мы расстались безмолвно.

На другое утро он был очень слаб, когда я, выходя поутру, приветствовал его, по обыкновению, у лестницы. Возвращаясь в полдень домой, снизу еще увидел я около него толпу людей,

которые очень горячо о чем-то рассуждали. Пораженный предчувствием, я взбежал вверх в несколько скачков: он сидел, опершись и закрыв лицо левою рукою, сквозь пальцы которой еще блистали слезы; правая лежала на сердце... но оно уже не билось... Несчастный кончил свою страдальческую жизнь...

УРАНІЯ.

Издан. М. Погодинымъ.

МОСКВА.

М. ПОГОДИН

НИЩИЙ

Вы знаете, друзья мои, старинную любимую мою привычку шататься в народе, присматриваться к лицам и образам добрых наших сограждан, прислушиваться к речам их и поговоркам, в различные времена их быту, веселые и грустные, когда, выражусь их пословицею,— у них что на уме, то и на языке. Вы поверить не можете, с каким удовольствием провожаю я, например, какого-нибудь архангелогородца, приехавшего в Москву с семгою, на колокольню Ивана Великого, показываю ему оттуда Москву белокаменную, рассказываю о сорока сороков московских церквей, об славном удальце, который в коронацию расставлял на кресте плошки, и проч. и проч. На всех гуляньях, под качелями, на горах, в Марьиной роще, я всегда бываю в толпе народной, вступаю в разговор со всяким встречным, смеюсь, балагурю и каждый раз возвращаюсь домой с новыми мыслями о свойствах, хороших и дурных, благословенного народа русского. Таким образом легко мне было познакомиться и с героем моей повести. Теперь слушайте.

Часто проходил я Покровкою. На углу, подле церкви Воскресения в Баратах, встречался я всегда с нищим, который с первого почти взгляда привлек мое внимание; но, не знаю почему, при всех моих филантропических видах, я всегда довольствовался подаянием ему нескольких копеек, когда у меня случались они в кармане, и проходил мимо, как будто оправдывая пословицу: сытый голодного не разумеет.

Наружность его, однако ж, оставила во мне впечатление. Мой нищий был росту среднего; волосы черные, с частою проседью, покрывали его голову; из-под густых навислых бровей видны были глаза, когда-то яркие; покрытый морщинами лоб, обтянутое лицо с впалыми щеками доказывали ясно, что век прожить — не поле перейти, что сей земной труженик приближается наконец к концу своего земного странствования.

Одежда его состояла в смуром армяке, из-под которого видны были лоскуты нагольного тулупа, в шапке, когда-то плисовой, теперь вытертой, бесцветной, с меховым околышем, которую держал он под мышкою, наконец в сапогах с кое-где прорванными голенищами и толстой веревке, коею был подпоясан. Он стоял, прислонясь спиною к углу и опираясь на суковатую палку. Физиогномия его никогда не изменялась, никого из проходящих не просил он о подаянии ему милостыни, никого не сопровождал молящими глазами. Это придавало ему вид какого-то благородства: казалось, *он стоял на своем месте.*

Недавно пошел я прогуливаться... только что прочитав объявление о моей книге какого-то рецензента, который не хотел или не умел признать ее достоинства. Мне было очень досадно и, разумеется, хотелось найти товарища в досаде. Нищий стоял на углу. Я подхожу к нему и начинаю разговор:

— Ты, старинушко, кажется, не сходишь отсюда?

— Здесь мое жилье,— промолвил он тихо, оглянувшись на меня, и снова опустил свою голову.

— Довольно ли подают тебе, не нуждаешься ли ты в чем?

— Бог дает день, бог дает и пищу.

— Сколько лет тебе?

— Идет на шестой десяток.

— Однако ж по виду ты кажешься гораздо старше. Верно, много горя пришлось тебе измыкать на своем веку?

Нищий вздохнул как бы невольно и кулаком утер слезы, навернувшиеся у него на глазах. Мне не хотелось беспокоить его на первый раз своими вопросами и возбудить в нем недоверчивость. Я подал ему обыкновенную милостыню и пошел мыкать свое маленькое горе.

Между тем старик возбудил во мне желание познакомиться с ним короче. Всякий раз, проходя мимо него, начал я с ним кланяться, подавал ему что-нибудь, сопровождая свое подаяние ласковым видом, ласковым словом... и заметил наконец, что он чувствует ко мне благорасположение. О святое

участие! Какой целебный бальзам проливаешь ты на страждущую грудь несчастливца!

Таким образом, по прошествии некоторого времени я осмелился спросить у него о подробностях его жизни.

— Ах, барин,— отвечал он,— я запечатал было свое горе,— зачем заставляешь ты меня вскрыть его опять? Но ты добрый человек; у меня всегда бывает теплее на сердце, когда посмотрю на тебя... изволь, я расскажу тебе...

— Пойдем же ко мне теперь, друг мой. Я живу отсюда недалеко. Мы поужинаем вместе чем бог послал, и после ты расскажешь мне свои похождения.

Старик согласился. Мы отправились, и вот что рассказывал он мне после ужина.

— Я родился в крестьянстве, в Орловской губернии, за Мценском. Отец мой был зажиточен: хлеба у нас стояли всегда скирды непочатые, закромы полны, покосов, скотины, одежи, всего вдоволь. Семья у нас была большая, но мы жили согласно, и нам во всем спорилось. Отец мой любил меня: я был у него как порох в глазе. Когда подрос я, меня отдали к сельскому дьячку на выучку. Грамота мне далася и полюбилася, и в год стал я читать и писать. Воротясь домой из ученья, принялся за работу: косил, пахал, боронил, сеял — и таким образом возмужал наконец совсем. В деревне своей был я одним из первых молодцов, на работе ли, на гулянье ли всегда впереди.

Песню ли спеть, проплясать ли в хороводе, побегать ли в горелки, рассказать ли быль или сказку какую, пошутить ли с красными девушками на посиделках — на все было взять меня, и они говаривали, что красивее, удалее Егора не отыщешь во всем околотке. Мне минуло 20 лет. Батюшка сказал, что пора уже посадить меня на тягло, пора женить доброго молодца. Мне и самому стало уже об этом смышляться: часто заглядывался я на старостину Алексашу, часто бегали у меня мурашки по сердцу, когда, ходив вместе по ягоды, за орехами, оставался я наедине с нею. Дивеса происходили со мною. Ни слова, бывало, не вымолвишь, шатаешься как шальной, только что взглянешь иногда украдкою,— взглядывала иногда и она, и краснела, а у меня и пуще горело ретивое. Алексаша была девка кровь с молоком, ростом почти с вас, барин,— глаза голубые, навыкате, щеки алые, как маков цвет, волосы русые, в длинные косы заплетенные, спускались с плеч,— белогрудая, полноликая... Как, бывало, нарядится она в красный кумачный сарафан, как, бывало, распустит переплетенные лентами косы, как, бывало, повернет плечами в пышных

полотняных рукавах, так поневоле призадумаешься. А какая была она добрая, какая приветливая: никто не отходил от ее окошка без подаяния — или хлеба ломоть, или кусок пирога, или слово доброе подаст, бывало, всякому бедному. Никто у нас в деревне не мог на нее пожаловаться — словом, сказать тебе, барин, по сердцу пришла мне Алексаша. Я начал ласкаться к ней: в лес ли пойдет она в воскресный день по ягоды с подругами — я как тут, в хоровод ли выйдет поплясать — поспел и туда, и всегда находил случай сказать ей что-нибудь ласковое, приятное; из города никогда не ворочался без гостинца: либо ленту, либо повязку, что-нибудь принесу моему другу. И она полюбила меня — я заметил это; всегда, бывало, на ней моя запонка; моя лента всегда в косе развевается; никогда не проходил я мимо их дома без того, чтоб она меня не увидала из своей светлицы и не сказала мне: «Здравствуй, добрый молодец!» — «Ах, здравствуй, красная девица!»

Слезы полились градом из глаз моего нищего при сих словах. Он замолчал; мысли изображались у него на лице: воспоминание об утраченном счастии теснилось, кажется, в скорбную его душу... ему хотелось пожить еще, подумать тою благодатною жизнию, которая доставалась в удел ему.

Мне было жаль выкликнуть его из этого мира воображения, который один остается в утешение для несчастных, и я молчал, смотря на него с состраданием.

Наконец он опомнился и начал продолжать свою повесть:

— Все наши деревенские спознали про любовь мою: товарищи начали говорить мне, что зевать нечего, что должно поговорить с Алексашею, да и сказать родителям, чтоб они начинали свататься. Я решился сделать по-ихнему. Это было пред первым спасом — малина давно уже поспела. Обыкновенно по праздникам хаживали мы, парни и девки из деревни, ватагою человек в двадцать, в лес по ягоды — пошли как-то и тогда. Я не покидал Алексаши. Слово за слово, мы заговорились с нею и отстали от своей гурьбы... никого не слыхать было около нас. Время было жаркое, полуденное — ветерок затих — ни травка, ни листик не шевелились, только инде под кустиками провевала прохлада. Усталые, мы сели на траву. Солнце пекло нас, как будто огнем обливая, а на сердце у меня был огонь еще горячее; я насилу переводил дыхание, сдерживал себя и молчал... Алексаша также молча разбирала малину и украдкою взглянула на меня такими глазами, такими глазами, что я почти вышел из себя и, исступленный, бросясь к ней на шею, воскликнул:

«Милый друг мой! Любишь ли ты ме...»—«Ау! ау! ау! ау!»— послышалось в стороне. Алексаша тотчас вскочила, но ответ ее был уже на устах моих: она поцеловала меня горячо, горячо.— Знал и я счастие на сем свете!— Мы скоро пристали к своим, а возвратясь домой, я тотчас пошел к батюшке и матушке. «Благословите меня, родные. Я нашел свою суженую». Старики расспросили меня и согласились. Начали свататься с старостою и старостихою. Дело шло хорошо. Положили и время, в кое играть свадьбу. Алексаше начали готовить приданое. Сельские девушки сбирались уже к ней и пели свадебные песни. Батюшка достроивал мне новую избу. Съездили уже мы в поезд к невесте с дружками, с дядьками и поддядьками. Алексаша, по нашему обычаю, сидела в своей избе, накрытая длинным полотенцем, в кругу своих подруг, которые пели величальные песни, сидела наклонившись и никуда не глядела. Подле нее посадили лучшую девушку из нашей деревни. Как скоро я вошел в избу, ко мне подвели их обеих и велели узнавать невесту. Я узнал ее, и дружка заставил нас поцеловаться, невестины родители благословили нас. Тут начали дариться и велели нам сесть за девичий стол, а поезжие сели за большой стол. Батюшка и матушка угощали их своим привезенным вином и хлебом. Когда первой стол был кончен, тогда невестины отец и мать посадили нареченного зятя за большой стол со всем поездом и начали угощать их уже своими припасами. Только что мы распировались, только что начало говориться вольнее, веселее,— шасть в избу барский дворецкий и сказывает, что барин вслед за ним будет на короткое время в деревню по каким-то делам и остановится у старосты... Меня как мороз по коже подрал, лишь только я услышал об нем. Все взволновались, засуетились — начали думать, мерекать — как быть, что делать, и наконец решились отложить свадьбу до отъезда баринова. Гости разошлись. Барин и в самом деле тотчас приехал. На другой день поутру я сбегал к Алексаше и поговорил с нею в огороде. Он видел ее. Пред вечером я побывал опять у ней, моей любушки. Она была грустна, хотя и старалась утешить меня. Я не слыхал ее утешенья: тоска-свинец упала мне на сердце, вещее, предвещало оно беду неминучую. Тяжело было мне, когда я простился с нею. Дома места сыскать я не мог... метался туда и сюда. Матушка подумала, что меня схватила огневка. Кое-как промаячил я ночь, которая показалась мне целою зимою... На другой день чем свет бегу я к старостиной избе — по задворку, под плетнем, лежали два барские лакея, и я нечаянно услышал их речь... поминают имя Алексаши, барина. Я остановился, стал слушать —

что же услышал я, царю мой небесный!— и теперь еще мутится в глазах моих... Злодей! он... Ах, Алексаша!

Нищий замолчал снова. Эта минута живо представилась его воображению, он весь дрожал, глаза его сверкали. Насилу мог я успокоить его.

— Я упал без памяти,— стал продолжать он тихим голосом.— Не помню, много ли, мало ли времени лежал я на том месте. Помню только, что опамятовался я, к своему горю, в нашей избе. Матушка вспрыскивала меня богоявленскою водою. Я опамятовался, но память у меня была не прежняя: я помнил только то, что у меня есть на свете злодей, кровный, лютый,— всего прочего как будто и не было, или, лучше, весь свет казался мне моим злодеем. Ничего не мог я различить: все в голове моей было вверх дном... но нечаянно попался мне на глаза нож. Его я различил, его узнал я с радостию, почувствовал, что такого друга мне надо, схватил и побежал благим матом к старостиной избе... вбегаю... все пусто... спешу в светлицу Алексашину... нет никого... Я сел на кровать ее и озирался вокруг себя. На половице видны были какие-то пятна. В бешенстве стал я скоблить их своим ножом. В это время вошел ко мне батюшка, который поспешал вслед за мною, подумав, что я хочу сделать что-нибудь над собой. Он рассказал мне, что старосту с женою барин переселил в дальнюю вотчину, Алексашу же взял с собою. Я слушал и скоблил.

— Куда уехал он? — спросил я наконец дрожащим голосом.

— В Курскую вотчину.

«Ты не спрячешься от меня в Курской своей вотчине»,— подумал я и вместе с батюшкою пошел тихими шагами к своей избе. Дяди, тетки, братья старались развеселить меня... Я веселился, только смотря на свой нож, думал, как я всажу его под сердце своему злодею, как скажу ему, что Алексаша была моею невестою. Между тем смышлял я вырваться поскорее из нашей деревни. Это было трудно, потому что все домашние за мною присматривали. Наконец выбрал время. На заре, когда все еще у нас спали,— из мужиков же никого не было дома,— я встал, снарядился в дорогу, попробовал свой нож, отточил его на камне, сходил на погост, помолился Спасу да святому Миколе и пустился в путь по Курской дороге. Идти мне было весело, как будто на пированье какое. На третий день увидел я нашу деревню. Там был у нас сват с матерней стороны. Я к нему — будто зашел повидаться из ближнего города, куда приехал за товаром, между тем

выспрашиваю о господине. «Он здесь»,— отвечал мне сват и рассказал, когда и куда выходит он со двора, когда бывает на работе. Мы поужинали вместе и на другой день перед рассветом расстались... я стал шататься все в околотке, высматривал места, улучал время и наконец рассудил, что лучше всего расправиться можно с его милостью из-под мостика над оврагом, по которому проходил он всегда на поле. Спрятался, дожидаюсь, как ворон крови... идет он с двоими... заворочалось у меня сердце! Только что сошел он с горки и ступил на мостик, я, как волк, выскочил с другой стороны прямо к нему навстречу и закатил нож... но второпях попал не туда, куда надо, а в руку. Хотел было закатить еще раз и не успел... меня схватили. Ах, господи! и теперь вспомнить не могу того времени: что было тогда со мною? Сердце в куски разрывалось, как будто у меня отнимали опять мою Алексашу. Нет, мне было еще тяжелее. За это меня... но что было, то прошло: так тому и быть.

— Что же случилось с тобою после?

— После чрез сколько-то времени отдали меня в солдаты. Я был в каком-то забытьи, не чувствовал, не думал ничего. На другой год полк наш выступил в поход — мы шли мимо народов иноплеменных, на нас не похожих, чрез многие страны чужие, по высоким горам, переправлялись чрез широкие реки, глубокие пропасти и пришли наконец в... как бишь называют эту страну — там всегда бывает очень тепло, на небе всегда ясно, воздух такой легкий...

— Италия?

— Да, да, Италия. Туда приехал к нам генерал наш Суворов, и началась война. Кровь на первом сражении, мною увиденная, возбудила во мне жизнь. Я почувствовал в себе какое-то движение и полюбил сечу. Всегда дрался я как отчаянный и заслужил похвалу от начальников. Меня представили Суворову как отличного солдата: на мне было ран двадцать на груди, на руках, на лице. «Помилуй бог, какой красавец!»— сказал он, целуя меня в лоб. И поверишь ли, барин, несмотря на мою тоску-змею, я находил еще какую-то отраду в службе с нашим батюшкою Суворовым. Мне бывало весело смотреть, как он на коне ездит по рядам и кричит нам: «Робятушки! вперед — с нами бог!» Так и рвалась душа и рука за ним. После был я под туркою, под шведом, а наконец в Грузии. Выслужив 25 лет, получил отставку и пошел на свою родину, но не дошел — верст за сорок так стало мне тошно, тяжело, так возобновилось в памяти все былое, прошедшее, что я не мог идти далее, воротился и в ближайшем городе принялся к

попу в батраки, работал лет пять, пока во мне были силы, но я выбился из сил, и есть мне было нечего. Руки поднять на себя я не мог: мне натолковали сызмаленька, какой это страшный грех,— к тому же я ослабел и телом и духом. Я решился идти в Москву и питаться милостынею. На святой Руси с голоду не умирают, говорит пословица. Не легко мне было, однако ж, привыкать и к новому своему ремеслу. Много,— знаете вы теперь, ваше благородие,— перенес я на своем веку, но, бывало, когда какой-нибудь богач пройдет мимо меня и ледяным голосом на смиренную мою молитву скажет: «Бог даст»,— тогда я чувствовал новую болезнь, как будто оставалось еще в моем сердце здоровое местечко, которое только сим постылым отказом уязвлялось. После же мне от того не было уже больно, напротив — мне казалось, что я становился богатее, когда кто-нибудь не подавал мне ничего, и беднее, когда я получал милостыню. Теперь же все равно.

— И неужели ты,— спросил я его,— идя в Москву почти мимо своей родины, опять не зашел к своим родителям?

— У меня заржавело сердце, ваше благородие. Я не мог им обрадоваться; может быть, и на их ласку мне было бы скучно смотреть; зачем же было тревожить их своим явлением. К тому же я у них давно в поминанье.

— А об Алексаше осведомлялся ты?

— Об Алексаше я спрашивал. Она зачахла и умерла года через два после моего приключения. Барин бросил ее задолго еще перед смертью.

Мы говорили несколько времени о походах суворовских; было далеко уже за полночь.

Я уложил своего гостя и сам лег спать, думая о барине.

Какие грозные сны виделись мне, друзья мои! я вам расскажу их после.

На другой день рано поутру проснулся гость мой и собрался в дорогу.

— Послушай, старинушко,— сказал я ему,— не хочешь ли ты жить у меня? Ты будешь сыт, обут, одет...

— Нет, ваше благородие, спасибо за ласку: я привык к своему состоянию,— отвечал он мне и отправился, опираясь на свою клюку.

КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ

Родители Софьи, молодой девушки, которая играет главную роль в моем повествовании, принадлежали к благородной, как говорится, фамилии и считали в родословном *дереве* предков 30 по мужскому колену и столько же по женскому. Имение сначала было у них значительное, но благодаря уменью жить в свете, благодаря французским управителям и поварам, гувернанткам и модисткам они неприметно промотались было совсем, если бы в пору не вспомнили, что у них есть кандалы на шее, и не решились убраться в оставшуюся деревню для экономии. Экономия их там состояла, разумеется, не в плодопеременной системе, которой они и понять никак не могли,— не в посеве клеверу, хотя почтенный хозяин в свое время ничего на свете не любил столько, как лошадей,— не в разведении, наконец, рогатого скота из Тироля и Голландии, которую полагали они далеко за Парижем на границе китайской; нет, они поступили простее: они разочли, сколько на такой-то земле, при таких-то условиях, может выработать тягло, обливая потом и кровью землю, обедая ходя и спав прислонясь, и привели это *сколько* в деньги. Потом разочли, сколько нужно тяглу насущного хлеба (деревня находилась при реке) для того, чтоб дышать и работать, и привели это второе *сколько* в деньги. Получив таким образом два данные, они вычли второе из первого, остаток назвали оброком и, собрав мирскую сходку, возложили оной торжественно на мирян. Позадумались миряне,— особливо задние начали почесываться в головах. Выходит наконец Филипп и, поклонясь в ноги милостивым господам своим, объявляет, что такого оброка ни отцы, ни деды их не платили. «И так уже мы,— начал за ним дядя Терентий,— нынче...»

Но тут добрый помещик мигнул дворецкому, сметливый дворецкий понял приказание и вышел... Под окошками в березнике послышался шум от ломаемых сучьев... У дяди Терентия прильнул язык к гортани. Все миряне взглянулись, поклонились и, проговорив «воля ваша», вышли. Таким образом, в продолжение нескольких лет надсматривая лично за крестьянами и сохранив число их для помещения в росписи, родители Софьи скопили сумму порядочную, т. е. такую, которая позволяла им прожить лет пять-шесть в столице блистательным образом. Старики рассчитывали очень умно: они надеялись выгоднее пристроить свою Софью в течение этого времени,— оставили свое захолустье и явились на сцене большого света.

Софье было 18 лет, и Софья была прекрасна собою.

Ах, друзья мои, и теперь еще, когда время начинает гнести меня тяжелою рукою своею, когда воображение мое гаснет и игривые призраки, мечты и видения не так часто вьются около прежнего своего любимца, когда милая Лилета сидит на моих коленях,— и теперь еще, друзья мои, не могу вспомнить о прелестной без содрогания. Как мила она была в легоньком палевом платьице, которое, чуть-чуть на плеча накинутое, всякую минуту, кажется, готово было спуститься... и взор нетерпеливый дожидался уже чуда,— в этой дымчатой косыночке, едва касавшейся до шеи! С какою ловкостью волшебница ее откидывала, закидывала, поправляла!.. А эти русые волосы, в густых локонах на плеча ниспадавшие, эти голубые глаза, которые сверкали прямо в сердце, эти ножки быстролетные! Или — другое явление — с каким искусством во время милой болезни *ни то, ни се*, прославленной Дмитриевым, надевала она простенький батистовый чепчик на голову с узенькой оборкой! Надобно было любоваться, как он подвязывался под купидоновою ямочкою на подбородке! Надобно было любоваться на этот бантик в две петли из ленты голубой или розовой, на эту канифасную кофточку! Посмотрели бы также ее на бале, на праздничном обеде. Какая пышность! какой вкус! как ловко умела она входить, выходить, кланяться на все стороны, оборачиваться, даже отворачиваться! Она вся говорила, и на ней все говорило. Притом никогда не видал я ничего игривее ее физиогномии: всякую минуту, кажется, она переменялась, и между тем всегда была одна и та же, всегда мила и прелестна. Поутру, например, после умыванья, румянец играл пятнами на ваточных щечках; после обеда глазки ее покрывались каким-то тоненьким слоем масляной влаги; к вечеру все лицо

разгоралось... Что же производили в чертах внутренние ощущения? На каждое чувство у ней было по лицу.— Но ты сердишься... добрая моя Лилета! Дай ручку, виноват, я перестану и буду теперь рассказывать о душевных качествах Софьи... к ним ведь вы, женщины, равнодушнее.

Софья была умна, то есть имела этот светский ум, живой и быстрый, с которым все говорится кстати, ничего лишнего: ее заслушивались в обществе, когда она начинала сыпать своими остротами и шутками. Другой славы она не искала, хотя, вероятно, и могла получить ее: она думала только тогда, когда говорила, и все внимание ее было устремлено на мнение большого света. Во всем, что касалось до приличий, сметливость ее обнаруживалась блистательным образом: в самом запутанном деле тотчас находила концы и узнавала место, на котором ей стать должно было, когда сказать, когда смолчать и улыбнуться,— знала, с кем надо говорить о Ростове, с кем о вчерашнем бале, с кем посмеяться над соседкою, пред кем разыграть смиренницу.

Софья была добра, но больше по инстинкту, нежели с намерением; она не понимала еще теоретического удовольствия в добре, может быть, потому что, суетная, об этом не размышляла.

Чувствования все же скользили по ее сердцу; иногда, бывало, подумаешь, что у нее не было его. Я не знаю, мог ли кто-нибудь из живших с нею сказать решительно, что знает ее мысли о себе. Нынче покажется, что она смеется над тобою, даже презирает тебя, завтра ты попадешь к ней в милость и увидишь знак ее расположения. Иногда выводила она из терпения своими несообразностями, но никак нельзя было сердиться на нее; она всегда казалась каким-то существом особенным, о котором судить невозможно по другим людям, которое отдает отчет только себе; прельщает, когда хочет, и сердит, когда угодно. Власти над собою, разумеется, она не терпела, и малейший признак ее почитала личным для себя оскорблением. Я любил ее как милую Прихоть в человеческом образе.

Но я довольно познакомил читателей с характером моей героини[1] и теперь могу приступить к описанию происшествия, на котором основывается моя повесть.

София явилась в свете в полном блеске молодости и красоты, богатства и роскоши и была всеми принята с восхищени-

[1] И даже слишком много распространился об нем, скажут критики. В таком случае я оправдаюсь перед ними пословицею: что у кого болит (или даже и болело), тот о том и говорит.

ем, всеми без исключения. Пусть французские теоретики утверждают, что нет красоты безусловной, что все нам нравится по отношениям. Я смеюсь над их тощими доказательствами и, не входя в дальнейшее состязание с ними, указываю с торжеством на мою Софью: явись она в застенном Китае, и я уверен, что всякий мандарин пройдет равнодушно мимо игольных глазок своих красавиц и поклонится большим голубым глазам европейской прелестницы. Мудрено ли, что у нас в Москве, где столько знатоков, столько людей со вкусом, все были без ума от Софьи, особливо наша пылкая молодежь?

Открылось обширное поле для ее завоеваний: но она долго не брала в руки оружия и думала только о своем веселье, ездила на балы, гулянья для того, чтоб показать себя, посмотреть людей... прыгала, резвилась, смеялась, шалила...

Потом уже стала она *осматриваться* около себя и увидела толпы обожателей. Это было очень приятно для ее самолюбия, и здесь начинается вторая эпоха ее деятельности. Она начала играть их вздохами, манить надеждою, ласкать то того, то другого и наконец — когда они становились смелее, отставлять с честию. В самом деле, ей никто не нравился: тот слишком умен,

Тот не в чинах, другой без орденов,
А тот бы и в чинах, да жаль — карманы пу́сты!
То нос широк, то брови густы!

Таким образом, в продолжение зимы отпустила она от себя дюжины две селадонов, которые, быв покинуты милою обманщицею, излили свои чувствования в стихах, заунывных, томных и сладеньких, в таком количестве, что даже проницательные журналисты наши никак не могли догадаться, почему беспрестанно присылались к ним плаксивые элегии.

Позабавившись над сими селадонами, насладившись могуществом своих прелестей, Софья была уверена по каким-то софизмам, что для счастия жизни ей довольно было себя, что в супружестве не найдет она ничего такого, что могло бы вознаградить ее за принимаемое иго; но несмотря на то, ей не хотелось остаться и в полку престарелых девственниц, которые, признаюсь и я, разыгрывают печальную роль в нашем печальном мире. Она окинула взорами стадо оставшихся, сносных, по ее выражению, обожателей и стала искать... Вы удивляетесь, неопытные юноши, моему выражению, думая, что только вы ищете. Ах, друзья мои, поверьте мне, что *они* ищут, или, лучше, шарят больше нашего, но, хитрые, они делают это тихомолком, они умеют сохранять во всем вид этого

благородного самодовольствия, этого *не тронь меня*, которое держит нас в таком почтительном отдалении. И так она стала искать себе мужа.

«Какого же мужа стала она искать себе?»— естественно, спросит меня всякий читатель. Вот какого — слушайте.

Не старого, не противного собою, *не бедного*, не злого, не глупого, не... короче, такого, за которого можно было выйти, не нарушая правил благопристойности...

«Но что значат сии отрицательные требования?— подумает с удивлением читатель.— Софья, по словам его, могла иметь в виду партию блестящую».

Ах, господа, как вы недогадливы! главного условия вы еще не знаете. Я хотел было умолчать об нем, надеясь на вашу светскую опытность, а больше всего, не желая привесть в краску некоторых (разумеется, не многих) дам наших. Софья искала мужа, которого могла бы водить за нос, или, другими словами, она не хотела выходить замуж, но хотела за себя взять мужа.

Молодой богач Пронский, малый с сердцем и душою, влюбленный в Софью, долго смотревший на нее издали, провожавший всех ее обожателей, наблюдавший, кого и за что она отпускала, сметил наконец дело, догадался, чего ищет она, и прикинулся таким простячком, таким Филькою, что Софье во время пробных разговоров с ним невольно представилась мысль: такого-то нам и надо...

Но не таков-то был он. Пронский, служив долго в военной службе, при дворе, много путешествовав, прошед, как говорится, сквозь огнь и воду, смотрел на красавиц в оба глаза и протирал их себе часто. Он пленился Софьею, ее умом, красотою, странным характером, но и видел в ней великие недостатки. С волею твердою и решительною он надеялся, прибрав к рукам неугомонную, *исправить* ее по-своему и потом наслаждаться вполне ее прелестями. Нашла коса на камень.

Предупредив таким образом моих читателей о намерениях Пронского, я стану продолжать рассказ.

Пронский начал ездить чаще в дом родителей Софьи, но, впрочем, не подавал еще вида, что ищет руки ее. Это еще более раздразнило его суженую.

Красавицы! видал я много раз,
Вы думаете, что? нет, право, не про вас:
А что бывает то ж с фортуною у нас:
Иной лишь труд и время губит,
Стараяся настичь ее из силы всей;

Другой, как кажется, бежит совсем от ней,
Так нет, за тем она сама гоняться любит.

Между тем наступал июнь месяц. Дамы наши, отпраздновав первое мая в Сокольниках и вознесеньев день в Дворцовом саду, закупив соломенные шляпки, тафтяные зонтики и прочие летние принадлежности, склоняются более в это время на приглашение своих мужей-агрономов в деревню. Родители Софьи и отправились в свою подмосковную, а Пронский приглашен был погостить к ним на несколько дней.

Здесь-то раскинуты были ему сети, здесь-то начали его запутывать. Говорить ли мне о разных затеях Софьиных? Для подруг ее это едва ли нужно... Но ты, Иванушко, ты смотришь на меня с таким удивлением, ты непременно хочешь получить от меня обстоятельное сведение. Слушай же: иногда Софья очень уставала во время прогулки, Пронский случался всегда вблизи и должен был вести ее под ручку, следовательно, ему давался случай осязать ручку, а какова была эта ручка?.. Иногда Софья, сидя за работным столиком, роняла ридикюль или что-нибудь другое, Пронский должен был поднимать и при таких случаях касался иногда ноги ее, которая, может быть (чего не скажет клевета?), подставлялась нарочно. Иногда какой-нибудь листик, слетевший с дерева, заранивался за кисейную косынку. Пронский, разумеется, не мог еще там искать его, но искали пред его глазами, а он был не слепой. Иногда посылала она его в свою комнату за нотами, книгою, а уединенная комната девушки чем не наполняет воображения! там воздух, кажется, другой, пронзительный. Наконец в танцах Софья могла обворожить хоть Катона. Ах, друзья мои, танцы — ужасное изобретение, ужасное, говорю я, хотя и благодарю мудрую судьбу, что она не выучила меня танцевать. Я дрожал, бывало, на стуле, как на электрических креслах, смотря издали на кружившихся девушек. Как они мило устают, как они мило отдыхают!.. И я не понимаю, отчего так мало сумасшедших в большом свете?[1]

Пронский наружно разнеживался, а внутренно восхищался умом Софьи, блиставшим во всех ее оборотах. Он заранее уже наслаждался счастием в ее объятиях, начертывал план супружеского обхождения с нею и с удовольствием видел будущее изумление своей супруги, которая, выходя за Платона Михайловича Горича[2], выйдет за...

---

[1] От того, что... но я не слушаю твоего шептания, демон злоречия.

[2] Лицо в комедии г. Грибоедова «Горе от ума».

(Здесь, читатели, я не могу удержаться от отступления и не пожаловаться публично на наших комиков: на Н. И. Хмельницкого, М. С. Загоскина, А. И. Писарева, А. С. Грибоедова, Ф. Ф. Кокошкина, князя А. А. Шаховского. До сих пор сии злые наблюдатели человеческого сердца, с таким тщанием собравшие коллекцию женских слабостей, не представили нам еще ни одного мужа, сурового, строгого, жестокого, прихотливого (и столько мне теперь для примера нужного), как будто бы их и не бывало на Руси, как будто бы одни дамы у нас бушевали, как будто бы они никогда не терпели напраслины. Я скажу торжественно, что это неправда, и насчитаю сотню кротких, спокойных, одним словом, совершенных супруг, которые страдают по несправедливым притязаниям своих супругов, например... например... но это все равно; имена их теперь не приходят в голову...)

Итак, Пронский, сказал я, с удовольствием предвидел изумление будущей супруги своей, которая, выходя за простяка, выйдет за мужа-голову. Между тем, познакомившись покороче с Софьею, он уверился еще более, что все ее пороки не врожденные и происходят не от развратного сердца, а от недостатков воспитания, от легкомыслия; что в его руках она не узна́ет себя и с удовольствием будет вкушать наслаждения семейственной жизни, на которые теперь ветреница смотрела с презрением.

Дело подходило уже к концу, почти объяснялось — уже воротились все в Москву, уже Пронский начал заговаривать стороною с родителями Софьи,— как вдруг на беду получают они известие из Петербурга, что в Москву едет князь Z., сын министра, наследующий несметное богатство, происходящий по прямой линии от Свенельда, полководца Игорева, прекрасный собою, что Софья была бы счастлива, если бы ему понравилась, и проч. и проч. Старики сообщают тотчас полученное известие милой дочери.

Князь Z. действительно не замедлил явиться в Москве — молодой статный мужчина, в гусарском золотом мундире, с звонкою саблею и шпорами. Софья познакомилась с ним на первом бале у графини D. и — и — несмотря на прежнее решение свое дать руку Пронскому, несмотря на привязанность к нему, вероятно, ей самой неприметную, вздумала, может быть, из шалости, может быть, по самолюбию или просто по старой привычке привязать князя на всякой случай к своей колеснице.

Берегись, Софья: кто погонится за двумя зайцами, тот не поймает ни одного, говаривали наши Нимвроды-охотники.

Князь Z., принятый в дом к ним, начал ездить довольно часто. Софье что-то померещилось (говорят, в таких случаях часто мерещится), и она начала думать серьезнее, начала рассчитывать и сравнивать. У него было 2000 душ лишних против Пронского — следовательно, Софье можно было давать с ним лишних бала два-три в год, иметь всегда модную карету, и мало ли еще какие выгоды доставляют четыре тысячи трудолюбивых рук. Князь Z. имел обширные, блестящие связи в столицах; весь дипломатический корпус был с ним по отце запанибрата. Пронский был один душою и, жив всегда в поле, не имел случая завести знакомства. Наконец, князь Z. доставлял Софье титул вашего сиятельства, который в грубых ушах звенит очень приятно, несмотря на все справедливые толки философов, простых и трансцендантальных, о равенстве людей. Софья *приметно* начала колебаться, и это взорвало пылкого Пронского.

Он решился кончить дело поскорее и между тем *отомстить за непостоянство.*

Прежде всего надобно было отдалить князя Z. Князь, сказать правду, принадлежал к числу сих благоразумных флегматиков, которые разогреваются очень медленно и простывают очень скоро. Пронский, служив с ним прежде в одном полку и зная его коротко, надеялся легко склонить его на свою сторону и не обманулся в своей надежде. Он, как старый знакомец, явился тотчас у князя, выведал стороною расположение его к Софье и узнал, что сей холодный гусар не чувствует к ней никакой решительной склонности, что любит ее теперь как умную и прекрасную девушку,— однако ж не ручается за то, что будет вперед.

— Послушай, князь!— сказал ему в заключение наш хитрец.— Софья — невеста не по тебе. Ты еще не знаешь ее характера. Вот он каков... ладить тебе с нею будет трудно, успеть едва ли возможно. Оставь ее. Ты найдешь партию и выгоднее, и сподручнее.

— Благодарю за советы, приятель! Но почему принимаете вы в ней такое участие?— спросил князь, улыбаясь.

— Я любил ее страстно, хотел жениться на ней, думал, что и она чувствовала ко мне привязанность...

— А теперь?

— Что тебе до теперь? Я раскрываю дело, сколько нужно знать тебе, сколько оно касается до тебя лично. Прибавлю еще: я говорю как товарищ, который тер с тобою одну лямку, как честный человек: Софья не годится тебе. Наконец предупреждаю тебя, что с отчаяния, может быть, решусь и на...

— Ты хочешь грозить мне?

— Нет, я не грожу, потому что это было бы бесполезно...

Довольный князь замолчал.

— Дал ли ты Софье повод иметь на тебя какие-нибудь виды?— спросил наконец Пронский, прочитав на лице его решение, для себя благоприятное.

— Никогда. Кроме обыкновенных вежливостей, она не слыхала от меня ничего.

— Следовательно, тебе не мудрено расстаться с нею и вывести ее из заблуждения. Завтра ты будешь у Софьи. Я приеду также и заведу разговор о петербургских твоих связях или о чем-нибудь подобном и дам тебе случай развить твои мысли об этом предмете самым ясным и вместе самым учтивым образом. Понимаешь ли?

Друзья распили бутылку шампанского.

Как сказано, так и сделано. На другой же день Софья с досадою узнала, что князь Z. вовсе не думал о браке с нею. Она обошлась с ним ласковее обыкновенного, чтоб занавесить неудавшиеся планы, и между тем обходилась ласково, и даже нежно, с Пронским. Так было в продолжение следующего времени. Казалось бы, что здесь должно быть концу, что Пронский станет ковать железо, пока оно горячо. Кстати ли? Вдруг его стало не видно. Говорили, что он уехал в какую-то деревню.

Наконец, чрез несколько дней, он является снова. Софья принимает его с заметным удовольствием.

— Где скрывались вы так долго? Я спрашивала об вас у всех знакомых.

— Мне должно было посетить одного моего несчастного друга, сударыня. Но я вознагражден за свою жертву и с вашей стороны. Я вижу теперь, что вы *заметили* мое отсутствие.

— Как вы злы! Разве подала я вам повод сомневаться в этом? Но оставим это.— И начали говорить о другом.

Недели через две, в продолжение коих Пронский был очень томен, глядел всегда на Софью почти официально, хотя и робко, и проч. и проч., разговор как-то вследствие искусных его оборотов обратился опять на его отсутствие.

— Могу ли я,— спросила Софья,— не нарушая скромности, знать о несчастии вашего друга?

Пронский того и ждал.

— Он несчастлив, сколько человек может быть несчастлив,

а это уже очень много. Короче, он влюблен без памяти и без надежды.

— Бедненький! я сожалею об нем, но скажите мне: он открывался в своей любви и получил отказ?

— Нет. Он боится и говорить об ней.

— Так почему же он не имеет надежды?

— Из всех действий своей прелестницы заключает он, что она к нему равнодушна.

— Долго ли он вздыхает по ней и при ней?

— Судя по его страсти, он, кажется, родился с нею: узнал же ее с лишком два года — нет — виноват — полтора года.

Дело приближается к концу, замечают читатели. Неправда!

— Так позвольте же мне вступиться за честь моего пола,— сказала Софья с лукавою улыбкою.— Верно, вашему другу недостает проницательности. Верно, он смотрит и не видит: никакая женщина не может быть столько жестокою, никакая не будет держать около себя так долго человека, к которому не чувствует привязанности.

— Вы так думаете... Вы очень добры... Что ж бы вы присоветовали моему другу?— спросил Пронский с видом больше чем участия.

— Я советовала бы ему принять меры решительные и просить у нее руки.

— Вы советуете?— спросил он с восторгом.

— Да, да.

— Этот несчастливец — вы видите его пред собою. Это я.

— И неужели ж эта жестокая красавица — я! — сказала Софья, наклонясь умильно головою.

— Не вы, не вы,— воскликнул Пронский, захохотав изо всей силы.

Злодей!

Представьте себе положение Софьи. Она остолбенела, не верила глазам, ушам своим. Напрасно Пронский начал тотчас после говорить ей что-то... она ничего не слыхала и упала в обморок, настоящий!

Испуганный, бросился он тотчас за горничною. Начали оттирать Софью, обливать водою, духами, спиртом. Наконец она очнулась и стала озираться мутными глазами. Пронский выслал служанку под каким-то предлогом и упал к ногам Софьи.

— Я люблю вас, Софья, простите меня за шутку. Ею хотел я только отмстить на минуту за...

— И вы смеете, милостивый государь, быть еще на глазах моих?— сказала она, почти задыхаясь от гнева.— Вы дерзки. Я могла унизиться на минуту, но ненадолго. Прощайте!— и ушла в другую комнату.

Какова?

Пронский остолбенел в свою очередь. Он ошибся в своем расчете. Он думал было, что Софья после такой сцены не решится отказать ему, что он может сыграть над нею шутку безопасно. Но она поддержала свой характер. Что оставалось ему делать? Он отправился домой, проклиная сто раз и свои планы, и свои расчеты, и все на свете.

Между тем он не мог жить без Софьи и решился написать к ней страстное письмо. Ответа не было. Он начал заходить с правой и с левой стороны, чтоб выхлопотать себе свидание. Не тут-то было. Софья мучила его. Он мучился, но не унывал и добился наконец, что чрез несколько месяцев — после разных многократных попыток — Софья на каком-то бале выслушала его и потом позволила ездить к себе в дом, отклоняя, однако ж, предложение родителям по разным причинам; наконец, уже заставив Пронского горько раскаяться в необдуманном своем поступке, заставив подписаться на такой договор, какой едва ли был и будет в летописях супружества, она дала ему свою руку.

Теперь мне остается только известить читателей, по принятому обычаю, о судьбе всех лиц, действовавших в моей драме. Тем охотнее исполняю я здесь сие требование наших Аристотелей, что мне очень легко исполнить оное.

Старики, родители Софьи, кончив свои грехи и суеты, начали, как водится, раскаиваться и принялись за книги нравоучительные.

(Где они были тогда, спросит еще иной критик, когда Пронский объяснялся с Софьею перед размолвкою?— Их тогда не было дома, сударь!)

Крестьяне, доставшиеся в приданое Пронскому, отдохнули и молят теперь бога за доброго своего барина.

Вот только одно обстоятельство, о котором мне нельзя сказать ни слова моим читателям: я не знаю, с каким успехом исправляет Пронский свою Софью. Но Софье зачем доводить себя до исправления? Зачем забывать, что истинное счастие вкушается только в семейственной жизни, что его должно искать не в мазурках, не в вальсах, не на вечеринках, но в глубине своей души, своего сердца.

СѢВЕРНЫЕ

ЦВѢТЫ

НА 1829 ГОДЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТАМ. НАРОДН. ПРОСВѢЩ.

1828.

ТИТ КОСМОКРАТОВ

(В. ТИТОВ)

УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

Повесть

Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных, огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова,— все погребено в серые сугробы, как будто в могилу.

Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике, около означенной возвышенности, жила старушка, вдова одного чиновника, служившего не помню в которой из коллегий. Оставляя службу, он купил этот домик

вместе с огородом и намерен был завесть небольшое хозяйство; но кончина помешала исполнению дальних его замыслов; вдова вскоре нашла себя принужденною продать все, кроме дома, и жить малым денежным достатком, накопленным невинными, а может быть, отчасти и грешными трудами покойного. Все ее семейство составляли дочь и престарелая служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки. Вдалеке от света, вела она тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливою: по праздникам в церковь; по будням утро за работою; после обеда мать вяжет чулок, а молодая Вера читает ей Минею и другие священные книги или занимается с нею гаданием в карты — препровождение времени, которое и ныне в обыкновении у женщин. Вера давно уже достигла того возраста, когда девушки начинают думать, как говорится в просторечии, о том, как бы пристроиться; но главную черту ее нрава составляла младенческая простота сердца; она любила мать, любила, по привычке, свои вседневные занятия и, довольная настоящим, не питала в душе черных предчувствий насчет будущего. Старушка мать думала иначе: с грустью помышляла она о преклонных летах своих, с отчаянием смотрела на расцветшую красоту двадцатилетней дочери, которой в бедном одиночестве не было надежды когда-либо найти супруга-покровителя. Все это иногда заставляло ее тосковать и тайно плакать; с другими старухами она, не знаю почему, водилась вовсе не охотно; зато уж и старухи не слишком ее жаловали; они толковали, будто с мужем жила она под конец дурно, утешать ее ходил подозрительный приятель; муж умер скоропостижно и — бог знает, чего не придумает злоречие.

Одиночество, в коем жила Вера с своей матерью, изредка было развлекаемо посещениями молодого, достаточно отдаленного родственника, который за несколько лет приехал из своей деревни служить в Петербурге. Мы словимся называть его Павлом. Он звал Веру сестрицею, любил ее, как всякий молодой человек любит пригожую, любезную девушку, угождал ее матери, у которой и был, как говорится, на примете. Но о союзе с ним напрасно было думать: он не мог часто навещать семью Васильевского острова. Этому мешали не дела и не служба: он тем и другим занимался довольно небрежно; жизнь его состояла из досугов почти беспрерывных. Павел принадлежал к числу тех рассудительных юношей, которые терпеть не могут излишества в двух вещах: во времени и в деньгах. Он, как водится, искал и приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли его от сих совершенно

лишних отягощений и на его деньги помогали ему издерживать время. Картежная игра, увеселения, ночные прогулки — все призвано было в помощь; и Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видал, как утекали дни за днями и месяцы за месяцами. Разумеется, не обходилось и без неприятностей: иногда кошелек опустеет, иногда совесть проснется в душе, в виде раскаяния или мрачного предчувствия. Чтобы облегчить сие новое бремя, он сперва держался обыкновения посещать Веру. Но мог ли он без угрызений сравнить себя с этой невинною, добродетельною девушкой?

Итак, необходимо было искать другого средства. Он скоро нашел его в одном из своих соучастников веселия, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал под именем Варфоломея, часто наставлял его на такие проказы, какие и в голову не пришли бы простодушному Павлу; зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий; главное же, неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а недостаток еще тягостнее — именно деньгами. Он так легко и скоро доставал их во всяком случае, что Павлу на сей счет приходили иногда в голову странные подозрения; он даже решался выпытать сию тайну от самого Варфоломея; но как скоро хотел приступить к своим расспросам, сей последний одним взглядом его обезоруживал. Притом: «Что мне за дело,— думал Павел,— какими средствами он добывает деньги? Ведь я за него не пойду на каторгу... ни в ад!»— прибавлял он тихомолком от своей совести. Варфоломей к тому же имел искусство убеждать и силу нравиться, хотя в невольных его порывах нередко обнаруживалось жестокосердие. Я забыл еще сказать, что его никогда не видали в православной церкви; но Павел и сам был не слишком богомолен; притом Варфоломей говаривал,что он принадлежит не к нашему исповеданию. Короче, наш юноша наконец совершенно покорился влиянию избранного им друга.

Однажды в день воскресный, после ночи, потерянной в рассеянности, Павел проснулся поздно поутру. Раскаяние, недоверие давно так его не мучили. Первая мысль его была идти в церковь, где давно, давно он не присутствовал. Но, взглянув на часы, он увидел, что проспал час обедни. Яркое солнце высоко блистало на горячем летнем небосклоне. Он невольно вспомнил о Васильевском острове. «Как виноват я перед старухою,— сказал он себе,— в последний раз я был у ней, когда снег еще не стаял. Как весело теперь в уединенном сельском домике. Милая Вера! она меня любит, может быть, жалеет,

что давно не видала меня, может быть...» Подумал и решился провести день на Васильевском. Лишь только, одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись, Варфоломей навстречу. Неприятна была встреча для Павла; но свернуть было некуда.

— А я к тебе, товарищ! — закричал Варфоломей издали.— Хотел звать тебя, где третьего дня были.

— Мне сегодня некогда,— сухо отвечал Павел.

— Вот хорошо, некогда! Ты, пожалуй, захочешь меня уверить, что у тебя может быть дело. Вздор! пойдем.

— Говорю тебе, некогда; я должен быть у одной родственницы,— сказал Павел, выпутывая руку свою из холодной руки Варфоломея.

— Да, да! я и забыл об твоей Васильевской ведьме. Кстати, я от тебя слышал, что твоя сестрица довольно мила; скажи, пожалуй, сколько лет ей?

— А мне почему знать? Я не крестил ее!

— Я сам никого не крестил отроду, а знаю наперечет и твои лета и всех, кто со мной запанибрата.

— Тем для тебя лучше, однако...

— Однако не в том дело,— прервал Варфоломей,— я давно хотел туда забраться с твоею помощью. Нынче погода чудная; я рад погулять. Веди меня с собою.

— Ей-ей не могу,— отвечал Павел с неудовольствием,— они не любят незнакомцев. Прощай, мне нельзя терять времени.

— Послушай, Павел,— сказал Варфоломей, сердито останавливая его рукою и бросая на него тот взгляд, который всегда имел на слабого юношу неодолимое действие.— Я не узнаю тебя. Вчера ты скакал, как сорока, а теперь надулся, как индейский петух. Что это значит? Я не в одно место возил тебя из дружбы; потому и от тебя могу того же требовать.

— Так!— отвечал Павел в смущении.— Но теперь не могу исполнить этого, ибо... ибо знаю, что тебе там будет скучно.

— Пустая отговорка: если хочу, стало, не скучно. Веди меня непременно; иначе ты не друг мне.

Павел замялся; наконец, собравшись с духом, сказал:

— Слушай, ты мне друг! но в этих случаях, я знаю, для тебя нет ничего святого. Вера хороша, непорочна как ангел, но сердце ее просто. Даешь ли ты мне честное слово не расставлять сетей ее невинности?

— Вот нашел присяжного волокиту,— прервал Варфоломей с каким-то адским смехом.— И без нее, брат, много есть девчонок в городе. Да что толковать долго? честного

слова я не дам: ты должен мне верить или со мной рассориться. Вези меня с собою или — давай левую.

Юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил, что и честь его и самое имущество находятся во власти этого человека и ссора с ним есть гибель; сердце его содрогнулось; он употребил еще несколько слабых возражений — и согласился.

Старушка от всей души благодарила Павла за новое знакомство; степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился; она, по своему обыкновению, видела в нем выгодного женишка для своей Веры. Впечатление, произведенное Варфоломеем на сию последнюю, было не столь выгодно: она робким приветствием отвечала на поклон его, и живые ланиты ее покрылись внезапною бледностию. Черты Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма божия, с душою, полною смиренными набожными чувствами, она замечала его стоящим у каменного столпа притвора церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и, как рана, оставался у нее врезанным в душу. Но не любовной силою приковал этот взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для нее самой. Варфоломей был статен, имел лицо правильное; но это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а, подобно личине, скрывало все ее движения; и на его челе, видимо спокойном, Галль верно заметил бы орган высокомерия, порока отверженных.

Впрочем, Вера умела скрыть свое смущение, и едва ли кто заметил его, кроме Варфоломея. Он завел разговор общий и был любезнее, умнее, чем когда-нибудь. Часы проходили неприметно; после обеда предложена прогулка на взморье, по окончании которой все воротились домой, и старушка принялась за любимое свое препровождение вечера — гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать, как нарочно ничего не выходило. Варфоломей подошел к ней, оставя в другом углу своего друга в разговоре с Верою. Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу раскладывания нельзя узнать будущего, и карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, мой батюшка! да вы, я вижу, мастер; растолкуйте мне, что же они показывают?»— спросила старушка с видом сомнения. «А вот что»,— отвечал он и, придвинув кресла, говорил долго и тихо. Что говорил? Бог весть, только кончилось тем, что она от него услышала такие тайны жизни и кончины покойного сожителя, которые почитала богу да ей одной известными. Холодный пот выступил на морщинах лица ее, седые волосы стали дыбиться под

чепцом; она дрожа перекрестилась. Варфоломей поспешно отошел; он с прежней свободою вмешался в разговор молодежи; и беседа верно продлилась бы до полночи, если бы наши гости не поторопились, представляя, что скоро будут разводить мост и им придется ночевать на вольном воздухе.

Не станем описывать многих других свиданий, которые друзья наши имели вместе на Васильевском в продолжение лета. Для вас довольно знать, что в течение всего времени Варфоломей все более и более вкрадывался в доверенность вдовы; добродушная Вера, которая привыкла согласоваться слепо с чувствами своей матери, забыла понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное незнакомцем; но Павел оставался для нее предметом предпочтения нескрытного, и, если сказать правду, так было за что: частые свидания с молодою родственницей возымели на юношу преблаготворное действие; он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства, словом, захотел быть порядочным человеком; с другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки, и ему изредка казалось, что он может быть счастлив такою супругою, как Вера.

Предпочтение этой прелестной девушки к товарищу, казалось, должно бы оскорбить неукротимое самолюбие Варфоломея; однако он не только не изъявлял неудовольствия, но обращался с Павлом радушнее, ласковее прежнего; Павел, платя ему дружеством искренным, совершенно откинул все сомнения насчет замыслов Варфоломея, принимал все его советы, поверял ему все тайны души своей. Однажды зашла у них речь о своих взаимных достоинствах и слабостях — что весьма обыкновенно в дружеской беседе на четыре глаза. «Ты знаешь, я не люблю лести,— говорил Варфоломей,— но откровенно скажу, друг мой, что я замечаю в тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену; и не один я, многие говорят, что в последние шесть месяцев ты созрел больше, чем другие созревают в шесть лет. Теперь недостает тебе только одного: навыка жить в свете. Не шути этим словом; я сам никогда не был охотником до света, я знаю, что он нуль; но этот нуль десятерит достоинство единицы. Предвижу твое возражение; ты думаешь жениться на Вере»... (при сих словах Варфоломей остановился на минуту, как будто забывшись) «... ты думаешь на ней жениться,— продолжал он,— и ничего не хочешь знать, кроме счастия семейного да любви будущей супруги. То-то и есть: вы, молодежь, воображаете, что обвенчался, так и бал кончен; ан только начинается. Помяни ты мое слово — поживешь с женою год, опять

вспомнишь об людях; но тогда уж потруднее будет втереться в общество. Притом люди необходимы, особливо человеку семейному: у нас без покровителей и правды не добудешь. Может быть, еще тебя стращает громкое имя: большой свет! Успокойся: это манежная лошадь; она очень смирна, но кажется опасной потому, что у нее есть свои привычки, к которым надо примениться. Да к чему тратить слова по-пустому? Лучше поверь их истину на опыте. Послезавтра вечер у графини И...; ты имеешь случай туда ехать. Я вчера у нее был, говорил об тебе, и она сказала, что желает видеть твою бесценную особу».

Сии слова, подобно яду, имеющему силу переворотить внутренность, превратили все прежние замыслы и желания юноши; никогда не бывалый в большом свете, он решился пуститься в этот вихрь, и в условленный вечер его увидели в гостиной графини. Дом ее стоял в не очень шумной улице и снаружи не представлял ничего отличного; но внутри — богатое убранство, освещение. Варфоломей уже заранее уведомил Павла, что на первый взгляд иное покажется ему странным; ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад и принимает к себе общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали нескольких пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины и не скидали перчаток во весь вечер. Это не совсем согласовалось с тогдашними модами среднего петербургского общества, которые одни были известны Павлу, но Павел уже положил себе за правило не удивляться ничему, да и когда ему было заметить сии мелочи? его вниманием овладела хозяйка совершенно. Вообразите себе женщину знатную, в пышном цвете юности, одаренную всеми прелестями, какими природа и искусство могут украсить женский пол на пагубу потомков Адамовых, прибавьте, что она потеряла мужа и в обращенье с мужчинами может позволить себе ту смелость, которая более всего пленяет неопытного. При таких искушениях мог ли девственный образ Веры оставаться в сердце переменчивого Павла? Страсти загорелись в нем; он все употребил, чтобы снискать благоволение красавицы, и после повторенных посещений заметил, что она не равнодушна к его стараниям. Какое открытие для пламенного юноши! Павел не видал земли под собой, он уже мечтал... Но случилась неприятность, которая разрушила все его отважные воздушные замки. Однажды, будучи в довольно многолюдном обществе у графини, он увидел, что она в стороне говорит тихо с одним мужчиною; надобно заме-

тить, что этот молодец щеголял непомерным образом и, несмотря на все старания, не мог, однако, скрыть телесного недостатка, за который Павел с Варфоломеем заочно ему дали прозванье косоногого; любопытство, ревность заставили Павла подойти ближе, и ему послышалось, что мужчина произносит его имя, шутит над его дурным французским выговором, а графиня изволит отвечать на это усмешками. Наш юноша взбесился, хотел тут же броситься и наказать насмешника, но удержался при мысли, что это подвергнет его новому, всеобщему посмеянию. Он тот же час оставил беседу, не говоря ни слова, и поклялся ввек не видеть графиню.

Растревоженный в душе, он опять вспомнил о давно покинутой им Вере, как грешник среди бездны разврата вспоминает о пути спасения. Но на этот раз он не нашел близ милой девушки желаемой отрады; Варфоломей хозяином господствовал в доме и того, кто ввел его туда за несколько месяцев, принимал уже, как гостя постороннего. Старуха была больна, и не на шутку. Вера казалась в страшных суетах и развлечении; Павла приняла она с необычайною холодностию и, занимаясь им, сколько необходимо требовало приличие, готовила лекарства, бегала за служанкою, ухаживала за больною и нередко призывала Варфоломея к себе на помощь. Все это, разумеется, было странно и досаждало Павлу, на которого теперь, как на бедного Макара, валилась одна неудача за другою. Он хотел было затеять объяснение, но побоялся растревожить больную старуху и Веру, без того уже расстроенную болезнию матери. Оставалось одно средство — объясниться с Варфоломеем. Приняв такое решение, Павел, извиняясь головною болью, откланялся немного спустя после обеда и, не удержанный никем, уехал, намекнув Варфоломею с некоторою крутостию, что желает его видеть в завтрашнее утро.

Чтобы вообразить себе то состояние, в каком несчастный Павел ожидал на другой день своего бывшего друга и настоящего соперника, должно понять все различные страсти, которые в то время боролись в душе его и, как хищные птицы, словно хотели разорвать между собою свою жертву. Он поклялся забыть навеки графиню и между тем в сердце пылал любовию к изменнице; привязанность его к Вере была не столь пламенна; но он любил ее любовью братскою, дорожил добрым ее мнением, а в нем почитал себя потерянным надолго, если не навеки. Кто же был виновник всех этих напастей? Коварный Варфоломей, этот человек, которого он некогда называл своим другом и который, по его мнению,

так жестоко обманул его доверенность. С каким нетерпением ждал его к себе Павел, с какою досадою он смотрел на улицу, где бушевала точно такая же метель, как и в душе его: «Бездельник,— думал он,— воспользуется непогодою, он избежит моей правдивой мести; он лишит меня последней отрады — сказать ему в бесстыдные глаза, до какой степени я его ненавижу!»

Но в то время, как Павел мучился сомнением, отворилась дверь и Варфоломей вошел с таким же мраморным спокойствием, с каким статуя Командора приходит на ужин к Дон Жуану. Однако лицо его вскоре приняло выражение более человеческое; он приблизился к Павлу и сказал ему с видом сострадательной приязни: «Ты на себя не похож, друг мой; что причиною твоей горести? Открой мне свое сердце».

— Я тебе не друг! — закричал Павел, отскочив от него в другой угол комнаты, как от лютой змеи; дрожа всеми составами, с глазами, налитыми кровью и слезами, юноша опрометью высказал все чувства души, может быть и несправедливо разгневанной.

Варфоломей выслушал его с каким-то обидным равнодушием и потом сказал:

— Речь твоя дерзка и была бы достойна наказания; но я тебе прощаю: ты молод и цены еще не знаешь ни словам, ни людям. Не так говорил ты со мною бывало, когда без моей помощи приходилось тебе хоть шею совать в петлю. Но теперь все это забыто, потому что холодный прием девушки раздражил твою самолюбивую душонку. Изволит пропадать по целым месяцам, творит неведомо с кем неведомо какие проказы, а я за него терпи и не ходи, куда мне хочется. Нет, сударь; буду ходить к старухе, хоть бы тебе одному назло. Притом у меня есть и другие причины: не стану таить их — знай, Вера влюблена в меня.

— Лжешь, негодяй! — воскликнул Павел в исступлении.— Может ли ангел любить дьявола?

— Тебе простительно не верить,— отвечал Варфоломей с усмешкою,— природа меня не изукрасила наравне с тобою; зато ты и пленяешь знатных барынь, и пленяешь навеки, постоянно, неизменчиво.

Этой насмешки Павел не мог вынести, тем более что он давно подозревал Варфоломея в содействии к его разладу с графинею. Он в ярости кинулся на соперника, хотел убить его на месте; но в эту минуту он почувствовал себя ударенным под ложку; у него дух занялся, и удар, без всякой боли, на миг привел его в беспамятство. Очнувшись, он нашел себя

у противной стены комнаты, дверь была затворена, Варфоломея не было, и, как будто из просонок, он вспоминал последние слова его: «Потише, молодой человек, ты *не с своим братом* связался».

Павел дрожал от ужаса и гнева; тысячи мыслей быстро сменялись в голове его. То решался он отыскать Варфоломея хоть на краю света и размозжить ему череп; то хотел идти к старухе и обнаружить ей и Вере все прежние проказы изменника; вспоминал об очаровательной графине, хотел то заколоть ее, то объясниться с нею, не изменяя прежнему решению: последнее, согласить, конечно, было трудно. Грудь его стеснилась; он, как полоумный, выбежал во двор, чувствуя в себе признаки воспалительной горячки; бледный, в беспорядке, рыскал он по улицам и, верно, нашел бы развязку всем сомнениям в глубокой Неве, если б она, к счастию, не была закутана в то время ледяною своей шубою.

Утомилась ли судьба преследовать Павла или хотела только сильнее уязвить его минутным роздыхом в несчастиях, он, воротясь домой, был встречен неожиданным исполнением главного своего желания. В прихожей дожидал его богато одетый слуга графини И..., который вручил ему записку; Павел с трепетом развертывает и читает следующие слова, начертанные слишком ему знакомою рукою графини:

«Злые люди хотели поссорить нас; я все знаю; если в вас осталась капля любви ко мне, капля сострадания, придите в таком-то часу вечера. Вечно твоя И.»

Как глупы любовники! Павел, пробежав сии магические строки, забыл и дружбу Веры, и неприязнь Варфоломея; весь мир настоящий, прошедший и грядущий стеснился для него в лоскутке бумаги; он прижимает к сердцу, целует его, подносит несколько раз к свету. «Нет!— восклицает он в восторге.— Это не обман; я точно, точно счастлив; так не напишет, не может написать никто, кроме ее одной. Но не хочет ли плутовка зазвать и морочить меня, и издеваться надо мною по-прежнему? Нет! клянусь, не бывать этому. «Твоя — вечно твоя», пусть растолкует мне на опыте, что значит это слово. Не то... добрая слава ее теперь в моих руках».

В урочный час наш Павел, пригожий и разряженный, уже на широкой лестнице графини; его без доклада провожают в гостиную, где, к его досаде, собралось уже несколько посетителей, между которыми, однако, не было косоногого. Хозяйка приветствует его сухо, едва говорит с ним; но она недаром на него уставила большие черные глаза свои и томно опустила их: мистическая азбука любящих, непонятная

профанам. Гости принимаются за игру; хозяйка, отказываясь, уверяет, что ей приятно садиться близ каждого из игроков поочередно, ибо она надеется ему принести счастие. Все не надивятся ее тонкой вежливости. Немного спустя: «Вы у нас давно не были,— говорит графиня, оборачиваясь к юноше,— замечаете ли некоторые перемены в уборах этой комнаты? Вот, например, занавесы висели сперва на лавровых гирляндах; но мне лучше показалось заменить их стрелами».—«Недостает сердец»,— отвечает Павел полусухо, полувежливо. «Но не в одной гостиной,— продолжает графиня,— есть новые уборы», и вставая с кресел: «Не хотите ли,— говорит она,— заглянуть в диванную; там развешаны привезенные недавно гобелены отличного рисунка». Павел с поклоном идет за ней. Неизъяснимым чувством забилось его сердце, когда он вошел в эту очарованную комнату. Это была вместе зимняя оранжерея и диванная. Миртовые деревья, расставленные вдоль стен, укрощали яркость света канделябров, который, оставляя роскошные диваны в тени за деревьями, тихо разливался на гобеленовые обои, где в лицах являлись, внушая сладострастие, подвиги любви богов баснословных. Против анфилады стояло трюмо, а возле на стене похищение Европы — доказательство власти красоты хоть из кого сделать скотину. У этого трюмо начинается роковое объяснение. Всякому просвещенному известно, что разговор любящих всегда есть самая жестокая амплификация: итак, перескажу только сущность его. Графиня уверяла, что насмешки ее над дурным французским выговором относились не к Павлу, а к одному его соименнику, что она долго не могла понять причины его отсутствия, что, наконец, Варфоломей ее наставил, и прочее, и прочее. Павел, хотя ему казались странными сведения Варфоломея в таком деле, о котором никто ему не сказывал, и роль миротворца, которую он принял на себя при этом случае, поверил, разумеется, всему; однако упорно притворялся, что ничему не верит. «Какого же еще доказательства хотите вы?»— спросила наконец графиня с нежным нетерпением. Павел, как вежливый юноша, в ответ поцеловал жарко ее руку; она упрямилась, робела, спешила к гостям; он становился на колени и крепко держа руки ее, грозил, что не выпустит, да к этому вприбавок сию же минуту застрелится. Сия тактика имела вожделенный успех— и тихое, дрожащее рукопожатие, с тихим шепотом: «Завтра в 11 часов ночи, на заднее крыльцо»— громче пороха и пушек возвестило счастливому Павлу торжество его.

Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между дву-

мя из игроков только что не дошло до драки. «Смотрите,— сказал один графине, запыхавшись от гнева,— я даром проигрываю несколько сот душ, а он...» — «Вы хотите сказать — несколько сот рублей»,— прервала она с важностью. «Да, да... я виноват... я ошибся»,— отвечал спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу. Игроки замяли спор, и всю суматоху как рукой сняло. Павел на сей раз пропустил все мимо ушей. Волнение души не позволило ему долго пробыть в обществе, он спешил домой предаться отдыху, но сон долго не опускался на его вежды; самая действительность была для него сладким сновиденьем. Распаленной его фантазии бессменно предстояли черные, большие, влажные очи красавицы. Они сопровождали его и во время сна; но сны, от предчувствия ли тайного, от волнения ли крови, всегда кончались чем-то странным. То прогуливался он по зеленой траве; перед ним возвышались два цветка, дивные красками; но лишь только касался он стебля, желая сорвать их, вдруг взвивалась черная, черная змея и обливала цветки ядом. То смотрел он в зеркало прозрачного озера, на дне которого у берега играли две золотые рыбки; но едва опускал он к ним руку, земноводное чудовище, стращая, пробуждало его. То ходил он ночью под благоуханным летним небосклоном, и на высоте сияли неразлучно две яркие звездочки; но не успевал он налюбоваться ими, как зарождалось черное пятно на темном западе и, растянувшись в длинного облачного змея, пожирало звездочки. Всякий раз, когда такое видение прерывало сон Павла, встревоженная мысль его невольно устремлялась на Варфоломея; но через несколько времени черные глаза снова одерживали верх, покуда новый ужас не прерывал мечты пленительной. Несмотря на все это, Павел, проспавши до полудня, встал веселее, чем когда-нибудь. Остальные 11 часов дня, как водится, показались ему вечностию. Не успело смеркнуться, как он уже бродил вокруг дома графини; не принимали никого, не зажигали огня в парадных комнатах, только в одном дальнем углу слабо мерцал свет: «Там ждет меня прелестная»,— думал про себя Павел, и заранее душа его утопала в наслаждении.

Протяжно пробило одиннадцать часов на Думской башне, и Павел, любовью окрыленный... Но здесь я прерву картину свою и, в подражание лучшим классическим и романтическим писателям древнего, среднего и новейшего времени, предоставлю вам дополнить ее собственным запасом воображения. Коротко и ясно: Павел думал уже вкусить блаженство... как вдруг постучались тихонько у двери кабинета; графиня в сму-

щении отворяет; доверенная горничная входит с докладом, что на заднее крыльцо пришел человек, которому крайняя нужда видеть молодого господина. Павел сердится, велит сказать, что некогда, колеблется, выходит в прихожую, ему говорят, что незнакомый ушел сию минуту. Он возвращается к любезной: «Ничто с тобой не разлучит меня»,— говорит он страстно. Но вот стучатся снова, и горничная входит с повторением прежнего. «Пошлите к черту незнакомца,— кричит Павел, топнув ногою,— или я убью его»: выходит, слышит, что и тот вышел; сбегает по лестнице во двор, но там ничто не колыхнется, и лишь только снег безмолвно валит хлопьями на землю. Павел бранит слуг, запрещает пускать кого бы то ни было, возвращается пламеннее прежнего к встревоженной графине; но прошло несколько минут, и стучатся в третий раз, еще сильнее, продолжительнее. «Нет, полно!— закричал он вне себя от ярости.— Я доберусь, что тут за привидение; это какая-нибудь шутка». Вбегая в прихожую, он видит край плаща, который едва успел скрыться за затворяемою дверью; опрометью накидывает он шинель, хватает трость, бежит на двор и слышит стук калитки, которая лишь только захлопнулась за кем-то. «Стой, стой, кто ты таков?»— кричит вслед ему Павел и, выскочив на улицу, издали видит высокого мужчину, который как будто останавливается, чтобы поманить его рукою, и скрывается в боковой переулок. Нетерпеливый Павел за ним следует, кажется, нагоняет его; тот снова останавливается у боковой улицы, манит и исчезает. Таким образом юноша следит за незнакомцем из улицы в улицу, из закоулка в закоулок и наконец находит себя по колена в сугробе, между низенькими домами, на распутии, которого никогда отроду не видывал; а незнакомец пропал безо всякого следа. Павел остолбенел, и признаюсь, никому бы не завидно, пробежав несколько верст, очнуться в снегу в глухую полночь, у черта на куличках. Что делать? идти?— заплутаешься; стучаться у ближних ворот?— не добудишься. К неожиданной радости Павла, проезжают сани. «Ванька!— кричит он.— Вези меня домой в такую-то улицу». Везет послушный Ванька невесть по каким местам, скрыпит снег под санями, луна во вкусе Жуковского неверно светит путникам сквозь облака летучие. Но едут долго, долго, все нет места знакомого; и наконец вовсе выезжают из города. Павлу пришли, естественно, на мысль все старые рассказы о мертвых телах, находимых на Волковом поле, об извозчиках, которые там режут седоков своих, и т. п. «Куда ты везешь меня?»— спросил он твердым голосом; не было ответа. Тут, при свете

луны, он захотел всмотреться в жестяной билет извозчика и, к удивлению, заметил, что на этом билете не было означено ни части, ни квартала; но крупными цифрами странной формы и отлива написан был № 666, число Апокалипсиса, как он позднее вспомнил. Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со всего размаху ударил своей палкою по спине извозчика. Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова, и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом: «Потише, молодой человек; ты *не с своим братом* связался». Несчастный юноша только имел силу сотворить знамение креста, от которого давно руки его отвыкли. Тут санки опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся страшный вихрь; экипаж, лошадь, ямщик — все сравнялось с снегом, и Павел остался один-одинехонек за городскою заставою, еле живой от страха.

На другой день юноша лежал изнеможенный на кровати в своей комнате. Подле него стоял добрый престарелый дядька и, одной рукой держа вялую руку господина, часто отворачивался, чтобы стереть другой слезу, украдкой навернувшуюся на подслепую зеницу его. «Барин, барин,— говорил он,— недаром докладывал я вашей милости, что не бывает добра от ночной гульбы. Где вы пропадали? Что это с вами сделалось?» Павел не слыхал его: он то дикими глазами глядел по нескольку времени в угол, то впадал в дремоту, впросонках дрожал и смеялся, то вскакивал с постели как сумасшедший, звал имена женские, потом опять бросался лицом на подушки. «Бедный Павел Иванович!— думал про себя дядька.— Господь его помилуй, он,верно,ума лишился»,— и в порыве добросердечия, улучив первую удобную минуту, побежал за врачом. Врач покачал головою, увидя больного, не узнававшего окружающих, и ощупав лихорадочный пульс его. Наружные признаки противоречили один другому, и по ним ничего нельзя было заключить о болезни; все подавало повод думать, что ее причина крылась в душе, а не в теле. Больной почти ничего не вспоминал о прошедшем; душа его, казалось, была замучена каким-то ужасным предчувствием. Врач, убежденный верным дядькою, с ним вместе не отходил целый день от одра юноши; к вечеру состояние больного сделалось отчаянно; он метался, плакал, ломал себе руки, говорил о Вере, о Васильевском острове, звал на помощь, к кому и кого, бог весть, хватал шапку, рвался в дверь, и соединенные усилия врача и слуги

едва смогли удержать его. Сей ужасный кризис продолжался за полночь; вдруг больной успокоился — ему стало легче; но силы душевные и телесные совершенно были убиты борьбою; он погрузился в мертвый сон, после коего прежний кризис возобновился.

Припадок держал юношу полные трое суток с переменчивою силою; на третье утро, начиная чувствовать в себе более крепости, он встал с постели, когда ему сказали, что в прихожей дожидается старая служанка вдовы. Сердце не предвещало ему доброго; он вышел; старушка плакала навзрыд. «Так! еще несчастие!— сказал Павел, подходя к ней.— Не мучь меня, голубушка; все скорее выскажи».— «Барыня приказала долго жить,— отвечала старушка,— а барышне бог весть долго ли жить осталось».—«Как? Вера? Что?»— «Не теряйте слов, молодой барин: барышне нужна помощь. Я прибрела пешком; коли у вас доброе сердце, едемте к ней сию минуту: она в доме священника церкви Андрея Первозванного».—«В доме священника? зачем?»—«Бога ради, одевайтесь, все после узнаете». Павел окутался, и поскакали на Васильевский.

Когда он в последний раз видел Веру и мать ее, вдова уже давно страдала болезнию, которая при ее преклонных летах оставляла не много надежды на исцеление. Слишком бедная, чтобы звать врача, она пользовалась единственно советами Варфоломея, который, кроме других сведений, хвалился некоторым знакомством с медициною. Деятельность его была неутомима: он успевал утешать Веру, ходить за больною, помогать служанке, бегать за лекарствами, которые приносил иногда с такой скоростию, что Вера дивилась, где он мог найти такую близкую аптеку. Лекарства, доставленные им, хотя и не всегда помогали больной, но постоянно придавали ей веселости. И странно, что чем ближе подходила она к гробу, тем неотлучнее пребывали ее мысли прикованы к житейскому. Она спала и видела о своем выздоровлении; о том, как ее дети Варфоломей и Вера пойдут под венец и начнут жить да поживать благополучно, боялась, не будет ли этот домик тесен для будущей семьи, удастся ли найти другой поближе к городу, и проч. и проч. Мутная невыразительность кончины была в ее глазах, когда она, подозвав будущих молодых к своей постели, с какой-то нелепою улыбкою говорила: «Не стыдись, моя Вера, поцелуйся с женихом своим; я боюсь ослепнуть, и тогда уже не удастся мне смотреть на ваше счастие». Между тем рука смерти все более и более тяготела над старухою: зрение и память час от часу тупели.

В Варфоломее не заметно было горести; может быть, самые хлопоты, беспрерывная беготня помогали ему рассеяться. Веру же тревожили размышления об матери, как и о самой себе. Какой невесте не бывает страшно перед браком? Однако она всячески старалась успокоить себя. «Я согрешила перед богом,— думала девица,— не знаю, почему я сперва почла Варфоломея за лукавого, за злого человека. Но он гораздо лучше Павла; посмотрите, как он старается о матушке: сам себя, бедный, не жалеет — стало, он не злой человек». Вдруг мысли ее туманились. «Он крутого нрава,— говорила она себе,— когда чего не хочет и скажешь ему: Варфоломей, бога ради это сделайте,— он задрожит и побледнеет. Но,— продолжала Вера, мизинцем стирая со щеки слезинку,— ведь я сама не ангел; у всякого свой крест и свои пороки: я буду исправлять его, а он меня».

Тут приходили ей на ум новые сомнения: «Он, кажется, богат; честными ли он средствами добыл себе деньги? Но это я выспрошу, ведь он меня любит». Так утешала себя добрая, невинная Вера, а старухе между тем все хуже и хуже. Вера сообщила свой страх Варфоломею, спрашивала даже, не нужно ли призвать духовника; но он горячился и сурово отвечал: «Хотите ускорить кончину матушки? Это лучший способ. Болезнь ее опасна, но еще не отчаянна. Что ее поддерживает? Надежда исцелиться. А призовем попа, так отнимем последнюю надежду». Робкая Вера соглашалась, побеждая тайный голос души; но в этот день,— и заметьте, это было на другой день рокового свидания Павла с прелестной графинею,— опасность слишком ясно поразила вещее сердце дочери. Отозвав Варфоломея, она ему сказала решительным голосом: «Царем небесным заклинаю вас, не оставьте матушку умереть без покаяния: бог знает, проживет ли она до завтра»— и упала на стул, заливаясь слезами. Что происходило тогда в Варфоломее? Глаза его катались, на лбу проступал пот, он силился что-то сказать и не мог выговорить. «Девичье малодушие,— пробормотал он напоследок.— Ты ничему не веришь... вы, сударыня, не верите моему знанию медицины... Постойте... у меня есть знакомый врач, который больше меня знает... жаль, далеко живет он». Тут он схватил руку девицы и, подведя ее стремительно к окну, показал на небо, не поднимая глаз своих: «Смотрите; там еще не явится первая звезда, как я буду назад, и тогда решимся; обещаете ли только не звать духовника до моего прихода?»—«Обещаю, обещаю». Тогда послышался протяжный вздох из спальней. «Спешите,— закричала Вера, бросаясь к дверям ее, потом оборотилась,

взглянула еще раз с умилением грусти неописанной на вкопанного и, махнув ему рукою, повторила: — Спешите, ради меня, ради бога». Варфоломей скрылся.

Мало-помалу зимний небосклон окутывался тучами, а в больной жизнь и тление выступали впоследние на смертный поединок. Снег начинал падать; порывы летучего ветра заставляли трещать оконницы. При малейшем хрусте снега Вера подбегала к окну смотреть, не Варфоломей ли возвращается; но лишь кошка мяукала, галки клевались на воротах, и калитку ветер отворял и захлопывал. Ночь с своей черной пеленою приспела преждевременно; Варфоломея нет как нет, и на своде небесном не блещет ни одной звезды. Вера решилась послать по духовника старую служанку; долго не возвращалась она, и не мудрено, потому что не было ни одной церкви ближе Андрея Первозванного. Но хлопнула калитка, и вместо кухарки явился Варфоломей, бледный и расстроенный. «Что? надежды нет?» — прошептала Вера. — «Мало, — сказал он глухим голосом, — я был у врача; далеко живет он, много знает...» — «Да что же говорит он, бога ради?» — «Что до того нужды?.. за попом теперь посылать время. А! вижу; вы послали уже... туда и дорога!» — сказал он с какой-то сухостью, в которой обнаруживалось отчаяние.

Чрез несколько времени, уже в глухую ночь, старая служанка прибрела с вестью, что священника нет дома, но когда воротится, ему скажут и он тотчас придет к умирающей. Об этом решились предварить ее. «С умом ли вы, дети, — сказала она слабо, — неужто я так хвора? Вера! что ты хныкаешь? Вынеси лампаду; сон меня поправит». Дочь лобызала руку матери, а Варфоломей во все время безмолвствовал поодаль, уставив на больную глаза, которые, когда лампада роняла на них свое мерцание, светились как уголья.

Вера с кухаркою стояли на коленях и молились. Варфоломей, ломая себе руки, беспрестанно выходил в сени, жалуясь на жар в голове. Чрез полчаса он вошел в спальню и как сумасшедший выбежал оттуда с вестью: «Все кончено!» Не стану описывать, что в сию минуту почувствовала Вера! Однако сила ее духа была необычайная. «Боже! это воля твоя!» — произнесла она, поднимая руки к небу; хотела идти; но телесные силы изменили, она, полумертвая, опустилась на кресла, и не стало бы несчастной, если б внезапный поток слез не облегчил ее стесненной груди. Между тем старуха, воя, обмыла труп, поставила свечу у изголовья и пошла за иконою; но тут же от усталости ли, от иной ли причины забылась сном неодолимым. В эту минуту Варфоломей подошел

к Вере. У самого беса растаяло бы сердце: так она была прелестна в своей горести. «Ты меня не любишь,— воскликнул он страстно,— я с твоею матерью потерял единственную опору в твоем сердце». Девицу испугало его отчаяние. «Нет, я тебя люблю»,— отвечала она боязливо. Он упал к ногам ее: «Клянись,— говорил он,— клянись, что ты моя, что любишь меня более души своей». Вера никогда не ожидала б такой страсти в этом холодном человеке: «Варфоломей, Варфоломей,— сказала она с робкою нежностию,— забудь грешные мысли в этот страшный час; я поклянусь, когда схороним матушку, когда священник в храме божием нас благословит...» Варфоломей не выслушал ее и, как исступленный, ну молоть околесную: уверял, что это все пустые обряды, что любящим не нужно их, звал ее с собою в какое-то дальнее отечество, обещал там осыпать блеском княжеским, обнимал ее колена со слезами. Он говорил с такою страстью, с таким жаром, что все чудеса, о которых рассказывал, в ту минуту казались вероятными. Вера уже чувствовала твердость свою скудеющей, опасность пробудила ее силу душевную; она вырвалась и побежала к дверям спальней, где думала найти служанку; Варфоломей заступил ей дорогу и сказал уже с притворною холодностью, с глазами свирепыми: «Послушай, Вера, не упрямься; тебе не добудиться ни служанки, ни матери: никакая сила не защитит тебя от моей власти».—«Бог защитник невинных»,— закричала бедняжка, в отчаянии бросаясь на колени пред распятием. Варфоломей остолбенел, его лицо изобразило бессильную злобу. «Если так,— возразил он, кусая себе губы,— если так... мне, разумеется, с тобою делать нечего; но я заставлю твою мать сделать тебя послушною».— «Разве она в твоей власти?»— спросила девица. «Посмотри»,— отвечал он, уставивши глаза на полурастворенную дверь спальней, и Вере привиделось, будто две струи огня текут из его глаз и будто покойница, при мерцании свечи нагоревшей, приподнимает голову с мукою неописанной и иссохшею рукою машет ей к Варфоломею. Тут Вера увидела, с кем имеет дело. «Да воскреснет бог! И ты исчезни, окаянный»,— вскрикнула она, собрав всю силу духа, и упала без памяти.

В этот миг словно пушечный выстрел пробудил спящую служанку. Она очнулась и в страхе увидела двери отворенными настежь, комнату в дыму и синее пламя, разбегавшееся по зеркалу и гардинам, которые покойница получила в подарок от Варфоломея. Первое ее движение было схватить кувшин воды, в углу стоявший, и выплеснуть на поломя; но огонь заклокотал с удвоенною яростию и опалил седые

волосы кухарки. Тут она без памяти вбежала в другую комнату, с криком: «Пожар, пожар!» Увидя свою барышню на полу без чувства, схватила ее в охапку и, вероятно, получив от страха подкрепление своим дряхлым силам, вытащила ее на мост за ворота. Близкого жилья не было, помощи искать негде; пока она оттирала снегом виски полумертвой, пламя показалось из окон, из труб и над крышею. На зарево прискакала команда полицейская с ведрами, ухватами: ибо заливные трубы еще не были тогда в общем употреблении. Сбежалась толпа зрителей, и в числе их благочинный церкви Андрея Первозванного, который шел с дарами посетить умиравшую. Он не был в особенных ладах с покойницей и считал ее за дурную женщину; но он любил Веру, о которой слыхал много хорошего от дочери, и, соболезнуя несчастию, обещал деньги пожарным служителям, если успеют вытащить тело, чтобы доставить покойнице хоть погребение христианское. Но не тут-то было. Огонь, разносимый вьюгою, презирал все действие воды, все усилия человеческие; один полицейский капрал из молодцов задумал было ворваться в комнаты, дабы вынести труп, но пробыл минуту и выбежал в ужасе; он рассказывал, будто успел уже добраться до спальней и только что хотел подойти к одру умершей, как вдруг спрыгнула сверху образина сатанинская, часть потолка с ужасным треском провалилась, и он только особенною милостию Николы Чудотворца уберег на плечах свою головушку, за что обещал тут же поставить полтинную перед его образом. Между собою зрители толковали, что он трус и упавшее бревно показалось ему бесом; но капрал остался тверд в своем убеждении и до конца жизни проповедовал в шинках, что на своем веку лицезрел во плоти нечистого со хвостом, рогами и большим горбатым носом, которым он раздувал поломя, как мехами в кузнице. «Нет, братцы, не приведи вас бог увидеть окаянного». Сим красноречивым обетом наш гений всегда заключал повесть свою, и хозяин, в награду его смелости и глубокого впечатления, произведенного рассказом на просвещенных слушателей, даром подносил ему полную стопу чистейшего пенника.

Итак, невзирая на все старания команды, которой деятельным усилиям в сем случае потомство должно, впрочем, отдать полную справедливость, уединенный домик Васильевского острова сгорел до основания, и место, где стоял он, не знаю почему, до сих пор остается незастроенным. Престарелая служанка, при пособии благочинного с причетом приходским, воскресив Веру из обморока, нашла с нею убежище в доме сего достойного пастыря. Пожар случился столь нечаянно, и

все обстоятельства оного были так странны, что полиция нашла нужным о причинах его учинить подробное исследование. Но как подозрение не могло падать на старую служанку, а еще менее на Веру, то зажигателем ясно оказался Варфоломей. Описали его приметы, искали его явным и тайным образом не только во всех кварталах, но и во всем уезде Петербургском; но все было напрасно: не нашли и следов его, что было тем более удивительно, что зимою нет судоходства, и следственно, ему никакой не было возможности тихонько отплыть на иностранном корабле в чужие края. Неизвестно, до чего могло бы довести долгое исследование; но благочинный, любя Веру душевно и не зная, до какой глубины могли простираться ее связи с этим человеком, благоразумно употребил свое влияние, дабы потушить дело и не дать ему большей гласности.

Таким образом Павел, за которым послали на третий день, узнав от старухи дорогою, что было ей известно из цепи несчастных приключений, нашел юную свою родственницу больную в жилище отца Иоанна. Гостеприимное семейство пригласило его остаться там до ее выздоровления. Ветреный молодой человек испытал в короткое время столько душевных ударов, и сокровенные причины их оставались в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость. Он забывал и прелести таинственной графини, и буйные веселия юности, сопряженные с такими пагубными последствиями. Одно его моление к небу состояло в том, чтобы Вера исцелилась и он мог служить для нее образцом верного супруга. В минуты уединенного свидания он решался предлагать ей сии мысли; но она, впрочем оказывая ему сестрину доверчивость, с неизменной твердостью отвергала их. «Ты молод, Павел,— говорила она,— а я отцвела мой век; скоро примет меня могила, и там бог милосердный, может быть, пошлет мне прощение и спокойствие». Эта мысль ни на час не оставляла Веру; притом ее, кажется, мучило тайное убеждение, что она своею слабостью допустила злодея совершить погибель матери в сей, а может быть — кто знает? — и в будущей жизни. Никакое врачевство не могло возвратить ей ни веселости, ни здоровья. Поблекла свежесть ланит ее — небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли томным выражением грусти, угнетавшей душу ее прекрасную. Весна не успела еще украсить луга новою зеленью, когда сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоне природы всеприемлющей.

Надобно догадываться, что Вера пред кончиною, кроме

духовного отца, поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными. Когда она скончалась, юноша не плакал, не обнаруживал печали. Но вскоре потом он оставил столицу и, сопровождаемый престарелым слугою, поселился в дальней вотчине. Там во всем околотке слыл он чудаком и в самом деле показывал признаки помешательства. Не только соседи, но самые крестьяне и слуги, после его приезда, ни разу не видали его. Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно, и то еще, когда положат на его стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью. Женщин не мог он видеть, а при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство. Однажды, шагая по своему обыкновению, по комнате, он подошел к двери в то самое время, как Лаврентий отворил ее неожиданно, чтоб доложить ему о чем-то. Павел задрожал: «Ты — не я уморил ее»,— сказал он отрывисто и через неделю просил прощенья у старого дядьки, ибо вытолкнул его так неосторожно, что тот едва не проломил себе затылок о простенок. «После этого,— говорил Лаврентий,— я всегда прежде постучусь, а потом уже войду с докладом к его милости».

Павел умер, далеко не дожив до старости. Повесть его и Веры известна некоторым лицам среднего класса в Петербурге, чрез которых дошла и до меня по изустному преданию. Впрочем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли ей поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?

Д. ВЕНЕВИТИНОВ

ТРИ ЭПОХИ ЛЮБВИ

(Отрывок из неоконченного романа)

Три эпохи любви переживает сердце, для любви рожденное. Первая любовь чиста, как пламень; она, как пламень, на все равно светит, все равно согревает; сердце терпеливо рвется из тесной груди; душа просится наружу; руки все обнимают, и юноша (в первом роскошном убранстве весны своей), в первом развитии способностей, пленителен, как младое дерево в ранних листьях и цветах. Как бы ни являлась ему красота, она для него равно прекрасна. Взор его не ищет Венеры Медицейской, когда он изумляется важному зрелищу вздыхающего Лаокоона. Холодные слова строгого Омира и теплые напевы чувствительного Петрарки равнозвучны в устах его, и любовница его — одна вселенная. Это — эпоха восторгов.

Настает другая. Душа упилась; взоры устали разбегаться; им надобно успокоиться на одном предмете.

Счастлива первая дева, которую он встретит! Какая душа посвящает ей свои восторги! Какою прелестью облекает ее молодое воображение! Как пламенны о ней песни! Как нежно юноша плачет! Эта эпоха — один миг, но лучший миг в жизни.

Что разочаровывает отрока, когда он разбивает им созданную игрушку? Что разочаровывает поэта, когда он предает огню первые, быть может, самые горячие стихи свои? Что заставляет юношу забыть первый идеал свой, забыть тот образ, в который он выливал всю душу? Мы не долго любим свои созданья, и природа приковывает нас к действительности. Дорого платит юноша за восторги второй любви своей. Чем более предполагал он в людях, тем мучительней для него

теперь их встреча. Он молчалив и задумчив. О, если тогда на другом челе, в других очах прочтет он следы тех же чувств, если он подслушает сердце, бьющееся согласно с его сердцем,— с какою радостию подает он руку существу родному! И как ясно понимают они друг друга! Вот третья эпоха любви: это эпоха дум.

НЕВСКІЙ
АЛЬМАНАХЪ
НА 1830 ГОДЪ.
Изданъ
Е. Аладьинымъ.
С. ПЕТЕРБУРГЪ
Печатано въ типографіи Плюшара

О. СОМОВ

СКАЗКИ О КЛАДАХ

Жители С...го уезда и теперь, я думаю, помнят одного из тамошних помещиков, отставного гусарского майора Максима Кирилловича Нешпету. Он жил в степной деревушке, верстах в тридцати от уездного города, и был очень известен в тамошнем околотке как самый хлебосольный пан и самый неутомимый охотник. Немврод и король Дагоберт едва ль не уступили бы ему в беспощадной вражде к черной и красной дичи и в нежной привязанности к собакам. Привязанность эта до того доходила, что собаки съедали у него весь годовой запас овса и ячменя; а чего не съедали собаки, то помогали докончить добрые соседи, большие охотники порыскать в поле с гончими и борзыми и еще больше охотники поесть и попить сами и покормить скотов своих на чужой счет.

При таком хозяйственном распорядке мудрено ли, что небогатый годовой доход от тридцати душ крестьян и небольшого участка земли был ежегодно съеден в самом буквальном смысле. Этого мало: добрый майор, из жалости, никогда не раздавал щенков в чужие руки, а псарня его плодилась на диво; с умножением псарни должны были поневоле умножаться и расходы. Прибавьте к тому, что шесть самых видных и дюжих парней из его деревушки переряжены были в псарей; что при таком обширном охотничьем заведении необходимо было иметь несколько лошадей лишних как для самого майора, так и для псарей его, а часто еще для одного или двоих из добрых приятелей, у которых собственные лошади всегда на-

ходили средство или расковаться, или вывихнуть себе ноги. Полевые работы шли плохо, потому что шестеро псарей в осень и в зиму день при дне скакали за зайцами и лисицами, а остальную часть года или отдыхали, или ухаживали за собаками, следовательно, вовсе оторваны были от барщины и от домов своих; а потеря дюжины здоровых рук в небольшом сельском хозяйстве есть потеря весьма значительная. Так, год от года, псарня доброго майора плодилась, расходы умножались, доходы уменьшались, а долги нарастали и чрез несколько лет сделались, по его состоянию, почти неоплатными. Это бы все ничего, если бы майор был сам своею головою; но у него было два сына и дочь, молодая и прелестная Ганнуся, расцветшая со всею свежестью красавицы малороссийской. Она составляла главную заботу бедного и неосторожного отца. Сыновья учились в губернском городе; и майор говаривал, что с божьею помощию и своим рассудком они вступят со временем в службу и будут людьми; но Ганнуся была уже невеста: где ей найти жениха, без приданого, и как ей оставаться сиротою после смерти отца, без хлеба насущного?

Такие мысли почти неотступно тревожили доброго майора; он сделался уныл и задумчив. Часто тяжкая дума садилась к нему на седло, шпорила или сдерживала невпопад коня его, заставляла пропускать дичь мимо глаз или метила ружьем его в кость вместо зайца. Часто, в долгую зимнюю ночь, злодейка-грусть закрадывалась к нему под подушку, накликала бессонницу и с нею все сбыточные и несбыточные страхи. То слышался ему звонкий колокольчик: вот едут судовые описывать имение и продавать с молотка; то чудилось, что он лежит в гробу под тяжелою могильною насыпью и между тем бедная Ганнуся, сиротою и в чужих людях, горькими слезами обливает горький кусок хлеба. Голова его пылала, в глазах светились искры; скоро эти искры превращались в пожар... ему казалось, что дом в огне, в ушах отзывался звон набата... он вскакивал; и хотя страшные мечты исчезали, но биение сердца и тревоги душевные гнали его с постели. Он скорыми, неровными шагами ходил по комнате, пока усталость, а не дремота, снова укладывала его на жгущие подушки.

В одну из таких бессонных ночей, лежа и ворочаясь на кровати, выискивал он в голове своей, чем бы разбить свою тоску и рассеять мрачные думы. Ему вспало на мысль пересмотреть старинные бумаги, со времени еще деда майорова уложенные в крепкий дубовый сундук и хранившиеся у ста-

рика под кроватью, по смерти же его, отцом майоровым, со всякою другою ненужною рухлядью, отправленные в том же сундуке на бессрочный отдых в темном углу чердака. Сам майор, никогда не читая за недосугом, оставлял их в полное распоряжение моли и сырости; а люди, зная, что тут нечем поживиться, очень равнодушно проходили мимо сундука и даже на него не взглядывали. Чего не придет в голову с тоски и скуки! Теперь майор будит своих *хлопцев*, посылает их с фонарем на чердак и ждет не дождется, чтоб они принесли к нему сундук. Наконец четверо хлопцев насилу его втащили: он был обит широкими полосами листового железа, замкнут большим висячим замком и, сверх того, в несколько рядов перевязан когда-то крепкими веревками, от которых протянуты были бечевки, припечатанные дедовскою печатью на крышке и под нею. Хлопцы с стуком опустили сундук на землю; перегнившие веревки отскочили сами собою, и пыль, наслоившаяся на нем за несколько десятков лет, столбом взвивалась от крышки. Майор еще прежде отыскал ключ, вложил его в замок и сильно повернул, но труд этот был излишний: язычок замка перержавел от сырости и отпал при первом прикосновении ключа, дужка отвалилась, и замок упал на пол. То же было и с крышкою, у которой ржа переела железные петли.

Тяжелый запах от спершейся в бумагах сырости не удержал майора: он бодро приступил к делу. Хлопцы, уважая грамотность своего пана и дивясь небывалому дотоле в нем припадку любочтения, почтительно отступили за дверь и молча пожелали ему столько ж удовольствия от кипы пыльных бумаг, сколько сами надеялись найти на жестких своих постелях. Между тем майор вынимал один по одному большие *свитки*, или бумаги, склеенные между собою в виде длинной ленты и скатанные в трубку. То были старинные купчие крепости, записи, отказные и проч. на поместья и усадьбы, давно уже распроданные его предками или перешедшие в чужой род; два или три гетманские универсала, на которых «*имярек*» гетман, божиею милостию, *такой-то*, подписал *рукою властною*. Все это мало удовлетворяло любопытству майора, пока наконец не попались ему на глаза несколько тетрадей старой уставчатой рукописи, где, между сказками о *Соловье-разбойнике*, *о Семи мудрецах и о Юноше* и тому подобными, одна небольшая, полусотлевшая тетрадка обратила на себя особенное его внимание. Она была исписана мелким письмом, без всякого заглавия, но когда майор пробежал несколько строк, то уже не мог с нею расстаться. И вправду,

волшебство этой рукописи было непреодолимо. Вот как она начиналась[1]:

«Попутчик Сагайдачного Шляха[2] берет от Трех Курганов поворот к Долгой Могиле. Там останавливается он на холме, откуда в день шестого августа, за час до солнечного заката, человеческая тень ложится на полверсты по равнине, идет к тому месту, где тень оканчивается, начинает рыть землю и, докопавшись на сажень, находит битый кирпич, черепья глиняной посуды и слой угольев. Под ними лежит большой сундук, в котором Худояр[3] спрятал три большие серебряные стопы, тридцать ниток крупного жемчуга, множество золотых перстней, ожерелий и серег с дорогими каменьями и шесть тысяч польских злотых в кожаном мешке...»

Словом, это было *Сказание о кладах*, зарытых в разных местах Малороссии и Украины. Чем далее читал Максим Кириллович, тем более дивился, что он живет на такой земле, где стоит только порыться на сажень в глубину, чтоб быть в золоте по самое горло: так, по словам этой рукописи, страна сия была усеяна подспудными сокровищами. Как не отведать счастия поисками этих сокровищ? Дело, казалось, такое легкое, а добыча такая богатая. Одно только не допускало майора на другой же день приступить к сим поискам: тогда была зима, поля покрыты были глубоким снегом; трудно было рыться под ним, еще труднее отыскивать заметки, положенные в разных урочищах над закопанными кладами. Но должно было покориться необходимости: русской зимы не пересилишь — это уже не раз было доказано, особливо чужеземным врагам народа русского. Так и майор принужден был отложить до весны свои подземные исследования и на этот раз был богат только надеждою. Однако ж он не вовсе оставался без дела: рукопись была написана нечеткою старинною рукою и под титлами, т. е. с надстрочными сокращениями слов, майор учен был русской грамоте, как говорится, на медные деньги, и можно смело сказать, что никакому археологу не было столько труда от чтения и пояснения древних рукописей геркуланских, сколько нашему Максиму Кирилловичу от разбиранья любопытной его находки. Наконец он принял отчаянные меры: заперся в своей комнате и самым четким по возможности своим почерком начал переписывать тетрадку, надеясь, что сим способом он добьется в ней до настоящего смысла. Псовая охота не приходила уже ему и в голову, борзые и гончие выли со скуки под окнами, а псари от безделья почти не выходили из шинка. Так проходили целые недели, и не мудрено: с непривычки к чистописанию майор пи-

сал очень медленно; при том же часто, пропустя или переинача какое-либо слово или не разобрав его в подлиннике, он не доискивался толку в своем списке и с досады раздирал по нескольку страниц; должно было приниматься снова за старое, и от того-то дело его подвигалось вперед черепашьим шагом. Надобно сказать, что вместо отдыха от письменных своих подвигов он, из благодарности к сундуку, прибил к нему своими руками новые петли и пробой, уложил по-прежнему вынутые из него бумаги, запер его крепким замком и едва не надсадился, подкачивая его под свою кровать. Домашние майоровы согласно думали, что он пишет свою духовную. Особливо Ганнусю это крайне печалило: бедная девушка воображала, что отец ее, предчувствуя близкую свою кончину, желал устроить будущее состояние детей своих и делал нужные для того распоряжения. Быв скромна и почтительна, она не смела явно спросить о том у отца, а пробраться тайком в его комнату не было возможности: майор почти беспрестанно сидел там, а когда выходил, то запирал дверь на замок и уносил ключ с собою. Соседи майоровы почти совсем перестали посещать его, и поделом! Он не выезжал уже до рассвета с своими псами и псарями на охоту; к тому же, сидя на заперти в своей комнате, не мог по-прежнему беседовать с гостями и потчевать их пуншем с персиковою водкою, а добрые соседи не хотели даром терять пороши или выслушивать рассказы о майоровых походах на свежую голову. Были люди, которые не только его не покинули, но еще стали навещать чаще прежнего: это его заимодавцы, купцы из города, у которых он забирал в долг товары, и честные евреи, поставщики всякой всячины. Эти люди ничем не скучают, когда дело идет о получении денег, и за каждый рубль готовы отмерять до сотни тысяч шагов полным счетом.

Однако ж у майора был один — не скажу истинный друг, а прямо добрый приятель. Истинный друг, по словам одного мудреца, есть такое существо, которого воля сливается с вашею волею и у которого нет других желаний, кроме ваших; а майор Максим Кириллович Нешпета и старый войсковый писарь Спирид Гордиевич Прямченко никогда не хотели одного, не соглашались почти в двух словах и поминутно спорили до зарезу. Несмотря на то, когда майору случалась нужда в деньгах или в чем другом,— а эти случаи очень были нередки,— войсковый писарь никогда ему не отказывал, если только у самого было что-либо за душою; он же сочинял все бумаги по судным майоровым делам, прибавляя к тому полезные советы — и на одном только этом пункте у них не было

споров; ибо майор, будучи сам не великий делец, слепо доверял войсковому писарю, тем больше что никогда не был обманут в своем доверии. Однако же в теперешнем случае майор не смел или не хотел вввериться войсковому писарю, которого называл *вольнодумцем* за то, что сей, учившись когда-то в киевской академии, не верил киевским ведьмам, мертвецам и кладам и часто смеивался над предрассудками и суевериями простодушных земляков своих. Майор, который, по его словам, почти сам видел, как однажды ведьма бросалась и фыркала кошкою на одного гусара, его сослуживца, часто с криком и досадою опровергал доказательства своего соседа и предрекал ему, что *будет худо;* но это худо не приходило к войсковому писарю, хотя они спорили об этих важных предметах лет двадцать почти при каждом свидании.

Отсторонив от себя этого советчика, майор обратился к другому. Это был его однополчанин, отставной гусарский капрал Федор Покутич, которого майор принял в свой дом, давал ему, как называл, *паек* от своего стола и очень достаточную *порцию* водки, покоил его и во всяком случае стоял за него горою. Из благодарности старый капрал присматривал в летнее время за садом и пчельником майоровым, а в осеннее и зимнее — за исправностью псарей и охотничьей сбруи. Сверх того, он лечил майоровых лошадей и собак, почитал себя большим знатоком во всех этих делах и весьма нужным лицом в домашнем быту своего патрона. Старый капрал (такое название давали ему все от мала до велика) был по рождению серб и чуть ли еще не в семилетнюю войну вступил в русскую службу. Высокий рост, широкие плечи и грудь, смуглое лицо с крупными, резко обозначенными чертами, рубец на безволосом теме, другой на правой щеке, а третий за левым ухом, простреленная нога, длинные седые усы, густой, отрывистый бас его голоса, богатырские ухватки и три медали на груди — внушали к нему почтение не только в крестьян майорских и в других поселян, но даже и в соседних мелкопоместных панков. Он ходил всегда в форменной солдатской шинели, на которую нашиты были его медали, закручивал в завитки уцелевшие на висках два пасма волос, а седины своего затылка туго-натуго обвивал черною лентою, крайне порыжевшею от долголетнего употребления. Осенью и зимою, когда майор почему-либо рано возвращался с охоты и когда не было у него гостей, призывал он старого капрала, вспоминал с ним про давние свои походы и молодечество или заставлял его рассказывать всякие были и небылицы; а

на это капрал был и мастер и охотник. Между тем как майор отдыхал на лежанке, старый его сослуживец, растирая табак в глиняном горшке и почасту прихлебывая из сулеи вечернюю свою порцию, пересказывал ему в сотый раз казарменные прибаутки, сказки и страшные были, со всеми прикрасами сербско-малороссийского своего красноречия. К суевериям и предрассудкам своей родины, залегшим смолоду в его памяти, прибавил он порядочный запас поверий и небылиц, выдаваемых за правду в Малороссии и Украине: по сему можно судить, как занимательна была его беседа для любителей чудесного; а добрый наш майор был из числа самых жарких любителей всего такого.

Разумеется, что в этом запасе старого капрала сказки о кладах занимали не последнее место. Мудрено ли, что майор, зная обширные его сведения и предполагая в нем, на веру его же слов, большую опытность по сей части, решился с ним посоветоваться насчет будущих своих поисков? Чтоб не откладывать вдаль исполнения этой благой мысли, тотчас послал он одного из хлопцев отыскивать капрала, который, дивясь и жалея, что старый его командир *сбился с ступи* — так называл он замеченную им перемену в привычках майоровых,— скучал и наедине потягивал свою порцию.

Приказ командирский был для него законом. Старый капрал пригладил усы, закрутил виски, осмотрелся, все ли на нем исправно, и пошел, соблюдая приличную вытяжку и стараясь как можно меньше прихрамывать раненою ногою. Войдя в дверь, он выпрямился, нанес правую руку на лоб и твердым голосом проговорил:

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

— Здравствуй, капрал! каково поживаешь? Я давно не видал тебя.

— Гм, ваше высокоблагородие! не моя вина; я всегда готов на смотр по первому приказу.

— Верю и знаю; да мне было не до того... Садись, старый служивый, да поговорим...

— Не о старине ли?.. Я думаю, ваше высокоблагородие совсем о ней забыли.

— Нет; старину свою отложим мы до будущей зимы, когда у нас от сердца отляжет. Теперь потолкуем о деле

— Извольте, ваше высокоблагородие!

И капрал, который, между прочими делами по дому, произвольно взял на себя обязанность каждый день докладывать майору о сельских работах и вообще о хозяйстве, пустился вычислять все, что сделано было в доме, на винокурне и в

мельнице, с тех пор как майор вовсе перестал заниматься домовыми своими делами. Это перечисление не скоро бы кончилось, если б майор не перебил его.

— Все это очень хорошо, да все не то,— вскрикнул нетерпеливый майор.— Помнишь ли, ты не раз мне рассказывал о кладах? Без дальнего внимания, при таких рассказах я или дремал, или слушал вполуха. Одно только у меня осталось на памяти: что над кладами, из любви к сокровищам, всегда сторожит *недобрый* в том виде, в каком человек, зарывший клад, положил на него зарок являться.

— Да; и собакой, и кошкой, и курицей, только не петухом. Иногда сидит он диким зверем: медведем, волком, обезьяною с огненными глазами и крысьим хвостом; иногда чудовищем, Змеем Горыничем о семи головах; иногда даже и человеком, не в нашу меру будь сказано.

— У меня есть на примете кое-какие кладишки, и можно бы за ними порыться... Об этом расскажу тебе после. А теперь хотел бы снова услышать повнимательнее о прежде найденных кладах, чтобы в пору и во время примениться к тому, *как добрые люди поступали в таких случаях.*

— А вот видите ли, ваше высокоблагородие! (Таков был обыкновенный приступ всех рассказов старого капрала.) Я не служил еще в том полку, в котором находился под командою вашего высокоблагородия; шли мы в глубокую осень из дальнего похода, и нашему полку расписаны были зимние квартиры в К...ском повете. Наш эскадрон поставлен был в одном селении, а в том числе мне отведена была квартира у одной доброй старушки. Хата ее чуть не вертелась на курьих ножках: низка, ветха и стены только что не валились; толкни в угол коленом — она бы и вдосталь рассыпалась; а дом как полная чаша, и в золотой казне, по приметам, у старой не было недостатка. Мне было у нее не житье, а масленица; чего хочешь, того просишь: пить, есть, всего по горло. Ну, словом сказать, она наделяла и покоила меня, как родного сына, и часто даже называла меня *сынку*[4]. Дивились и я и мои товарищи такой доброте старушкиной; дивились и тому, что у нее, под этою ветхою кровлею, такое во всем благословение божие. Стали наведываться о ней у соседей, и те нам сказывали, что у хозяйки моей был один сын, как порох в глазу, и того, по бедности, сельский *атаман*[5] отдал в рекруты, что с тех пор не было о нем ни слуху ни духу и что старушка, расставшись с ним, долго и неутешно плакала. Не было у ней подпоры и помоги, некому было обрабатывать поля и смотреть за домом; скудость ее одолела, она пошла по миру и многие годы бродила из селения

в селение, по ярмаркам и богомольям, питаясь мирским подаянием; как за три года до нашего квартированья вдруг разбогатела. Откуда что взялось: и теплая опрятная одежда вместо нищенского рубища, и лакомый кусок вместо черствых крох милостинных[6]. Домишка хотя она и не перестраивала, да о том и не горевала: добрые соседи, за ее хлеб-соль и ласку, а пуще за чистые деньги, возили ей на зиму столько дров, что и порядочную винокурню можно бы без оглядки отапливать круглый год. Со всем тем она никого не принимала на житье и даже по крайней только нужде пускала к себе в дом любопытных соседей; когда же уходила из дому, то двумя большими замками запирала двери. В селении пошли о ней разные толки, и еще в нашу бытность соседи старушкины натрое толковали о скорой ее разживе: одни думали, что она, во время своего нищенства, искусилась лестью врага нечистого и сделалась ведьмою; другие, что она спозналась с подорожною челядью и в ночную пору давала у себя притон разбойникам, за что будто бы они ее наделяли; третьи же, люди рассудчивые, видя, что она по-прежнему богомольна и прибежна к церкви божией и что у нее никогда не видали ни души посторонней и не слыхали по ночам ни шуму, ни шороха,— говорили, что она нашла клад; а как и где — никто о том не знал, не ведал.

Признаться, у меня не полегчало на душе от всех таких рассказов. Если хозяйка моя колдунья, думал я, то жить под одной кровлей с ведьмою вовсе мне не по нутру. В какую силу она меня прикармливает да привечает? Почему знать, может быть, ей нужна моя кровь или жир, чтоб летать из трубы на шабаш. Вот я и стал за нею подмечать: ночи, бывало, не сплю, все слушаю, а не заметил за нею никакого бесовского *художества*. Старушка моя спит, не шелохнется, а если, бывало, и пробудится, то вздохнет и вслух сотворит молитву. Это меня поуспокоило, только не совсем: я стал приглядывать и обыскивать в доме. Надобно вам сказать, что старуха во всем мне верила: уйдет, бывало, и оставит на мои руки свой домишко со всею рухлядью. Вот однажды, когда она уходила надолго, я давай шарить да искать по всей избе. В переднем углу, под липовою лавкою, стоял сундук с платьем и другим скарбом; веря моей совести, старушка ушла, не замкнув его. Я выдвинул его, пересмотрел в нем все до последней нитки; ничего не было в нем такого, над чем бы можно закусить губы и посомниться. Я уже начал его вдвигать, как вдруг сундук, став на свое место, стукнул обо что-то так громко, что гул пошел по комнате. Я опять его отодвинул; ощупал руками место — там были доски; я разобрал их; под досками врыт был в землю медный

котел ведра в два, а в котле, снизу доверху, все серебряные деньги, и крупные, и мелкие, начиная от крестовиков до старинных копеечек. У меня, сказать правду, глаза распрыгались на такое богатство; только, во-первых, от самого детства никогда рука моя не поднималась на чужое добро; а во-вторых, знал ли я, где и кто чеканил все эти круглевики? Может быть — бродило тогда у меня в голове — если я до них дотронусь, то они рассыплются золою у меня в руке. Я убрал все по-прежнему, поставил сундук на свое место и дожидался старухи как ни в чем не бывало.

За ужином я вздумал от нее самой выведать правду, хоть обиняками. Для этого я завел сперва речь о ее сыне; старуха моя расплакалась горькими слезами и призналась, что положила на себя обещание всякого военного человека, которого бог заведет к ней, поить, кормить и покоить, как родного сына. «От этого,— прибавила она,— верно, и моему сынку будет лучше на чужой стороне, а если бог послал по его душу, легче в сырой земле. Сам ты видишь, служивый, твердо ли я держу свое обещание». Такие старухины речи и меня чуть не до слез разжалобили; я почти уже каялся в своих подозрениях, однако ж все хотел допытаться, отчего она разбогатела. «Мне сказывали, бабушка, ты прежде была в нужде и горе,— молвил я,— расскажи мне, как тебя бог наделил своею милостию?» Старуха смутилась и призадумалась от моего вопроса, однако ж ненадолго; помолчав минуты с две, рассказала она мне все дело таким порядком:

— Жила я, *сынку*, как ты уже слышал, в горе и бедности, бродила по миру и питалась подаянием. Хлеб милостынный не горек, но труден; ноги у меня были изъязвлены и почти не не служили от многой ходьбы и усталости. Однажды я сделалась нездорова и осталась дома; запасу было у меня дни на три, так я и не боялась, что умру с голоду. Тогда была поздняя осень; в долгий вечер, зажегши лучину, сидела я и чинила ветхое свое лохмотье. Вдруг откуда ни возьмись белая курица с светлыми глазами ходит у меня по полу и поклохтывает. Я удивилась; у меня не было в заводе ни кур, ни другой какой живности; соседние тоже не могли забрести: им нечем было бы у меня поживиться. Курица обошла трижды кругом по хате и мигом пропала из виду. Мне стало жутко; я перекрестилась, сотворила молитву и думала, что мне так померещилось. Когда же легла спать, мне приснился старичок, низенький, дряхлый и седенький, с длинною, белою бородою и в белой *свите*. Он мне сказал: «Раба божия! тебе дается счастие в руки, умей его захватить». И с этими словами как не бывал;

только легкое облачко, вьючись, понеслось кверху. На другой вечер, и в ту же пору, опять курица трижды прошлась кругом по хате и проклохтала и также исчезла; я заметила только, что она ушла в передний угол. Ночью тот же старичок явился мне снова и сказал мне: «Раба божия! эй, не упусти своего счастия; будешь на себя плакаться, да поздно. Еще однажды только ему суждено тебе явиться». Я осмелилась и спросила его: «Скажи, мой отец, как же мне добыть это счастье?»— «Возьми палку,— отвечал старик,— и когда оно покажется тебе снова, то помни: на третьем его обходе вкруг хаты ударь по нем, да меть по самому гребню; а после живи да поживай, славь бога и делай добро». Проснувшись утром, я нетерпеливо ждала, чтобы день прошел поскорее, а между тем припоминала и твердила слова старика. Вот наступил и вечер; я взяла в руки палку и глаз не отводила от пола; вдруг выбежала моя курица и поскакала по хате; она была крупнее прежнего и клохтала чаще и громче; высокий гребень на ней светился, а глаза горели, как уголья. Положив на себя крестное знамение, чтобы, какова не мера, не поддаться вражьему искушению, я подняла палку и стерегла курицу на третьем обороте; лишь только она поравнялась со мною, я ударила ее изо всей силы вдоль головы, по самому гребню; курицы не стало, а передо мною рассыпались крупные и мелкие серебряные деньги...

— Все это так,— молвил майор, перервав повесть капрала,— да дело у нас идет не о таком кладе, который сам является, а о таком, который надобно отыскивать под землею.

— За мною дело не станет, ваше высокоблагородие; вся сила в том, как положен клад, с заговором или без заговора?

— Почему ж я это знаю? А надобно готовым быть на всякий случай. Так положим, что наш клад заговорили, когда зарывали в землю.

— И тут я могу пригодиться вашему высокоблагородию. Лишь была б у нас *разрыв-трава* или папоротниковый цвет.

— Вот то-то и беда, что нет ни того, ни другого. Скажи мне по крайней мере, где водится разрыв-трава и как добывается папоротниковый цвет?

— Разрыв-трава водится на топких болотах, и человеку самому никак не найти ее, потому что к ней нет следа и примет ее не отличишь от всякого другого зелья. Надобно найти гнездо кукушки в дупле, о той поре как она выведет детей, и забить дупло наглухо деревянным клином, после притаиться в засаде и ждать, когда прилетит кукушка. Нашедши детенышей своих

взаперти, она пустится на болото, отыщет разрыв-траву и принесет в своем носике; чуть приложит она траву к дуплу, клин выскочит вон, как будто вышибен обухом; в это время надобно стрелять в кукушку, иначе она проглотит траву, чтоб люди ее не подняли. Папоротниковый цвет добывать еще труднее; он цветет в одну только пору: летом, под Иванов день, в глухую полночь[7]. Если, ваше высокоблагородие, не поскучаете, я расскажу вам, что слышал от одного сослуживца, гусара, который сам, с отцом своим и братом, когда-то искал этого цвета в молодости, еще до службы.

— Рассказывай смело; я рад тебя слушать хоть до рассвета.

— Помните ли, ваше высокоблагородие, нашего полку гусара, Ивана Прытченка? Он был лихой детина: высок ростом, статен, силен и смел,— хоть на медведя готов один идти... Смелостью и в могилу пошел. В первую турецкую войну, помнится, под Браиловом, один басурманский наездник выскочил из крепости, вихрем пронесся по нашему фронту, выстрелил из обоих пистолетов и стал под крепостными стенами; там, беснуясь на своем *аргамаке*, браня нас и подразнивая, он вызывал молодца переведаться. Прытченко стоял подле меня; видно было, что его взорвало басурманово самохвальство: он горячил своего коня и вертелся в седле, как на проволоке. Вдруг, оборотясь ко мне, он вскрикнул: «Благослови, товарищ»,— и не успел я дать ответ, уж вижу, наш Прытченко летит стрелою на басурмана, доскакал и давай саблею крошить неверного. С третьего удара, смотрим— турок как сноп на землю, а удалый наш товарищ, схватя его коня за повода, оборотился назад... и в то же время — паф! Турецкие собаки пустили в него ружейный огонь со стены. Добрый конь вынес его из этого адского огня, добежал до фронта, хотел стать на место — и упал. Тогда только мы заприметили, что конь и ездок были изранены. Я соскочил с седла, хотел подать помощь бедному товарищу и вынести его за фронт... Поздно! он уже выбыл из списка! Славный, храбрый был гусар и добрый товарищ: последними крохами, бывало, поделится с своим братом! Упокой, господи, его душу!..

Капрал вздохнул и поднял глаза кверху. Голос его изменился к концу рассказа, и блеск свечи бегло мелькнул на влажных его ресницах. Старый служивый отер глаза, хлебнул глоток своей порции и продолжал:

— Простите, ваше высокоблагородие! Я для того только припомнил об этом случае, чтобы показать вам, что такой молодец не струсил бы от пустяков. Вот что он мне рассказы-

вал однажды в тот же поход и незадолго перед своею смертью, когда мы, отставши ночью вдвоем от товарищей, тихим шагом ехали с фуражировки. Ночь была свежа и темна, хоть глаз выколи, нам нечем было согреться и отвести душу: походные наши сулеи были высосаны до капельки; притом же нас холодили и нерадостные думы: вот как-нибудь наткнемся на турецкую засаду. Мне не то чтобы страшно, а было жутко; я промолвился об этом Прытченку. «Товарищ!— отвечал он.— Такую ли ночь я помню с молодых своих лет? Чего нам тут бояться? Турецких собак? Бритые их головы и бока их басурманские отзовутся под нашими саблями; а там, где не видишь и не зацепишь неприятеля и где он вьется у тебя над головою, свищет в уши и пугает из-под земли и сверху криками и гарканьем,— вот там-то настоящий страх, и я его изведал на своем веку».—«Расскажи мне об этом, товарищ, чтобы скоротать нам дорогу»,— молвил я. «Хорошо,— отвечал он,— слушай же. Нас было трое у отца и матери, три сына, как ясные соколы, молодец к молодцу: я был меньший. Отец наш был когда-то человек зажиточный: посылывал десять пар волов с *чумаками*[8] за солью и за рыбою; хлеба в скирдах и в закромах, вина в амбарах и другого прочего было у него столько, что весь бы наш полк было чем прокормить в круглый год; лошадей целый табун, а овец, бывало, рассыплется у нас на пастбище — видимо-невидимо. Да, знать, за какие тяжкие отцовские или дедовские грехи было на нас божеское попущение: в один год как метлою все вымело. Крымские татары отбили у нас весь обоз: и волы, и соль, и рыба — все там село; чумаки наши пришли домой с одними *батогами*[9]. В летнюю пору, когда все мы ночевали в поле на сенокосе, вдруг набежали гайдамаки на наше село, заграбили у отца моего все деньги и домашнюю рухлядь и увели всех лошадей; в ту же осень и дом наш, со всем добром, с житницами и хлебом в овинах и скирдах, сгорел дотла, так что мы остались только в том, в чем успели выскочить. На беду еще случился скотский падеж, и изо всего нашего рогатого скота не осталось и десятой доли. Горевал мой отец на старости, сделавшись вдруг из самого богатого обывателя чуть не нищим; кое-как, сбыв за бесценок остальной свой скот и большую часть поля, построил он домишко и в нем, что называется, бился как рыба об лед. На свете таково: кто раз приучился к приволью и роскоши, тому трудно в целый век от них отвыкнуть; мой отец беспрестанно вспоминал о прошлом своем житье, тосковал и жаловался, даже говаривал, что за один день такого житья отдал бы остального своего полвека. Часто отец Герасим, приходский наш священник,

который один из целой деревни не оставил нас при бедности, прихаживал к моему отцу, уговаривал его не печалиться и толковал ему, что богатство — прах. Тут обыкновенно он рассказывал нам об одном святом человеке, который, как и мой отец, лишился всего своего несметного богатства; и, мало того, похоронил всех детей и сам был болен какою-то тяжкою немощью; но при всякой новой беде не роптал и еще благословлял имя божие. Отец слушал все это, и у него от сердца отлегало; когда же, бывало, священник долго не придет, то отец мой снова разгорюется и опять за прежнее: все ему и спалось и виделось пожить так, как до черного своего года.

Вот прошел у нас в околотке слух об одном славном *знахаре*[10], который жил от нас верст за шестьдесят, одинок, в глуши, среди темного леса. Рассказывали, что он заговаривал змей, огонь и воду, лечил от всякой порчи, от укушения бешеных собак и даже прогонял нечистого духа; ну, словом, каждую людскую беду как рукой снимал. Отец мой тихонько подговорил меня, и, не сказавшись никому, мы отправились вдвоем к знахарю, потому что отец боялся идти к нему один. Долго ли, коротко ли шли мы, не стану рассказывать; скажу только, что под конец отыскали в лесу узкую тропинку между чащею и валежником, пустились по ней и пришли к высокому плетневому забору, которым обнесена была хата знахаря. Мы постучались у ворот; вдруг раздался лай, и вой, и рев; спустя мало страшный старик отпер нам ворота. Он был высокого роста, широкоплеч, с большою головою, с виду бодр, хотя и очень стар; длинные, густые волосы с проседью сбились у него войлоком на голове и в бороде; сквозь распахнутую рубашку видна была косматая грудь; в руках у него была толстая суковатая дубина. Взгляд у него был суров и дик; под широкими, навислыми бровями бегали и сверкали большие черные глаза. Они пятились изо лба, как у вола, и страшно было видеть, как он ворочал белками, по которым вдоль и вполерек бороздили кровавые жилы. «Что надобно?»— отрывисто проворчал он сиповатым голосом, и лай, и вой, и рев раздались сильнее прежнего. Я вздрогнул и обозрелся кругом: смотрю, по одну сторону ворот прикована пребольшая черная собака, а по другую — черный медведь, такой ужасный, каких я сроду не видывал. Старик грозно на них прикрикнул, и медведь, глухо мурча, попятился в берлогу, а собака, с визгом поджавши хвост, поползла в свою конуру. Отец мой, немного оправясь от страха, поклонился старику и сказал, что хочет поговорить с ним о деле. «Так пойдем в хату!»— пробормотал знахарь сквозь зубы и пошел вперед. Мы

вошли в хату; отец мой, помолясь богу, поставил на стол, покрытый скатертью, хлеб и соль, старик тотчас взял нож, прошептал, кажется, молитву и нарезал на верхней коре хлеба большой крест. «Садитесь!»— сказал нам старик и сам сел в углу, на верхнее место, а мы в конце стола; перед колдуном лежала большая черная книга: видно было, что она очень ветха, хотя все листы в ней были целы и нисколько не истерты. Старик развернул книгу и смотрел в нее. В это время мой отец начал ему рассказывать свою беду, старик не дал ему докончить. «На что лишние слова?— проворчал он отрывисто.— Эта книга мне лучше рассказала все дело; ты был богат, обеднел и хочешь снова разбогатеть. Сказать тебе: «Трудись»,— ты молвишь в ответ, что века твоего не станет. Ну так ищи папоротникова цвета».—«Что же мне прибудет, дедушка, если я отыщу папоротниковый цвет?»—«Носи его в ладонке, на груди: тогда все клады и все подземные богатства на том месте, где будешь стоять или ходить, будут перед тобой как на ладони; а захочешь их взять, приложи только папоротниковый цвет — сами дадутся. Все пойдет тебе в руку, и будешь богаче прежнего».—«Научи же меня, дедушка, как добывать папоротниковый цвет?»—«Некогда мне с тобою толковать: в этот миг дошла до меня весть, что ко мне едут гости, богатый купец с женою. Их испортили: муж воет волком, а жена кричит кукушкой, и им никак не должно с вами здесь встретиться. Ступайте отсюда и по дороге зайдите в Трирецкий хутор: там у первого встречного спросите о бесноватой девушке, ее всякий знает. Она вас научит, что делать; а я теперь же пошлю к *нему* приказ». Сказав это, он взял лоскуток бумаги, написал на нем что-то острым концом ножа и положил на открытое окно. День был тихий и красный, солнце пекло, и ни листок не шелохнулся; но только старик пошевелил губами — вдруг набежало облачко, закрутился вихорь, завыл, засвистал и сыпал искры, подхватил бумажку и умчал ее невесть куда. И мигом облачка как не бывало, на дворе стало ясно и тихо по-прежнему, ни листок на дереве не шелохнулся, только меня с отцом дрожь колотила, как в лихорадке. Поскорее положа полтинник на стол колдуну и отдав ему по поклону, мы без оглядки вон из дверей и за ворота: медведь заревел и собака завыла; а мы, не помня себя, бегом пустились по старому следу и не прежде остановились, как выбравшись из лесу, в котором жил страшный старик. Напугавшись тем, что видели у колдуна, мы и не думали заходить в хутор: нас и без того мороз по коже драл от бесовщины, и рады-рады мы были, когда подобру-поздорову добрались до дому. Од-

нако же дня через три отец сказал мне: «Иван! умный человек ничего не делает вполовину: у нас стало духу на одно, попытаемся ж и на другое; ходили мы к колдуну, пойдем же и к бесноватой. Ты самый смелый из моих сыновей; ну-ка, благословясь, пустимся опять в дорогу». Стыдно и совестно мне было отказаться, хотя вправду сказать, и не было охоты идти на новую попытку. Мы пришли в хутор, где нам тотчас указали дом бесноватой. Входим. На широкой лавке лежит девушка лет двадцати, худая, бледная как смерть; около нее сидят родные и три или четыре старух посторонних; она, казалось, спала или дремала от сильного утомления. Нам сказали, что она уже три дня нас ждала, тосковала, металась, как будто бы пришел ее последний час; теперь же немного поуспокоилась: видно, злой дух на время ее оставил. Вдруг она встрепенулась, вскочила и с криком и бранью бросилась на моего отца. Глаза ее страшно крутились и сверкали, губы посинели и дрожали, и в судорожном ее коверканье заметно было крайнее бешенство. Если б я не успел схватить ее за руки и несколько человек из семьи не подоспело ко мне на подмогу, то, верно бы, она задушила отца моего, как цыпленка. Заскрежетав зубами, она кричала ему не своим голосом: «Гнусный червь! ты довел меня до муки: по твоей милости, я не *мог* до сих пор выполнить данного мне приказания, и оттого трое суток палило меня огнем нестерпимым. Слушай же скорее и убирайся, пока я не *свернул* тебе шею: под Иванов день, около полуночи, ступай сам-третий в лес, в самую глушь. Что б вы ни видели, ни слышали — будьте как без глаз и без ушей: бегите бегом вперед, не оглядывайтесь назад, не слушайте ничего и не откликайтесь на зов. Вас станут манить — не глядите; вам станут грозить — не робейте: все вперед да вперед, пока не увидите, что в глуши светится; тогда один из вас должен бежать прямо на это светлое, рвануть изо всей силы и крепко зажать его в руке. После все вы трое должны бежать назад, так же не останавливаясь, не оглядываясь и не откликаясь. Теперь вон отсюда: желаю вам всем троим сломить там головы!» Девушка упала без чувств на пол, а мы, не дожидаясь другого грозного привета, дали, что могли, ее родителям и поскорее отправились домой. Все это было на *зеленой неделе*[11]; до Иванова дня срок оставался короткий; отец мой часто призадумывался; меня также как змея сосала за сердце: страшно было и подумать! Вот настал и *Купалов день*[12]. Отец мой постился с самого утра, у меня тоже каждый кусок останавливался в горле, как камень. К вечеру отец сказал домашним, что пойдет ночевать в поле и стеречь лошадей, которые выгнаны были на пастбище;

взял меня, старшего моего брата, и, когда смеркалось, мы втроем отправились. Вышед за селение, мы залегли под плетнем и ждали полуночи. День перед тем был жаркий, и даже вечером было душно, однако ж меня мороз подирал по коже. Здесь только, и то потихоньку, почти что шепотом, отец мой рассказал брату, куда и за чем мы шли. Ему, кажется, стало не легче моего от этого рассказа: он поминутно приподнимал голову, оглядывался и прислушивался. В это время на поляне за селением вдруг запылали костры; к нам доносились напевы купаловских песен, и видно было, как черные тени мелькали над кострами: то были молодые парни и девушки, которые праздновали Купалов вечер и прыгали через огонь. Эти протяжные и заунывные напевы отзывались каким-то жалобным завываньем у нас в ушах и холодили мне душу, как будто бы они вещевали нам что-то недоброе. Вот напевы стихли, костры погасли, и скоро в селении не слышно стало никакого шуму. «Теперь пора!»— вскрикнул мой отец, вскочил — и мы за ним. Мы пошли к лесу. Ночь становилась темнее и темнее; казалось, черные тучи налегли по всему околотку и как будто бы густой пар туманил нам глаза и отсекал у нас дорогу. И вот мы добрались, почти ощупью, до опушки леса, кое-как отыскали глухую тропинку и пустились по ней. Только что мы вступили в лес — вдруг поднялись и крик, и вой, и рев, и свисты: то будто гром прокатывался по лесу, то рассыпной грохот раздавался из конца в конец, то слышался детский крик и плач, то глухие, отрывистые стоны, словно человека перед смертным часом, то протяжный, зычный визг, словно тысячи пил бегали и резали лес на пильной мельнице. Чем далее шли мы по лесу, тем слышнее становились все эти крики, и стоны, и визг, и свисты; мало-помалу смешались они в нескладный шум, который поминутно становился громче и громче, слился в один гул, и гул этот, нарастая, перешел в беспрерывный, резкий рев, от которого было больно ушам и кружилась голова. В глазах у нас то мелькали светлые полосы, то как будто с неба сыпались звездочки, то вдруг яркая искра светилась вдали, неслась к нам ближе и ближе, росла больше и больше, бросала лучи в разные стороны и, наконец, почти перед нами, разлеталась как дым. У нас от страха занимало дух, по всему телу пробегали мурашки; мы щурили глаза, зажимали уши... Все напрасно! Гул или рев, становясь все сильнее и сильнее, вдруг зарокотал у нас в слухе с таким треском, как будто бы тысячи громов, тысячи пушек и тысячи тысяч барабанов и труб приударили вместе... Земля под нами ходенем заходила, деревья зашатались и

чуть не попадали вверх кореньями... Признаюсь, мы не выдержали, страх перемог: схватясь за руки, мы повернули назад и давай бог ноги из лесу! Над нами все ревело и трещало, и когда мы выбежали на поле, то за нами по всему лесу раздался такой страшный хохот, что даже и теперь у меня становятся от него волосы дыбом. Мы попадали на землю. Что дальше с нами было — не помню и не знаю; когда ж я очнулся, то увидел, что утренняя заря уже занималась; отец и брат лежали подле меня, в поле, близ опушки леса. Я перекрестился и встал; подхожу к отцу, зову его — нет ответа; беру за руки — они окостенели; за голову — она холодна и тяжела как свинец. Я взвыл и бросился к брату, начал его поворачивать и бить по ладоням; насилу он опомнился, взглянул на меня мутными глазами и, как будто не проспавшись от хмеля, молчал и сидел на одном месте не двигаясь. Трудно мне было растолковать ему, что бог послал по душу нашего отца и что нам должно перенести его в селение, если не хотим оставить его тело в добычу волкам...»

— Так они не отыскали папоротникова цвету?— подхватил нетерпеливый майор, перебив рассказ словоохотного капрала.

— Нет, ваше высокоблагородие; Прытченко мне рассказывал, что с тех пор ему и в ум не приходило искать кладов, особливо после того, как отец Герасим, на похоронах отца его, говорил мирянам поучение, в котором доказывал, что старый Прытченко сам наискался на смерть, послушавшись козней лукавого; и что бог всегда попускает наказания на людей, которые добиваются того, что им не суждено от его святой воли. Скоро молодого Прытченка взяли в солдаты, и каждый год, по совету отца Герасима, он ходил в Иванов день к обедне, молился усердно за упокой души своего отца и постился целые сутки за старые свои грехи.

— Поэтому, капрал, нечего и думать о папоротниковом цвете,— сказал майор,— мне жизнь еще не совсем надоела и нет охоты набиваться на беду или копить грехи под старость.

— Точно так, ваше высокоблагородие! Злой дух иногда подольстится к нам, как лукавый переметчик; сулит невесть что, и победу, и добычу, а послушайся его — глядишь, и наведет на скрытую засаду; тут и попал как кур во щи! Между этими двумя врагами только и разницы, что лживый переметчик погубит одно наше тело, а проклятый бес с одного хватка подцепит и тело и душу.

— Правда твоя, капрал, правда; так оставим эти затеи. Может быть, наши клады положены без заговора и сами нам

дадутся без дальних хлопот. После опять поговорим об этом. Прощай! Утро мудренее вечера.

Капрал допил свою порцию, встал, выпрямился снова, отдал честь по-военному и, проговоря: «Добрая ночь вашему высокоблагородию!», побрел в свою светлицу. Там, утомленный длинными своими рассказами и согретый нескудною порцией, скоро уснул он таким сном, каким поэты усыпляют чистую совесть, хотя, кажется, сей олицетворенной добродетели и должно б было спать очень чутко.

Майор также почувствовал благотворное действие рассказов капраловых: давно уже он не спал так спокойно, как в эту ночь. Не знаю, что виделось капралу: он никогда о том не рассказывал; но майора убаюкивали разные сновидения, и все они предвещали ему что-то хорошее. То в руках у него был золотой цветок, от которого все, на что майор ни взглядывал, превращалось в груды золота; то стоял он у решетчатой двери какого-то подземелья, сквозь которую видны были несметные сокровища: ему стоило только просунуть руку, чтобы черпать оттуда полными горстями. То снова был он на охоте: псари его, со стаей борзых и гончих, гнались за белым зайцем; но майор, на лихом коне своем, всех опередил, и псарей, и борзых, и гончих; уже он налегал на зайца, уже гнался за ним по пятам; вот настиг, вот замахнулся арапником, ударил — и заяц рассыпался перед ним полновесными рублевиками. Такие сны целую ночь беспрестанно сменялись в воображении майоровом, и когда он проснулся поутру, то был довольнее и веселее обыкновенного, к великой радости доброй Ганнуси.

Зима проходила; майор в это время собирал все возможные сказки о кладах, соображал, сличал их и составлял планы будущих своих действий против сатаны и его когорты; исчислял в уме богатые свои добычи, покупал поместье за поместьем и распоряжал доходами. Ганнусю выдавал он то за какого-нибудь миллионщика, то за пышного вельможу; сыновей выводил в чины и в знать, женил на княжнах и графинях и таким образом роднился с самыми знатными домами в русском царстве. Эти воздушные замки, за неимением лучшего дела, по крайней мере, занимали доброго майора, отвлекали его думы от грустной существенности и веселили его в чаянии будущих благ.

Наступил март месяц, снег от самой масленицы начинал уже таять, а на последних неделях великого поста полились с гор и высоких мест быстрые потоки мутной воды, увлекавшие с собою чернозем, глину и песок. Речки и ручьи порывисто понеслись в берегах своих от прибылой воды; мосты и плотины

во многих местах уже были снесены или размыты. Деревушка или, правильнее сказать, хутор майоров стоял при реке, на которой устроена была мельница, приносившая помещику посильный доход. Плотина сей мельницы покамест на этот раз уцелела, более по счастью или от того, что напор воды в реке не был еще во всей своей силе, нежели по собственной прочности; ибо сельский механик, строивший ее, небольшой был мастер своего дела и редкий год половодье проходило, не размыв части этой плотины, или, как говорится в Малороссии, не сделав *прорвы*. В вербное воскресенье набожная Ганнуся поехала в отцовской *тарадайке*[13] к заутрене в казенное село за пять верст от их хутора: ближе того не было церкви в их околотке. Дорога, ведущая из хутора в селение, лежала через плотину. Чтобы застать начало заутрени, Ганнуся отправилась в путь еще до рассвета; переезжая плотину, она почувствовала некоторый страх: плотина дрожала на зыбком своем основании, как будто бы ее подмывало водою. Дочь майорова решилась, однако ж, ехать далее, поспела к первой благовести, простояла всю заутреню с потупленными в землю глазами и молилась очень усердно. К концу заутрени, когда должно было идти для получения освященной вербы, она заметила, что перед нею шел человек в военном мундире, разводил народ в обе стороны и очищал ей дорогу. Дошед до того места, где стоял священник с вербами, он сам посторонился, поклонился ей и учтиво подал знак идти вперед. Тут только решилась она взглянуть на незнакомца: это был молодой офицер; лицо у него было бледно, но очень приятно и выразительно; большие голубые глаза его горели огнем молодости и отваги; ростом он был высок и статен, левая рука его покоилась на черном шелковом платке, и от беглого взора молодой девушки не ускользнуло и то, что рукав мундира около сей руки был разрезан и завязан ленточками. Скромно, даже застенчиво поклонясь ему, Ганнуся закраснелась и снова опустила черные свои ресницы к помосту; несколько секунд оставалась она в этом положении; но мысль, что на нее все смотрят, а особливо молодой офицер, вывела ее из забывчивости: она подошла к священнику, приняла благословение и вербу и снова стала на прежнее свое место. Офицер, подойдя вслед за нею к вербам, отступил потом в ту сторону, где стояла Ганнуся, остановился в некотором от нее расстоянии и часто на нее посматривал. Но девушка не смела более на него взглянуть: она чувствовала, что лицо ее горело, и потому она почти не сводила глаз с своей вербы, ощипывала на ней веточки, которые, видно, казались ей лишними, или молилась еще усерднее прежнего и

по временам вздыхала — конечно, не о грехах своих. Заутреня кончилась скоро, слишком скоро для Ганнуси, а может быть, и еще скорее для молодого офицера. При выходе из церкви он снова явился подле дочери майоровой, сводил ее по ступеням паперти и посадил в таратайку. Лошади тронулись почти в тот же миг; Ганнуся едва успела поклоном отблагодарить услужливого офицера. Проехав немного, она, по какому-то невольному движению, мельком обернулась назад: офицер все стоял на том же месте и смотрел вслед за нею. Весьма естественное и даже простительное самолюбие шепнуло ей, что она приглянулась молодому воину; и почему же не так? Она, как и все девушки ее лет, находила себя по крайней мере не дурною; а складное ее зеркальце, в часы одиноких, безмолвных ее с ним совещаний, часто доказывало ей весьма утвердительным образом, что она красавица, и на этот раз нельзя сказать, чтобы зеркало льстило бессовестно. Ганнусе было осьмнадцать лет; при среднем росте, она имела весьма стройный стан: аравийский поэт сравнил бы ее с юною, пустынною пальмой. Правильные черты лица оживлялись в нем тем свежим, здоровым румянцем, который сообщается только чистым воздухом полей, умеренным движением и простым, безмятежным образом жизни, но которого не в силах заменить все затеи моды, все пособия искусства. Черные большие глаза, в которых тихо светился огонь чувствительности, и черные лоснящиеся волосы прекрасно оттеняли белизну лица и шеи; а скромность и стыдливость — *лучшее ожерелье девиц*, по русской пословице — еще более возвышали прелести этой сельской красавицы. Из всех знакомых майора сердце Ганнусино ни за кого еще ей не говорило: теперь оно впервые забилось сильнее обыкновенного. Что, если этот молодой офицер, пригожий и вежливый, недаром так часто и пристально на нее посматривал? Что, если в нем бог посылает ей суженого? Такие и другие мечты (а кто может перечесть, сколько их промелькнет в голове молодой девушки?) занимали Ганнусю во всю дорогу, до самой плотины отцовского хутора.

Пасмурное утро уже сменил сумрак ночной, когда дочь майорова подъехала к плотине; воздух был густ и влажен; дымчатые облака застилали лазурь небесную. Человек с десять крестьян стояли на берегу и с малороссийскою беззаботливостью смотрели, как вода подымала плотину, протачивалась сквозь фашинник, отрывала и выносила целые глыбы земли. За плотиной низовье мельницы было почти совсем затоплено водою, которая с шумом и ревом неслась в новых своих берегах, сносила плетни и крутилась подобно водовороту около

кустов ивняка, росших по лугу. Мельничные колеса остановились, а плотина дрожала еще сильнее прежнего: видно было, как она поднималась и опускалась.

— Не опасно ли переезжать?— спросил кучер Ганнусин у крестьян.

— А бог знает!— был равнодушный ответ.

Из предосторожности Ганнуся сошла с тарадайки и велела кучеру ехать вперед. Сама она хотела идти пешком, рассчитывая, что где повозка с парою лошадей может проехать, там ей самой безопасно будет перейти. Кучер, не дожидаясь вторичного приказания, погнал лошадей и скоро очутился на другом конце плотины.

Перекрестясь, Ганнуся пошла вслед за повозкой, ноги ее подгибались, сердце трепетало; однако ж она вооружилась решимостью и шла далее. Но едва ступила она на самое шаткое место — вдруг плотина под нею затрещала, поднялась вверх и стала почти боком. Ганнуся упала на колена. Громкий вопль крестьян с берега поздно известил ее об опасности. Снова раздался треск, снова вскрикнули крестьяне — и та часть плотины, где находилась тогда бедная девушка, была сорвана и снесена вниз. «Кто в бога верует, спасайте!»[14]— закричали крестьяне и побежали вниз по течению, куда водою снесло несчастную Ганнусю. Кучер, ожидавший ее перехода, поскакал в господский дом и по дороге кричал всем встречным, что барышня их утонула и чтобы все шли вытаскивать ее из воды. Не прошло десяти минут — уже на правый берег реки, где стоял хутор майоров, стеклась толпа крестьян, жен их и детей. Мужчины с беспокойством бегали взад и вперед по берегу и смотрели в воду, женщины ломали себе руки и с плачем выкрикивали свои жалобы о потере доброй своей барышни; а мягкосердечные дети, видя матерей своих в горе, плакали вслед за ними.

Между тем крестьяне, бежавшие по левому берегу, заметили, что в понятых водою ивовых кустах как будто бы что-то зацепилось; но вода неслась так быстро, так порывисто, что никто из них не отваживался пуститься вплавь. «Лодку, лодку!»— кричали они на другой берег; но рев воды, с напором стремившейся сквозь промоину плотины, заглушал их голос.

— На что лодку? Что случилось?— спросил их некто повелительным голосом.

Крестьяне оглянулись и увидели, что подле них остановился человек, верхом на лошади и в офицерском мундире.

— Там в волнах наша барышня, дочь майора...

— Смотрите, смотрите!— вскрикнул один молодой крестьянин.— Вот около ивовых кустов всплыло наверх что-то белое... Это платок, это платок нашей барышни!

— Лодку, лодку!— снова закричали крестьяне; но офицер, не дожидаясь более, вдруг пришпорил своего донского коня, направил его прямо в воду, и послушный, бодрый конь бросился с берега, забил ногами в воде, которая заклокотала и запенилась вокруг него. Крестьяне, пораженные такою неожиданною отвагой, снова вскрикнули; им отвечали таким же криком с другого берега. Долго бился офицер в волнах, долго боролся он с стремлением воды, которая сносила его вниз по течению; наконец сильный конь, покорный поводу и привычный к таким переправам, доплыл до ивовых кустов. Офицер наклонился, опустил правую свою руку в воду, но не нашел ничего; три раза, несмотря на все опасности, объезжал он вокруг кустов, искал в разных местах; но все попытки его были напрасны. Решась на последнее средство, он привязал наскоро повод к своей портупее, бросился с коня вниз и исчез под водою. Крестьяне думали, что он погиб; конь бился, рвался и силился выплыть. В эту минуту майор, бледный как смерть и с отчаянием в лице, явился на берегу, поддерживаемый своими хлопцами.

Вдруг увидели, что офицер, хватаясь за ветви ив, всплыл на поверхность; повязка, на которой носил он левую свою руку, поддерживала недвижное, бездыханное тело Ганнуси. Вот он хватается рукою за повода, тащит к себе коня, силится взлезть на него; но тяжелая ноша тянет его ко дну... Вот он уцепился за гриву, всплыл снова, быстрым движением вскинул ношу свою на седло и сам успел вскочить на него... Вот уже он, поддерживая левою, больною рукою голову Ганнуси у своей груди, правит к тому берегу, где стоит майор; конь, из последних сил, бьется и борется с волнами... Расстояние здесь не так далеко: авось-либо спасутся... Вот доплыл до берега, вот истомленный конь хватается передними копытами за вязкую, глинистую землю, уцепился, скакнул — и все бросились к нему навстречу. Майор упал на колена; женщины, видя посинелое лицо и закостенелые члены своей барышни, которой влажные волосы в беспорядке были разметаны по девственным ее грудям, завыли громче прежнего. Но офицер, казалось, ничего не видел и не понимал вокруг себя; он только спросил слабым голосом: «Куда дорога?»— и погнал коня своего к дому майорову, все еще держа перед собою Ганнусю в том самом положении, в каком вынес ее из воды.

От движения во время сего переезда вода хлынула из

утопшей; но охладелое тело ее все еще не показывало ни малейших признаков жизни. Сбежавшиеся женщины наполняли весь дом плачем и рыданием; майор стоял, как громом пораженный, сложа руки и устремя неподвижные глаза на дочь свою. Один капрал соблюл присутствие духа: он вывел майора, велел выйти из комнаты всем лишним и, оставя утопшую на руках женщин, дал им наставление, каким образом подавать ей помощь. По совету капрала, с нее сняли мокрое платье и укутали все тело шубами. В то же время старый служивый разослал хлопцев за лекарями и за войсковым писарем. Добрый Спирид Гордеевич, узнав о несчастии своего соседа, тотчас прискакал к нему, утешал его, уговаривал и наконец успел поселить в нем надежду. Старания двух лекарей еще более подкрепили сию надежду: у больной оказывался пульс и замечено было легкое дыхание. Мало-помалу дыхание становилось ощутительнее, пульс начинал биться сильнее, и в теле пробуждалась теплота. Все признаки жизни постепенно оказывались, но лекаря опасались, чтобы больной, от потрясения всех жизненных сил, не приключилась горячка. Наконец Ганнуся открыла глаза, но скоро опять их закрыла: ощущения жизни медленно и еще неявственно в ней развивались.

Чрез несколько уже часов она совсем очувствовалась. Здесь только майор, перейдя от сильной горести к безвременной радости, вспомнил об избавителе своей дочери. Он расспрашивал всех домашних своих об офицере, и одна из женщин сказала ему, что незнакомый господин, отдав их барышню на руки им и капралу, стоял несколько минут молча у изголовья Ганнусина и печально смотрел на неподвижное, посинелое лицо девушки до тех пор, когда капрал выслал всех мужчин из комнаты. Люди, бывшие в это время на дворе, сказывали, что офицер торопливо выбежал из комнат, бросился на своего коня и пустился со двора так скоро, как только мог бежать утомленный конь его: иной бы подумал, прибавили крестьяне, что он боялся за собою погони.

Стараниями лекарей Ганнуся чувствовала себя гораздо лучше на другой день поутру, хотя жар и слабость во всем теле еще не вовсе успокоивали окружавших ее. Однако ж отец ее, пришедший в себя от первых движений страха и счастливый своею надеждою, казалось, не предвидел более никакой опасности. Он радовался, как ребенок, которого нога соскользнула было в глубокий колодец и который, удачно спасшись от смерти, все еще стоит на срубе колодезя и весело смотрит на темную, гладкую поверхность воды. Сидя у постели Ганну-

синой вместе с лекарями и добрым своим соседом Спиридом Гордеевичем, майор разговаривал с ними о минувшем несчастии, когда один из хлопцев пришел ему доложить, что в передней дожидался человек, одетый денщиком и приехавший узнать о здоровье барышни. Майор и войсковый писарь тотчас догадались, что это был посланный от ее избавителя. Оба они вышли в переднюю.

— Кто таков твой господин?— спросил нетерпеливый майор, не дождавшись еще ни слова от посланного.

— Поручик Левчинский,— отвечал сей последний.

— А, знаю: это сын бедной больной вдовы Левчинской, которая живет в маленьком хуторке, в осьми верстах отсюда; не так ли?

— Точно так, ваше высокоблагородие!

— Скажи своему поручику, что я очень, очень благодарю его за спасение моей дочери, которой жизнь для меня дороже моей собственной... Скажи ему это и проси его пожаловать к нам.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Поручик, верно, будет у вас, когда выздоровеет.

— Как, разве он болен?

— Да, со вчерашнего дня, ваше высокоблагородие. Он приехал домой весь мокрый и окостенелый от холода; рана у него на левой руке только что было начала подживать, а теперь снова открылась и разболелась, так что он не может руки приподнять. Всю ночь он не уснул ни на волос: не жаловался и не охал, а только все бредил в жару. Бедная старушка, матушка его, совсем с ног сбилась. А сегодня утром, только что поручик немножко очнулся, тотчас позвал меня и велел скорее скакать сюда и узнать о здоровье барышни.

— Скажи, что дочери моей легче...

— Погоди на минуту, друг мой,— сказал денщику войсковый писарь, перебив речь майорову.— Барину твоему нужна помощь; я сейчас еду туда с лекарем. Ты будешь показывать нам дорогу.— И мигом Спирид Гордеевич велел закладывать свою коляску, а сам, вошед в комнату больной, отозвал в сторону одного из лекарей, взяв предосторожность, чтобы не встревожить Ганнусю, и просил его ехать с ним к благородному, отважному воину, который великодушным своим самопожертвованием подвергнул опасности собственную жизнь. Лекарь охотно согласился оказывать ему все возможные пособия своего искусства.

Они застали Левчинского в сильном жару горячки. Положение молодого человека было гораздо опаснее Ганнуси-

на, и лекарь надеялся только на молодость и крепость сил больного. Мать его, почтенная женщина, старая и хилая, сидя у постели страдальца, горько плакала и печально покачивала головою. «Он не вынесет этой болезни,— твердила она сквозь слезы,— он умрет, мое сокровище... а за ним и я слягу в могилу!»

Предчувствия старушки, к счастию, не сбылись. Твердое сложение сына ее и деятельные пособия врача переломили болезнь почти в самом ее начале; но выздоровление Левчинского было медленно, особливо рука его долго приводила в сомнение лекаря, который не раз видел себя в печальной необходимости лишить больного сей части тела, столь драгоценной для всякого человека, тем более для молодого воина. Наконец, счастливые следствия здоровой, неиспорченной крови и здесь оказали спасительное свое действие: не скоро, но все-таки рука Левчинского получила прежнее движение, и рана ее совершенно затянулась.

Между тем Ганнуся выздоравливала гораздо скорее. Она уже знала, кто спас ее от неизбежной почти смерти, и с благодарными слезами вспоминала о своем избавителе. Каждый день посылала она наведываться о состоянии его здоровья и нетерпеливо ждала совершенного его выздоровления, чтобы во всей полноте чувства высказать ему благодарность, которую питала к нему в своем сердце... Бедная девушка! Она еще сама не смела взглянуть попристальнее в свое сердце, не смела отдать себе отчета в том, что с благодарностью совокуплялось другое чувство, гораздо нежнейшее... Образ ее избавителя был почти неотлучно в ее воображении, наполнял каждую мысль, каждую мечту ее: то видела она его в церкви, с его благородным, осанливым видом, то снова встречала последний взор его, которым он безмолвно прощался с нею по выходе из церкви. Раз по десяти на день принималась она расспрашивать своих женщин о подробностях своего избавления, и с лицом, светлевшим какою-то детскою радостью, с каким-то невинным самолюбием думала: «На это он отважился только для меня... для меня одной! Он не жалел своей жизни, бросился в страшный омут, чтоб избавить меня от смерти или хоть раз еще взглянуть на меня мертвую!» Тут живо представлялась ей та минута, когда Левчинский, по одному только ее имени, слышанному от крестьян, понесся без всякого размышления в мутные, клокочущие волны; или та, когда он выносил ее на руках своих из гибельной хляби: тогда она видела в нем какое-то существо высшее, которому ни в чем не было препон и которого твердой,

решимой воле все уступало, даже самые грозные силы природы. Может быть, невинная, простосердечная дочь майорова не в этих самых выражениях объясняла себе, как она понимала нравственную силу и подвиг самопожертвования молодого воина, но тем не менее таковы были ее понятия о Левчинском, и мы просим извинения у читателей, что не умели передать сих понятий проще и естественнее. Чтобы сколько-нибудь приблизиться к истине, скажем, что милая девушка чувствовала почти суеверное уважение к своему избавителю.

Во все время болезни Ганнусиной майор был при ней почти беспрестанно; и если порою отлучался часа на два, особливо когда дочери его приметно становилось легче, то в сии отлучки посещал он Левчинского. Тогда, сев на своего доброго коня, Максим Кириллович летел, по охотничьей своей привычке, самою кратчайшею дорогой, то есть прямиком через горы и долы, в уединенный хуторок, входил на несколько минут в маленький, скудный домик Левчинского, спрашивал о здоровье поручика, с искренним, прямым чувством высказывал ему в сотый раз свою благодарность — и тотчас снова на коня и скакал в обратный путь, к милой своей Ганнусе. В эти две недели, протекшие до совершенного ее выздоровления, майор почти и не подумал о своих планах обогащения, о поисках за кладами и обо всем, что относилось к любимой мечте его.

Между тем весна наступила: посевы зазеленелись, *пролески*[15] зацвели по лесам и вешние синички защебетали в сени развивающихся деревьев. По совету лекарей, нашедших чистый, свежий весенний воздух полезным для здоровья Ганнуси, она начала прохаживаться в саду; и майор как будто бы только этого и ждал. Мысль о кладах снова в нем пробудилась; он чаще прежнего призывал к себе капрала на тайные совещания; рукопись была снова переписана сколько можно яснее и безошибочнее, и майор твердил ее наизусть, как молодой школьник свой урок из грамматики. Недовольный еще обширными сведениями капрала по части кладознания, Максим Кириллович начал прилежно посещать свою мельницу, которой плотина была поправлена механиком-жидом, выдавшим себя за отличного искусника в строении плотин и в разных таких хозяйственных делах, при коих простодушные малороссияне предполагают отчасти сверхъестественные знания. Так, например, знающий мельник, строитель плотин, *пасечник*, или пчеловодец, и некоторые другие подобные им лица почитаются малороссийским простолюдием за *знахарей* или колдунов.

Мельница в малороссийской деревушке есть род сельского

клуба порядочных людей; ибо местом сборища для молодежи бывают *вечерницы*[16], а для гуляк всякого возраста шинок. Кроме тех, которые приезжают с мешками зерна для помола муки, сходятся в мельничный амбар все пожилые поселяне, которым дома нечего делать или которые улучили досужное время; а такого времени, благодаря закоренелой склонности к лени, у добрых малороссиян всегда найдется довольно, особливо в промежутках от посева до собирания хлеба или когда пора полевых работ еще не наступила. В этом *сельском клубе* толкуют они обо всем: о домашних делах своих, о новостях, которые удалось им слышать, о деревенских или семейных приключениях, о злых панах и *судовых*[17], о ведьмах, мертвецах, кладах и тому подобных диковинках, разнообразящих простой, не богатый происшествиями сельский быт сих добрых людей. Сметливый мельник старается сам заводить такие сходбища, и, подобно трактирщику какого-нибудь немецкого местечка, бывает, обыкновенно, первым рассказчиком и балагуром. Это делает он и для того, чтобы приманить на свою мельницу большее число помольников, и для того, что на мельнице, обыкновенно, происходят все крестьянские сделки: продажа друг другу скота или иной какой-либо из статей сельского хозяйства, наем земли, работников и т. п., а все сии сделки непременно кончаются *магарычом*[18], который запивать приглашается и сам мельник.

Надобно сказать, что жид Ицка Хопылевич *Немеровский*[19], которому посчастливилось укрепить плотину мельницы майоровой, сделал сей опыт глубоких своих познаний в механике, или (скажу в угоду добрых моих земляков, малороссиян)— опыт своего искусства в тайной науке чародейства,— не даром, а на весьма выгодных для него условиях. Он знал, что хорошею денежною платою от майора поживиться ему было нельзя, потому что сам Максим Кириллович давно уже не видал у себя лишней копейки: для сего честный еврей, с обыкновенными жидовскими уловками и оговорками, сделал следующее предложение: вместо денег получать от майора — безделицу, как говорил Ицка Хопылевич — третью мерку хлеба, получаемого на помол, и это в продолжение двух лет; да безденежное позволение содержать шинок на майоровой земле и подле самой мельницы, тоже на два года с тем, что Ицка нигде, кроме майоровой винокурни, не будет покупать вина, а Максим Кириллович будет ему делать на каждом ведре вина тоже незначительную, по еврейскому смыслу, уступку. Предложение сие заключено было сильными клятвенными уверениями, что он, Ицка Хопылевич Немеровский, поднял при

починке плотины такие тяжкие труды, каких и предки его, библейской памяти, не поднимали на земляной работе египетской, и что теперь плотину, по прочности укрепления и по заговору[20], который положил на нее этот честный еврей, не размыло бы и новым всемирным потопом. Добрый майор, человек самого сговорчивого и неподозрительного нрава, притом же небольшой знаток в делах, требующих соображений и расчетливости,— согласился на все, что предлагал ему честный еврей Ицка Хопылевич Немеровский.

Разумеется, что жид как участник в мельничном походе и ближний сосед мельницы почти безвыходно бывал там; в шинке же была у него правая рука: жена его Лейка[21], молодая, проворная и лукавая жидовка, которая с сладкими своими речами, с вкрадчивыми взглядами и усмешкой и с низкими, вежливыми поклонами весьма ловко обмеривала добрых поселян и приписывала на них лишние деньги. Сидя в мельничном амбаре на груде мешков и заложа руки в карманы черного, долгополого своего платья, запыленного мукою, жид Ицка Хопылевич рассказывал собиравшимся в мельницу обывателям всякие чудеса, виденные или слышанные им по свету; учил их лечить рогатый скот такими лекарствами, о которых знал, что от них не может быть ни худа, ни добра; уверял, что умеет заговаривать змей, отшептывать от укушения бешеной собаки и добывать клады... Мудрено ли, что все это дошло до чуткого уха майорова? Капрал, по старой своей привычке, заглядывал иногда в мельницу и, там однажды подслушав сии речи жида, пересказал их майору. Вот причина, по которой Максим Кириллович стал учащать своими прогулками на мельницу, где под видом хозяйственного присмотра часто он просиживал по целым часам и разными окольными путями старался выведать у жида тайну добывания кладов. Но догадливый Ицка, вероятно, смекнув делом, основал свои расчеты на слабости помещика, о которой, станется, и прежде уже знал он; посему и говорил о любимом коньке майоровом с возможною осторожностию и давал заметить, что тайна его не дается даром.

Майор, которого природная нетерпеливость еще более к старости усилилась охотничьими его привычками, досадовал на упорное молчание жида; но видел, что увертливого Ицку нельзя было довести до открытия своей тайны никакими затейливыми околичностями. Посему Максим Кириллович решился наконец пойти прямою дорогой; но прямая дорога к сердцу жида есть деньги, а их-то и не было у нашего майора. Что делать? За неимением денег он пустился на обещания,

даже доходил до того, что предлагал Ицке Хопылевичу третью долю из всех добытых кладов. Но жид, с которым он имел дело, был прямой жид; любимые его поговорки были: *из обещаний не шубу шить, и не сули журавля в небе, а дай синицу в руки.* Эти пословицы тверже всего он знал и даже лучше всего выговаривал на польско-малороссийском своем наречии. К ним вдобавок он очень благоразумно представлял майору, что третья доля сама по себе, а не худо иметь что-либо вперед; тем больше-де, что клады доставать — не плотину строить; что при таком деле и вдосталь измучишься в борьбе с лукавым, который силится отстоять свое сокровище,— и за то-де ему надобно поступиться кое-чем. Максим Кириллович подумал, подумал — и уступил Ицке безденежно тридцать ведер вина да подарил ему пару коз с козлятами, что, обыкновенно, составляет сельское хозяйство жида. Дело было слажено: Ицка Хопылевич объявил майору, что ему нужно сделать приготовительные заклинания, и для того просил две недели сроку. Майор на все согласился, ожидая верного успеха от знахаря-жида, которого чародейскую силу видел он уже на опыте, то есть при укреплении мельничной плотины.

Дворня всякого помещика, самого мелкопоместного, есть в малом виде образчик того, что делается в большом и, скажу более, в огромнейшем размере. Домашняя челядь всегда и везде сметлива: она старается вызнать склонности, слабости, самые странности своего господина, умеет льстить им и чрез то подбиться в доверие и милость. Так было и в доме Максима Кирилловича Нешпеты. После старого капрала ближний двор его составляли хлопцы, или псари, и пользовались особым благорасположением своего пана. Но как нельзя же быть шести любимцам вдруг, то каждый из них, наперерыв перед другими, старался прислуживаться своему господину, угодничать любимому коньку его и увиваться ужом перед всем, что усмехается будущею милостию. Один из хлопцев, Ридько[22], будучи проворнее других и подслушав под дверью разговоры своего пана с капралом, скорее всех доведался, о чем теперь хлопотал Максим Кириллович. Ридько начал усердно расспрашивать обо всем, что только можно было в селении и в околотке узнать о кладах; и мало еще того: сам начал бродить по ночам вокруг дома, близ пустырей или старых строений, в *леваде*[23] и в саду майоровом, и подмечать, не окажется ли там каких признаков скрытого в земле клада. В сих ночных поисках заметил он однажды в саду, под старою, дупловатою липой, что-то белое, свернувшееся клубком; ночь была темна, и Ридько не мог рассмотреть издали;

он стал подходить поближе, и белый клуб как будто бы приподнялся от земли: Ридько ясно увидел две светлые точки, которые горели беловатым огнем, как восковые свечи,— и мигом белого клубка и светлых точек как не бывало. Это клад: чему же быть иначе? но клад, который не давался в руки Ридьку, потому что он не знал никаких заговоров. Еще не вполне доверяя самому себе, Ридько решился дожидаться следующей ночи, и когда она наступила, новый искатель кладов пошел на то же место — и опять увидел он белый клубок, и опять две светлые точки как будто бросили на него две искры; но вслед за тем снова все исчезло. Теперь не оставалось уже Ридьку ни малейшего сомнения; он нетерпеливо ждал утра, чтоб объявить майору о своем открытии. Майор удивился и обрадовался, что ему не нужно было дальних исканий, когда клад у него был, так сказать, под рукою; но зная из рассказов, что клад иногда является только по три ночи, не хотел он терять времени и выпустить из рук предполагаемую находку. Посему он немедленно созвал свой тайный совет, состоявший из капрала Федора Покутича и жида Ицки Хопылевича; Ридько как человек, оказавший важную услугу и от которого нужно было отобрать подробные справки об отыскиваемом кладе, также допущен был в это совещание. Капрал предложил майору разбить клад с молитвой, по примеру старухи нищей, о которой он рассказывал; но жид, с лукавою улыбкой, пожимая плечами и потряхивая длинными кудрявыми своими пейсиками, заметил, что этим средством много что добудешь один клад, а скорее отпугаешь все другие, которые с того времени перестанут показываться искателю. Майор убедился этим сильным доводом и счел за лучшее во всем положиться на жида. Хитрый Ицка обещал научить майора какому-то заклинанию и для того, отведя его в сторону, проговорил ему слов с десяток на неведомом языке; однако же майор ни за что не хотел их вытвердить, потому что эти слова, как он весьма основательно думал, были еврейские и могли заключать в себе или богохуление, или заклятие на душу говорящего их,— и, почему знать? может быть, формальную присягу служить сатане верою и правдою! Несмотря на все убеждения и клятвы жида, добрый Максим Кириллович остался тверд в своем упрямстве, и жид, за лишний десяток ведер вина, уступленных ему майором, договорился твердить сам свое заклинание в то время, когда майор станет бить по кладу. Сим окончилось совещание.

Товарища Ридька́, завидуя новому любимцу их пана, хотели допытаться, чем он вкрался в милость Максима Ки-

рилловича. Подойдя на цыпочках и приложа ухо к дверям, они жадно ловили каждое слово, сказанное в светлице майоровой, и узнали все дело почти с такою же подробностию, как и мы теперь его знаем. Любопытство и болтливость — два главнейшие порока слуг: в минуту вся дворня майорова узнала, что в саду их пана является клад и что в этот самый вечер будут добывать его; и каждый из дворовых людей, от первого до последнего, положил у себя на сердце тайком прокрасться в сад и высматривать из-за кустов и деревьев, что там будет делаться.

Целый день прошел в какой-то суматохе. Нетерпеливость и беспокойство ясно выказывались на лице и в поступках майора; капрал беспрестанно бродил то по двору, то по саду, то заглядывал в комнаты; жид, согнувшись и напустя пейсики себе на лицо (может быть, для того, чтоб на лице его не могли прочесть его мыслей), ровным и скорым шагом каждый час переходил то с мельницы на господский двор, то с господского двора на мельницу; Ридько́ суетился, чтобы придать себе больше важности в глазах своих товарищей, и не отвечал на лукавые двусмысленные их вопросы; хлопцы переглядывались между собою, перешептывались по углам, а остальная дворня любопытно присматривалась ко всему, что делалось, и вслушивалась во все, что было сказано. Одна Ганнуся ни о чем не знала и не примечала ничего: она, пожелав доброго утра отцу своему, после завтрака села за работу в своей комнате, которой окно было на проселочную дорогу к хутору Левчинского, задумалась о нем, печалилась, что он долго не выздоравливал; игла быстро вертелась в руках ее, работа, можно сказать, горела, часы летели, и милая девушка не приметила, как время пронеслось до обеда; тем больше не приметила она, что вокруг нее все было в каком-то суетливом волнении. Сердце молодой красавицы, в минуты уединенной задумчивости, создает в самом себе мир отдельный, мир фантазии: ему нет тогда дела до мира внешнего, вещественного.

Наступил вечер; когда стемнело на дворе, все дворовые люди майоровы, начиная от хлопцев до *рички*, или коровницы, Гапки[24], тихонько забрались в сад, залегли в разных местах, чтоб их не приметили, и, не смея переводить дух в своих засадах, украдкой оттуда выглядывали. Около одиннадцати часов ночи Ридько вбежал опрометью в комнату майора, где капрал и жид, чинно стоя по углам и не сводя глаз с господина, ожидали условленной вести. Майор вскочил с своего места, взял большую, тяжелую палку, которую капрал

для него приготовил, и скорым шагом отправился в сад; за ним, прихрамывая, но с надлежащей вытяжкой, шел капрал; рядом с сим последним подбегал жид, припрыгивая и твердя вполголоса: *«Зух Раббин, Каин, Абель!»* Ридько заключал это ночное шествие, неся на плечах два большие порожние мешка. Майор приостановился, увидя перед собою, шагах в двадцати, что-то белое, свернувшееся в комок. Он осторожно занес палицу свою навзмашь, притая дух, подкрался к белому привидению — и в тот миг, когда жид громко вскрикнул: *«Зух!»*, майор изо всей силы хлопнул... Пронзительное, оглушающее *мяу*! раздалось по саду вслед за ударом — и белый комок, не рассыпаясь серебряными рублевиками, растянулся без жизни и движения. Домашняя челядь майорова не утерпела и сбежалась отовсюду из засад своих, услыша столь необыкновенный крик; толстая, приземистая и плосколицая Гапка явилась туда из первых...

— Ох, горе мне бедной[25]! Пан убил мою Малашку!— вскрикнула Гапка и взвыла таким голосом, каким мать плачет по своей дочери.

— Кой черт! Что ты мелешь, старая дура?— торопливо и сердито проговорил майор.

— Да, вам легко говорить! Пускай я мелю, пускай я старая дура, а бедную мою Малашку ухохлили: уж ее теперь ничем не оживишь!— выкрикивала Гапка и заголосила пуще прежнего.

— Да скажешь ли ты мне,— с нетерпением вскрикнул майор, схватя коровницу за плечо и стряхнув ее изо всей силы,— какую Малашку?

— Какую? вестимо, что мою Малашку!.. Кто теперь будет у меня ловить крыс, кто будет от них очищать ледник?..

— Провались ты, негодная дура, и с проклятою своею кошкой!— бранчивым голосом сказал майор и резко махнул рукою по воздуху.

— Ох, горе мне, бедной сироте!— навзрыд твердила Гапка, припала к земле, подняла убитую кошку и с вытьем понесла ее в свою хату.

Люди майоровы, каждый смеясь себе под нос, разбрелись по своим углам; явно зубоскалить никто из них не смел: все знали, что рука их пана тяжела и что гнев его, вспыхивая как порох, иногда и оставлял по себе такие же явные следы, как это губительное вещество. На сей раз, однако же, для гнева майорова довольно было и одной жертвы, т. е. кошки, которая жизнью поплатилась за свой неумышленный обман; Ридько, столь же неумышленная причина ее смерти, от-

делался одним страхом. Максим Кириллович скорее прежнего пошел в свою комнату, заперся в ней и наедине переваривал свою досаду; капрал, с горя от неудачи своего старого командира, к которому был он искренне привязан, побрел в свою каморку и принялся за вечернюю порцию; жид отправился в свой шинок, а Ридько, повеся нос, тихо поплелся на свой ночлег. Там, укутав голову, чтоб не слышать злых насмешек, которыми его осыпали товарищи, он шептал молитвы и поручал свою душу святым угодникам, считая все случившееся с ним бесовским наваждением.

На другой день майор поздно вышел из своей комнаты; на лице его было написано уныние, и на все вопросы Ганнуси об его здоровье отвечал он отрывисто и неохотно. Заметно было, что он боялся или стыдился напоминания о минувшей ночи; усердный капрал прочел это в душе его и потому строго подтвердил хлопцам и всем дворовым людям не разглашать ничего о том, что было накануне, а более всего остерегаться, чтоб не промолвиться как-нибудь об этом перед их господином. Все знали, что пан и капрал шутить не любили, и тайна минувшей ночи замерла на болтливых языках домашней челяди. В скромности жида капрал и без того был уверен, ибо Ицка Хопылевич был молчаливее рыбы, когда чувствовал, что на хранении тайны основывались для него корыстные виды.

Новое лицо развлекло задумчивость майора и даже развеселило его. Это был поручик Левчинский, выехавший в тот день впервые после болезни и поспешивший изъявить благодарность свою Максиму Кирилловичу и милой его дочери за оказанное ему участие. С ним приехал и Спирид Гордеевич, который во все время болезни Левчинского принимал о нем отеческие попечения и полюбил его как родного сына: это чувствование было ново для доброго старика, потому что сам он не имел детей и, похоронив за три года перед тем подругу преклонных своих лет, был совершенно одинок.

Ганнуся, услышав о приезде Левчинского, смутилась и не могла ни на что решиться. Сердце влекло ее навстречу долгожданному гостю; но природная стыдливость и привычная застенчивость малороссийской панны останавливали милую девушку в ее комнате. И здесь ее состояние было почти лихорадочное: то вдруг чувствовала она легкую дрожь, то жаркий румянец вспыхивал у нее в щеках и даже пробегал по челу, высокая грудь ее волновалась, глаза покрывались тонкою, теплою влагой... В таком состоянии борьбы провела она более получаса, пока отец не кликнул ее из другой комнаты.

Тогда, собрав всю бодрость девического своего сердца, она вышла к гостям; но приближение и первый звук голоса ее избавителя снова вызвали ту же краску на ее лице и тот же легкий, электрический трепет по всему ее телу. Не скоро могла она прийти в себя и отвечать полусловами на приветствия и выражения благодарности, сказанные ей Левчинским, который, может быть, в душе своей был не более спокоен, хотя, привыкнув во время службы к светскому обращению, более умел владеть собою. Наконец, крупные слезы скатились с длинных черных ресниц Ганнуси, и она облегчила свое сердце тем, что высказала с своей стороны молодому поручику — правда, с крайним усилием и в несвязных словах— благодарность свою за спасение ей жизни.

Когда холодный порядок разговора несколько восстановился и Максим Кириллович завел с Левчинским речь о старых и новых служивых, о походах и битвах, тогда Ганнуся, тихо сидевшая в отдалении с сложенными руками, по обычаю малороссийских девиц, оправилась и начала дышать вольнее. Она украдкою начала уже всматриваться в лицо своего избавителя, замечала каждую его черту, каждое движение, и часто, опустя голову, вылетавшими из уст ее вздохами нагревала прелестную грудь свою.

За обедом Левчинскому случайно пришлось сидеть подле Ганнуси. Спирид Гордеевич первый это заметил; и, понял ли сей сметливый старик зарождавшуюся в молодых людях взаимную любовь или просто хотел над ними пошутить по врожденной веселости малороссиян, он громко пожелал поручику с Анной Максимовной сидеть чаще вместе, как пара голубков. Эта малороссийская аллегория означала, что он желал их видеть четою молодых супругов. Глаза поручика заблистали каким-то новым блеском, когда он поднял их на старого своего друга, как будто бы с вопросом, сбыточное ли это желание, и тотчас опустились на стол. Стыдливая соседка его зарделась, как юная роза от первых, утренних лучей солнца, и казалось, искала глазами, нет ли какого пятнышка на ее тарелке; а старый майор поморщился и старался переменить разговор, по-видимому не весьма для него приятный.

Впрочем, добрый Максим Кириллович уже и прежде искренне полюбил поручика; а теперь, слушая жаркие его рассказы о военных делах и умные суждения о разных предметах, еще более полюбил его и звал как можно чаще к себе в дом, прибавляя, что он и дочь его всегда рады его видеть. С этих пор Левчинский сделался почти ежедневным гостем

майоровым. Часто случалось ему быть глаз на глаз с милою Ганнусей; часто рука об руку прохаживались они по саду и по окрестностям, и не раз поручик имел случай облегчить свое сердце признанием в любви; но природная его скромность, недоверчивость к своим достоинствам и горькое сознание бедности, которую б должна была делить с ним будущая подруга его жизни, удерживали его и заставляли таить в душе то чувство, которое он питал к дочери майоровой.

Миновал срок, выпрошенный евреем для чародейских его приготовлений, и мало-помалу испарилась из головы майора досада от первой, неудачной его попытки в искании кладов. Мысль обогащения подспудными сокровищами опять в нем пробудилась с новою силой. Тетрадь, заключающая в себе сказание о кладах, ни на минуту не выходила из широкого кармана охотничьей майоровой куртки, хотя Максим Кириллович давно уже знал наизусть все содержание любопытной сей рукописи и мог пересказать все упомянутые в ней урочища с зарытыми в них кладами гораздо безошибочнее, нежели сыновья его положение и богатство разных европейских государств на экзамене из географии. Наконец, день поисков был назначен. Еще до рассвета майор с капралом, евреем и Ридьком отправились на двух повозках: но куда? Этого никто не знал. Ганнуся, с восходом солнца встав с постели и не найдя отца своего дома, крайне удивилась. Ей не показалось бы странным такое раннее отсутствие, если б это было зимою: она знала, что в прежние годы отец ее никогда не упускал пороши, и могла бы подумать, что старинная страсть снова им овладела; но тогда было лето; куда же мог он уехать так рано, не сказав ей, да еще и с такою необыкновенною свитой, как жид и капрал; ибо седой инвалид, за ранами, был вовсе уволен от *опустошительных набегов* охотничьих. Целое утро Ганнуся дожидалась отца своего — и все понапрасну. Левчинский приехал около полудня, времени, в которое майор, обыкновенно, обедал; но хозяина еще не было. Ганнуся не таила от поручика своего беспокойства: нежной дочери казалось, что с отцом ее случилось какое-либо несчастие. Она поминутно выглядывала в окна, выбегала на крыльцо, смотрела на все стороны; раз двадцать выходила она с Левчинским на большую дорогу, расспрашивала на мельнице и у всех встречных, не видел ли кто отца ее в этот день? Никто, однако ж, его не видел, никто не знал, куда и зачем он отправился.

Солнце прокатилось по всему дневному пути своему, но встревоженная девушка и не думала об обеде; гостю ее, принимавшему живейшее участие в ее беспокойстве, также не при-

ходила мысль о подкреплении себя пищею; и мог ли молодой, влюбленный офицер думать о таких ничтожных, вещественных потребах, когда он находился вместе с тою, которую любил, и притом должен был стараться ее развлекать и успокаивать? Наконец, когда солнце уже стало западать, вдруг пыль поднялась по дороге, послышался стук колес, и, спустя несколько минут, две повозки поспешно въехали в ворота. Ганнуся полетела птичкой навстречу отцу своему. Погодя немного майор вошел в комнату. На лице его написано было какое-то унылое раздумье. Поцеловав дочь свою, он выговаривал ей слегка за ее напрасные тревоги и объявил, что, желая получше узнать все свои поля, он ездил по разным урочищам и замечал рубежи своих угодий; что с этого дня он должен несколько времени, и может быть целое лето, употребить на сие хозяйственное обозрение; и что жид Ицка Хопылевич как человек, разумеющий отчасти землемерское дело, необходим ему при таких разъездах.

Добрая девушка тотчас поверила отцу своему; но поручик хотя и ничего не сказал, однако ж ясно видел, что для осмотра угодий не нужно было выезжать майору до рассвета и что размежевание земель и означение рубежей не могло производиться без наряжаемых на сей конец чиновников. Левчинский не имел повода подозревать что-нибудь худое, но он успел уже отчасти узнать простосердечие и крайнюю доверчивость майора; а слышав от него, что в этом деле замешан был жид, он тотчас догадался, что здесь было не без обмана и что хитрый еврей основывал корыстные свои виды на какой-либо слабости майора. Для сего Левчинский твердо решился проникнуть в эту тайну, а до времени молчать и не наводить никаких сомнений Максиму Кирилловичу.

Каждый день майор уезжал еще до зари, и каждое утро Левчинский являлся у Ганнуси, чтобы развлекать ее в скучном ее одиночестве. Милая девушка уже не была с ним застенчива и, успокоясь насчет отлучек отца своего, радостно встречала молодого своего собеседника. Весело проводили они время в разговорах, прогулках и других невинных занятиях; они еще не сказали друг другу: «Люблю!», но уже знали или, по крайней мере, понимали взаимные свои чувствования. Скромные их удовольствия прерывались только возвращением майора, который со дня на день становился мрачнее и задумчивее, как человек, теряющий последнюю надежду. Это сокрушало бедную Ганнусю: она не могла вообразить, что было причиною такой печали отца ее, и не смела спросить его о том, ибо майор сделался крайне молчалив и даже угрюм.

Этой перемены не могла она приписывать неудовольствию на частые посещения Левчинского, которому майор оказывал прежнюю приязнь и радушие; какая же грусть нарушала спокойствие нежно любимого ею родителя? Она терялась в догадках и, наконец, решилась поговорить об этом с Левчинским.

Поручик уверил ее, что принимал живейшее участие в ее родителе, и обещал ей дознаться, какое несчастие грозило ему или какая печаль его тревожила. Случай к тому скоро представился. Вечером, когда майор возвратился, Левчинский, простясь с ним и с Ганнусей, велел подвести верхового коня своего. Ридько, по расчетливой угодливости, побежал на конюшню; между тем поручик, сошед с крыльца, сказал, что хочет пройтись пешком, и велел Ридьку вести лошадь вслед за ним. Когда они вышли за деревню, поручик, дотоле молчавший, завел разговор с своим проводником.

— Пан твой очень печалится. Не от того ли, что у вас худы посевы и не обещают хорошего урожая?

— О, нет, грешно сказать! Наши посевы хоть куда; и теперь, когда озимые хлеба уже выколосились, можно ждать, что урожай будет на диво.

— Так, может быть, посторонние завладели какими-нибудь его землями?

— Оборони бог! у нас нет лихих соседей.

— О чем же он так грустит?

— Да так; видно, худой ветер подул... не все то говорится, что знается...

— Послушай, Ридько! вот тебе на водку.— При сих словах Левчинский сунул ему в руку серебряный полтинник и, помолчав с минуту, продолжал:— Ты знаешь, что я люблю твоего пана и желаю ему добра. Вижу, что он почти болен от какой-то грусти, вижу, что милая, добрая ваша панянка тоскует и сохнет, глядя на отца своего, и не знаю, как помочь их горю. Пособи мне в этом: скажи, зачем майор уезжает каждое утро и в чем и какая ему неудача?

— Сказал бы вам... Да вы никому об этом не промолвитесь?

— Вот тебе мое честное слово...

— Верю: вы не из тех панов, которые обещают и не держат слова; вы даже прежде даете на водку, чем обещаете... Только... как вы думаете: пан мой не узнает об этом?

— Как же он может узнать, если я не скажу? А я уж дал тебе слово молчать.

— Не вы, а этот проклятый жид: он может отгадать по звездам и по воде, что я проговорился об этом деле.

— Небось, не отгадает; у меня есть на это свой заговор, против которого жид не устоит со всем его колдовством.

—Право?.. Так мне и бояться нечего. Только вы не будете нам мешать в нашем деле?

— Нисколько; а напротив, еще буду помогать твоему пану, когда в деле этом нет ничего худого.

— И, какое тут худо! Ведь, кажется, нет греха выкапывать клады, зарытые в земле и у которых нет хозяина, кроме иногда — наше место свято!— кроме лукавого. А вырвать у него добычу, не погубя души своей, мне кажется, не грех, а доброе дело.

— Точно. Так майор ищет кладов?.. Да нашел ли он хоть один из них?

— Ну, до сей поры мы не видали еще ничего, кроме земли да подчас старых черепьев и обломков того-сего; а мы перерыли уже добрых десятка три мест в разных урочищах, которые записаны в тетрадке у моего пана.

— Какая ж это тетрадка?

— В ней, видите, как по пальцам высчитаны все груды золота и серебра, закопанные разбойниками и колдунами в нашем краю. Да, видно, эти колдуны были посмышленее нашего жида: сколько он ни кудесит, а все мало проку от его заговоров и ворожбы. Чуть ли он не морочит и нас, и нашего пана.

Этих известий было достаточно для Левчинского. Теперь он ясно видел, что догадки его насчет легковерности простодушного Максима Кирилловича были основательны. Сев на коня своего, поручик отпустил Ридька и тихо поехал домой, рассуждая о слышанном и сожалея о странном заблуждении доброго своего соседа. Вдруг ему пришло на мысль, подделаться к любимому коньку майорову для двух причин: во-первых, чтобы сим способом еще более приобресть дружбу и доверие Максима Кирилловича и чрез то заготовить себе дорогу к его сердцу, когда дело дойдет до искания руки Ганнусиной; а во-вторых, чтобы, если можно, излечить майора от суетной мечты обогащения кладами, показав ему на деле несбыточность этой мечты. План Левчинского тотчас был составлен и одобрен собственным его умом: помощь жида в этом случае была необходима; и поручик, знав по опыту, приобретенному им в походах и квартировании по разным местам Польши и Литвы,— знав, сколько сии всесветные торгаши падки к

деньгам, решился подкупить Ицку Хопылевича и тем склонить его на свою сторону. Это не трудно было сделать: Левчинский, по приезде домой, тотчас отправил своего Власа в шинок еврея, чтобы позвать Ицку в хутор и сулить ему хорошее награждение.

Влас, человек Левчинского, тот самый, которого мы уже видели на минуту в доме майоровом, был молодой, видный и проворный детина, усердный к своему господину и готовый по одному знаку исполнять его приказания, хотя бы в этом видел для себя опасность. В платье денщика он как будто бы переродился: из тихого, робкого малороссийского хлопца сделался в короткое время развязным и лихим офицерским слугою, перенял все ухватки солдатские и гордился тем, что считал себя военным человеком. Он знал по пальцам все замашки и плутни евреев и радовался душевно, если удавалось ему перехитрить жида или сделать опыт полувоинской своей сметливости, не поддавшись в обман. Привыкнув к этой игре ловкости ума, к этой, так сказать, междоусобной войне хитростей, обыкновенно ведущейся у постояльца-солдата с хозяином-жидом, Влас очень обрадовался поручению, которое дано ему было от господина, предполагая, что ему опять удастся провести жида. Бездействие однообразной жизни в уединенном хуторе уже наскучило нашему молодцу: он давно искал случая снова развернуть свои природные и приобретенные способности ума, которых он никогда не изведывал над своим господином, может быть, оттого, что не видал к сему никакого повода; или мы охотнее согласны думать, что Влас не хотел нарушать честности и верности, которые питал в душе к своему барину.

Не расседлывая поручикова коня, Влас мигом вскочил на него и полетел по дороге к шинку Ицки Хопылевича. Он вошел в шинок как такой человек, которому местности подобных заведений и употребительные в них приемы знакомы как нельзя более, сел на первое место и проговорил громко и бойко: «Здорово, еврей!»

— Кланяюсь униженно вашей чести, господин служивый!— отвечал Ицка польским приветствием своего перевода, исподлобья поглядывая на приезжего и как будто бы из глаз его стараясь выведать причину столь позднего и неожиданного посещения.

— Мне надобно с тобою переговорить,— сказал Влас тем же голосом.— Эй, ты, смазливая жидовочка! вынеси этим землякам кружки и чарки в клеть или куда хочешь, только чтоб никого здесь не было. А вы,— продолжал он, обра-

тясь к запоздалым гулякам,— проворней отсюда за порог, не дожидаясь другого-прочего.

Все мигом выскочили за дверь, потому что малороссияне не любят или, правду сказать, не смеют спорить с москалем — так они называют всякого военного человека, особенно пехотных полков. Оставшись наедине с евреем, который в нерешимости и с тайным страхом ожидал первых слов своего собеседника, Влас в одну минуту сделал свои стратегические соображения. Он видел ясно, что ничего нельзя было от Ицки получить без важных посулов, и потому решился сделать свою попытку привычным своим средством в таких случаях, т. е. угрозой!

— Слушай, жид!— сказал он строгим голосом.— Я приехал к тебе не бражничать, как эти левинцы, которых отсюда выпроводил. Мне нужно не вино твое, а ты сам...

— Как?— боязливо промолвил Ицка, дрожа как осиновый лист.

— Да, ты сам; готовься сейчас ехать со мною: иначе — ты знаешь...

— Ваша честь, господин служивый! Я человек невольный, я в услугах моего пана, который поминутно меня требует, и без его ведома не смею отлучаться... дайте мне час времени! Я пойду на панский двор и спрошу позволения...

— Вздор, приятель, не рассказывай мне пустяков! Я знаю, что старый майор теперь спит, так же как и вся его дворня; а мне нельзя терять ни минуты. Сейчас же на коня и со мною...

— Да моя лошаденка теперь пасется в поле...

— А! ну, так беги пешком, только поспевай за моею лошадью; не то... Я шутить не люблю!

— Воля ваша, господин служивый! у меня ноги болят; не поспею.

— Так слушай же; я привяжу тебя на аркан и буду тащить за собою, как горцы таскают своих пленных. Согласен ли ты?

— Нет, уж позвольте мне лучше поискать лошаденки: может статься, какая-нибудь из соседских стоит у меня под навесом, может статься, и мою еще не угнали на пастьбу...

— Хорошо! только не думай, что можешь меня провести и улизнуть отсюда: я старый воробей, меня на мякине не обманешь. Я сам иду с тобой и ни на миг не выпущу тебя из виду. В том моя нагайка тебе порукой.

Они вышли. Жид, видя, что все покушения к побегу были бы не только напрасны, но еще и накладны для его спины, решился облегчить неведомую, но, вероятно, горькую свою участь совершенною покорностию. Грозный Влас шел у него по пятам,

помахивая, как будто от нечего делать, ременною своею нагайкой. Под навесом нашли они лошадь еврееву. Ицка хотел было идти за седлом, все еще надеясь как-нибудь ускользнуть от своего вожатого; но Влас не дал ему и договорить своих представлений: он велел жиду скинуть верхний его плащ и набросить его на лошадь вместо попоны, сам посадил его верхом, схватил повода его лошади и, сев на свою, помчался с ним во весь дух. Все это сделано было с такою поспешностию, что жена Ицки не успела опомниться: ни она, и никто из посторонних не видели и не знали, куда исчезли и сам Ицка, и страшный, сердитый *москаль*. Лейка, не нашед своего мужа в шинке и не доккликавшись его по двору, всплеснула руками, взвыла и закричала, что его унес Хапун[26], явившийся в виде солдата.

Между тем Ицка, у которого, может быть, также бродила в голове подобная мысль, скакал по дороге с неизвестным своим спутником, не зная и не понимая, куда везли его. Он никогда еще не видал Власа, потому что Левчинский приезжал в дом майора всегда верхом и без проводника; никто из людей, случившихся на тот раз в шинке, также не знал нашего удальца. Дорогою Влас попеременно то делал жиду сомнительные, наводящие страх намеки, то наводил его на мысль о значительной награде и старался ему внушить, что не всякий тот беден, кто кажется бедным по виду и о ком идет такая молва. Несчастного Ицку порою пронимала дрожь, несмотря на духоту летней украинской ночи; иногда же кровь, отхлынув от сердца, мучительным огнем протекала по всем его членам, и окружающий воздух казался ему жарче раскаленной печи. Таково было его положение до самой той минуты, когда они подъехали к дому Левчинского. Влас немедленно ввел еврея в комнату своего господина, и жид, увидя знакомое лицо офицера, о котором наслышался много доброго, несколько ободрился и почувствовал, что как будто бы гора спала у него с плеч. Однако же, напуганный Власом и от природы недоверчивый, он все еще не был совершенно спокоен.

Поручик решил наконец его сомнения, заведя речь о майоре и разными околичностями весьма искусно доведя ее до кладов. Не трудно было Левчинскому получить желаемое от еврея: Влас такой задал ему страх, что он и безо всего согласился бы на всякие условия, а пара червонцев, данных ему поручиком, совершенно оживили упадший дух Ицки и подкупили его в пользу молодого офицера. И вот на чем они положились: честный еврей Ицка Хопылевич должен был уве-

рить майора, что поручик Левчинский узнал от одного колдуна в Польше тайну находить и вырывать из земли самые упорные клады, если только они не были вырыты кем-либо прежде. За это Левчинский обещался наградить еврея еще более, и они расстались, быв оба весьма довольны. Поручик — тем, что предположения его принимали желаемый оборот; а жид — двумя червонцами и надеждою получить еще вдвое за свою услугу. Жид поехал домой уже не в таком расположении духа, как выехал оттуда, и только боялся, чтобы Влас не вздумал провожать его: хоть мысли сего честного иудея насчет его посольства и переменились, но все он думал, что для него было гораздо надежнее подале быть от этого удальца, у которого, по мнению Ицки, самому лукавому еврею ничего нельзя было выторговать, а только можно было вконец проторговаться.

Все исполнилось по желанию поручика. Ицка Хопылевич сплел майору весьма замысловатую сказку о колдуне, который, бегав оборотнем и быв пойман в виде волка, избавлен был от смерти поручиком Левчинским и, в благодарность за такое одолжение, научил Левчинского трем словам, с помощию которых он мог узнавать, в каких местах клады скрыты под землею; но колдун взял страшную клятву с поручика, чтоб этих слов никому не передавать и вслух не говорить. «Все это узнал я,— прибавил жид,— от поручичьего денщика Власа, подпоив его и разговорившись с ним под добрый час, и прошу вас, вельможный пан, держать это у себя на душе и не сказывать пану Левчинскому: иначе будет худо и мне, и нескромному денщику». Майор нисколько не подозревал обмана и принял за чистые деньги все, что жид ему рассказывал. Он обещался плутоватому еврею не говорить об этом с Левчинским и между тем твердо положил у себя на уме воспользоваться этою чудною способностью Левчинского, и если невозможно было выведать у него таинственных слов, то, по крайней мере, задобрить его всеми средствами и заманить в свои планы обогащения: т. е. склонить его вместе отыскивать клады по указанию известной тетрадки.

В первое свидание с Левчинским Максим Кириллович завел обиняками речь о том, какие богатства скрывает в себе земля украинская. Поручик, притворно не поняв его слов, отвечал, что земля сия точно богата своим плодородием и счастливым климатом; что на ней родятся многие нежные плоды, местами даже виноград, абрикосы и проч., и что если бы не природная лень малороссиян, которые мало заботятся о полях своих и вообще плохие землепашцы, то можно б

было ожидать, что плоды земные в несравненно большей степени вознаграждали бы труд поселянина. В продолжение сей речи, в которой Левчинский хотел явить опыт своего красноречия и силу убедительных доводов, Максим Кириллович оказывал явные знаки нетерпеливости: он то морщился, то пожимал плечами, то с ужимкою потирал себе руки; наконец, не в состоянии быв выдерживать долее, он вдруг вскочил с места, подошел к поручику и, поспешно перебив его речь, проговорил голосом, изъявлявшим, что собеседник худо понял его намерение:

— Не о том речь, Алексей Иванович! вы, молодые люди, подчас на лету слова ловите, зато часто и осекаетесь, и выдумываете за других, чего они вовсе не думали. Что мне до пашней и посевов? Это идет своим чередом, и не нам переиначивать то, что прежде нас было налажено... Тут совсем другое дело: я знаю, что хотя в нашем краю доныне не отыскивалось ни золотой, ни серебряной руды, а золота и серебра от того не меньше кроется под землею. Просто сказать, здесь живали и разбойники, и богачи колдуны; все же они прятали любезные свои денежки и драгоценные вещи по разным похоронкам, в урочищах, которые мне сведомы. Если б бог послал мне человека, который бы знал, как эти клады из земли доставать, то я отдал бы на святую его церковь десятую долю изо всего, что добудется, другую десятую долю раздал бы нищей братии, а остальным поделился бы с моим товарищем... А ведь есть на свете такие люди, которым открывается то, что другим не дается. Есть такие секреты и заговоры, что от них никакой клад не улежит под землею и никакой злой дух не усидит над ним. Иногда два-три слова — да от них больше чудес, чем от всех колдовских затей самого могучего кудесника...

— За двумя-тремя словами не постояло бы дело,— промолвил Левчинский с видом таинственным,— но как узнать, что клад прежде не был кем-либо добыт? Силу слов истратишь понапрасну, а пользы никакой не соберешь.

— Вот теперь ты говоришь, Алексей Иванович, как истинно умный человек!— радостно вскричал майор и бросился его обнимать.— Ну, когда на то пошло, так я выставлю тебе напоказ все мои сокровища. Смотри и любуйся!

После сих слов Максим Кириллович поспешно ушел в свою комнату, схватил известную тетрадь, вынес ее и подал Левчинскому.

Поручик, едва удержавшись от смеха при сей выходке майора насчет мечтательного своего богатства, с вынужден-

ною важностию принял от него тетрадь и пробежал ее наскоро.

— А это что за отметки?— спросил он у майора, указав на крестики, начерченные свинцовым грифелем, которым старик заменял карандаш.

— Это, сказать тебе правду, Алексей Иванович, обозначены те места, на которых я пытался уже искать кладов...

— И нашли сколько-нибудь?— подхватил поручик.

— Ну, покамест еще ничего не нашел,— отвечал Максим Кириллович с некоторым замешательством, потупя глаза в землю...— Теперь же,— продолжал он, приподняв голову,— с божьей помощью и твоим пособием, надеюсь лучшего успеха.

— От души желаю вам его и готов с моей стороны служить вам всем, чем могу,— отвечал Левчинский.

— По рукам, Алексей Иванович!— воскликнул майор вне себя от удовольствия.— Мне как-то сердце говорит, будто бы ты по скромности не все о себе высказываешь, а знаешь многое! Ну, милости прошу завтра пожаловать ко мне до рассвета; мы вместе отправимся на поиски к *Кудрявой могиле*[27]. Посмотри-ка, что там!

Майор указал в тетрадке на сокровища, по сказанию о кладах, зарытые в помянутом урочище. Левчинский прочел потихоньку и как бы обдумывал что-то. Спустя несколько минут, они расстались.

Едва занялась утренняя заря, а наши искатели приключений были уже на половине дороги. Число их теперь умножилось еще двумя, потому что поручик взял с собою Власа, предупредив майора, что этот человек, быв отлично искусен в отыскивании жидовских похоронок фуража и провизии на постоях, без сомнения, покажет ту же самую сметливость и в искании кладов. «Притом же,— прибавил поручик,— он сам знает кое-что». С новою надеждою в душе остановился майор у подножия *Кудрявой могилы*. Это была довольно высокая, круглая и островерхая насыпь, принявшая от времени вид самородного холма и покрытая терновником и другими кустарниками, почему и получила она название *кудрявой*. Влас, соскочив с повозки, взял белый ивовый прутик с каким-то черным камнем на черном снурке и начал потихоньку подаваться на вершину холма, держа прутик параллельно к земле; майор с поручиком, а позади капрал с евреем и Ридьком в молчании шли за Власом и не спускали глаз с волшебного прутика. Вдруг на половине холма, между кустарниками и мелким валежником, Влас остановился и

вскричал: «Смотрите, господа!» Все обступили вокруг и увидели, что прутик начал тихо клониться вниз и гнулся до тех пор, пока черный камень совсем лег на землю. Все вскрикнули от удивления, и майор едва не вспрыгнул от радости. Сам еврей, не веривший и, может быть, имевший причину не верить знанию Власа, стоял в немом изумлении, с глазами, бессменно устремленными на прутик. Наконец Влас объявил, что не в силах долее держать прутика, который сделался необыкновенно тяжел, и выронил его из руки. Все кинулись разгребать валежник; Влас схватил заступ и принялся рыть землю. На аршин в глубину показался слой угольев и золы, как бы смоченной водою, далее черепья, битый кирпич и песок. Майор взглянул на поручика, и в эту минуту Левчинский, тоже пристально смотревший на майора, несколько раз пошевелил губами. Вдруг что-то звякнуло, и заступ уперся в какое-то твердое тело. Мигом все было разгребено, и открылся небольшой чугунный котел, худой и ржавый. Ицка не вытерпел: бросился к котлу, схватил его обеими руками, рванул — и из котла высыпалась небольшая кучка серебряных денег да пять-шесть червонцев. Жид проворно схватил все это и начал считать; но Влас, оттолкнув его, собрал деньги и поднес их майору, который, отойдя в сторону с Левчинским, принялся рассматривать и пересчитывать свою добычу. Ицка Хопылевич подошел к своему пану и с униженным видом, весьма несвободным голосом начал представлять, что третья доля всей находки, по условию, принадлежит ему. В это время Влас, как бы поверявший в уме счет майора, вдруг обернулся и сильною рукою дал Ицке пощечину, от которой два или три червонца и несколько мелких серебряных монет выскочили изо рта евреева. Без дальних оговорок разгорячившийся Влас начал обеими руками трясти Ицку, приговаривая:

— Тому, кто положил клад, и в голову не приходило набивать им карманы вашей братье!

— Так этот клад положен недавно?— вскричал майор, как будто бы поймав какую-то светлую мысль.

— Не верьте болтанью этого сумасброда!— отвечал Левчинский в смущении.

— Скажи, Алексей Иванович,— подхватил майор с чувством, но голосом, в котором прорывалась нетерпеливость,— скажи мне всю правду...

— Поедемте,— перервал речь его поручик,— я сам буду править на вашей повозке, больше с нами никого не нужно... Здесь уже нам нечего делать. Влас! собери деньги и, по приез-

де, вручи их Максиму Кирилловичу.— При сих словах он взял майора под руку и почти насильно увел его к повозке.

— Тут что-то не просто,— вполголоса говорил капрал, покручивая седые свои усы,— тут что-то не просто!

— Я тебе все расскажу, старая служба!— отвечал ему Влас и, отведя его в сторону, продолжал:— Вот видишь ли, помещик твой небогат и доедает последние свои крохи; ищет кладов, а об хозяйстве и не думает — хоть трава не расти. Виданое ль это дело, запускать поля и пашни, которые наши истинные кормильцы, а рыться по-пустому в земле для того, что какому-то проказнику вздумалось подшутить над добрыми людьми и обещать им золотые горы там, где, кроме черепья да песку, ничего не бывало? Сам ты, умная голова, рассуди!

— Правда, правда!— промолвил капрал, как бы одумавшись.

— Барин мой видел, что майору скоро придется пить горькую чашу,— продолжал Влас,— для того-то он и зарыл здесь ввечеру все то, что сберег в походах и что старушка его скопила трудами своими и бережливостью лет десятка за два. Жаль было старой барыне расстаться с потовыми своими денежками, да, видишь, она сыну своему ни в чем не отказывает. Всего набралось рублей сотни две: этим поручик думал сколько-нибудь помочь майору, хоть до осени, пока хлеб уберется с поля. Он знал, что майор иначе не принял бы от него денег, из барской спеси, и для того придумал эту хитрость.

Почти то же, но с разными обиняками и возможною тонкостию, рассказывал дорогою майору Левчинский, во всем сознавшийся. Добрый Максим Кириллович сперва было посердился, приняв это за дурную шутку; но после, вполне выразумев намерение молодого офицера, глубоко был тронут благородным его поступком, и сам уже извинял его в душе своей за этот затейливый способ снабдить своими деньгами соседа. Однако же, несмотря на все убеждения Левчинского, майор решительно отказался взять эти деньги, даже и в виде займа. После долгих и жарких переговоров они перестали наконец говорить об этом деле и приехали в дом майоров оба в задумчивости.

С этого дня майор все более и более упадал духом. Мечты обогащения в нем замерли; Левчинский столь верно, столь живо представил ему всю несбыточность их, что, вместо прежней, лелеявшей его надежды, в нем поселились раскаяние и безотрадное уныние. Уже он не выезжал до рассвета, но бессонница опять начала его мучить. Наступила осень. Поля

майоровы, оставленные без присмотра и небрежно возделанные ленивыми его крестьянами, принесли весьма малый запас хлеба; а другие и вовсе были без посева. К тому же докуки заимодавцев час от часу становились чаще, состояние домашних дел еще более расстроилось... Майор почти приходил в отчаяние: ни советы войскового писаря, ни утешения Левчинского и Ганнуси — ничто не помогало. Часто по целым ночам ходил он взад и вперед по своей комнате... и вот однажды снова вспало ему на мысль, для развлечения, пересмотреть остальные бумаги в дедовском сундуке. Ночью, чтобы прогнать свою бессонницу и убаюкать себя хотя по-прежнему новыми мечтами и надеждами, он опять выдвинул с крайним усилием сундук, отпер его и начал выкладывать из него бумаги. Дошед до того места, где попалась ему известная рукопись, он приостановился и задумался. Тяжкий вздох окончил его печальные размышления; он начал рыться далее в пыльных и пожелтелых бумагах, но, к удивлению своему, находил только белые листы. Он рассудил за лучшее разом вынуть всю кипу и пересмотреть, нет ли между нею чего-либо особенного. Каковы же были его изумление и радость, когда, приподняв сии бумаги, он увидел под ними несколько длинных узких мешков из *пестряди* (полосатого тика) и четыре кожаные кошелька, плотно завязанные и запечатанные! «Так вот где клад!»— громко вскрикнул майор, не в силах быв владеть собою. Тотчас он схватил один мешок, потянул его — слегший-ся и перегнивший тик разорвался, и из него посыпались серебряные рубли. Нетерпеливый старик схватил другой мешок — из него также зазвенели рубли; в третьем и четвертом было то же; в трех остальных было мелкое серебро: гривенники, пятачки, копеечки. Майор был вне себя от такого неожиданного богатства: он остановился и несколько минут смотрел на него тупыми глазами. Потом, когда первые движения изумления и радости утихли, он начал рассуждать: сперва ему пришло в голову, не снова ли мечта шутит над ним и не было ли это действием горячки, приключившейся от бессонницы; далее — не искушал ли его лукавый своим наваждением? Майор перекрестился, сотворил молитву и с болезненным чувством ожидал, что мнимый клад рассыплется прахом... но клад не рассыпался. Тогда майор с большею уверенностию, перекрестясь еще однажды, принялся за кожаные кошельки, которые уцелели еще от времени. Снурки отвалились вместе с печатями, и — новый восторг для нашего Максима Кирилловича! Из кошельков высыпал он на стол целую груду червонцев. Некогда было и думать обо сне: майор при-

нялся прежде всего считать червонцы: их было ровно тысяча. Между ними майор заметил выпавшую из одного мешка бумажку: он развернул ее и прочел следующие слова, написанные самым старинным почерком, на малороссийском наречии: «Сии деньги заложил аз, грешный раб божий, хорунжий Яким Нешпета, от избытков моих, на пользу и про нужду того из моих наследников, кому бог положит на сердце сберечь родовые свои документы. Не полагаю никакого на них зарока; но желаю от глубины души моей, чтобы деньги сии достались не моту, не гуляке, а человеку, терпящему недостаток, от чего, однако же, да спасет господь бог род мой и племя на долгие веки!» Этот хорунжий был дед майоров, человек богатый и бережливый, и умер лет за сорок до того времени, в которое наш майор отыскал эти деньги. Добрый Максим Кириллович совершенно успокоился в совести насчет законности своего приобретения и безопасности владения оным.

Пересчитав свое золото, майор принялся за серебро. Вся ночь протекла в этом занятии, которого следствия были самые удовлетворительные и утешительные: майор нашел в мешках двенадцать тысяч серебряных рублей и на восемь тысяч мелкого серебра полным счетом. Этого было слишком достаточно для теперешних его желаний, которые, со времени напрасных его поисков, сделались гораздо умереннее. Оставалось одно затруднение: куда припрятать эти деньги, чтоб укрыть их от зорких глаз и неосторожного болтанья *хлопцев*, от алчного чутья воров и от завистливой докучливости соседей, которые поминутно стали бы просить взаймы у нового богача соседа? Майор решился дожидаться утра, чтобы посоветоваться с единственным поверенным всех своих тайн, старым капралом, и, оставя дела в том порядке, в каком мы их видели, запер изнутри дверь своей комнаты на замок и лег в постелю, не для того, чтобы уснуть, но чтобы насладиться в полноте новым своим счастием и спокоить волнение чувств, крайне встревоженных такою радостною нечаянностию. Груды денег, лежавшие перед ним, казалось ему, будто бы поминутно росли и наконец наполняли собою всю комнату, в которой он, от тесноты, почти не мог перевести дыхания. Не скоро мог он вздохнуть свободнее и забыться впервые после очень долгого времени сладкою дремотой.

— Кто там?— вскричал майор, услышав поутру легкий стук у двери.

— Я, ваше высокоблагородие!— раздался голос старого капрала. Майор отпер дверь, и капрал вошел.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!— сказал он и остановился, остолбенев от удивления.

— Молчать, старый товарищ!— ласково молвил ему вполголоса Максим Кириллович, потрепав его по плечу.— Вот что бог посылает нам на старость.

Капрал уставил глаза на золото и серебро и не скоро мог опомниться. «Так ваше высокоблагородие все же нашли клад»,— проговорил он наконец, как будто бы не вполне еще веря тому, что видел.

— Не клад, а старинное, родовое наследство, капрал!— отвечал Максим Кириллович и в коротких словах объяснил все дело прежнему своему сослуживцу.

— Велик бог милостью, ваше высокоблагородие! Он утешил вас за долгое терпение!— проговорил капрал с облегчающим вздохом, которым он как будто бы перевел дыхание после продолжительного, тяжкого труда.

— Правда, правда, капрал,— отвечал майор,— и мы сегодня же отслужим благодарственный молебен с акафистом Николаю Чудотворцу, скорому помощнику в бедах. А теперь пособи ты мне советом: куда припрятать эти деньги?

— Да туда же, ваше высокоблагородие, на прежнее место. Сундук этот крепок: смотрите, как он плотно скован. Мы прибьем к нему новые полосы железа, свежие петли да дватри лишних пробоя с замками, так пусть-ка попытаются в него забраться; а утащить его никто не может: эдакой тяжести под мышкой не унесешь! Комнату станете вы тоже запирать двойным замком; а что нужно из денег для обиходу, отложите в железную шкатулку...

— Дельно, умная голова!— отвечал ему майор.— Так, благословясь, примемся же за дело. Принеси все, что нужно, а я между тем отсчитаю деньги...

Целое утро майор с капралом работали над сундуком, запершись в комнате. Хлопцы слышали стук, но не могли догадаться, что там делалось. За час до обеда майор вышел и послал за священником. Ганнуся с неописанною радостью увидела веселое лицо отца своего. Все домашние, собравшись к молебну, дивились и не могли понять, за какой счастливый случай пан их так усердно благодарил бога? Но Ганнусе не нужно было знать ничего более: она видела отца своего довольным, и милая девушка, с теплыми слезами стоя на коленях, благодарила все силы небесные за избавление его от тяжкой душевной болезни.

В эту самую минуту вошли Спирид Гордеевич и Левчинский. Они стали с молящимися, и поручик, заметно

было, молился с великим усердием. По окончании молебна войсковый писарь вызвал майора в другую комнату и сказал ему без околичностей, что приехал с женихом к его дочери.

— С каким женихом?— спросил майор несколько надменно.

— Сосед!— отвечал ему Спирид Гордеевич.— Мы с тобою в таких летах, в которые ничего не пропускают мимо глаз; и ты, верно, заметил, что Алексей Иванович Левчинский и моя крестница Анна Максимовна давно любят друг друга.

— Любят! этого мало. Хорошо любить, да было бы чем жить. Куда он приведет мою дочь? У него только и есть, что ветхая хатка, которая скоро от ветра повалится.

— Откуда такая спесь, любезный кум? Сказать ли тебе всю правду: ведь ты сам немногим чем его богаче...

— Ну, бог весть!— прервал его речь майор, приосанившись и потирая себе руки.

— Но пусть и богаче,— подхватил войсковый писарь,— в чужом кармане считать я не умею и не охотник. Дай бог тебе разбогатеть; тебе же лучше. Худо только то, что ты не помнишь добра, которое тебе сделано: ты позабыл уже, что Левчинский жизнью своею купил себе невесту, что для твоей дочери бросался он на верную почти смерть...

— Полно, полно, Спирид Гордеевич!— вскрикнул растроганный майор.— Вот тебе рука, что сватовство твое не пошло на ветер. Быть так! пусть Ганнуся будет женою Левчинского. Видно, на их счастье... Скажу тебе, дорогой мой кум,— продолжал он, понизив голос,— что нынешнюю ночь бог послал мне...

— Клад?— вскрикнул войсковый писарь с лукавою улыбкой.

— Пропадай они, эти проклятые клады!— отвечал майор.— Нет, друг мой, этого грех назвать кладом: я отыскал дедовское наследство.— Тут майор снова рассказал о своей находке и подал найденную им записку войсковому писарю.

— Подлинно, в этом виден перст божий!— молвил Спирид Гордеевич, пробегая записку.— Сам бог благословляет наших молодых людей и посылает тебе это неожиданное счастье, чтоб не было больше никакого препятствия их союзу. Правда, и без того они богаты не были б, а сыты были б. Ты знаешь, у меня нет ближней родни, а дальняя богаче меня вдесятеро и спесивее всотеро: ни один из этих родичей на меня и смотреть не хочет. Имение мое не родовое, а трудовое; я властен им располагать, как хочу...

— Что же ты из него хочешь сделать?— подхватил майор с обыкновенною своей нетерпеливостию.

— Я разделю его на две части,— отвечал Спирид Гордеевич,— одну при жизни еще уступаю Левчинскому, нареченному моему сыну; а другую по смерти моей завещаю своей крестнице, будущей жене его...

— Добрый, добрый сосед! милый, дорогой кум!— повторял Максим Кириллович в сильном движении души, крепко сжимая в дружеских объятиях своего соседа.

— Пойдем же благословить наших детей,— отвечал сей последний, тихо вырываясь из его объятий,— зачем томить их долее мучительною неизвестностию!

Они вышли, держа друг друга за руки, и застали молодых людей в робком ожидании. Ганнуся сидела в углу, повеся голову; Левчинский стоял подле печки, сложа руки и устремя глаза на синие изразцы, как будто бы хотел срисовывать все вычурные фигуры, которыми они были изукрашены.

— Вот, Максим Кириллович, прошу принять нареченного моего сына к себе в зятья,— сказал войсковый писарь церемониальным голосом, взяв Левчинского за руку и подведя его к майору.

— Рад хорошему человеку,— отвечал майор таким же тоном,— и уверен, что дочь моя будет с ним счастлива.

Через две недели все соседство пировало свадьбу Левчинского и Ганнуси. Брачные пиры продолжались несколько дней, и даже Спирид Гордеевич отбросил на время расчетливую свою бережливость: он, по тогдашнему понятию, пышно угостил созванных им соседних панов. Старый капрал, в день свадьбы доброй своей панянки, одевшись по-праздничному, бодро притопывал здоровою своею ногою под веселую музыку *мятелицы, журавля* и других плясовых малороссийских песен; а еврей Ицка Хопылевич, как человек на все способный и всегда готовый угождать своему помещику, явился с своими цимбалами подыгрывать гуслисту и двум скрипачам, которых выписали из города.

Несмотря на все старания Максима Кирилловича, слух о быстром его обогащении скоро разнесся по всему околотку. Все узнали, что у него проявилось много денег, не узнали только, откуда он взял их. Стали доведываться у хлопцев, и те проболтались, что пан долгое время искал кладов. Ясное дело: он разжился найденными в земле сокровищами! Много нашлось охотников обогатиться этим легким способом; но все они не так счастливо кончили, как старый наш майор; не у всякого был такой добрый и предусмотрительный дедушка!

Заимодавцы майоровы снова явились к нему, уже не с криком и угрозами, а с поздравлениями и низкими поклонами. Все они получили сполна свои деньги и от души пожелали другим своим должникам, в *состоятельности* коих не были уверены, так же счастливо поискать кладу.

Ицка Хопылевич также явился однажды с своею *претензиею*, как говорил он. Честный еврей расчел, что, по условию, ему следовала третья доля из находки майоровой; но он не во время объявил свою претензию: майор наотрез сказал, что он считал за грех наследственными деньгами наделять жидов; Левчинский с смехом вызывал еврея отгадать посредством своей науки, где Максим Кириллович нашел свой клад; а Влас, случившийся тут же, советовал Ицке лучше прятать третью долю, которую отсчитает ему майор, нежели то серебро, которое он хотел утаить на *Кудрявой могиле*. «Иначе,— примолвил насмешливый Влас,— щеки твои опять рассыплются кладом. Ты знаешь, приятель, что и я отчасти смышлен в колдовстве и без волшебного прутика знаю, где отыскивать серебро».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Почти подлинные слова одной старинной рукописи, которую сочинитель сей повести, назад тому лет двадцать, видел у одного украинского помещика. Древность и ветхость бумаги, почерк руки и крайне полинявшие чернила, особливо старинный язык ее, смесь русского с малороссийским и польским,— все доказывало, что рукопись сия не поддельная.

[2] *Сагайдачный шлях*, т. е. дорога, есть одна из самых старинных дорог в Малороссии. Она проходит по губерниям Полтавской, Слободско-Украинской и Черниговской и теряется, как полагают, на пределах Волыни. Название *Сагайдачного шляха* получила сия дорога, по мнению одних, от имени храброго казачьего полковника Сагайдачного, который будто бы вел войско сею дорогой; а по мнению других, от дуги, которую дорога сия описывает в пролегаемом ею краю и которая изгибается в виде лука (*сагайдака*).

[3] *Худояр*, славный разбойник в Малороссии, живший, как думают, около половины XVII столетия. Предания о нем темны или и вовсе потеряны. Говорят только, что он закапывал в разных местах Малороссии богатые свои добычи. В этом же смысле о нем упоминается и в старинной рукописи о кладах (см. примеч. 1).

[4] Звательный падеж в малороссийском наречии слова: сынок.

[5] *Атаман*, или, как в других местах Малороссии называют, войт, есть сельский выборный, или староста.

[6] Примеры нищих, которые, почти целый век бродив по миру, под конец своей жизни бросали это ремесло и жили безбедно, иногда даже и в обилии, вымоленными деньгами, не редки в Украине. Сочинитель сей повести часто слыхал об одном нищем, жившем в Б... Слепец сей более сорока лет жил на счет доброхотных дателей и, наконец одряхлев, перестал ходить с сумою и посохом, поселился в маленьком уютном домике и прожил остальные свои лета хотя не роскошно, но в довольстве по крестьянскому понятию. Трех своих дочерей выдал он за порядочных людей и за каждою из них дал в приданое по тысяче рублей серебром: такая сумма в тогдашние времена (лет за сорок пред сим) почиталась очень значительною, даже и не для крестьянина. Должно думать, что и здесь старуха разбогатела сим же способом, но совестясь признаться в том или боясь, что ей не поверят, выдумала сказку, весьма правдоподобную для простодушных земляков своих.

[7] Читатели, конечно, поняли цель сей повести собрать сколько можно более народных преданий и поверий, распространенных в Малороссии и Украине между простым народом, дабы оные не вовсе были потеряны для будущих археологов и поэтов. И теперь уже многие из них позабыты; другие, по смутным рассказам старых людей, еще удерживаются в памяти простодушных сельских жителей. С распространением просвещения они и вовсе исчезнут. Сочинитель, знакомый с нравами и обычаями тамошнего края, собрал, сколько мог, сих народных рассказов и, не желая составлять из них особого словаря, решился рассеять их в разных повестях. У других просвещенных народов Европы много было писано о таковых предметах; они, у каждого из сих народов, составляют запас для народной поэзии, равно как и для исследований о первобытных нравах и обычаях их предков.

[8] *Чумаками* в Малороссии называются погонщики волов, ходящие с обозами и нанимающиеся для перевоза тяжестей. Они ходят с волами не только в разные далекие края России, но даже и за границу, как-то: в Силезию, Саксонию и пр. Места сии называют они по-своему, например: *Шленск* (Силезия), *Береслав* (Бреславль) и *Липск* (Лейпциг).

[9] *Батог* — бич или плеть на длинной палке; ею чумаки погоняют волов.

[10] *Знахарь* — колдун.

[11] *Зеленою неделей* называется в Малороссии семик, или седьмая неделя после светлого праздника. Троицын день также называется *зеленою неделей*, принимая в сем последнем случае название *неделя* за воскресенье; ибо под словом неделя в Малороссии обыкновенно разумеется воскресный день. Таким образом, встречаемое в малороссийских песнях выражение: *в недилю рано* — значит: *в воскресенье поутру*, а не *чрез неделю*.

[12] *Купаловым днем* в Малороссии называется день св. Агриппины, накануне Иванова дня (23 июня). Летописцы говорят, что во времена язычества славянских народов в этот день приносились жертвы богу Купалу.

[13] Малороссийская тарадайка есть открытая повозка на четырех

колесах, сделанная красивее обыкновенных телег, часто с вычурною резьбою на досках и выкрашенная разными красками, коих резкое смешение составляет собою странную пестроту. Это экипаж небогатых панков, мелких купцов и зажиточных обывателей.

[14] *Хто в бога вируе, ратуйте!* Таков крик малороссиян, когда они, находясь сами или видя других в опасности, просят о помощи.

[15] *Пролески* — род *подснежника,* первые весенние цветы в Малороссии. Это маленькие голубые колокольчики, видом похожие на яцинты: растут они от луковиц, на низких и тонких стебельках. Весною, когда снег растает, леса и сады в Малороссии покрываются темно-голубыми коврами сих цветков, которые весьма нравятся взору и ласкают обоняние приятным медовым запахом.

[16] *Вечерницы* — вечерние собрания молодых людей обоего пола. Такие собрания бывают иногда не вовсе невинны.

[17] *Судовые,* т. е. чиновники земской полиции или уездного суда, иногда и прочих губернских и уездных присутственных мест.

[18] *Магарыч* — попойка, которою заключаются все домашние сделки малороссийских поселян. Такие *магарычи* нередко уносят все деньги, вырученные за проданную вещь.

[19] Польские жиды в Малороссии обыкновенно прикладывают к имени и прозванию своему еще другое прозвище, от имени польского города или места, к еврейскому обществу коего принадлежат они. Таким образом, между ними бывают, например, Иосель Лейбович *Бердычовский,* Абрам Израилевич *Бродский.*

[20] *Заговор* принимается здесь в смысле заклинания.

[21] Уменьшительное имени *Леа,* или *Лия.*

[22] *Ридько* — Иродион.

[23] *Левада* — рощица, иногда небольшое угодье с сенокосом, обнесенное плетнем.

[24] *Гапка* — уменьшительное имени Агафия.

[25] По-малороссийски: *Ох, лихо, мені тяжке!*

[26] Некоторые из суеверных польских евреев думают, что одного из них каждый год уносит какое-то неведомое и незримое существо, которое называют они *хапун* (т. е. *хватун,* или *похититель*). Они думают, что в течение года одному из них непременно должно пропасть без вести; но не знают или не умеют растолковать, злой ли дух есть этот *хапун,* и куда он заносит похищенных евреев, и что с ними делает. Похищение сие, по мнению их, чаще всего случается во время их праздника, называемого *судный день.* Никто из них не знает, на кого должен пасть сей бедственный жребий; но каждый боится за самого себя.

[27] *Могилами* в Малороссии называются курганы, или высокие насыпи, часто встречающиеся посреди полей и степей. Это, вероятно, были укрепления или подзорные высоты, сделанные во времена набегов татарских.

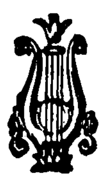
ДЕННИЦА,

АЛЬМАНАХЪ

НА 1830 ГОДЪ,

ИЗДАННЫЙ

М. МАКСИМОВИЧЕМЪ.



МОСКВА.

Въ Университетской Типографіи.

1830.

АНАКСАГОР (Д. ВЕНЕВИТИНОВ)

БЕСЕДА ПЛАТОНА

Анаксагор. Давно, Платон, давно уроки божественного Сократа не повторялись в наших беседах, и я по сих пор напрасно искал случая предложить тебе несколько вопросов о любимых наших науках.

Платон. Готов удовлетворить твоим вопросам, любезный Анаксагор, если силы мои мне это позволят.

Анаксагор. Ты всегда решал мои сомнения, Платон, и я не помню, чтобы ты когда-нибудь оставил хоть один из наших вопросов без удовлетворительного ответа.

Платон. Если и так, Анаксагор, то не я производил такие чудеса, но наука, божественная наука, которая внушала речи Сократа и которой я решился посвятить всю жизнь свою.

Анаксагор. Недавно читал я в одном из наших поэтов описание золотого века и признаюсь тебе, Платон, в моей слабости: эта картина восхитила меня. Но когда я на несколько времени перенесся в этот мир совершенного блаженства и потом снова обратился к нашим временам, тогда очарование прекратилось, и у меня невольно вырвался горестный вопрос: для чего дано человеку понятие о таком счастии, которого он достигнуть не может? Для чего имеет он несчастную способность мучить себя игрою воображения, прекрасными вымыслами?

Платон. Как? неужели ты представляешь себе золотой век вымыслом поэта, игрою воображения? Неужели ты полагаешь, что поэт может что-либо вымышлять?

Анаксагор. Без сомнения; и я думал в этом случае быть с тобою согласным.

Платон. Ты ошибаешься, Анаксагор. Поэт выражает свои чувства, а все чувства не в воображении его, но в самой его природе.

Анаксагор. Если так, то для чего же изгоняешь ты поэтов из твоей республики?

Платон. Я не изгоняю истинных поэтов, но, увенчав их цветами, прошу оставить наши пределы.

Анаксагор. Конечно, Платон; кто из поэтов не согласился бы посетить твою республику, чтоб подвергнуться такому изгнанию? Но не менее того это не доказывает ли, что ты почитаешь поэзию вредною для общества и, следственно, для человека?

Платон. Не вредною, но бесполезною. Моя республика должна быть составлена из людей мыслящих и потому действующих. К такому обществу может ли принадлежать поэт, который наслаждается в собственном своем мире, которого мысль вне себя ничего не ищет и, следственно, уклоняется от цели всеобщего усовершенствования? Поверь мне, Анаксагор: философия есть высшая поэзия.

Анаксагор. Я охотно соглашусь с твоею мыслию, Платон, когда ты покажешь мне, как философия может объяснить, что такое золотой век.

Платон. Помнишь ли, Анаксагор, слово Сократа о человеке? Как называл он человека?

Анаксагор. Малым миром.

Платон. Так точно, и эти слова должны объяснить твой вопрос. Что понимаешь ты под выражением малый мир?

Анаксагор. Верное изображение вселенной.

Платон. Вообще эмблему всякого целого и, следственно, всего человечества. Теперь рассмотрим человека в отдельности и применим мысль о человеке ко всему человечеству. Случалось ли тебе знать старца, совершившего в добродетели путь, предназначенный ему природою, и приближающегося к концу с богатыми плодами мудрой жизни?

Анаксагор. Кто из нас, Платон, забудет добродетельного Форбиаса, который, посвятив почти целый век любомудрию, на старости лет, казалось, возвратился к счастливому возрасту младенчества?

Платон. Ты сам, Анаксагор, развиваешь мысль мою. Так! всякий человек рожден счастливым, но чтобы познать свое частье, душа его осуждена к борению с противоречиями мира. Взгляни на младенца — душа его в совершенном согла-

сии с природою; но он не улыбается природе, ибо ему недостает еще одного чувства — совершенного самопознания. Это музыка, но музыка еще скрытая в чувстве, не проявившаяся в разнообразии звуков. Взгляни на юношу и на человека возмужалого. Что значит желание опытности? Где причина всех его покушений, всех его действий, как не в идее счастия, как не в надежде достигнуть той степени, на которой человек познает самого себя? Взгляни, наконец, на старца; он, кажется, вдохновенным взором окидывает минувшее поприще и видит, что все бури мира для него утихли, что путь трудов привел его к желанной цели — к независимости и самодовольству. Вот жизнь человека! Она снова возвращается к своему началу. Рассмотрим теперь ход человечества, и тогда загадка совершенно для нас разрешится. В каком виде представляется тебе золотой век?

Анаксагор. Древние наши поэты посвятили свое искусство описанию какого-то утраченного блаженства, и слова мои не могут выразить моего чувства.

Платон. Не требую от тебя картины; но скажи мне, как представляешь ты себе первобытного человека в отношении к самой природе?

Анаксагор. Он был, как уверяют, царем природы.

Платон. Царем природы может назваться только тот, кто покорил природу; и следственно, чтоб познать свою силу, человек принужден испытать ее в противоречиях — оттуда раскол между мыслию и чувством. Объясню тебе эти слова примером. Представим себе Фидиаса, пораженного идеею Аполлона. В душе его совершенное спокойствие, совершенная тишина. Но доволен ли он этим чувством! Если б наслаждение его было полное, для чего бы он взял резец? Если б идеал его был ясен, для чего старался бы он его выразить? Нет, Анаксагор! эта тишина — предвестница бури. Но когда вдохновенный художник, победив все трудности своего искусства, передал мысль свою бесчувственному мрамору, тогда только истинное спокойствие водворяется в душу его — он познал свою силу и наслаждается в мире, ему уже знакомом.

Анаксагор. Конечно, Платон, это можно сказать о художнике, потому что он творит и для того своевольно борется с трудностями искусства.

Платон. Не только о художнике, но и о всяком человеке, о всем человечестве. Жить — не что иное, как творить будущее — наш идеал. Но будущее есть произведение настоящего, то есть нашей собственной мысли.

Анаксагор. Итак, Платон, если я понял твою мысль,

то золотой век точно существовал и снова ожидает смертных.

Платон. Верь мне, Анаксагор, верь: она снова будет, эта эпоха счастия, о которой мечтают смертные. Нравственная свобода будет общим уделом; все познания человека сольются в одну идею о человеке; все отрасли наук сольются в одну науку самопознания. Что до времени? Нас давно не станет,— но меня утешает эта мысль. Ум мой гордится тем, что ее предузнавал и, может быть, ускорил будущее. Тогда пусть сбудется древнее египетское пророчество. Пусть солнце поглотит нашу планету, пусть враждебные стихии расхитят разнородные части, ее составляющие! Она исчезнет, но совершив свое предназначение, исчезнет, как ясный звук в гармонии вселенной!

Н. ПОЛЕВОЙ

СОХАТЫЙ

(Сибирское предание)

1

СИБИРЬ

Ты не забыта мною, моя далекая родина, Сибирь, богатая золотом, дремучими лесами, морозами и дивными явлениями природы! Как первые мечты юности, как любимые игры детства, я помню твои вековые кедры, твои безмолвные пустыни, переломленные веками утесы в ущелиях гор и твою безмерную, голубую, как глаза сибирской девы, светлую, как глыба льду, Ангару, на берегах которой беспечно, весело и быстро пролетели дни детства моего. Сибирь! как далека ты и как близка к душе моей! Все, что впечатлевалось некогда в юную память мою, все помню я, даже гул ветра по сосновым лесам, когда, переходя с мшистых тундр, в твоих дебрях гуляет он, мощный сын Ледовитого моря, и разносит туманы, и природы, и страсти, которые облегают здесь, на Руси, небосклон, и тускнят в глазах моих и великолепные здания, и бархатные луга, и цветущие поля, согреваемые солнцем, распещряемые радугами цветов и пожираемые завистливым человеком. Смотря ли на здешние обнаженные поля, забыть мне твои необозримые, нетронутые степи, Сибирь — *золотое дно*! В тебе живет не много людей — не завидуй многолюдству здешнему: здесь и пороков более, чем в твоих малолюдных городах! Благодари провидение, что в тебе есть где поместиться и исчезнуть тлетворным преступлениям, которые звуком цепей означают путь свой из здешней стороны и теряются в неизмеримости пустынь твоих, как ручей в волнах Ангары, как следы легкого оленя, по глубокому снегу якутской стороны!

Простите воспоминаниям былого, друзья мои! Заставляя меня рассказать вам одну из былей, слышанных мною в Сибири, в бывалые годы моей юности, вы напомнили мне

мою родину, в которой приведет ли меня бог бывать когда-нибудь еще! Дивитесь странностям человеческого сердца: я многое видел с тех пор, как в последний раз с надеждами, с мечтами на будущее — еще юный, еще полный жизни — глядел на Иркутск, над которым великолепно восходило солнце и золотило лучами своими синие воды Ангары и зеленые берега Иркута... Много времени минуло тому; много испытала душа моя и горя, и радости; много тех, с которыми делилась она, совершили навсегда путь жизни и отдыхают под гробовым дерном... Но где я ни был — и на вершинах Урала, и вблизи Кавказа и Тавриды, и на берегах Азовского моря, и на выстланных гранитом берегах Балтийского моря, и на роскошных пажитях Украины — нигде, нет, нигде уже не волновалась так душа моя, не билось так сильно сердце мое, не горела так пламенно голова моя, как там, в дикой моей родине! Это был мир очарований, мир, пролетевший сном мгновенным. Если кто из вас, друзья мои, будет в Иркутске — пусть пойдет он за город, к тому месту, где близ старой, разрушенной мельницы вливается в Ангару Ушаковка. Тут извивистое течение этой речки приведет его к тому месту, где Ушаковка раздвояется островами, где против него на луговой стороне будет старое Адмиралтейство — тут жил отец мой; тут были пределы первого моего мира; тут мечтал я, плакивал за Плутархом, думал быть великим человеком, подобно великим людям, им описанным; горделиво расхаживал по лугу, уединяясь в тень дерев, вдохновляясь первою любовью, делясь первыми ощущениями дружбы... Там, говорят, все изменилось: старый отцовский дом не существует; добрых людей, которые некогда собирались в нем, разнесла буря жизни, и меня — беспечного юношу — увела судьба далеко от родины... Но обратимся к моему рассказу.

И теперь еще малолюдна Сибирь, и теперь еще дики леса ее; но прежде была она еще малолюднее, леса ее были еще диче. Было время, что воевода, посланный из Москвы, два года ехал до Иркутска, отдыхая в уединенных острогах и зимовьях от дороги бесконечной. Теперь всюду видите уже следы человека: леса прорублены, болота устланы мостами, горы обрыты. Часто едете и ныне не встречая живого существа человеческого; но тут же видите, что человек был уже в сих местах, срубил, срыл, замостил и удалился. Прежде вы напрасно искали бы его. Если дерзкое любопытство осмеливалось заходить в чащи лесов, оно встречалось с дикими зверями или — еще хуже — с ордами сибирских дикарей, которые скрывались в отдалениях от русского человека и иногда, с своими

стрелами и секирами, приступали даже к городам, русскими застроенным. Русские самопалы гремели тогда против них, и постепенно дикари усмирялись, становились м и р н е е и кротче, с тайною досадою, но тише и тише давали ясак и отвыкли наконец от дикой воли, привыкли к неволе образованных обществ, хотя еще не вполне знают выгоды, от нее происходящие.

Но все это делалось не скоро. И за пятьдесят лет Сибирь была далеко не то, что она теперь. Лет пятьдесят назад в Иркутске еще цел был деревянный острог, защищавший город; теперь на этом месте бульвары: судите о разнице по этому.

Преступление уже давно находило в Сибири место наказания. С самого завоевания Сибири Годунов начал бросать в сибирские города людей, возбуждавших его опасения, вельмож, заграждавших ему путь к престолу, а потом угрожавших его трону своими умами или мечами. Мятежные стрельцы толпами были низринуты в Сибирь, и более 100 лет тому, как цена порока и преступления оседает из степи и леса Сибири. Напрасно подумали бы вы, что Сибирь делается от этого местом, где сбирается порок и преступление. Нет! *Двадцать и двадцать пять тысяч* человек ежегодно идут из России в Сибирь на железном канате; но их и не видно в Сибири. Убийцы, злодеи, люди, заклейменные преступлением, скрываются, с раскаянием или с неумолимым грызением совести, в мрачных глубинах рудников, в далеких уединенных местах, где трудами рук своих окупают отринутое обществом бытие свое; и в поте лица снедают хлеб свой. Изгнанники же в Сибирь часто становятся добрыми гражданами. Смело въезжаете в деревню, населенную людьми, сосланными из России, и мирно спите под кровом, который соорудило себе кающееся преступление или бедственная слабость. Но прежде было не так — и в Сибири, и в России. Здесь, на Руси, как часто, лет пятьдесят назад, не было проезда по столбовой дороге; как нередко разбойники ставили притины по Волге, будто правильные войска, и брали дань, не только делились с каждою проходящею *расшивою*, с каждым проезжавшим купцом. Когда же злодей попадался в цепи и был уводим в Сибирь, там нередко не знали, что с ним делать. Бывали случаи, что преступники собирались ватагами, бродили по селениям, брали, что им было надобно, и на зиму приходили в городские тюрьмы, откуда весною уходили опять в непроходимые пустыни. Туда часто посылали против них сотни бурятов, сибиряков и казаков, которые захватывали их в *облавы*, как диких зверей, гнались за ними в самые неприступные места, зажи-

гали леса и пожарами выгоняли их из мрачных логовищ.

Память об этих старых — и едва ли *добрых* — временах едва осталась в преданиях сибиряков. Но спросите старожилов тамошних, они подтвердят вам мои рассказы. Они еще не забыли даже имен некоторых буйных удальцов, которые наводили страх и трепет на жителей Иркутска и берегов байкальских. Из всех отчаянных голов, которых память осталась в народном предании, никто не страшил столько в свое время, как *Буза* и *Сохатый*. Первый долго был страшилищем Волги и Дона, грабил богатых армян по берегам Каспийского моря и сам отдался в руки правосудия, когда удалось захватить жену его. Буза не отделил судьбы своей от ее судьбы и пошел в Сибирь с нею. Сто человек провожали его, закованного цепью в несколько пудов. Но в Сибири он бежал и много лет не давал проезда по Ангаре. Напрасно казаки и буряты ловили, искали его; поверье народное говорило наконец, что Буза заговаривает ружья, что пуля не берет его, что он скрывается под водою, когда за лодкою его гонится погоня. Стрела бурята разрушила в роковую минуту смерти все очарования, и Буза погиб. Судьба Сохатого, до ссылки его в Сибирь, осталась неизвестною; он никогда не говорил об ней: знали только, что он пришел в Сибирь из пермских лесов, где на душе его, как говорили, легло много убийств и дел ужасных.

2

КАТОРЖНЫЙ

Перед домом иркутского коменданта толпилось множество народа. Все любопытно глядели на человека, скованного тяжелыми цепями и прикованного к телеге.

Солнце пекло его палящими лучами; он не мог пошевелиться, горько стенал и томился среди толпы, с жадным, но бесчувственным вниманием смотревшей на него. Казаки и буряты стояли вокруг телеги.

В это время подле растворенного окна комендантского дома появилась прелестная девушка. Молодой офицер стоял подле нее и, казалось, не смотрел ни на толпу, ни на несчастного, бывшего предметом внимания толпы: глаза молодого офицера были устремлены на девушку, и при ней ничто для него не существовало.

— Боже милосердый!— сказала девушка сложа руки и подняв голубые глаза свои к небу.— Опять несчастный!

Какая ужасная судьба: быть всегда свидетельницею мучений отверженного человечества!

Офицер опомнился, взглянул в окно и сказал с видом невольного содрогания: «Вы не стали бы жалеть о чудовище, которого видите, если бы знали, кто он».

— Человек, и — брат мой!— отвечала девушка с ангельским выражением.

«Брат ваш! Демон брат ангела, Амалия! Это человек, душа которого мрачнее адской тьмы, разбойник, за голову которого обещаны великие награды, который не знает ни совести, ни жалости; словом, Амалия — это *Сохатый*!»

И Амалия с невольным трепетом отступила от окна: страшное имя разбойника испугало ее. В эту минуту молчания раздирающий стон вылетел из груди Сохатого. «Братцы!— говорил он удушаемым голосом.— Ослабьте мне шею и дайте глоточек воды... Христа ради, я умираю...»

Казаки захохотали. «Издыхай, издыхай, собака!»— закричал урядник.

— Христа ради! Лучше убейте меня, но не томите.

«Молчать!»— загремел урядник, поднимая свою пику. Несчастный закрыл глаза и замолчал. Он не знал, что близ него была душа, понимавшая его страдания. Когда Амалия услышала мольбы Сохатого и бесчеловечные отказы казаков, две крупные слезы покатились из глаз ее. «Вы слышите»,— сказала она, поспешно отирая их и обращаясь к офицеру, подле нее бывшему.

— Он просит пить,— сказал офицер хладнокровно,— и ему не дают.

— Флахсман!— вскричала Амалия.— Вас ли я слышу? Как? И вы умеете говорить этим убийственным голосом, каким говорит дядюшка?

Флахсман смутился. «Я не понимаю, что вы хотите сказать...»— отвечал он.

— А вы еще хотите, чтобы я понимала вас! Вы видите перед собою несчастного предметом насмешек глупого любопытства народного; он томится на жару, с засохшим горлом, умирает от жажды.

— Что я могу сделать, Амалия?

— Велите снять его с телеги, дайте ему пить и удалите его от народа.

— Нельзя, Амалия. Это страшный преступник; он дожидается выхода вашего дядюшки, который сам хочет допросить его, но теперь занят в своем кабинете, и велел подождать.

— Он докуривает свою пятую трубку: вот его занятие! А между тем несчастный умирает...

— Он не умрет. Этот человек пять раз бегал из тюрьмы; его не держат ни цепи, ни замки, и я не ручаюсь ни за что, если его хоть на минуту выпустить из глаз.

— Флахсман! будьте милосерды! Я не могу видеть его мучений.

— Чего же вы хотите, Амалия?

— Вы адъютант дядюшки, вас послушают; велите ввести Сохатого в гауптвахту и пошлите ему пить...

— Амалия!

— Вы мне не откажете?— сказала Амалия, приближаясь к нему и смотря на него сквозь слезы.— С тех пор как я в Иркутске, меня беспрерывно окружают жертвы правосудия. Я не заступаюсь за них — истребляйте злодеев; но зачем заставляете вы переносить мучения прежде казни? Кто знает глубину души человеческой? Может быть, Сохатый был сначала жертвою несчастной слабости, и только жестокость ваших судей сделала его нераскаянным злодеем; но и в злодейской душе всегда еще остается след божьего образа, как среди ночной тьмы светят звезды, хотя и нет солнца...

— Амалия! мечтательница божественная!— вскричал Флахсман.

— Нет, я не мечтательница; но к благословениям других мне хочется присовокупить благословение страшного Сохатого. За злодейство пусть судит его закон; мы поможем ему...

— *Мы*! вы не различаете моей души от вашей...

— По крайней мере, на этот раз,— отвечала Амалия, потупив глаза и краснея.

С жаром схватил ее руку Флахсман, почтительно поцеловал и бросился из комнаты. Он вышел на площадь. Казаки, увидев адъютанта, с почтением стали подле телеги.

— Комендант велел снять арестанта с телеги и отвести в гауптвахту,— сказал он.

Закрытые глаза Сохатого растворились. «Отец-спаситель!»— простонал Сохатый. Немедленно отперли цепь, которою прикован был он к телеге. Сохатый хотел приподняться, но снова упал в изнеможении.

— Он болен?— спросил Флахсман.

— Почти околевает, ваше благородие,— отвечал урядник,— да и больше суток не даем мы ему ни пить, ни есть, а между тем везли его беспрестанно.

Сердце Флахсмана облилось кровью.

— Разве так велено?— спросил он.

— Велено всеми мерами не допускать его до побега, и мы приложили старание, как изволите видеть,— отвечал казак.

Сохатого стащили с телеги. Страшно загремели цепи его, когда он упал на землю почти без чувств. Черная густая борода, всклоченные волосы и великанский рост его изумили Флахсмана. Он наклонился к Сохатому.

— Ты болен?— спросил его Флахсман.

— Умираю, ваше благородие,— отвечал Сохатый, тяжело дыша.

Казаки взяли его и повели на гауптвахту. Там Сохатого посадили на лавку; он казался умирающим. Через минуту явился слуга коменданта с бутылкою воды и куском хлеба. Флахсман велел подать ему то и другое. Руки Сохатого были скованы, но он с жадностью глотал воду.

— Господи,— промолвил он, сверкнув глазами из-под нависших бровей,— господи, спаси ваше благородие! Пусть каждая капля воды смоет по одному греху с души вашей!

3

АМАЛИЯ

Благодетельное существо, которое усладило мучения несчастного, Амалия, была племянница иркутского коменданта, старого немца. Барон Фон-Шперлинг, дядя ее, как запомнил себя, то он уже был в службе, и оттого привык к такой *аккуратности*, что даже ел темпами. Не выкурив четырех трубок, он не мог ни о чем думать, и в назначенные часы Амалия должна была говорить ему: guten Tag gute Nacht, благодарить его за чай, за кофе, который он сам всыпал в кофейник чайною ложечкою. В остальное время она молчала, а дядя курил и также молчал. Барон был богатый, бездетный лифляндский помещик. Он взял Амалию после смерти сестры своей, воспитывал, нежил ее, как голландцы воспитывают и нежат тюльпаны, и хотел передать ей и свое имение и свое не благозвучное, но старое, высокобаронское имя. С горестию смотрел он иногда на длинную свою родословную, которая оканчивалась им, но радовался, что двухименный будущий муж Амалии, также (необходимое условие!) лифляндский барон, восстановит имя Шперлинга. Потому, по долгом размышлении, стоившем сотни трубок вагштафа, барон утвердил и решил, что Амалии надобно быть: 1-е — за лифляндцом; 2-е — за бароном; 3-е — за таким человеком, который прибавил бы к своему имени имя Шперлинга.

Добрый барон, пенковая трубка в человечестве! Ты забыл

многое, не знал многого, да и кто же придумал бы все, что мы теперь расскажем!

Амалия, тихое, кроткое создание, с голубыми, всегда опущенными в землю или поднятыми к небу глазками и розовыми щечками, не смевшее сказать дяде своему пяти слов сряду, скрывала в груди своей сердце великана, а голова ее была пламенная голова жительницы Севера. Амалия, удаленная от всего, не знавшая ничего в свете, жила в идеалах, которые— хуже всякой существенности. Эти идеалы, эти яркие картины, похожие на старинную живопись на стекле — огромную, светлую, озаряемую солнцем,— раззнакомливают нас с жизнью обыкновенною и приучают к чему-то нездешнему. Между тем свет берет свое и, пока пламенная мечта летает с нами в мир поэзии, опутывает нас своими цепями и тем легче побеждает, что мы презираем его, как неприятеля ничтожного, не стоющего борьбы.

Когда Амалия оставила древний, полуразвалившийся замок, в котором родилась и жила с матерью до пятнадцати лет, дядя увез ее с собою в Крым, где богатую наследницу окружили вздыхатели. «Что за люди!»— думала Амалия, смотря на подвижных кукол в военных и статских мундирах; начинала говорить с ними и переставала, думая: «Это *не тот*, это не *он*!» И *он* явился ей в богатом, гвардейском мундире, молчаливый, угрюмый, говоривший одними глазами и не смевший сказать ни слова о том, что Амалии высказывали другие. Этот осуществленный идеал был Флахсман — немец только по имени, русский душою, молодой офицер, прискакавший из Петербурга с важными поручениями к барону Шперлингу, Амалия видела его три или четыре раза, сказала ему несколько слов, и — в пламенной голове ее Флахсман поселился среди блестящих идеалов.

Милые создания девушки, особливо с идеальными головами! Как я люблю вас! Как подстерегаю я этот взор, который с неба падает на земной идеал ваш! Как люблю я ваш испытующий взгляд в будущее, у которого вымаливаете вы себе счастье, как дитя игрушку у матери! Как люблю я сравнивать с вашими мечтами мои, истерзанные жизнью мечты и переноситься в прошедшее...

Флахсман не сказал ни слова. Казалось Амалии, что голос его дрожал при прощанье с нею; что слезы навернулись на глазах его. «Он...— думала Амалия и останавливалась на этом слове, едва смея домолвить сама себя,— *любит*»! Но Флахсман не сказал ничего и уехал обратно в Петербург. Амалия не грустила, но как пуст показался ей белый свет!..

4

ОН ЛЮБИТ

Вскоре барон Шперлинг переведен был в другую должность и переехал из Крыма в Сибирь. Говорили что-то о разрыве с Китаем, и Шперлингу поручено было устройство военной части в Иркутске и за Байкалом. Амалия без сожаления оставила цветущий Крым, и душа ее, напротив, казалось, ожила в Сибири. Мрачные леса, дикие горы, бесконечные степи, морям подобные реки, десять солнцев на небе зимою, знойность лета сибирского, простота, добрые нравы жителей, мысль, что живет на краю света, в глуши Азии, быстрые противоположности климата, зимы и лета — все очаровывало Амалию. Утомленная роскошью природы сторона Крымская не могла передать Амалии впечатлений столь сильных и чувств столь живых. Как сильно понимала теперь Амалия свою одинокость в мире! Как часто хотелось ей теперь высказать многое, таящееся в душе ее! И в такие мгновения нетерпеливого чувства души сказаться другой душе — странное дело! Амалии мечтался образ Флахсмана, как туманные тени предков Оссиана, любимого поэта Амалии. Милая девушка задумывалась (*думают ли* девушки, не знаю), задумывалась и тихонько твердила: *он не любит*!.. Но улыбка являлась на устах ее, и невольно подсказывало сердце: «*А мог бы любить*!»...

В одно прекрасное сибирское летнее утро, которое не променяете на десять утр нашей Москвы, Амалия вошла в кабинет дяди, с чашкою кофе, и чашка эта выпала из руки ее: так сильно задрожали руки Амалии. Отчего? На своих креслах сидел, по обыкновению, и курил дядя ее, а поодаль от него, на софе, сидел — Флахсман!

Так он, тот молчаливый Флахсман, в Иркутске, в кабинете барона Шперлинга, и первый взор его сказал все Амалии. Когда при громе японской чашки, разбившейся в мелкие кусочки, дядя выпустил из рта свою трубку и быстро спросил: «Was machen sie doch?[1]». Амалия едва не бросилась на шею к дяде и не сказала ему: «Er liebt, et liebt!»[2].

5

ДЯДЯ — УЧИТЕЛЬ

Так: Флахсман точно любил. Он не умел, не хотел ничего говорить Амалии, но оставил все выгоды службы, не послушал

[1] Что вы делаете? *(нем.)* — *Ред.*

[2] Он любит, он любит! *(нем.)* — *Ред.*

никого из честолюбивых своих родственников, выпросил себе место в Сибирском полку и поскакал в Иркутск.

Тогда узнала Амалия счастие любить и быть любимою. Тогда, гуляя с Флахсманом по берегу широкой Ангары, бывая с ним и с дядею за городом, в тени густых лесов, читая любимых поэтов Германии и Франции (Увы! Пушкина и Жуковского тогда еще не было, а Ломоносова девушки не читали), Амалия желала, чтобы Флахсман не поспешил сказать ей: «*Я люблю тебя, Амалия!*» Есть чувство в сердце человека, которое не знаю как назвать. Когда мы видим уже, что мы непременно будем счастливы, когда легкие крылышки радости уже веют на нас чем-то неземным, мы находим наслаждение удалить на несколько мгновений нашу радость, наше счастье, говорим ему: *постой*! и сердце наше упивается и надеждою, и наслаждением: это миг перехода надежды в счастье, и этот миг — лучше самого счастья! Так счастливый юноша приближает уста свои к розовым устам красавицы, забывая годы бедствий, и — останавливается, глядит на лицо ее, одушевленное счастием, и не прикасается к устам красавицы...

Флахсман был сын богатого человека и думал, что никаких препятствий не может быть, если бы он потребовал руки Амалии. Его душа не искала идеалов, и пока он не видал Амалии, он не понимал любви. Взросший в семье многочисленной, жившей патриархальным русским бытом в Малороссии, он с детства привык к картинам семейственного счастия. Его душа, не испытавшая бурь жизни, изумилась миру фантазии, какой раскрыли ему взор на Амалию, ее речи, ее слова, ее романические мечты. Холодность Флахсмана подтаяла от тихого огня любви, но она держалась еще, когда Флахсман оставил Крым, держалась, как гора Швейцарская, подмытая горными потоками. Но когда он приехал в гранитный Петербург, когда тоска одиночества среди многолюдства начала грызть его сердце — холодность Флахсмана рухнула вдруг, будто тяжкая лавина Швейцарских гор, которая рушит горы, засыпает долины, губит все и сворачивает реки в их течении. Хаос души Флахсмановой слышал небесную гармонию любви, и юноша почувствовал сильно и пламенно, что только любовь Амалии, только сердце ее укротят бурю его сердца и возвратят ему счастие.

Так протекало время. Флахсман не мог сблизиться с дядею Амалии и не замечал перемены в этой, дымящейся беспрерывно, флегматической фигуре. Но наблюдатель посторонний мог бы заметить постоянные изменения в высокобаронской персоне дяди Амалиина.

При первой встрече с Флахсманом в Иркутске барон подумал, после продолжительного разговора: «Зачем он приехал сюда? Верно, не за чинами, не за деньгами, не за тем, чтобы меня столкнуть? Неужели так? Правда, у этих русских часто и многое так делается; иное дело мы... хм!»

Флахсман начал служить усердно, деятельно, без всяких претензий, и барон опять подумал: «*Чего* он ищет своею службою?»

И барон недоумевал, что думать, когда вдруг однажды увидел он Амалию и Флахсмана, прогуливающихся в саду, в жарком разговоре. «Неужели о погоде говорят они так усердно?»— подумал барон. И вот ярко блеснула у него мысль: «Уж не *любовь ли* это?» Тут начал он думать, *что́ бишь такое любовь?* взял старую энциклопедию, отыскал слово: Liebe и прочитал все признаки любви. Он испугался, увидя, что любовь делает чудеса и ведет к великим глупостям. «Ну! если Флахсмана завела в Сибирь любовь?»— вскричал он невольно — и целый час ходил по комнате, не принимаясь за трубку.

«Да!»— сказал наконец барон. На другой день Амалия призвана была в кабинет, и дядя прочел ей огромную лекцию о любви, об осторожности, какую должна наблюдать молодая девушка. С Флахсманом начал он поступать начальнически, холодно, важнее прежнего.

— Но что ж за беда любить Флахсмана?— думала Амалия. Вообще, из всяких лекций, мы не многому научаемся. Но польза их в том, что систематическое изложение предмета поясняет, устроивает наши идеи. И Амалия, выслушав дядю, узнала, что она точно любит Флахсмана и что Флахсман ее любит.

Дело пошло без перемены, а барон сделался совсем другой человек: наблюдательный, уклончивый, размышляющий. «Плохо!»— сказал он наконец и призвал Флахсмана к себе.

Тут, после тысячи околичностей, эпизодов, вставок, учтивых уверений, и проч., и проч., барон спросил: «Какие виды имеет г-н Флахсман в дружеском обращении с семейством его баронской чести?»

Флахсман заговорил, как вдохновенный. Он забыл и дядю, и все отношения, и признание в пламенной страсти, надежда получить руку Амалии излились в самых горячих словах.

Барон молчал, ходил мерными шагами и наконец спросил: «Знает ли Амалия о ваших *предположениях?*»

Это слово охладило Флахсмана.

Тут дядя Амалии завел длинную речь, как нехорошо расстроивать семейственное спокойствие людей благородных; как

должно быть предусмотрительну в своих делах и проч. и проч.

«Но разве ваша племянница не может отдать мне руки и сердца?»— спросил его быстро Флахсман. «Нет!— отвечал барон.— Уже давно рука ее назначена другому, сыну моего старого приятеля барона Фон-дер-Кольессера, который соглашается принять фамилию *барона Шперлинга-Кольессера* и получить мое имение и Амалию».

«А если я прошу только Амалию и не требую за нею ничего?»

Барон побледнел и задрожал. Флахсман изумился: он не знал, что барон ужаснулся мысли: быть последним Шперлингом на белом свете, когда Амалин муж будет не барон и не примет имени Шперлинга!

Едва не задыхаясь от досады, барон расстался с Флахсманом и побежал к Амалии.

Он застал ее занятую рисованьем, и так занятую, что она не приметила, как вошел дядя и стал за нею. О страх! Амалия дорисовывала — портрет Флахсмана, любовалась своею работою, глядела с восторгом на портрет и наконец — крепко прижала его к губам своим!

Барон обмер, и — в первый раз в жизни вышел из себя: начал бранить Амалию, говорить, как дурно, нехорошо целовать портреты молодых мужчин; рассказал о своем разговоре с Флахсманом, о предположенном союзе с бароном Фон-дер-Кольессером, об отказе Флахсману.

Все высказал барон фон-Шперлинг. Какие были этого следствия?

6

СЛЕДСТВИЯ

Совсем не те, которых ожидала высокобаронская персона. Вот что он сделал.

Амалия немедленно была удалена из комендантского дома; дядя велел ей ехать к приятельнице его, старой бригадирше, с которою познакомился по рекомендательному письму от одной лифляндской баронши и у которой постоянно, во все время пребывания своего в Иркутске, он обедывал по воскресеньям. Бригадирша, вдова, брюзгливая старуха, вошла в ужасное положение дел барона Шперлинга, и как она жила одна, кроме ворожбы картами ничего не знала, то и обещала барону стеречь Амалию так, чтобы ее никто не увидел.

Тотчас отправил барон письмо к высокопочтенному барону

Кольессеру, в котором известил его, что зимою получит он отпуск и приедет с племянницею в Лифляндию.

Флахсман немедленно получил приказ коменданта: ехать за Байкал, в Цурухайтуевскую крепость, и заняться там, *по секрету*, надзором за движениями китайцев.

Барон ждал бури и готовился к слезам и просьбам со стороны Амалии, к бешенству и сопротивлению со стороны Флахсмана. Уже соображал он, что надобно ему отвечать, как говорить, и удивился, не видя никакого беспокойства, не слыша никакого шума. Правда, Флахсман побледнел, узнав волю коменданта; на глазах Амалии навернулись слезы, когда ей велено было отправиться к бригадирше; но и Флахсман и Амалия не противоречили. Флахсман просил только позволения прожить в Иркутске два дня.

Барон был в восторге и, потирая руки, ходил по своему опустевшему без Амалии дому. Вдруг доложили ему, что бригадирша изволила к нему пожаловать.

Сердце барона забилось не на добро. Как рассердился он, узнавши, что старуха открыла ужасный заговор и что в эту же ночь Амалия условилась бежать с Флахсманом! Сомнения никакого не оставалось: священник подгородного села, старый знакомый бригадирши, сам приезжал к ней сказать, что адъютант его превосходительства, господина барона и кавалера, был у него и предлагал ему сколько угодно денег, если только он согласится обвенчать его благородие с какою-то девушкою. А поелику его благородие прибавлял к сему страшные угрозы за открытие тайны, то и принудил его согласиться. Но священник, как поверенный ее высокородия, знал тайную склонность племянницы его превосходительства к его благородию, посему и решился сообщить сию весть ее высокородию, прося милостивой защиты.

— Знает ли Амалия, что тайна побега открыта?— спросил барон.

— Нет; я почла долгом сперва известить вас.

— Вы поступили весьма благоразумно, и я прошу вас молчать и не говорить ей ни слова.

Вечером скрытная стража расставлена была вокруг дома и сада бригадирши. Настала ночь. Сам барон скрылся в саду, и в самую полночь у садовой калитки постучались тихонько: это был Флахсман. Несчастный юноша! Он не знал, что Амалия была уже в доме своего дяди и хотя не слыхала ни от кого ни одного слова, но видела, что все открыто. Флахсмана встретил сам барон.

Что говорили они, не знаю. Но Флахсман в ту же ночь ос-

тавил Иркутск и отправился в назначенный ему путь. Он не застрелил барона? Он остался на службе? Он отказался от Амалии? — спросят меня и прибавят к этому, что Флахсман не любил ее; что он был холодный молодой человек; что Амалия была кукла, которая испугалась первой грозы своего дяди. Увидим, увидим! Я хочу рассказывать далее и не стану ничего говорить наперед: пусть события сами за себя говорят.

7

МЕРТВЕЦ-УБИЙЦА

Прошло около года после описанных нами событий. Сибирская природа улыбнулась минутною весною, покрасовалась коротким летом и снова облеклась в белые, снеговые покровы. В это время случилось происшествие ужасное и непонятное.

За Байкалом, в одном большом селе, населенном отчасти ссылочными в Сибирь, отчасти переселенцами из России, старообрядцами, которые ушли в леса забайкальские, с своими закоснелыми суевериями и предрассудками, скончался крестьянин. Гроб его вынесли в церковь, с тем чтобы на другой день, после обедни, отпеть и предать общей всех матери.

С вечера началась погода, разыгрывалась и разыгралась, как свободный зверь в лесах сибирских. В полночь ветер завыл, словно голодный волк, загремел, как гром на Хамар-Дабане; снег клубами несло по дороге, крушило, вертело; леса ломало, и ни зги не было видно ни в поле, ни в лесу. Священник села, о котором мы упомянули, встал в назначенное для заутрени время. Мальчик, внук его, также поднялся, получил благословение дедушки и пошел благовестить, между тем как дедушка его надевал чебак свой (теплую сибирскую шапку) и потом тихо побрел в церковь. Дьячок был болен; православные слышали звон колоколов, разносимый порывами ветра, но — ни одна набожная старушка не пошла в церковь. Некоторые встали было, выглянули в окошко и, не видя света божьего от метелицы, затеплили свечки, помолились и легли снова спать.

Между тем рассвело; буря утихала, небо начинало проясниваться; в доме священника все встали; самовар кипел на столе — священник не возвращался. Старушка попадья выглядывала, смотрела — нет священника, нет и внучка! Где они? Беспокойство усиливалось; послали в церковь.

Церковь была растворена; снег занес крыльцо ее; нет ни следов, ни признаков ходьбы! Вошли в церковь: нездешний

житель лежит в гробе, тих, спокоен, окоченел; лицо его от холода посинело, покров сброшен, венец на земле, и — о ужас! Священник, мертвый, лежит невдалеке от гроба; в руке его кадило; голова пробита, и кровь запеклась и застыла на седых волосах!

На вопль и крик сбежался народ и с трепетом смотрел на страшное зрелище. Тут только хватились внучка священникова: его не было; начали искать и, наконец, нашли за клиросом, без чувств. Он очнулся, трепетал, долго не мог говорить, наконец косноязычно и несвязно рассказал, что видел. Отблаговестив и отзвонив веревками, снизу протянутыми на небольшую колокольню, мальчик, робея, вошел в церковь и увидел, что дедушка его уже начал заутреню. Служение продолжалось; всюду было тихо, только ветр стучал окошками, снег колотил в окна и буря выла вокруг церкви. Вдруг — гроб с мертвецом затрещал! Мальчик оробел, ноги его подкосились, язык окостенел во рту. Священник подошел ко гробу, но не смел приблизиться, слушал и, ободрив внучка, начал продолжать заутреню. Вдруг опять трещит гроб, слышно стенание — холод пробежал по жилам мальчика... Он помнил еще, что священник взял кадило, начал молитву, подошел ко гробу, и вдруг мертвец поднялся, вскочил из гроба, ударил чем-то священника, и тот повалился на пол... Более ничего не видал и не слыхал мальчик. Обезумев, бросился он сам не зная куда и опомнился только тогда, когда пришли люди...

8

УЖАСНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ

Рассказ о сем неслыханном событии изумил всех. Приехали следовать, смотреть; следовали, смотрели и ничего не нашли. Мертвец был освидетельствован, все допрошены: никто не понимал, как случилось страшное дело. Рассказ мальчика казался сказкою. И вот мертвеца и священника схоронили. Между тем везде разнеслась весть.

Село, где учинилось такое неслыханное дело, стояло на большой дороге из Нерчинска к Байкалу. На первой после него станции, когда рассказали там ужасное происшествие, когда начались толки, ямщик сказал товарищам, что он в ту самую ночь вез офицера, что они сбились с дороги и когда добрались до села, где случилось убийство, ямщик, человек новый, не знал, какое это село и где дорога. Они ехали между тем и при самом въезде увидели растворенную церковь. Офицер соскочил с саней, вбежал в церковь и через несколько

минут выбежал оттуда, бросился в сани, велел ямщику гнать скорее. Более ничего не знал ямщик.

Рассказ ямщика тотчас передали смотрителю; тот почел его столь важным, что поспешил узнать подробности.

Проезжавший офицер был — Флахсман! Он, точно, в ту ночь проезжал через село и заходил в церковь. Поскакали по следам его и нашли его в Селенгинске: тут он остановился, ибо в жестокую вьюгу простудился жестоко и лежал без памяти, в злой горячке.

Бедный юноша! Ты был на одре смерти, а правосудие считало минуты жизни твоей, обрекая тебя ужасным подозрением! Болезнь Флахсмана продолжалась долго, и когда он опамятовался прошло уже несколько недель, и — перед ним раскрылась страшная бездна!

По сношению с Иркутском узнали, что убитый священник был тот самый, который открыл коменданту тайну побега Амалии с Флахсманом, который разрушил все мечты Флахсмана о счастии. Когда барон фон-Шперлинг встретил Флахсмана в саду бригадирши, Флахсман казался бешеным. Он хотел схватиться за шпагу, но удержался, сказал барону, что он надеется с ним особенно видеться, и клялся, что изменник погибнет от руки его. Барон слышал сии слова, и Флахсман в самом деле приезжал к священнику. Испуганный священник скрылся от него и так оробел, что не смел никуда появиться. Он не почитал себя безопасным, и как тогда искали священника для определения за Байкал, в старообрядческое село, он просил определить его туда и немедленно уехал к месту своего назначения. Надобно было несчастной судьбе Флахсмана— вести его именно через это село; надобно было ему зайти в церковь...

Друзья мои! вы не поверите тому, чтобы низкое мщение могло храниться в душе благородного юноши столь долгое время, и что пользы было ему в смерти священника, если уже и предположим, что человек для пользы какой-нибудь может решиться на преступление ужасающее? Но разве не бывало примеров обвинения самого нелепого? История Каласа разве не повторялась — скажем с горестным чувством — даже и в наше время? Против Флахсмана было все. Рассказу внука священникова никто не верил. Сам барон Шперлинг слышал угрозы Флахсмана, нашлись добрые люди, которые перетолковали самую болезнь его...

И вот — Флахсман едва выздоровел, как его арестовали, остановили. С изумлением невинной, чистой души слышал он ужасную историю и содрогнулся, узнав о том, что на него

пало подозрение в убийстве! Открылось еще более: узнали, что Флахсман оставил Цурухайтуевск без дозволения коменданта; что он самовольно кинул свой пост и скакал в Иркутск.

Флахсман откровенно сказал, что он лично оскорблен был покойным священником и в первом жару гнева произносил угрозы; что он отлучился и ехал в Иркутск по своим собственным делам, ибо видел по письмам из Петербурга, что просьба об отставке его была там давно получена и он от службы отставлен, но коменданту иркутскому угодно было все это скрыть. Флахсман хотел объясниться с бароном Шперлингом; точно ехал по дороге в метель и заходил в церковь, видел там гроб и покойника, видел и священника, но только спросил его о дороге.

— Ямщик говорит, что вы со страхом выбежали из церкви и велели скакать скорее. Для чего это?

— Вид священника напомнил мне несчастное событие моей жизни.

— Следственно: вы имели с ним прежде дела. Какого рода были ваши с ним сношения?

— Этого не скажу я никому.

— Что побудило вас выйти в отставку?

— Этого вы не узнаете никогда.

9

ГДЕ ОПРАВДАНИЕ?

Угрюмое молчание судей и следовавших дело чиновников показывало, что на сей вопрос ответ не мог быть благоприятен. Флахсман поклялся сам себе, что имя Амалии не выйдет из уст его. Не открывая дел, бывших между бароном фон-Шперлингом и им, он не мог почти ничего говорить.

Получено было повеление из Иркутска: отправить Флахсмана туда. Уродливая, красная рожа, в полицейском мундире, прислана была для препровождения его. Флахсман казался спокойным, равнодушным, бесчувственным ко всему, что вокруг него происходило.

Следствие тянулось весьма долго; уже снова сибирские леса оделись зеленью, и, поздние пришельцы, ласточки вились по полям и долинам.

Почтовая телега, в которой сидели Флахсман и красноносый его провожатый, летела вихрем. Флахсман молчал; товарищ его также, награждая молчание ерофеичем на каждой станции и криком на запрягавших лошадей ямщиков. Наконец они приближались к Байкалу. Флахсман за-

метил, что товарищ его удвоивал порцию ерофеича, становился беспокойнее, беспрерывно оглядывался по дороге и, наконец, вдруг вздумал остановиться при въезде в лес, простирающийся к берегу Байкала.

— Зачем вы остановились?— спросил его Флахсман.

— Вот зачем!— отвечал красноносый, вытащил ружье, саблю, два пистолета и начал осматривать их.

— С кем же хотите вы сражаться?— спросил насмешливо Флахсман.

— Да во что же мысли ваши углублены?— отвечал вопросом красноносый.— Разве не слыхали вы рассказов о разбойниках? Ведь Сохатый опять ушел из тюрьмы и, говорят, здесь бродит, а дело к ночи.

Флахсман замолчал, завернулся в свою шинель. Телега поскакала; въехали в лес, и вдруг, на глубоком овраге, раздался крик из леса: «Стой»! Ямщик стал как вкопанный.

— Ах ты, бездельник, мошенник, разбойник!— захрипел красноносый.— Погоняй!

— Извини, барин,— отвечал ямщик,— разве не слышишь...

— А вот я с ним управлюсь,— заревело чадо полиции и в ту сторону, где раздался крик, выстрелило из ружья. Ямщик поскакал под гору, и двадцать голосов раздалось со всех сторон. Вся храбрость полицейского пропала.

— Мать пресвятая богородица!— завопил он.— Мы пойманы!

— Чего вы боитесь?— сказал Флахсман.— Если они остановят нас, им нечего взять; если захотят убить, продадим дорого свою жизнь!— Он соскочил с телеги, схватил два пистолета и дожидался разбойников, бежавших к ним с обеих сторон леса.

10

СОХАТЫЙ

— Товарищи!— кричал огромный мужичина, бежавший за другими.— Не бить их, не бить! Атаман велел взять живьем! Это наш приятель Курносов!—«Курносов!— закричали с диким воплем все другие.— Где он? где он?» Флахсман с изумлением смотрел на шайку разбойников. Все они были одеты в богатые шелковые, суконные, бархатные куртки; остальная одежда соответствовала такому наряду, хотя все одеяние было в беспорядке, измарано, изорвано. Ружья, пистолеты, рогатины, кистени, сабли составляли оружие разбойников.

— Стойте, бездельники!— вскричал Флахсман.— Чего вы хотите? Денег у нас нет!

— Господин ваше благородие! не дурачься!— отвечал приятель Курносова.— Брось пистолеты; мы тебя не тронем — вот те бог, не тронем, а если пикнешь, то смотри — мы сделаем из тебя решето!

Флахсман хотел отвечать; но две сильные руки схватили его сзади, вывернули пистолеты и сшибли его с ног.

— Ай да Митюха!— вскричали другие.— Молодец! Молодец! Наша взяла.

Оглушенный в падении, Флахсман был немедленно связан и слышал, как неистовые крики и вопли бешеной радости раздались между разбойниками, когда из-под телеги вытащили они его сопутника.

— Он! он! это он!— слышен был крик. Бледный, как испуганный индейский петух, исполнитель правосудия дрожал, словно в лихорадке.

И Флахсмана, и его сопутника положили в телегу, закрыли рогожею и повезли. Тихо, безмолвно шли вокруг телеги разбойники; слышно было, что с дороги своротили, ехали по лесу. Темная ночь была уже, когда телега остановилась. Флахсмана вытащили сначала и понесли к большому огню, расположенному среди небольшой поляны.

Тут набросано было множество подушек, пуховиков, и на них в беспорядке лежало и сидело множество народа. Вся шайка состояла более нежели из пятидесяти человек. Множество оружия всякого рода было повсюду разбросано; в стороне висели котлы и кипели щи, каши. Разбитые сундуки, ящики, тюки товаров лежали в стороне.

Как регулярный солдат отдал отчет атаману один из разбойников.

— Подавай сперва офицера,— сказал грубым голосом атаман.

Флахсмана принесли к нему. «Развязать!»— сказал атаман. Приказание было немедленно исполнено. Когда, расправляя свои затекшие и опухшие от давления веревок руки, Флахсман сел на земле и думал о своей странной участи, атаман начал говорить.

— Тебе, господин офицер, бояться нас нечего. Как солдат, ты своими копейками нас не обогатишь, да и попался ты к нам потому, что ехал вместе с полицейскою пиявицею, до которой мы давно добирались. Ее мы не выпустим живую...— Тут атаман замолчал на минуту, вдруг вскочил, снял шапку и вскричал:

— Как? это вы, ваше благородие, господин Флахсманов? Батюшка ты, отец мой! родимой, кормилец!

Флахсман смотрел с изумлением и удивлялся перемене разговоров разбойника.

— Вы не узнали меня, мой спаситель, мой отец! а я помню хлеб-соль вашу... ведь я *Сохатый*.

Тут Флахсман поднялся на ноги и сказал Сохатому, что он не помнит, когда бы успел сделать для него что-нибудь.

— А не ты ли накормил меня, напоил, когда года два назад я был пойман и привезен в Иркутск? Я не смею поцеловать твоей ручки, потому что кровь неповинная запеклась на мне, и я осквернил бы тебя своими нечистыми устами. Да как ты зашел сюда? Как тебя, дорогого гостя, я нахожу на моем пепелище?

Флахсман содрогнулся.

— Нет, господин Сохатый! я не гость твой, и между мною и тобою нет никаких сношений. Если ты помнишь мое небольшое благодеяние, то вели меня выпроводить отсюда, отпусти полицейского офицера и ямщика, и да приведет тебя бог к раскаянию.

— Нет! ты не уедешь, не переночевав здесь, а завтра будешь на пути, дороге своей. Но полицейского разбойника я не отпущу; он со мною поплатится...

— Как ты смеешь?

— Господин офицер, ваше благородие, не извольте спорить: я здесь господин!

— Прошу тебя, господин Сохатый, если ты помнишь добро, то отпусти его.

— Эх! многого ты просишь, батюшка, ваше благородие! Знаешь ли, что нет в целой Сибири злее этой собаки? Это варвар наш, мучитель, злодей!

— Он исполняет свою должность.

— Должность?— заревел Сохатый.— Должность! Разве должность его выдумывать самые лютые наказания для нас, несчастных? Разве должность велит ему упиваться нашею кровью... Эй! ребята! Где та собака? давай его сюда!

Разбойники вскочили; зверские крики раздались по лесу; несчастного сопутника Флахсманова приволокли к огню.

— Баню ему!— закричал Сохатый.

— Холодную али теплую?— спросил хладнокровно один разбойник.

— Теплую, болван!

Разбойники начали выгребать уголья раскаленные...

Состояние Флахсмана было ужасно. Он содрогался при

виде этого отверженного обществом человеческим сборища убийц и злодеев, собравшегося в диком сибирском лесу и готового мстить мучениями жестокосердию, с каким отвергали его люди.

— Слушай, господин Сохатый!— сказал Флахсман.— Вели остановиться и слушай, что я тебе скажу.

— Рад век тебя слушать, батюшка, ваше благородие! только не проси меня об нем...— Он указал на несчастную жертву, лежавшую от страха без памяти.

— Вспоминаешь ли ты иногда о том страшном часе, который подкрадывается к нам нежданно и нечаянно и ставит нас прямо перед лицом бога?

Сохатый задумался и с диким стоном вскричал потом:

— Нет! никогда, никогда! но он — будет свидетелем, что не я тому виною!

— Несчастный! ты помнишь бедное благодеяние человека и забыл благодеяния божии...— Ужасная хула исторглась из нечестивых уст Сохатого; но он сам испугался слов своих, перекрестился и прибавил: «Господи! прости мои согрешения!»

— Итак, мне остается одно. Смертию несчастного моего сопутника ты погубишь меня!

— Тебя? нимало! Разве ты ответчик за то, что твоего товарища погубит кто-нибудь? А как погубит: изжарят ли, повесят ли, какое кому дело.

— Знай же, что он вез меня в Иркутск как человека, обвиняемого в ужасном преступлении, и если вы умертвите его, а меня отпустите — подозрение на меня утвердится еще более...

— Как, ваше благородие? Так и ты напроказил?

— Молчи! Я невинен, и это наказание божие несу с терпением. Но я никогда не осквернял души своей пороком...

— Так не тебя ли обвиняют в смерти попа, в старообрядческой деревне?

— Разве ты знаешь?

— Как же *мне* не знать? Но мог ли я думать, чтобы ты был этот офицер... Ну! делать нечего...— Сохатый остановился, сжал крепко кулак, ударил себя в лоб и подошел к бедному полицейскому офицеру.

— Эй ты, кислая шерсть! вставай: Сохатый говорит тебе!

К удивлению Флахсмана, сопутник его вскочил на ноги как встрепанный.

— Выменяй образ вот этого господина офицера: я — отпускаю тебя!

Со всею низкою подлостью полицейский повалился в ноги разбойнику. «Эдакий мерзавец!— вскричал Сохатый...— Утащите его в телегу, но не троньте ни волоса»,— сказал он своим товарищам.

— Атаман!— так начал один разбойник.— Дай слово вымолвить: ты обещал его нам...

— Нельзя!

— Прости, а мы тебя не послушаем.

— Как?— заревел Сохатый, и — с одного удара кулаком, разбойник полетел с ног. Другие на смели противоречить.

— Теперь, ваше благородие, сметь ли вас попотчевать... Да, сегодня у нас постное; ведь сегодня пятница, а вы кушаете ли...

Флахсман не мог долее смотреть на отвратительную картину шайки разбойников. «Благодарю тебя, но если ты отпустишь нас, то вели отпустить немедленно...»

— Сей час будут готовы ваши лошади,— отвечал Сохатый.— Эх! мое небесное царство продолжалось недолго, недолго смотрел я на тебя, батюшка...

— Господин Сохатый!— сказал Флахсман.— Неужели ты столь мало видел доброго от людей, что маленькое сострадание мое так тебе памятно?

— От людей! Кого ты называешь людьми? Где ты видал их, ваше благородие? Ох! если бы ты знал да ведал... Было времячко, что на душе моей не было крови христианской, но люди втащили в тяготу греховную,— пусть же они и платят за вход мой в тьму кромешную; пусть же они, загородив мне дорогу даже в монастырь, где мог бы я выплакать себе спасение, рассчитываются со мною, за каждый день грешной жизни моей, слезами и кровью... Но я заговорился с тобой, ваше благородие, и забыл сказать, что я хочу спасти тебя от напраслины...

— Как? Ты?

— Да, я, Сохатый! Я знаю, чей был грех смерть этого попа, его убил старообрядец Филат Петров. Он с вечера спрятался в церковь, лег на место мертвеца и убил священника, а потом убежал из церкви. Завтра же схватят и повезут его мои ребята по Кругоморской дороге в Иркутск: тебе хочу я услужить; да и дело недоброе: за что, проклятый, погубил старика? Пусть бы из серебра, из золота...— Сохатый задумался и, помолчав несколько минут, сказал: «За все это полагаю я на тебя, ваше благородие, обязательство. Послушай: в эту зиму я ворочусь в Иркутский острог. Полно, будет с меня! Если ты вспомнишь мое добро, то вели захлестнуть

меня с одного раза — не мучьте меня: одного только прошу!.. Да когда приведет тебя бог на святую Русь, отыщи там старика... Но, нет, нет! не отыскивай, не говори никому... Поезжай с богом!..

11

НЕОЖИДАННОСТЬ

Когда Флахсман увидел себя на большой столбовой дороге, днем, без всякой опасности; когда перед ним засветлели волны Байкала и забелели стены Посольского монастыря, он не верил глазам своим, чувствам своим: все событие казалось ему тяжким сном. Товарищ его, от испуга, сделался болен жестокою горячкою и остался в селении на берегу Байкала. Флахсман отправился на казенном гальоте. Противный ветер задержал их на Байкале. Казалось, что судьба преследовала Флахсмана повсюду. Наконец, переезд благополучно был совершен.

Флахсман немедленно явился к барону фон-Шперлингу.

Трусость, робость изображались на высокобаронском лице, когда Флахсман стал перед ним.

— Поздравляю вас, господин Флахсман!— сказал барон, идя к нему навстречу.

— С чем?— спросил Флахсман.

— С оправданием.

— Разве известно уже, что клевета, взведенная на меня, есть нелепость ужасная и неимоверная?

— Все известно. Вчера получили мы известие из Селенгинска, что убийца сам пришел и объявил о своем злодействе. Мне должно еще вручить вам бумагу: вот ваша отставка.

— Благодарю вас.

— Вы, верно, думаете возвратиться в Россию?

— Нет!

— Как?— вскричал барон с изумлением.

— Нет! повторяю вам. Теперь можем мы объясниться с вами, господин барон! Я жил до сих пор только для того, чтобы предложить вам отплату, за все, что вы для меня сделали. Я думал, что счастие мое будет вашим счастием: вы не хотели, вы отвергли меня, вы забыли слово, данное умиравшей вашей сестре: сделать счастливою дочь ее; вы забыли священнейшие узы родства и дружбы, оскорбили благородного человека, не страшась замарать честь вашей племянницы, пятнали меня ужасным преступлением...

— Чего же вы хотите?— сказал барон разгорячаясь.

— А! вы не привыкли, видно, к таким разговорам! Я хочу стреляться с вами!..

— Не откажусь,— вскричал барон,— но и теперь скажу, что племяннице моей не бывать за вами: я клянусь...

Тут дверь в кабинет барона растворилась, и — вошла Амалия. Ни Флахсман, ни дядя не ожидали ее. Она была бледна, как смерть — изумление сковало уста барона.

— Дядюшка!— сказала Амалия тихим, но твердым голосом.— Я повиновалась вам, как отцу моему, пока вы поступали со мною, как отец. Когда вы нарушили обещание моей матери: быть отцом моим, я почитала себя вправе поступать, как мне угодно. Знайте и не клянитесь: я буду женою его — сердце мое избрало его — никакая власть не принудит меня переменить слово, мною ему данное.

— Вы, сударыня, забываете все приличия...— сказал барон.

Амалия прервала речь его.

— Приличия!— сказала она с горькою усмешкою.— Бедные приличия уступают, где говоришь что-нибудь другое. Перед вами я повторю слова мои: Флахсман или — никто! Вы не хотели меня выслушать доныне; вы терзали меня, терзали избранного мною. Знайте же, что я не могу уже возвратиться: я жена Флахсмана, и бесчестие мое может быть прикрыто только благословением священника!

Слезы полились из глаз ее. Она упала на стул. Флахсман изумился, побледнел.

— Амалия! что вы говорите!— вскричал он.

— Молчите, если вы меня любите, Флахсман! Молчите — пусть он решает...

В это время барон шагал по комнате; крупные капли холодного пота выступали на лбу его. Амалия плакала; Флахсман не понимал, что с ним делается.

Вдруг барон остановился.

— Ну!— сказал он.— Итак дело кончено, Флахсман! Мы будем стреляться, но не вы, а я вас вызываю: вы погубили все мои надежды! вы обесчестили знаменитую отрасль баронов Шперлингов. Женитесь ли вы на Амалии?

— Я отдал бы жизнь за нее; я готов бы был принять тысячу смертей за ее счастие... Вы позволите мне назвать ее моею супругою, при вас, в сию минуту?

— Да!

И Флахсман обнял со слезами Амалию, у которой щеки вспыхнули, как роза.

12

КАКОВО ЛЮБИЛА ОНА?

На другой день, без всякой пышности, Флахсман повел Амалию к алтарю. Когда священный обряд совершился и барон фон-Шперлинг поздравил Флахсмана и Амалию, она стала перед ним на колена и сказала ему: «Теперь, начните же наше счастие прощением всего, дядюшка! Я не встану, пока вы меня не простите!» Барон растрогался. Несмотря на пустоту души и сердца, он любил Амалию, обнял ее и сказал с чувством: «Дитя мое! Бог да простит тебя во всем!»

Амалия встала; лицо ее пылало, глаза ее горели. «Узнайте же,— сказала она,— что вы были обмануты: непорочную душу и чистое сердце получил в сию минуту перед алтарем божиим друг мой! Я не посрамила благородной крови моих предков».

— Как!— вскричал барон.— Следственно, слова твои, что ты погубила себя...

«Были ложь — клянусь вам памятью моей матери — ложь, и вы видите теперь: вам ли было разлучить сердца наши, когда я, девушка, не смевшая сказать вам единого слова, решилась для него покрыть себя стыдом и поношением в глазах ваших... И чего мне стоили немногие слова, которые вчера я сказала вам...» Амалия скрыла горящие свои щеки на груди Флахсмана.

— И вы, м. г.— сказал важно Барон,— согласились с нею?..

— Нет!— отвечал Флахсман.— Но мог ли я изменить Амалии? И если я виноват, то — смотрите (он стал на колена перед бароном)— я прошу у вас прощения. Дозвольте мне счастием Амалии, детскою к вам любовью загладить мою вину!

Барон обнял Флахсмана и Амалию, и — заплакал. «Мы все были виноваты: забудем прошедшее!»— сказал он.

Повесть моя кончилась, друзья мои! Вскоре Флахсман и Амалия уехали из Иркутска. Барон фон-Шперлинг последовал за ними. Счастие Амалии убедило наконец старика, что есть на свете нечто выше привязанности к родословным, и когда первый сын Флахсмана родился, когда барон выпросил позволение передать ему свое имя, он сказал: «Родословная дело важное; но если притом еще вмешается любовь, оно вдвое делается важно». Фраза была довольно несвязна, и, может быть, потому барон сопроводил ее густым облаком табачного дыма.

СѢВЕРНЫЕ

ЦВѢТЫ

НА 1831 ГОДЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТ. НАРОДН. ПРОСВѢЩ.

1829.

В. ОДОЕВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ БЕТХОВЕНА

> Я был уверен, что Креспель помешался. Профессор утверждал противное. «Есть люди,— сказал он,— с которых природа или особенные обстоятельства сорвали завесу, за которою мы потихоньку занимаемся разными сумасбродствами. Они похожи на тех насекомых, с которых анатомист снимает перепонку, обнажает движение их мускулов». Что в нас мысль, то в Креспеле действие.
>
> *Гофман*

1827 года, весною, в одном доме в предместии Вены несколько любителей музыки разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати. С изумлением и досадою следовали они за безобразными порывами ослабевшего гения: так изменилось перо его! Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов; художническая отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапунктиста; огонь, который прежде пылал в его быстрых *аллегро* и, постепенно усиливаясь, кипучею лавою разливался в полных, огромных созвучиях, превратился в ряд непонятных диссонансов; а оригинальные, шутливые темы веселых менуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте; везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, не существующим в музыке; везде какое-то темное, не понимающее себя чувство. И это был все тот же Бетховен, тот же, которого имя, вместе с именами Гайдна и Моцарта, тевтонец произносит с восторгом и гор-

достию! Часто, приведенные в отчаяние бессмыслицею сочинения, музыканты бросали смычки и готовы были спросить: не насмешка ли это над творениями бессмертного? Одни приписывали упадок его глухоте, поразившей Бетховена в последние годы его жизни; другие — сумасшествию, также иногда омрачавшему его творческое дарование; но они скоро снова принимались за смычки и, из почтения к прежней славе знаменитого симфониста, как бы против воли продолжали играть его непонятное произведение.

Вдруг дверь отворилась, и вошел человек в черном сюртуке, без галстука, с растрепанными волосами; глаза его горели,— но то был огонь не дарования; лишь нависшие, резко обрезанные оконечности лба являли необыкновенное развитие музыкального органа, которым так восхищался Галль, рассматривая голову Моцарта.

Он вошел тихо, заложив руки за спину, и приблизился к играющим. Присутствующие с почтением уступили ему место; он наклонял голову то на ту, то на другую сторону, стараясь вслушаться в музыку; но тщетно: слезы градом покатились из глаз его. Тихо отошел он от играющих и сел в отдаленный угол комнаты, закрыв лицо свое руками; но едва смычок первого скрипача завизжал возле подставки на случайной ноте, прибавленной к *септим-аккорду*, и дикое созвучие отдалось в удвоенных нотах других инструментов, как несчастный встрепенулся, закричал: «Я слышу! слышу!»—в буйной радости захлопал в ладоши и затопал ногами.

— Лудвиг!— сказала ему молодая девушка, вслед за ним вошедшая.— Лудвиг! пора домой. Мы здесь мешаем!

Он взглянул на девушку, понял ее и, не говоря ни слова, побрел за нею, как ребенок.

На конце города, в четвертом этаже старого каменного дома, есть маленькая душная комната, разделенная перегородкою. Постель с разодранным одеялом, несколько пуков нотной бумаги, остаток фортепьяно — вот все ее украшение. Это было жилище, это был мир бессмертного Бетховена. Во всю дорогу он не говорил ни слова; но когда они пришли, Лудвиг сел на кровать, взял за руку девушку и сказал ей:

— Добрая Луиза! ты одна меня понимаешь; ты одна меня не боишься; тебе одной я не мешаю... Ты думаешь, что все

эти господа, которые разыгрывают мою музыку, понимают меня: ничего не бывало!

Они думают, что я ослабеваю,— я даже заметил, что некоторые из них как будто улыбались, разыгрывая мой квартет,— вот верный признак, что они меня никогда не понимали; напротив, я теперь только стал истинным, великим музыкантом: идучи, я придумал симфонию, которая увековечит мое имя; напишу ее и сожгу все прежние. В ней я превращу все законы гармонии, найду эффекты, которых до сих пор никто еще не подозревал; я построю ее на хроматической мелодии двадцати литавр, я введу в нее аккорды сотни колоколов, настроенных по различным камертонам, ибо,— прибавил он шепотом,— я скажу тебе по секрету: когда ты меня водила на колокольню, я открыл, чего прежде никому в голову не приходило, я открыл, что колокола есть самый гармонический инструмент, который с успехом может быть употреблен в тихом *адажио*. В финал я введу барабанный бой и ружейные выстрелы,— и я услышу эту симфонию, Луиза!— воскликнул он вне себя от восхищения.— Надеюсь, что услышу,— прибавил он, улыбаясь, по некотором размышлении.— Помнишь ты, когда в Вене, в присутствии всех венчанных глав света, я управлял оркестром моей ватерлооской баталии? Тысячи музыкантов, покорные моему взмаху, двенадцать капельмейстеров, а кругом батальонный огонь, пушечные выстрелы... О! это до сих пор лучшее мое произведение, несмотря на этого педанта Вебера[1]. Но то, что я теперь произведу, затмит и это произведение. Я не могу удержаться, чтоб не дать тебе о нем понятия.

С сими словами Бетховен подошел к фортепьяно, на котором не было ни одной целой струны, и с важным видом ударил по пустым клавишам. Однообразно стучали они по сухому дереву разбитого инструмента, а между тем самые трудные фуги в пять и шесть голосов проходили чрез все таинства контрапункта и сами собою ложились под пальцы творца «Эгмонта», и он старался придать как можно более выражения своей музыке; вдруг сильно, целою рукою покрыл он клавиши и остановился.

---

[1] Готфрид Вебер — которого не должно смешивать с сочинителем *Фрейшица* — сильно критиковал в своем журнале «Цецилия» Wellingtous Sieg — слабейшее из произведений Бетховена.

— Слышишь ли?— сказал он Луизе.— Вот аккорд, которого до сих пор никто еще не осмеливался употребить. Так! я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие и докажу педантам, что этот аккорд правилен. Но я его не слышу, Луиза, я его не слышу! Понимаешь ли ты, что значит не слыхать своей музыки?.. Однако ж мне кажется, что когда я соберу дикие звуки в одно созвучие, то оно как будто отдается в моем ухе; и чем мне грустнее, Луиза, тем больше нот мне хочется прибавить к *септиму-аккорду*, которого истинных свойств никто не понимал до меня... Но полно! может быть, я наскучил тебе, как всем теперь скучаю. Только знаешь что? За такую чудную выдумку мне можно наградить себя сегодня рюмкой вина. Как ты думаешь об этом, Луиза?

Слезы навернулись на глазах бедной девушки, которая одна из всех учениц Бетховена не оставляла его и, под видом уроков, содержала его трудами рук своих: она дополняла ими скудный доход, полученный Бетховеном от своих сочинений. Вина не было! едва оставалось несколько грошей на покупку хлеба... Но она скоро отвернулась от Лудвига, чтобы скрыть свое смущение, налила в стакан воды и поднесла его Бетховену.

— Славный рейнвейн! — говорил он, отпивая понемногу с видом знатока.— Королевский рейнвейн! это точно из погреба моего батюшки, блаженной памяти Фридерика. Я это вино очень помню! Оно день ото дня становится все лучше — это признак хорошего вина!— И с этими словами охриплым, но верным голосом он запел свою музыку на известную песню Гетева Мефистофеля:

Eswar einmal ein Ronig
Der hatt einen grossen Floh,—

но против воли часто сводил ее на таинственную мелодию, которою Бетховен объяснил Миньону[1].

— Слушай, Луиза,— сказал он наконец, отдавая ей стакан,— вино подкрепило меня, и я намерен тебе сообщить нечто, что мне уже давно хотелось и не хотелось тебе сказать: знаешь ли, мне кажется — что я уж долго не проживу — да и что за жизнь моя?— это цепь бесконечных терзаний. От самых юных лет я увидел бездну, разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда я не мог выразить души своей; никогда

[1] Rennst du das Land, etc.

того, что представляло мне воображение, я не мог передать бумаге: напишу ли? играют?— не то!.. не только не то, что я чувствовал, даже не то, что я написал. Там пропала мелодия оттого, что низкий ремесленник не придумал поставить лишнего клапана; там несносный валторнист заставляет меня переделывать целую симфонию оттого, что его валторна не выделывает пары басовх нот; то скрипач убавляет необходимый звук в аккорде оттого, что ему трудно брать двойные ноты. А голоса, а пение,— репетиции ораторий, опер?.. О! этот ад до сих пор в моем слухе! Но я тогда еще был счастлив: иногда я замечал, на бессмысленных исполнителей находило какое-то вдохновение; я слышал в их звуках что-то похожее на темную мысль, западавшую в мое воображение — тогда я был вне себя, я исчезал в гармонии, мною созданной. Но пришло время, мало-помалу тонкое ухо мое стало грубеть: еще в нем оставалось довольно чувствительности, что оно могло слышать ошибки музыкантов, но оно закрылось для красоты; мрачное облако его объяло — и я не слышу более своих произведений, не слышу, Луиза!.. В моем воображении носятся целые ряды гармонических созвучий; оригинальные мелодии пересекают одна другую, сливаясь в таинственном единстве, хочу выразить — все исчезло: упорное вещество не выдает мне ни единого звука,— грубые чувства уничтожают всю деятельность души. О! что может быть ужаснее этого раздора души с чувствами, души с душою: зарождать в голове своей творческое произведение и ежечасно умирать в муках рождения!.. Смерть души!— как страшна, как жива эта смерть!

А еще этот бессмысленный Готфрид вводит меня в пустые музыкальные тяжбы, заставляет меня объяснять, почему я в том или другом месте употребил такое и такое соединение мелодии, такое и такое сочетание инструментов, когда я самому себе этого объяснить не могу! Эти люди будто знают, что такое душа музыканта, что такое душа человека? Они думают, ее можно обкроить по выдумкам ремесленников, работающих инструменты, по правилам, которые на досуге изобретает засушенный мозг теоретика... Нет, когда на меня приходит минута восторга, тогда я уверяюсь, что такое превратное состояние искусства продлиться не может; что новыми, свежими формами заменяются обветшалые; что все нынешние инстру-

менты будут оставлены и место их заменят другие, которые в совершенстве будут исполнять произведения гениев; что наконец исчезнет нелепое различие между музыкою писаною и слышимою. Я говорил гг. профессорам об этом — но они меня не поняли, как не поняли силы, которою я обладаю в минуту восторга, как не поняли того, что тогда я предупреждаю время и чувствую по внутренним законам природы, еще не замеченным простолюдинами и мне самому в другую минуту непонятным... Глупцы! в их холодном восторге, они в свободное от занятий время выберут тему, обделают ее, продолжат и не преминут потом повторить ее в другом тоне; здесь по заказу прибавят духовые инструменты или странный аккорд, над которым думают, думают и все это так благоразумно обточат, оближут,— что хотят они? я не могу так работать... Сравнивают меня с Микеланджелом — но как работал творец «Моисея»? в гневе, в ярости, он сильными ударами молота ударял по недвижному мрамору и поневоле заставлял его выдавать живую мысль, скрывавшуюся под каменною оболочкою. Так и я! Я холодного восторга не понимаю! Я понимаю тот восторг, когда целый мир для меня превращается в гармонию, всякое чувство, всякая мысль звучит во мне, все силы природы делаются моими орудиями, кровь моя кипит в жилах, дрожь проходит по телу, и волосы на голове шевелятся... Но все это тщетно! Силы мои слабеют,— голова больна: все, что ни думаешь, все смешивается одно с другим, все покрыто какою-то завесою...

Я бы хотел, Луиза, передать тебе последние мысли и чувства, которые хранятся в сокровищнице души моей, чтобы они не пропали... Но что я слышу?..

С сими словами Бетховен вскочил и сильным ударом руки растворил окно, в которое из ближнего дома неслись гармонические звуки...

— Я слышу!— воскликнул Бетховен, бросившись на колени, и с умилением протянул руки к раскрытому окну,— эта симфония Эгмонта — так, я узнаю ее — вот дикие крики битвы, вот буря страстей, она разгорается, кипит; вот ее полное развитие — и все утихло, остается лишь лампада, которая гаснет, гаснет,— потухает,— но не навеки... Снова раздались трубные звуки: целый мир ими наполняется, и никто заглушить их не может...

На блистательном бале одного из венских министров толпы людей сходились и расходились.

— Как жаль!— сказал кто-то.— Театральный капельмейстер Бетховен умер, и говорят, не на что похоронить его.

Но этот голос потерялся в толпе: все прислушивались к словам двух дипломатов, которые толковали о каком-то споре, случившемся между кем-то во дворце какого-то немецкого князя.

СѢВЕРНЫЕ
ЦВѢТЫ.
1832.

В. ОДОЕВСКИЙ

OPERE DEL CAVALIERE CIAMBATTISTA PIRANESI*

Cel artiste, n'ayant pu trouver á exerer
les rares talents dont il etait doué ó
pris plaisir á dessiner les fabrique et á,
presenter des mâsses d architecture á l erection
desquelles les travaux de plusieurs sié les
et les revenus des plusieurs empires n auraient
ru suffire.

Roscoe Vie de Leon X[1]

(А. С. Хомякову)

Кто из вас, друзья, испытывал наслаждение поутру рано, в поношенном сюртуке, с картузом на голове и с робко-дерзкою физиогномиею студента втираться в те маленькие книжные лавочки, где случай, богатство и бедность сносят книги всех изданий и форматов, от Rosarium Арнольда де Виллановы до русских романов Дюкре-Дюмениля включительно; где они соединяют *Державина с Поповским*, Фрерона закрывают от пыли Вольтером и рядом с благоразумным Лагарпом ставят Гофмановы сказки и романы Нодье? Ничто

* Для тех, которые найдут сходство между предметом сей статьи и статьи, напечатанной в Сев. Цв. 1831 года, под названием Последний квартет Беетховена,— считаем нужным заметить, что они суть отрывки из одного и того же сочинения, лишь несколько округленные.

[1] Этот артист, не найдя применения редким талантам, которыми он был одарен, увлекался тем, что рисовал воображаемые здания, громоздил строения и изображал архитектурные массы, для возведения которых были бы недостаточны труды многих веков и доходы нескольких царств Роско. Жизнь Льва X(*франц.— Ред.*).

так не утишает порывов самолюбия, да и вообще ничто так не успокаивает души, как это зрелище. Я посещаю такие лавки, когда начинаю делаться *пессимистом.* Вы входите: тотчас радушный хозяин снимает шляпу и со всею купеческою щедростью предлагает вам и романы Жанлис, и прошлогодние альманахи, и *Скотский лечебник.* Но вам стоит только произнести одно слово, и оно тотчас укротит его докучливый энтузиазм: спросите только: «Где медицинские книги?»— и хозяин наденет шляпу, покажет вам запыленный угол, наполненный книгами в пергаментном переплете, и спокойно усядется дочитывать Академические ведомости прошедшего месяца. Здесь нужно заметить для потомства, что еще во многих наших книжных лавочках всякая книга в пергаментном переплете и с латинским заглавием имеет право называться медицинскою; и потому можете судить сами, какое в них раздолье для библиографа между *«Наукою о бабичьем деле, на пять частей разделенной и рисунками снабденной» Нестора Максимовича Амбодика* и «Bonati Thesaurus medicopracticus undigue collectus», вам попадается маленькая книжонка, изорванная, замаранная, запыленная; смотрите — это «Advis fidel aux veritables Hollandais touchaut ce que s'est passe daus les villages de Bolegrave et Swam merdam, 1673». Как замечательно! но это Эльзевир!— Эльзевир! имя, приводящее в сладкий трепет всю нервную систему библиофила... Сваливаете несколько пожелтевших «Hortus sa nitatis, Jardin de devotion les Fleurs de bien dere, recueillies aux cabinets des plus rares e'sprils pours exprimer les passions amoureuses de l'un et de l'autre sexe forme de Dictionnaire»— и вам попадается латинская книжка без переплета и без начала; развертываете: как будто похоже на Виргилия, но что слово, то ошибка! Неужели в самом деле? не мечта ли обманывает вас? неужели это знаменитое издание Альда 1514 года: «Vergilius ex recensione Naugeri». И вы недостойны назваться библиофилом, если у вас сердце не выпрыгнет от радости, когда, дошедши до конца, вы увидите четыре полные страницы опечаток, верный признак, что это именно то самое редкое, драгоценное издание, перло Альдов, которого большую часть экземпляров истребил сам издатель, в досаде на опечатки.

Теша воображение этими библиографическими мечтами, я

с трепетом надежды и радости пробирался недавно по грязным улицам в знакомую мне книжную лавочку. Вхожу: новый предмет поразил мое внимание. В углу над большим фолиантом стояла фигура в старинном французском кафтане, в напудренном парике, подле которого болтался пучок, с тщанием свитый. Движение, мною сделанное, заставило ее обернуться — я узнал в ней того чудака, который, не покидая никогда своего старомодного платья, с важностию прохаживается по улицам петербургским и при каждой встрече, особенно с дамами, с улыбкою приподнимает свою изношенную шляпу корабликом. Давно уже я видал этого оригинала и весьма был рад случаю свести с ним знакомство. Я посмотрел на развернутую перед ним книгу: это было собрание дурных гравюр, изданных в 70-х годах под названием *Нового Виньолы*. Оригинал рассматривал их с большим вниманием; мерял пальцами намалеванные колонны, приставлял ко лбу перст и погружался в глубокое размышление. «Он, видно, отставной архитектор,— подумал я,— чтоб полюбиться ему, притворюсь любителем архитектуры». При сих словах глаза мои обратились на собрание огромных фолиантов, на коих выставлено было: «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi». «Прекрасно!»— подумал я, взял один том, развернул его, но бывшие в нем проекты колоссальных зданий, из которых для построения каждого надобно бы миллионы людей, миллионы червонцев и столетия,— эти иссеченные скалы, вознесенные на вершины гор, эти реки, обращенные в фонтаны,— все это так привлекло меня, что я на минуту забыл о моем чудаке. Но, заметив, что он нимало не удостоивает внимания зодческий энтузиазм мой, я решился обратиться к нему с вопросом: «Вы, конечно, охотник до архитектуры?»— сказал я. «До архитектуры?»— повторил он, как бы ужаснувшись, нетвердым русским языком. «Да,— примолвил он, взглянув с улыбкой презрения на мой изношенный сюртук,— я большой до нее охотник!»— и замолчал. «Только-то?— подумал я,— этого мало». «В таком случае,— сказал я,— посмотрите лучше на эти прекрасные гравюры, а не на лубочные картинки, находящиеся перед вами».

Он подошел ко мне нехотя, с видом человека, досадующего, что ему мешают заниматься делом, но едва взглянул он на показываемую ему мною книгу, как с ужасом отскочил от ме-

ня, замахал руками и закричал: «Бога ради, закройте, закройте эту негодную, эту ужасную книгу!» Это мне показалось довольно любопытно. «Я не могу надивиться вашему отвращению от этого превосходного произведения; мне оно так нравится, что я сей же час куплю его». И с сими словами я вынул кошелек с деньгами. «Деньги!— закричал мой чудак таким голосом, как Жорж в *Жизни Игрока*.— У вас есть деньги!»— повторил он и затрясся всем телом. Признаюсь, это восклицание архитектора несколько расхолодило мое желание войти с ним в тесную дружбу; но любопытство превозмогло. «Разве вы нуждаетесь в деньгах?»— спросил я.

— Очень нуждаюсь!— проговорил архитектор.— И очень, очень давно нуждаюсь,— прибавил он, ударяя на каждое слово.

— А много ли вам надобно?— спросил я с участием.— Может, я и могу помочь вам.

— На первый случай мне нужно безделицу — сущую безделицу — сто миллионов.

— На что же так много?— спросил я с удивлением.

— Чтобы соединить сводом Этну с Везувием, для триумфальных ворот, которыми начнется парк проектированного мною замка,— отвечал он как будто ни в чем не бывало.

Я едва мог удержаться от смеха.

— Отчего же,— возразил я,— вы, человек с такими колоссальными идеями, вы приняли с отвращением произведения зодчего, который по своим идеям хоть несколько приближается к вам?

— Приближается?— воскликнул незнакомец.— Приближается! Да что вы ко мне пристаете с этой проклятой книгой, когда я сам сочинитель ее?

— Нет, это уж слишком!— отвечал я. С этими словами я взял лежавший возле «*Исторический словарь*» и показал ему страницу, на которой было написано: «Chevalier Giambattista Piranesi, c'elebre architecte, m. en 1778».

— Это вздор! это ложь!— закричал мой архитектор.— Ах, я был бы счастлив, если б это была правда! Но я живу, к несчастию моему, живу,— и эта проклятая книга мешает мне умереть.

Любопытство мое час от часу возрастало.

— Объясните мне сию странность,— сказал я ему,—

поверьте мне свое горе: повторяю, что я, может быть, и могу помочь вам.

Лицо старика прояснилось: он взял меня за руку.

— Здесь не место говорить об этом; нас могут подслушать люди, которые в состоянии повредить мне. О! я знаю людей... Пойдемте со мною; я дорогой расскажу вам мою страшную историю.— Мы вышли.

— Так, сударь,— продолжал старик,— вы видите во мне знаменитого и злополучного Пиранези. Я родился человеком с талантом... что я говорю? теперь запираться уже поздно,— я родился с гением необыкновенным. Страсть к архитектуре развивалась во мне с младенчества, и великий Микеланджело, поставивший пантеон на небольшую церковь св. Петра в Риме, в старости был моим учителем. Он восхищался моими планами и проектами зданий, и когда мне исполнилось двадцать лет, великий мастер отпустил меня от себя, сказав, чтобы я сам себе прокладывал дорогу и старался увековечить мое имя без его стараний. С этой минуты начались мои несчастия. Я нигде не мог найти работы; деньги становились редки. Тщетно представлял я мои проекты и римскому императору, и королю французскому, и папам, и кардиналам; все восхищались ими, но когда доходило дело до постройки — недостаток денег оставлял мои планы без исполнения. Между тем проходили годы; начатые здания оканчивались, соперники мои снискивали бессмертие, а я скитался от двора к двору, от передней к передней с моим портфелем, который полнел час от часу более.

Чувствуя приближение старости и помышляя о том, что если бы кто и захотел поручить мне какую-либо постройку, то недостало бы жизни моей на окончание оной, я решился напечатать мои проекты, на стыд моим современникам и чтобы показать потомству, какого человека они не умели ценить. С усердием принялся я за сию работу, гравировал день и ночь, и проекты мои расходились по свету, возбуждая то смех, то удивление. Но со мной сталось совсем другое... слушайте и удивляйтесь... Я узнал теперь горьким опытом, что в каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-эфироид; каждое здание, каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, служит жилищем такому духу. Эти духи свойства злого: они любят

жить, любят множиться и терзать своего творца за тесное жилище. Едва почуяли они, что жилище их должно ограничиться одними гравированными картинами, как вознегодовали на меня... Я уже был на смертной постели, как вдруг... Слыхали ль вы о человеке, которого называют *вечным жидом?* Все, что рассказывают о нем, есть ложь: этот злополучный перед вами... Едва я стал смыкать глаза вечным сном, как меня окружили призраки в образе дворцов, палат, домов, замков, сводов, колонн. Все они вместе давили меня своею громадою и с ужасным хохотом просили у меня жизни. С той минуты я не знаю покоя; духи, мною порожденные, преследуют меня: там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь пиластры гонятся за мною, шагая верстами; здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами. Все они не дают умереть мне, допытывают меня, зачем осудил я их на жизнь неполную и на вечное терзание? Тщетно я перехожу из земли в землю, тщетно высматриваю, не подломилось ли где великолепное здание, на смех мне построенное моими соперниками. Часто в Риме ночью я приближался к стенам, построенным этим счастливцем Микелем, и слабою рукою ударял в этот проклятый купол, который и не думает шевелиться, или в Пизе вешался обеими руками на эту негодную башню, которая в продолжение семи веков нагибается на землю и не хочет до нее дотянуться.

Я уже пробежал всю Европу, Азию, Африку, переплыл море: везде я ищу разрушенных зданий, которые мог бы я воссоздать моею творческой силой; рукоплескаю бурям, землетрясениям. Рожденный с обнаженным сердцем поэта, я перечувствую все, чем страждут несчастные, лишенные обиталища, пораженные ужасами природы; и не могу не трепетать от радости при виде разрушения... И все тщетно! час создания еще не наступил для меня или уже прошел: многое разрушается вокруг меня, но многое еще живет и мешает жить моим мыслям. И знаю, до тех пор не сомкнутся мои ослабевшие вежды, пока не найдется покровитель, с помощью которого все колоссальные мои замыслы будут не на одной бумаге. Но где он? где найти его? Если и найду, то уже проекты мои устарели, много из них опережено веком, а нет сил обновить их! Иногда я обманываю моих мучителей, уверяя, что занимаюсь приведением в исполнение какого-либо из моих

проектов; и тогда они на минуту оставляют меня в покое. В таком положении был я, когда я встретился с вами; но пришло же вам в голову открыть передо мною мою проклятую книгу: вы не видали, но я — я видел ясно, как одна из пиластр храма, построенного в средине Средиземного моря, закивала на меня своей косматой головою... Теперь вы знаете мое несчастие: помогите же мне по обещанию вашему. Только сто миллионов, умоляю вас!— И с сими словами он упал предо мною на колени.

С удивлением и жалостию смотрел я на бедняка, вынул красненькую бумажку и сказал: «Вот тебе, что могу я дать вам теперь».

Старик уныло посмотрел на меня. «Я это предвидел,— отвечал он,— но хорошо и это: я приложу эти деньги к той сумме, которую я собираю для покупки Монблана, чтоб срыть его до основания; ибо он будет отнимать вид у моего увеселительного замка». С сими словами он поспешно удалился...

СИРОТКА,

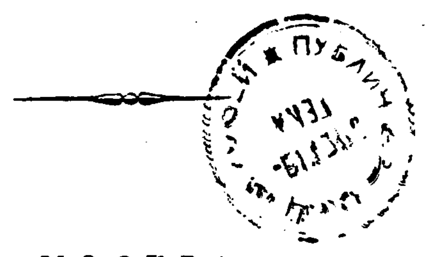
ЛИТТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ

НА 1831 ГОДЪ,

ИЗДАННЫЙ

ВЪ ПОЛЬЗУ ЗАВЕДЕНІЯ ПРИЗРѢНІЯ

БѢДНЫХЪ СИРОТЪ.



МОСКВА

въ Типографіи С. Селивановскаго.

1831.

М. ПОГОДИН

ПЕТРУСЬ

Малороссийский анекдот

Посвящается И. П. Котляревскому

Кто бывал в Полтаве, тот верно помнит Александровскую улицу, от памятника к собору, усаженную высокими подбористыми тополями, которые в летнюю месячную ночь, тихо колеблемые ветром, дают от себя такую очаровательную тень. Здесь на углу, близ горы Понянки, по которой недавно еще, до проложения новой дороги, мучась, взбирались приезжие из разных верхних городов, жил несколько лет тому назад зажиточный казак Скоробрешенко. Он промышлял торговлею, ибо тогда еще мало было русских купцов в Малороссии,— и очень выгодно, благодаря расторопности, усердию и смышлености своего приемыша, который вырос у него на руках и, возмужав, сделался надежным помощником. Можно даже сказать, что Петро́ было полным хозяином в доме, ибо вдовый казак, по старой памяти, любил гораздо лучше за поставцем горилки разговаривать с своими товарищами о Гетманщине и об удалых подвигах своих предков, чем возиться в огороде, около весов или закормов. Петро́ ходил у него за таранью на Дон и за дегтем в Кременчуг, и торговал в лавочке, и сажал капусту, и вел денежные счеты. Надо признаться, что сирота под конец трудился так ревностно не без корыстных видов: Наталка, единственная дочь стариковa, с которою он вместе вырос и воспитался, ему полюбилась. И в самом деле, эта дивчина во всем околотке славилась своими достоинствами:

разумная, до всякого дела дотепная, трудящая, почтительная, и притом чернобровая, черноглазая, белая, румяная. Когда она выходила наряженная в церковь, или в клечану неделю на улицу, или к подругам на вечерницы, то вся полтавская молодежь на нее заглядывалась. Никто лучше ее не умел укладывать сизые селезневые перушки на висках, а косы кружком на голове с желто-горячими гвоздиками. В пестрой плахте, с червонною запаской, из-под которой выказывалась сорочка, вышитая заполочью, вся в лентах цветных, на шее дукаты и добрые намысты — ну, словом, любо-дорого смотреть. Так и подвертывались к ней тогда удалые хлопцы играть в хрещики или горюдуба или плясать голубца. Так и подступали к ней *выкрутасом*, когда она, в дробушках, потупив глаза, опустив руки, млялась на месте или, цокая подковками, на лету раскачивалась. Год от году Петрусь любил ее больше и больше и старался приобретать ее благосклонность. Дома, разумеется, он не допускал никакой тяжелой работы до белых ее ручек. Сходить ли в грязную пору на рынок за припасами, принести ли воды из колодца, заколоть ли порося, зарезать ли индича или баранца — он бросал свое дело, уговаривал даже покупщиков дожидаться и тотчас исполнял всякое желание и просьбу своей любезной. Зато и у Петруся хустки были всегда узорнее стариковых, зато и Петрусю прежде всех в доме было готово снидание, зато и Петрусю во время ярмонок сама Наталка приносила в плетеном кошике горячий борщ с салом, бараниною и куркою, пампушки с олеею и луком, корши с маком и медом. Таким образом услуживая друг другу, забавляя друг друга, они любились счастливо в простоте сердечной, но когда у Петруся начал жестче пробиваться ус, когда у Наталки грудь начала подниматься выше при какой-нибудь замысловатой песне, то их веселая, беззаботная жизнь оттенилась новыми, приятными и непрятными чувствами: и ей было скучно, когда он долго не ворочался с Решетиловки или Опочки, и ему было досадно, как она с кем другим забавлялася, пела или плясала. Они уж стали и стыдиться, и краснеть друг друга, а иногда чересчур и вольничать. Злые глаза это подметили, а злые языки начали распускать о девушке худую молву. Это дошло и до нее. Однажды, как на вечернице одна завистливая дивчина намекнула ей о неверности Петруся, а другая, застарелая, попрекнула ее сомнитель-

ным поведением, она воротилась домой вся в горьких слезах.

— Що с тобою зробилось, чого ты так сумуешь?— спросил ее Петрусь, встретясь с нею на дворе.

— Та все через тебе,— отвечала, вхлипывая, Наталка.

— Як через мене, с чего се ты взяла, щоб я був такой лыхий чоловик, щоб довив тебе до такого горя?

— Та як бы ты був не лыхий чоловик, не розносив бы про мене такого сраму; на що ты выхвалявся всем, що я... що ты... А теперь все люди чорт зна що про мене думают.

Напраслина огорчила Петруся; он старался разуверить чувствительную девушку.

— Я тебе люблю, як никого на свете: чи можно, щоб я став выгадывать про тебе?

— Та колы ты мене любишь, чом же ты не скажешь батькови про се? я и сама люблю тебе.

Можно представить себе, как обрадовался добрый малый такому нечаянному объяснению, на которое хотя он до сих пор и надеялся, но зато столько же и боялся противного. Минутная досада и обида были вознаграждены слишком. Он расцеловал свою милую, и по прошествии первых минут любовного восторга они уговорились, как объявить отцу взаимное желание. Петрусь опять робел, но Наталка ободрила его, сказав, что отец любит его как родного сына и часто, пред гостями даже, все свое благосостояние приписывает неусыпным трудам дорогого приемыша. Что могло более ручаться за успех?

В первое воскресенье, помолясь усердно перед образом, одевшись в лучшее платье, пригладив гладенько кваском волосы, пришел Петрусь к старому казаку, повалился в ноги и начал:

— Ты був для мене бильше, ниж ридный батько, николы не лаяв мене без нужды, обходывся за мною, як з ридным сыном. А теперь прийшов тебе проситы о последней милосты.

— О який?

— Отдай за мене дочь свою Наталку.

Старик, удивленный такою неожиданною просьбой, не может, задыхаясь с сердцов, выговорить слова, а Петро́, принимая это молчание за добрый знак, в жару продолжает:

— Я давно вже люблю Наталку, и вона мене любит; мы

будем целый вик з нею молыть за тебе бога, будем любыть тебе от всего сердца, и деты наши, колы воны будут...

— Як! я,— прервал наконец старик, переведши дух,— я отдам дочь свою за чорт, батька, зна кого, що ни роду ни племени, як бурлака, або як голодряпец! Чи ты сказывся, або в уме поверєдывся, або мабудь яка ведьма обморочила тебе? Ось до чего дожив я: згодовав порося, а теперь зробылась свынья, бачь, яку шкоду вробыла. Убирайся витселя, вражий сыну, и на очи не попадайся; а не то я тебе зверну голову на сторону.

Остолбенел мой бедный Петро́. Слезы в три ручья из глаз у него покатились.

— Побыла ж мене лыха година та нещастлива,— сказал он, отходя от двери.— Прощай, тату, спасыби тоби за хлиб, за силь, спасыби тоби, що ты мене дытиною прыютыв, нехай тоби за се господь заплатыт, а мыни ничым тебе отдьяковать. Просты мене сыроту, що я обидыв тебе, що дав сердцю своему волю. Прощай, тату, навики!

С сими словами он вышел из хаты: в сенях дожидалась его Наталка. Один вид его поразил ее как громовым ударом.

— Нема талану,— чуть выговорил несчастный, громко рыдая, поцеловал ее горячо, обеспамятевшую от ужаса, и выбежал из дома, куда глаза глядели.

Петрусь, надо отдать честь его рассудку, скоро опомнился, в первой деревне, и сообразил, что бедность была единственною причиною Скоробрешенкова отказа и что этому горю пособить еще можно: стоит как-нибудь наработать столько денег, чтоб прельстить расточительного старика, который по всем расчетам должен был вскоре почувствовать в них понудительную нужду.

С таким решением идет Петро́ в Кременчуг к купцу, знакомому ему по прежним торговым оборотам; и на этот раз счастие ему поблагоприятствовало: он поступает в приказчики, в продолжение времени приобретает большую и большую доверенность, оказывает случайно важную услугу на ярмарке, получает в награждение порядочную сумму, входит к купцу в долю, берет на нее по особливому счастию значительный барыш — и таким образом чрез несколько времени, не считая

проходящих дней, а считая только получаемые деньги, не смотря на дорогу, а только на цель, накопляет две тысячи рублей.

Больше не нужно, и Петрусь решился воротиться на родину. Получив последний рубль, объяснившись с хозяином и поблагодарив его за милости, спешит он домой. Как взволновалась его кровь, когда под вечерок, вышед из последнего селения, увидел он на горе свою родимую Полтаву! Он не шел, а бежал и около сумерек добрался до городской горы. Сердце его выпрыгнуть хочет. Не заходя на постоялый двор, в дорожной свите, засыпленный, небритый, поворачивает он к Скоробрешенкову дому. Он уже не бежит, а летит... Наталка! сейчас я увижу тебя, поцелую.

Петрусь надеется, что все застанет на прежнем месте, в прежнем виде; несчастный! он позабыл, что пять лет его не было дома, он не думает, что в такое долгое время много воды может утечь... Шагах в пятидесяти не доходя до дома, встречается он с женщиною, которая, ведя ребенка под руку: с коромыслом на плечах, в изорванном платье, шла за водою. «Чи здрав ли пан Скоробрешенко?»— спрашивает ее мимоходом нетерпеливый... Но я лучше для ясности расскажу здесь сам читателям, что случилось с этим казаком и его дочерью во время отсутствия Петруся.

Гордый старик, который в роду своем считал многих хорунжих и эсаулов, который и теперь водился только с чиновными людьми, повытчиками, канцеляристами и цехмистрами, был вне себя от негодования, что бескровный сирота осмелился свататься за единственную дочь его и наследницу. Он решился тотчас выдать ее замуж за одного из своих приятелей, старого волостного писаря, который уже не раз ему об этом за вишневкою и терновкою заговаривал. В несколько дней, в продолжение коих бедная девушка молча стонала по скрывшемся Петрусе, дело было слажено, условия между стариками приняты и утверждены — и наконец отцовское приказание с грозным окриком объявлено: послушная Наталка обвенчалась с постылым женихом своим.

Но хозяйство и торговля без оборотливого Петруся пошли очень дурно. Любезный зять только что пил, гулял и играл в три листика с дорогим своим тестюшкой. Наталка только что горевала и плакала; нанятый батрак норовил только свой

карман набить потуже. Присмотреть было некому. Писарь, надеясь на мнимое богатство стариково, отстал даже и от своей должности. Расходу домашнего прибавилось много, покупатели по разным неудовольствиям мало-помалу отставали от лавки, должники долгов не приносили, а заимодавцы своих требовали и часто, обманутые, стали даже списывать крестики; старик лишился доверенности, а между тем все пил, пил — и таким образом умер, наконец, разоренный и обесславленный.

Имение продали с аукционного торга, дом отняли за долг, и бедная Наталка принуждена была оставить тихое свое пристанище, где была она некогда столько счастлива, где обманчивая надежда сулила ей столько радостей. Куда делась ее веселость, ее красота? Как непохожа была эта бледная и худая женщина на прежнюю пышную Наталку. Так в короткое время едкое горе ее обезобразило. Житье ее было самое печальное. Еще при отце терпела она много от своего брюзгливого мужа и из-за кружевов принуждена была приняться за самые черные работы; теперь без последнего заступника, который, протрезвясь, иногда все-таки замолвливал за нее слово и удерживал грубияна от излишеств, по чужим углам, с кучею ребятишек, она принуждена была терпеть побои, голод и холод, иссохла, как былинка, и почти ослепла от слез, лившихся денно и нощно при мучительных воспоминаниях о незабвенном Петрусе.

И ее-то встретил бесталанный хлопец, воротясь в Полтаву. Мы видели, что, не узнав ее впотьмах, он спросил ее о здоровье пана Скоробрешенки. «Нема вже его на свите»,— отвечала женщина, не поднимая головы... В голосе послышалось что-то слишком знакомое. Петрусь вздрогнул. Господи! неужели это она? Испуганный, невольно он останавливается, не знает, на что решиться, наконец тихо идет вслед за нею к колодцу. Там, пока опускает она бадью, всматривается он в обтянутое лицо ее... Она! она!

Руки у него опустились, голова закружилась; как вкопанный остается он на своем месте и с полными слез глазами смотрит за нею вслед, когда она с налитыми ведрами пошла назад, таща заплакавшего ребенка...

Здесь застал его чрез несколько минут знакомый приходской священник, проходивший мимо; начал с ним разговор,

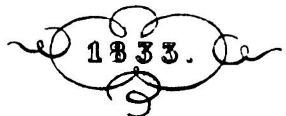
узнал его и, пригласив ночевать к себе, пересказал несчастному приключения Скоробрешенка и его семейства.

Что же сделал Петрусь? Разведав на другой день чрез священника, за сколько денег взят дом, за сколько попал в тюрьму Наталкин муж, недавно посаженный, и сколько им нужно на новое обзаведение, отсчитал сполна все деньги доброму посреднику и взял с него честное слово никому о том не сказывать.

У него осталось еще сто восемьдесят рублей. Завернув их в бумагу, он послал их также своему старому другу чрез священника и, взяв от него благословение, скрылся из Полтавы так, что уже с тех пор об нем не было никакого слуху.

Наталка не долго пользовалась полученным благодеянием: она исчахла с горя и только перед смертию имела еще несколько сладостных минут, узнав, по чьей милости обеспечена судьба троих ее сирот.

НОВОСЕЛЬЕ.



О. СЕНКОВСКИЙ

АНТАР

Восточная повесть

Прекрасна Шамская пустыня; прекрасны в Шамской пустыне развалины волшебного Тедмора*. Кто жил в этих огромных чертогах?.. Кому воздвигнуты эти храмы?.. Кем построены эти длинные улицы столбов?.. То знают книжники Дамаска и Иерусалима; Антару то не известно. Антар, краса степей, меч победы, роса дружбы, тенистый кипарис гостеприимства. Он знает, где отыскать тех, кои осмелились нанести обиду ему или его поколению; он покажет вам все, далеко разбросанные и почти истертые ветром могилы врагов своих; он защитит вас в пустыне от жадности и вероломства ста арабских всадников и разделит с нами последнюю горсть жареного проса; но он не знает того, что написано в книгах. Старцы соседственных улусов сказывали ему, что это остатки города, построенного в старину зловредными духами, и советовали не приближаться к этому месту; но Антар не страшится ни людей, ни духов и гордо смотрит на великолепные развалины Тедмора.

Он стоит и смотрит. Копье его, кровавое — как мщение, быстрое — как удар грома, стоит возле него, водруженное в бесплодную почву. Балька, благородная его кобыла, царица кобыл Неджда, стоит у копья и, устремив на него глаза свои, черные, огненные, проницательные, хочет, кажется, узнать, что происходит в пылкой его душе. Она печальна потому, что он печален. Балька отгадала, что люди огорчили

* *Тедмор*, Пальмира, знаменитая столица Зиновии.

ее господина, и сильно бьет ногою, негодуя на их неблагодарность. Антар постигнул мысль Бальки, обнял ее за шею и поцеловал в чело, украшенное белою звездочкою, блестящею издали, подобно луне в первую ночь месяца.

Антар оставил людей навсегда. Он проливал за них свою кровь, жертвовал имуществом, расточал для них свою любовь и дружбу: они ему изменили!.. Доколе ветер в пустыне будет переносить песчаные холмы с одного места на другое, доколе облака будут бросать серую тень на землю, доколе мечи будут утолять свою жажду красным напитком, текущим в жилах сынов Адама, до тех пор он не увидится с людьми. На сто выстрелов из лука нога его не подойдет к жилищу человека; на всю длину копья его никто из смертных да не дерзнет подойти к нему. Антар произнес клятву: он никогда вотще не давал обета.

Он стоит. Голод рвет его внутренность; но он умеет преодолевать голод. Зажженный палящим солнцем воздух, среди совершенного безветрия, дрожит, трясется; мелькает тонким пламенем, подобным тому, какой вьется по раскаленному железу, и знойные блестки, в виде частых огненных иголок, быстро пляшут в воздухе пред его глазами; но все ужасы пустынного зноя не заставят его тронуться с места. Земля горит под его стопами: он терпеливо переносит и это и стоит неподвижно, дожидаясь, пока пробежит пустынею страус или серна, чтобы мигом вскочить на коня, догнать добычу и сразить ее копьем.

Вот что-то шевелится между кочками песку, наваленного последним ветром у подножия ближней скалы. Это, наверное, газель. Антар уже на коне и держит копье над своею головою. Он не ошибся, это газель, малая, легкая, прелестная. Балька тоже увидела ее и понеслась стрелою в ту сторону: она не требует, чтоб узда указывала ей направление; ею правит мысль всадника, и она мчится быстрее мысли.

Антар уже настигал газелю, быв от нее не далее как на один выстрел. Вдруг раздался над его головою ужасный шум, и воздух помрачился черною тенью. Он приподнял голову и увидел огромную хищную птицу, которая, подобно весенней туче, закрывала собою бóльшую часть небесного свода. Глаза ее сверкали как молнии; распростертые когти, по своей величине и силе, могли б обхватить и унести утес, образующий грозную вершину Эль-Аксы. Антар приметил, что страшная, исполинская птица тоже преследует газелю, которая, при виде новой опасности, понеслась еще быстрее. Но Антар всегда был защитником слабых: он немедленно забыл, что сам гонит-

ся за газелию с намерением лишить ее жизни, и думал только о спасении ее от ярости воздушного врага. Птица, Антар и газель долго и быстро стремились в одну и ту же сторону, более и более сближаясь друг с другом; и когда взаимное их расстояние уменьшилось почти до двадцати шагов, храбрый всадник повертел копьем над головою и метнул им вверх. Оно полетело, свистя как влажный ветер между столбами Тедмора, и вонзилось в грудь крылатому великану. Птица испустила ужасный стон с ревом, заставившим вздрогнуть самого Антара. Она поколебалась: казалось, что она упадет и своим падением раздавит дерзкого сына пустыни, но боль принудила ее быстро подняться на воздух, тогда как уже конец одного крыла коснулся было земли. От удара ее перьев по сухой, раскаленной почве густый туман пыли наполнил все пространство и песок засыпал глаза Антару. Он тотчас слез с коня и несколько минут простоял на месте во мраке; но когда пыль начала оседать, он с удивлением увидел у своих ног ту самую газелю, которая незадолго уходила от его копья и когтей хищной птицы. Она умильно поглядывала на своего спасителя: прекрасные глаза ее выражали нежную благодарность. Антар хотел поласкать ее рукою, но едва он пошевелился, она порхнула и исчезла в пыльной степи.

Пораженный таким необыкновенным случаем, Антар возвратился к развалинам Тедмора, вошел в один из опустелых чертогов и бросился отдыхать на земле. Меч его стоял у стены; верная Балька щипала скудную траву, растущую у входа; он на этот раз оставался без пищи, но голова его так была занята мыслями о странной, сраженной им птице и милой, благодарной газели, что о своем голоде он почти и не думал.

Антар уснул в разрушенном чертоге. Когда он проснулся, новое, чудесное явление поразило его взоры. Он увидел себя лежащим на пышной софе из голубого атласа с золотыми кистями и серебряною бахромою, в огромной комнате, убранной шелковыми занавесами и богатыми коврами, расписанной лазурию и золотом и украшенной великолепным водометом, вокруг которого стояли невольники и евнухи в блестящих нарядах, держа золотые тазы и рукомойники, осыпанные яхонтами и изумрудами, китайские сосуды с розовою водою, драгоценные опахала и подносы с редкими плодами. Пятьдесят девиц, завешенных белыми покрывалами, стояли по обеим сторонам залы с гитарами и бубенчиками. Воздух был напитан свежестью и роскошным запахом алоя.

Как скоро бедуин раскрыл глаза, двое невольников, по-

дошед к его ложу, стали почтительно на колени и поднесли воду, пахучее мыло и шитое золотом полотенце: два другие окропили его духами.

— Ради вашей жизни!— вскричал изумленный Антар, срываясь с постели.— Что это значит?.. Кто вы такие?.. Где я?.. Чего вы от меня хотите?..

Все невольники и евнухи ударили челом и сказали:

— Я сиди! о, честный господин! вы в гостях у благороднейшей, стыдливейшей, целомудреннейшей, великой царицы Тедмора,— да продлится ее царствие до дня преставления света! Нам приказано прислуживать и воздавать вам такую же честь, как ей самой.

— Да проклянет вас ваш отец!— гневно воскликнул Антар.— Вы шутите надо мною?.. Я не знаю вашей царицы и никогда не слыхал, чтобы в развалинах Тедмора царствовал кто-либо. Я сын пустыни и к царям не хожу в гости. Мне здесь тошно. Отдайте мне мою лошадь: она драгоценнее всего вашего царства; другой такой нет во всей степи.

— Честной господин,— сказали слуги, кланяясь ему в землю,— ваша лошадь ест теперь сено из роз и тюльпанов и пьет воду из снега гор Ливанских. Мы рабы ваши, но вы не можете уехать отсюда без дозволения нашей государыни, ибо находитесь в стране заколдованной, без входа и без выхода.

— Кто же такая ваша царица и где она?— спросил Антар, еще более изумленный этим известием.

— Имя ее Гюль-назар,— отвечали слуги.— Она пери, из рода добрых гениев.

— Ведите меня к ней,— сказал он.—Я хочу с нею объясниться и посмотреть ей в лице.

— Это невозможно,— возразили слуги.— Красота лица ее столь блистательна, что могла б ослепить вас и навсегда лишить зрения. Вы будете к ней допущены, но не иначе, как с должными предосторожностями и наперед побывав в бане.

Несмотря на всю свою пылкость, на необузданную дерзость степного витязя, Антар повиновался их требованию. Он чувствовал над собою действие какой-то невидимой силы, которая лишала его воли и наполняла сердце смирением.

Евнухи повели его в баню, построенную из белого мрамора, с яшмовыми колоннами и золотым куполом, где двенадцать молодых и прекрасных невольниц были назначены для его прислуги. Оттуда перешел он в богатую комнату, ярко освещенную огнем алмазов, покрывавших стены и потолок. Пышный красный занавес разделял ее на две половины: все входившие в нее били челом, и никто не смел оборачиваться

задом. Антару сказали, что и он должен с благоговением поклониться занавесу, потому что позади его сидит стыдливая царица Тедмора. Он беспрекословно исполнил обряд и был посажен на софе, примыкающей к занавесу.

Тихое, заунывное пение, смешанное со звуками воздушной музыки, приятно потрясало слух бедуина, который с беспокойством оглядывался во все стороны, стараясь угадать, откуда оно происходит. Вдруг отворились двери, и вошел длинный ряд служителей, несущих на голове золотые подносы, уставленные множеством блюд и сосудов с яствами, сластями и шербетами. Вкусный их запах сильно раздражил обоняние голодного Антара: с жадностию гиены, похищающей труп из среды сражающихся воинов, бросился он на поднесенные блюда и стал очищать их горстями. Слуги, улыбаясь, беспрестанно подавали ему новые кушанья и вина.

В половине обеда послышался из-за красного занавеса приветливый женский голос:

— Мир с вами, Антар, сын Рабиев! Мы ожидали вас с нетерпением.

— И с вами мир, великая царица, да умножится роса ваша!— отвечал аравитянин.

Голос умолк, и Антар в безмолвии продолжал есть и пить по-прежнему. Спустя несколько минут, повторилось из-за красного занавеса то же самое приветствие, на которое бедуин ответствовал новым выражением степной учтивости, пожелав царице, чтобы влажность ее пролилась на всю пустыню, и чтоб ее благополучие всегда оставалось холодным*.

Опять наступило молчание и опять, после некоторого времени, тот же голос произнес прежнее приветствие. Антар сказал: «Да расстелется ваша тень, царица, обширнее тени гор Тудыха! Я ваш богомолец; пью в честь и на пользу вашей милости».

— Да будет на здоровье!— примолвил голос.— Антар, сын Рабиев, вы наш гость и, надеюсь, проведете у нас несколько дней. Я вам обязана спасением свободы и жизни. Верно, вы и сами не знаете, какую оказали мне услугу.

— Я оказал вам услугу?..— воскликнул Антар в изумлении.— Как же это случилось?.. Я никогда не видал вас в глаза. Да разроют враги могилу моего родителя, ежели я

* В языке бедуинов, обитающих в знойных и безводных пустынях Аравии, слова, означающие росу, дождь, влажность, заключают в себе также понятие благодеяния; холодный значит у них тоже и превосходный; низменный, мокрый, увлажненный употребляются в смысле слов: счастливый, обильный, роскошный, потому что в низменных местах растет трава, столь необходимая в их кочевом быту.

понимаю, что вы мне говорите и что здесь со мною делается! Ради света ваших глаз, ради имени вашей матери объясните мне, как я сюда попался, кто вы такие и за что меня так честите? У меня ум из головы вон от всего, что тут вижу и слышу.

— Успокойтесь, сын Рабиев, и присядьте у нас на ковре безопасности,— отвечал голос.— Я удовлетворю вашему любопытству. Вы находитесь в Тедморе, развалины коего поутру удивляли вас своею красотою и огромностию. Ведайте, храбрый богатырь пустыни, что этот город построен джиннами, зловредными и безобразными духами, коими Соломон — да будет с ним мир!— повелевал посредством волшебного перстня, подаренного ему ангелом Джебраилом. Соломон населил его народом благочестивым, смирным, безвредным, поручив ему угощать всех путников, странствующих в этой пустыне, и снабжать их живностью и водою. Жители Тедмора долгое время свято исполняли завет царя-пророка и жили в покое и изобилии. Наконец, свойственная роду человеческому гордость изгладила из их памяти обязанности, предписанные основателем их быта и благополучия. Они предались разврату, стали пить вино, есть свинину, с нерадением совершали обряды веры и прогоняли от себя несчастных странников и путешествующих к святым местам богомольцев. Слава их злобы разнеслась по миру, и все убегали Тедмора. Случилось, однако ж, что некоторый Тарик-ас-салат, «атеист», явно презиравший долг пяти ежедневных молитв, заехал в их город на пути к индийским волхвам и был принят ими с отличною честию. Они дали ему великолепный пир, но как скоро богоотступник сей дотронулся устами их яств и напитков, вся вода в городе и околотке превратилась в горькую морскую воду, вино приняло вид и вкус крови, хлеб и прочие жизненные припасы мгновенно окаменели. Угнетенные гневом аллаховым, жители Тедмора начали умирать с голоду, грызли землю, пожирали своих детей и жен и, наконец, принуждены были покинуть жилища, чертоги и храмы и разбрестись по разным краям, где неверные поработили их и обходились с ними с крайнею жестокостью. Опустелый город скоро превратился в развалины. Тогда, Лале-рех, одна из первостепенных и прекраснейших пери, испросила у Асафа, наследника Соломонова, позволение поселиться в них и основать для себя новое царство, потому что джинны, то есть зловредные духи, беспрестанными набегами тревожили ее родину. Подвластные ей кроткие духи, переведенные ею из Перистана, страны волшебной, обитаемой моим родом, воздвигли для своей повелительницы эти величественные здания, развели эти сады и ро-

щи и всею роскошью искусства и природы оживили пустынное и унылое место, в котором смертные не примечают ничего, кроме прежнего разрушения, разбросанных камней, торчащих столпов и груд горячего песку; и тот только из вас, о сын Рабиев, может наслаждаться этим, невидимым для людских глаз, зрелищем, кому таинственная владетельница Тедмора сама захочет оказать благоволение допущением его в пределы сокровенного быта своих духов. Лале-рех жила здесь несколько столетий в счастии и покое. Известный Шанфари, поэт и герой пустыни, пленил ее сердце своими подвигами, дарованиями и красотою; любовь соединила их в этом месте, и Лале-рех сделалась матерью прекрасной Эльмасы. Когда дочь достигла совершеннолетия, Лале-рех удалилась в Перистан, оставив ее полною владетельницею Тедмора. Эльмас повелевала здесь до времен халифа Омара. Она полюбила знаменитого Лебида, прославившегося своими несчастиями, мужеством и стихами; Лебида, песни которого гремят до сих пор в пустыне, лишенного престола коварным братом и орошавшего царскою кровию своею, в течение долговременного скитания, сыпучие пески аравийских кочевьев, для защиты угнетенных и бесприютных, страждущих подобно ему от несправедливости своих ближних. Изнуренный сражениями, голодом и жаждою, преследуемый завистниками и неблагодарными, он нередко находил здесь убежище, и здесь получил он те высокие вдохновения, коим люди никогда не перестанут удивляться, читая бессмертные его касыды. Лебид был мой отец. После его смерти, он погиб от измены греческого кесаря,— мать моя решилась оставить эти места и, подобно своей родительнице, удалилась в отечество пери. С того времени я управляю обитающими в этих развалинах и в окрестностях кроткими духами, число коих простирается за многие тысячи тысяч. Владения мои занимают ограниченную поверхность древнего Тедморского царства, но они прелестны, отлично возделаны, усеяны красивыми зданиями и садами, хотя людям кажутся нагою пустынею. Основанное моею прародительницею государство долгое время было неизвестно злобным джиннам, врагам нашего рода, и тихие пери наслаждались в этой стране истинным благоденствием. Но с некоторого времени один из безобразнейших джиннов, коварством и лютостью превосходящий всех своих соплеменников, открыл мирное наше обиталище и стал беспокоить его своими нападениями. Он называется Джан-гир и величиною похож на огромную гору. Много уже претерпели мы от этого свирепого духа, хотя, по завету Соломона (да будет с ним мир!), джинны не смеют проникнуть

внутрь черты города, построенного в древности их руками; но никогда не находилась я в такой опасности от его злобы, как сегодня. Я гуляла в ближних горах и неосторожно перешла за неприступный для его племени рубеж, как вдруг увидела вдали голову этого чудовища, вылезающую из-за края горизонта. Чтоб обмануть его внимание и скорее добраться домой, я прикинулась газелью и бросилась бежать к Тедмору; но он успел завидеть меня, привалил как бурный вихрь и заступил мне дорогу. Я принуждена была уходить в противную сторону. Тогда и вы меня увидели и погнались за мною верхом, с копьем в руке, как за обыкновенною серною. Коварный Джан-гир, приметив это, тотчас принял на себя вид страшной птицы унки, похищающей слонов и верблюдов, и тоже полетел за мною. Спасаясь от двух врагов, я уже выбивалась из сил и считала себя погибшею, когда вы великодушно, вместо меня, сразили моего злодея. Копье ваше вонзилось ему между горлом и костью: он хотел припасть к земле, чтоб вырвать его из тела, но в быстром падении, невзначай, попал древком в утес, и целое копье погрузилось в его груди, пробив ее до самого легкого. Ужасная боль исторгнула у него стон, оглушивший нас обоих. Он улетел и, за Ливанскими горами, упал в Соленое море, на дне коего будет он лежать и мучиться тысячу лет, доколе древко не истлеет само собою и ржа не взгрызет железа. Вот каким образом, Антар, сын Рабиев, спасли вы мне жизнь и свободу. Я вам благодарна и — клянусь аллахом и всеми его пророками!— сделаю для вас все, о чем меня ни попросите.

— Царица!..— воскликнул Антар, держа в зубах палец, от удивления, возбужденного в нем рассказом пери,— великая, благородная царица!.. да истребит аллах всех врагов ваших!.. мог ли я думать, что газель, за которою погнался, была существо свыше не только серн, но и самых людей? Я никогда не воображал себе, чтобы на свете водились такие чудеса. Радуюсь душевно, что имел случай оказать вам подобную услугу, но просить вас мне не о чем. Я несчастлив. Я произнес обет блуждать уединенно в пустынях и убегать сообщества людей, доколе стрела рока не повергнет меня где-нибудь на горячий песок и гиены не разнесут моих членов по всем горам Аравии. Между мною и людьми кровь и смерть железная.

— Намерение ваше не обдумано и не достойно вашей храбрости,— сказала пери.— Воротитесь к вашим ближним, которых должны вы быть предводителем и защитою. Вам суждено наполнить свет славою вашего имени. Предопределению противиться невозможно.

— Ежели так написано на скрижалях судеб,— примолвил Антар,— то я слушаюсь и повинуюсь. Я ворочусь к людям, но, ради вашей головы, скажите мне, царица, что мне у них делать? Они слишком несправедливы и неблагодарны. Во время моего малолетства мои родственники и опекуны лишили меня всего имущества, вверенного их чести покойным отцом. С тех пор как я начал владеть копьем и луком, я сражался как лев за их обиды, а они всегда платили мне за то изменою. Мое гостеприимство и великодушие не только не обезоружили их злобы, но еще навлекли на меня их клевету и зависть. Кроме огорчений, тяжких, жестоких огорчений,— я ничего другого не испытал в их обществе. Внутренность моя запылилась горем; в моей груди торчит нож ненависти. Что же мне у них делать?

— Но жизнь человеческая,— отозвался голос за красным занавесом,— имеет также свои наслаждения, и вы, при некотором с моей стороны пособии, можете вкусить их, если только захотите.

— Жизнь наша имеет свои наслаждения!..— вскричал Антар с громким смехом.— Наша жизнь имеет наслаждения!.. Да простит вам аллах грехи ваши, царица; но вы шутите надо мною. В нашей жизни одно лишь забвение страданий несколько уподобляется приятности, но его надобно беспрерывно поддерживать отсутствием мысли или пустыми мечтами. Ради утробы вашей матери, я хочу дознаться истины ваших слов. Окажите мне свое покровительство: пусть я вкушу хоть одну из этих сладостей, кои, по вашим словам, составляют приданое нашей жизни. Увидим, из какой они долины родом и по каким горам пасли свои стада.

— На мой глаз и мою голову,— отвечала царица кротких духов.— Итак, ведай, о сын Рабиев, что, по непреложной воле предопределения, существованию человека, состоящего в общественной связи с его родом, присвоены три великие сладости: сладость мщения, сладость властвования над подобными ему тва...

— Сладость мщения!..— воскликнул Антар с неистовым восторгом, прерывая речь пери.— Да!.. правда ваша: я чувствую, что мщение должно быть величайшею сладостью. С меня довольно этого. Если чем-либо одолжил я вас, царица, позвольте мне упоить душу этою сладостию. Более ничего от вас не желаю.

— Охотно!— отвечала Гюль-назар с притворным равнодушием, в коем отражалась досада.— Возьми свою кобылу и поезжай в степь. Там упоишь душу этою сладостью. Когда опять захочешь быть нашим гостем, то приезжай в развалины

Тедмора и старайся уснуть в том месте, где теперь очутишься.

При сих словах исчезли в глазах юноши волшебные чертоги, и он увидел себя сидящим на длинном, тесаном камне, который могучим перстом времени столкнут с вершины столбов полуразрушенного храма. При нем стояла верная Балька и новое копье, дар таинственной хозяйки и залог будущих его подвигов. Щит и сабля лежали в том же месте, где он оставил их поутру. Пылкий юноша схватил оружие, сел на коня и помчался в пустынь. Только свист сверкающих кремней и длинный столб пыли, похожий на дым, валящий из костра, составленного из сырого терновника, долго еще показывали его направление.

Жаркие и холодные ветры неоднократно пронеслись над Шамскою пустынею; вешние созвездия неоднократно пролили на нее пучины вод из ночных и дневных облаков, а пески Тедмора не исчертились ни однажды следом конских копыт. Никто из всадников не огласил песнею звучных его развалин... Вот едет юноша на прекрасном гнедом коне. У него щит за плечами; на бедре тяжелая прямая сабля; лук его привязан сзади. Но вид юноши печален, и сердце движется в нем чаще, чем тонкая оконечность гибкого и упругого копья его, сделанного из огромной трости. Он поворачивает к Тедмору и вскоре исчезает из виду между его колоннами.

Красный занавес висит в алмазном чертоге; у красного занавеса сидит печальный юноша; за занавесом слышен милый, серебрянный голос:

— Мир с вами, Антар, сын Рабиев! Мы вас ожидали с нетерпением.

— И с вами мир, о царица!— говорит уныло сын пустыни.— Да благословит аллах ваши взоры! да зацветут розы ваши на всех холмах сыпучего песка!

— Вы наш гость,— сказал голос.

— Я ваш раб,— сказал бедуин и, после некоторого молчания, примолвил:— Я напоил душу сладостью мщения,— да наделит вас, царица, аллах здоровьем и благополучием!.. Точно, это большая, неизъяснимая сладость. Благодаря вашему покрову я отмстил всем врагам моим. Тела их валяются в пустыне без погребения, и стада вранов и волков следуют за мною повсюду, как за своим вождем. Мое имя наносит ужас и возбуждает удивление по всем улусам: люди называют меня великим человеком, ибо никто не истребил их столько, сколько я. Я купался в крови и дышал вредом. При всяком поражении ненавистного мне человека гром радости раздавался в моей груди, и его отголоски, как рев тигра в горах Акабы, долго еще

потом повторялись в пропастях каменной души моей. В судорожных корчах губ врага, приколоченного копьем к земле, я видел улыбку моей обиды: она прелестна!.. хоть несколько ужасна. Я садился среди убитых мною клеветников, лежащих на дымящемся кровию песке, и беседовал с ними, как с дорогими сердцу. О, никогда беседа с любезнейшими и друзьями, с нежною материю, с обожаемою любовницею не может быть слаще, веселее, восхитительнее той, какую находишь с трупами своих злодеев!.. Мщение большая сладость: я испытал ее в полной мере и нахожу, что судьба не могла придумать ничего лучше для услаждения томного бытия нашего на земле. Поистине, стоит родиться, чтобы хоть несколько поотмстить роду человеческому. Но эта едныственная, почти небесная сладость, по несчастию, слишком кратковременна. Упоение ее проходит как утренний туман, и она оставляет после себя неприятное ощущение. Что мне сказать вам, царица?.. Когда смел я с лица земли все противныя глазам моим твари, когда у меня не стало ни поводов к мщению, ни предметов ненависти, я почувствовал в сердце жестокую скуку и среди светлой, яркой, многолюдной пустыни увидел себя окруженным другою пустынею, необитаемою, мертвою, холодною, бледною, мрачною, где солнце — рок, ветер — страх, а роса — слезы. Я беспрестанно ощущаю на языке соленый вкус человеческой крови; кругом себя я обоняю запах смерти. Посмотрите на мои руки: на них кожа засохла, будто от палящего прикосновения завистника. Кости во мне кажутся не мои, а чужие, безжизненные, окаменелые: они холодны и тяжелы, как кости изменника, занесенные гиеною в пещеру. Кровь горька, окисла, подобно воде покрытого зеленою плесенью солончака: она мне жжет жилы и в горле отзывается отчаянием. Сырость убийства завелась в моей груди, и я чувствую, как ржа красными зубами грызет мое сердце и съедает его мало-помалу. Мне хочется мстить... я буду мстить самому себе, если вы не сжалитесь надо мною. Я пришел просить вас, царица, чтоб вы меня исцелили. Мщение большая сладость, но последствия ее разрушительны.

— Это обыкновенные последствия всех наслаждений вашей жизни,— сказала пери.— Ведай, о сын Рабиев, что яд, оставляемый в душе одною сладостью, не иначе истребляется, как приемом другой сладости. Их только три в природе: все прочие искусственны и требуют особенного напряжения умственных способностей, чтоб быть постигнутыми. Первая из сих естественных сладостей, как я уже тебе говорила, есть сладость мщения: ты вкусил ее; вторая, сладость властвования над подобными себе существами; третия...

— Я хочу испытать эту вторую сладость,— прервал пылкий бедуин.— Я уверен, что она исцелит меня...

— Итак, ты испытаешь ее,— примолвила таинственная повелительница Тедмора.— Поручаем вас аллаху!

— Да упрочит он ваше владычество!— воскликнул витязь.

Занавес исчез. Антар опять уехал в пустыню.

Спустя несколько лет всадник на гнедом коне еще раз появился в окрестностях Тедмора. Он долго кружил около развалин, как будто не решаясь вступить в черту разрушения. Вид его казался еще грустнее прежнего. Он остановился; думал долго... наконец прыгнул с места и быстро скрылся между высокими грудами земли и камней. С тех пор никто уже не видал его в пустыне: только в алмазном чертоге раздались голоса: «К царице опять приехал гость!.. он уже не уедет отсюда».

Гость сидит у красного занавеса, погруженный в мрачную думу; царица радушно приветствует гостя:

— Мир с вами, Антар, сын Рабиев! Мы ждали вас с нетерпением.

— И с вами мир, царица!— отвечает всадник.— Я приехал к вам поклониться и поблагодарить за вашу милость. Я испытал сладость властвования над своими ближними: она велика, удивительна и едва ли не приятнее самой сладости мщения. Оставив чертог ваш, я признан был главою и повелителем бесчисленных поколений, которые соединились у моего копья и составили народ сильный, храбрый и богатый. Я предводительствовал им на поле брани и самовластно управлял им из моей ставки во время мира. Начальники и богатыри его толпились у ее веревок, с благоговением ожидая моих приказаний. Нет ничего восхитительнее, как видеть тысячи тысяч подобных вам тварей, движущиеся по вашему слову, волю свою почерпающие из общего источника вашей воли и, для исполнения ваших мыслей, охотно жертвующие своими мыслями, имуществом и жизнию. Властелин поистине чувствует себя духом и телом выше человека: понятия его возвеличиваются, страсти облагороживаются и теряют всю свою вредную силу, от легкости удовлетворить им, и его желания уподобляются желаниям самой добродетели. Обладание всем поселяет в его душе спокойствие и клонит ее к великодушию, к щедрости, к распространению собственного ее счастия на все окружающее ее, словом, ко всеобщему благу. Но тут и рубеж сладости: за ним начинается горечь, страшная, убийственная, отравляющая своим ядом дражайшие минуты его жизни. Едва примется он за дело блага, как тотчас

примечаешь, что те же самые, коих так пламенно желал он составить истинное благополучие, не умеют и не хотят возвыситься до его образа мыслей, ни понять его сердца, и с высоты своего престола открывает у ног своих отверзтый ад пронырства, где днем и ночью пылают низкие страсти, поглощающие все его благодеяния; где лучшие его намерения мгновенно пережигаются в гнусный уголь личной корысти сильнейшего или проворнейшего. После долгого и утомительного борения с усилиями людей всячески воспрепятствовать упрочению благоденствия их рода он чувствует усталость, исполняется негодования, начинает презирать людей и с того времени становится несчастным. Это именно случилось и со мною. Я скоро убедился, что те, коих допускал я к себе, старались только делать меня орудием их жадности или средством к погибели их врагов, и мучения недоверчивости растерзали мою душу. Беспрестанное злоупотребление моей снисходительности поставило меня в необходимость быть строгим и неприступным. Я знал, как меня обманывали, как вокруг меня расставляли сети и заводили пружины, чтобы поймать мою улыбку, которою потом бесстыдно торговали в народе: это поселило во мне отвращение, лишило меня даже удовольствия смеяться, и я, среди шумного сборища, среди моего могущества, увидел себя одиноким, бессильным, обремененным тяжестью бесполезной власти, преследуемым бледными привидениями подозрений, опасностей, измены. Сначала воля моя еще находила некоторую приятность в испытании повиновения моих приверженцев; но впоследствии их раболепство отняло у нее и это утешительное занятие: она уже носилась и господствовала лишь в пустом воздухе, не хватая голов их, потому что они ползали слишком низко. Тогда скука и пресыщение ввергли меня в пропасть своенравия, развлечения коего, насильственные и изысканные, измучили мой ум и мои чувства; и мое сердце, засохшее, обожженное снаружи и пустое внутри, подобно зрелому яблоку колокинта, растущего у подножия скалы, лопнуло с треском и распрыскало в душе моей черные, язвительные семена отчаяния. Несколько раз хотел я бросить и княжеские шатры, и своих подвластных и бежать в горы; но какая-то невидимая сила, вопреки моему убеждению, приковывала меня к моему сану. В этой сладости властвования, я вижу, таится тонкий, летучий огонь, который беспрестанно жжет вам сердце, содержит чувства в опьянении и возбуждает в горле неутолимую жажду, невольно увлекающую уста ваши к горькой чаше повелительства. Наконец я восторжествовал над самим собою, покинул все и прилетел к вам, великая цари-

ца, просить, чтоб вы исцелили мою душу. Я стражду неимоверным образом: сладость властвования произвела во мне смертельную тошноту, которая душит, давит, убивает меня; но мне все еще хочется властвовать, управлять, приказывать, располагать судьбою моих ближних: я не могу жить без власти, и, оставив ее, мне кажется, что я безрассудно отрекся от воздуха, воды и солнца.

— Ты страждешь естественным следствием этой сладости,— сказала пери.— В доказательство моей к тебе благодарности я душевно желала б исцелить твою душу; но ты знаешь, о сын Рабиев, что яд, выжатый в сердце из одной сладости, уничтожается только вкушением другой. Ты уже испытал их две: решаешься ли испытать третью? Но предваряю тебя, что и эта третья сладость,— сладость великая, сильная, даже очаровательнее всех прочих,— также оставляет после себя ужасную, нестерпимую горечь, и,— что важнее,— этой горечи, когда она однажды отравит душу, уже ничем усладить невозможно.

— Я на все решаюсь,— воскликнул Антар с жаром.— Напрасно пожелал я вкусить первую сладость: лучше бы мне всю жизнь оставаться несчастным, как был в молодости, не зная ни одной из сладостей, определенных нам судьбою; но когда я отравил себя одною из них, то уже хочу испытать их до последней. Пусть мой труп, напитанный ядом всех сладостей нашей жизни, валяясь в пустыне без погребения, служит отравою для волков и ястребов; пусть отведают они горького тела человека, вскормленного хлебом страстей, называемых у нас нежными, возвышенными и благородными, и перескажут товарищам своим в горах Емамы, каков вкус людского счастия. Как называется эта третия сладость?..

— Любовь,— отвечала пери.

— Любовь?..— вскричал бедуин.— Неужто любовь сладость?.. Я всегда почитал ее мучением... Ах, царица, я уже испытал любовь!.. Тому лет десять, на берегу потока, вблизи коего чернелись юрты враждебного мне поколения, встретил я девицу райской красоты, в длинном синем покрывале, свободно накинутом на голову, из-за которого, при всяком дуновении ветра, мелькало лице свежее и прелестнее полной луны, появляющейся ночью из-за тучи и немедленно скрывающейся за другою. Она черпала воду, и когда стояла, то стан ее, ровностью своею, пристыжал трости, росшие в русле потока; когда сгибалась или двигалась, то ее тело казалось гибче черной змеи, прыгающей по раскаленному полуденным зноем песку. В больших, круглых глазах ее мерцал тот же ясный, вол-

шебный луч неги, какой сверкает из взоров лани, поворачивающей гладкую, лоснящуюся свою шею, чтобы глядеть на белого птенца, повисшего у сосцев ее. Ослепленный блеском ее лица, я стоял неподвижно, как столб, указывающий путь в пустыне; наконец решился подойти к ней и вступить в разговор. Она ласково отвечала на мои вопросы, выслушала с приятною улыбкою мою клятву любить ее до самой смерти и назначила мне свидание на следующий день в том же месте; потом подняла на голову свой сосуд с водою и удалилась в улус. На другое утро я пришел, но она не являлась: ее уже не было в той стране, и юрты того поколения исчезли ночью с берегов потока. Тщетно искал я ее в целой пустыне: никто не мог сказать мне, куда она девалась. Но образ ее с того времени не расставался более со мною: я носил его в душе, лелеял в сердце и усыплял в своей крови. Сколько раз ни находился я в опасности, всегда призрак ее представлялся явно моим взорам и, казалось, защищал меня от ярости превозмогающего неприятеля. И мстя людям копьем, и попирая их властию, не переставал я искать ее, думать об ней и плакать. С нею только мог бы я ощущать сладость любви, ежели в любви есть какая-нибудь сладость; но, без сомнения, не увижу ее более. Это, я думаю, было только привидение, колдовство старой Шарман, известной во всем Хеджазе ведьмы, сына коей убил я в единоборстве на копьях...

В пылу рассказа о прекрасной незнакомке Антар не приметил, что красный занавес раскинулся и что все, бывшие в комнате, поверглись на землю пред лицем показавшейся царицы. Но когда печальные воспоминания пресекли его голос, он нечаянно приподнял голову, и взор его столкнулся с блеском новооткрывшегося зрелища, которое потрясло его душу соединенным ударом удивления и восторга. На пышном престоле, сияющем золотом и алмазами, сидела та же бедуинка в синем покрывале, о которой он рассказывал.

— Да проклянет меня отец!— вскричал он быстро, срываясь с софы.— Аллах, аллах!.. это чародейство!..

— Успокойтесь, сын Рабиев,— сказала она умильным голосом.— Узнайте в нелицезримой царице Тедмора ту простую дочь пустыни, которая назначила вам свидание на берегу потока, которая охраняла вас в опасностях и невидимо исполняла ваши мысли. Я та газель, которая после поражения вами злобного джинна хотела изъявить вам свою признательность, ласкаясь у ног ваших. Будьте не гостем, а хозяином в нашем доме. Здесь давно ожидала вас сладость любви, которую пожелали

вы узнать так поздно, уже после всех других сладостей.

Она встала, подошла к нему и, взяв его за руку, посадила возле себя на престоле. Он все еще не верил своему счастию, когда занавес снова сомкнулся и отделил их от свидетелей.

Прошло несколько лет. Антар и Гюль-назар сидели у окна, выходящего в сад, пользуясь свежестию прекрасного вечера. Он держал ее в своих объятиях. Огненные его взоры, вонзясь в розовые щеки и роскошную грудь пери, жадно пили из них вид очаровательных прелестей, подобно тому как светлая радуга пьет воду в луже, образованной дождем на краю нагой пустыни. Дрожащие от страсти уста напечатлевали на них пламенные поцелуи, коих жар проникал до самого сердца счастливой супруги. Вдруг Антар судорожно прижал ее к своей груди. «Друг мой!..— вскричал он.— Теперь я подлинно уверен, что в жизни человеческой нет ни одной сладости, которая могла бы сравниться с сладостью любви, разделяемой обожаемым предметом. Она все наше существование наполняет неизъяснимою кротостью, истинно весенним веселием, не оставляя в теле ни малейшего уголка для злобы, ни для печали. Кровь в жилах становится сладка, как сок сахарной трости, и мечта принимает виды красивее, пленительнее, разнообразнее белого тумана, являющего в степи в жаркое утро обманчивую картину озер, деревьев, замков и городов с куполами и минаретами. Душа, пылающая любовию, находится в своем цвете и дышит багровым, благовонным счастием розы, распускающейся под лучами восходящего солнца. Но я знаю, чем оканчиваются наши сладости, и ты сама предварила меня о неминуемых следствиях той, которую так сильно теперь ощущаю. Я боюсь яда, остающего на дне сердца после ее испарения; боюсь новых душевных страданий хуже, чем голодной смерти, и умоляю тебя потушить мою жизнь последнею каплею этой сладости, коль скоро приметишь во мне, что уже горечь начинает в ней пробиваться. Поклянись мне, что исполнишь мое желание».

... Пери бросилась к нему на шею, страстно слепила уста свои с его устами и, после долгого... долгого и выразительного молчания, отрывая их с болью, дрожащим голосом, подавляемым слезами, произнесла: «Клянусь!..»

Еще минули годы. Антар лежит на мягкой и благовонной постели возле прелестной пери и держит ее руку в своих руках; но он, кажется, скучает. Уста его молчат; глаза, руки молчат тоже; мысль его блуждает в пустыне. Верная пери смотрит на него с состраданием, прискорбием, любовию; теплые лучи ее взоров уже не разогревают души Антара. Она роняет две

крупные слезы и страстно оплетает его своими руками. Он, как будто пробужденный от сна внезапным ударом крови, бросается в ее объятия и краснеет при мысли о своей холодности. Огонь ее сильною искрою перелетел в его сердце. Любовь взволновала в нем всю жизнь и зажгла ее радужным пламенем роскоши; потом погрузила ее в упоение,— сладкий состав чувств сна, обморока и смерти, минутный образец райского благополучия,— и Антар, прикованный к устам пылкой любовницы, нежно уснул на ее груди, уснул навсегда!.. Пери, с последним поцелуем, вдохнула в себя его душу и соединила ее с своею собственною. Она исполнила свой обет. Душа Антара будет вечно жить любовию в душе его подруги, не вкусив горечи, следующей за удовольствиями сей страсти в земном быту человека.

Жизнь его вдруг погасла, но в его теле и после смерти все жилы долго еще дрожали отголоском счастия последней минуты, подобно тому как звук последнего удара в христианской колокол длится бесконечно в глухих горах Ливана. Верная пери не выпускает его из своих объятий. Она страстно жмет к сердцу холодный труп любовника, обливая его горячими слезами: жар ее согревает мраморную его поверхность, и холодный труп еще ощущает сладость любви на своей поверхности.

Члены его посинели, тело уже отпадает от костей, но пери все еще с ним не расстается. Она нежно поддерживает руками бренные останки возлюбленного человека и приклоняет их к белой как молоко груди своей. Она никогда не разлучается с тем, кого так пламенно любила. Счастливый человек!..

Вот уже Антар превратился в белый, сухой, безобразный остов. Она, однако ж, ни на минуту не разнимала рук, коими опоясала его при смерти, и сухие кости любовника, осыпаемые ее поцелуями, неоднократно проникались чувством сладчайшей неги.

Но и кости истлевают. Кости Антара истлели, а сердце доброй любовницы не изменилось. По истечении многих столетий еще могли б вы увидеть кроткую пери, неподвижно лежащую на том же месте, где она в последний раз упоялась счастием любви в его объятиях. Одною рукою подпирала она прелестную свою голову, осененную черными, распущенными волосами; в другой она держала горсть серой пыли, весь остаток великого между людьми Антара. Она умильно смотрела на эту горстку летучего праха: из глаз ее упала на него слеза, и прах любимого смертного, мгновенно обвиваясь кругом сего посланца сердца любезной, еще раз закипел сладостию.

БАРОН БРАМБЕУС

БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ

В недрах земного шара есть огромная зала, имеющая, кажется, 99 верст вышины: в Отечественных Записках сказано, будто она вышиною в 999 верст; но Отечественным Запискам ни в чем,— даже и в рассуждении ада,— верить невозможно.

В этой зале стоит великолепный престол повелителя подземного царства, построенный из человеческих остовов и украшенный, вместо бронзы, сухими летучими мышами. Это должно быть очень красиво. На нем садится Сатана, когда дает аудиенцию своим посланникам, возвращающимся из поднебесных стран, или когда принимает поздравления чертей и знаменитейших проклятых, коими зала, при таких торжественных случаях, бывает наполнена до самого потолка.

Если вам когда-либо случалось читать мудрые сочинения патера Бузенбаума, иезуитского богослова и философа, то вы знаете,— да как этого не знать?— что черти днем почивают, встают же около заката солнца, когда в Риме отпоют вечерню. В то же самое время просыпается и Сатана. Проснувшись, он надевает на себя халат из толстой конвертной бумаги, расписанный в виде пылающего пламени, который получил он в подарок из гардероба Испанской инквизиции: в этих халатах у нас, на земле, люди сожигали людей. Засим выходит он в залу, где уже его ожидает многочисленное собрание доверенных чертей, подземных вельмож, адских льстецов, адских придворных и адских наушников: тут вы найдете пропасть еретиков, заслуженных грешников и прославленных извергов, вместе с теми, которые их прославляли в предисловиях и посвящениях,— словом, все *знаменитости* ада.

Заскрипела чугунная дверь спальни царя тьмы; Сатана

вошел в залу и сел на своем престоле. Все присутствующие ударили челом и громко закричали: *виват!* — но го́лоса их никто б из вас не услышал, потому что они тени, и крик их только тень крика. Чтоб услышать звуки сего рода, надо быть чертом или доносчиком.

Лукулл, скончавшийся от обжорства, исправляет при дворе его должность обер-гофмейстерскую: он заведывает кухнею, заказывает обед и сам подает завтрак. Как скоро утих этот неудобослышимый шум торжественного приветствия, Лукулл выступил вперед, держа в руках колоссальный поднос, на котором удобно можно было бы выстроить кабак с библиотекою для чтения: на нем стояли два большие портерные котла, один с кофеем, а другой со сливками; римская слезная урна, служащая вместо чашки; египетская гранитная гробница, обращенная в ящик для сахару, и старая сороковая бочка, наполненная сухарями и бисквитами, для завтрака грозному обладателю ада.

Сатана вынул из гробницы огромную глыбу квасцов,— ибо он никакого сахару, даже и свекловичного, даже и постного, терпеть не может,— и положил ее в урну; налил из одного котла чистого смоленского дегтю, употребляемого им вместо кофейного отвара, а из другого подбавил купоросного масла, заменяющего в аду сливки, и черную исполинскую лапу свою погрузил в бочку, чтобы достать пару сухарей.

Но в аду и сухари не похожи на наши: у нас они печеные а там печатаные. Попивая свой адский кофе, царь чертей, преутонченный гастроном, страстно любит пожирать наши несчастные книги в стихах и прозе; толстые и тонкие различного формата произведения наших земских словесностей; томы логик, психологий и энциклопедий; собрания Разысканий, коими ничего не отыскано; историй, в коих ничего не сказано; риторик, которые ничему не выучили, и рассуждений, которые ничего не доказали,— особенно всякие большие поэмы, описательные, повествовательные, нравоучительные, философские, эпические, дидактические, классические, романтические, прозаические, и проч., и проч. С некоторого времени, однако ж, он приметил, что этот род пирожного обременял его желудок, и потому приказал подавать к завтраку только новые повести исторические, писанные по последней моде; новые мелодрамы; новые трагедии в шести, семи и девяти картинах; новые романы в стихах и романы в роде Валтер-Скотта; новые стихотворные размышления, сказки, мессенияны и баллады,— как несравненно легче первых, обильно переложенные белыми страницами, набранные очень редко,

растворенные точками и виньетками и почти столь же безвредные для желудка и головы, как и обыкновенная белая бумага. Сухари эти прописал ему придворный его лейб-медик, известный доктор медицины и хирургии, Иппократ, убивший на земле своими рецептами 120 000 человек и за то возведенный людьми в сан отцев врачебной науки,— впрочем, умный проклятый, который доказывает, что в нынешнем веке мятежей и трюфлей весьма полезно иметь несколько свободный желудок.

Сатана вынул из бочки четыре небольшие тома, красиво переплетенные и казавшиеся очень вкусными; обмакнул их в своем кофе, положил в рот, раскусил пополам, пожевал и — вдруг сморщился ужасно.

— Где черт фон-Аусгабе?— вскричал он с сердитым видом.

Мгновенно выскочил из толпы дух огромного роста, плотный, жирный, румяный, в старой трехугольной шляпе, и ударил челом повелителю. Это был его библиотекарь, бес чрезвычайно ученый, прежде бывший немецкий Gelehrter, который знал наизусть полные заглавия всех сочинений, мог высказать наперечет все издания, помнил, сколько в какой книге страниц и презирал то, что на страницах, как пустую словесность,— исключая опечатки, кои почитал он, одни лишь изо всех произведений ума человеческого, достойными особенного внимания.

— Негодяй! какие прислал ты мне сухари?— сказал гневный Сатана.— Они черствы, как дрова.

— Ваша Мрачность!— отвечал испуганный бес,— других не мог достать. Правда, что сочинения несколько старые; но зато какие издания!— самые новые, только что из печати.

— Сколько раз говорил я тебе, что не люблю вещей разогретых?.. Притом же я приказал подавать себе только легкое и приятное, а ты подсунул мне что-то такое жесткое, сухое, безвкусное...

— Мрачнейший повелитель, смею уверить вас, что это лучшие творения нашего времени.

— Это лучшие творения вашего времени?.. Так ваше время ужасно глупо!

— Не моя вина, Ваша Мрачность: я библиотекарь, глупостей не произвожу, а только привожу их в порядок и систематически располагаю. Вы изволите говорить, что сухари не довольно легки: легче этих и желать невозможно: в целой этой бочке, в которой найдете вы всю прошлогоднюю Словесность, нет ни одной твердой мысли. Если же они не так свежи, то

виноват ваш пьяный Харон, который, не далее вчерашнего дня, сорок корзин произведений последних четырех месяцев, во время перевозки, уронил в Лету...

Между тем как библиотекарь всячески оправдывался, Сатана, из любопытства, откинул обертку оставшегося у него в руках куска книги и увидел следующий остаток заглавия: «............*ец* ...... *оман* .. *торич*...., *сочин*........ *а*........*830*».

— Что это такое? — сказал он, пяля на него грозные глаза.— Это даже не разогретое?.. Э?.. смотри: 1830 года?..

— Видно, оно не стоило того, чтобы разогревать,— примолвил толстый бес с глупою улыбкой.

— Да это с маком!— воскликнул Сатана, рассмотрев внимательнее тот же кусок книги.

— Ваша Мрачность! скорее уснете после такого завтрака,— отвечал бес, опять улыбаясь.

— Ты меня обманываешь, да ты же еще и смеешься!..— заревел Сатана в адском гневе.— Поди ко мне поближе.

Толстый бес подошел к нему со страхом. Сатана поймал его за ухо, поднял на воздух как перышко, положил в лежащий подле него шестиаршинный фолиянт сочинений Аристотеля на греческом языке, доставшийся ему в наследство из библиотеки покойного Плутона, затворил книгу и сам на ней уселся. Под тяжестью гигантских членов подземного властелина несчастный смотритель адова книгохранилища в одно мгновение сплюснулся между жесткими страницами классической прозы, наподобие сухого листа мяты. Сатана определил ему, в наказание, служить закладкою для сей книги в продолжение 1111 лет: Сатана надеется в это время добиться смысла в сочинениях Аристотеля, которые читает он почти беспрерывно. Пустое!..

— Приищи мне из проклятых на место этого педанта кого-либо поумнее,— сказал он, обращаясь к верховному визирю и любимцу своему Вельзевуфу.— Я намерен сделать со временем моим книгохранителем того великого библиотекаря и профессора, который недавно произвел на Севере такую ужасную суматоху. Когда он к нам пожалует, ты немедленно введи его в должность; только не забудь приковать его крепкою цепию к полу библиотеки: не то он готов и у меня, в аду, выкинуть революцию и учредить конституционные бюджеты.

— Слушаю!— отвечал визирь, кланяясь в пояс и с благоговением целуя конец хвоста Сатаны.

Царь чертей стал копаться в бочке, ища лучших сухарей. Он взял Гернани, Исповедь, Петра Выжигина, Notre-Dame-de Paris, Рославлева, Шемякин Суд и кучу других отличных

сочинений; сложил их ровно, помочил в урне, вбил себе в рот, проглотил и запил дегтем. И надобно знать, что как скоро Сатана съест какую-нибудь книгу, слава ее на земле вдруг исчезает, и люди забывают об ее существовании. Вот почему столько плодов авторского гения, сначала приобретших громкую известность, впоследствии внезапно попадают в совершенное забвение: Сатана выкушал их с своим кофе!.. О том нет ни слова ни в одной истории словесности; однако ж это вещь официяльная.

Повелитель ада съел таким образом в один завтрак словесность нашу за целый год: у него тогда был чертовский аппетит. Кушая свой кофе, он бросал беспокойный взор на залу и на присутствующих. Что-то такое беспокоило его зрение: он чувствовал в глазах неприятную резь. Вдруг, посмотрев вверх, он увидел в потолке расщелину, чрез которую пробивались последние лучи заходящего на земле солнца. Он тотчас угадал причину боли глаз своих и вскричал:

— Где архитектор?.. Где архитектор?.. Позовите ко мне этого вора.

Длинный, бледный, сухощавый проклятый пробился сквозь толпу и предстал пред Его Нечистою Силой. Он назывался Дон-Диего-да-Буфало. При жизни своей строил он соборную церковь в Саламанке, из которой украл ровно три стены, уверив казенную Юнту, имевшую надзор над этою постройкою, что заготовленный кирпич растаял от беспрерывных дождей и испарился от солнца. За сей славный зодческий подвиг он был назначен, по смерти, придворным архитектором Сатаны. В аду места́ даются только истинно достойным.

— Мошенник!— воскликнул Сатана гневно (он всегда так восклицает, рассуждая с своими чиновниками).— Всякий день подаешь мне длинные счеты издержкам, будто употребленным на починку моих чертогов, а между тем куда ни взгляну, повсюду пропасть дыр и расщелин?..

— Старые здания, Ваша Мрачность!— отвечал проклятый, кланяясь и бесстыдно улыбаясь.— Старые здания... ежедневно более и более приходят в ветхость. Эта расщелина произошла от последнего землетрясения. Я уже несколько раз имел честь представлять Вашей Нечистой Силе, чтоб было позволено мне сломать весь этот ад и выстроить вам новый, в нынешнем вкусе.

— Не хочу!..— закричал Сатана.— Не хочу!.. Ты имеешь в предмете обокрасть меня при этом случае, потом выстроить себе где-нибудь адишко из моего материалу, под именем твоей племянницы, и жить маленьким сатаною. Не хочу!.. По-моему,

этот ад еще весьма хорош: очень жарок и темен, как нельзя лучше. Сделай мне только план и смету для починки потолка.

— План и смета уже сделаны. Вот они. Извольте видеть: надобно будет поставить две тысячи колонн в готическом вкусе: теперь готические колонны в большой моде; сделать греческий фронтон в виде трехугольной шляпы: без этого нельзя ж!..; переменить архитраву; большую дверь заделать в этой стене, а пробить другую в противоположной; переложить пол; стены украсить кариатидами; сломать старый дворец для открытия проспекта со стороны Тартара; построить два новые флигеля и лопнувшее в потолке место замазать алебастром,— тогда солнце отнюдь не будет беспокоить Вашей Мрачности.

— Как?.. Что?..— воскликнул Сатана в изумлении.— Все эти постройки и перестройки по поводу одной дыры?

— Да, Ваша Мрачность! Точно, по поводу одной дыры. Архитектура предписывает нам, заделывая одну дыру, немедленно пробивать другую, для симметрии...

— Послушай, плут! перестань обманывать меня! Ведь я тебе не член испанской Строительной Юнты.

Проклятый поклонился в землю, плутовски улыбаясь.

— Велю замять тебя с глиною и переделать на кирпич для починки печей в геенне...

Он опять улыбнулся и поклонился.

— Да и любопытно мне знать, сколько все это стоило бы по твоим предположениям?

— Безделицу, Ваша Мрачность. При должной бережливости, производя эти починки хозяйственным образом, с соблюдением казенного интереса, они обойдутся только в 9,987, 408, 558, 777, 900, 0009, 675, 999 червонцев, 99 штиверов и 49 1/2 ценсов. Дешевле никто вам не починит этого потолка.

Сатана сморщился, призадумался, почесал голову и сказал: «Нет денег!.. Теперь время трудное, холерное...»

Он протянул руку к бочке: все посмотрели на него с любопытством. Он вытащил из нее две толстые книги: *Умозрительную Физику В**** и *Курс Умозрительной Философии Шеллинга*. Раскрыл их; рассмотрел, опять закрыл и вдруг швырнул ими в лоб архитектору, сказав: «На!.. возьми эти две книги и заклей ими расщелину в потолке: чрез эти умозрения никакой свет не пробьется».

Метко брошенные книги пролетели сквозь пустую голову тени бывшего архитектора точно так же, как пролетает полный курс университетского учения сквозь порожние головы иных

баричей,— не оставив после себя ни малейшего следа,— и упали позади его на пол. Архитектор улыбнулся, поклонился, поднял глубокомудрые сочинения и пошел заклеивать ими потолок.

Немецкий студент, приговоренный в Майнце к аду за участие в Союзе Добродетели, шепнул ***ову, известному любителю Канта, Окена, Шеллинга, магнетизма и пеннику:

— Этот скряга Сатана точно так судит о философии и умозрительности, как ***ой о древней российской истории.

— Неудивительно!..— отвечал ***ов с презрением.— Он враг всякому движению умственному...

— Что?..— вскричал сердито Сатана, который везде имеет своих лазутчиков и все слышит и видит.— Что такое вы сказали?.. Еще смеете рассуждать!.. Подите ко мне, шуты! Научу я вас делать свои замечания в моем аду!

Черти, смотрящие за порядком в зале, привели к нему дерзких питомцев любомудрия. Сатана схватил одного из них за волосы, поднял на воздух, подул ему в нос и сказал: «Поди, шалун, в геенну чихать два раза всякую секунду в продолжение 3333 лет; а ты, отчаянный философ,— примолвил он, обращаясь к ***ову,— сиди подле него и приговаривай: желаю вам здравствовать! Подите прочь, дураки!»

Засим обратился он к визирю своему, Вельзевуфу, и спросил о дневной очереди. Визирь отвечал, что в тот вечер должны были докладывать ему обер-председатель мятежей и революций, Первый Лорд-Диавол Журналистики, Великий Черт Словесности и Главноуправляющий супружескими делами.

Предстал черт старый, гадкий, оборванный, изувеченный, грязный, отвратительный; со всклоченными волосами, с одним выдолбленным глазом, с одним сломанным рогом, с когтями, как у гиены, с зубами без губ, как у трупа, и с большим пластырем, прилепленным сзади, пониже хвоста. Под мышкою торчала у него кипа бумаг, обрызганных грязью и кровию; на голове старая кучерская лакированная шляпа; на шляпе трехцветная кокарда; за поясом кинжал и пара пистолетов; в руках дубина и ржавое ружье без замка́. Карманы его набиты были камнями из мостовой и кусками бутылочного стекла.

Всяк, и тот даже, кто не бывал в Париже, легко угадал бы по его наружности, что это должен быть злой дух мятежей, бунтов, переворотов... Он назывался Астарот.

Он предстал, поклонился и перекувырнулся раза три на воздухе в знак глубочайшего почтения.

— Ну, что?..— вопросил царь чертей.— Что нового у тебя слышно?

— Ревность к престолу Вашей Мрачности, всегда руководившая слабыми усилиями моими, и должная заботливость о пользах вверенной мне части...

— Стой!— воскликнул Сатана.— Я знаю наизусть это предисловие: все доклады, в которых ни о чем не говорится, начинаются с ревности к моему престолу. Говори мне коротко и ясно, сколько у тебя новых мятежей в работе.

— Нет ни одного порядочного, Ваша Мрачность, кроме бунта паши египетского против турецкого султана. Но об нем не стоит и докладывать, потому что дело между бусурманами.

— А зачем нет ни одного?— спросил грозно Сатана.— Не далее как в прошлом году восемь или девять мятежей было начатых в одно и то же время. Что ты с ними сделал?

— Кончились, Ваша Мрачность.

— По твоей глупости, недеятельности, лености; по твоему нерадению...

— Отнюдь не по тому, Мрачнейший Сатана. Вашей Нечистой Силе известно, с каким усердием действовал я всегда на пользу ада; как неутомимо ссорил людей между собою: доказательством тому — сломанный рог и потерянный глаз, который имею честь представить...

— Об этом глазе толкуешь ты мне 800 лет сряду: я читал, помнится, в сочинениях болландистов, что его вышиб тебе башмаком известный Петр Пустынник во время первого Крестового похода, а рог ты сломал еще в начале XVII века, когда, подружившись с иезуитами, затеял на Севере глупую шутку прикинуться несколько раз сряду Димитрием...

— Конечно, Мрачнейший Сатана, что эти раны немножко стары; но, подвизаясь непрестанно за вашу славу, теперь вновь я опасно ранен, именно в стычке, последовавшей близ Кракова, когда с остатками одной *достославной* революции принужден был уходить бегом на австрийскую границу. Если Ваша Мрачность не верите, то, с вашего позволения, извольте посмотреть сами...

И, оборотясь спиною к Сатане, он поднял рукою вверх свой хвост и показал пластырь, прилепленный у него сзади. Сатана и все адское собрание расхохотались, как сумасшедшие.

— Ха, ха, ха, ха!.. бедный мой обер-председатель мя-

тежей!..— воскликнул повелитель ада в веселом расположении духа.— Кто же тебя уязвил так бесчеловечно?

— Донской казак, Ваша Мрачность, своим длинным копьем. Это было очень забавно, хотя кончилось неприятно. Я порасскажу вам все, как что́ было, и в нескольких словах отдам полный отчет в последних революциях. Во-первых, Вашей Мрачности известно, что года два тому назад я произвел прекрасную суматоху в Париже. Люди дрались и резались дня три сряду, как тигры, как разъяренные испанские быки; кровь лилась, дома горели, улицы наполнялись трупами, и никто не знал, о чем идет дело...

— Ах, славно!.. вот славно!.. вот прекрасно!— воскликнул Сатана, потирая руки от радости.— Что же далее?

— На четвертый день я примирил их на том условии, что царь будет у них государем, а народ царем...

— Как?.. как?..

— На том условии, Ваша Мрачность, что царь будет государем, а народ царем.

— Что это за чепуха?.. Я такого условия не понимаю.

— И я тоже. И никто его не понимает. Однако люди приняли его с восхищением.

— Но в нем нет ни капли смысла.

— Потому-то оно и замысловато.

— Быть не может!

— Клянусь проклятейшим хвостом Вашей Мрачности.

— Что ж из этого выйдет?

— Вышла прекрасная штука. Этою сделкой я так запутал дураков людей, что они теперь ходят как опьяневшие, как шальные...

— Но мне какая от того польза? Лучше бы ты оставил их драться долее.

— Напротив того, польза очевидна. Подравшись, они перестали б драться, между тем как, на основании этой сделки, они будут ссориться ежедневно, будут непрестанно убивать, душить, расстреливать и истреблять друг друга, доколе царь или народ не сделаются полным царем и государем. Ваша Мрачность будете от сего получать ежегодно верного дохода по крайней мере 40 000 погибших душ.

— Bene!— воскликнул Сатана и от удовольствия нюхнул в один раз три четверти и два четверика железных опилков вместо табаку.— Что ж далее?

— Далее, Ваша Мрачность, есть в одном месте, на земле, некоторый безымянный народ, живущий при большом болоте, который с другим, весьма известным народом, живущим в

болоте, составлял одно целое. Не знаю, слыхали ль вы когда-нибудь про этот народ или нет?

— Право, не помню. А чем он занимается, этот безымянный народ?

— Прежде он крал книги у других народов и перепечатывал их у себя; также делал превосходные кружева и блонды и был нам, чертям, весьма полезен, ибо за его кружева и блонды множество прекрасных женщин предавались в наши руки. Теперь он ничего не делает: разорился, обеднел и не впрок ни попу ни черту: только мелет вздор и сочиняет газеты, которых никто читать не хочет.

— Нет, никогда не слыхал я о таком народе!..— примолвил Сатана и... чих!.. громко чихнул на весь ад. Все проклятые тихо закричали: *ура!!!...* а в брюссельских газетах на другой день было напечатано, что голландцы ночью подъехали под Брюссель и выстрелили вдруг из двух сот пушек.

— Этот приболотный народ,— продолжал черт мятежей,— жил некоторое время довольно дружно с упомянутым народом болотным; но я рассорил их между собою и из приболотного народа сделал особое приболотное царство, в котором тоже положил правилом, чтобы неизвестно было, кто царь, а кто государь. Вследствие сего, Ваша Мрачность, можете надеяться оттуда еще на 10 000 погибших годового дохода.

— Gut!— сказал Сатана.— Что ж далее?

— Потом я пошевелил еще один народ, живший благополучно на сыпучих песках по обеим сторонам одной большой северной реки. Вот уж был истинно забавный случай! Никогда еще не удавалось мне так славно надуть людей, как в этом деле: да, правду сказать, никогда и не попадался мне народ так легковерный. Я так искусно настроил их, так вскружил им голову, запутал все понятия, что они дрались как сумасшедшие в течение нескольких месяцев, гибли, погибли и теперь еще не могут дать себе отчета, за что дрались и чего хотели. При сей оказии я имел счастие доставить вам слишком 100 000 самых отчаянных проклятых.

— *Барзо добже!*— примолвил Сатана, который собаку съел на всех языках.— Что же далее?

— После этих трех *достославных* революций я удалился в Париж, главную мою квартиру, и от скуки написал ученое рассуждение: *О верховной власти сапожников, поденщиков, извозчиков, наборщиков, нищих, бродяг и проч.*, которое желаю иметь честь посвятить Вашей Мрачности.

— Посвяти его своему приятелю, человеку обоих светов,— возразил Сатана с суровым лицом.— Мне не нужно твоего со-

чинения: желаю знать, чем кончилась та революция, которую затеял ты где-то на песках, над рекою, на Севере.

— Ничем, Ваша Мрачность. Она кончилась тем, что нас разбили и разогнали и что, в замешательстве, брадатый казак, который вовсе не знает толку в *достославных* революциях, кольнул меня жестоко a posteriori, как вы сами лично изволили свидетельствовать.

— Что же далее?

— Далее ничего, Мрачнейший Сатана. Теперь я увечный, инвалид и пришел проситься у Вашей Нечистой Силы в отпуск за границу на шесть месяцев, к теплым водам, для излечения раны...

— Отпуска не получишь,— вскричал страшный повелитель чертей,— во-первых, ты его не достоин, а во-вторых, ты мне нужен: дела дипломатические, говорят, все еще весьма запутаны. Но возвратимся к твоей части. Ты рассказал мне только о трех революциях: куда же девались остальные? Ты еще недавно хвастал, будто в одной Германии завел их пять или шесть.

— Не удались, Ваша Мрачность.

— Как не удались?

— Что ж мне делать с немцами, когда их расшевелить невозможно!.. Извольте видеть: вот и теперь есть у меня с собою несколько десятков немецких возмутительных прокламаций, речей, произнесенных в Гамбахе, и полных экземпляров газеты Die deutsche Tribune. Я раскидываю их по всей Германии, но немцы читают их с таким же отчаянным хладнокровием, с каким пьют они пиво со льдом и танцуют вальс под музыку: Mein lieber Augustin!.. Несколько сумасшедших студентов и докторов прав без пропитания кричат, проповедуют, мечутся; но это не производит никакого действия в народе. Мне уж эти немцы надоели: уверяю Вашу Мрачность, что из них никогда ничего не выйдет. Даже и проклятые из них не надежны: они холодны до такой степени, что вам всеми огнями ада и разогреть их не удастся, не то чтоб сжарить как следует.

— Что же ты сделал в Италии?

— Ничего не сделал.

— Как ничего!.. Когда я приказал всего более действовать в Италии и даже обещал щепотку табаку, если успеешь перевернуть вверх ногами папские владения.

— Вы приказали, и я действовал. Но италиянцы настоящие бабы. В начале сего года учредил я между ними прекрасный заговор: они поклялись, что отвагою и мятежническими

доблестями превзойдут древних римлян, и я имел причину ожидать полного успеха, как вдруг, ночью, Ваша Мрачность изволили слишком громко... с позволения сказать... кашльнуть, что ли?... так, что земля мале́нько потряслась над вашею спальнею. Мои герои, испугавшись землетрясения, побежали к своим капуцинам и высказали им на исповеди весь наш заговор,— и все были посажены в тюрьму. Я сам находился в ужасной опасности и едва успел спасти жизнь: какой-то капуцин гнался за мною с кропилом в руке, чрез всю Болонию. К Риму подходить я не смею: вам известно, что еще в V веке заключен с нами договор, подлинная граммата коего, писанная на бычачьей шкуре, хранится поныне в ватиканской библиотеке между тайными рукописями: этим договором черти обязались не приближаться к стенам Рима на десять миль кругом...

— У тебя на все своя отговорка,— возразил недовольный Сатана,— по твоей лености, выходит, что в нынешее время одни лишь черти будут свято соблюдать договоры. Ну, что в Англии?

— Покамест ничего; но будет, будет!.. Теперь прошел билль о реформе, и я вам обещаю, что лет чрез несколько подниму вам в том краю чудесную бурю. Только потерпите немножко!...

— Итак, теперь решительно нет у тебя ни одной революции?

— Решительно ни одной, Ваша Мрачность! кроме нескольких текущих мятежей и бунтов по уездам в конституционных государствах, где это в порядке вещей и необходимо для удостоверения людей, что они действительно пользуются свободою, то есть, что они беспрепятственно могут разбивать друг другу головы во всякое время года.

— Однако, любезный Астарот, я уверен, что ежели ты захочешь, то все можешь сделать,— присовокупил царь чертей.— Постарайся, голубчик! пошевелись, похлопочи...

— Стараюсь, бегаю, хлопочу, Ваша Мрачность! но трудно: времена переменились.

— Отчего же так переменились?

— Оттого, что люди не слишком стали мне верить.

— Люди не стали тебе верить?..— воскликнул изумленный Сатана.— Как же это случилось?

— Я слишком долго обманывал их обещаниями блистательной будущности, богатства, благоденствия, свободы, тишины и порядка, а из моих революций, конституций, камер и бюджетов вышли только гонения, тюрьмы, нищета и разрушение.

Теперь их не так легко надуешь: они сделались чрезвычайно умны.

— Молчи, дурак!— заревел Сатана страшным голосом.— Как ты смеешь лгать предо мною так бессовестно? Будто я не знаю, что люди никогда не будут умными?..

— Однако уверяю Вашу Мрачность...

— Молчи!..

Черт мятежей, по врожденной наглости, хотел еще отвечать Сатане, как тот, в ужасном гневе, соскочил с своего седалища и бросился к нему, с пылающим взором, с разинутою пастью, с распростертыми когтями, как будто готовясь растерзать его.

Астарот бежать!— Сатана за ним!

Проклятые, со страха, стали прятаться в дырках и расщелинах, влезать на карнизы, искать убежища на потолке. Суматоха была ужасная, как во французской камере депутатов при совещаниях о водворении внутреннего порядка или о всеобщем мире.

Сатана гонялся за Астаротом по всей зале; но Обер-Председатель революций, истинно с чертовскою ловкостью, всегда успевал ускользнуть у него почти из рук. Это продолжалось несколько минут, в течение коих они пробежали друг за другом 2000 верст в разных направлениях. Наконец повелитель ада поймал коварного министра своего за хвост...

Поймав и держа за конец хвоста, он поднял его на воздух и сказал с адскою насмешкой:

— А!.. ты толкуешь мне об уме людей!.. Постой же, негодяй!.. Смотри, чтобы немедленно произвел мне где-нибудь между ними революцию, под каким бы то ни было предлогом; иначе, я тебя!.. guos ego!.. как говорит Виргилий...

И, в пылу классической угрозы, повертев им несколько раз над своею головою, он бросил его вверх со всего размаху.

Бедный черт мятежей, пробив собою свод ада, вылетел в надземный воздух и несколько часов сряду летел в нем как бомба, брошенная из большой Перкинсовой мортиры. Астрономы направили в него свои телескопы и, приметив у него хвост, приняли его за комету: они тотчас исчислили, во сколько времени совершит она путь свой около солнца и, для успокоения умов слабых и суеверных, издали ученое рассуждение, говоря: «Не бойтесь! это не черт, а комета». Г. Е *** напечатал в Северной Пчеле, что хотя это, может статься, и не комета, а черт, но он не упадет на землю: напротив того, он сделается луною, как то уже предсказано им назад тому лет двадцать. Теперь, после изобретения Фрауенгоферова телескопа, и

летучая мышь не укроется в воздухе от астрономов: они всех их произведут в небесные светила.

Между тем черт мятежей летел, летел, летел и упал на землю с треском и шумом,— в самом центре Парижа. Но черти, как кошки: падения им не вредны. Астарот мигом приподнялся, оправился и немедленно стал кричать во все горло: «Долой министров! Долой короля! Да здравствует свобода! Виват Республика! Виват Лафайет! Ура Наполеон II!»— стал бросать в окна камнями и бутылками, коими были наполнены его карманы; стал бить фонари и стрелять из пистолетов,— и в одно мгновение вспыхнул ужасный бунт в Париже.

Сатана, выбросив Астарота на землю, важно возвратился к своему престолу, воссел, выпыхался, понюхал опилок и сказал: «Видишь, какой бездельник!.. Чтоб ничего не делать, он вздумал воспевать предо мною похвалы уму человеческому!.. Покорно прошу сказать, когда этот прославленный ум был сильнее нашего искушения?.. Люди всегда будут люди. Ох, эти любезные, дорогие люди!.. они на то лишь и годятся, что ко мне в проклятые... Кто теперь следует к докладу?»

Представьте себе чертёнка — ведь вы чертей видали?— представьте себе чертенка, ростом с обыкновенного губернского секретаря, 2 аршина и 1/2 вершка; с петушьим носом, с собачьим челом, с торчащими ушами, с рогами, с клыками, с когтями и с длинным хвостом; одетого — как всегда одеваются черти!— одетого по-немецки, в чулках, сшитых из старых газет, в штанах из старых газет, в длинном фраке из старых газет, с высоким, аршин в девять, остроконечным колпаком на голове, склеенным из журнальных корректур в виде огромного шпица, на верхушке коего стоит бумажный флюгерок, вертящийся на деревянном прутике и показывающий, откуда дует ветер,— и вы будете иметь понятие о забавном лице и форменном наряде пресловутого Бубантуса, первого Лорда-Диавола Журналистики в службе Его Мрачности.

Бубантус большой любимец повелителя ада: он исправляет при нем двойную должность — придворного клеветника и издателя ежедневной газеты, выходящей однажды в несколько месяцев, под заглавием: «Лгун из лгунов». В аду это официяльная газета: в ней, для удовлетворения любопытству царя тьмы, помещаются одни только известия неосно-

вательные, ибо основательные он находит слишком глупыми и недостойными его внимания. И дельно!..

С совиным пером за ухом, с черным портфелем под мышкою, весь запачканный желчию и чернилами, подошел он к седалищу сурового обладателя подземного царства и остановился: остановился, поклонился, сделал пируэт на одной ноге и опять поклонился и сказал:

— Имею честь рекомендоваться!..

Сатана примолвил:

— Любезный Бубантушка, начинай скорее свой доклад: только говори коротко и умно, потому что я сердит и скучаю...

И он зевнул ужасно, раскрыв рот шире жерла горы Везувия: дым и пламя заклубились из его горла.

— Мой доклад сочинен на бумаге,— отвечал нечистый дух журналистики.— Как Вашей Мрачности угодно его слушать: романтически или классически?.. То есть снизу вверх или сверху вниз?

— Слушаю снизу вверх,— сказал Сатана.— Я люблю романтизм: там все темно и страшно и всякое третье слово бывает непременно *мрак* или *мрачный:* это по моей части.

Бубантус начал приготовляться к чтению. Сатана присовокупил:

— Садись, мой дорогой Бубантус, чтоб тебе было удобнее читать.

Бубантус оборотился к нему задом и поклонился в пояс: под землею это принятый и самый вежливый образ изъявления благодарности за приглашение садиться. Он окинул взором залу и, нигде не видя стула, снял с головы свой бумажный, шпицеобразный колпак, поставил его на полу, присел, сжался, прыгнул на десять аршин вверх, вскочил и сел на самом флюгерке его; сел удивительно ловко,— ибо вдруг попал он своим rectum на конец прутика и воткнулся на него ровно, крепко и удобно,— принял важный вид, вынул из портфеля бумагу, обернул ее вверх ногами, чихнул, свистнул и приступил к чтению с конца, на романтический манер:

— *И-проч., и-проч., слугою покорнейшим вашим пребыть честь имею, невозможно людьми управлять иначе...*

— И-проч., и-проч.!..— воскликнул Сатана, прерывая чтение.— Визирь, слышал ли ты это начало? И-проч., и-проч.!.. Наш Бубантус, право, мастер сочинять. Доселе статьи романтические обыкновенно начинались с *И*, с *Ибо*, с *Однако ж*; но никто еще не начал так смело, как он, с *и-проч.* Романтизм — славное изобретение!

— Удивительное, Ваша Мрачность,— отвечал визирь, кланяясь.

— На будущее время и не иначе буду говорить с тобою о делах, как романтически, то есть наоборот.

— Слушаю, Ваша Мрачность!— примолвил визирь.— Это будет гораздо вразумительнее. В самом деле, истинно адские понятия ни каким другим слогом не могут быть выражаемы так сильно и удобно, как романтическим.

— Как мы прежде того не догадались?— сказал царь чертей.— Я, вероятно, всегда любил романтизм?

— Ваша Мрачность всегда имели вкус тонкий и чертовский.

— Читай,— сказал Сатана, обращаясь к злому духу журналистики,— но повтори и то, что прочитал: мне твой слог очень нравится.

Бубантус повторил:

— *И-проч., и-проч., слугою покорнейшим вашим пребыть честь имею...*

— Как?.. только *слугою?*— прервал опять Сатана.— Ты в тот раз читал умнее.

— Только *слугою,* Ваша Мрачность,— возразил черт журналов,— я и прежде читал *слугою* и теперь так читаю. Я не могу более подписываться: *вашим верноподданным.*

— Почему?

— Потому что мы, в Париже, торжественно протестовали против этого слова почти во всех журналах: оно слишком классическое, греческое феодальное...

— Полно, так ли, братец?

— Точно так, Ваша Мрачность! Со времени учреждения в Западной Европе самодержавия черного народа — все люди цари: так говорит Г. Моге́н. Я даже намерен заставить предложить в следующее собрание французских палат, чтобы вперед все частные лица подписывались: *Имею честь быть вашим милостивым государем,* а один только король писался бы *покорнейшим слугою.*

— Странно!..— воскликнул Сатана, с весьма недовольным видом.— Неужели все это романтизм!

— Самый чистый романтизм, Ваша Мрачность. В романтизме главное правило, чтобы все было странно и наоборот.

— Продолжай!

Бубантус продолжал:

— *Невозможно людьми управлять иначе: в искушение вводить и обещаниями лживыми увлекать, дерзостью изумлять, искусно их надувать уметь надобно, изволите сие знать*

Мрачность Ваша как в дураках остались совершенно они чтоб, стараясь, ибо...

— Стой!— закричал Сатана, и глаза у него засверкали, как две молнии.— Стой!.. полно! Ты сам останешься у меня в дураках. Как ты смеешь говорить, что моя Мрачность?.. Не хочу я более твоего романтизма. Читай мне классически, сверху вниз.

— Но здесь дело идет не о Вашей Мрачности, а о людях,— возразил испуганный чертенок.— Слог романтический имеет то свойство, что над всяким периодом надобно крепко призадуматься, пока постигнешь смысл оного, буде таковой налицо в оном имеется.

— А я думать не хочу!— сказал грозный обладатель ада.— На что мне эта беда?.. Я вашего романтизма не понимаю. Это сущий вздор: не правда ли, мой верховный визирь?

— Совершенная правда!— отвечал Вельзевул, кланяясь.— Слыханное ли дело, читая думать?..

— Сверх того,— присовокупил царь чертей,— я примечаю в этом слоге выражения чрезвычайно дерзкие, неучтивые, которых никогда не встречал я в прежней классической прозе, гладкой, тихой, покорной, низкопоклонной...

— Без сомнения!— подтвердил визирь.— Романтизм есть слог мотов, буянов, мятежников, лунатиков, и для таких больших вельмож, как вы, слог классический гораздо удобнее и приличнее: по крайней мере, он не утруждает головы и не пугает воображения.

— Мой верховный визирь рассуждает очень здраво,— сказал Сатана с важностью,— я большой вельможа. Читай мне классически, не утруждая моей головы и не пугая моего воображения.

Бубантус, обернув бумагу назад, стал читать сначала:

«ДОКЛАД

Мрачнейший Сатана!

Имею честь донести Вашей Нечистой Силе, что, стараясь распространять более и более владычество ваше между родом человеческим, для удобнейшего запутания означенного рода в наши тенеты, подведомых мне журналистов разделил я на всей земле на классы и виды и каждому из них предписал особенное направление. В одной Франции учредил я четыре класса журналописцев, не считая пятого. Первый класс назван мною журналистами движения, второй журналистами сопротивления, третий журналистами уклонения, четвертый журналистами возвращения. Пятый именуется среднею серединою.

Одни из них тащут умы вперед, другие тащут их назад; те тащут направо, те налево, тогда как последователи средней середины увертываются между ними, как бесхвостая лиса,— и все кричат, и все шумят, все вопиют, ругают, стращают, бесятся, грозят, льстят, клевещут, обещают; все предвещают и проповедуют бунты, мятежи, бедствия, кровь, пожар, слезы, разорение: только слушай, да любуйся! Читатели в ужасе, не знают что думать, не знают чему верить и за что приняться: они ежечасно ожидают гибельных происшествий, бегают, суетятся, укладывают вещи, прячут пожитки, заряжают ружья, хотят уйти и хотят защищаться и не разберут, кто враг, а кто приятель, на кого нападать и кого покровительствовать; днем они не докушивают обеда, ввечеру боятся искать развлечений, ночью внезапно вскакивают с постели, одним словом, беспорядок, суматоха, буря умов, волнение надежд и желаний, вьюга страстей, грозная, неслыханная, ужасная,— и все это по милости газет и журналов, мною созданных и руководимых!

Не хвастая, Ваша Мрачность, я один более проложил людям путей к пагубе, чем все прочие мои товарищи. Я удвоил общую массу греха. Прежде люди грешили только по старинному, краткому списку грехам; теперь они грешат еще по журналам и газетам: по ним лгут, крадут, убивают, плутуют, святотатствуют; по ним живут и гибнут в бесчестии. Мои большие печатные листы беспрерывно колят их в бок, жгут в самое сердце, рвут тела их клещами страстей, тормошат умы их обещаниями блеска и славы, как собаки кусок старой подошвы; подстрекают их против всех и всего, прельщают и, среди прельщения, забрызгивают им глаза грязью; возбуждают в них деятельность и, возбудив, не дают им ни есть, ни спать, ни работать, ни заниматься выгодными предприятиями. Сим-то образом, создав, посредством моих листов, особую стихию политического мечтательства — стихию горькую, язвительную, палящую, наводящую опьянение и бешенство,— я отторгнул миллионы людей от мирных и полезных занятий и бросил их в пучины сей стихии: они в ней погибнут, но они уже увлекли с собою в пропасть целые поколения и еще увлекут многие.

Коротко сказать, при помощи сих ничтожных листов я содержу все в полном смятении, заказываю мятежи на известные дни и часы, ниспровергаю власти, переделываю законы по своему вкусу и самодержавно управляю огромным участком Земного шара, Франциею, Англией, частью Германии, Ост-Индиею, Островами и целою Америкою. Если, Ваша Мрачность, желаете видеть на опыте, до какой степени совершен-

ства довел я на земле адское могущество журналистики, да позволено мне будет выписать из Франции, Англии и Баварии пятерых журналистов и учредить здесь, под Землею, пять политических газет: ручаюсь моим хвостом, что чрез три месяца такую произведу вам суматоху между проклятыми, что вы будете принуждены объявить весь ад состоящим в осадном положении; Вашей же Мрачности велю сыграть такую пронзительную серенаду на кастрюлях, котлах, блюдах, волынках и самоварах,— где вам угодно, хоть и под вашею кроватию, какой ни один член средней середины...»

— Ах ты, негодяй!..— закричал Сатана громовым голосом и — хлоп!— отвесил ему жестокий щелчок по носу,— щелчок, от которого красноречивый Бубантус, сидящий на колпаке, на конце прутика, поддерживающего флюгер, вдруг стал вертеться на нем с такою быстротою, что, подобно приведенной в движение шпуле, он образовал собою только вид жужжащего, дрожащего, полупрозрачного шара. И он вертелся таким образом целую неделю, делая на своем полюсе по 666 поворотов за минуту,— ибо сила щелчка Сатаны, в сравнении с нашими паровыми машинами, равна силе 1738 лошадей и 1 жеребенка.

— Странное дело,— сказал Сатана визирю своему, Вельзевулу,— как они теперь пишут!.. Читай как угодно, сверху вниз или снизу вверх, классически или романтически: все выйдет та же глупость или дерзость!.. Впрочем, Бубантус добрый злой дух: он служит мне усердно и хорошо искушает; но, живя в обществе журналистов, он сделался немножко либералом, наглым, и забывает должное мне благоговение. В наказание пусть его помелет задом... Позови Черта Словесности к докладу.

Визирь кивнул рогом, и великий Черт Словесности явился.

Он не похож на других чертей: он черт хорошо воспитанный, хорошего тона; высокий, тонкий, сухощавый, черный,— очень черный,— и очень бледный: страждет модною болезнею, гастритом, и лицо имеет оправленное в круглую рамку из густых бакенбард. Он носит желтые перчатки; на шее у него белый атласный галстух. Не взирая на присутствие Сатаны, он беззаботно напевал себе сквозь зубы арию из Фрейшица и хвостом выколачивал такт по полу. Он имел вид франта, и еще ученого франта. С первого взгляда узнали б вы в нем

романтика. Но он романтик не журнальный, не такой, как Бубантус; а романтик высшего разряда, в четырех томах, с прологом, с эпилогом и английскою виньеткою.

— Здоров ли ты, черт, Точкостав?— сказал ему Сатана.

— !..!!...... Слуга покорнейший...!!!.?.!...!!!! Вашей Адской Мрачности!!!!!...!..!.

— Давно мы с тобою не видались.

— Увы!...!!!..??..?!..!!!!!!..! я страдал..!!!... я жестоко страдал!!!!..!..!..!..? Мрачная влажность проникла в стены души моей; гробовая сырость ее вторгнулась, как измена, в мой мозг, и мое воображение, вися неподвижно в сем тяжелом, мокром, холодном тумане болезненности, мерцало только светом слабым, бледным, дрожащим, неровно мелькающим, похожим на ужасную улыбку рока, поразившего остротою свою добычу,— оно мерцало светом лампады, внесенной рукою гонимого в убийственный воздух пещеры ужаса и смрада, заваленной гниющими трупами и хохочущими остовами...

— Что это значит?— воскликнул изумленный Сатана.

— Это значит??.!!!..?..!!!!!.!. это значит, что у меня был насморк,— отвечал Точкостав.

— Ах ты, сумасброд!— вскричал царь чертей с нетерпением.— Перестанешь ли ты когда-нибудь или нет морочить меня своим отвратительным пустословием и говорить со мною точками да этими кучами знаком вопросительных и восклицательных?.. Я уже несколько раз сказывал тебе, что терпеть их не могу; но теперь, для вящщей безопасности от скуки и рвоты, решаюсь принять в отношении к вам общую, великую, государственную меру...

— Что такое?..— спросил встревоженный черт.

— Я отменяю,— продолжал Сатана,— уничтожаю формально и навсегда в моих владениях весь романтизм и весь классицизм, потому что как тот, так и другой сущая бессмыслица.

— Как же теперь будет?..— спросил нечистый дух Словесности,— и каким слогом будем мы разговаривать с Вашею Мрачностью?.. Мы умеем только говорить классически или романтически.

— А я не хочу знать ни того, ни другого!— примолвил Сатана с суровым видом.— Оба эти рода смешны, ни с чем не сообразны, бесвкусны, уродливы, ложны,— ложны, как сам черт! Понимаешь ли?.. И ежели в том дело, то я сам, моею властию, предпишу вам новый род и новую школу словесности: вперед имеете вы говорить и писать не классически, не романтически, а шарбалаамбарабурически.

— Шарбалаамбарабурически?..— сказал черт.

— Да, тарабалаамбурически,— присовокупил Сатана,— то есть писать дельно.

— Писать дельно?..— воскликнул великий Черт Словесности в совершенном остолбенении.— Писать дельно!.. Но мы, Ваша Мрачность, умеем только писать классически или романтически.

— Писать дельно, говорят тебе!— повторил Сатана с гневом.— Дельно, то есть здраво, просто, естественно, сильно без натяжек, ново без трупов, палачей и шарлатанства, приятно без причесанных a la Titus периодов и одетых в риторический парик оборотов, разнообразно без греческой мифологии и без Шекспирова чернокнижия, умно без старинных антитез и без нынешнего плутовства в словах и мыслях. Понимаешь ли?.. Я так приказываю: это моя выдумка.

— Писать здраво, просто, умно, разнообразно!..— повторил с своей стороны нечистый дух словесности в жестоком смятении.— У Вашей Мрачности всегда бывают какие-то чертовские выдумки. Мы умеем только писать классически или ром...

— Слышал ли ты мою волю или нет?

— Слышал, Ваша Мрачность; но она неудобоисполнима.

— Почему?..

— Потому что я и подведомые мне словесники умеем излагать наши мысли только классически или романтически, то есть по одному из двух готовых образцов, по одной из двух давно известных, определенных систем: писать же так, чтоб это не было ни *сглупа* по-афински, ни *сдурна* по-староанглийски,— того на земле никто исполнить не в состоянии. Ваша Нечистая Сила полагаете, что у людей такое же адское соображение, как у вас: они — клянусь грехом!— умеют только скверно подражать, обезьянничать... Прежде они подражали старине греческой, которую утрировали, коверкали бесчеловечно; теперь она им надоела, и я подсунул им другую пошлую старину, именно великобританскую, на которую они бросились, как бешеные, и которую опять стали утрировать и коверкать. Они сами видят, что прежде были очень смешны; но того не чувствуют, что они и теперь очень смешны, только другим образом, и радуются, как будто нашли тайну быть совершенно новыми. Притом, что пользы для Вашей Мрачности, когда люди станут писать умно и дельно?

— Как что пользы?.. Я, по крайней мере, не умру от скуки, слушая подобные глупости.

— Но владычество ваше на земле исчезнет.

— Отчего же так?

— Оттого, что когда они начнут сочинять дельно, о чертях и помину не будет. Ведь мы притча!..

— Ты думаешь?..

— Без сомнения!.. Теперь вы самодержавно господствуете над всею Земною Словесностию, вы царствуете во всех изящных произведениях ума человеческого. Все его творения дышат нечистою силой, все бредят диаволом. Греческий Олимп разрушен до основания: Юпитер пал, и на его престоле теперь сидите вы, Мрачнейший Сатана. Я все так устроил, что смертные писатели воспевают только ад, грех, порок и преступление...

— Неужели?..— воскликнул царь тьмы с удовольствием.

— Ей, ей, Ваша Мрачность. Главные пружины нынешней поэзии суть: вместо Венеры — ведьма; вместо Аполлона — страшный, засаленный, вонючий Шаман; вместо Нимф — вампиры; она завалена трупами, черепами, скелетами; из каждой ее строки каплет гнойная материя. Проза сделалась настоящею помойною ямой: она толкует только о крови, грязи, разбоях, палачах, муках, изувечениях, чахотках, уродах; она представляет нищету со всею ее отвратительностью, разврат со всею его прелестью, преступление со всею его мерзостью, мерзость со всею наготою, соблазн и ужас со всеми подробностями. Она с удовольствием разрывает могилы, как алчная гиена, и забавляется, швыряя в проходящих вырытыми костями; она ведет бедного читателя в мрачные гробницы и, шутя, запирает его в гроб вместе с червивым трупом; ведет в смрадные тюрьмы и, также шутя, сажает его на грязной соломе, подле извергов, разбойников и зажигателей, с коими поет она неистовые песни; ведет в домá распутства и бесчестия и для потехи бросает ему в лицо все откопанные там нечистоты; ведет на лобные места, подставляет под эшафоты и, в шутку, обливает его кровию обезглавленных преступников. Она придумывает для него новые страдания и хохочет над его страданиями. Она мучит его всем, чем только мучить возможно,— предметом, тоном повествования, слогом,— сим-то слогом моего изобретения, свирепым, ядовитым, убийственным, наглым, бесстыдным, изломанным в зигзаг, набитым шипами, удушливым, утомительным до крайности...

— Все это очень хорошо и похвально,— прервал Сатана,— но не прочно. Я знаю, что твой слог имеет все эти достоинства; но думаешь ли ты, что читатели долго дозволят вам мучить их таким несносным образом? Ведь это хуже, чем у меня в аду!..

— Конечно, недолго,— отвечал черт Точкостав,— но, между тем какое удовольствие, какая отрада мучить лю-

дей порядком, и еще под видом собственного их наслаждения!..

— И то дело!— сказал Сатана.— Мучь же крепко, любезный Точкостав, своею романтическою прозою и поэзиею!

— Рад стараться, Ваша Мрачность.

— Если у вас, на земле, не достанет чернил на точки и знаки восклицательные, то обратись ко мне. Мы можем уделить вам полтора или два миллиона бочек нашего адского перегорелого дегтю.

— Не премину воспользоваться вашим великодушным предложением.

— Что это у тебя в руке?

— Новый роман для Вашей Нечистой Силы и вчерашние парижские афишки.

— Ну, что вчера представляли на театрах в Париже?

— Все романтические пьесы, Ваша Мрачность. На одном театре представляли чертей поющих, на другом чертей пляшущих, на третьем чертей сражающихся, на четвертом виселицу, на пятом гильотину, на шестом мятеж, на седьмом Антони, или прелюбодеян...

— Неужели?..— воскликнул Сатана.— Ну, что, как, хорошо ли представляли прелюбодеяние?

— Очень хорошо, Ваша Мрачность; очень натурально.

— И это ты выучил их всему этому?

— Я, Ваша Мрачность.

— Хват мой Точкостав!.. Вот тебе за то фальшивый грош на водку. Какой это роман?

— Роман Жюль-Жанена, под заглавием: *Барнав*, произведение самое адское...

— Поди, поставь его в моей избранной библиотеке. Сегодня я его прочитаю, а завтра съем, и будет ему конец.

— Подайте мне трубку,— сказал Сатана.

Султан Магомет II, покоритель Константинополя, исправляет при Дворе Его Нечистой Силы знаменитую должность *чубукчи-баши:* он чистит и набивает огромную медную его трубку, сделанную из отбитой головы баснословного Родосского колосса. В эту трубку обыкновенно кладется целый воз гнилого подрядного сена: это любимый табак Сатаны,— он даже другого не употребляет.

Черти, зная вкус своего повелителя, по ночам крадут для него этот табак из разных провиантских на земле магазинов.

От этого именно, иногда, происходит у людей недочет в казенном сене.

Магомет II церемониально поднес набитую трубку. Сатана принял ее одною рукой, а другую внезапно простер в сторону и схватил ею за голову одного из близстоящих проклятых, прежде бывшего издателя чужих сочинений с вариантами и своими замечаниями, высохшего как лист бумаги над сравнением текстов и помешавшегося на вопросительном знаке, поставленном в одной рукописи по ошибке вместо точки с запятою. Он смял его в горсти, придвинул к своему носу и чихнул: искры обильно посыпались из ноздрей его. Сухой толкователь чужих мыслей мгновенно от них загорелся. Сатана зажег им трубку; остальную же часть его он бросил на пол и затушил ногою. Недогоревший кусок ученого словочета представлял собою вид —(;) точки с запятою!..

Все проклятые были опечалены горестною его судьбою и поражены жестоким своенравием их обладателя. Но Сатана спокойно курил свое сено.

— Не угодно ли вам выслушать еще доклад Главноуправляющего супружескими делами?— сказал адский верховный визирь.

— С удовольствием!— отвечал Сатана.— Я люблю соблазнительные летописи.

И Черт супружеских дел явился.

Я не стану описывать его наружности, потому что три четверти женатых читателей моих лично с ним знакомы; а скажу только, что черт Фифи-Коко есть злой дух презлой, прековарный, но вместе с тем очень любезный,— смирный, покорный, услужливый, как иной столоначальник перед своею директоршею,— и хитрый, как преступная жена, и плут хуже всякого подьячего, и проворный искуситель, и в большом уважении у Сатаны. Он-то привел во искушение первую нашу прародительницу, сообщив ей великую тайну всего доброго и всего злого: в то время это была великая тайна; но в нашем просвещенном веке даже все горничные знают ее наизусть и без его содействия.

Но гораздо важнее то, что он знает тайны всех замужних красавиц и самой даже Сатанши. Сатана имеет крепкое на него подозрение, но......... но не говорит ни слова: Сатана знает приличия.

— Что нового?— спросил черный повелитель.— Как идут дела твоей части?

— Отменно хорошо, Ваша Мрачность. Часть моя никогда еще не бывала в столь цветущем состоянии, как теперь. В супружествах господствует необыкновенная скука: мужья и жены большею частью ссорятся дважды и трижды в день; требования утешений непрестанны... У меня подлинно голова кружится от множества дел.

— Я знаю твою деятельность и ревность,— примолвил Сатана важно.— Покажи мне свою табель.

Фифи-Коко подал ему на длинном листе бумаги табель супружеских происшествий за последний месяц на всей поверхности Земного шара. Сатана, держа трубку в зубах, начал рассматривать ее с большим вниманием и при всякой статье то восклицал от удовольствия, то от радости испускал огромные клубы табачного дыма ртом, носом и ушами.

— Сколько измен!.. Сколько ссор!.. Какая пропасть драк!— приговаривал он, читая табель. Да какое множество любовных писем разослано в течение одного месяца!.. Скажи, пожалуй, неужели столько расстроил ты супружеств в столь краткое время?.. 777 777? Это ужас!..

— Именно столько, Ваша Мрачность,— отвечал черт.

— Славно! славно!..— воскликнул Сатана, продолжая смотреть в бумагу.— Я должен сказать откровенно, что изо всех отраслей моего правления твой департамент отличается наилучшим порядком.

— Ваша Мрачность слишком ко мне милостивы...

— Дела текут у тебя чрезвычайно скоро.

— Женщины, Ваша Нечистая Сила, не любят, чтоб они долго оставались на справке.

— И после всякой масленицы у тебя нерешенных дел почти не остается.

— Это самое удобное время к очистке сего рода.

— Притом же твоя часть чрезвычайно обширна и едва ли не самая важная: она приносит мне наиболее пользы.

Фифи-Коко поклонился.

— Ни один из моих верных служителей не доставляет мне такого числа проклятых, как ты. Сколько у нас в аду великих мужей, глубокомудрых философов, мудрецов, святошей, фанатиков, которых никто из моих чертей не мог соблазнить,— а ты принялся за дело, женил их и — глядь!— чрез несколько времени привел их ко мне — и не одних!.. мужа и жену вместе.

— Когда их, Ваша Мрачность, так легко поймать на приманку сладкого греха!— примолвил черт, скромно потупив глаза.

— Как бы то ни было, но я умею ценить твои дарования и поставляю себе в обязанность наградить тебя блистательным и приличным образом,— сказал Сатана с торжественным видом.— Вельзевуф! в воздаяние знаменитых подвигов и беспримерной деятельности моего Главноуправляющего на земле супружескими делами вели вызолотить ему рога.

Черти, содержащие стражу, схватили Фифи-Коко, отнесли в геенну, всунули головою в печь и, раскалив ему рога до надлежащей степени, вызолотили их прочно и богато; потом пустили его в свет посеевать дальнейшие раздоры между двумя полами рода человеческого.

Сатана отдал трубку, встал с престола, зевнул, потянулся и сказал:

— Уф!.. как я устал!.. Как скучно управлять с благоразумием людскими глупостями!.. Теперь пойду гулять между огней в геенне, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться приятным зрелищем, как жарятся люди.

И он ушел.

17 июня 1832

О. СОМОВ

КИЕВСКИЕ ВЕДЬМЫ

Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Трясила после знаменитой *Тарасовой ночи*, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных подножков* польских, жидов-предателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добивая их, напевали те же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жиды оскорбляли православных. Все было припомянуто: и наушничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церквей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлому Христову воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в домы свои, обременясь богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь неправедно было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И

* Подножек (пидножок)— раб, прислужник, припадающий к ногам. Гетман Брюховецкий писал к царю Алексею Михайловичу: «Вашего Царского Пресветлого Величества, Благодателя мого милостивого верний холоп и найнижший подножок Пресветлого Престола, Боярин и Гетман верного войска Вашего Царского Пресветлого Величества Запорозкого Ивашка Брюховецкий».

(*Прим. О. М. Сомова.*)

в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами он вытаскивал у себя из кишени* целую горсть *дукатов*, а польскими *злотыми* только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и крамарей**; а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодиц. И было отчего: Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и завзятость*** хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность в обхождении?

Перéкупки**** на Печерске и на Подоле***** знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по *базару*. Они ждали этого как ворон крови, потому что Федор Блискавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с кнышами, сластенами либо черешнями****** и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое.

— Что так давно не видать нашего *завзятого*?— говорила одна из подольских перекупок своей соседке.— Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

— До того ли ему!— отвечала соседка.— Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

— А чем Ланцюговна ему не невеста?— вмешалась в разговор их третья перекупка.— Девчина как маков цвет;

---

* Кишень — карман. *(Прим. О. М. Сомова.)*

** Крамарь — мелочной торговец красным товаром. *(Прим. О. М. Сомова).*

*** Завзятость — удальство, молодечество. *(Прим. О. М. Сомова.)*

**** Перéкупка — рыночная торговка, продающая плоды, овощи и т. п. Перекупками называются они потому, что покупают сии произведения дешевою ценой у сельских жителей и продают дороже в городе. *(Прим. О. М. Сомова.)*

***** Печерск и Подол — части города Киева. *(Прим. О. М. Сомова.)*

****** Кныши — род саек; сластены — оладьи. Черешни — небольшие сливы, похожие на французские и очень сладкие. *(Прим. О. М. Сомова.)*

поглядеть — так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и ста́тью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех *парубков*. Да и мать ее — женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у нее столько, что хоть лопатой греби.

— Все это так,— подхватила первая,— только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят — наше место свято!— будто она ведьма.

— Слыхала и я такие слухи, кумушка,— заметила вторая.— Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...

— Да мало ли чего можно о ней рассказать!— перебила ее первая.— Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была ярчук* и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи бог и слышать.

— Что, что такое?— вскричали с любопытством две другие перекупки.

— Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...

— Полно вам щебетать, пустомели!— прервала их разговор одна старая перекупка с недобрым видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих. — Толковали бы вы про себя, а не про других,— продолжала она отрывисто и сердито.— У вас все пожилые женщины с достатком — ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к кагалу** киевских ведьм.

Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предостеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не

---

* Ярчук — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм по духу, даже кусать их. *(Прим. О. М. Сомова.)*

** Кагал — синагога или сборище *(Прим. О. М. Сомова.)*

думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма,— и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту — все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излияний супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы навертывались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших, черных ее глаз, что у него невольно холод пробегал по жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко и неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякой раз тяжкая тайна залегала у ней в груди, теснила ее — и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто непросто: более никакого признания не мог он от нее добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и, сверх того, видал примеры подобной порчи или болезни.

Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какую-то скрытную тревогу,— неразгадаемый, глубокий сон одолевал

его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди надоумили, только однажды в такую ночь под исход месяца Федор, ложась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на приспе*, вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном.—«Эге! так вот от чего и я спал, дорогая моя женушка!»— подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клети, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети, лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетела в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге

---

* Приспа — завалина, земляная насыпь вокруг хаты. *(Прим О. М. Сомова.)*

душевной он ничего не мог придумать, даже недоставало у него ни на что смелости; лучше отложить до следующего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему приготовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница его мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним, бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжкой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом: это была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитростное и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она дышала только для любви, видела все счастие жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ли такой привиделся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтоб отвратить его сердце от жены любимой?

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодицей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что́ должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постелю, то, запустив руку под

изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб закурить трубку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Радуясь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный каменьями, раскрыл его — и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы*, осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и кореньев и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то исступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел — но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: «Лети, лети, лети!», то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку

---

* Чертов палец — ископаемое, находимое весьма часто в Украине. Оно имеет вид конический и цветом похоже на нечистый янтарь. *(Прим. О. М. Сомова.)*

с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очувствовался, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его, ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли подмостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньею мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими ногтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки, кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечною своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных как гриб ведьм водила журавля*, приплясывая, стуча гоцки** сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались вприсядку с карликами-домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные

---

* Журавель — малороссийская пляска, род длинного польского, только гораздо живее; танцуется попарно. *(Прим. О. М. Сомова.)*

** Гоцки — гоц-год! Чоканье ногой об ногу. *(Прим. О. М. Сомова.)*

два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье*, плясали горлицу и метелицу** с косматыми водяными, у которых образины на два пальца были покрыты тиной; резвые, шаловливые русалки носились в дудочке*** с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрып и свисты адских гудков и сопелок****, пенье и визг чертенят и ведьм — все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую бубликами***** на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали Дзыгой******; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Блискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодицам было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свою жену. Катруся отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась перед ним, как юла. Федор, в гневе и ревности, хотел бы броситься на

---

* Веселье (висилье)— свадьба, свадебный пир. *(Прим. О. М. Сомова.)*

** Горлица и метелица — малороссийские пляски; танцуются кадрилью. *(Прим. О. М. Сомова.)*

*** Дудочка — тоже пляска, живая и быстрая. По большей части две женщины танцуют ее с одним мужчиной. *(Прим. О. М. Сомова.)*

**** Сопелка — дудка, свирель. *(Прим. О. М. Сомова.)*

***** Бублики — калачи или крендели. *(Прим. О. М. Сомова.)*

****** Дзыга — волчок или юла, игрушка. *(Прим. О. М. Сомова.)*

нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих; но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали.

Вдруг раздался как внезапный порыв бури густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках,— и покрыл собою все: и звон гудков и цимбалов, и свист волынок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жида на цимбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку — и мигом все запели:

Высоки скоки
В сороки,
Низки поклоны
В вороны*,—

подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты, проклятое племя!— шептал про себя Федор Блискавка.— Оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные веселъные песни на своем мерзостном шабаше перед этим уродом, в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в тартарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей пекельной** головне в глотку: тогда бы небось позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»

Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» В минуту все всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки — все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся — Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то,— думал казак,— настал

---

* Свадебная песня. Заметим, что здесь предлог *в* заменяет предлог *у* русского языка. *(Прим. О. М. Сомова.)*

** Пекельный — адский. Пекло — ад, от глагола: пеку, печь (по-малороссийски: пекты). *(Прим. О. М. Сомова.)*

мой смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он, ни жив ни мертв, выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за костер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрыпнула зубами... но в тот же миг сорвала с себя н а м и т к у, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев — и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.

Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой грезились ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припоминал себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою игривостью... «И все это было только притворство!— думал он.— Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть». То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В задумчивости он и не приметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы ее помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.

— Федор!— сказала она печально.— Зачем ты подсматривал, что я делала? зачем, не спросясь меня, пускался на Лысую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! ты сам растоптал наше счастие!..

— Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая!— отвечал Федор с негодованием и отвращением.— Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!

— Послушай, Федор,— подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза.— Послушай! Не я виновата, мать моя всему виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву... Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их проклятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем — ты, кого люблю я, как душу, как свое спасенье на том свете... Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше

меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало... Не приведи бог и татарину того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась — ничто не помогало! Все мне и днем, и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день — какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала на Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие... Как бога с небес, ждала я страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упросила бы их, чтобы заперли меня на все последние три дня в Пещерах, до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от меня бесовское наваждение... Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный! ты сам погубил и меня, и себя и навеки затворил от меня двери райские...

— Так живи же с своими родичами*, лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда! оставь меня...

— Не властна я тебя оставить!— прервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказать, приросши к нему.— Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва... В силу этой клятвы кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли... кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды,— но мы должны... ох! тяжело сказать!.. должны высосать до капли кровь его...

— Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной... Все мне постыло на этом свете... Пей же, соси мою кровь!

— И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжко мне, что злая доля развела нас и здесь, и там...

Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.

— Об одном только прошу тебя,— продолжала она,— погляди на меня умильно, дай на себя насмотреться, поцелуй меня впоследние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слип-

* Родич — родня, родственник. *(Прим. О. М. Сомова.)*

лись в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она рукой искала его сердца по биению... Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем как Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»

— Сладко!..— отвечал он чуть слышным лепетом.— И уснул навеки.

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по окружности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и оттого она просветлела.

В. ОДОЕВСКИЙ

БАЛ

Г.А.Ф. 3-й

Ze-sanglot cousiste, ainsi gue le rire
eu une expirátion entr econpe„e,
agant lieu de la méme maniege...
Descriptum anatomique de
l'organisme humain[1].

1

Бал разгорался час от часу сильнее; над бесчисленными тускнеющими свечами волновался тонкий чад, и сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины; от обнаженной груди красавиц поднимался знойный воздух, и часто, когда пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами,— вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий, удушающий ветер; час от часу скорее развивались душистые локоны; смятая дымка небрежнее свертывалась на распаленные плечи; быстрее бился пульс; чаще встречались руки, близились вспыхивающие лица; томнее делались взоры, слышнее смех и шепот; старики поднимались с мест своих, расправляли бессильные члены, и в их остолбенелых глазах мешалась горькая зависть с бешеным воспоминанием прошедшего — и все вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастном безумии...

На небольшом возвышении с визгом скользили смычки по натянутым струнам; трепетал могильный голос валторн,

---

[1] Рыдание, как и смех, состоит в прерывистом выдыхании, осуществляемом одинаковым образом.

Анатомическое описание человеческого организма (*франц.*) — *Ред.*

и однообразные звуки литавр отзывались насмешливым хохотом. Седой капельмейстер с улыбкой на лице, вне себя от восторга, беспрестанно учащал размер и взором, телодвижениями возбуждал утомленных музыкантов.

— Не правда ли?— говорил он мне отрывисто, не оставляя смычка.— Не правда ли? я говорил, что бал будет на славу,— и сдержал свое слово. Все дело в музыке,— не умеют составлять ее,— она поднимает с места... невольно вводит танцующих в упоение,— в сочинениях славных музыкантов есть места, которые производят странное действие,— я славно подобрал их — в этом все дело; вот слышите: это вопль Анны, когда Дон Жуан насмехается над нею; вот это стон умирающего Командора; вот минута, когда Отелло начинает верить своей ревности; вот последняя молитва Дездемоны.

Еще долго капельмейстер исчислял мне все человеческие страдания, получившие голос в произведениях славных музыкантов; но я не слушал его более,— я заметил в музыке что-то странное, обворожительно-ужасное; я заметил, что к каждому звуку присоединялся другой звук, более пронзительный, от которого холод пробегал по жилам и волосы дыбом становились на голове; прислушиваюсь, то как будто крик страждущего младенца, или буйный вопль юноши, или визг сиротеющей матери, или трепещущее стенание старца,— и все голоса различных терзаний человеческих явились мне, как музыкальные тоны, разложенными по степеням одной бесконечной гаммы, продолжавшейся от первого вопля новорожденного до последней мысли умирающего Байрона: каждый звук вырывался из раздраженного нерва, и каждый напев был судорожным движением.

Этот страшный оркестр темным облаком висел над танцующими,— при каждом ударе оркестра вырывались из облака: и громкая речь негодования; и прорывающийся лепет побежденного болью; и глухой говор отчаяния; и резкая скорбь жениха, разлученного с невестою; и раскаяние измены; и крик торжествующих возмутителей; и насмешка неверия; и бесплодное рыдание гения; и таинственная печаль обманутого лицемера; и стон страдальца, не признанного своим веком, и вопль человека, в грязь стоптавшего сокровищницу души своей; и болезненный голос изможденного долгою жизнию человека; и радость мщения; и трепетание злобы; и упоение истребителя; и томление жажды; и скрежет зубов; и хруст костей; и плач, и взрыд; и хохот... и все сливалось в неистовые созвучия, которые громко выговаривали проклятие природе и ропот на провидение; при каждом ударе оркестра выставля-

лись из него: то посинелое лицо истерзанного пыткою, то смеющиеся глаза сумасшедшего, то трясущиеся колена убийцы, то замолчавшие уста убитого тайною душевною грустию; из темного облака капали на паркет кровавые капли и слезы,— по ним скользили атласные башмаки красавиц... и все попрежнему вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастно-холодном безумии...

2

Долго за рассвет длился бал; долго поднятые с постели житейскими заботами останавливались посмотреть на мелькающие тени в светлых окошках.

Закруженный, усталый, истерзанный его мучительным весельем, я выскочил на улицу из душных комнат и впивал в себя свежий воздух; утренний благовест терялся в шуме разъезжающихся экипажей и предо мною были растворенные двери храма.

Я вошел; в церкви пусто, одна свеча горела пред иконою, и тихий голос священника раздавался под сводами; он произносил заветные слова любви, веры, надежды; он возвещал таинство искупления, он говорил о том, кто соединил в себе все страдания человека; он говорил о высоком созерцании божества, о мире душевном, о милосердии к ближнему, о братском соединении человечества, о забвении обид, о прощении врагам, о тщете замыслов богопротивных, о беспрерывном совершенствовании души человека, о смирении пред судьбами всевышнего; он молился об оглашенных, о предстоящих!

Я бросился к притвору храма, хотел удержать беснующихся страдальцев, сорвать с сладострастного ложа их помертвелое сердце, возбудить его от холодного сна огненною гармониею любви и веры,— но уже было поздно!— все проехали мимо церкви, и никто не слыхал слов священника.

БРИГАДИР

(И. С. Мальцеву)

Жил, жил, и только что в газетах
Осталось: «выехал в Ростов».
Дмитриев

Недавно случилось мне быть при смертной постели одного из тех людей, в существование которых, как кажется, не вмешивается ни одно созвездие, которые умирают, не оставив по себе ни одной мысли, ни одного чувства. Мой покойник всегда возбуждал мою зависть: он жил на сем свете больше полвека, и в продолжение этого времени, пока цари и царства возвышались и падали, пока открытия сменяли одно другое и превращали в развалины все то, что прежде называлось законами природы и человечества, пока мысли, порожденные трудами веков, разрастались и увлекали за собою вселенную,— мой покойник на все это не обращал никакого внимания: ел, пил, не делал ни добра, ни зла, не был никем любим и не любил никого, не был ни весел, ни печален; дошел за выслугу лет до чина статского советника и — отправился на тот свет во всем параде: обритый, вымытый, в мундире.

Неприятно, тягостно это зрелище: в торжественную минуту кончины человека душа невольно ожидает сильного потрясения, а вы холодны; вы ищете слез, а на вас находит насмешливая, едва ли не презрительная улыбка!— Такое состояние неестественно, ваше внутреннее чувство нагло обмануто, растерзано; а что всего хуже, это зрелище заставляет вас обратиться на зрелище, еще более несносное — на самого себя, возбуждает в вас докучливую деятельность, разлучает вас с тем сладким равнодушием, которое в гладкую ледяную кору заключало для вас все подлунное. Прощай, свинцовая дремота! прежде с высоким сладострастием самоубийцы вы прислушивались к той глухой боли, которая мало-помалу точит организм ваш; а теперь вы боитесь этого верного, неизменного наслаждения; вы начинаете по-прежнему считать

минуты, раскаиваться; снова решаетесь на новую борьбу с людьми и с самим собою, на старые, давно уже знакомые вам страдания...

Так было со мною. Покойника холодно отпели, холодно бросили на него горсть песку, холодно совсем закрыли землею. Нигде ни слезы, ни вздоха, ни слова. Разошлись; я вместе с другими... мне было смешно, грустно, душно; мысли и чувства теснились в душе моей, перебегали от предмета к предмету, мешали размышление с безотчетностию, веру с сомнением, метафизику с эпиграммой; долго волновались они, как волшебные пары над треножником Калиостро, и наконец мало-помалу образовали предо мною образ покойника. И он явился, точь-в-точь как живой: указал мне на свои брюшные полости, вперил в меня глаза, ничего не выражающие. Тщетно хотел я бежать, тщетно закрывал лицо руками; мертвец всюду за мною, смеется, прядает, дразнит мое отвращение и щеголяет передо мною каким-то родственным со мною сходством...

«Ты смотрел холодно на мою кончину!»— вдруг сказал мне мертвец, и лицо его приняло совсем иное выражение: я с удивлением заметил, что во взоре его место бесчувственности заступила глубокая, неистощимая грусть; черты бессмыслия выразили лишь холодное, обжившееся отчаяние; отсутствие вдохновения превратилось в выражение беспрестанного, горького упрека...

«Ты даже с насмешкою, с презрением смотрел на мои последние страдания,— продолжал он уныло.— Напрасно! ты не понял их: обыкновенно жалеют, плачут об умершем гении, бросившем плодоносную мысль на почву человечества; о художнике, оставившем в звуках и красках все царство души своей; о законодателе, в себе одном заключившем судьбу миллионов; и о ком жалеют? о ком плачут?— о счастливцах! Над их смертною постелью витает все прекрасное, ими созданное; им разлуку с миром услаждает их право на гордость, от которого так свежо душе человека; они в последнюю минуту, больше нежели когда-нибудь, вспоминают о делах, ими совершенных: в эту минуту и похвалы, ими слышанные и предполагаемые, и их тяжкие, таинственные страдания, даже самая неблагодарность людей — все сливается для них в громкий, благодарственный гимн, который чудною гармониею отдается в их слухе! А я и мне подобные? Мы в тысячу раз более достойны слез и сожаления! Что могло усладить мою последнюю минуту, что? разве беспамятство, то есть продолжение того же состояния, в котором я находился во всю мою

жизнь? Что я оставлю по себе? *Мое все со мною!* А если то, что я говорю тебе теперь, пришло мне в голову в мою последнюю минуту; если что-либо шевелилось в душе моей в продолжение моей жизни; если последнее, судорожное потрясение нерв внезапно развернуло во мне жажду любви, самосведения и деятельности, заглушенную во время жизни: буду ли я тогда достоин сожаления?»

Я содрогнулся и проговорил почти про себя: «Кто же мешал тебе?»

Мертвец не дал мне окончить, горько улыбнулся и взял меня за руку.

«Посмотри на эти китайские тени,— сказал он,— вот это я. Я в доме отца моего. Отец мой занят службою, картами и псовою охотой. Он меня кормит, поит, одевает, бранит, сечет и думает, что меня воспитывает. Матушка моя занята надзором за нравственностию целого околотка, и потому ей некогда присмотреть ни за моею, ни за своею собственною: она меня нежит, лелеет, лакомит потихоньку от отца; для приличия заставляет меня притворяться; для благопристройности говорить не то, что я думаю; быть почтительным к родне; выучивать наизусть слова, которых она не понимает,— и также думает, что она меня воспитывает. В самом же деле меня воспитывают челядинцы: они учат меня всем изобретениям невежества и развращения,— их уроки я понимаю!..

Вот я с учителем. Он толкует мне то, чего сам не знает. Никогда не думавши о том, что есть у понятий естественный ход, он перескакивает от предмета к предмету, пропуская необходимые связи. Ничего не остается и не может остаться в голове моей. Когда я не понимаю его,— он обвиняет меня в упрямстве; когда я спрашиваю о чем,— он обвиняет меня в умничанье. Школа мне мука, и ученье не развертывает, а только убивает мои способности.

Мне еще не исполнилось [четырнадцати] лет, а уж конец ученью! Как я рад! я уж затянут в сержантский мундир; днем хожу в караул и на ученье, а больше езжу по родне и начальникам; ночью завиваю пукли, пудрюсь и танцую до упаду. Время бежит, и подумать — физически некогда. Батюшка учит меня ходить на поклоны и подличать; матушка показывает мне богатых невест. Когда я осмеливаюсь сделать какое-нибудь возражение,— это называют неповиновением родительской власти; когда мне случайно удастся выговорить мысль, которую я не слыхал ни от батюшки, ни от матушки,— это называют вольнодумством. Меня бранят

и грозят мне за все, за что бы должно хвалить, и хвалят за все, за что бы должно бранить. И естественное состояние души моей превратилось: я запуган, закружен; к тому же природа от щедрот своих [совсем некстати] снабдила меня слабыми нервами; и я — оторопел на всю жизнь: на все мои душевные способности нашло какое-то онемение; нечему развернуть их: они еще в почке, а уж раздавлены всем, меня окружающим; нет предмета для мыслей; может быть, мог бы я думать, да не с чего начать и не умею; я также не могу вообразить, что можно о чем-нибудь думать, кроме моих ботфортов, как глухонемой не может себе вообразить, что такое звук... Между тем я пью и играю, ибо иначе меня назовут дурным товарищем, что бы мне было очень прискорбно.

Все женятся. Надобно жениться и мне. Вот я женат. Жена мне под пару. А я все тот же: в голове у меня до сих пор одни батюшкины мысли: если как-нибудь придет мне в голову мысль, непохожая на батюшкину, то я от нее отмаливаюсь, как от бесовского наваждения; боюсь быть дурным сыном, ибо хоть не понимаю, в чем состоит добродетель, но мне по инстинкту хочется быть добродетельным. Вот почему утром мы с женою сводим разные счеты,— ибо батюшка, пуще совести, наказал мне не растерять мнение,— а потом —потом туалет, обед, карты, танцы. Мы живем очень весело; время бежит, и очень скоро. Когда мне по инстинкту захочется переменить что-нибудь в нашем образе жизни,— жена мне грозит названием дурного мужа, и я продолжаю ей покоряться, потому что мне хочется сохранить уже приобретенное мною название истинного христианина и человека с правилами. Этому много помогает то, что я усердно езжу к родне и не пропускаю ни одних именин и ни одного рождения.

Вот у меня дети; я очень рад; говорят, что их надобно воспитывать,— почему не так! В чем состоит воспитание — мне некогда было подумать, и потому я счел за лучшее воспользоваться батюшкиными советами и стал детей точно так же воспитывать и говорить им точно те же слова, которые мне батюшка говорил. Так гораздо покойнее! Правда, многие из его слов я повторяю так, по привычке, кстати и некстати, не присоединяя к ним никакого смысла,— но что нужды!— очевидно, что отец не мог желать мне худого, и потому все-таки его слова принесут моим детям пользу, и опытность отцов не будет потеряна для детей. Иногда от такого повторения чужих слов у меня краска вспыхивает в лице; а от чего — не понимаю; ибо чем, если не таким беспрестанным

памятованием отцовских наставлений, можно лучше доказать сыновнее почтение и что мне, в свою очередь, может доставить больше прав на такое же почтение детей моих?

По инстинкту мне захотелось отдать детей в общественное заведение; но вся родня мне сказала, что в школе мои дети потеряют приобретенные ими в доме правила нравственности и сделаются вольнодумцами. Для сохранения семейственного спокойствия я решаюсь учить их дома и, не умея выбрать учителей, выбираю их и плачу дорого; вся родня моя за то мною не нахвалится, и уверяют, что на детей моих сошло божие благословение, потому что они во всем на меня похожи как две капли воды. Но это не совсем правда: жена мне много мешает.

Я жены моей никогда не любил, и что такое любовь, я никогда не знал; я сначала не замечал этого; пока нам говорить было некогда и не о чем, мы как-то уживались; теперь же, как народились дети и мы стали меньше выезжать,— беда моя приходит! мы ни в чем с женою не согласны: я хочу одного, она другого; начнем ни с того ни с сего; оба говорим; друг друга не понимаем, и,— сам не знаю,— всякий спор обратится в спор о том, кто из нас умнее, а этот спор длится всегда [двадцать четыре] часа; и так только мы вместе, то или молчим да скучаем, или — содом содомом!— она закричит — я уговаривать; она завизжит — я кричать; она в слезы, потом больна — я ухаживать. Так проходят целые дни; время бежит, и очень скоро.

Отчего происходят наши ссоры — право, не понимаю: мы оба, кажется, смирного нрава и истинные христиане; я почтительный сын, она почтительная дочь; я уже сказал, что учу детей моих тому, чему меня сам отец учил, а она учит, чему ее сама мать учила,— чего бы лучше? Но, к несчастию, мой батюшка и ее матушка противоречили друг другу; оттого мы свято исполняем родительский долг, а сбиваем детей с толку: она их держит в хлопках, я вожу на мороз,— дети мрут; за что бог меня наказывает?

Мне уж приходит невтерпеж, и, хоть для спасения детей, я хотел было пустить мою жену на все четыре стороны; но как я покажусь на глаза людям, подавши такой пример безнравственности? Нечего делать! видно, век терпеть муку; утешительно, что хотя чужие люди нас за то хвалят и называют примерными супругами, потому что хотя друг друга терпеть не можем, да живем вместе по закону.

Между тем время все бежит да бежит, а с ним растут и мои чины; по чинам мне дают место; по инстинкту я догадываюсь, что не могу занимать его,— ибо от непривычки к чтению я, читая, ничего не понимаю. Но мне сказали, что я буду дурным отцом, если не воспользуюсь этим местом, чтобы пристроить детей; я не захотел быть дурным отцом и потому принял место; сначала было посовестился, стал было читать, да вижу, что хуже, а потому отдал все бумаги на попечение секретаря, а сам принялся подписывать да пристраивать детей — чем и заслужил название доброго начальника и попечительного отца.

А время бежит да бежит; вот я уже переступил через [четвертый] десяток; период жизни, в котором умственная деятельность достигает высшей точки своего развития, уже прошел; мои брюшные полости раздвигаются все больше и больше, и я начал, как говорится, идти в тело. Когда уже прежде, до сего периода, ни одна мысль не могла протолкаться мне в голову,— чему же быть теперь? Не думать сделалось мне привычкою, второю природой. Когда от ослабления сил нельзя мне выехать,— мне скучно, очень скучно, а отчего?— я сам не знаю. Примусь раскладывать гранпасьянс — скучно. Бранюсь с женою — скучно. Пересилю себя, поеду на вечер,— все скучно. Примусь за книгу — кажется, русские слова, а словно по-татарски; придет приятель да расскажет, я как будто пойму; стану читать — опять не понимаю. От всего этого на меня находит, что говорится, *хандра*, за что жена меня очень бранит; она спрашивает меня: разве чего мне недостает или я в чем несчастлив?— я приписываю все это геморрою.

Вот я болен, в первый раз в жизни я тяжело болен,— меня уложили в постель. Как неприятно быть больным! Нет сна, нет аппетита! как скучно! а вот и страдания! Чем заглушить их? Как приедут люди поговорить,— ибо вся моя родня свято наблюдает родственные связи,— то как будто легче, а все скучно и страшно. Но что-то родные начинают чаще приезжать; они что-то шепчутся с доктором — плохо! Ахти! говорят уж мне о причастии, о соборовании маслом. Ах! они все такие хорошие христиане,— но ведь это значит, что я уже при последнем конце. Так нет уже надежды? Должно оставить жизнь,— все — и обеды, и карты, и мой шитый мундир, и четверку вороных, на которых я еще не успел поездить,— ах, как тяжело! Принесите мне показать новую ливрею; позовите детей; нельзя ли еще помочь? призовите еще докторов; дайте какого хотите лекарства; отдайте половину

моего имения, все мое имение: поживу, наживу — только помогите, спасите...

Но вдруг сцена переменилась, страшная судорога потрясла мои нервы и, как завеса, упала с глаз моих. Все, что тревожит душу человека, одаренного сильною деятельностию: ненасытная жажда познаний, стремление действовать, потрясать сердца силою слова, оставить по себе резкую бразду в умах человеческих,— в возвышенном чувстве, как в жарких объятиях, обхватить и природу и человека,— все это запылало в голове моей. Предо мною раскрылась бездна любви и человеческого самосведения. Страдания целой жизни гения, не утомимые никаким наслаждением, врезались в мое сердце — и все это в ту минуту, когда был конец моей деятельности. Я метался, рвался, произносил отрывистые слова, которыми в один миг хотел высказать себе то, на что недостаточно человеческой жизни. Родные воображали, что я в беспамятстве. О, каким языком выразить мои страдания! Я начал *думать!* думать — страшное слово после шестидесятилетней бессмысленной жизни! Я понял *любовь!* любовь — страшное слово после шестидесятилетней бесчувственной жизни!

И вся жизнь моя предстала мне во всей отвратительной наготе своей!

Я позабыл все обстоятельства, встретившие меня с моего рождения; все неумолимые условия общества, которые связывали меня в продолжение жизни. Я видел одно: посрамленные мною дары провидения! И все минуты моего существования, затоптанные в бессмыслии, приличиях, ничтожестве, слились в один страшный упрек и жгучим холодом обдавали мое сердце!

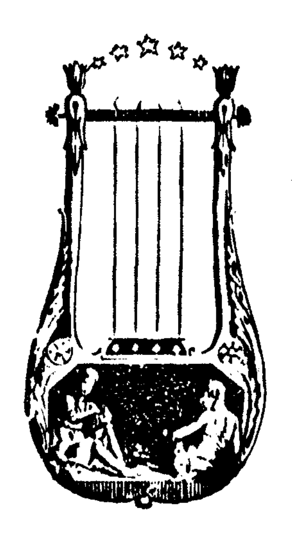
Тщетно искал я в своем существовании одной мысли, одного чувства, которыми бы я мог прикрыться от гнева вседержителя! Пустыня отвечала мне, и в детях моих я видел продолжение моего ничтожества: ах! если бы я мог говорить, если бы я мог вразумить меня окружающих, если бы я мог поделиться собою с ними, дать ощутить им то чувство, которым догорала душа моя! Тщетно я простирал мои руки к людям,— хладные, загрубелые — они хотели познать дружеское пожатие; но человечество чуждалось немеющего трупа — и я видел лишь одного себя перед собою — себя, одинокого, безобразного! Я жаждал взора, который бы отрадою сочувствия пролился в мою душу,— и встретил лишь насмешливое презрение на лице твоем! Я понял его, я разделил его! и с страшною, неотвратимою, вечною горечью оставил земную оболочку!... Теперь,

если хочешь, не сожалей обо мне, не плачь обо мне, презирай меня!»

Кровавые слезы покатились по синим щекам мертвеца, и он исчез с грустною улыбкой... Я возвратился на его могилу, преклонил колена, молился и долго плакал; не знаю, поняли ли проходящие, о чем я плакал...

НОВОСЕЛЬЕ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ А. ПЛЮШАРА

1834.

В. ОДОЕВСКИЙ

КАТЯ, ИЛИ ИСТОРИЯ ВОСПИТАННИЦЫ

(Отрывок из романа)

В один прекрасный майский вечер,— извините, в июньский,— когда наши набеленные и нарумяненные острова уведомляют петербургских жителей, что настало лето; когда петербургские жители, поверив укатанным дорожкам и напудренной зелени, запасаются палатками, серыми шляпами и разными другими снадобьями против зноя, переезжают в карточные домики, называемые дачами, затворяют в них двери, окна и в продолжение нескольких месяцев усердно занимаются химическим разложением дерева на его составные части; когда между тем дождь хлещет в окошки, пробивает кровли, ветер ломает едва насаженные деревья, а гордая Нева, пользуясь белесоватым светом ночи, грозно выглядывает из-за парапета, докладывает гостиным, что сверх ежедневных интриг, сплетней и происков существует на сем свете нечто другое,— в один из таких прекрасных вечеров, говорю, на берегу Черной речки, в загородном доме, построенном на итальянский манер, столь приличный нашему климату, несколько дам и мужчин толпились в гостиной после раута; получено было известие, что река высока, что вздулись мосты и что собираются развести их; усталая хозяйка, проклиная запоздалых гостей, радушно предложила им переждать непогоду, уверяя честию, что она в восхищении от этого случая. Гости благодарили хозяйку за ее благосклонность и, в свою очередь, проклинали ее и ее раут, который поставил их в такое неприятное положение. Когда таким образом истощился запас обыкновенных учтивос-

тей и внутренней досады, всякий принялся за свое дело. Благоразумнейшие начали новую партию виста, менее благоразумные присели смотреть на игру, остальные атаковали камин. К этому кружку присоединился и я.

В подобных обстоятельствах над кружком людей, соединившихся в гостиной силою симпатии, обыкновенно несколько времени еще носится удушливый воздух раута; но он мало-помалу редеет, язык делается развязнее, мысли крупнее. Зашла, не знаю как, речь о предчувствиях, о таинственных отвращениях и пристрастиях; пересказаны были все известные анекдоты о слепой ненависти к бабочкам, к собакам, к воде и прочему тому подобному; и естественным образом разговор обратился к впечатлениям, оставляемым в нас происшествиями нашего детства. Тогда я заметил на лице одного молодого человека, до тех пор не принимавшего участия в разговоре, легкое судорожное движение, которое было смесью досады на самого себя и какого-то раскаяния.

— Этот разговор,— сказал он,— напоминает мне одно очень простое происшествие моего детства, но которое оставило во мне не только сильное воспоминание, но провело неизгладимую черту в моем характере.

Его просили рассказать это происшествие; молодой человек облокотился на камин, и вот что я мог упомнить из слов его.

Нужным считаю прибавить для читателей следующее физиономическое наблюдение, сделанное мною над рассказчиком.

Это было одно из тех странных лиц, которые иногда встречаются в свете между людьми нового поколения; ничто не выражается в этом лице, но оно вас останавливает; видите самодовольную улыбку, а в вас рождается невольное сострадание; в этой физиономии выговаривается что-то прекрасное, неоконченное, смешное, страдающее — какой-то роман без развязки; она напоминает вам и пиитические мгновения Дон Кихота, и растение, заморенное химиком в искусственной атмосфере, Гетевы слова о Гамлете и те странные существа, которых насмешливая природа производит на свет, как будто лишая способности к жизни. Новая наука оправдала провидение: природа не производит уродов, она производит существа, одаренные всеми органами жизни, но часто один орган развивается, а все другие остаются в затвердении; так бывает и в нравственном мире: родятся люди с сильными мыслями, с сильными чувствами,— но одно какое-нибудь чувство разовьется, поглотит жизнь всех других, осиротелое самое завянет, и душа сделается похожею на немую карту:

видны очерки мест, но нет им названия — все безмолвно!

Разговор таких людей имеет какую-то особенность, которая не встречается у людей, привыкших ежедневно издерживать свою душу; такие люди радуются редкой минуте сильного движения; стараются вместить в нее все, что когда-то загоралось в их сердце, все, что пережило в нем потихоньку от людей. Такие люди любят останавливаться на предметах, по-видимому весьма обыкновенных, любят возгласы и отступления,— и это очень естественно; чувства и мысли, сжатые в них в продолжение времени, в минуту своего освобождения вырываются толпою, и каждая с настойчивым эгоизмом требует себе тела и образа. Эта оригинальность много теряется на бумаге.

— Я должен начать несколько издалека,— сказал молодой человек,— иначе моя история будет непонятна. Не знаю, найдется ли теперь и в Москве дом, подобный дому графини Б.; в Петербурге же наверное не сыщете. Представьте себе хоромы и жизнь старинного богатого русского боярина: дорогие штофные обои, длинные составные зеркала в позолоченных рамах; везде часы с курантами, японские вазы, китайские куклы, столы с выклеенными на них из дерева картинками; толпа слуг в ливреях, вышитых басоном с гербами; шуты, шутихи, карлы, воспитанницы, попугаи, приближенные; несколько десятков человек за обедом и ужином; во время стола музыка, вечером танцы, и все это каждый день — запросто; а в праздники, на святках, на масленице — блестящие балы, маскарады, французские спектакли; словом, все возможные выдумки рассеянности. Наши деды, как вы знаете, любили веселиться и роскошничать; они веселились больше, нежели мы, и роскошничали со страстию, с бешенством; в этом поставляли они просвещение и гордились им не меньше нашего; со всеми изобретениями ума и вкуса они поступали, как дикий, который за бутылку поддельного шампанского отдает последний топор свой, выпивает разом драгоценный напиток и не думает спрашивать, откуда добывается это вино, как его делают, отчего кипит оно, отчего оно разливает по его телу это странное и веселое ощущение.

Графиня была нам родственница и очень любила меня, по крайней мере, мне так казалось, потому что в светлое воскресенье она обыкновенно присылала мне целую корзину яиц хрустальных, фарфоровых, шитых золотом; потому, что подарила мне китайца, который бегал по комнате и махал руками и которого я изломал, чтобы узнать, отчего он бегает, потому, что она нарочно для меня велела приучить моську

ходить в дрожках и возить меня по саду; а пуще всего потому, что, когда я бывал у моей Коко,— так называл я графиню,— то мне позволяли лакомиться сколько душе угодно. Все дело было в том, что я был, чему вы теперь не поверите, краснощекий, пухленький мальчик с русыми кудрями и что моя Коко любила всех детей без исключения.

Это пристрастие к детям умножало в доме графини число воспитанниц, которые и без того, по заведенному исстари порядку, должны были находиться в каждом московском порядочном доме; но любимая ее воспитанница называлась Катею. Знаете ли вы, что такое воспитанницы у московских барынь? Самые несчастные существа в мире. Вот это как делалось и, думаю, до сих пор делается: берут дворяночку или свою крепостную, одевают ее, воспитывают вместе с своими детьми, ласкают ее до тех пор, пока она не подрастет,— словом, поступают точь-в-точь как природа, которая своего избранного дарит сильным воображением, раздражительною чувствительностию, для того чтобы он впоследствии живее чувствовал все терзания жизни. С возрастом начинаются страдания бедной воспитанницы; она должна угождать всему дому, не иметь ни желаний, ни воли, ни своих мыслей; одевать барышень, работать для них и за них; носить собачку; со смирением вытерпливать дурное расположение духа своей так называемой благодетельницы; смеяться, когда хочется плакать, и плакать, когда хочется смеяться, и при малейшей оплошности слушать нестерпимые для юного, свежего сердца упреки в нерадении, лености, неблагодарности! А сколько маленьких страданий, которые, может быть, нам и непонятны, но очень чувствительны для бедной воспитанницы в ее маленьком круге: слуги завидуют ей и вымещают на ней злость свою на господ, не встают перед нею, отвечают ей с грубостью, обносят за столом; мужчины не стыдятся говорить при ней о вещах, о которых не говорят при девушках; ее возят в театр, когда в ложе просторно, возят на гулянье, когда в карете есть лишнее место; если же, к несчастью, она хороша собою, то ее обвиняют в неудаче барышень, гонят на мезонин, когда в гостиной есть женихи на примете; и она осуждена или свой век провести в вечном девстве, или выйти замуж за какого-нибудь чиновника четырнадцатого класса, грубого, необразованного, и после довольства и прихотей роскошной жизни приняться за самые низкие домашние занятия. Вы не знаете, что такое жизнь нашего среднего класса,— она очень любопытна; жаль, что еще никто из авторов не обращал на нее внимания; но я не стану говорить о ней, это бы завлекло меня в другую материю; вообразите

себе только все тщеславные потребности богатого человека, соедините их со всеми недостатками нищеты; вообразите себе только, что в доме какого-нибудь канцеляриста, получающего в год не более тысячи рублей, наблюдается большая часть того, что и в богатом доме; и все, что здесь делается с помощью больших расходов и многочисленной прислуги,— у него исполняется одною матерью семейства! Но я заговорился и до сих пор еще не рассказал моего происшествия. Итак, прибавлю только, что Катя была дочь одного из графининых официантов; ее миловидное личико понравилось графине, и она взяла ее воспитывать вместе с двумя своими дочерьми, учила ее вместе с ними, одевала ее в одинаковые с ними платья; когда было нечетное число, Катя садилась за стол; когда недоставало пары, Катя танцевала. В то время, о котором я говорю, ей было лет десять, а мне шесть. Я очень полюбил Катю: графиня заметила это и потому всегда заставляла Катю забавлять меня; и бывало, что я приеду, милая Катя ко мне навстречу, бегает со мной по саду, показывает картинки, рассказывает сказочки, заставляет китайских куколок качаться и выставлять языки. Вот однажды у графини детский маскарад; я, разумеется, приглашен; в первый еще раз в жизни меня повезли на бал, и я был вне себя от радости; но не знаю, как-то я запоздал, кажется, оттого, что на мне долго поправляли гусарский шитый мундир; помню только, что этот мундир придал мне большую гордость, особливо когда, вошедши на бал, я увидел, что всех лучше одет и что все глаза обратились на меня, что все, как водится, окружили меня, удивлялись, целовали. Другие дети уже танцевали, и мне не осталось ни одной маленькой дамы, кроме Кати; мне подвели ее; но я, я не знаю, что сделалось со мною,— я гордо закинул золотые кисти моего кивера, которые больше всего наряда мне нравились, тряхнул саблею и сказал, что не хочу танцевать с холопкою. И что же? вместо того чтобы выдрать мне уши, заставить у Кати просить прощения, заставить танцевать с нею,— все, напротив, стали смеяться и хвалить меня: «Вот молодец! славно! славно! Как можно князю, да еще гусару, танцевать с холопкою?» Так понимают у нас воспитание! Но Катя заплакала, увидев ее слезы, заплакал и я — я вспомнил, как она еще вчера потихоньку от моей гувернантки вывела у меня из платья воск, которым я залил себя, махая свечою, чтобы показать ей, как в балете плясали фурии,— ибо мне строго запрещено было дотрагиваться до свечей... простите мне, что я упоминаю обо всех этих мелочах; они все так живы в моей памяти, что когда я заговорю об одном происшествии, то одно тянет другое.

Когда бедная Катя заплакала, мне жалко ее стало; но, судя по словам *больших*, я подумал, что сделал очень хорошо, и как мне ни грустно было, как тайный невнятный голос ни упрекал меня, но я, для поддержания своего характера, отворотился от Кати и гордо взял за руку графиню, которая, чтобы утешить меня, сама пошла танцевать со мною, повторяя со смехом слова мои. Я погрустил недолго, все окружающее рассеяло меня, и я пропрыгал целый вечер до упаду, а Катя целый вечер проплакала; ибо после того, что я сказал, никто уже не хотел танцевать с нею. Тогда мой детский ум приписывал слезы Кати только тому, что она не танцевала, и я легко утешал себя, повторяя слова, заслужившие всеобщее одобрение: она холопка! Уже впоследствии, входя в лета, узнав больше Катю и размышляя о том, как рано развернулся в ней ум и как рано она начала понимать свое положение, я постигнул, как я жестоко оскорбил ее; несчастные происшествия, которые сопровождали Катю в ее жизни, заставили меня рассчитать, что я первый познакомил ее с тем унижением, которое ожидало ее в жизни, и эта мысль обратилась мне в жесточайший упрек, и в упрек столь сильный, что его впечатление до сих пор во мне осталось, и часто, когда мне грустно или я пересчитываю все дурное, сделанное мною в жизни, я невольно вспоминаю о моем поступке с Катею и не могу себя разуверить, чтобы когда-нибудь провидение не наказало меня за это в сей или будущей жизни. Этого мало: несколько часов нечувствительности, с которою я смотрел на слезы Кати, так подействовали на меня, что я до сих пор пугаюсь впечатления, ими во мне оставленного, и не могу выбить себе из головы, чтобы в характере моем не было какого-то врожденного жестокосердия, которое рано или поздно может развернуться,— и смейтесь надо мною как хотите,— я часто бываю уверен, что потерю самого милого человека перенесу хладнокровно; что даже мне недостает только случая, чтобы совершить хладнокровно величайшее преступление. Можете себе представить, какое влияние эта мысль, ни на минуту меня не оставляющая, производит на меня в разных случаях, встречающихся в жизни; сколько раз, боясь употребить некоторую твердость, я оставался в дураках, потому что она мне казалась пробуждением моего внутреннего порока; сколько раз я позволял людям с маленькою душою одерживать надо мною маленькие победы единственно потому, что боялся употребить гнев, насмешку, эти нравственные орудия, которыми природа снабдила нас для нашего защищения и которые так часто бывают необходимы в жизни! Я без шуток пугаюсь моей страсти к анатомии; по-

верите ли, что я не хотел читать жизни Брянвилье — так пустое происшествие детства провело неизгладимую черту в моем характере.

Молодой человек остановился.

— Где теперь ваша Катя и что с нею сделалось? — спросила одна дама.

— Я вам почти рассказал ее историю, говоря об участи воспитанниц; особенные происшествия ее жизни требуют долгого рассказа, и в них столько романического, что вам покажется, будто я выдумываю.

Разговор кончился, но любопытство мое было возбуждено, и я не оставил в покое молодого человека, пока он не рассказал мне следующего происшествия.

— Повторяю вам,— сказал он,— что я рассказываю не роман; и потому не ищите в моем рассказе ни классической интриги, ни романтических нечаянностей, к которым приучили нас остроумные сочинители Барнава и Саламандры, ни рачительного описания кафтанов, которыми щеголяют подражатели Вальтера Скотта. Моя история — природа во всей наготе или во всем своем неприличии — как хотите.

Чтоб не утомлять вашего внимания, я начну с того, что прочту вам афишку остальных действующих лиц в моей истории. Их немного: старый граф, муж графини, которого звали Жано; сын его с левой стороны, Владимир, которого звали Вово; и еще одно лицо, по имени Борис, которого звали Бобо. Старого графа я почти не знал; он беспрестанно был в разъездах: на короткое время приезжал в Москву, давал большой обед и снова уезжал в Петербург или в чужие края. Старый граф, как мне после рассказывали, был — что тогда называлось — философ, то есть был страшный волокита, писал французские стихи, не ходил к обедне, не верил ни во что, подавал большую милостыню встречному и поперечному; в его голове странным образом уживалась высочайшая филантропия с совершенным нерадением о своих детях и самая глупая барская спесь с самым решительным якобинизмом. Редкие образчики нравов того времени еще до сих пор остались в нашем обществе, но, благодаря бога, с каждым днем исчезают,— и это одно может служить против обвинителей нынешнего века важным доказательством, что мы лучше наших дедов. Частию по правилам, частию по привычке, старый граф не посовестился прижить с одной из своих крепостных Владимира, сказать о том жене, как о деле самом обыкновенном, и сделать из него воспитанника. Моя добрая Коко все простила мужу; теперь этому не поверят, но в то

время в нашем обществе такие примеры были не редки, и минутная склонность, нечего делать, тогда позволяли себе то, чего теперь не позволят самой истинной, самой горячей любви, основанной на взаимном согласии характеров, занятий, образа мыслей. Истинно мы лучше, хотя и несчастливее наших дедов. Коко моя, по пристрастию к детям, очень полюбила Владимира и холила и нежила его, как родного сына.

Бобо был существо особенного рода. Еще до своей женитьбы граф Жано вывез из Италии для замыслов каких-то непонятных некоего юношу, которого звали Паулино и который был у графа нечто среднее между секретарем и камердинером. Хитрый итальянец умел вкрасться в доверенность графа и завладеть всеми его делами; Паулино, по тогдашнему обычаю, поспешили записать в какую-то экспедицию, и через несколько времени итальянец Паулино обратился в русского коллежского асессора Осипа Ивановича Павлинова. Коллежский асессор Павлинов не замедлил жениться на немке, графининой кастелянше, и от сего пошел род коллежских асессоров Павлиновых, которых ревностная служба переходила от звания камердинера до столового дворецкого и наконец до управителя. Отец Бобо попал в сию последнюю должность, но сынку своему готовил уже другую участь. Между тем Бобо, по заведенному порядку, попал в любимцы и воспитанники графини.

Когда я узнал этого Бобо, ему было уже лет двенадцать. Я никогда не любил его; избалованный до крайности своей матерью, он был груб и нагл, ходил всегда насупив брови, говорил отрывисто, дерзко и смеялся только тогда, когда мог потихоньку от графини раздразнить меня или Катю. Он сдувал карточные домики, которые мы с нею строили, заливал чернилами мои любимые картины и мою милую Катю называл не иначе, как Катькой, а после моего несчастного происшествия в маскараде прибавил к этому имени название холопки и, зная, что одним этим словом мог привести меня в слезы, старался повторять его как можно чаще; почему знать, может, я моею бессмысленною фразою посеял в тяжелом мозгу его такие мысли, которые без того не пришли бы ему в голову. Некоторые из слуг с лакейскою дипломатическою проницательностью разочли, что со временем их судьба будет зависеть от Бобо и что его естественным соперником может быть один Владимир; они, подделавшись к порочным наклонностям Бориса, растолковывали ему, что после смерти отца он будет головою в доме графини, рассказывали ему, кто таков Владимир, и поселили к нему такую ненависть, что Бо-

рис не мог пройти мимо Владимира, не давши ему толчка, не ущипнув его или не сделавши с ним какого-нибудь другого дурачества. Владимир был моложе его тремя годами, но не уступал и платил ему тем же; оттого дня у них не проходило без ссоры; графиня разбирала их, мирила, наказывала то того, то другого, попеременно заставляла просить друг у друга прощенья,— и тем только увеличивала их взаимное отвращение. С летами Борис стал хитрее и осторожнее; при графине он скрывал свою ненависть к Владимиру и называл его Володею или Вово,— но за глазами матери отворачивался от него и, говоря про Владимира, называл его не иначе, как барином, имя, которое в насмешку дали ему слуги.

Между тем я возрастал, и с тем вместе страсть моей Коко ко мне холодела; я все еще называл ее этим именем, но, занятый ученьем, я уже гораздо реже стал к ней ездить; скоро другой пухленький мальчик занял мое место; меня же отвезли в пансион в Петербург, и я потерял из вида мою Коко и Катю.

Между тем Владимир и Катя, живя вместе, учась у одних учителей, рано гонимые завистью воспитанниц и воспитанников графини, ее слуг и служанок,— рано стали искать утешения друг в друге; сначала они взаимно стали поверять свои маленькие страдания; но эти страдания с каждым днем росли более и более, с тем вместе увеличивалась их привязанность, и они все живее и живее чувствовали необходимость друг в друге.

Владимир был настоящий, как говорят, герой романа, невысокого роста, сухощавый; глаза черные навыкате; несколько смуглое лицо придавало ему вид, похожий на итальянца,— в самом деле, в душе его живые полуденные страсти были прокалены холодною славянскою кровью. Рано он понял, что в жизни предстоит ему беспрестанное борение и что ему должно было полагаться на одного себя: он с пламенным рвением принялся за ученье. Катя разделяла его труды; они с жаром прочитывали все, что им ни попадалось, далеко оставив за собою молодых графинь и Бобо, которые учились только из приличия.

Вышед из пансиона, я поехал на время в деревню; мимоездом мне надобно было быть в Москве, и я остановился нарочно на несколько часов только для того, чтобы посетить мою Коко. Какую перемену нашел я в ее доме! Ее нерасчетливая расточительность, жизнь графа в чужих краях, где он был в связи с какою-то актрисою,— совершенно расстроили имение графини; большая часть его была продана на удовлет-

ворение кредиторов, и графиня увидела себя принужденною значительно уменьшить свои издержки. Я пробежал несколько комнат, которые были свидетелями веселых игр моего детства; в них лишь одна многочисленная толпа слуг и китайские болванчики напоминали о прежнем великолепии; обои полиняли и истрескались; мебель была изорвана и изломана; позолота на зеркалах потускла; в огромных комнатах горело по одной свечке, а иные совсем не были освещены. Я вошел в гостиную: за круглым столом, за одною лампою, сидели графиня в больших креслах, ее две дочери и Катя,— все они ничего не делали, и глубокое молчание царствовало между ними. Катя поразила меня; ребяческая красота ее исчезла, она сделалась не красавицею, но получила лицо чрезвычайно выразительное, этот размышляющий взор на ее прекрасном личике, эти свежие, полные жизни прелести стана — и... эта прекрасная ножка, на которую я не мог смотреть равнодушно... Я не узнал Катю, смешался,— графиня мне очень обрадовалась и после обыкновенных расспросов и приветствий сказала мне: «Да, мой милый, ты молодеешь, а я старею, дряхлею и скучаю; спасибо тебе, что ты не забыл обо мне; добрый ты человек, теперь уж все меня забывают; в нынешнем свете не помнят стариков, и, правду сказать, там и ничего не помнят». Все слова ее отзывались горечью оскорбленного тщеславия и мелкой, но горячей завистью ко всем возможным успехам; я не могу постигнуть, откуда это последнее чувство закралось в доброе сердце моей Коко. Но это было так! Коко сделалась завистлива, и очень завистлива. Зная, что ничем столько нельзя сделать удовольствия московским дамам, как рассказывая петербургские новости, я не щадил языка, но еще иногда спрашивают, правда ли, будто бы необразованные люди злее образованных; да этого не может быть иначе! Человек образованный, чувствуя в себе потребность выкинуть свою желчь, старается дать ей опрятный вид благовоспитанной эпиграммы, потом любуется ею, разносит ее, а это требует времени, развлекает, и нечувствительно в так называемом злом человеке остается столь же мало злости, как в сатирическом поэте; простолюдину не нужны эти усилия, он злится просто, без обиняков,— что он ни скажет, что ни сделает, все хорошо, лишь бы только в том было злое намерение; и оттого ему наслаждение злиться гораздо преступнее, нежели для нас. Так было и с моею Коко: при всяком моем рассказе, где только дело коснется до какого-нибудь собственного имени, моя Коко вспыхнет, усмехнется, скажет одно слово — только одно слово, но в этом слове целый мир злости,

досады, презрительного удивления! Какая-нибудь лента, звезда, наследство были для нее личным оскорблением, и скоро она не шутя начала на меня сердиться за мои рассказы. Я обратился к молодым графиням,— графини были глупы и пусты до чрезвычайности, дурного тона, мешали русский язык с французским; их интересовали одни свадьбы, женихи и невесты, а свадьбы, женихи и невесты бесили мою Коко. Я к Кате,— Катя испугалась, смешалась, едва отвечала мне и наконец, выбравши свободную минуту, с ужасом сказала мне: «Бога ради! говорите с графинями!» В этих словах мне изобразилась вся горесть ее положения, но я еще не вполне понимал его; уже гораздо после оно совершенно мне объяснилось; вот что узнал я впоследствии.

Графиня, несмотря на развращение нравов своего времени, была строгою блюстительницею нравственности, может быть, то самое, чего она была свидетельницею, произвело эту полицейскую черту в ее характере, и она, судя о настоящем по прошедшему, никак не могла вообразить себе женщину вместе с мужчиною, и особенно в дружбе, и чтобы из этого не вышло чего-нибудь дурного. В свете она уже давно спрашивала, о чем молодые люди находят говорить между собою, когда в ее время они только танцевали или амурились; еще более пугало ее то, что оба пола нового поколения, уверенные в своей невинности, говорят о всех возможных предметах без всякого смущения: это ей казалось последнею степенью разврата, то есть тою степенью, где уже разврат кидает свою личину; всего этого она как-то не понимала,— словом, мне очень трудно объяснить вам систему графини, и она сама не взялась бы за это: это был нескладный сброд нескладных слов, которые она почитала мыслями; несколько старых анекдотов, которые она называла плодами опытности, и две или три причуды, которые она называла правилами нравственности,— отыщите тут какой-нибудь толк! Но, несмотря на то, она своей системе верила больше, ежели иезуит католицизму. Впрочем, образчики моей графини можете еще найти между некоторыми почтенными дамами, которыми унизаны диваны гостиных и которые уверены, что все люди на свете живут и движутся для того только, чтобы им было о чем поговорить, и которые, привыкши в свое время видеть величайшую безнравственность под самыми щекотливыми формами и некогда сами принимавшие участие в этом маскараде, не могут себе вообразить, чтобы под ничего не пугающеюся откровенностию могли скрываться самые невинные и, увы! может быть, самые холодные нравы.

Как бы то ни было, графиня, как скоро ее молодые люди

стали подрастать, благоразумно отделила мужской пол от женского; разные часы ученья, разные комнаты, собираться только за обедом и ужином под надзором гувернеров и гувернанток, которым прочтена проповедь о благочинии, не говорить, не подходить,— словом, все разочтено, предусмотрено. Графиня была очень довольна собою,— одного только не заметила ее прозорливая опытность, одного!— что новое поколение родилось после старого и что оно в общем счете жизни человечества старее старого и потому раньше старого стало жить и чувствовать. Еще графиня думала о своих новых планах неукоризненной нравственности, а уж Владимир и Катя были по уши влюблены друг в друга, у них завелись все маленькие споры и ссоры любви, упреки в холодности, ревность, особенно со стороны Владимира, который ревновал Катю ко всем, начиная от Бобо до старой графини. Однажды — тогда только начался век унылых элегий — Владимир в минуту какого-то отчаяния не мог утерпеть, чтобы не положить в ридикюль Кати каких-то романтических стихов. По несчастию, эти стихи как-то попались графине; долго она читала их и никак не могла решить, любовные ли они или нет; как бы то ни было, она строго запретила Владимиру предаваться поэтическим мечтаниям, а Кате получать их, и надзор за ними был удвоен. Пока у графини были вечера и балы, этот надзор не мог быть доведен до последней степени совершенства; но когда балы прекратились, знакомые начали мало-помалу оставлять графиню, а наконец и совсем оставили, попечение о благочинии в доме сделалось единственным, главным занятием графини. Как объяснить вам мучительное действие этого надзора на моих молодых любовников,— право, не знаю. Наши молодые люди XIX века рассудительны, их патетические минуты всегда пополам с балом, с партией виста, и любовь у нас разменялась на мелкую монету, по той же причине, по которой в гостиных музыка обратилась в холодную нежность итальянской кавалетты, а живопись в закопченную бумажку; промышленность XIX века умела приспособить святое мучительное чувство любви к нашей лени, к удобствам жизни: она сделала его чем-то карманным, как записную книжку, как перчатку; можете его надеть, скинуть, выворотить, и оно все останется тем же. Даже что значит любопытная бдительность наших полицейских чепчиков? (Nos bonnets de police?)— они рассеяны и вистом, и придворными новостями, тузами и валетами всякого рода,— много, много, что им достанется наслаждение расстроить две, три свадьбы, нарушить спокойствие двух, трех семейств, и то с грехом по-

полам; молодое поколение прижало их к стенкам диванов, откуда они не смеют пошевельнуться, чтоб не потерять места. Аббат Леменне написал «Опыт о равнодушии в делах веры». Бедный аббат! ты не знал общества! Я хочу помочь твоей близорукости и написать для гостиного употребления целую коллекцию таких опытов, как-то: опыт о равнодушии в деле искусства, опыт о равнодушии в деле наук. Опыт о равнодушии в деле правды, в деле ума, в деле несчастия, в деле чести, в деле подлости, в деле лести, коварства, грабежа и проч. Теперь вообразите себе все противоположное тому и перенеситесь в маленький круг моей Кати.

Едва начиналось утро, Катя обязана была являться к своей благодетельнице, делать чай, сводить счеты, толковать об уборах для молодых графинь — в этом занятии проходило полдня; ибо графиня, держась старинных правил, находила неприличным и вовсе ненужным позволять девушкам прогуливаться пешком; огромная четвероместная карета с четверкою поседевших от старости лошадей хранилась только для торжественных выездов семейства, ко всенощной, в дальний монастырь или на обеденный стол к архиерею; после обеда молодые графини садились к окошку, и разговор еще несколько поддерживался: пешеходец, изредка проходивший мимо дома с совершенно невинным намерением, простучавшие дрожки, а за недостатком того и другого, пробежавшая собака, крик разносчика — обо всем было переговорено, перетолковано, выведены все возможные заключения; все окошки в домах пересмотрены, изучены, все трубы пересчитаны, и к сумеркам или в длинные зимние вечера нашим милым графиням, естественным образом, не оставалось никакого другого занятия, кроме Кати. Обыкновенно графини начинали понемножку ее мучить, сперва начинали смеяться над ее молчанием, ее туалетом, потом каждое ее слово служило поводом к комментариям; если она осмеливалась взять книгу, то говорили ей, что она капризничает; если она принималась за рукоделье, то хулили ее работу; если она молчала, у нее спрашивали, не ссохлись ли ее губы; если она начинала говорить, то называли ее болтуньею. Но главным предметом нападений был Владимир; по приказанию старого графа Владимир ходил учиться в университет и только за обедом являлся в семейство графини. Как у всякого молодого человека, начинающего понимать свои познания, сколько свежих чувств, сколько девственных мыслей, не зараженных сомнениями, зарождались в душе его; как хотелось ему передать себя Кате, удивить каким-нибудь новым чудом природы, только что

им узнанным, перенести ее в свой мир мечтаний, пересказать все изменения, которые беспрестанно творились в его уме и сердце!

Кто не испытал этого чудного чувства прозелитизма, которое тревожит юную душу, полную жизни и деятельности? Всем бы поделился, все бы передал, что есть на уме и на сердце; простолюдин дарит своей любезной свою последнюю драгоценность; художник отдает ей познание, которое поразило его вчера, чувство, которое вчера его встревожило — все то, что вчера загорелось в нем и что потому ему кажется целию человеческой жизни. Холодные или устарелые люди смеются над этим прозелитизмом, не замечая того, что и в них он существовал и претворился в охоту рассказывать новости, давать советы встречному и поперечному,— что в них выпарилось все прекрасное и святое этого побуждения, а остался один его холодный себялюбивый осадок.

Владимиру страшно было подумать, что он с каждою минутой идет вперед, что с каждым шагом его ум светлеет, чувство разгорается, мысли ото дня более и более смыкаются в тесные пределы выражений, как целые алгебраические выкладки в одну условную букву, а его Катя не знает об этом, его новые выражения для новых мыслей ей неизвестны, она, может быть, разучится понимать его иероглифы!

Графиня не входила в эти отвлеченности; она судила попросту, по-старинному: она бы не прочь и женить Владимира на Кате, но до уреченного часа она находила, что непристойно, не следует, да и не о чем молодой девушке говорить с молодым мальчиком — и уста нашего пламенного юноши сомкнулись бдительностью графини: едва осмелится он подойти к Кате, едва долго сжатые мысли и чувства вырвутся из души его, как взгляд графини прерывал его ораторский восторг, и снова стеснятся в душе недоговоренные слова и душа умирает в муках рождения. Между тем минута пройдет, мысль, которая должна была развиться в это мгновение, уступит место другой, эта третьей — и каждое превращение, сомкнутое в душе юноши, терзает его нестерпимыми муками. Наконец осталось одно бедному Владимиру — взоры: ими хотел он передать Кате тот мир мыслей и чувств, который ежеминутно рождался и исчезал в его сердце... но тут являлись молодые графини; этим просто завидно было действие, производимое Катею на молодого человека: они бы оскорбились, если б кто вздумал им предложить жениха вроде Владимира; но иметь беспрестанно пред глазами влюбленного молодого человека, и влюбленного ни в одну из них,— это было им верх мучения. Откуда бра-

лась у них тонкость в этих случаях? откуда остроумие? откуда изобретательность? и насмешки, и брань, и угрозы, и злословие — все было употреблено ими, чтобы расхолодить наших любовников, и все было тщетно... любовь изобретательнее ненависти.

Во Владимире развернулась страсть к живописи; долго скрывал он свою работу и вдруг явился к графине с копией Карло-Долчевой Цецилии; он рисовал эту картину с жаром; он думал в ней видеть сходство с Катею; небесный взор Цецилии, святое выражение ее лица, орган, который, казалось, звучал под ее пальцами, все это изображало ему тихую гармонию души его любезной, это спокойствие христианского смирения, это уверенное в себе самоотвержение, эту грусть умного человека, это понявшее себя уныние. Он хотел, чтобы Цецилия была идеалом для его Кати, чтобы она высказывала ей то, чего не могли выразить слова его, и Катя поняла его. Графиня видела в этой картине очень полезное занятие для молодого человека и поспешила ее отправить к своему мужу, находящемуся тогда в Италии.

Эта посылка имела важное влияние на судьбу нашего юноши. Старый граф, почитавший себя за знатока живописи, был прельщен произведением своего воспитанника, вообразил, что он родился живописцем, и прислал приказание Владимиру отправиться в Италию...

В. УШАКОВ

ПРЕМЬЕР-МАЙОР

Полуисторический рассказ

Как ни скоро все забывается ныне, но 1815 год будет долго памятен. Подобно эпохе благотворного перелома тяжкой болезни, этот год окончил пятнадцатилетнее волнование Европы и, по-видимому, упрочил спокойствие просвещенного мира, которое, по странному случаю, действительно не прерывалось также пятнадцать лет. Как радостна была эта эпоха для русских, а особливо для воинов! После достославной брани, во время которой самые лавры нам надоели, по легкости их добывания, новая жизнь открылась для цветущего поколения того времени: тогда все оно возвратилось на родину с победоносными знаменами, под которые собралось в годину опасности. Не преувеличена будет гипербола, если скажешь, что вся юная Россия была в побежденной столице Наполеона, вместе с своим незабвенным вождем-монархом.

И так — мир! мир вожделенный, а с ним свежие воспоминания о славе русского оружия, о приятном, торжественном путешествии, совершенном по целой Европе! Вместе с тем сколько новых понятий, сколько опытности, приобретенной в двухлетнее посещение образованнейших стран земного шара! Все это — новые сокровища для матери-России! Повесим лаврами обвитые мечи под святыми иконами родительских домов и посвятим себя мирному просвещению наших соотчичей!

С такими мыслями тридцатилетний полковник Аглаев, обремененный знаками отличия всех наций, решился променять щегольской гвардейский мундир на степенную униформу чиновников министерства юстиции.

— Теперь уже я не воин!— говорил Аглаев с самодоволь-

ною улыбкою и оправляя щегольски повязанный галстук.

— Теперь уже ты не воин!— насмешливо говорили бывшие товарищи, когда новое появление Наполеона вторично манило на берега Сены.

Отец Аглаева жил в то время в Петербурге — для сына! Как не полюбоваться на блистательную службу своего детища. Как не сказать, видя его, упоенного славою: «В наше время, при матушке Екатерине, все было гораздо лучше! Это воспоминание *лучших* лет имеет неизъяснимую прелесть! Это как будто торжество над новым поколением, которое пред глазами нашими наслаждается настоящим, между тем как мы утешаемся только воспоминанием». *Тогда лучше было!*— и с этим выражением победа остается за нами!

В особенности радовало старика Аглаева то, что сын его попал под начальство мужа знаменитого, остатка достославного царствования Великой Екатерины, министра Г. Т.

— Вот голова!— говорил старик Аглаев.— Учись, брат! Прилежно учись, внимательно изучай этого знаменитого мужа!

Молодой Аглаев, с должною покорностью приняв советы родительские, в душе своей видел два недостатка в знаменитом муже: во-первых, он был стар; во-вторых, никогда не был в Париже. А что в 1815 году не бывшие в Париже в прошедшем году едва ли ставились на ряду с слепорожденными, то это отнюдь не удивительно и не предосудительно: мы почитали Париж нашим завоеванием, нашею собственностью, знакомым нам складочным местом всех богатств ума и познаний, из которого могли мы беспошлинно вывозить просвещение, вместе с бронзою и помадою Губигана-Шардена!

Тем не менее пламенный чтитель Парижа не мог отказать в дани глубокого почтения маститому своему начальнику, свидетелю другого века и опытному законоведцу, удостоенному доверенности великого миротворца Европы. Г. Т., с своей стороны, удостоил особенного внимания сына бывшего своего сослуживца. И старик и молодой Аглаевы нередко беседовали с министром в минуты его отдохновения. Г. Т. охотно разговаривал о делах государственных и сообщал свои мнения. Желая угодить старому приятелю, он делал сыну его мудрые наставления по вверенной ему части. Г. Т. охотно сознавался в том, что дряхлость обессилила его и что он может только указывать пути, на которых уже другие должны подвизаться.

В беседе с Аглаевыми, естественным образом, разговор касался предметов важных. Г. Т., довольно долго толковавши со стариком, заметил, что сын слушает их с каким-то нетерпением и как будто желает высказать свое мнение. Маститый вельможа любил прислушиваться к суждениям пылкой молодости; казалось, он поверял тогда самого себя и, в вихре неопытных умствований, старался узнавать бывшего юношу Т. Часто он вступал с молодым человеком в рассуждения о предметах законодательства, управления и проч., желая доказать ему, что учреждения, освященные веками, суть самые наилучшие и что на них всегда должны быть основаны новые.

— Но зачем,— возразил молодой Аглаев,— с таким упорством придерживаться старины? Не доказывает ли, например, кодекс Наполеона, что гораздо легче сделать новое и в тысячу крат лучшее, нежели согласовать все старое?

— Кодекс Наполеона! Ого! кто называет его новым произведением?

— Как же не новое произведение? Известно, что в начале нынешнего столетия...

— А известно ли вам, что весь этот кодекс есть не иное что, как приведение в систематический порядок старинных и даже древнейших узаконений французской монархии? Знаете ли вы, что основанием этого хваленого кодекса были законы римские, которые с незапамятных времен имели полную власть во Франции? Знаете ли вы, наконец, что новейшие постановления Франции, включенные в кодекс, были не иное что, как старая погудка на новый лад, то есть те же законы древних римлян, приноровленные к новому ходу дела?

— Я вижу мою ошибку, ваше превосходительство! Но мне сказывали французы...

— Что?

— Что кодекс Наполеона есть... произведение... новейшее, совершенно не похожее ни на что старое...

— То есть по-русски: я слышал, а сам не знаю! Хе, хе, хе! молодой человек!.. Судить — так знать самому, а не основываться на пустых слухах. Новый кодекс, без всякой зависимости от старины!! Как это им кажется легко!!

— Но позвольте же вам заметить,— довольно запальчиво возразил молодой Аглаев, что новое может и должно быть, потому что оно бывало прежде. Мы знаем по истории, что

были законодатели: почему же теперь они не должны быть? Наполеон заимствовал у римлян, римляне, положим, хоть у греков...

— А первый-то портной у кого учился?— сказал, смеясь, Г. Т. Старик Аглаев также засмеялся. Смущенный ритор покраснел от досады.

— Не смею и не должен спорить с вашим превосходительством. Верю, что я ни о чем не имею понятия!.. Но мне кажется, что... природа каждому новому поколению дает силы душевные и физические, пламенную наклонность к добру, стремление к лучшему и обширнейшее поле действия для того, чтобы оно могло творить для себя, независимо от давно прошедшего...

— А провидение противопоставило этим силам и пламенным наклонностям благоразумную и дряхлейшую опытность для того, чтобы новое поколение сберегло свою шею! Да! можно смело идти вперед, когда пути были проложены прежде. А пускаться самому наудачу, или, как вы говорите, творить для себя новое, независимо от опытности давно прошедшего... это и опасно и бесполезно!

Родительское сердце старика Аглаева разыгралось от радости, видя, как сынок его состязался с мудрым министром. Г. Т. улыбался и поглядывал то на отца, то на сына.

Аглаев молчал. Досада изображалась на его лице. Он чувствовал или, лучше сказать, думал и в уме своем был убежден, что старики только по зависти осуждают пламенное стремление к лучшему и познание в себе достаточной силы для произведения прочного и хорошего. Г. Т. дружески потрепал его по плечу.

— Нет, любезный друг! Обдумывать то, на чем основано благо миллионов людей, не то, что взять натиском и отважностию неприятельскую батарею. Впрочем, что толковать о таких важных предметах! Занимайтесь усердно своим делом; умейте употреблять ваши познания и способности, и вы увидите, какую пользу принесете отечеству вашею службою. Вот, послезавтра вы поедете в малороссийские губернии, и когда исполните препорученное вам, то возвратитесь к нам с новым запасом познаний, приобретенных на практике. Кстати! Я вам дам письмо к моему старинному приятелю, премьер-майору П.; уверен, что его знакомство доставит вам удовольствие и пользу.

— П.!— сказал старик Аглаев.— Александр Александрович! Да это наш новгородский! Я его знаю! Я сам был у него!.. О, умнейший человек! И я дам тебе к нему письмо.

Аглаев радовался своему посольству в Малороссию. Он недавно оставил военную службу, а все военные страстные охотники до путешествий, походов, экспедиций. Но за что так сильно рекомендуют его какому-то премьер-майору П.? Что за умнейший человек?

Когда Аглаеву порядком наскучили провинциальные общества, он решился отдохнуть у П. У него, по крайней мере, надеялся он найти какую-нибудь образованность, хотя, может быть, обветшалую и огрубевшую в сорок лет деревенской жизни. Он ошибся. Премьер-майор П. принадлежал к числу тех людей, которые никогда не стареются умом, потому что всегда идут вперед вместе с просвещением, и никогда не теряют той любезности и утонченности в обращении, которые составляют прелесть образованного общества: отличное воспитание, как привившаяся оспа, навсегда предохранила П. от заразы невежества и огрубелости.

— Ваш батюшка мне земляк и приятель,— сказал он Аглаеву.— Ведь и я родом из Новгородской губернии, и сколько ни люблю здешние сады, а всегда с умилением воспоминаю о живописных берегах Сяси и величественного Волхова. Г. Т. бывший мой сослуживец. Я начал и кончил мою службу при герое Задунайском!

Аглаев не знал, когда и в какой должности Т. находился при графе Румянцеве.

— Как же!— возразил П.— Т., Завадовский, Безбородко, все трое были в канцелярии графа Петра Александровича, все трое им узнаны и им рекомендованы государыне. Недовольный тем, что так достославно, так геройски служил мечом отечеству и монархии, бессмертный Румянцев образовал людей государственных и для гражданской службы. Имена этих троих надлежало бы выставить на памятнике Задунайского.

Румянцев был великий человек, он был образцом рыцарского прямодушия, благороднейшего самоотвержения и редкой доброты. Эти качества почтила в нем вся Европа. Фридрих Великий ставил Румянцева наряду с величайшими героями всех веков.

— Сегюр с большим уважением отзывался о матери графа Румянцева.

— О графине Марье Андреевне? Верю; это была необыкновенная женщина. Не будь она матерью Задунайского, все-таки история могла бы ей дать место в своих скрижалях. Графиня Румянцева сама была живая история. Она видела и коротко знала почти целое столетие. Память у нее была неимо-

верная. Она уподоблялась вернейшей хронологической таблице. Самая старость графини Марьи Андреевны была необычайная: не дряхлая, не бессильная, а, если смею сказать, цветущая, юная. Да! у старухи бывали такие затеи, которые и молодой в голову не придут. Так, например, однажды, на придворном бале, обер-гофмейстерина графиня Марья Андреевна Румянцева, почти столетняя, пригласила протанцевать с собою польский десятилетнего великого князя А л е к с а н д р а П а в л о в и ч а. Это бы еще ничего; но когда, по окончании польского, она сказала: «Благодарю за честь, ваше высочество! Я танцевала с вашим прапрадедушкою, с вашим прадедушкою, с вашим дедушкою, с вашим батюшкою, и, наконец, вы сделали мне эту милость». Когда она выговорила это, то маловажный танец сделался достопамятным событием, которое не худо сохранить в летописях нашего отечества!..

— Достопримечательный анекдот! И тем более что это случилось с матерью великого человека, который был тогда на высшей степени своей славы!.. Не удивляюсь вашему благоговению к фамилии Румянцевых.

— Не ко всей! Мое благоговение сосредоточивается на особе знаменитого вождя, героя Кагульского. Чту память его, как россиянин, любящий славу своего отечества, чту равноверно, как человек, взысканный и его милостью и его гневом!

— Гневом??

— Да! Граф Петр Александрович отставил меня, прекратил мою службу в такое время, когда мне предстояло самое блестящее поприще!..

— Ну, признаюсь! есть чем помянуть его сиятельство!.. Если не будет с моей стороны нескромности, то я попрошу вас пояснить мне это происшествие, которое как будто говорит не в пользу героя Задунайского.

— Об этом просит меня и Г. Т. в своем письме. Я вам все это расскажу. Но теперь позвольте мне, дорогой гость, побеседовать с вами о других предметах. Надеюсь, что вы продолжите ваше присутствие в моем доме, сколько время вам дозволит.

В короткое пребывание у Александра Александровича молодой Аглаев возымел большое уважение к своему хозяину. Образ жизни П., устройство его усадьбы, распределение его занятий, видимое уменье пользоваться местными удобствами — все показывало, что он принес с собою в эту страну сокровище, которое выше всех богатств: просвещение, осно-

вательные познания. С этими средствами человек может иметь все довольства жизни, даже в среде диких народов. Богатые соседи старались перенимать у небогатого пришельца П., и дивились, почему им так дорого стоит то, что ему обходилось так дешево.

— Все это сделано мною исподволь,— говорил Александр Александрович.— Я случайно поселился в этой стране и не так был богат, чтобы все завести вдруг; а главное, я не имел надлежащих понятий о сельском хозяйстве. Если бы я сначала исполнил все то, что мне мечталось, то чрез десять лет вынужден был бы все снова переделывать, потому что все оказалось бы неудобным. А наблюдательная опытность упрочила все мои заведения...

— Вы почитаете все это долговечным?— сказал Аглаев.

— Нет! Но я сорок лет здесь живу спокойно и удобно. И таким благом не всякий пользуется!

— Стало, вы все упрочили для себя, не заботясь о будущих поколениях.

— Заботиться о будущих поколениях? И в голову не приходило! Они сами будут о себе заботиться. Я трудился собственно для себя...

— Это, с позволения вашего, называется эгоизмом.

— Вы не дали мне кончить. Тратившись для себя, я старался все делать так прочно, что и будущее поколение может воспользоваться моими трудами, если захочет. Я говорю, если захочет,— потому что не могу предвидеть его вкуса, и легко может статься, что недовольное сделанным мною, новое поколение захочет разрушить все заведения, для заменения их другими, лучшими. Давай бог! Право делать лучше есть драгоценнейшее достояние, которое передаем мы нашим преемникам.

— Я очень рад, что вы это сказали. Стало быть, мы согласны во мнениях; и вы, муж опытный, утверждаете то, что я нередко говорил и что приписывали заблуждению, заносчивости моей молодости.

— Что такое?

— Что каждое поколение должно жить своим умом, а не задним; что, не делая ничего нового, а придерживаясь одной старины, мы отказываемся от усовершенствования; что вообще все старое так же мало или и вовсе не годится ныне, как и прошедший, невозвратимый день, что...

— Ну, нет!— прервал П.— Я этого не говорил и никогда не скажу. Я только сказал, что мне и в голову не приходило заботиться о будущих поколениях, потому что это было бы

смешно и безрассудно. Но делая для себя, я старался делать так прочно и хорошо, чтобы это мое пригодилось и моим преемникам. Кто может сказать, чтобы старое вовсе никуда не годилось и было бесполезно, как прошедший день? Но что же есть новое, как не последствие старого? и что же новый день, как не повторение наутрия мироздания? Сверх того, из ваших же слов я должен заключать, что обязываете человека трудиться для будущего поколения. Не вы ли упрекнули меня в эгоизме? Положим, это было сказано против вашего сознания, в шутку, для испытания меня; но я предрекаю, что сами вы, под старость, без шутки будете упрекать в неблагодарности новое поколение, которое будет презирать всем прочным и хорошим, сделанным вами, потому только, что это старое.

— Вы рассуждаете очень благоразумно, почтеннейший Александр Александрович, но... должно признаться, что ваши суждения отзываются стариною, и к сожалению... Это я говорю без лести!.. К искреннему моему сожалению — не годятся для настоящего времени. Медленность в деяниях, осторожность в предприятиях, благоразумная предусмотрительность, которая зреет, зреет и зреет много, много и много лет — все это прекрасно, все это достойно почтения, но... мы теперь как будто живем накануне преставления света. В наш век — все делается так поспешно, так скоро!.. что прежде совершалось столетиями, то в настоящее время устроивается в несколько месяцев. Явное доказательство зрелости, навыка разума человеческого!! Посмотрите: ныне в десять лет один человек, один Наполеон создал сильную империю и несколько королевств!..

— И империи и королевства, им созданные, существовали *только десять лет!!* и разрушились с тем, чтобы *никогда* не возобновляться. Чудные дела! достойные подражания!..

— И в этой способности творить, созидать так скоро, вы не видите торжества разума человеческого?

— Над чем?

— Ну!.. над всеми препятствиями, над затруднениями, которые прежде казались непреодолимыми...

— Какими же новыми средствами их преодолели! Приведенные вами примеры этих торжеств разума — были не иное что, как победы, стоившие жизни миллионам человеков. Тут нового есть только неслыханное кровопролитие и бесполезность оного. Империя французов, основанная на трупах, разрушилась от первого удара. Что осталось от этого исполи-

на? Воспоминание, что в Гамбурге была французская префектура департамента устий Эльбы!

— Да!— сказал со вздохом Аглаев.— Куда все это девалось!

— И между тем государства, упроченные вековою опытностью, уцелели среди всеобщего разрушения. Подобно древним зданиям, пережившим многие столетия, они опять невредимы среди новых развалин и как будто говорят: вот как должно строить!

— Предубеждение к старине, почтеннейший Александр Александрович!

— Вы мне показали новое в таком невыгодном виде, что, верно, и сами согласитесь отдать предпочтение старости.

— Хорошо так случилось, что все исполинские затеи нового поколения разрушились. А если бы они сохранились до позднейшего потомства?..

— Когда история кончена, то *если бы* делается выражением совершенно лишним. Оно горю не поможет! Вначале, в первых приступах к делу, должно твердо помнить все возможные *если!* Это называется благоразумною предусмотрительностью!

Это слово: благоразумная предусмотрительность — как будто холодом обдало Аглаева. Оно так пахнет старостью. Как будто видишь около этой предусмотрительности — целый рой щепетильных придирок, мелочных предосторожностей, пугливых расчетов, всех принадлежностей стариковской трусости, которою они надоедают молодежи, желая настращать ее, и над которою молодежь смеется. Во избежание дальнейших толков о таковом скучном предмете Аглаев, как будто пораженный внезапною мыслию, напомнил П. обещание рассказать историю его отставки.

— Кстати!— сказал Александр Александрович.— Разговор наш остановился на слове: если бы? Оно и было причиною моей отставки.

— Слово: если бы?

— Именно! Я начну мой рассказ с самого вступления в службу. Я обучался в кадетском корпусе. По производстве в офицеры, я был отправлен, как говорили тогда, под Турку, в армию графа Румянцева. Если бы вы увидели это войско, то, вероятно, удивились бы. В нынешнее время привыкли двигать огромными массами в полтораста и в двести тысяч; вы бывали в генеральных сражениях, где две тысячи пушек ревели с обеих сторон; вы проходили по

странам населенным, изобильным, цветущим... Теперь представьте себе графа Румянцева, этого вельможу, в мундире, облитом золотом, окруженного многочисленным штабом и важно отдающего приказы по армии... состоящей из семнадцати тысяч воинов, при сотне орудий! Представьте себе, что эта армия находится в полудикой стране, отделенная степью на шестьсот верст от границ обширной империи, которую она должна защищать! Прибавьте к тому, что когда главнокомандующий такого воинства просил об усилении оного, то императрица всероссийская обещала ему чрез год доставить... Четыре тысячи человек! Посмейтесь над бедностью ваших дедов!..

При таком скудном положении войска неудивительно, что каждое новое лицо, прибывающее из столицы, обращало на себя внимание. Так случилось и со мною. Граф Петр Александрович пожелал меня видеть; а в то время видеть когонибудь значило узнать, что это за человек. Испытание, которому я подвергнулся, было мне благоприятно: я имел счастие понравиться графу, который и приказал мне считаться в его штабе, а вскоре пожаловал меня в свои адъютанты, что в то время давало прямо чин майора. Брать даром и скоро чины да кресты — я не называю счастием по службе. Это просто баловство фортуны. А быть помещенным в такой круг действия, где можно скорее изучить свою обязанность и с видимою пользою употреблять свои способности,— вот это счастие, которое и приветствовало мне до Кагульского сражения, или, лучше сказать, до первой глупости!

Вы так много одержали побед, бывали в таких блистательных битвах, что мне даже совестно упоминать о нашем смиренном торжестве над турецкими силами. Но тогда и это было важно! Хоть то вмените нам в достоинство, что в Кагульском сражении вражеской силы было втрое более, нежели нашей!.. Как бы ни было, но мы одержали решительную победу и радовались... простите нашей дерзости!.. столько же, сколько и вы радовались взятию Парижа! На другой день после этого важного события мы разговаривали в ставке нашей, разумеется, не о другом чем, как о вчерашней битве. В этой беседе едва ли я не был моложе всех. Но я был, как тогда меня называли, *из ученых* и мог сказать, как Мирандала, что читал старые книги. К моим суждениям о баталии прислушивались как к оракулу. Так как я находился при графе, то мне известен был весь порядок сражения. Упоенный вниманием, я захотел блеснуть своею ученостью, начал припоми-

нать читанное и довольно некстати, стал вытаскивать из могилы и принца Евгения, и Тюреня, и даже Юлия Кесаря. Это бы еще ничего! Я увлекся моею ученостью и начал доказывать, что наша победа была бы еще блистательнее, *если бы!..* Вот важное-то выражение!.. Не буду вам рассказывать, в чем состояло это *если бы;* скажу только, что оно было не одно!

Меня слушали со вниманием и не возражали ни слова. Я радовался! Это была другая победа, мною одним одержанная. На другой день меня потребовали к графу.

— Александр Александрович!— сказал его сиятельство.

Покойный граф всех приближащих своих, без различия чинов, называл по имени и отчеству.

— Александр Александрович! Вот моя реляция к государыне. Прочитайте! Про себя!

Я взял бумагу и, прочитавши, ожидал приказания его сиятельства.

— Вы прочитали? хорошо! Теперь извольте написать вашу реляцию!

— Мою *реляцию, ваше сиятельство!*

— Да! Вы находите, что я не умею бить турок; что я воспользовался моими средствами и сделал много непростительных ошибок. Доведите же до сведения ее величества о всех моих погрешностях! Пусть — на основании вашего донесения — государыня прикажет меня судить!

Я затрепетал. Легко мне было угадать причину этого грозного приветствия. Но я не знал и придумать не мог, кто был моим предателем.

— Что же вы молчите? — спросил меня граф.

Я смешался и точно не знал, что отвечать. Мне показалось, что приличнее всего сказать правду.

— Я стараюсь угадать, какой недоброжелательный человек оклеветал меня пред вашим сиятельством.

— Я об этом не спрашиваю, а приказываю вам написать вашу реляцию к государыне императрице. Если же вам это не угодно, то я в моем донесении припишу, что о всех моих ошибках ее величество узнает от Г. П., который при сем и отправляется в Петербург.

Заметно было, что граф более и более раздражается. Я осмелился выговорить:

— Ваше сиятельство! не погубите меня!..

— Ага!— отвечал граф.— Стало быть, вы не слишком уверены в своей непогрешительности, когда боитесь погибели!

Это меня ободрило. С непритворно смиренным видом я сказал:

— Ваше сиятельство! меня оклеветали пред вами!

— Оклеветали? Ведь это значит то же, что солгали, внесли на вас небылицу. Следовательно, вчерашний день вы не рассуждали о сражении? Не говорили, что если бы... (то и то! граф повторил мои замечания). Что если бы это было не упущено из виду, то победа была бы гораздо значительнее?

Отговаривать я не мог. Ясно было, что графу донесено в точности и с подробностями. Я старался уверить его сиятельство, что с моей стороны не было никаких осуждений, а просто были одни мечтания, фантазии самые ничтожные, в которых не более было важности, как в болтовне дитяти, рассказывающего, что если бы он был царем, то сделал бы то и другое.

— О нет!— возразил граф.— Вы увертываетесь и очень неудачно! В ваших суждениях и осуждениях излагалось мнение человека образованного, приготовленного правительством на службу государыне и отечеству; человека, которого я отличил за ум и познания и возвысил для того, чтобы дать ему средства с пользою употребить свои дарования. Тут нет ничего детского, и я намерен слышать от вас самих повторение вчерашних замечаний. Вот план сражения. Не бойтесь! Я должен оправдаться перед вами! Показывайте, что, по мнению вашему, должно было сделать?

Вынужденный исполнить это приказание, я хотел было подтвердить сказанное прежде и сделал замечание явно ошибочное.

— Совсем не то!— сказал граф.— Вы не могли так грубо ошибаться. Будьте прямодушны, Александр Александрович!

Я думаю, что самый бездушный подьячий не осмелился бы утаить истину, если бы Румянцев приказал ему быть прямодушным. Я начал мои *если бы!*

— Хорошо!— отвечал граф.— Вы рассуждаете как нельзя лучше. Но что же делает у вас визирь? Постойте-ка, я разыграю его роль!

Тут мы начали сражаться на бумаге, я, как слишком самонадеянный молодой человек; граф, как опытный полководец. Нередко его сиятельство меня предупреждал, подобно искусному игроку в шашки, который, прежде нежели выступить, хладнокровно показывает вам, что вы пропускаете его в доведи. В пять минут я был совершенно побежден.

«Вот видите!»— сказал мне граф довольно сухо.

Я живо почувствовал, как велика была моя неосторожность, и начал просить прощения, сознаваясь в своей вине.

«Александр Александрович!— сказал граф.— Если бы вы стояли в рядах, при полку вашем, то не могли бы иметь понятия о целом сражении. Весь ход дела вам был известен потому, что вы находились при мне. Это как будто тайна, которую я вам доверил. Чем же вы мне платите за эту доверенность? Ежели бы, увлекаясь желанием учиться, вы нашли удобный случай спросить меня, почему я не делал того, что вам казалось нужным,— то я почти был бы обязан дать вам отчет в моих действиях: это был бы урок опытности, полезный для недозрелого разума. И вторично: ежели бы сражение было мною проиграно и вы заметили бы мою ошибку, то и в таком случае надлежало бы вам сообщить это замечание одному мне. Тогда я сказал бы вам, как вы сейчас мне сказали: не погубите меня! Но когда враг побежден, когда главнокомандующий исполнил свой долг и с уверенностью готовится дать отчет своей монархине,— в это время вы, в кругу моих подчиненных, объявляете себя моим строгим судиею и, недовольные моими поступками, с непостижимою отважностью утверждаете, что вы сделали бы лучше! Знаете ли вы, государь мой, что даже история, которая не щадит ни министров, ни монархов, история не дерзает осуждать деяний полководцев, успешно исполнявших свое дело! Когда военачальник скажет: мы победили!— тут уже нет над ним суда, и все «почему» да «если бы»— будут совершенно неуместны!.. Что же вас побуждало к таким неосторожным и дерзким осуждениям? Гордость! опрометчивость! излишняя, пагубная уверенность в собственном уме и познаниях! Не употребляя коренной, справедливой, но весьма неучтивой российской поговорки, я вам замечу только, что главнокомандующий как будто воззвал вас из ничтожества и приблизил к себе, а вы, якобы в воспоминание первородного греха, вы — захотели сделаться выше самого главнокомандующего! Не должен ли я, по всей справедливости, положить преграду столь кичливым замыслам? Не обязан ли я вас вразумить и на деле вам доказать, что *знать* и *уметь* совсем не одно и то же и что между знанием и умением есть большое расстояние, которое наполняется талантом, навыком и постепенною долголетнею опытностью? С вашею заносчивостью мудрено будет вам приобресть какую-либо опытность, находясь при мне! Вместо того чтобы наблюдать и изучать, вы будете только осуждать, а мелочными сведениями, которые в уменье так же потребны, как копейки в больших

суммах,— вы будете пренебрегать. Вы, судья военачальников, захотите ли заняться узнанием солдатского быта и нижних степеней военной службы? Вы скажете, что это слишком низко для вас; а я нахожу очень полезным. Завтра вы отправитесь в ваш полк. Постарайтесь там узнать все то, что нужно знать в вашем чине и о чем вы еще понятия не имеете. Стратегию же советую отложить на время в сторону: она вам пригодится после!»

Разговор кончился, и я был исключен из штаба главнокомандующего. Однако в полк я не явился и подал прошение в отставку. Граф Петр Александрович, пожавши плечами, согласился на мое увольнение от службы и сказал: после да пеняет на самого себя!..

Вот по какой причине премьер-майор П. остался человеком безвестным, между тем как сверстники его занимали важнейшие государственные должности в особах Безбородков, Завадовских и Трощинских, которыми Румянцев подарил Россию!»

— Вся эта история,— сказал Аглаев,— помрачает героя Задунайского и выставляет его в виде мелочного человека, тщеславного вельможи, раздражительного гордеца, который вооружается перунами против легкомысленных замечаний молодого человека. Истинно великий человек презрел бы...

— Позвольте!— возразил Александр Александрович.— Уважьте по крайней мере мои лета и не говорите так опрометчиво о великом муже, которого вы знаете только по слуху! Презреть, говорите вы? Не знаю, как ныне, а в наше время охотнее переносили гнев, нежели презрение. Первый только огорчает, а второй и огорчает и оскорбляет.

— Гнев сильного поражает безнаказанно, а за презрение можно платить взаимным презреньем!..

— Я так и сделал,— прервал П.— Что такое презрение? Чувство оскорбленной гордости, которая или не хочет или не может отмстить за себя. Это самое чувство заставило меня выйти в отставку. Я решился далеко бежать от моего потерянного рая и добровольно обрек себя на ничтожество. Сначала я считал себя совершенно правым; прошло несколько

лет, и я уже в собственных глазах был не совсем прав. Зрелые лета объявили меня неправым, а старость, в то время когда уже нельзя исправить ничего,— доказала мне, что я был кругом виноват!

— В чем?— спросил Аглаев.

— «В том, что я вышел в отставку и не воспользовался великодушным уроком героя Задунайского. Тогда я был молод и держался вашего правила: презрение!..»

На возвратном пути Аглаев нередко вспоминал приятное пребывание у П., человека умного, доброго и любезного, но настоящего фанатика, старовера, которому хотелось бы остановить время и поколения, потому что, по мнению его, идти вперед — значит удаляться от хорошего и стремиться к худшему. До какой степени пристрастен он к старине! Ну можно ли поверить, чтобы человек с его умом находил великодушие в поступке начальника, который за несколько слов, оскорбительных для его тщеславия, лишил подчиненного счастливой и выгодной службы! Между тем П. оправдывает Румянцева и обвиняет себя! отчего? оттого, что Румянцев герой старого века, а тогда веровали и заставляли других верить, что кто старше летами или чином, тот и умнее.— Что-де вы знаете, молодые люди! учились много, а что проку в вашей науке? Поучитесь-ка у *старших*: те все испытали сами на деле! это не то что книги! Седина есть мудрость!.. А ныне говорят: свежая молодость есть мудрость; а седина есть глупость, старая пряжа, которая сама рвется, без прикосновения!..

Так судил молодой Аглаев о премьер-майоре П.

Довольно лет протекло с того времени, и Д. П., и Александр Александрович отошли к вечности. Старик Аглаев также умер. Сын его жив и служит до сих пор; имеет две звезды, довольно седых волос, дочь почти невесту и двух сыновей в корпусе. Аглаев очень уважаем начальством, и есть за что: исправный, усердный к должности чиновник! и как заботится об улучшении вверенной ему части! и как все делает с расчетом, с предусмотрительностью! Жалуются на его излишнюю строгость к подчиненным. Еще недавно погрозил он отставкою

одному из них, молодому человеку, очень образованному и даже с большими познаниями. На вопрос о причине такой немилости он отвечал: молодец слишком умничает и плохо занимается делом! Эти господа думают, что когда они поначитались да получили ученый аттестат, то уже все знают. Перед ними их знание! но это еще не умение, без которого ничего нельзя сделать! В службе — не воздушные замки строить и не теории сочинять, а должно делать то, что требуется обстоятельствами. На это нужна опытность, которая приобретается рачительным, долговременным занятием, а не мечтаниями и не умствованиями! Это я на себе испытал!..

АЛЬМАНАХЪ
НА 1838 ГОДЪ.
ИЗДАННЫЙ В. ВЛАДИСЛАВЛЕВЫМЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

И. ПАНАЕВ

КОШЕЛЕК

Сцены из петербургской жизни

I

Старушка мать, бывало, под окном
Сидела, днем она чулок вязала,
А вечером за маленьким столом
Раскладывала карты и гадала.

Пушкин

— Ах, тетушка, как хорош ваш Петербург! Мне никогда и во сне не снилось ничего подобного!.. Как здесь все великолепно!.. какие набережные, какие площади, какие дворцы, какие огромные домы, какие нарядные дамы, какие экипажи! А останавливались ли вы когда-нибудь, тетушка, перед монументом Петра в лунную ночь? Любовались ли Невою? Господи боже мой, как хороша ваша Нева, тетушка!

Так говорил в лирическом жару молодой человек «с цветущими ланитами и устами», с простодушным взглядом, в длинном, гораздо ниже колен, сюртуке,— настоящий представитель отрадного деревенского быта.

Тетушка, к которой он адресовался с своею кудрявою, девственною речью, была старушка, как обыкновенно бывают все простые русские старушки, с морщинами на лице, с чепцом на голове, с очками на носу и с чулком в руках.

Странна показалась тетушке речь племянника — и прутки замерли в ее руках, и она отложила чулок на маленький стол, который стоял возле нее, подняла очки на лоб, протерла глаза и пристально посмотрела на племянника.

— Что это ты, Иванушка? Бог с тобой! Экой проказник:

что я за полоумная, что стану ходить по ночам да глазеть на памятники?

И старушка от души смеялась над проказником.

В эту минуту девушка, сидевшая на скамейке у ног старушки, выронила из рук иголку и шитье, подняла вверх свои темно-голубые глазки, закинула назад свою грёзовскую головку, всю в локонах, взглянула на старушку, потом украдкою бросила взор на молодого человека; ей хотелось улыбнуться, и она, кажется, закраснелась.

Но, может быть, то был луч догоравшей зари, который, уловив движение девушки, страстно прильнул к ней и любовно оцветил ее личико своим пламенем.

Хороша была эта картина из трех лиц: морщинистая старушка, румяная девушка, молодой человек, задумчиво облокотившийся на ручку кресел... Небольшая комната, просто убранная, ситцевые занавески у окон с красною шерстяною бахромою и герани на окнах. В этой комнате все дышало спокойствием и счастием, тою отрадною безмятежностью, о которой, кажется, не ведают люди, живущие в огромных золоченых палатах.

— Вы сегодня, маменька, что-то очень долго заработались. Уж скоро совсем смеркнется.

— Да, да, твоя правда, Лиза; у меня и глаза начинают слипаться.

И, говоря это, старушка вкладывала свои очки в красный, потемневший от времени футляр.

— И тебе пора бросить свое шитье: ты и без того у меня сегодня глаз не спускала с иголки. Надо и покой знать. Убери-ка мой чулок, Лизанька.

Девушка поцеловала руку старушки, встала с скамейки, подошла к столику, взяла чулок, который вязала она, положила его в желтую плетеную корзиночку и вышла из комнаты.

— Ах ты моя красавица!— шептала старушка, провожая Лизу глазами.

Лиза была, точно, чрезвычайно мила с своими воздушными локонами, с своею тонкою талиею. К ней очень шло ее темное ситцевое платье, ее черный кушачок и пестрый передничек с карманами по бокам.

— Вот, мой родной,— продолжала старушка, когда Лиза вышла из комнаты,— в этой девушке господь бог послал мне настоящего ангела. Ну, что бы я была без нее на старости лет? Уж подлинно могу сказать, что и родная дочь не любила бы меня больше ее. Вот около покрова будет пятнадцать лет,

как она при мне, и я не помню, чтобы когда-нибудь хоть раз чем огорчила меня, даже когда была еще ребенком. Этакой девушки и днем с огнем поискать. А какая рукодельница! Недаром молилась я об ней угоднику божию Николаю-чудотворцу! Вот хоть бы и ты, мне родной племянничек по отце, да уж любить меня так не можешь, как она.

— Как мне вас не любить, тетушка? У меня не осталось никого, кроме вас... А вы ходите когда-нибудь с Лизаветой Михайловной в театр? Я думаю, в Петербурге чудесный театр, тетушка?

— Вот у него, сударь, что на уме: театры да променады...[1] Уж, никак, тебя, мой батюшка, Петербург-то совсем с ума свел. А?

И в самом деле, Петербург почти свел с ума молодого человека. Да и как не сойти с ума от Петербурга тому, кто не видал ничего краше, не воображал ничего совершеннее своего губернского города?

Здание К*** университета было для него идеалом великолепия. Он часто останавливался перед этим зданием и дивился его огромности, потому что до четырнадцатилетнего своего возраста он ничего не видел, кроме изб, крытых соломою, да полуразвалившегося барского дома, обнесенного плетнем, да ворот, на которых некогда была нарисована домашним гением какая-то аллегорическая картина, размытая впоследствии дождями и бурями...

И после всего этого очутиться в Петербурге, и, как будто нарочно, в ту минуту, когда он, сбросив с себя снеговой саван, обновленный лучами весеннего солнца, блестит и щеголяет и, впервые после пятимесячного усыпления, самодовольно смотрится в свое чудное зеркало в гранитной раме... Согласитесь, что тут есть от чего сойти с ума молодому провинциалу!

Долго ходил он, разинув рот, по Невскому проспекту в этом созерцательном восторге, который не может быть понятен нам, вечным и равнодушным петербургским жителям. Мимо его проходили разного рода петербургские франты,— и те, которые смотрят на все, вытаращив глаза, и те, которые никогда ничему не удивляются. Они оглядывали его с ног до головы с какою-то презрительною жалостью, а он не замечал этих господ и не подозревал, что доставляет собою такой прекрасный предмет для их острот, которых ожидает награда и в *легоньких* гостиных, и в великолепных салонах: в первых хохот от души, в последних — едва заметная улыбка.

---

[1] прогулки (от *франц.* promenade).

Он был так счастлив! В эти первые дни своего приезда он жил не в Петербурге, совсем нет: он созидал свой мир, мир фантастический, идеал жизни небывалой; он населял петербургские громады какими-то волшебными существами, чудными созданиями, которые только могут зародиться в голове двадцатилетнего юноши. И если бы можно было уловить все эти туманные образы его разгоряченного воображения, если бы можно было передать словами все эти мечты, которые неопределенно, как китайские тени, проходили в голове его, тогда бы, может быть, вы яснее поняли, как легко, как незаметно переходит человек за роковую черту, которая отделяет его от безумия. И не была ли права тетушка, называя его *сумасшедшим*?

Тетушка очень любила его, и, между тем как он рыскал по Петербургу, она, сидя под окном в своих кожаных креслах и перебирая спичками, думала, как бы поскорей пристроить его на службу.

— Ветреник, ветреник!— говорила она, по обыкновению, когда он опаздывал к ее обеду или к чаю, а это случалось очень часто.

— Молодо — зелено! Заглазелся... Лизанька, посмотри, не идет ли он?

И Лизанька, по обыкновению, отворяла окно и очень пристально смотрела на улицу.

— Нет-с, не видать, маменька.

И старушка, по обыкновению, прибавляла:

— Экой пострел!

Надобно заметить, что с приезда племянника в доме тетушки произошли величайшие перемены. Комнатка, или, вернее, чулан, в котором лет двенадцать сряду хранился гардероб ее, отдана была молодому человеку. Все эти платья, развешанные в строгом систематическом порядке, с венчального до погребального, в котором она, безутешная, шла на Волково, за гробом своего супруга,— перенесены были за перегородку, находившуюся в ее спальне. Два стула, с перекладинками назади, стоявшие в симметрии по углам гостиной, были отданы племяннику. Тетушка никак не могла привыкнуть к таким переворотам в ее доме и часто говаривала:

— А что это, Лизанька, как будто чего-то недостает здесь?

— Двух стульев, маменька, которые перенесены в комнату Ивана Александровича.

— Да, да! точно, двух стульев.

Все бы это ничего, да старушка не шутя стала посержи-

ваться за то, что Иванушка не возвращался вовремя к обеду, что он вместо часу являлся иногда в половине второго. Уж это ей было пуще всего не по сердцу. Елизавета Михайловна, бог знает почему, никогда не могла равнодушно слушать, когда тетушка бранила Ивана Александровича (у нее было такое доброе сердце!)— и вот она начала придумывать, как бы отвести от него гнев тетушки.

Вдруг ей пришла мысль, но она так закраснелась от этой мысли... Боже мой! Надобно было обманывать старушку! Обманывать, ей! Это ужасно! И кого же? Свою благодетельницу, свою мать!..

«Нет, нет, я ни за что на свете не решусь обмануть ее!»— так думала она, остановившись в гостиной перед часами, которые висели на стене.

«Нет, нет!»— и, в раздумье, она взялась за веревку, на которой висела гиря, и вертела в руках эту веревку; потом вдруг мигом вспрыгнула на стул... рука ее дрожала... она перевела назад стрелку.

Сердце ее сильно билось в этот вечер; и с этого вечера Иван Александрович стал всегда являться вовремя к обеду.

Однако старушке казалось это что-то подозрительно. Желудок ее вернее часовой стрелки доносил ей об обеденном часе.

— А что, который час, Лизанька?— спрашивала она.

— Еще только четверть первого, маменька,— отвечала та, потупив глазки.

— Странно! Отчего же мне так есть хочется?

— Извольте посмотреть на часы, маменька...

Старушка прикладывала руку ко лбу, морщилась, смотрела на часы и повторяла:

— Да, четверть первого. Странно!

Но кроме всех означенных выше перемен, произведенных в этом почтенном доме приездом молодого человека, произошла еще одна — и очень важная. Елизавета Михайловна, от природы характера веселого и смешливого, стала очень задумываться, чаще бледнеть и краснеть, а иногда даже вздыхать. Ее иголка, когда она сидела за пяльцами, останавливалась в руке и долго, долго была неподвижна. Говорят даже, когда в комнате никого не было, она загадывала о чем-то: закрывала глаза, вертела руками по воздуху и соединяла потом два указательные пальца. А впоследствии изменила этот способ гаданья на другой: только что под руку попадалась ей какая-нибудь астра, она сейчас ощипывала листки и приговаривала: *любит, не любит*, точно как Гетева Маргарита.

Чтобы подметить, как изменялось личико Елизаветы Михайловны, надобно было смотреть на нее в ту минуту, когда в комнату входил Иван Александрович. Боже мой! как начинало биться тогда ее сердце, как она жестоко кусала свои пунцовые губки!

Но для чего же скрывать? Она мечтала *о нем* еще гораздо прежде его приезда. Ей так много наговорила об нем старушка маменька, что он и ученый-то, и умный-то, и хорошенький-то. И она, точно, нашла его и ученым, и умным, и хорошеньким. Ну, как можно было сравнить его с этим чиновником, с которым она танцевала прошлого года, когда маменька возила ее в 14-ю линию на *балок* к своей старой приятельнице, одной коллежской советнице? Этот чиновник только и говорил с ней о том, как занемог у них однажды начальник отделения, и как он ходил к нему на дом, и как он потчевал его чаем, да еще о том, как он устал *танцевавши* в танцклобе мазурку. Что ж это за разговор? Правда, с ней говорил там и другой чиновник, и говорил о литературе.

Он подошел к ней и спросил:

— Видели ли вы на театре «Роберта-Дьявола»-с?

Она покраснела и отвечала:

— Нет-с.

— А прекрасная пьеса!

Потом, после нескольких минут молчания, он опять спросил ее:

— Ну, а смотрели ли вы «Михайла Скопина-Шуйского»-с?

Она снова покраснела и отвечала:

— Нет-с.

— А эта пьеса еще лучше «Роберта-Дьявола»-с.

И этот разговор ей не нравился: во-первых, он заставил ее краснеть, потому что она никогда не бывала в театре; во-вторых, этот господин говорил таким грубым, неприятным голосом. А голос Ивана Александровича — о, это настоящая музыка! К тому же Иван Александрович человек *ученый*, он кончил курс в университете! Иван Александрович говорит так красиво: в его языке всегда столько души. Когда он рассказывает что-нибудь, нельзя не заслушаться. Какие восторженные движения! Да, что ни говорите, а каждое слово его идет от души и в душу!

Так думала Елизавета Михайловна, и любовь незаметно обвивалась около ее сердца, как незаметно повилика обвивается около тонкого стебля молодого дерева. И скоро все фантазии этой девушки стали разыгрываться на одну тему: Иван Александрович. Он всегда был перед нею — и днем в

месте, и ночью в грезе; он повсюду преследовал ее — и в часы забот по-хозяйству, и в часы отдыха. Он ходил с нею на рынок и на гулянье... Она начала покупать все припасы дороже прежнего, и добрая старушка покачивала головою.

— Эх, эх, Лизанька,— обыкновенно говорила она,— ведь надо торговаться, дружок! Они, мошенники, ради брать лишнее.

— Я торгуюсь, маменька.

— То-то, голубчик.

Она хотела молиться, она стояла перед образом спасителя, но молитва была на устах, а в сердце не было молитвы; она видела, как другие возле нее со слезами клали земные поклоны перед этим образом... Да!.. И она, стоя на этом же самом месте, и только месяц назад тому, молилась так же усердно!

«Отчего он не идет? Он хотел прийти в церковь. Где же он теперь? Ах, если бы хоть маменька помолилась за меня! О, ее молитва скорее бы дошла до бога!..»

Неделя за неделей уходили, и Лизанька с каждым днем открывала какие-нибудь новые достоинства в Иване Александровиче. 21 мая его рожденье. К этому дню она готовила для него подарок — кошелек своей работы. Она заранее мечтала, как она будет поздравлять его, и заранее краснела при этой мечте.

Между тем много произошло перемен и в Иване Александровиче: его восторг мало-помалу утишился; он часто сидел повеся голову, не отвечал на вопросы тетушки, бесцельно сидел у окна, глазел на проходящих, хмурил брови и грыз ногти.

— Изволите видеть, чем занимается,— говорила тетушка, глядя на него,— ноготки себе погрызывает. Чему же тебя учили, сердечный, коли ты не знаешь, что от этого ногтоеда на пальце сделается?

Он не слыхал благоразумного замечания старушки; мысли его заняты были чем-то очень важным.

В эту минуту мимо окна проходил молодой человек чрезвычайно красивой наружности и вместе с этим удивительный щеголь: в коротеньком сюртучке самого тонкого сукна, с палкою в руке, с шляпою на ухо...

Иван Александрович пристально посмотрел на него и долго провожал его глазами, потом со вздохом взглянул на свой длинный сюртук и еще больше прежнего задумался.

II

Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка на луну еще смотрела.
Пушкин

Вечер. Небо бледнеет, и ровный цвет лазури сменяется переливами перламутра; вот протянулась розовая лента на закате: она из чудного пояса радуги; вот за нею другая — темнее, а там багрового цвета, а там ослепительное золото, и, наконец, далее огонь — и на этом великолепном зареве заходящего солнца черная тень колокольни и куполы церкви Николы Мокрого.

Нева не шелохнется в своей гранитной колыбели, и небеса, налюбовавшись ею, заботливо покрыли ее своею золотою парчою...

Дивная, нерукотворная картина!

Что огни ваших роскошных праздников перед этим небесным огнем? Что блеск вашей позолоты перед этим божьим золотом? Что ваши убранства перед этим нетленным убранством?

Иван Александрович загляделся на небо, на Неву и на каменные громады берегов ее.

«Вот уж, кажется, я и привык к Петербургу,— думал он,— а все-таки не могу пройти равнодушно мимо Невы...»

— К этой картине нельзя привыкнуть: право, чем долее смотришь, тем больше хочется смотреть,— кто-то проговорил тоненьким голосом возле него.

Это был ответ на мысль его. Он вздрогнул и обернулся в сторону. Перед ним была дама в желтой соломенной шляпке с пунцовым цветком и в длинной черной шали... Он посмотрел ей в лицо: просто красавица.

Она разговаривала с человеком очень высокого роста, в плаще с длинными кистями, из-за которого выказывался фрак какого-то особенного покроя, галстук с огромным бантом, пестрый жилет с голубыми атласными отворотами и по нем массивная золотая цепь, к которой прикреплен был золотой лорнет с разноцветными каменьями. Он прищуривался, поправлял свои виски, помахивал лорнетом, потом с необыкновенным искусством, с удивительною грациею приставил его к глазу, посмотрел на воду и, обратясь к даме, произнес сквозь зубы:

— В самом деле, бесподобный вид!

Ивану Александровичу очень понравилась эта дама, и он не спускал с нее глаз.

Постояв немного, дама продолжала прогулку с своим кавалером, который, как уже заметили читатели, принадлежал к тому разряду *франтов*, встречая которых как-то невольно хочется воскликнуть: *пощадите!* За ними шел лакей в синей ливрее с желтым воротником и в треугольной шляпе с золотым галуном, вероятно, принадлежавшей его предместнику, потому что эта шляпа была ему не совсем впору и почти закрывала глаза; он время от времени вытаскивал из кармана орехи, грыз их и оставлял за собою таким образом дорожку из скорлупы.

«Верно, это не простая дама,— подумал Иван Александрович, идя вслед за нею.— Какая у нее важная поступь! Как она прекрасно одета, с каким вкусом!.. А ножка-то! просто игрушка, да и как обута... чудо!»

Признаться, Иван Александрович стал немножко завидовать ее кавалеру. Да и нельзя было не завидовать!

Завидуя, и мечтая, и любуясь незнакомкою, он незаметно очутился — в Коломне. Дама, и кавалер ее, и лакей, который уже уничтожил весь запас орехов, потому что шел спокойно, скоро остановились у подъезда одного небольшого каменного дома. Кавалер очень искусно, точно танцуя мазурку, первый подлетел к двери подъезда, с неподражаемою ловкостью дернул за ручку колокольчика,— от этого движения цепь лорнета его раскачалась и стекло лорнета ударилось о медную ручку замка, разлетевшись вдребезги. За всю эту эффектную сцену он награжден был восклицанием «Ах!» и приятною улыбкою своей спутницы.

Дверь отворилась и захлопнулась, все трое исчезли.

Иван Александрович неподвижно остался у двери.

Возвратясь домой, он сделался еще скучнее и рассеяннее прежнего.

Это не могло ускользнуть от внимания Елизаветы Михайловны, и она, робко потупив головку, произнесла едва слышно:

— Вы не веселы, Иван Александрович?

— Еще нет десяти часов,— отвечал он, не слыша ее вопроса.

— Нет-с еще. А маменька спрашивала об вас.

Потом через минуту молчания, с тою же робостию, так же тихо спросила:

— А вы принесли мне книжки, которые обещали, Иван Александрович?

— Книжки? Ах, да... да,— и он вынул из неизмеримого кармана своего сюртука две тоненькие книжечки, все истертые

и засаленные, верно, из какой-нибудь «Библиотеки для чтения».

— Как я рада!

Елизавета Михайловна прыгнула от радости и исчезла.

«Он не забыл моей просьбы»,— думала она...

Далеко за полночь сидела она у окна своей комнатки с книгою в руках, и сон не тягчил ее век... и сердце замирало и билось. Наконец она опустила книгу на колена, но уста ее еще повторяли эти звуки, от которых билось и замирало ее сердце, которые мешали ей спать:

Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;
Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга...

Ее развившиеся кудри упадали на полуоткрытую грудь, которая, полная вздохов, дышала сильно и часто.

— Нет, он меня не любит, не любит!— и слезы начали проступать на ресницах бедной девушки, и отяжелевшая голова ее скатилась на оконницу и вся утонула в кудрях.

В эту минуту не спал и Иван Александрович: он, лежа на постели, мечтал о своей незнакомке, украшал ее поэтическими цветками своего воображения, сравнивал с Теклою Шиллера, с Маргаритою Гете, с Юлией Шекспира, с Татьяною Пушкина и бог знает с кем еще...

Он мечтал, как познакомится с нею, как в первый раз явится к ней...

Бедная Елизавета Михайловна! В этих роскошных мечтах он вовсе забыл о ее существовании.

На другое утро, подкладывая транспарант под форменную бумагу для переписки какого-то отношения, Иван Александрович искоса посматривал на своего столоначальника, потому что ему не хотелось ничего делать, решительно ничего, а вот так сидеть сложа руки да мечтать о вчерашней даме... Здесь кстати заметить, что он уже за две недели до этого определился в департамент, по протекции одного начальника отделения, Евграфа Матвеевича... как бишь его фамилия? Так на языке и вертится... Нет, забыл. Ну, да все равно... Евграф Матвеевич был задушевный приятель супруга тетушки Ивана Александровича и по просьбе ее поместил молодого человека до первого случая на четырехсотрублевую вакансию.

... Так, Иван Александрович подложил транспарант под бумагу, очинил перо и уже нарисовал первую букву В, но в эту самую минуту кто-то схватил его за руку.

— А, мое почтение, Федор Егорович.

Федор Егорович был помощник столоначальника, молодой человек очень приятной наружности, с прекрасно всчесанным хохлом, *при золотых, настоящих часах,* а не то чтобы *с серебряною дощечкой сзади,* ловкий в обращении и вообще, как говорят, «славный малый». Он был аристократом в своем отделении, потому что имел собственные дрожки и лошадь, вследствие чего иногда позволял себе маленькие вольности, как-то: приезжать четвертью часа позже обыкновенного и пр. А это уже не шутка! Все мелкие чиновники смотрели на него с особенным почтением, некоторые с маленькою досадою и завистью.

Раз один из его товарищей, подергиваясь и прихрамывая, подошел к нему и, указав пальцем на цепочку, которая красовалась на его жилете, спросил:

— А что, это семилёровая-с?

Федор Егорович посмотрел на вопрошающего очень гордо и нехотя отвечал:

— Золотая.

— Настоящая-с?

— Да.

— Изволите видеть. А что, я думаю, вещь-то ценная? Сколько заплатить изволили?

— Полтораста рублей.

— Гм.

При этом *гм* он вытащил из кармана довольно большую круглую табакерку, торжественно стукнул по крышке, повернул ее, со скрипом отворил табакерку и поднес к Федору Егоровичу. В табаке лежали три жасминные цветка...

— Не угодно ли? У меня *бергамотовый-с.*

Федор Егорович небрежно понюхал.

«Вишь, какой фертик,— подумал этот чиновник,— 150-рублевые цепочки изволит себе ежедневно носить!»

После этого разговора Федор Егорович получил еще больший вес в своем отделении, а слухи о нем и богатстве его начали даже распространяться по всему департаменту.

Федор Егорович сошелся тотчас с Иваном Александровичем, узнав, что он кончил курс в университете; и не мудрено: он очень любил рассуждать о разных ученых предметах, это была его страсть. На вечерах и балах, в своем кругу, он слыл *умницею,* и даже очень *солидные* люди отзывались о нем с величайшею похвалою. Когда речь заходила об нем, они, по обыкновению нахмурив брови, произносили довольно протяжно: «Фу! какая голова! что ни говорите, а он пойдет далеко!»

В случае если между дамами возникал какой-нибудь литературный спор, то слабая сторона спорящих всегда почти посылала за ним: «Где Федор Егорович? Федор Егорович решит, *он такой начитанный!*» И Федор Егорович, являясь, торжественно решал спор.

Он-то подошел к Ивану Александровичу и взял его за руку в ту самую минуту, когда тот призадумался над буквою В.

— Как поживаете, Иван Александрович? Что новенького? А?

— Вам лучше знать новости, Федор Егорович, вы в свете.

При этом Федор Егорович, очень довольный, улыбнулся.

— Да, оно конечно; но все это так надоело! Ну, что такое свет, ровно ничего, ей-богу! Нет, этак, главного — пищи для души, а остальное — пфф... Признаюсь, давно мне хочется заняться чем-нибудь существенным, литературою, например, написать что-нибудь: все-таки составишь себе имя, ознакомишься со всеми учеными. К тому же я чувствую в себе способность сочинять. Вот если я увижу, например, цветок или что-нибудь такое, то у меня сейчас и воспламеняется воображение.

Произнося это, Федор Егорович поправил галстук и стал обдергивать свою черную атласную манишку со складочками, на которой светились три запонки из мнимых брильянтов.

— Послушайте, Федор Егорович,— сказал Иван Александрович после нескольких минут молчания, отводя своего нового приятеля в амбразуру окна,— мне хочется кое-что спросить у вас, вы в Петербурге всех знаете, вам должно быть это известно.

Иван Александрович говорил вполголоса и нарочно удалился от стола, испытав в короткое время, до какой степени некоторые из его товарищей одарены преступною страстию любопытства. Он знал, что для этих господ ничего не может быть приятнее, как подслушать чужой *секретец*.

Федор Егорович, заложив руки в боковые карманы, нахмурил брови и сделал легкое движение губами, в знак внимания.

Иван Александрович рассказал ему о своей встрече с дамою, о том, как он следовал за нею; описал ее кавалера, ее ливрею, все до малейшей подробности.

Лицо Федора Егоровича постепенно одушевлялось. Он уже поднял вверх брови.

Иван Александрович продолжал:

— Не доходя Покрова, она, знаете, и повернула налево, в Усачев переулок, я за нею; перейдя улицу, она остановилась у подъезда направо... кажется, четвертый дом от угла...

В эту минуту Федор Егорович схватил с величайшим восторгом руку своего приятеля и, в пылу самозабвения, закричал:

— Ну, так и есть... Она, она!

Надобно было посмотреть на физиогномию Ивана Александровича, пораженного таким нечаянным и таким скорым открытием.

— Может ли быть? так вы, вы ее знаете... знаете?

Он ничего не мог произнесть более.

— Гм! Кого я не знаю? Это моя старинная знакомая. Надобно вам сказать, что я у них на *короткой ноге* в доме; совершенно *свой*. Не был день, два,— так сейчас посол: что, дескать, давно не были? откушать просят... Знаком ли я?

— Да кто ж она такая, Федор Егорович?

— Известная в Петербурге дама, на всех балах бывает... И какая начитанная; я с ней всегда мазурку танцую.

— А как ее фамилия?

— Марья Владимировна Болотова.

«Какое прекрасное имя!»— подумал Иван Александрович.

— А что, она замужем?

— Нет; вот года четыре как овдовела.

У Ивана Александровича на лице выступила краска.

— Не хотите ли, я вас познакомлю с нею?

«Познакомлю!.. Неужели в самом деле?»— Иван Александрович ужасно как смешался.

— Что ж, хотите, Иван Александрович? Вы ведь еще не выезжали в свет, а тут вы с первого раза ознакомитесь со всем лучшим обществом. Хотите ль? Правду сказать, свет придает этак человеку полировку.— И при этом слове Федор Егорович с самодовольною гримасою посмотрел на себя и начал небрежно вертеть цепочкой, на которой висел ключик от часов.

— Что, едем?

— Очень рад-с,— произнес Иван Александрович, очнувшись.

— Прекрасно! Когда же, послезавтра? У Марьи Владимировны по вторникам дни.

Иван Александрович опять призадумался.

— Нельзя ли уж на следующей неделе?

«Тем временем,— думал он,— я сошью себе фрак. Ведь

нельзя же явиться к такой богатой даме, не имея модного фрака».

— Так в следующий вторник? О, да мы там будем веселиться, за это я вам ручаюсь.

Грустно было Ивану Александровичу, очень грустно! Фрак по меньшей мере стоит 120 руб., он справился об этом у одного портного, который жил на Невском. На Невском всегда самые лучшие портные, он это давно знал. Откуда же взять ему вдруг 120 руб.? Из деревни его должны были прислать ему в октябре месяце 1000 руб.— годовой доход; но до октября еще сколько времени! Занять? Но у кого? У Федора Егоровича? Ни за что на свете! Иван Александрович не хотел одолжаться никому. У тетушки? тетушка не даст, да еще разбранит, назовет мотом, будет читать целую неделю наставление о том, как должен вести себя молодой человек, как вел себя в молодые лета ее покойник, что надо *по одежке протягивать ножки*, и проч., и проч. Он знал все это заранее. Что же прикажете делать? Иван Александрович был в совершенном отчаянии. Он не ел и не пил.

Однажды после обеда тетушка вздремнула, а он открыл машинально какую-то книгу. Вальтер Скотт! А это его любимый автор, давно он не заглядывал в Вальтера Скотта, а бывало — он не разлучался с ним... Он вспомнил свои студенческие годы, то блаженное время, когда он был так беззаботно счастлив, когда в его завидном уединении широко развертывался перед ним мир поэтический, жизнь кипучей фантазии; когда его окружали эти дивные образы, эти вдохновенные создания великих творцов; когда он страдал их бедствиями и радовался их радостями,— он вспомнил все это и хотел читать... Нет! Теперь ничто не привлекало его внимания: ни величественно-неподвижный образ Саладина, ни томно-смуглое личико очаровательницы Ребекки, ни гордо-угловатое лицо Елисаветы Английской... Нет! перед глазами его кружился в самом соблазнительном виде новый фрак, в мыслях его была сторублевая ассигнация.

Он закрыл книгу и вздохнул. Дверь скрипнула: в комнату вошла Елизавета Михайловна.

Она была очень бледна; в чертах ее лица выражалось что-то страдальчески-прекрасное; и вы бы, взглянув на нее в эту минуту, увидели, что она, бедная девушка, любила его всею силою души своей, любила просто, как любят все бедные девушки, без подготовленных сцен, без кокетства, без этих утонченных соблазнов, которые так чудесно изобретают сердца, бьющиеся под батистом и бархатом.

Она подошла к Ивану Александровичу и села возле него. Видно было, что она хотела начать говорить, но как будто не решалась, еще как будто собиралась с духом.

Несколько минут в комнате было тихо, лишь слышалось за перегородкой храпенье старушки.

Наконец Елизавета Михайловна решилась говорить. Она сказала вполголоса:

— У вас что-то есть на сердце, Иван Александрович; с некоторого времени вы стали гораздо скучнее, гораздо...

— Это вам так кажется,— сказал он, перебирая листы книги.

— О, нет! Отчего же вы не хотите быть со мною откровенным? Отчего вам скучно, Иван Александрович, скажите мне? Я давно собираюсь вас спросить об этом.

Иван Александрович посмотрел на нее... В ее выражении было так много убедительности, так много чистосердечия. Он улыбнулся.

— Ну, право, вам так показалось, Елизавета Михайловна. Я точно так же весел, как и в первые дни моего приезда сюда.

— Бог с вами! видно, я не заслужила вашей доверенности.

И, огорченная, она непритворно вздохнула.

Ивану Александровичу стало жаль ее. Он подумал: «Какая добрая девушка!»

— Вы не можете помочь моему горю,— сказал он после минутного молчания.

— А почему знать?

— Видите ли, Елизавета Михайловна, коли сказать вам правду: мне нужны деньги — и скоро, а это очень беспокоит меня. Вы знаете, что у тетушки нельзя просить...

— Видно, кошелек, что я вам подарила, несчастлив?.. А сколько вам нужно денег?

— Рублей сто.

— Только? И вы будете веселы, если достанете эти деньги?

— Да откуда достать их, Елизавета Михайловна?

Личико Елизаветы Михайловны вдруг просветлело; она вспорхнула со стула, исчезла — и через минуту снова явилась.

— Я принесла вам деньги, Иван Александрович.

— Как, деньги? Откуда? Что это значит?

— Вы теперь будете веселы, не правда ли?

Иван Александрович остолбенел от удивления и не мог ничего вымолвить.

— Это мои собственные деньги. Я семь лет копила маменькины подарки: тут, я думаю, будет больше ста рублей. Я хотела сделать салоп... теперь мне не нужен салоп,— и она протянула руку, чтоб отдать ему кошелек, и вся вспыхнула.

— Нет, я не возьму эти деньги, Елизавета Михайловна, ни за что на свете не возьму. Вы семь лет копили их, вам самой нужны они, а я не могу вам отдать их прежде октября месяца... Нет, не возьму, ни за что на свете не возьму!

Девушка посмотрела на него с удивлением; рука, державшая кошелек, медленно опустилась, глаза ее затуманились... минута... и слезы, горькие слезы вырвались на волю, и грудь ее заколыхалась волною.

— Так вы не хотите от меня ничего взять?— произнесла она невнятно, заливаясь и всхлипывая.— За что же вы меня так не любите?

Иван Александрович не знал, что ему делать. Он сам чуть не заплакал.

— Думал ли я вас огорчить этим? Клянусь богом, нет!— Он взял кошелек из руки ее и поцеловал руку.— Вы настоящий ангел, Елизавета Михайловна!

И она отирала слезы платком и улыбалась сквозь слезы.

— Так вы берете мои деньги? Ах, как я счастлива! Вы теперь будете веселы, Иван Александрович, не правда ли? Тише!— она приложила пальчик к губам.— Маменька просыпается, я побегу к ней.

Весь вечер она была необыкновенно весела. Радость вырывалась в каждом ее движении, в каждом взгляде, и старушка, приглаживая ее локоны, говорила:

— Вот ты у меня сегодня умница, Лизанька.

III

> Разбирая различные явления мира внутреннего, идеалист примечает, что они двух родов: одни произведения самого духа, а другие приемлются нами извне. Сии разделяются на два класса: на ощущения приятные и неприятные, и идеи, или образы пространства, форм и цветов. Вот все, что мы знаем о внешнем и, следственно, о веществе. Но все сии ощущения или образы суть только явления в нас, точно так же, как наши мысли, воспоминания...
>
> *Из лекций логики*

Желанный вторник наступил. С пятого часа вечера Иван Александрович начал делать приготовления к туалету. У

него был новый фрак, чудесный, *цвета Аделаиды*, с черным бархатным воротником, с блестящими и узорчатыми пуговицами. Этот фрак был торжественно развешен на кресле, и Иван Александрович ходил кругом кресла и любовался им. Какой отлив-то, прелесть! Красно-лиловый, и сукно самое тонкое, по двадцати пяти рублей аршин. Чудесный фрак!

А жилет? Портной сказал Ивану Александровичу, что к новому фраку необходим и новый жилет, иначе не будет гармонии в целом. И посмотрите, что за жилет! По черной земле цветочки зелененькие, красненькие, желтенькие, и все это сплетено голубенькими стебельками. Иван Александрович взял в руку жилет и повертывал его. Загляденье, просто загляденье!

С самого утра на постели Ивана Александровича лежала отлично выглаженная манишка, совсем готовая, с запонками,— на середней запонке был очень искусно изображен Наполеон во весь рост, а на остальных двух пастушок и собачка на веревочке.

Завившись и одевшись, Иван Александрович несколько раз прошелся по комнате, несколько раз посмотрел в зеркало с приятною улыбкою и потом пошел показаться Елизавете Михайловне.

— Как к вам идет этот фрак, Иван Александрович.

Она смотрела на него так внимательно и так от души любовалась им.

— А каково сшит?

— Очень хорошо. Какая талия! Вам сегодня будет, верно, очень весело: вы увидите таких прекрасных, нарядных девиц...

При этом слове она задумалась. Бедная девушка!

Когда Иван Александрович подошел к руке тетушки при прощанье, старушка оглядела его с ног до головы и начала очень серьезно покачивать головою.

— Что это, батюшка, новое на тебе платье-то?

— Да, тетушка, новое.

— Гм!— Она все продолжала осматривать его.

— А что, оно на тебя сшито али готовое куплено?

— На меня-с.

— На тебя, сударь? Да это просто тришкин кафтан!.. Господи боже мой! Рукава-то короткие, узкие, ну точно Митрофанушка... Застегнись-ка.

Иван Александрович сделал усилие, чтобы застегнуться.

— Посмотрите, пожалуйста — и застегнуться-то не может.

— Да это сшито по моде, тетушка.

— По моде? Мошенник уверил его, что это по моде, а он

себе и растаять изволил. Ему, бестии, выгодно шить по моде!.. Что, сукнеца-то, чай, немного пошло? Ах! Ах! То-то старых людей ведь нынче и слушать не хотят. Куда!..

Иван Александрович боялся одного, чтобы тетушка не спросила о цене его модного фрака и о том, откуда взял деньги на этот фрак: но тетушка, к счастию, не спрашивала об этом и занялась весьма, впрочем, длинным нравоучением, как он должен вести себя «в чужих людях».

Потом она перекрестила его, и он отправился; но старушка долго, очень долго по уходе Ивана Александровича ворчала, покачивая головою.

. . . .

Около девяти часов вечера у подъезда одного дома в Усачевом переулке стояли четыре экипажа: две четырехместные кареты парами, одна двухместная и дрожки. Последние принадлежали Федору Егоровичу, это были те самые дрожки, которые привлекали завистливое внимание чиновников***... департамента.

Появление Федора Егоровича, сопровождаемого Иваном Александровичем, произвело в гостиной небольшое движение.

Три круглолицые, довольно полные девушки, сидевшие рядом по левой стороне дивана, и две длиннолицые, очень худощавые, стоявшие неподалеку от первых, тотчас прервали свой разговор и занялись рассматриванием нового лица, стали улыбаться и перешептываться.

Одной из худощавых, девице лет за тридцать, Иван Александрович чрезвычайно понравился. Она нашла, что физиономия его очень интересна и выразительна. Другая заметила, что он немножко неловок; третья, что у него слишком широки перчатки; четвертая... но невозможно передать всех замечаний. В десять минут Иван Александрович был разобран в подробности. Самой досужей наблюдательности не оставалось подметить в нем ничего, решительно ничего.

И между тем как он, немного смешавшись, выслушивал приветствие хозяйки дома и кланялся, и между тем как она блистала русскою любезностью с примесью заученных французских фраз и, смотря на него, находила в чертах лица его что-то знакомое,— Федор Егорович, улыбаясь, расшаркивался с девицами.

— Кого это вы привезли, Федор Егорович?

— Кто это с вами приехал?

— Как его фамилия?

Вопросы сыпались на него со всех сторон. С ловкостью истинно непостижимою, с искусством, которое может быть при-

обретено только опытностью, Федор Егорович отделался от этих вопросов и удовлетворил любопытству каждой из вопрошавших. Да, он владел в совершенстве завидным даром *пленять.* Я желал бы показать его вам в гостиной: что за утонченное обращение! Что за грация в телодвижениях, что за сила речей во взгляде! Этот взгляд, казалось, говорил той девушке или даме, на которую устремлялся: «Страдайте, сударыня, страдайте: мне известны ваши страданья, но для меня это все равно!» (Какой страшный эгоизм!) Если вы видали в котором-нибудь из бесчисленных кругов среднего петербургского общества молодого человека с таким победоносным взглядом, то нет никакого сомнения — это был Федор Егорович.

После всего этого можно ли удивляться его успехам в *легоньких* гостиных? Иван Александрович впервые видел его в обществе, впервые восхищался его развязностью... Завидный дар! Он, который чувствовал себя неловким и стоя и сидя, и молча и разговаривая, он вполне постигал, как важно быть наделену таким талантом.

Мало-помалу гостиная стала наполняться. Приехало еще несколько матушек, довольно толстых, в вычурных чепцах, с тоненькими дочками в беленьких, красненьких и в пестреньких платьицах; приехал тот самый франт с огромным хохлом, с цепочками и лорнетами, которого Иван Александрович видел на набережной с хозяйкою дома; приехал еще какой-то человек, пожилой и очень блестящий: с тремя брильянтовыми пуговицами на манишке, с фермуаром средней величины на галстуке и с большим солитером на указательном пальце. Уже открыли два ломберные стола в гостиной, уже составилась партия виста; хозяйка дома в величайших хлопотах сама бегала с колодою карт и мимобегом дарила каждого из гостей своих двумя-тремя приятными словцами, и все различного содержания. Остановясь против человека с брильянтовыми украшениями, она сказала, перебирая в руках колоду карт:

— Что, вы будете играть, Алексей Васильевич?

Мутные зрачки глаз Алексея Васильевича забегали при вопросе; он хотел улыбнуться, и лицо его образовало довольно неприятную гримасу:

— А *по чему* роббер?

— По двадцати пяти рублей.

— Пожалуй,— и при этом слове он опять сделал гримасу.— Ведь вы знаете, что я никогда не отказываюсь, даже иногда играю и меньше этого.

Он небрежно взял карту, зевнул и с важностию поправил

свои брыжжи, довольно неумеренно выглядывавшие из-за галстука.

Это был один из известнейших игроков, величайший счастливец, карточный баловень, почти никогда не проигрывавший и допускавшийся даже в некоторые гостиные высшего общества. Для большего эффекта, или, говоря просто, для большей важности в своем кругу, этот господин говорил, по обыкновению, немного в нос и делал различные гримасы, желая, вероятно, показать этим, что он не простой человек, что он имеет знакомства с людьми весьма знатными и что не одни карточные тузы имеют к нему уважение.

Игроки рассаживались; карточные обертки летели под стол. Иван Александрович сидел, пригорюнясь, у входа в гостиную: ему было скучно, он не успел сказать хозяйке даже десяти слов, он не любовался ею десяти минут сряду. Она вот только что остановится, и он только что обрадуется и вооружится всею силою любовного взгляда, как вдруг уже нет ее — она там, в зале. Это очень досадно!

— Что, Иван Александрович, а? весело?— говорил Федор Егорович, улучив минуту и подойдя к нему.

— Да, Федор Егорович, я вам очень благодарен.

Иван Александрович был чрезвычайно скрытного характера.

— Полноте, полноте, любезный,— продолжал Федор Егорович, поправляя верхнюю буклю своего хохла,— полноте... за что тут благодарить? Вы сами видите, мне это ничего не стоило: я на короткой ноге в доме — всех знаю. Не правда ли, какое прекрасное общество? А? Сколько людей с весом! Вот видите, налево-то: вон у тех дверей, такой пожилой человек, украшенный знаками отличия: это дядя мужа Марьи Владимировны. Оно, видите, и ничего, но все такое родство — знаете, протекция; он в большой силе... Дело какое или что — сейчас к нему,— просто, зачем далеко идти? Человек свой, близкий...

В эту минуту кто-то кликнул Федора Егоровича, и он исчез.

Лестно быть представлену в такой дом, где, куда ни обернись, куда ни посмотри, назад ли, вперед ли, везде и повсюду перед глазами люди чиновные, значительные или, по крайней мере, такие, которые не сегодня-завтра будут много значить,— очень лестно! Против этого спорить нечего. Быть вместе с такого рода людьми — это своего рода наслаждение. Так,— но согласитесь, что еще приятнее, не говорю — лестнее, быть наедине с тою женщиной, которая, будто силою

чародейства, заставляет, при мысли об ней, невольно биться ваше сердце, смотреть на нее, любоваться ею? Согласитесь, что ее очи, не говорю — всегда, но порой, кажутся вам очаровательнее всего на свете?

Это заблуждение молодости. Верю; но Иван Александрович был молод, и он думал именно так в то время, когда Федор Егорович описывал ему всю прелесть знакомства с людьми чиновными.

— Знаете ли что, Аграфена Николаевна? — говорила хозяйка дома одной пожилой, толстой, важной и неподвижной даме с необыкновенно выпуклыми и остолбенелыми глазами, одной из тех женщин, которая могла служить превосходным типом русской купчихи, возвысившейся до дворянства,— знаете ли что: не дурно бы девицам потанцевать под фортепиано, не правда ли? Авдотья Петровна такая милая, такая добрая: она, верно, не откажется поиграть? Признаюсь вам откровенно, я не знаю девицы, которая бы так хорошо играла на фортепиано!.. Кто был ее учителем, Аграфена Николаевна?

— Я все забываю его фамилию. Он здесь *первый* учитель в Петербурге; уж, говорят, лучше его нет.

— Это видно, что у нее был первый учитель, сейчас видно. Ведь она, верно, не откажется сыграть хоть один кадриль?

— Настенька, поди-ка сюда! Вот Марья Владимировна просит, чтоб ты поиграла для танцев.

— С большим удовольствием-с.

И Настенька, девушка лет двадцати осьми, так же дородная, как ее маменька, сделала очень ловкий *реверанс*, смотря на Марью Владимировну.

Марья Владимировна имела редкий дар все так хорошо устроить, занять гостей... Такой приветливой, милой, такой разговорчивой и дальновидной хозяйки дома вы не нашли бы, конечно, в целом Петербурге. Я говорю это без всякого пристрастия и готов сослаться на всех, кто посещал ее дом. Федор Егорович, как уже известно вам, человек образованный и светский, он сам, говоря о Марье Владимировне, всегда называл ее *идеальною*.

— Ангажируйте дам, ангажируйте, Григорий Ильич, Иван Петрович, Федор Егорович и мсье Рижский, вы такие мастера распоряжаться: надобно устроить кадриль.

Видите ли, как тонко Марья Владимировна умела льстить самолюбию?

Федор Егорович и г. Рижский, молодой офицер в золотых очках, бегали и набирали кавалеров, а между тем хозяйка дома подошла к Ивану Александровичу.

— А вы ангажировали даму?— спросила она его с приветливою улыбкой.

У Ивана Александровича от этого вопроса выступил холодный пот на лице.

— Я не танцую-с,— отвечал он, немного замявшись.

— Полноте, полноте. Ангажируйте вот эту девицу, что сидит в углу дивана, с розаном на голове. Она очень любезна. Пожалуйста, танцуйте: ведь не всегда же философствовать. Я слышала, что вы большой философ, но иногда с Парнаса можно спуститься и на землю...

Как хорошо говорила Марья Владимировна! Как искусно каждому она умела показать свои познания!..

Но Иван Александрович, первый раз попавший в свет, очень смутился от ее любезности и не придумал никакой блестящей фразы в ответ ей. Он просто сказал:

— Покорно вас благодарю. Я, право, не танцую.

Но он бы готов был отдать в эту минуту половину своих познаний, которые добывал годами трудов и постоянным усилием мысли, за то только, чтоб уметь протанцевать французский кадриль.

Фортепиано забренчали. Кадриль начался... Федор Егорович и офицер в золотых очках танцевали лучше всех: это можно было сказать утвердительно, потому что в их движениях была и легкость и грация, а другие — что это такое?— просто ходили. Пройтиться-то умел бы и Иван Александрович.

В промежутках танцев, когда музыка смолкала, из гостиной раздавались крикливые голоса игроков. Господин с фермуаром на галстуке кричал громче всех:

— Когда я играл с князем Петром Ильичом, у меня были: король, дама сам-четверт козырей, а у графа Александра Андреевича валет сам-друг; ходил он. Ну, говорит мне князь Петр Ильич, счастье, братец, тебе, счастье. Тебя любят козыри. Не всегда, я говорю, ваше сиятельство. Случается, что у меня не бывает козырей. Князь такой милый, такой шутник.— И господин с фермуаром очень громко засмеялся при сем.

Марья Владимировна, хозяйка дома, была большая охотница танцевать. И уж зато как танцевала! Удивительно! Как она умела показать свою ножку, нагнуть немного голову на правый бок,— прелестно!.. Это еще был маленький вечер, это были еще танцы — так, экспромтом; а надобно было ее видеть на большом бале... Иван Александрович не спускал с нее глаз.

«Странно,— думал он, глядя на нее,— она очень хороша собою, против этого говорить нечего, только что-то у нее цвет

лица такой неестественный, чересчур малиновый. Разве, может быть, она разгорелась, танцуя? Да нет, как я вошел, она еще не танцевала, а у нее был цвет лица точно такой же. Бог знает, отчего это!»

Возвратясь домой очень поздно, Иван Александрович долго не мог заснуть: было светло, как днем.

Скучны, господа, эти петербургские летние бессумрачные ночи! День, вечно день. Я люблю ночь, с ее таинственным покровом, с ее страшными тенями, с ее поэтическими туманами, которые то прикидываются перед вами безграничным морем, то какими-то чудными громадами зданий... Я люблю ночь, роскошно томящуюся в лунном мерцанье, упоенную ароматами цветов, истаивающую, дрожащую в неге... О, я не променяю ваш ослепительный день на такую ночь, господа! Нет, не променяю...

Иван Александрович в этом случае был совершенно согласен со мною. Он также не любил вечного петербургского дня. Он сидел у постели, пригорюнясь.

«Вот,— думал он,— прошел и этот вечер, которого я целую неделю ждал с таким нетерпением, о котором мечтал ежеминутно... Прошел! Уж не в самом ли деле мечта лучше существенности?»

Иван Александрович был вообще не очень доволен вечером Марьи Владимировны.

«Она, правда, милая женщина, привлекательная, а все не то, что я воображал. Не то!.. Она гораздо лучше, когда любуется Невою, нежели когда танцует в зале».

— Весело ли вам было вчера, Иван Александрович?— спрашивала его Елизавета Михайловна утром за чаем, еще до прихода тетушки...

— Так, не очень-с.

Елизавета Михайловна посмотрела на него, он посмотрел на Елизавету Михайловну: ее глаза были очень красны, веки как будто распухли.

— Не болят ли у вас глаза, Елизавета Михайловна? какие красные!

Она вздрогнула при этом слове и уронила из руки ситечко.

— Будто красны? я не заметила: да, немножко болят...

— Хотите, я вам принесу розовой воды, Елизавета Михайловна?

— Нет, не надо... Впрочем, если вас это не обеспокоит, принесите, Иван Александрович...

Как драгоценность хранила Елизавета Михайловна стеклян-

ку с розовою водой. Иван Александрович в тот же день принес ей эту стклянку. Она всякий день утром и вечером вынимала ее из комода, смотрела на нее с большим чувством, обливала слезами и, говорят, даже целовала. Ведь это был подарок Ивана Александровича, что же мудреного? Это был его первый подарок!

Так день уходил за днем, неделя сменялась неделей... То же однообразие в доме тетушки Ивана Александровича, никакой перемены. Старушка сидит на тех же кожаных креслах и вяжет чулок или раскладывает карты,— только реже вяжет она чулок, только чаще протирает очки своим пестрым носовым платком, здоровье-то ее стало плоше, зрение-то слабее. Елизавета Михайловна также скучна и также бледна, сидит у ног ее с шитьем в руках, только чаще прежнего оставляет она иголку и украдкой взглядывает на старушку и — задумывается, очень задумывается. Жизнь старушки — это ее жизнь... Разве она, сирота, может отделить свое существование от ее существования? Что она будет без нее?.. Сидит напротив старушки и Иван Александрович, он смотрит на Елизавету Михайловну и думает: редкая девушка, какая у нее ангельская душа, какое доброе сердце... Вот так, кажется, в этих глазах и светится небо!..

Мелкий осенний дождь запорошивает стекла; печально серое небо без просвету, печально, как мысли Елизаветы Михайловны...

— Лизочка, Лизочка, что-то ты у меня не на шутку худеешь,— говорит старушка, отложив карты и глядя на нее,— это больно меня беспокоит. Не посоветоваться ли с Францем Карловичем, а?

— Нет, маменька; нет, голубушка. Зачем мне доктор? Я, право, чувствую себя совсем здоровою,— и слеза девушки упадает на морщинистую руку старушки.

— Уж ты и расплакалась, дурочка. Ну, о чем же тут плакать?

Ивану Александровичу стало очень жаль Елизавету Михайловну, так жаль, что у него разрывалось сердце, глядя на ее бледное, печальное личико... что у него, у мужчины, готова была вырваться слеза, глядя на ее слезы; но он скрепился, проглотил эту слезу... Как ему было не понять тайной причины страдания этой девушки, глядя на свою дряхлеющую тетку?

Бедная, бедная девушка!

В эту минуту в комнату вошла горничная и подала Ивану Александровичу записку. Он распечатал: от Федора Егоровича; Марья Владимировна приглашает его к себе на вечер.

«У нее,— пишет он,— будет так, *кой-кто*, человек тридцать, все большею частию *свои*».

«Нет, не поеду,— подумал Иван Александрович,— что-то скучно; да и к тому ж я был у нее недавно».

Точно: Иван Александрович раза четыре был у нее после того вечера, в который он с такими надеждами, с таким восторгом представился к ней в новом фраке цвета Аделаиды.

Этот фрак и теперь еще почти совсем новый, нисколько не полинял, нимало не обтерся; пуговицы только немножко почернели, да это ничего не значит: можно поставить новые; но те надежды, те восторги, с которыми он надевал этот фрак, отправляясь в первый раз к Марье Владимировне,— кто обновит их, скажите? Неужели они, цветущие и яркие, так скоро увяли?.. Видно уж, в самом деле, на свете нет ничего постоянного!

Текла, Юлия, Маргарита, Татьяна — обратились просто в Марью Владимировну, когда Иван Александрович посмотрел на нее вблизи, познакомился с нею. Как все обманчиво издали! смотришь, что за цвет лица, какая свежесть! Роза! а посмотришь поближе — румяны. Везде подлог, везде обман... Право, не много веселого в жизни; поневоле запоешь элегией!

Полный кипучих, студенческих фантазий, Иван Александрович заговорил однажды с Марьей Владимировной о театре как о храмине изящного, о высоком назначении искусства в мире, заговорил:

О Шиллере, о славе, о любви.

Он думал, что ее сердце забьется от этих речей, что она будет сочувствовать его энтузиазму. Он говорил с жаром и убедительностию, она слушала равнодушно, не знаю — понимая или не понимая, и когда он кончил, она с свойственною ей грацией, которую в другом кругу, вероятно из зависти, назвали бы жеманством, сказала с расстановкою:

— Да, ничего не может быть лучше театра. Я очень люблю спектакли, в особенности веселые водевили. Есть такие смешные, вот так бы и хохотать до упаду. А трагедии я терпеть не могу: там вечно несчастия, резня: это ужасно расстроивает нервы, а я к тому же такая раздражительная...

Иван Александрович хотел возражать, но Марья Владимировна не дала ему вымолвить слова.

— Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Нет, уж я водевиль ни на что на свете не променяю.

Иван Александрович вздохнул.

В другой раз речь зашла о романах. Иван Александрович выхвалял Вальтера Скотта (вы уже знаете, что это один из

любимых писателей Ивана Александровича), доказывал, что до Вальтера Скотта не существовало романа, что «роман только в наши дни получил свое высшее достоинство его гением, что и после Ричардсона, Лесажа и Руссо он все еще не имел права на название сочинения определенного и положительного, несмотря на то, что существовали «Новая Элоиза», «Вертер» и проч., и проч. ...словом, повторил все то, что говорили о нем европейские критики и что вслед за ними печатали наши журналы. Иван Александрович говорил горячо и долго. Марья Владимировна только из одного приличия не зевала. Когда он кончил, она сказала:

— Что ни говорите, Иван Александрович, а ваш Вальтер Скотт прескучный, пренесносный: я не нахожу в нем ничего хорошего. Как можно его сравнить с Дарленкуром или Поль де Коком? Дарленкур такой чувствительный писатель, а Поль де Кок такой забавный. Я всегда хохочу до истерики от его романов. Я очень люблю Поль де Кока.

— Поль де Кок!— Иван Александрович хотел что-то возразить, но слова замерли на языке его.— Поль де Кок!— повторил он снова глухим голосом и снова остановился.

Минут через пять он собрался с духом и сказал:

— Помилуйте, Марья Владимировна! Я не знаю, что же вы находите хорошего в Поль де Коке?

— Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Ну, что ваш Вальтер Скотт-то написал хорошего? Признаюсь вам, меня никто так не забавляет, как Поль де Кок...

Иван Александрович вздохнул.

С этой минуты он совершенно охладел к Марье Владимировне, так охладел, что ему было все равно, есть ли она на свете или нет. Не вините же Ивана Александровича за непостоянство, не говорите же, что он без причины разлюбил эту женщину! О нет! Он готов был любить ее страстно, безумно, он готов был боготворить ее; но я знаю наверно: но не воображал, чтобы в Петербурге могла найтиться женщина, которая бы любила одни только водевили да романы Поль де Кока. И еще женщина из такого прекрасного круга!

Они просто не сошлись. Иван Александрович думал найти в Марье Владимировне существо, гармонировавшее с ним... Что ж делать! он ошибся, он еще мало знал людей. Проказник! он думал, что все должны иметь одинаковый с ним вкус, одинаковый образ мыслей...

Вот отчего Иван Александрович так холодно принял приглашение Марьи Владимировны. Да и Федор Егорович стал

наскучать ему: он беспрестанно приставал с своими стишками.

— У меня есть небольшое стихотвореньице, Иван Александрович,— говорил он, пожимая ему руку,— так, знаете, я сочинил для забавы, когда жил прошлое лето по Парголовской дороге. Вы знакомы с одним журналистом, по дружбе — этак, попросите, чтобы он напечатал в своем журнале. Видите, я посвятил эти стишки Марье Владимировне, она ведь охотница до поэзии и, между нами сказать, смыслит кое-что в этом деле. Она очень хвалила вот это место...

Федор Егорович вынул из кармана бумажку, всю исписанную, и начал читать с большим чувством:

Ручей бежал между кустами,
Я молча плакал у ручья;
Но ты не тронулась слезами,
Жестокосердная моя!
Уж солнце к западу клонилось,
И я побрел к себе домой,
И голова моя скатилась
На грудь, изрытую тоской!..

А? как вы находите это место?

— Очень хорошо,— отвечал Иван Александрович.

— Знаете, тут много меланхолии, не правда ли? У меня вообще этак... меланхолическое расположение в моих стихах...

«Неотвязчивый человек, несносный!— думал однажды Иван Александрович, разбирая свои бумаги и отыскав между ними стихи Федора Егоровича.— Ну, что я буду делать с этими стихами?»

Вдруг между бумагами мелькнуло что-то красненькое.

«Что бы это такое?..»— подумал Иван Александрович. *Кошелек!* Это тот самый кошелек, который Елизавета Михайловна отдала ему с своими деньгами и который она никак не хотела взять назад.

Иван Александрович призадумался над этим кошельком. Он вспомнил, с каким восторгом эта добрая девушка отдавала ему свои последние деньги, как она была огорчена, когда он не хотел брать их... Он вспомнил ее слезы и потом эту непритворную радость, когда он решился взять деньги...

«Боже мой!»— и вдруг мысль: *что, если она любит меня?*— впервые блеснула в голове его...

VI

И в час, как с молитвой на бледных устах
Ты в смертной борьбе трепетала,
Ты эту молитву с слезой на глазах
О благе моем лепетала.

Э. Губер

Но да видишь лепе девойке!..[1]

Из сербской песни

Прошло еще два месяца, кажется, что два, а может быть, немного и более, после той минуты, когда Ивану Александровичу попался на глаза кошелек Елизаветы Михайловны и заставил его задуматься. В эти два месяца он внимательно наблюдал за нею. «Да, она любит меня, точно, любит, милая девушка!» Так рассуждал он сам с собою, греясь в один вечер у печки. Зима в этот год была ужасно холодная. «И я не видел прежде любви ее? И я предпочитал ей эту Марью Владимировну! тогда как перед глазами у меня был настоящий ангел, я гонялся, сам не знаю за чем... Светская дама! Хороши же эти светские дамы!»

Иван Александрович, рассуждая таким образом очень долго, вовсе не замечал, что сальная свеча, стоявшая перед ним на столе, так нагорела, что в комнате не видно было ни зги; он даже не слыхал, как вошла в комнату Елизавета Михайловна, не видал, как она приблизилась к столику, на котором стояла свеча, как она сняла со свечи, и если бы не ее *ах*! при виде Ивана Александровича, то он, вероятно, еще не скоро бы очнулся.

— Я думала, что здесь никого нет. Вы не поверите, как я испугалась.

— А я, ей-богу, и не слыхал, как вы вошли сюда, Елизавета Михайловна.

— О чем вы так задумались, Иван Александрович?

Иван Александрович хотел что-то сказать, заикнулся на первом слове и замолчал. У него недостало духу пересказать ей то, о чем он думал; но пристально, необыкновенно пристально посмотрел он на Елизавету Михайловну. Этим взглядом он, казалось, хотел проникнуть в самую заповедную глубь ее сердца.

Она стояла перед ним пригорюнясь, поддерживая одною рукою локоть руки, на которую упадала ее головка,— бледна, как мрамор, неподвижна, как статуя.

---

[1] Посмотри же на красавицу!..

— Что с вами?— произнес он после минуты молчания.

— Маменьке сделалось хуже... Она очень слаба.

Голос, которым были произнесены слова эти, произвел странное действие на Ивана Александровича: у него пробежал мороз по коже от этого голоса.

— Бог милостив, зачем отчаиваться? К тому же Франц Карлович говорит, что у нее нет никакой опасной болезни.

— Она очень больна,— повторила тем же голосом Елизавета Михайловна,— *очень*,— и этот голос перервался, задушенный рыданьем, и она закрыла руками лицо.

Иван Александрович бросился к стулу.

— Сядьте, сядьте, Елизавета Михайловна, вы насилу стоите. Полноте, успокойтесь, право, бог не допустит такого несчастья.

Она опустилась на стул.

— Бог не допустит,— повторила она,— но если, если ее не станет,— и она вдруг отерла слезы, схватила Ивана Александровича за руку, глаза ее горели, губы дрожали, голос беспрестанно прерывался,— если ее не станет, я не переживу этого... Ее гроб — мой гроб. И что же моя жизнь без ее жизни?..

— Послушайте, Елизавета Михайловна, не одна тетушка в мире умеет ценить и любить вас. Если уж богу будет угодно... то останется здесь еще человек, который любит вас не меньше ее, для которого вы...— Он не мог договорить, он сжал ее руку и робко взглянул на нее.

Она пошатнулась, какой-то несказанный сладостный трепет пробежал по всем ее членам: она еще никогда не ощущала ничего подобного, туман застилал ее очи. Это была минута забытья, это был неопределенный, неуловимый переход от бодрствования ко сну... Долго не могла она ничего произнесть, долго рука ее лежала в его руке; наконец она отдернула эту руку и протерла глаза.

Снова нагоревшая свеча разливала слабый, красноватый свет по комнате... Она осмотрела кругом себя... Что это? греза?

— Елизавета Михайловна! Елизавета Михайловна!— говорил Иван Александрович почти шепотом.— Я люблю вас, я люблю вас, бог свидетель, что ваше спокойствие, ваше счастье дороже всего для меня...

Она вздрогнула.

— Иван Александрович! о, это не сон!— и она опять протирала глаза.— Вы не смеетесь над бедною девушкой? Нет?

— Боже мой! Да, я люблю вас!— повторил он.— Люблю... Но скажите мне одно слово, только одно... любите ли... В

этом слове для меня все, все — мое существование, моя жизнь... о, скажите мне...

Он не мог больше говорить, переполненный чувством...

Грудь ее дышала порывисто, даханье замирало в груди.

Это была для нее одна из тех минут, которые испытывают раз в жизни, и то только избранные, и этих избранных называют в мире счастливцами, и этих счастливцев немного в мире. Да, в эту минуту она вполне поняла все очарование, всю силу, всю беспредельность того, что называют счастием; в эту минуту она даже забыла о своей больной старушке, о своей матери, о своей благодетельнице... Она была взаимно любима. *Взаимно*!.. А есть ли, господа, на земле что-нибудь выше, что-нибудь отраднее, что-нибудь святее взаимной любви?

— Мне ли не любить вас, Иван Александрович?..— И голова его упала на ее руку, и он прильнул к этой руке горячими устами...

Вдруг кто-то застонал в ближней комнате.

— Ах, маменька!..— Елизавета Михайловна чуть не вскрикнула; вскочила со стула и выбежала из комнаты.

Иван Александрович остался неподвижен на стуле.

На другой день тетушка его почувствовала себя лучше. Она сидела на кровати, прислонясь к подушкам, и смотрела на свою Лизу.

— Лизочка,— говорила она ей,— моя молитва дойдет до бога: я молилась за тебя каждое утро, каждый вечер. Он, отец мой небесный, видел мои слезы. Лизочка! Он даст тебе счастье.

Старушка протянула к ней свою ослабевшую руку и крестила ее.

— Матушка, друг мой, выздоравливайте скорее, и тогда... тогда я буду совершенно счастлива.

— Ну, полно, плакса. Видишь ли, я сегодня пободрее могу сидеть. Перестань хныкать, прочти-ка мне лучше письмо Евграфа Матвеевича. Спасибо ему, спасибо: не забывает старых друзей, даром что идет вверх и весь обвешан крестами... Право, спасибо.

Елизавета Михайловна развернула письмо, которое держала в руке, и начала читать тихо, с расстановками:

«Милостивая государыня моя

Авдотья Евлампиевна!

По ходатайству вашему, а также во уважение приязни моей к покойному супругу вашему, а моему хорошему другу Игнатию Матвеевичу, которого я до конца жизни моей не забуду и воспоминание о котором унесу с собою и в гроб...»

— Ах ты, родной мой, с какими чувствами!— перебила

старушка.— Этаких людей не много нынче, нет! Вот душа-то!.. Ну, ну, читай, Лиза, читай!

— «...унесу с собою и в гроб, определил я племянника вашего, Ивана Александровича, на службу под собственное свое ведомство, и неослабно сам наблюдал за его старательностию и способностию в отношении письменных дел, и, убедясь в продолжение нескольких месяцев в таковой его старательности, равно как и в способности, о помещении его на первую открывшуюся в отделении моем вакансию на штатное место, а именно помощника столоначальника с 1500 р. окладом в год, не замедлил обратиться с представлением к директору департамента, который и утвердил его в означенном выше звании, сего ноября 5 дня; вследствие чего, милостивая государыня моя, свидетельствуя вам совершенное мое почтение, имею честь вас уведомить...» и проч.

— Дай бог ему здоровье! Да, надо сказать, прежнего века люди-то посолиднее: хлеб-соль чужую не забывают... А каков же мой Иванушка? Он у меня малый умный и не одного себя прокормит. Правда, Лизанька?

И старушка улыбалась сквозь слезы и трепала ее по щеке с самодовольствием.

Время шло своим чередом, а здоровье старушки не поправлялось. Она видимо хилела. Франц Карлович прописывал ей микстуры, которые не помогали, смотрел на больную, нюхал табак и говорил себе под нос: «Гм, эта болезнь называется старость».

Однажды под вечер ей сделалось заметно хуже. Елизавета Михайловна не отходила от ее постели целую ночь; бедная девушка не смыкала глаз, она тихо плакала, задушая в себе рыданья, боясь, чтобы не услышала ее горе родная. И тяжело было ей: грудь ее в ту минуту была могильным склепом, в котором заключены были ее страдания, ее вопли...

Иван Александрович также не отходил от постели больной; и он, порою, утирал слезу, которая докучливо катилась по его щеке: горько было ему смотреть на потухающую жизнь своей второй матери, еще горше на страданье Елизаветы Михайловны. Он с каждым днем привязывался к ней больше и больше, он чувствовал, что без нее ему ничего не мило, он не мог дать себе отчет, как вкралась к нему любовь, и не знал, что она теплилась в нем давно, только бессознательно. Он любил ее горячо, любил с самоотвержением юноши, одаренного душою благородною и сильною...

Он хотел утешать Елизавету Михайловну; но что такое утешение в минуты свинцовой безотрадности? Он хотел мол-

вить ей слово надежды; но могло ли быть сильно это слово в устах человека, который не имел сам ее?

Итак, Иван Александрович сидел молча, с поникшею головою. Ночь была бесконечна, каждая минута высчитывалась страданьем, или вздрагиваньем, или замиранием сердца... Однообразно стучал маятник, страшно было стенанье старушки, тяжело и неровно ее дыханье.

Под утро больная забылась.

— Елизавета Михайловна,— произнес Иван Александрович,— тетушка, кажется, уснула; ради бога, подите лягте, усните и вы хоть на несколько минут. Вы измучились, ведь вы занеможете сами. Ради бога! я останусь здесь.

— Нет, я не могу спать; я не устала, ничего.— А голова ее кружилась, и она насилу сидела на стуле.

Утром старушка потребовала священника.

Елизавета Михайловна лежала без чувств в другой комнате; ее оттирали. Иван Александрович поддерживал голову старушки: она причащалась святых таин.

Великий обряд совершился. Хладеющие уста старушки шевелились без слов: она про себя читала молитву; правая рука ее двигалась на груди, она хотела креститься.

— Пошлите ко мне мою дочку,— сказала она довольно явственно.— Где же она, где моя Лиза? Лиза, Лиза...

Ее привели.

Она упала на колена перед постелью. Умирающая положила руку на ее голову — и вдруг глаза ее вспыхнули последним огнем, и она произнесла громко, голосом, полным торжественности:

— Боже! боже! Услышь меня в эту минуту. Господи! не оставь ее!..

Из груди несчастной девушки вырвался раздирающий вопль.

Франц Карлович наморщился; у него, видно, хотели показаться слезы, но он скрепился; вынул из кармана табакерку и начал с расстановками нюхать табак.

— Ближе, ближе ко мне, моя Лиза...— продолжала старушка голосом, постепенно слабеющим.— Вот... так... теперь мне теплее. Прощай, друг мой... Я не одну тебя оставлю... Ты ведь любишь его, Лиза... Где он?.. его руку.

Она искала руки Ивана Александровича; он подошел к ее изголовью и также стал на колена. Она взяла его руку, соединила с рукою Елизаветы Михайловны и смотрела на них пристально.

— Дайте мне насмотреться на вас... Это все ваше... все,

друзья мои; будьте счастливы... У меня что-то темнеет в глазах...

— Матушка! Не оставляйте детей ваших. Матушка! Что же? Разве вы не хотите видеть нашего счастья? Еще один час, одну минуту, родная...— и несчастная захлебнулась слезами.

Вдруг она почувствовала что-то холодное на своей руке: это была рука старушки, которая замерла, соединяя ее с обрученником ее сердца.

Она вскрикнула, приподнялась, осмотрелась кругом себя — и как труп рухнулась к ногам доктора, обнимая его ноги.

— Спасите, спасите матушку!

Франц Карлович едва удержался на ногах; он снова сделал гримасу и прошептал себе под нос (это была его привычка): «Боже мой! нет ничего неприятнее, как видеть несчастие».

Потом он и Иван Александрович бросились помогать бедной девушке; старушка уже не требовала никакой помощи.

Около вечера, когда Елизавета Михайловна немного успокоилась, Иван Александрович, оставив ее на руки двум женщинам, вышел из дома.

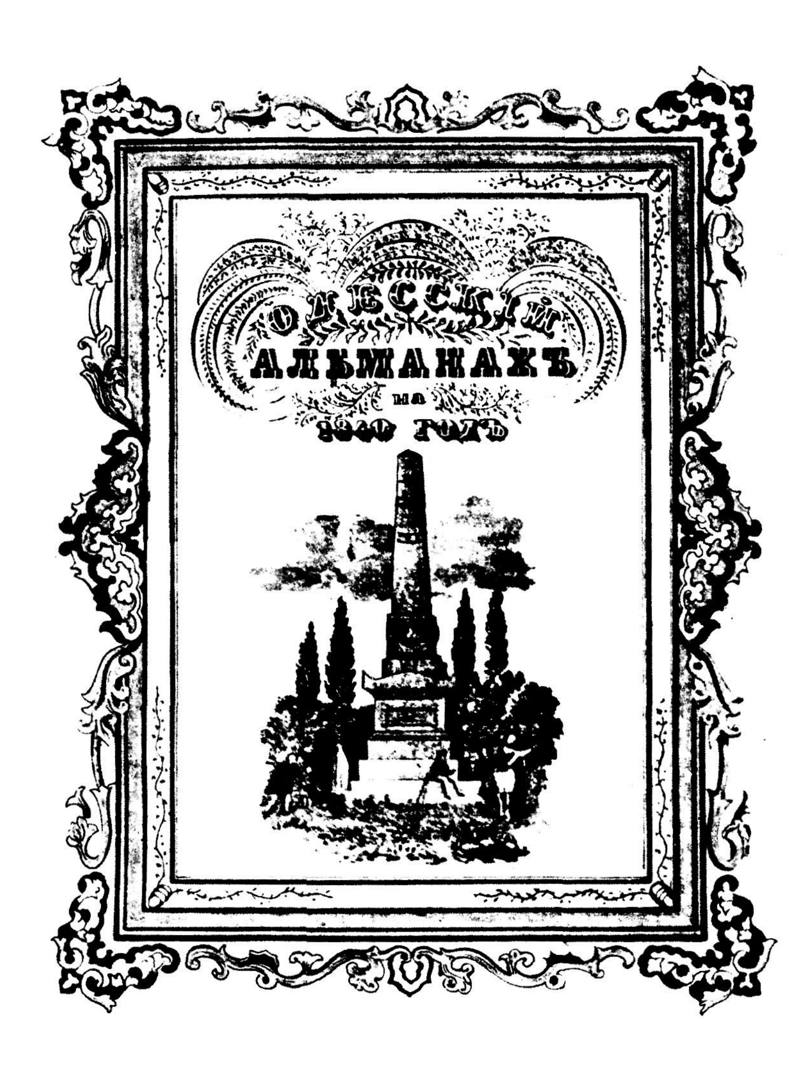
Задумчив шел он по улице. Образ умирающей тетки, ее благословение, отчаяние его Елизаветы Михайловны: он теперь имел право назвать ее *своею*... все это вместе перебегало в голове его.

— Иван Александрович! Иван Александрович!— кричал ему кто-то, шедший навстречу.

Иван Александрович нахмурил брови и поднял голову. Перед ним стоял Федор Егорович.

— Что это? Сто лет не видались, почтеннейший, ей-богу; не стыдно ли вам это, Иван Александрович, никогда не заглянете. А я вам скажу новость: я женюсь... да, да. Ну, а на ком, отгадайте? На Марье Владимировне! Не правда ли, славная партия: и умная женщина, и протекция,— и все — этак, знаете. Вот бы теперь кстати вы попросили, чтоб напечатали мои стишки с посвящением к ней. Ну, а сказать ли вам, куда я теперь иду? Надобно купить какую-нибудь брильянтовую вещь: серьги или что-нибудь этак в подарок. Знаете, жениху столько хлопот, туда, сюда... А вы куда идете, Иван Александрович?

— К гробовому мастеру. Моя тетка сейчас скончалась. Прощайте, Федор Егорович.


ОДЕССКІЙ
АЛЬМАНАХЪ
на
1840 годъ

А. ВЕЛЬТМАН

КОСТЕШСКИЕ СКАЛЫ

Рассказ

В тысяча восемьсот таком-то году один юный «офицерь-ди-импарат»* сидел в белой, раскрашенной вавилонами снаружи и внутри, «касе» селения Каменки; сидел в сонливом, а может быть, в грустном положении, склонив голову на перекрещенные руки на столе.

— *Боерь, дорми*? Боярин спит?— спросила хорошенькая, миленькая Ленкуца, дочь хозяйская, входя в комнату с букетом цветов в руках.

Юный офицер, которого мы назовем хоть Световым, молчал.

— *Яка, флоаре!* Посмотри-ка, вот цветы!— сказала Ленкуца нежно.

— Эй, кто тут есть! Скоро ли лошади?— вскричал юный «офицерь-ди-импарат», подняв голову.

Взор его был мрачен.

— Я давно сказал Афанасьеву, чтоб запрягал,— отвечал, притворив двери, денщик.

Офицер опять склонил голову на руки.

— Ты сердишься!— сказала Ленкуца печальным голосом.

— А тебе что за дело?— сказал Светов, приподняв голосу.

---

* Так называли молдаване офицеров свиты его императорского величества по квартирмейстерской части, производивших съемку земель бессарабских.

Взоры его блеснули, как у победителя.

— Как что за дело?— отвечала Ленкуца.

— Так ты любишь меня, Ленкуца?

— Нет.

— Как нет?

— Я и хотела бы, да не могу тебя любить...

— Отчего, Ленкуца? Скажи, *драгуца* моя?

— Оттого, что ты любишь другую.

— Это кто тебе сказал?

— Я сама знаю. Ты только в будни говоришь, что любишь меня; а сам всякий праздник уезжаешь бог знает куда.

— Что ж такое?

— Как что? Кто любит, тот праздники проводит с теми, кого любит... Вот и сегодня едешь.

— Я езжу к товарищам.

— И, полно, что ты нашел у товарищей!

— Уверяю тебя, Ленкуца.

— Если ты любишь меня, так не поедешь.

— Мне должно ехать.

— Так поезжай!— сказала Ленкуца, вырвав свою руку из рук Светова и быстро выходя из комнаты.

Казалось бы, что одно только образование может дать природной красоте очаровательную приятность, голосу сладость, взорам томность, движениям непринужденность, стану статность, а сердцу нежную любовь; но это все было в Ленкуце, дочери «мазила», или молдаванского однодворца. Ленкуца скромно удалялась от юношеских преследований Светова; он был в отчаянии. В первый еще раз она высказала ему неожиданно свою любовь: но он не мог исполнить ее требований остаться дома. Для свода съемок он должен был съехаться с товарищами; и эти съезды обыкновенно бывали по праздничным дням.

Колокольчик зазвенел, четверка быстрых коней, запряженная в маленькую каруцу, украшенную резьбой, подъехала к хате.

— Ах, какая скука!— вскричал Светов.

— Готово, ваше благородие,— сказал вошедший пионер.— Кому прикажете с собой ехать? Молдавану или мне?

— Ты поедешь.

Светов накинул на себя плащ и хотел уже садиться в каруцу, как вдруг с горы несется во весь опор четверка и прямо поворотила на двенадцатисаженную веху, которая возвышалась над палацом Светова и на вершине которой был воткнут соломенный «ивашка—белая—рубашка». Правил конями кто-

то в широких шароварах, в белой куртке и в белой фуражке, правил стоя, как Аполлон конями солнца, и свистел, как Соловей-Разбойник.

— Это наши, ваше благородие,— сказал Афанасьев, лейб-возница Светова, радостно смотря на полет коней.

— Кто ж это так отчаянно правит?

Не успел Светов произнести этих слов, кони как вкопанные, в пене и в паре, остановились подле хаты. Лихой кучер бросил к черту вожжи, соскочил с каруцы.

— Лезвик!— вскричал Светов.

— Каков у нас кучер?— крикнули сидевшие в каруце, которых под пылью нельзя было узнать в лицо.

— Лугин и Фантанов! Вы под пылью, как мертвецы в саванах. Ай, Лезвик, чудо! Я думал, что вас под гору несут лошади... прямо с крутизны, к черту.

— Как бы не так!— сказал Лезвик.— Уж мы и править не умеем!

— Не с большим в три четверти часа, двадцать верст.

— Как бы не двадцать!

— Ну, теперь пошел Лезвик спорить.

— Да разумеется: двадцать одна и триста сажень. Да и где ж три четверти часа?.. Мы выехали половина десятого...

— После поспорим, Лезвик; а теперь позавтракать, да и в Костешти. А у тебя уж, Светов, и лошади готовы? Прикажи и нам дать свежих лошадей.

— Да мы трое усядемся на твоей каруце, а Лезвик опять будет править. Вместе веселее.

— Так уж лучше знаете ли что? Я велю запречь воловью каруцу: засядем в нее и будем играть дорóгой в бостон.

— Браво! Славная выдумка! Приказывай!

— Эй, Афанасьев, ступай распорядись, чтоб сейчас же была воловья каруца, запряженная двенадцатью рысистыми волами. Каруцу обтянуть и покрыть сверху коврами, накласть в нее подушек и разостлать на них мой большой ковер.

Не успел денщик Светова поджарить куриных котлет, как послышался скрып каруцы, крики и хлопанье бичами.

— Как прикажете, ваше благородие, я не умею править волами,— сказал вошедший Афанасьев.

— А ты не знаешь службы? Что прикажут, то и должен уметь.

— Уж конечно, ваше благородие, наше подчиненное дело.

— То-то же! Поставить в каруцу складной стол и четыре складных стула... Да в погонщики волов двух верховых.

Покуда завтрак кончился, все уже готово.

— Около каруцы собралась вся «громада»* села; все заботливо, как будто делали важное дело, помогали Афанасьеву укладывать и устанавливать в воловьей каруце, которая стояла как дом на колесах: в ширину сажень, в длину две; колеса два аршина в диаметре, а ничем не смазанные буковые оси в палец толщины. Вообще молдавские воловьи каруцы бывают без обшивки; бока их составляют параболу, рогами вверх и на подставках.

— Это что за кавалерия, вооруженная бичами?

— Я приказал двух погонщиков, а их наехал целый взвод,— отвечал Афанасьев.

— *Ной мержем ку боерь!* Мы поедем с боярином!— сказали вершники-молдаване, которых набралось человек десять.

— Только двух нужно!— сказал Светов.

— *Лас, боерь, лас!* Оставь их, боярин, оставь!— сказал ватаман, кланяясь.

— Пусть их едут. Хайд! Мимо Ста Могил!

— Садимся!

Товарищи засели в каруцу, покрытую сверху и завешенную по сторонам коврами; Афанасьев хлопнул хворостиной по волам; вершники крикнули «хайд»! и хлопнули залп бичами.

— *Буна друм, боерь!* Доброго пути боярину!— крикнула вся громада, сняв кушмы и провожая каруцу, которая со скрыпом потянулась из селения.

— *Хэ! маре драку ностра боерь, тота каса ла рота пус!* Хэ, большой черт наш боярин, целый дом поставил на колеса!

По неровной дороге, берегом реки Каменки и в гору волам дозволялось идти обычным своим шагом; Светов, Лугин, Фантанов и Лезвик играли спокойно в бостон; но едва волы выбрались на отлогий скат к реке Пруту, верховые молдаване гикнули, хлопнули бичами по ребрам волов, и — волы поскакали, складной стол прыгнул с ножек, карты полетели, один из бостонистов опрокинулся на подушки, крича восемь в сюрах.

— Проклятые! расстроили игру!

---

* Мир сельский.

— Какая же игра, господа, на почтовых волах! Пошел!

— Хайд!— повторили в десять голосов лихие «калараши», свистнув и хлопнув по ребрам волов арапниками.

Выпучив глаза и подняв хвосты, волы скакали; каруца, не уступавшая величиной вагону железной дороги, мчалась быстрее паровоза; верховые молдаване, как сумасшедшие, скакали по сторонам с криками и хлопаньем. Лезвик, не утерпев, выскочил на передок, выхватил из рук Афанасьева хворостину, гикнул — в одно мгновение каруца была уже на береговой дороге, повернула к Костешти, и вскоре очутилась на пространстве Ста Могил.

— Тут верно было какое-нибудь сражение?— спросил любознательный Лугин.

— Это просто обросший от времени обвал крутого берега.

— Не может быть!— сказал Лезвик.

— Отчего не может быть?

— Да так, быть не может.

— Доказательство ясно!

— Разумеется, что не может быть!— повторил утвердительно Лезвик.

Лезвик заспорил бы всех; но, к счастию, крик, хлопанье бичей, грохот и дребезг каруцы мешали спору.

С горы и по ровной дороге волы дружно несли ярмо; но едва подъехали к скалам Костештским, в гору, не тут-то было; ни волы, ни крик, ни арапники, ничто не везет. Нечего делать: послали Афанасьева в Костешти, пригнать пары три свежих волов; а между тем Лугин, Фантанов, Лезвик и Светов вышли на отдельную высоту полюбоваться игрой природы.

Так называемые «Скалы Костештские» выдаются из крутого берега реки Прута и берега реки Чугура и перелегают зубчатой стеной через реку Прут, которая течет сквозь брешь, пробитую, вероятно, волнами всемирного потопа.

Лезвик уже стал спорить, что это искусственные, а не природные скалы; но пригнанные три свежих пары волов втащили на гору прежних двенадцать и каруцу. Пора было ехать, чтоб не опоздать в Костешти к обеду товарища Рацкого. Девять пар волов прибыли наконец к деревне Костешти; тут им придали рыси, и они скоком привлекли каруцу к хате Рацкого; все, что было у него товарищей, высыпало дивиться торжественному приезду патриархальной колесницы.

— Посмотрите, господа,— сказал Лезвик, едва только успели надорваться груди от смеху,— вот говорят, что это природные скалы!

— Ха, ха, ха!— раздалось снова.

— Похожи на природные!

— Какие ж природные, господа?— сказал один «официерь-ди-импарат»,— это искусственные.

— Это просто была плотина, которую прорвала вода,— сказал Лезвик,— пойдемте, посмо́трите сами.

— Пойдемте, пойдемте сами!— вскричали все.

— Пойдемте.

До скал было не более двухсот шагов от квартиры Рацкого. Берегом реки подошли к гранитным воротам, сквозь которые катился сжатый Прут и где впадал Чугур. По камням пробрались на другую сторону, где был пикет казачий.

— Что, Лезвик? Искусственные скалы? Плотина?

— Разумеется. Спросите хоть у казака. Эй, казак, что это — плотина или природные скалы?

— Чертова плотина, ваше благородие,— отвечал лихой казак.

— Все-таки моя правда,— сказал Лезвик.

— Согласны, если черт строил ее.

— По мне все равно, кто строил; только я говорю, что искусственная, а не природная!

— Действительно, ваше благородие, черт строил, только не русский, а молдаванский, по имени «Драку».

— Ты не был ли при этом?

— Нет, ваше благородие: это было в давние времена, при моем деде; он вот как раз стоял на этом месте на часах и видел, как все происходило.

— А как же это все происходило?

— Долга́ сказка, ваше благородие, да притом же и не даровая.

— Вот тебе задаток,— сказал Светов, подавая казаку золотую монетку.

— Извольте слушать,— сказал казак.

— Вот, по сю сторону Чугура, было царство Болгарское, а по ту сторону жили хохлы-русины. У хохлатского царя была дочь Лунка-царевна, а у болгарского хана —«бритая голова, плешь засаленная», был сын Тартаул-царевич, великий богатырь и наездник. Когда пришло время выдавать прекрасную Лунку-царевну замуж, хохлатский царь послал гонцов во все царства с портретами своей дочери и просил

царей и царевичей к себе на пир великий и ратоборство, кому честь, и слава, и рука царевны. Вот съехались со всех стран цари и царевичи и богатыри великие. Сам царь встречает, есаулы гостей под руки принимают. Началось полеванье. Всех победил угорской королевич.

— Ну,— говорит,— богатыри и витязи, с кем еще копья померять, силы изведать; или нет больше ни храброго, ни удалого?

— Есть еще один!— крикнул богатырским голосом витязь «светлая броня, ничьим копьем не оцарапана». Не нужно, говорит, ворот отворять; моему коню высокий тын не помеха.

Глядь, уж стоит посреди поля. Разъехались добрые молодцы, тупым концом позабавились. Не успели глазом моргнуть, а угорский королевич лежит на земле. Повели витязя в палаты под руки; встречают его с кубками заздравными; подносит царевна венец ему, просит снять шлем богатырский. Снял витязь шлем; а под шлемом шлык: так все и ахнули.

— Нет,— говорит царь хохлатский,— не пойдет моя дочь замуж за бритую голову!

— Царь-государь,— сказал витязь,— не в хохле дело, а дело в том, полюбит ли меня прекрасная дщерь твоя; если полюбит, то я, изволь, отращу хохол до пяты.

Царевна сладко очи потупила. А царь сказал:

— Ну, будь по-твоему; будь ты мне зять нареченый; проси у своего родителя благословенья.

Поехал Тартаул к своему родителю просить благословенья жениться на единородной дщери царя хохлатского.

— Как?— говорит хан «бритая голова, плешь засаленная».— Чтоб ты женился на хохлачке, на бараньей голове?

Молил, молил Тартаул отца своего,— ничто не берет.

— Ну,— говорит Тартаул,— если не позволяешь, так уж быть беде!

Струсил хан; любил он сына.

— Хорошо,— сказал,— согласен. Только пусть дает в приданое за дочерью море.

Поехал Тартаул к возлюбленной невесте и говорит царю: так и так.

— Помилуй, твой отец с ума сошел. У меня и моря нет в целом царстве. Земли сколько хочешь!

— Хитер у меня отец!— сказал Тартаул.— Что делать?

Есть,— говорит,— чародей Чугур; поеду, посоветуюсь с ним: у него есть на все отводы.

Приехал к Чугуру: жил он отшельником в горе; посреди леса сидел сиднем на пне и не двигался с места. Приехал, рассказал свое горе; вот так и так; что делать?

— *Драку шти*! Черт знает!— сказал Чугур.

— Коли черт знает, так попроси его, сделай милость, научить что делать?

— Что дашь?

— Что хочешь.

— Видишь: в вашем владенье, у Гнилого моря, есть сто могил моих предков; перевези их все сюда, со всем, что в них есть.

— Изволь! хоть тысячу!

Обрадовался Тартаул и тотчас же отправил подводы на Гнилое море.

Вот их и перевезли на то место, где теперь «Сута-Моджиле».

— Ну,— сказал Чугур,— спасибо! Я тебе услужу. Ступай к отцу и скажи, что царь хохлатский дает море в приданое дочери. Вези его на свадьбу.

Поехал Тартаул к отцу, говорит ему: так и так; будет море в приданое.

— Да откуда он взял море?— спросил хан.

— Не могу знать. Верно, было какое-нибудь.

— Быть не может. Поедем! А если моря нет, так нет тебе и согласия моего.

Поехали, подъезжают. Царь и царица их под ручки принимают, за браные столы сажают.

— Ну,— говорит хан болгарский,— дочь твоя хоть куда царевна; а где ж ее приданое? где ж море?

— Где ж нам взять моря, любезнейший наш брат, хан болгарский...

Только что он сказал это, вдруг слышут шум, точно морские волны хлещут о берег. Глядь в окно: не река Прут течет, а бушует пространное море перед палатами.

— Ба, ба, ба! Да как же это сказали мне, что в твоем царстве и моря нет? Да какое же это море?— спросил хан болгарский.

Царь хохлатский от удивленья не знает что и говорить.

— У нас море Черное, а это море Проточное,— отвечал за него Тартаул-царевич.

— Если так, то сдержу мое слово. Сыграем свадьбу.

Вот начали играть свадьбу. Сыграли. Сели за браные

столы. Вдруг прискакали гонцы из царства Ордынского к хану и говорят:

— Помилуй нас, хан великой, многомилостивый! Зачем позволил ты строить чертову плотину на Пруте? Все наше царство пересохло. Черное море иссякло; ни капли воды нет.

— Как?— крикнул ордынский хан.

А тут же и к царю прибежали люди земские:

— Батюшка царь, смилуйся! Зачем ты позволил царю ордынскому чертову плотину на реке Пруте строить? Вода разлилась по всему царству, вздулась словно море; все топит, подступает под твои царские палаты.

— Как?— крикнул и царь хохлатский.

А потом оба в один голос:

— Так такие-то ты вещи, царь хохлатский, со мной делаешь! Вздумал пересушить все мое царство? Плотины строить? Эй! ломать плотину!

— Так такие-то вещи ты, хан болгарский, со мной делаешь! Плотины строить? Вздумал затопить все мое царство? Эй! ломать плотину!

— Едем, сын!

— Пошла, дочь, в свою светелку.

— Помилосердуйте, любезнейшие родители! Плотину не вы строили, ни царь хохлатский, ни хан болгарский; а плотина сама построилась на мое счастье.

— Как?

— Да так. Позвольте, я пойду с народом снесу ее.

Вот и принялись ломать плотину; ничто не берет, ни лом, ни топор. Как быть! Поскакал Тартаул-царевич к Чугуру; нет его на пне; искать, искать — а он поселился в пещере, вот что со стороны дороги, и сидит там молча.

— Благодетель ты мой!— говорит Тартаул-царевич.— Помоги! Вот так и так: плотина твоя затопила царство хохлатское, пересушила все земли болгарские... Помоги, сделай спуск!

— Не легко; тут от руки ничего не сделаешь; надо прогрызть зубами.

— Помилуй, какой зуб возьмет?

— Надо попросить зубатого.

— Попроси кого знаешь!

— Что дашь? Да постой, не нужно. Обещай сослужить мне службу: холодно мне стало на белом свете; перенеси ты мои косточки туда, где сто могил моих предков, и приодень землицей.

— Изволь, дедушка Чугур, целой горой завалю твои косточки.

— Ну, добре, ступай: будет по-твоему.

Как настала ночь — дедушка мой стоял здесь на карауле; служил он в чередном казачьем полку на границе; стоит себе, как я, пика в сошках, а голая сабля на руке — вдруг видит, кто-то идет. Кто тут? Убью!— Здешний, откликается: «Мошуль* зубатый». Как взглянул на него дедушка мой, так и остолбенел: черные зубья из пасти, точно тын железный. Как начал он, ни слова не говоря, грызть каменную плотину, так и хрустят камни; погрызет-погрызет, да оселком зубы поточит. К утру прогрыз, вот как видите, целые ворота, да не остерегся: вода как хлынет вдруг, сбила его с ног и понесла; только его и было.

Вот царь с ханом видят, что дело пришло на лад; помирились и принялись снова пировать.

Как оженился царевич, сдержал слово Чугуру, перенес его, посадил посреди Ста Могил, прикрыл землицей. Вот, самый большой курган: это его, сто первый.

— Видишь, хан болгарский, сказал царь хохлатский: чего нет, того и не проси.

Царь и хан наделили молодых свежими землями, собрали всех молодцов и всех красных девиц и отдали их в приданое. Вот и пошли пиры и «младованье». Я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало!

— Спасибо, казак! вот тебе на придачу.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие! Если угодно, мы и еще кой-что порасскажем; например, про Надежду-царевну, «магнитные глазки».

— В другой, брат, раз!

— Я говорил, что это плотина...

— Ты прав, ты прав, Лезвик; теперь мы знаем, что и Сто Могил не обвал.

— Смейтесь!

— Пора обедать, господа,— сказал Рацкий; и все отправились к нему на квартиру. Стол уже был готов. После обеда привели верховых лошадей, все вооружились хлыстиками, засели на коней — и на луг. Начались «ба́ры», или игра в войну**. Потом, во время чая, по обычаю, началось

---

* Дедушка.

** Игра колонновожатых в Асташове. Название, без сомнения, происходит от «bacrja»—«сражаться».

очередное чтение повестей, стихов, статьи ученой, военной; каждое произведение поступало в рукописный сборник, которого части, по прошествии известного времени, разыгрывались по жребию — кому достанется в память товарищества и молодости лет, проведенных не без пользы.

День прошел. Пора по домам.

— Господа, в следующее воскресенье ко мне; кстати, я и именинник,— сказал Светов, прощаясь с товарищами.

— Что, и назад на колеснице воловьей?

— Нет, покорно благодарю! Еду на легких.

Четверка лихих коней, управляемых Афанасьевым, стояла уже у подъезда. Светов вскочил в каруцу и при свете ночного светила помчался в Каменку, где бедная Ленкуца таяла от ревнивой любви.

В продолжение всей недели она не показывалась на глаза «юному». Чем свет уедет в поле, воротится поздно или уйдет в касу своей тетки и ткет ей ковры.

Воскресенье приближалось. Светов распорядился к приему гостей. Подле дома не было саду: лес близок, нипочем; в один день весь двор обратился в сад, усыпанный свежей, душистой травой и цветами. За десять рублей «чиновникди-исправничия» привез десять возов разных плодов: воз арбузов, воз дынь, яблок, груш, персиков, абрикосов, слив, волошских орехов, вишен, винограду, а усердная команда развесила все на деревья. Для гостей на кухне шпарят и потрошат баранов, уток, гусей и цыплят; на погребе заготовлено янтарное «одубешти», полынковое и мускатное; для «джока» выписаны цыгане-музыканты; для громады взято в корчме несколько ведер «ракю». Чучела на вехе одета в новую красную рубашку.

Настало воскресенье. «Юный» проснулся грустен, сходил в церковь. Его поздравили с именинами денщик, вся команда, вся громада. «Парентий» принес огромную просфиру, а Ленкуца не идет поздравить его.

К полудню товарищи съехались, расположились на коврах, постланных на мягкой траве посреди армидина сада, курят трубки, беседуют в ожидании завтрака. Светов прилег на голой траве. Вдруг прошла Ленкуца в хату, взглянув мельком на Светова.

— Ба! *формошика, формошика*!— крикнули все в один голос, увидев ее.— Не твоя ли хозяйка, Светов?

— Да,— отвечал он.

— Что ж ты покраснел?

— И не думал.

— Браво, браво, браво, браво!— закричали все.— Понимаем! Как умильно, нежно она взглянула на тебя!

— Мечта! Это, господа, суровая красавица, не слишком нежничает с нашим братом...

— *Фата формоза*!— вскричали все снова, увидев Ленкуцу, которая вынесла из хаты прекрасный махровый ковер. Не обращая ни на кого внимания, она подошла к Светову и разостлала свое приданое. Но Светов не хотел обратить внимания на ее услугу. Ему стыдно было товарищей.

— Добрая хозяйка! Как она заботится о своем постояльце! А подарила ли ты ему что-нибудь в день именин?

— Нет еще!— сказала она.— Он, верно, сердит за это на меня.

И вдруг Ленкуца бросилась к Светову, обвила его, пламенно поцеловала. Он вспыхнул, она скрылась.

— Браво, браво!— повторили все, захлопав в ладоши. Поздравления посыпались на бедного Светова. Он надулся.

Этот случай помешал общему веселому расположению. Все как будто подозревали, что Светову веселее дома без гостей. И Светов что-то был не весел: он как будто сторожил, не придет ли Ленкуца, чтоб и ее поцеловать также пламенно, но без свидетелей.

После обеда оживилось. Вдруг колокольчик.

— Кто это?

Афанасьев прибежал запыхавшись.

— Полковник едет, ваше благородие!

— Вот тебе раз!

Вскоре коляска остановилась подле хаты.

— С генералом, ваше благородие!

— Действительно, полковник, убей меня бог, прекрасное местоположение!

— Здравствуйте, господа! Каким это образом вы все здесь?

— У именинника, ваше превосходительство.

— И прекрасно!

— Вот и все планшеты здесь, ваше превосходительство,— сказал полковник.

— И прекрасно! Так я осмотрю работы и прямо отсюда в Хотин. Прикажите мне переменить лошадей. Господин Светов, вы сдадите свою съемку и поедете со мной.

Светов побледнел. Так поразили его эти слова.

— Мы выберем вместе места для осмотров; вы снимете их и потом явитесь ко мне.

— Укладывайся!— сказал Светов денщику, почти со слезами на глазах.

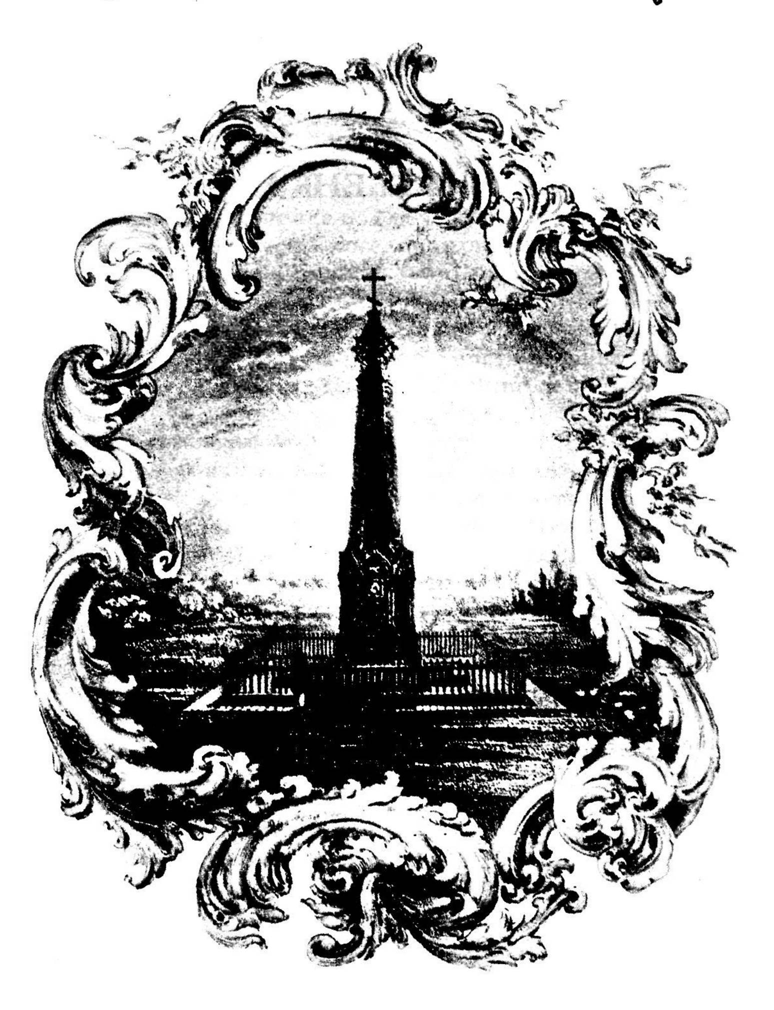
— Что, брат, горе!— говорили товарищи шепотом, подходя к нему по очереди.

— Что такое?— отвечал им Светов.

Вскоре свежие лошади были запряжены в коляску. Светов простился с товарищами, посмотрел кругом, нет ли где Ленкуцы?— Нет!

Только и видел он ее.

УТРЕННЯЯ ЗОРЯ.



1841.

Е. ГРЕБЕНКА

КУЛИК

Повесть

Далеко Кулику до петрова дня!
Народ. поговорка

Всяк Кулик свое болото хвалит.
Народная пословица

Кулик
Не велик,
А все-таки птица!
Философская песня

I

Россия — страна богатая; изобилует водами, лесами и пажитями; в ней есть много золота и серебра, много драгоценных камней, а еще более отставных поручиков.

Я намерен познакомить вас с одним из бесчисленного множества этих поручиков, Макаром Петровичем Медведевым; он служил в кавалерии корнетом года полтора и вышел в отставку поручиком вследствие рассуждения:

«Служба от меня много не выиграет; я тоже не хочу быть фельдмаршалом, да, признаться, и трудно!.. Много есть людей бедных, которые рвутся служить, а у меня порядочное состояние: женюсь себе, уеду в деревню, да и буду жить барином».

Подумал, взял отставку, сел в коляску и уехал.

Приехав на родину, Медведев сшил себе модную венгерку, привел в порядок охотничьи ружья, купил в Ромнах на яр-

марке парные дрожки и женился на хорошенькой брюнетке, Анне Андреевне, дочери соседнего помещика.

Теперь Медведев женат, независим, спокоен: живи себе да толстей! Завидная перспектива! Право, завидная!

Не улыбайтесь так зло, мой приятель с пожелтевшею, поношенною физиогномиею; вы ненавидете всех толстяков, потому что сами высохли от злости, как насекомое; вечно бранитесь, клевещете, сплетничаете, как старая дева; пеняйте на себя, сами виноваты... Из-за чего хлопочете? Согласитесь, что тихая деревенская жизнь чего-нибудь да стоит. Тенистый сад, с своими золотыми, румяными плодами, чистое озеро, по которому так весело гуляет ваша лодка, пруд, обсаженный плакучими ивами, на пруде под вечер робкое стадо диких уток, за прудом звонкие песни поселянок, идущих с поля домой... А поле с душистым сенокосом! А молодая супруга-красавица, не растратившая первых дней жизни в бессонных ночах — однообразных балов,— супруга, приветствующая возврат ваш крепким поцелуем! А этот свежий, чистый поцелуй!.. Ай-ай! Сколько тут поэзии, сколько... Нет, полно, лучше замолчать.

Вы теперь знаете отставного поручика Медведева, знаете, что он женат — кажется, и все тут. Позвольте, еще есть одно замечательное лицо — это Петрушка, слуга Макара Петровича, его крестьянин и вместе с тем крестный сын. Макар Петрович почти рос вместе с Петрушкою, и когда уезжал в полк, то уговорил покойного своего отца отдать Петрушку в уездное училище. Барин служил, крестьянин учился. Макар Петрович, приехав домой, нашел Петрушку красивым 18-летним парнем, да еще грамотным и проворным; он взял его к себе, любил, как сына, и даже немного баловал, как говорили соседи, позволяя читать все книги из своей деревенской библиотеки.

II

Чацкий: . . . . !
Молчалин: Мне завещал отец...

Горе от ума

Медведев в начале ноября, часу в седьмом вечера, с своею супругою пил чай; они сидели на диване перед круглым столом, на котором кипел светлый бронзовый самовар и в тяжелых старинных подсвечниках горели две свечки; у двери стоял с подносом в руках Петрушка; на ковре, у ног Макара Петровича, сидел Трезор — большая лягавая собака.

В комнате было тихо. Изредка раздавалось протяжное: «*ти-бо! ти-бо!*», потом скорое: «*пиль!*», потом несколько секунд было слышно, как Трезор ел сухарь, и опять все умолкало. Анна Андреевна, от нечего делать, очень прилежно ловила ложечкою в чашке чайный листочек; Макар Петрович затягивался и потом как-то особенным образом перепускал через усы табачный дым.

Супруги, с позволения сказать, скучали — не то чтобы они наскучили друг другу. Боже сохрани! нет, нет: а только просто скучали. Осенний дождь стучал однообразно в окна, самовар шептал какую-то усыпительную легенду; свечи горели тускло... В такие минуты в деревне особенно приятно зевается. Тогда гость — дорогой человек, неоцененный подарок, благодеяние судьбы.

В гостиной Макара Петровича тишина продолжалась попрежнему. Вдруг Трезор тревожно поднял голову, вытянул шею, заворчал и бросился в переднюю с громким лаем.

— Назад, назад, Трезор! Тибо! Тибо!— закричал Медведев.— Кто там, Петрушка?

— Не беспокойтесь, это я!— сказал, улыбаясь, тоненький гость, в синем фраке, и начал вежливо раскланиваться.

— Ба, ба! Юлиан Астафьевич! Мое почтение! Откудова, братец, а?

— Мое почтение, Макар Петрович! Из П-вы, прямо из канцелярии губернатора, послан курьером в П...

— Здоровы ли вы?

— Слава богу! Слава богу!

— Очень рад! Слава богу!

— Мое почтение вам, Анна Андреевна. Здоровы ли вы?

— Слава богу!

— И слава богу!

— Полно вам строить комплименты! Эти губернские господа так и засыплют речами!.. Лучше давай-ка, жена, поскорее чаю... он озяб с дороги.

— Ваша правда, грешный человек. Ба! да как Петрушка вырос, поздоровел! Ну, подойди сюда, поцелуемся; мы с тобой приятели. Экой молодец! В прошедшем году, когда приезжал с вами на выборы, он был гораздо моложе... А! Трезор! Не узнал меня? Злая собака! Только одного барина и любит. Позвольте ему дать сухарик?

— Перестаньте возиться с собакою, вы ее вечно балуете! Пейте чай, да расскажите нам, как там у вас в губернском свете — что новенького?

— Решительно ничего. Войны не слыхать, набора тоже.

— Набора тоже?

— Тоже!..

— Это хорошо. А Катерина Федоровна что?

— Слава богу! Здорова; велела вам кланяться. У нее для дочери есть жених на примете... Что вы говорите, сударыня?

— Военный?

— Да, военный, сударыня, и, говорят, очень богат; где-то в Олонецкой губернии свои виноградники...

— Скажите! Какая завидная партия!

— Да, и еще, говорят, у него есть где-то возле Торжка свой судоходный канал; что прошла лодка — гривна в кармане; барка или там что другое — двадцать копеек. Такое заведение!..

— Неужели?!

— Да, сударыня! И наш советник Горох Дорохович, и Ульяна Ульяновна... и... все говорят; а сам такой молодец, эполеты как жар горят...

— И в чинах?— спросил Макар Петрович.

— Чин офицерский, уже восьмой месяц прапорщиком.

— Ну, так послужить бы еще немного.

— Говорят, ему в этом году приходится в подпоручики.

— Понимаю, через год в отставку поручиком — это другое дело... Ну, да пусть себе он убирается к болотному дедушке, наше дело сторона. А сама-то Катерина Федоровна?

— Ничего, живет по-прежнему; недавно купила у барышника для себя серого рысака.

— А Петр Потапыч?— спросила Анна Андреевна.

— Все танцует мазурку.

— Охота же спрашивать об этом чурбане!— перебил Медведев.— Что наш почтеннейший Туз Иванович?

— На прошедшей неделе схоронили.

— Схоронили?!

— Да, схоронили; впрочем, потешил-таки он весь город. Представьте себе, в духовном завещании запретил своей жене покупать карету.

— Как так?

— Так написал просто: «Как-де моя жена происходит из хвастливого рода, да и в продолжение многолетнего супружества нашего всегда оказывала неимоверную наклонность к суетности и тщеславию, что неоднократно выражалось нелепыми требованиями о покупке кареты, то я, сохраняя пользу детей наших и не желая видеть их со временем нищенствующими, запрещаю, под опасением моего проклятия, жене моей

покупку кареты не только новой, но даже и поезженной, как вещи, могущей служить поводом к разорению моего семейства».

— Ха-ха-ха! Экой пострел! Царство ему небесное! Утешил!

— Что же бедная его вдовушка?— спросила Анна Андреевна.

— Тут нечего спрашивать, душа моя: верно, ругается.

— Изволили отгадать: сильно ругается, ругает покойника и дома, и в гостях, и на улице. Такая стала сердитая; недавно сделала большой афронт жениху дочери Катерины Федоровны.

— Оставьте его в покое: смерть не люблю прапорщиков, которые сватаются, лучше бы вы сами женились.

— Это единственная цель моей жизни. Я рад жениться, но, вы знаете, я человек небогатый...

— А если бы я тебе, приятель, нашел невесту с состоянием?

— Полноте шутить!

— Нет, право. Помнишь ли ты полковницу Фернамбук, которая целое лето прожила с дочерью в губернском городе?..

— Как же, я ее имел честь часто видеть у Катерины Федоровны, еще у нее дочка — сущий амур или грация!

— Ни амур, ни грация, а так, девушка недурная, с 300 душ приданого. Эта самая дама без души от тебя. Как приехала в деревню, все твердила: «Вот человек, Юлиан Астафьевич! Какой вежливый, услужливый, толковый!..» Влюблена в тебя, да и баста!..

— Шутите! Она, кажется, уже степенных лет.

— Экой приказный! Ей лет за шестьдесят; женись на ее дочке...

— Куда там! Такого счаться я и во сне не видывал.

— Что за счастье? Ты молодец, добрый малый, дворянин. Чего этой бабе еще надобно?..

— Она может найти себе зятя офицера.

— Стыдись, братец, разве ты не офицер? Какой на тебе чин?

— Губернский секретарь.

— Черт вас разберет! Переведи, братец, как это будет по-христиански.

— В ранге поручика.

— И прекрасно! Чем ты не жених? Хочешь, я женю тебя?

— Будьте благодетелем! Да нет, меня смех берет; ха-ха-ха! Вот оказия!.. Впрочем, делайте что хотите!

— Ладно! Куда ты едешь курьером?

— В П-в.

— Сколько ты можешь прожить у меня?

— Дня два.

— Вздор! Ты должен прожить неделю.

— Невозможно, Макар Петрович!

— Почему? Какие-нибудь дрянные бумаги нужно отдать кому? Это можно сделать: я пошлю в П-в форейтора Ваську, он их отдаст по адресу, а на другой день привезет ответ. П-в всего от нас 50 верст. Остаешься? Завтра же начну действовать — и не будь я Медведев, если ты не женишься на молодой Фарнамбуковой. Поедешь — пеняй на себя.

— Делать нечего,— сказал Юлиан Астафьевич.

— Люблю за обычай. Давай, приятель, руку! Благодари, жена: теперь не будем скучать целую неделю в эту скверную погоду. А я, право, женю молодца!..

— Если даст бог вам успех,— сказала Анна Андреевна.— Какой вы будете близкий сосед: деревня Фернамбуковой от нас всего три версты; только через реку.

— Скажите: и сосед, и ваш покорнейший слуга.

— Это уже много; а шутки в сторону, у меня будет к вам просьба,— сказала Анна Андреевна.

— Приказывайте, сударыня.

— Если вы женитесь, прежде всего должны исправить плотину и мост, а то всякий раз, как переезжаю плотину Фернамбуковых, я прощаюсь с белым светом: кажется, так коляска и слетит с плотины или провалится под мост.

— Будьте уверены, что в мире не будет другой подобной плотины: сам пойду работать, лишь бы угодить вам.

— Что за страсть, подумаешь, у этих губернских франтов нести такую чепуху! Полно, брат, мою жену морочить, а я себе выговариваю право стрелять дичь во всех твоих дачах безданно и беспошлинно.

— Помилуйте, Макар Петрович, на что мне эта дичь? Я сам от роду не стрелял из ружья и не знаю, как оно стреляет. Вся дичь — ваша. Мое почтение к вам всегда было непреложно, и если вы пособите моей карьере такою выгодною женитьбою, то я... и проч... и проч...

В таком роде разговор продолжался до самого ужина. Четверо суток изволил кутить Макар Петрович на радостях, что поймал губернского гостя, и каждый вечер губернский гость почти сквозь слезы говорил Медведеву:

— Боже мой! Когда же мы будем сватать M-elie Фернамбук?

— Погоди, братец, время впереди,— отвечал Медведев,— не возьмет ее нечистая сила; завтра непременно поедем.

Приходило завтра, и опять та же история.

Наконец, на пятый день Медведев представил своего гостя семейству Фернамбук, а еще через день поехал сам с решительным предложением.

Это был роковой день для Юлиана Астафьевича. Задумчиво ходил бедный губернский секретарь по комнате, по временам щелкая пальцами; лицо его было бледнее обыкновенного; принужденная улыбка на тонких губах его превращалась в какое-то судорожное кривлянье; иногда он, тяжело вздыхая, обращал глаза к образам, иногда, подойдя к окну, очень правильно барабанил по стеклу модную песенку:

Во всей деревне Катенька
Красавицей слыла.

Он очень хорошо чувствовал, что в эти минуты решалась судьба всей его будущности; от «*да*» или «*нет*» зависело, быть ему достаточным человеком или прозябать в канцелярии, с перспективою седых волос, при великом счастии секретарского места и чахотки.

Напрасно Анна Андреевна старалась развеселить Чурбинского (это была фамилия Юлиана Астафьевича) своими шутками: он, против обыкновения, не понимал их, не старался предупредить окончание какого-нибудь анекдота, давно известного всей губернии, улыбкой удивления или громким хохотом. Юлиан Астафьевич был не похож на самого себя.

Пришло время обедать — нет Макара Петровича; вот вечереет — нет его; вот уже и самовар на столе — все его нет. Несносный день, несносный человек Макар Петрович!

Но вот зазвенел колокольчик, борзая тройка остановилась перед крыльцом, и в комнату вошел Медведев.

С первого взгляда можно было заметить, что Фернамбуковы его приняли *за гостя*: лицо Макара Петровича горело румянцем удовольствия, глаза блестели; он живо переступал с ноги на ногу, потирая руки.

— Ну, что, почтеннейший Макар Петрович? Решайте мою участь! Отказ? Гарбуз? Говорите, говорите, я наперед это знаю!

— В чистую, братец, без мундира и пенсиона!

— Так, так, я это знал. Душа моя это предчувствовала. На смех подняли!.. И не грех ли вам меня, беззащитного сироту, вводить в такие истории, будто я не понимаю, что я,

а что они? Бог свидетель, я никогда и не думал о Фернамбуковых; вы сами затеяли неподобное; вам смех, а я что теперь стану делать? Еще под арест посадят!..

— Что, приятель, впятил тебя в брак, а?

— Хорошо вам издеваться, что меня забраковали, как лошадь никуда не годную, а мне каково?..

— Ха-ха-ха! У тебя страх и разум-то выгнал! Кто тебе говорит о негодности? Ха-ха-ха! Запиши, жена, каламбур: в брак тебя введем, то есть в законное супружество — вот что! Давай руку! Поздравляю! И старуха, и дочь сначала было, знаешь, этак немного закуражились, да как я им объяснил все толком: и ты что за человек, и то, и другое, и прочее — они сдались, и дело в шляпе, как говаривал мой эскадронный командир. Понимаешь?.. Завтра едем к Фернамбуковым вместе; завтра же надо известить соседей, а послезавтра — и под венец. Куй железо, пока горячо!.. Не рад, что ли?

— Понимаю, что значит в брак! Я, кажется, не подал повода к шуткам. Грех вам, Макар Петрович!

— Прямое ты, брат, чучело гороховое! Еще и петушишься! Прошу покорно!.. Коли не хочешь — сейчас еду к невесте и в полчаса все расстрою, заварю такую кашу, что весь дом пойдет вверх дном. Эй! Петрушка, лошадей!..

— Перестанье, что вы, что вы! Ей-богу, я не знаю, как принимать слова ваши, мне все не верится! Неужели?.. Счастие так велико!..

— Так велико, что я остался есть обед с деревянным маслом — господи, прости мое согрешение!— и выпил лишнюю рюмку гадкой наливки. Уговор лучше денег: сейчас после свадьбы прошу запретить во всем доме употребление деревянного масла и улучшить питейную часть...

— Как прикажете! Что угодно! Вы благодетель мой, второй отец!..

Юлиан Астафьевич обнимал Медведева, целовал руки Анны Андреевны и даже, второпях, толкнув нечаянно Трезора, взял его за морду и пренежно сказал: «Извини, душа моя!..»

Макар Петрович, человек добрый от природы, был очень рад счастию знакомого, тем более что эта свадьба доставляла ему развлечение в скучные осенние дни, когда, как нарочно, ненастье препятствовало ездить на охоту. Он хлопотал об экипажах, о лошадях, созвал своих музыкантов и приказал им повторять увертюры из «Калифа багдадского» и «Двух слепцов».

— Слушай, жена,— кричал он,— ведь Юлиан Астафьич

наш гость, мы его женим; после свадьбы будет у нас бал; смотри, не ударь лицом в грязь, прикажи наготовить поболее всякой всячины: пирамид, кремов и разной этакой дряни, а я уж потревожу свой погреб — кутить так кутить!.. О чем ты, Юлиан Астафьич, опять загрустил?

— Знаете ли что?— сказал Юлиан Астафьевич, взяв тихонько Медведева за полу венгерки, и, отведя его к окну, повторил вполголоса:— Знаете ли что?

— Ровно, братец, ничего не знаю.

— Не кричите так. Мне кажется, что нам не следует венчаться так скоро.

— А почему?

— Да так, видите, мне невозможно.

— Это что значит?— сказал Медведев, прищуривая левый глаз.— Понимаю, какие-нибудь шашни.

— Нет, нет, нет, боже сохрани! Не думайте, чтоб я что-нибудь такое или этакое — нет!

— Так что ж?

— А вот, видите, я выехал из П-вы налегке, со мной нет приличного платья.

— Вздор, братец! Есть о чем думать! Сегодня же пошлю человека на всю ночь, и завтра к вечеру все здесь будет.

— К чему посылать? Это лишнее беспокойство, лучше я сам съезжу и через неделю-другую явлюсь.

— Пустое, тебя-то не пущу! Эй, кто там? Человек!

— Не делайте шуму и не посылайте, потому что я не знаю хорошенько, отдал ли мой приятель немного переделать мой фрак; сукно отличное, сам платил по 18 р. за аршин, да фасон некрасив; если привезут не переделанный, то еще хуже!..

— Прямо сказать: у тебя нет фрака вовсе; давно бы так и говорил! Не беспокойся: у меня целая дюжина этих дурацких фраков, выбирай любой. Да, кажется, у тебя нет ни белья, ни прочего? Полно краснеть, прикажи Петрушке приготовить, что нужно, из моего гардероба. Не к чему скромничать! Эх, странный народ, эти господа статские!..

III

Милостивый государь, любезнейший друг,
Кузьма Демьянович!

По обстоятельствам, я женился на прекраснейшей девице, известной фамилии Фернамбук. Еще в П-ве я пленил сию девицу своим обращением и теперь, мимоездом, окончил начатое, а что главнее всего, получил в приданое 300 душ

крестьян. Я теперь намерен жить, нимало не беспокоясь насчет службы, буду служить по выборам дворянства. Еще есть к вам моя просьба, а именно: вам известно, что я взял, в угодность Катерине Федоровне, билет в собрание на всю зиму и со взносом 25 р. записался в члены; а как я теперь, по дальности расстояния, бывать в собрании не могу, то вспомнил о Григории Михайловиче, который когда-то, кажется, при вас выразился: «Я взял бы зимний билет, да дорог, анафемский; по-нашему, если бы рубликов 15 — куда бы ни шло!» Я, любя Григория Михайловича, решился уступить ему оный билет за 15 р., хотя и понесу убытку 10 р. И еще сделайте одолжение: у меня на квартире остался горшок коровьего масла, подаренный мне Катериною Федоровною; масло очень хорошее, доброго качества и приятного вкуса; его было десять фунтов, мною израсходовано оного масла 2 фунта, следственно, осталось 8; без меня же оно убыть не могло, ибо, уезжая, я запечатал горшок собственною моею вензелевою печатью, а потому возьмите на себя труд, посмотрев предварительно, не нарушена ли печать, взять горшок и приказать вашему Петьке продать заключающееся в нем масло; еще раз повторяю, что масло очень хорошее, чтобы Петька, при продаже, не опростоволосился. Не верьте, паче чаяния, хозяин квартиры моей станет претендовать на масло: он всегда был грубиян. Скажите ему, в случае надобности, что, если б он был почтительнее и не входил ко мне в комнату в колпаке, то я и ему уделил бы что-нибудь из означенного масла. Надеюсь, вы не замедлите выслать деньги за билет, равно и за масло, а прочие мои вещи, как-то: старый фрак, сапожные щетки, две пары ножей с костяными колодочками и проч. сохраните у себя до моего приезда: хочу по зимнему пути побывать в П-ве с женою.

Имею честь быть вашим, милостивый государь, благоприятелем.

Юлиан Чурбинский

18..7 года, ноября 12 дня.
Деревня Фернамбуковка

P.S. На случай сие письмо затеряется, то я сию же почту пишу и отсылаю другое, точно такого же содержания, к Марку Титовичу, в коем, упоминая о вышепрописанном вам поручении, прошу и его принять участие, в случае вашей (чего боже сохрани!) болезни или чего другого. Еще просьба: еще с прошедшего лета я обещал Аннушке,— знаете, которая мне мыла манишки,— купить золотые сережки. Делать нечего. Из полученных денег за мои вещи возьмите 80 копеек ассигнациями и купите ей сережки из металла, называемого

семилёр; этот металл немного дешевле золота, но в носке приятнее и имеет разительный блеск. Я полагаю, последняя порученность вам не без приятности.

IV

Милая моя сестрица,
Анисья Парамоновна!

Наказал меня бог, сестрица, наследством в глупой стороне: ни сосен, ни елок, ни людей нету — все чучелы; крестьяне без бород, и бань не строят, и в семик не пляшут, и сохой не пашут. Один, кажись, был человек из соседей — Медведев, да и тот, как я узнала — змея подколодная. Я писала к тебе, милая, что выдала дочку за Чурбинского: золотой малый, ни в чем не перечит, так нас любит, мне и платок подает, и скамеечку под ноги ставит, да в дела не мешается, говорит: «Имение ваше, и я ваш; делайте что хотите». А мы с дочкой что знаем? Наше дело женское; вот мы и хотим ему записать нашу деревню, авось охотнее делом займется. Только зять мой все упрашивает: «Не говорите, дескать, об этом Медведеву».—«А что?»— я спросила. Вот он тут мне всю правду и рассказал: что он совсем не приятель нашему дому, что насмехается над нашим хлебом-солью, говорит, что у нас в кушаньях скверное деревянное масло... Ужасти такие наговорил, что беда! Меня вот так лихорадка взяла, а он говорит: «Сватал меня из своих интересов; и плотину почини, чтоб его жене было хорошо ездить, и то, и другое; да еще обращается со мною, как с каким-нибудь лакеем, все «*ты*», да «*братец*», при публике так унижает». Третьего дня обедал у нас окаянный Медведев; я сама нарочно подлила во все кушанья деревянного масла. Что ж? И не ел ничего, надул усы, словно сом-рыба, и сидит. «Что не кушаете, сосед?— я спросила.— Может статься, у нас не умеют готовить?»—«Нет,— говорит он,— что-то голова болит», да и уехал сейчас после обеда. Вот что, моя милая сестрица, а я только и надеялась на одного соседа, а и тот в лес смотрит!.. Я уже советовала своему зятю не позволять наступать себе на ногу. Да, моя милая! Скверная сторона! Скоро петров день, клубника у нас отошла, а была крупная; черешен в саду пропасть, и белых, и красных, и черных, да все скверные ягоды, как сахар сладкие; и вишни поспевают, и шелковицы, а нет ни клюквы, ни брусники, ни черники, ни голубики, ни одной ягоды с кваском, я уже о морошке и не вспоминаю... Сахар у нас дорог, а мед свой; варю варенье больше медовое для поста. Прощай, моя милая сестрица; пришли

записку, как делать шипучку, моя где-то затерялась. Прощай, милая сестрица.

Полковница Ф. Фернамбук.

18... года, июня 26 дня.
Деревня Фернамбуковка

V

Светлое июльское солнце взошло уже высоко; был час десятый утра; широкий скошенный луг Юлиана Астафьевича далеко развернулся светло-зеленою скатертью, испещренною частыми копнами сена, на которых то там, то сям сидели, охорашиваясь, маленькие степные ястреба; на горизонте луга, как оазы, виднелись темно-зеленые кусты тростника: там были небольшие озера; над ними, легким облачком, беспрестанно меняя формы, носилось стадо скворцов, подле озер паслась стреноженная пегая лошадь; с полверсты в сторону человек около сотни крестьян сметывали копны сена в одну огромную скирду.

По дороге к озерам ехал какой-то вооруженный экипаж, вроде блаженной памяти испанской армады; рассмотрев хорошенько, можно было узнать в нем широкую, длинную и глубокую брику без верха; на козлах сидели кучер и два человека с ружьями в руках; на запятках тоже два человека с ружьями; из самой внутренности брики торчало пять или шесть голов в картузах, столько же ружейных стволов и четыре собачьи морды. Брика остановилась у озера; из нее выскочил человек в сапогах до пояса, в зеленой куртке и таких же шароварах; через правое плечо у него висела охотничья сумка с сеткою для дичи, через левое, на зеленом шнурке,— деревянная черкесская трубка с коротким чубуком. Едва-едва в этом рыцаре изумрудного образа можно было узнать Макара Петровича. За Макаром Петровичем выскочил Трезор, далее начали выгружаться приятели и егеря Медведева. Всех набралось человек около десятка.

— Рекомендую вам, господа, чудесное озеро,— сказал Медведев.— Здесь мы найдем пропасть молодых уток. Ох! жаль, что бекасы еще не хороши. Впрочем, не давать и им спуску, коли попадутся.

Приятели молча осматривали ружья.

— За работу, что ли?— продолжал Макар Петрович.— Выпьем на дорогу, да и с богом. Петрушка! Дорожную фляжку!

На этот раз приятели оставили ружья и подошли к Медведеву.

Петрушка подал барину плоскую, обшитую красным сафьяном фляжку. Медведев отвинтил на ней серебряную крышку, которая имела форму и вместимость порядочного стаканчика, наполнил этот мудрый сосуд, выпил и передал следующему. Отставной капитан Здрав, с золотою головою, закусил кусочком черного хлеба с солью; другой сосед, русский немец, либен-шнапс, достал на этот случай из своего ягдташа сухую корку голландского сыра, погрыз ее немного и, завернув в бумажку, опять спрятал в карман. Прочие кушали что попалось под руку.

Перекусив, охотники осмотрели ружья, подсыпали на полки свежего пороху, выстроились в ряд и мерными шагами вступили в болото; собаки шныряли впереди охотников; несколько пар испуганных уток поднялись с озера и, сопровождаемые выстрелами, сновали над озером. А между тем, оставив работу, с диким криком и воплями бежала к озеру толпа полупьяных мужиков, вооруженных граблями и вилами. В минуту озеро было окружено.

— Стой,— кричали мужики,— отнимай ружья, представляй в суд — так приказано!

Стрельба остановилась.

— Что вам надобно?— закричал Медведев.

Крестьяне Чурбинского, как ни были пьяны, однако узнали Медведева, и уважение, которое народ искони питает к коренным панским фамилиям, в минуту пробудилось. Сняв шапки, стояла толпа, а приказчик Потапович, в синем кафтане, подпоясанный пестрым кушаком, подошел к Медведеву, разгладил длинные усы и, низко кланяясь, сказал:

— Извините, пане, мы вас не узнали; но все-таки, видите, стрелять невозможно... Я в этом не причиною.

— А какой же дьявол?

— Оно, разумеется, вы люди ученые и знаете, что дьявол, когда восхощет, принимает образ человека, ибо хитра сила нечистая, но все-таки это не бесплотный дьявол, а наш многопочитаемый барин причиною.

— Убирайся с твоею чепухою, не мешай нам охотиться!

— Да что вам в этом болоте? Такое гадкое, только лягушки водятся... Лучше бы поехали вот версты за три на болото генеральши *Оглоблиной*. Господи, твоя воля, чего там нет!.. Что шаг, то местоположение, всякая дичь кишмя кишит.

— Полно врать. Нам и здесь хорошо. Вперед, ребята!

— Нет, ей-богу, нет, пане! Я буду в ответе. Не моя вина,

а стрелять все-таки нельзя, не приказано. Говорит барин: «Пусть птица плодится; может быть, я когда-нибудь возьму ружье, попрошу кого знающего зарядить, да и поеду стрелять на озеро; к тому времени дичь освоится, и заряд не пропадет даром; сразу убью пар десяток»,— говорит.

— Кого другого не пускай, а мне, верно, не станет запрещать твой барин.

— Будь кто другой, а не ваша милость, мы бы его давно спровадили в город, так приказано. Говорит: «Лови, Потапович, всех моею рукою, да и в суд, да и в суд, хотя бы мой родитель, говорит, пришел, и того в суд; не его земля, моя земля!»

— Что он, с ума сошел?

— Уповательно это их воля, и я об этом прямо сказать не могу; а если хотите, я пошлю хлопца справиться: верно, барин вам позволит.

Болото было в верстах в двух от дома Чурбинского, а потому охотники тут же, в болоте, присели на кочках, в ожидании, пока сын приказчика, проворный мальчик, поскакавший во весь дух на отцовской лошади к барину, привезет милостивый фирман.

Через четверть часа обратно прискакал мальчик, слез с лошади и, утирая рукавом с лица пот и пыль, крестился и кричал:

— Не можно, не можно, пусть я пропаду, если можно.

— Врешь! Ты, верно, не расслышал,— сказал Медведев.

— Как бы то не расслышал? Я приезжаю, а барин стоят в красном халате у амбара, где девки подтачивают пшеницу, и такие веселенькие; вот я и говорю им: «Как зволите прикажете, у нас стреляют на болоте птицу».—«Зачем же ты приехал?— говорят они.— Ловите их, бездельников, дармоедов, да и в суд». Я им поклонился да и говорю: «Такой человек, что и ловить нельзя, настоящий пан».—«Губернатор, что ли?»—«Не знаю, может, их и так дразнят, а мы все зовем их Медведевым».—«Дурак!— сказал барин, топнув ногою.— Я такой же пан, как и Медведев, когда не почище его. Скажи, чтобы сейчас убирался вон из болота. А твой отец за чем смотрит? Вот я его, старого осла!»

— Так-таки, так! Я так и думал,— ворчал Потапович.

— И только?— спросил Медведев.

— Нет, еще оборотились к Феске, дочери нашего кузнеца, взяли ее за подбородок да и говорят: «Отчего ты так раскраснелась, Феодосия?» Я вижу, что это уже не ко мне, взял да и уехал.

Макар Петрович с досады кусал ус.

— Как изволите,— заметил ему, кланяясь, приказчик,— а не угодно ли вам убираться; не моя воля; невинен гвоздь, что лезет в стену, коли его колотят по голове обухом.

Молча вышли из болота Медведев и его спутники. Мужики значительно переглядывались между собою, не веря сами: как это можно Медведева выгнать из болота?..

По моему мнению, кулик самая бесхарактерная птица; иногда он увидит человека за версту, подымается с места, кружит над болотом, кричит, свистит, будит всю окрестность; иногда запустит в болотную тину свой нос и сидит себе в траве преспокойно, разве толкнешь его под бок, тогда только он схватится, зачастит крыльями, завопит, как... ну, как человек, когда затронут его самолюбие.

Петрушка выходил из болота, и вдруг из-под его ног выпорхнул кулик и с жалобным криком понесся в степь; Петрушка выстрелил — и бедная птица, закружась в воздухе, упала перед приказчиком.

— Не дурачиться!— закричал Медведев и подошел к толпе мужиков. В это время приказчик поднял застреленного кулика и, рассматривая его, ворчал: «Экое страдание!..»

— Делать нечего, ребята, скажите вашему пану, что так делать нехорошо; он жалеет для меня перелетной птицы, а я не пожалел ему дать к венцу и свое платье и... может, слыхали!

— Мы сами небезызвестны об этом,— заговорили мужики; но Потапович погрозил пальцем — и все притихло.

— Прощайте, ребята. Вот вам рубль серебра: выпейте по чарке водки; теперь жарко.

— А ваш куличок?— сказал приказчик, подавая Петрушке застреленную птицу.

— Отвезите его, дядюшка, своему барину, пусть он им подавится.

Охотники уехали, мужики ушли, скворцы улетели, и возле озера опять только осталась стреноженная пегая кобыла...

VI

Месяца за два до женитьбы Чурбинского Медведев с женою были в гостях у Фернамбуковых. В гостиной старуха Фернамбук рассказывала о вчерашнем висте, как она с управителем сделала шлем, а играли четверо: она, ее дочь, управитель и ее сосед, отставной юнкер; как у нее на руках был валет и т. п. Бог с нею, она всегда рассказывает скучные

вещи. Молодая Фернамбук показывала Анне Андреевне баночку духов с надписью: «Extrait triple â la violette»*, привезенную будто бы из Парижа, нюхала пробку и, подымая глаза к небу, восторженно шептала: «Ах, какое благовоние! Ах, как, должно быть, хорошо в Париже!» Медведев делал по временам странные ужимки, пересиливая зевоту, и посматривал на жену, как бы спрашивая: не пора ли домой?

В передней было веселее. Петрушка, сидя на длинной зеленой скамейке, толковал Фильке, лакею в тиковой куртке, как цветут орехи и отчего на орехах бывает цвет двух родов.

— Э, Петрушка, надуваешь!— протяжно говорил Филька, нюхая табак из тавлинки.

— Придет весна — посмотри сам.

— Разве посмотрю, а так не поверю, и ты не верь книгам: там, я думаю, все написано такое!..— Филька махнул рукою.

— Им нельзя иначе цвесть.

— Так, конечно, орехи, не бойсь, у тебя спрашивают?

— Не спрашивают; а это оттого...

— Хе-хе-хе! от чего?

— Оттого... послушай, Филька, что это за барышня перешла через комнату?

— Вот тебе и грамотный! знает, отчего орехи цветут на двое, коли-то еще цветут, а нашего брата называют барышнею! Это, брат, Машка, горничная нашей барышни.

— Полно, Филька! кто она?

— Я не грамотей, надувать не умею, сказал раз, и правда, не диво, что ты ее первый раз видишь: она шесть лет училась около моря в Аддестах у мамзели убирать головы, знаешь, разными цацками; вот как наша барышня на поре замуж, так и выписали Машку для уборов: вот уже другая неделя, как она приехала, да какая, брат, бойкая, и книги читает по-твоему, и день в день ситцевое платье носит, а на нашего брата и смотреть не хочет; на что приказчик Потапыч — человек и почетный и грамотный, третьего дня подошел к ней и начал заигрывать — она хвать его по рукам. «У вас,— говорит,— седина в голове, а не умеете обращаться с девушками», засмеялась ему под нос и убежала. «Тю-тю,— сказал Потапыч,— для нее судовой паныч растет! Бросьте ее, хлопцы, вишь какая бучная!..» А мы так и покатились по земле от смеха. Вот что, ей-богу!.. Этакая! А сама не больше, как дочь нашего коновала Ивана. О чем ты задумался?

---

* «Тройной экстракт фиалки» *(название духов)*.

— Ничего, так; а какая хорошенькая эта Маша!

— Да, нечистый ее не взял; сухопара немного.

Маша была очень хороша: ей было 17 лет. Высокий, стройный рост давал ей какую-то особенную величавость; черные волосы украшены алою махровою маковкою; смуглое лицо, оттененное легким румянцем,— признак чистой украинской крови. Длинные, пушистые ресницы, большие голубые глаза, легкая походка, даже самый покрой платья, отличный от здешнего,— все очаровывало Петрушку... При первом взгляде на Машу он затрепетал от удовольствия; какое-то тревожное и вместе приятное чувство запало в грудь его.

Люди много толкуют о сочувствии душ; я мало верю людям, но в этом случае вполовину соглашаюсь.

Когда Петрушка и Филька разговаривали, дюжая дворовая девка внесла в переднюю коробку яблок. Минуты через две вышла Маша, подошла к коробке и, не смотря ни на кого, сказала:

— Снеси, Дунька, эти яблоки в девичью, барыня приказала сосчитать их.

— А позвольте узнать, какие это яблоки, кислые или сладкие?— спросил Петрушка, подойдя к коробке, да и покраснел, сам не зная чего.

— Не знаю,— отвечала Маша, посмотрела на Петрушку и сама покраснела еще более Петрушки, взяла из коробки яблоко и начала вертеть его в руках.

— Его можно попробовать,— сказал Петрушка,— вот прекрасный ножик.

Петрушка вынул из кармана складной охотничий нож своего барина и подал его Маше.

Маша разрезала яблоко и отдала половину его, вместе с ножом, Петрушке.

— А какой это удивительный нож!— заметил Петрушка.— Это у нас, в России, в Туле такие великие мастера.

— Да,— отвечала Маша.

— Вот, видите, точно немецкий складной, и как умно все придумано: один большой нож — видите?— один маленький, вот пробцер, огниво, гвоздь — чистить трубку, и уховертка.— Говоря это, Петрушка раскрывал нож и показывал каждую штуку особенно.

— Спрячь-ка, приятель, свой нож,— сказал Филька,— а вы с яблоками проваливайте: застанет старая барыня, что вы едите фрукты, надает вам тумаков и мне, как свидетелю, достанется. Слышь? Идут?

Девушки ушли в боковую дверь; в переднюю вошел Медведев и приказал подавать лошадей.

Так началось знакомство Петрушки с Машею, а если хотите — и любовь их.

С этих пор всякий раз, когда приезжал Медведев к Фернамбуковым, Маша всегда находила какой-нибудь предлог прийти в переднюю. Петрушка, с своей стороны, всегда имел что-нибудь любопытное передать Маше; мало-помалу, они до того ознакомились, что Петрушка начал привозить Маше из господской библиотеки романы: «*Природа и любовь*» Лафонтена, «*Алексис, или Домик в лесу*» Дюкре-Дюминиля и другие, подобные.

VII

Заметили ли вы, господа, что, пируя на свадьбе, холостые люди и девушки бывают как-то особенно настроены. Они откровеннее, мечтательнее, решительнее, разговорчивее, доверчивее... Право! Музыка ли располагает к этому человеческие сердца, или веселые, счастливые лица новобрачных, или яркое освещение — не знаю, но уверяю вас, что мое замечание справедливо.

На свадьбе у Чурбинского пир приходил к концу. Музыка играла мазурку. Юлиан Астафьевич танцевал в первой паре с своею супругою, далее Макар Петрович с Еленою Павловною, еще Василий Александрович с Александрою Ивановною и еще много, много пар. Можете представить, как было весело!

Лакеи и горничные приехавших господ столпились у дверей залы и с изумлением смотрели, как уездный учитель математики, приглашенный на свадьбу ради великого искусства и знания танцевального дела, изогнув данную ему богом обыкновенную человеческую фигуру в иноземную букву S, отчаянно носился по зале из угла в угол; правою рукою поддерживал он за кончики пальцев огромную даму, а в левой держал за уголок белый носовой платок, который, как флюгер, шумел, кружился, плясал в воздухе и летел за своим господином, точно хвост за кометою. Зрелище диковинное и не для одних лакеев.

Маши не было в толпе любопытных зрителей. Петрушка и прежде видел эти танцы, потому он и не тискался вперед; закинул за спину руки и стал почти у самой двери, ведущей в сени. Вдруг ему послышалось, будто за ним отворяется дверь; он взглянул — нет никого; через минуту кто-то дернул его сзади за сюртук: оглянулся — опять никого; немного погодя

чья-то нежная ручка робко пожала его руку. В секунду Петрушка был за дверью, в больших темных сенях — ему навстречу какая-то женщина бросилась на него и обвила жаркими руками.

— Это ты, Маша?

— Я, Петруша!

— Я не верю сам себе — это ты, моя ненаглядная! Что с тобою? Ты плачешь?

— Грустно мне, Петруша: они пляшут, веселятся, а мне грустно, грустно... так и хочется заплакать... да все хочется говорить с тобою: кажется, все и отляжет от сердца от твоих речей. Как я люблю тебя, Петруша! Смейся надо мною, а я давно хотела тебе сказать это...

Петруша отвечал длинным поцелуем.

— Ах, Петруша, как ты хорош! Я сегодня все на тебя смотрела, пока начали надо мною смеяться. Дунька такая злая! «Посмотрите,— говорит,— Марья Ивановна и на панов не смотрит, как в танцах прохлаждаются, да все на Петрушку, и глаз с него не спустит». А я себе думаю: Петрушка стоит того, и нарочно хотела на тебя поглядеть, да так стало совестно; ушла в девичью и оттуда в щелку все на тебя смотрела. Ты лучше всех!

— Я давно люблю тебя, да сказать боялся: ты такая быстрая, кажется, сразу на смех и подымешь.

— Грех тебе говорить это, Петруша, не бойся меня, что я быстрая! Сова тиха, да птиц душит, а ласточка целый день летает да щебечет, только хвалит бога, зла никому не делает. Скажи мне еще раз, что ты меня любишь, мне так весело слушать... от радости, кажется, не доживу до утра.

— Люблю, люблю, моя радость!.. а я все не верил, что ты меня любишь, хоть Филька и божился...— Вздумаю было тебе сказать так что-нибудь стороною, да вспомню, как ты насмеялась над приказчиком, и язык онемеет.

— Бог с тобою! То приказчик, седой дурень, а то ты — мой ясочка, с тобой и жить и умереть готова...

— Послушай, завтра же, если хочешь, я скажу своему барину, нас перевенчают — и будем жить счастливо.

— Делай как знаешь, мой голубь сизый.

Тут музыка перестала играть; в сенях раздался звонкий поцелуй. Маша выбежала из сеней в сад, а Петрушка тихо вошел в переднюю.

Дня через два Петрушка сказал Маше, что Макар Петрович не соглашается теперь его сватать: скажут, дескать, что нарочно женил Чурбинского, чтобы через него отнять у Фер-

намбуковых ученую девушку; а ты, говорит, молод, и она молода, потерпите до осени — это менее года; тогда я сам буду сватом; если не согласятся господа ее выдать, я им заплачу, что они захотят.

— Как не согласятся!— отвечала Маша.— Ведь ты сам говорил, что у Чурбинского ни кола, ни двора, а твой барин женил его на такой богатой невесте; да и на что я им? Нет, не станут противиться, будем ждать да молиться богу.

— Будем,— отвечал Петрушка.— А не скоро придет эта осень!.. Зима, весна, лето... а там уже осень!

VIII

Я очень люблю начало осени, особливо на Украине. Томительный жар лета сменяется прохладою; природа наградила труды людей своими дарами: везде довольство, везде веселые лица. Едешь полем: и направо, и налево от дороги длинным строем вытягиваются копны хлеба; в стороне где-нибудь краснеет запоздалая нива гречихи; тяжелые, черные грозди ее, как виноград, клонятся к земле на ветвистых, пурпурных стеблях... Вечереет. Крикливые стада журавлей пируют на полях, вереницы уток шумят над головою... Перед вами вьется в чистом воздухе легкий дымок. Вы подъезжаете к куреню баштанника (так у нас называют стариков, которые смотрят над бахчею); старичок разложил огонь перед своим шалашом и варит к ужину кашу. Пламя с треском обхватывает ветви степного ракитника, голубоватый дым тонкою струйкою вьется кверху и исчезает в воздухе; против старика сидит его внук, ребенок лет десяти; он разбил арбуз, чуть не в себя ростом, рвет руками его сочное, алое, сахаристое мясо, ест и хохочет от удовольствия; за шалашом лежит косматая серая собака и весьма пристально рассматривает летающего вечернего жука; далее куча арбузов и дынь... И эта тихая картина облита ярким золотом заходящего солнца. По дороге вы обгоняете возы, нагруженные тяжелыми снопами; в деревне из-за хат выглядывают золотые стоги, как залог благоденствия многих людей; в садах целые семейства собирают яблоки, груши и бергамоты; на вас веет благоухание душистых плодов; вы слышите в саду хохот и песни девушек... хороша, богата природа! Невольно снимешь шапку и от души перекрестишься! Стоит ли человек прекрасных даров божьих?

Кроме того, осень — время свадеб; поселяне, кончив уборку хлеба, хотят отдохнуть, повеселиться. А где же лучше попировать, как не на свадьбе? Старосты, перевязанные че-

рез плечо поясами, начинают ходить по улицам. Не одна пара черных девичьих глаз высматривает их, жданных гостей; не одна роскошная, полная грудь дрожит от страха и сомнения: «*любый*» или «*нелюб*» шлет к ней сватов?..

Август приближался к концу. В селении Медведева из улицы в улицу ходили толпы свадебных гостей, с музыкою, с песнями, с красными знаменами...

Петрушка загрустил... От рокового дня охоты на озерах Чурбинского он раза два видел Машу в церкви; но Маша так печально говорила ему: «Чует мое сердце, что не бывать нам счастливыми — наш барин готов съесть вашего барина, не отдаст он меня за тебя». Петрушка утешал ее, как мог, но в душе и сам чего-то боялся. Он даже боялся напомнить барину об его обещании, грустил, скучал и слег в постель.

Медведев, узнав о причине болезни Петрушки, написал к Чурбинскому письмо, предлагая за Машу тысячу рублей или более, если Юлиан Астафьевич будет согласен, и в ответ получил на лоскутке бумаги четыре слова: «*Ничего не хочу, не бывать этому*».

Оправился от болезни Петрушка или нет, бог его знает, только он встал с постели, взял ружье и пошел на охоту; подошел к реке и побрел тихими шагами берегом прямо к деревне Чурбинского.

Утреннее солнце светило ярко, стада дичи, подымаясь с реки, кружили над головою Петрушки — он ничего не видел, ничего не слышал. Вот и деревня Чурбинского, вот и роща над рекою; по реке плавает большое стадо свойских уток; на берегу, под кустом, сидит босоногая девка в лохмотьях. Петрушка смотрит и не видит — идет далее.

— Петрушка!— закричал кто-то позади его. Бедняк вдруг очнулся, будто тяжелый сон слетел с глаз его. «Кажется, голос Маши»,— подумал он и начал осматриваться. Девка в лохмотьях стояла перед ним — это была Маша.

Ружье выпало из рук Петрушки.

— Ты ли это?— прошептал он.

— Я, мой милый, ненаглядный,— отвечала Маша, обнимая его,— а ты и не узнал меня... Неужели платье так переменило меня?.. А я все та же, так же люблю тебя; чем они злее, тем больше я люблю тебя, пусть они... бог с ними... Ты был болен, мой голубчик; я все слышала, а меня и болезнь не берет...— Рыдания заглушили голос Маши.

— Успокойся, моя рыбка... Сядем, да расскажи мне, что у вас такое делается и отчего ты такая простоволосая?..

— Ох, много я вынесла! Была бы я давно рыбою, броси-

лась бы в самую быстрину, если б не хотела хоть еще раз увидеть тебя...

Маша обняла Петрушку, склонилась головою к нему на грудь и тихо плакала.

— Бог с тобою, моя горлица, успокойся: все будет хорошо...

Маша покачала головою.

— Садись вот здесь,— продолжал Петрушка,— здесь будет покойнее... Господи! Ты босая!.. Теперь холодна осенняя роса, холоден мокрый речной песок... возьми мою шапку, положи в нее свои ножки, пусть отогреются...

— И вспомнить страшно, как рассердился барин, получа письмо от твоего барина. Это, говорит, насмешка; меня обидели и еще сватают мою девушку за урода, который публично желал мне подавиться куликом. Кричал, кричал, ругался, а после и говорит: «Да у меня для Марьи есть жених получше этого сорванца, я ее сделаю счастливою, позвать ко мне Машу!» Я пришла ни живая ни мертвая. «Послушай, Маша,— сказал барин,— я давно хочу наградить тебя за службу и составить тебе *партию*. Потапович, наш приказчик, очень желает на тебе жениться; я, с своей стороны, согласен... Что же ты молчишь?»—«Помилуйте, барин,— сказала я,— у приказчика дети от первой жены старее меня; мне Потапыч годен в отцы, а не в мужья».—«Дура!.. а богатство его разве ничего не значит?»—«Богатство пусть останется при нем, мне ничего не нужно!..»—«Ого-го, сударыня, так вам прикажете выписать жениха из губернского города?..»—«Будьте милостивы,— сказала я и бросилась ему в ноги,— не разлучайте меня с Петрушкою, или за ним, или ни за кем не буду замужем...» Как он толкнет меня ногою!.. прямо в лицо! как закричит... Я и света невзвидела... «Так и ты заодно с моими врагами! Они и тебя, знать, подкупили на мою обиду. Вот я тебе сам отыщу жениха, а до времени... Гей! Потапович! сейчас с нее долой панское платье да в черную работу». Обрадовался Потапович этому приказанию. «Помните, Марья Ивановна,— сказал он мне,— вы говорили, что я не умею обходиться с девушками — вот увидим. Пока отправляйтесь варить для работников галушки, да поворачивайтесь проворнее! я человек сердитый, знаете, от старости: берегитесь, отеческое наказание у меня в руках», и он, улыбаясь, посмотрел на свою длинную палку. Трое суток варила я галушки, носила воду тяжелыми ведрами, *мыла* чугунную посуду... От непривычки работа валилась из рук моих, сердитый Потапович за всякую безделицу без милосердия меня наказывал... Вчера я нечаянно

опрокинула огромный горшок кипятку и — вот видишь — совсем обварила себе левую руку... Меня все-таки наказали и до выздоровления заставили пасти господских уток...

— Бедная моя Маша!— шептал Петрушка, целуя ее больную руку.

— Еще не все... сегодня... когда я гнала сюда уток, повстречался мне Потапович и говорит: «Я стар, Марья Ивановна, и глуп, и непригож, и не гожусь вам в мужья, а все-таки люблю вас, отыскал вам жениха, и барин приказал завтра вечером перевенчать вас... знаете Фомку-дурачка, что пасет господских свиней; правда, он не пересчитает на руках пальцев, зато человек молодой; готовьтесь к венцу».

— Да он пугал тебя,— сказал Петрушка.

— Ох, нет! Еще вчера барин приказал выстричь и вымыть Фомку и дать ему новую рубашку... Весь двор удивлялся, за что такая милость к этому дураку... А теперь я знаю... я не переживу своего несчастия!..

— Нет, Маша! Нет, быть не может, чтобы эти ясные очи, черные косы, белая грудь, это сердце, такое доброе, которое так меня любит... чтоб все это досталось неумытому дураку... он — это животное, станет ласкать тебя, станет целовать тебя... нет, Маша, этого быть не может!..

— А будет!..— едва слышно сказала Маша.

Молчание.

— Послушай,— говорила Маша,— ты любишь меня, и я люблю тебя более всего на свете; нам еще можно спастись, нас никто не разлучит... послушай меня...

И, притянув себе на грудь Петрушку, она что-то стала шептать ему.

Петрушка пришел домой веселее, спокойнее; необыкновенная радость блистала в глазах ео.

— Тебе лучше, Петрушка?— спросил Медведев.

— Лучше, барин, я совсем здоров.

На другой день рано поутру, чуть стало солнышко показываться из-за леса, Петрушка, с охотничьею сумкой за плечами, с ружьем в руках, был уже в роще Чурбинского на берегу реки; немного погодя пришла Маша. На ней была белая, шитая шелком рубаха, завязанная красною лентою; косы лежали на голове черным венком и между ними блистали осенние белые астры...

— Хороша твоя невеста?— сказала Маша, подходя к Петрушке.

Петрушка бросился целовать ее.

— Погоди, Петрушка, не целуй меня: станем молиться богу, чтоб он не разлучал нас и в будущей жизни...

Они упали на колени и тихо молились; в речном тростнике пела пеночка... Солнце величественно выходило на небо. Село начинало пробуждаться.

Помолясь, Петрушка подошел к Маше, обнял ее, и уста их слились долгим поцелуем.

— Слышишь,— говорила Маша,— они просыпаются, они придут сюда — и все пропало! Поспешим, моя радость: там нас не разлучат. До свидания!..

Она стала на колени и распахнула рубашку на полной груди своей.

— Смотри же, мой милый, стреляй прямо в сердце, вот оно, вот бьется, стреляй сюда, а как я умру, и сам за мною скорее: без тебя мне будет скучно и минуту... Ах, как весело умереть от твоей руки!..

Петрушка поднял ружье и прицелился.

— Что же ты ждешь? Я душою чую, что идут сюда — и отдадут меня Фомке!..

Выстрел раздался — и Маша упала на траву... «Приходи ко мне скорее...» были последние слова ее... Алая кровь теплым ключом била из ее раны; светлые глаза подернулись смертным туманом.

Петрушка торопливо начал заряжать ружье, а между тем в роще раздавались голоса: «Кто смеет стрелять! Лови, лови, да и в суд, кто б ни был, моею рукою... Барская земля!»— и Потапыч с тремя десятниками бежал к Петрушке.

Вот они уже близко. Петрушка спешит прибить заряд, взводит курок, упирается дулом ружья в грудь и, перегнувшись вперед, спускает курок: щелк!.. не выстрелило: Петрушка второпях забыл насыпать на полку пороху.

Десятники схватили Петрушку.

— И умереть не дадут!— проворчал Петрушка.— Прощай, Маша! Я сдержу слово: скоро увидимся!..

IX

Был осенний вечер. В гостиной Медведева, по-старому, на круглом столе кипел самовар и горели две свечки в тяжелых подсвечниках; на диване, у стола, Анна Андреевна разливала чай, в кресле сидел Медведев, только не было Трезора, а перед хозяином сидел сосед с большим круглым лицом, да у двери, вместо Петрушки, стоял дюжий черномазый лакей.

— Прескверная погода!— говорил, сморкаясь, сосед.—

Давно ли было тепло, и вдруг стало холодно! Кажется, и не пора бы: еще половина сентября!

— Будто очень холодно?— спросила Анна Андреевна.

— Нет, оно не холодно, а дождик идет, такой, знаете, ехидный, так всего и измочит, кажется, и небольшой, а пронзительный.

— Так вы так бы и говорили,— перебил Макар Петрович.

— Нельзя же иначе выразиться, когда хочется с дороги пуншу!

— Ну, то-то! Ох, Евграф Пантелеймонович, все еще неспроста говорите, все смекай его да смекай, куда что сказано! Откуда же вас бог несет?

— Из нашего уездного города.

— Что там новенького?

— Новенького? Гм! особенного ничего. Разве что ваш Петрушка вчера умер.

— Царство ему небесное!— в один голос сказали, перекрестясь, и Медведев и его супруга.

— Да, умер, и, знаете, очень странно; со дня вступления в тюрьму он все худел, таял, как свечка; послали и доктора — не признается: «Я,— говорит,— совершенно здоров», а все чахнет, все день ото дня хуже, да вчера и умер!.. Что ж бы вы думали? Весь хлеб, что ему давали, нашли у него под постелью; ничего не ел и умер с голода!.. Впрочем, тут вы много виноваты: зачем было давать ему читать книги?!! Сам бы не выдумал такой штуки! Прочитал где-нибудь и — баста!..

Медведев молча встал и начал скорыми шагами ходить по комнате.

— А вы зачем ездили в город?— спросила Анна Андреевна.

— Избирать судью на место умершего в прошлом месяце нашего почтеннейшего Цвиринковского.

— И выбрали?

— Общим голосом Юлиана Астафьевича.

ПРИМЕЧАНИЯ

В предлагаемом издании собраны некоторые прозаические произведения, печатавшиеся в русских альманахах с конца 1790-х до середины 1840-х годов. Стремясь достаточно широко представить прозу разных писателей, составитель посчитал удобным исключить произведения Пушкина, Гоголя и других авторов, которые легко доступны советскому читателю. Сочинения, составившие сборник, публикуются по текстам альманахов. Наиболее существенные расхождения между редакцией альманаха и редакцией, отражающей последнюю авторскую волю, оговариваются.

Орфография и пунктуация там, где это возможно, приближены к современным нормам.

«АГЛАЯ». КН.1.М.,1794

Н. М. Карамзин. Остров Борнгольм.— *Сын Маин* — Гермес (греч. миф.; в римск. миф.— Меркурий); *его матерью была Майя* — Земля. *...приятель мой доктор №№...* — имеется в виду Готфрид Беккер (1767—1845)— датский химик, с которым Карамзин путешествовал по Швейцарии. *Гораций* (Квинт Гораций Флакк; 65—8 до н. э.)— римский поэт.

«АГЛАЯ». КН. 2. М., 1795

Н. М. Карамзин. Сиерра-Морена, элегический отрывок из бумаг №. Впоследствии произведение получило заглавие «Сиерра-Морена».

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». СПБ., 1823

А. Бестужев. Роман и Ольга. События в повести происходят в XIV веке, когда Новгород вступил в борьбу с Московским государством,

объединявшим русские земли. Во главе Москвы стоял тогда Василий Дмитриевич, великий князь Московский, Суздальский и Новгородский. Декабристы видели в новгородской вольнице древнюю республику и прообраз будущего государственного устройства. Поэтому восприятие Новгорода у декабристов отличалось заметной идеализацией и связанным с ней умалением роли Московского государства.

Эпиграф к первой главе — из баллады В. А. Жуковского «Алина и Альсим». *...потомок самого Вадима.*— Вадим — полулегендарный вождь новгородцев, который поднял восстание против варяжского князя Рюрика, но потерпел поражение и погиб. ... *не расплести ему косы моей Ольги* — т. е. не стать мужем Ольги. *...дорогую Мальвазию.*— Мальвазия — сорт виноградного вина (от названия города в Греции).

Эпиграф ко второй главе — из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник». *Семик* — религиозный праздник, троицын день (седьмой от пасхи четверг); в этот день встречали весну, наряжали березки и водили хороводы. *Багряницы князей* — торжественные облачения владетельных особ в виде широких плащей дорогой ткани багряного цвета. Эпиграф к третьей главе — из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак». *...читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом.*— Речь идет о торговых соглашениях новгородцев с рижскими купцами, членами Ганзейского союза, и о союзе с ливонскими феодалами (заключен в 1395 году). *Изяслав* (1024—1078)— сын Ярослава Мудрого. *Липец* — напиток из меда. *Ланиты* — щеки. *Алдерман* — член городского управления. *Гаральд Строгий* (1015—1066)— король Норвегии; был женат на дочери Ярослава Мудрого. *Гаральд полетел в Грецию...*— до вступления на престол (1047) в качестве вождя варяжской дружины состоял на службе у византийского императора. *Зоя* — византийская императрица, дочь Константина VIII, известная своими любовными похождениями. *Бирюч* — глашатай. *...строятся стороны...*— река Волхов делит Новгород на две части, из которых левая называлась Софийской, а правая — Торговой. *Василий Дмитриевич* (1371—1425)— старший сын Дмитрия Донского, великий князь московский с 1389 года. *Витовт* (1350—1430)— великий князь литовский (с 1392). *...жду покорности новогородской митрополиту Москвы...*— Москва требовала от Новгорода подчинения суду московского митрополита, чему сопротивлялось новгородское боярство. *Каменный Пояс* — Уральские горы, где добывались соболя, один из основных предметов новгородской торговли. *Скиригайло* — Свидригайло Иван (1354 — 1396), брат польского короля Ягайло, наместник Литвы с 1388 года; отравлен в Киеве. *Наримант* — сын литовского князя Ольгерда; казнен Витовтом. *...забрызганный кровью наших одноземцев...*— Витовт распустил слух, что идет войной на Орду, но внезапно захватил Смоленск, пленил князей и отправил их в Литву (1395). *Андрей Боголюбский* (ок. 1111—1174) — князь владимирский; совершил неудачный поход на Новгород в 1170 году. *Ферязь* — старинное русское женское платье, застегнутое донизу; род сара-

фана. *...полы опашня.*— Опашень — долгополый кафтан с короткими широкими рукавами. *Баскак* — сборщик податей и представитель ханской власти в эпоху татарского ига. *Война с Димитрием кончилась...*— имеется в виду поход Дмитрия Донского на Новгород в 1386 году, завершившийся заключением мирного договора и выплатой контрибуции.

Эпиграф к шестой главе — из трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807).

Эпиграф к седьмой главе — из элегии К. Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814).

Эпиграф к восьмой главе — из песни А. Ф. Мерзлякова «Я не думала ни о чем в свете тужить». *...ворвался в Двинские области...*— речь идет о набеге князя Василия Дмитриевича на северные колонии Новгорода, которые признали власть Москвы и отошли от Новгорода, что нанесло ему сильный экономический урон. *Пятины* — пять областей, составлявших Новгородскую землю в XII—XV веках (Водская, Обонежская, Деревская, Шелонская и Бежецкая). *Орлец* — новгородская крепость в нижнем течении Северной Двины, сданная двинскими боярами Москве; за измену новгородцы в 1398 году разорили ее.

Эпиграф к десятой главе — из баллады В. А. Жуковского «Светлана». *Торговая казнь* — наказание кнутом на торгах или площади при стечении народа. *«Разговоры о древностях Новагорода» преосвещенного Евгения и «Опыт о древностях русских» Успенского* — имеются в виду сочинения «Исторические разговоры о древностях великого Новгорода» Евгения Болховитинова (М., 1808) и «Опыт повествования о древностях русских» Г. Успенского (Харьков, 1818).

А. Корнилович. О первых балах в России. Посвящено Екатерине Ивановне Греч (р. 1793), сестре писателя и издателя Н. И. Греча. *Вебер* Христиан Фридрих — ганноверский (брауншвейг-люнебургский) резидент в России в 1714—1719 гг.; автор сочинения «Преображенная Россия» («Das Veränderte Russland», V. 1—3, 1721—1740), опубликованного в Германии. *Беркгольц* Фридрих Вильгельм (1699—1765) — гольштейнский дворянин, оставивший дневник о пребывании в России. См.: Дневник камер-юнкера Ф. В. Беркгольца, 1721—1725, ч. 1—4. М., 1902—1903; впервые опубликован в Германии. *Бишингов магазин* — исправляем очевидную опечатку в печатном тексте (Битингов), не замеченную и в книге: «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.—Л.: Изд. АН СССР (Литературные памятники), 1960. С. 199. Правильно: Бюшингов магазин (имеется в виду издание: «Magazin für die neue Historie und Geographie» «Магазин по новой истории и географии», t. 19—22, 1785—1788 —«Магазин Бюшинга». *Штелин* Яков (Якоб) Яковлевич (1709—1785)— автор трудов по искусству. *Косящетое окно* — окно с косяками в отличие от маленького волокового. *Алонжевый* — длинный.

Стразы — поддельный, хрустальный алмаз; хрусталь с огранкой под бриллиант.

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». СПБ., 1824

А. Корнилович. Об увеселениях российского двора при Петре I. Кому посвящено, установить не удалось.

...по случаю заключенного в Нейштате мира.— Ништадтский мир между Россией и Швецией (30 августа 1721 г.) завершил Северную войну. Швеция признала за Россией Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии; Россия обязалась выплатить Швеции денежную компенсацию и возвратить Финляндию.

А. Бестужев. Замок Нейгаузен. Повесть посвящена Денису Васильевичу Давыдову (1784—1839). *Нейгаузен* — пограничный замок, построенный в 1333 году (у Бестужева названа ошибочная дата: 1277). Замок стоял на пути из Пскова в Ригу и Дерпт (Тарту) и служил оплотом ливонских рыцарей при набегах на псковские и новгородские земли. *...осьмиконечный малтийский крест.*— Мальтийский крест, или крест Иоанна Иерусалимского — орденский знак рыцарей Мальтийского ордена, возникшего в XI веке. В 1530 году Карл V пожаловал рыцарям в ленное владение Мальту и два соседних острова, за что рыцари обязались охранять Средиземное море и его побережье от турок и африканских корсаров.

Меннизингеры (миннезингеры)— немецкие средневековые поэты, воспевавшие рыцарскую любовь и служение избранной прекрасной даме. *Фрейграф* — член тайного рыцарского судилища. *...брат Эзельского епископа Германа III...*— Герман Оснабрюгге был правителем Эзельского епископства с 1338 по 1362 год. *Монастырь Дюнамюнда вредил нам при осаде Риги...*— Дюнамюнд — морская гавань Риги; монахи монастыря без ведома Риги и архиепископа продали гавань Ливонскому ордену (1304). Рыцари возвели крепость и получили господство над рижской заграничной торговлей. Попытки рижан вернуть Дюнамюнд (1328) окончились неудачей: магистр Ливонского ордена блокировал Ригу и вынудил город согласиться на условия рыцарей. *...не подражают примеру вашего Фехтена...*— рижский архиепископ Иоанн фон Фехтэ в целях отпора Ливонскому ордену вступил в союз с литовским князем Витеном, который в 1298 году одержал крупную победу над рыцарями. *...взятием Риги герм. Эбергардом фон* Мангеймом *у епископа Иоанна II...*—*Эбергард фон Монгейм* — магистр Ливонского ордена с 1327 года; Бестужев ошибочно называет дату захвата Риги (не 1334 год, а 1330); архиепископом Риги в это время был не Иоанн II (ум. в 1295 г.), а Фридрих Лобенштедт (с 1304 по 1340). *...соединился с литовским князем Витовтом.*— Ошибка: не с Витовтом и не в 1286 г., а с Витеном в 1298 году.

Н. Бестужев. Об удовольствиях на море. Очерк был сочувственно встречен современниками. П. А. Вяземский писал А. А. Бестужеву: «В прозе предпочтительно понравилась мне статья вашего брата: есть много занимательности, движения, краски в слоге». Современники отметили «ясность» слога, причем проза Н. Бестужева ценилась современниками выше прозы А. Бестужева.

Впоследствии очерк, по сравнению с текстом альманаха, подвергся стилистической правке. Конец очерка был переделан: Н. Бестужев внес в текст большой отрывок из четвертой песни «Чайльд-Гарольда» Байрона. В таком виде очерк появился уже после смерти автора в издании «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева». М., 1860.

Мета — цель. *Шканцы* — место в средней части палубы военных кораблей, где производятся смотры и парады. *Арак* — водка, выгнанная из изюма, риса и т. д. *Зунд* — пролив, соединяющий Балтийское море с проливом Каттегат. *Брантвахта* — здесь: военный корабль, несущий сторожевую службу на рейде и наблюдающий за входом и выходом кораблей. *Браге, Тихо* (1546—1601) — датский астроном, построивший обсерваторию с исключительно точными по тем временам приборами, что позволило Кеплеру открыть законы движения планет. *...столпов Геркулесовых* — древнее название горных берегов Гибралтарского пролива.

О. Сенковский. Витязь буланого коня (Арабская кассида). В тексте и в оглавлении инициал автора «И.» вместо «О». *Кассида* — правильно: касыда (касида) — торжественное стихотворение, близкое похвальной оде, в котором соблюдается одна рифма, повторяемая через строку, за исключением первого бейта; Сенковский сочинял «кассиды» в прозе, и у него они принимали вид древнего сказания. *...дерево баму...* — возможно, имеется в виду балия, однолетнее высокое и гибкое растение, похожее на тростник (родина — Восточная Африка).

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». СПБ., 1825

А. Бестужев. Ревельский турнир. Сюжет «Ревельского турнира» заимствован, как указано В. Г. Базановым, из ливонской хроники Руссова, в которой помещен следующий рассказ: «Когда купеческий приказчик сбил дворянина, то некоторым из дворян это было очень неприятно, что купец одержал победу на арене перед князем-магистром и другими сословиями: в среде дворян послышались недовольные речи, чрез что поднялся такой шум между дворянами и бюргерами с их сторонниками, что все лезли вон из кожи и ничего не было слышно, кроме одних угрожающих криков. Магистр с ратуши усмирял крики рукою и словом, бросил в шумящий народ свою шляпу с головы и хлеб со стола, дабы усмирить толпу; но ничего не помогло. Гильдии и пивные дома были наскоро заперты,

чтобы те, которые в них находились, не могли выйти и усилить тревогу. Наконец это смятение усмирил Фома Фегезак, бургомистр, который был человек значительный». Бестужев придавал повести программное значение, о чем свидетельствует эпиграф: он хотел сообщить повести национальный колорит и описать историю «домашним образом», наподобие Вальтера Скотта. Однако ему не удалось достичь естественности повествования, что было отмечено Пушкиным в письме от 1825 года: «Твой Турнир,— писал Пушкин А. Бестужеву,— напоминает турниры W. Scott'a. Брось этих немцев и обратись к нам, православным». Повесть вызвала подражания, которые по характеру письма и методу воспроизведения исторической эпохи оказались запоздалыми и были подвергнуты критике.

Звон колоколов с Олая великого...— речь идет о церкви св. Олая — памятнике древнего зодчества на территории Прибалтики; первое упоминание о храме относится к 1267 году. *...кружева Арахны.*— Здесь — паутина; в «Метаморфозах» Овидия искусная ткачиха Арахнея вызывала на состязание Афину, но разгневанная богиня разорвала ткань, изготовленную мастерицей, а ее превратила в паука. *Брандскугель* — зажигательное ядро. *Греческий огонь* — зажигательные снаряды. *...под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!*— речь идет о сражениях 1501—1502 годов. *Орвиетан* — эликсир от всех болезней, названный по имени Фероата из Орвието (Ферранта д'Орвьето); обозначение всякого шарлатанского лекарственного средства.

...у ратсгеров — т. е. у членов совета магистра. *Шпензер* (шпенсер) — куртка в обтяжку.

Риттергауз — рыцарский дом в Ревеле (Таллине), перед которым устраивались турниры. *Далматика* — род мантии или накидки. *Киршвассер* — вишневка. *...с фогтами и командорами Ордена...*— *Командоры и фохты*— высшие чины Ливонского ордена, назначавшиеся магистром и ведавшие управлением округа. *...фейерверочный бурак...*— гильза с пороховым зарядом, выбрасывающая огненный фонтан. *Бургомистр* — здесь: старший член магистрата; всего избиралось четыре, один из них являлся председателем. *Ландрат* — член королевского или земского совета. *Вицбетрейбер* — острослов, шутник.

Эпиграф к шестой гл.— из стихотворения Н. М. Языкова «Ливония» (1825). *...прусском ордене, преданном Сигизмунду...*— Сигизмунд I Старый (1467—1548)— польский король (1508—1548); при нем в 1525 году из зависимого Тевтонского ордена образовалось светское государство— Пруссия. *Военно-торговое общество Черноголовых...*— Основано в XIV веке для обороны Ревеля; с 1525 года и до начала Ливонской войны пользовалось большим политическим влиянием, занимаясь военными делами. Н. Бестужев. Г и б р а л т а р.— Н. Бестужев плавал во Францию и Гибралтар на фрегате «Проворный» летом 1824 года в качестве историографа. Кроме «Гибралтара», он напечатал о походе «Выписки из журнала плавания фрегата «Проворного» в 1824 году».

Кадикс (Кадис) — город и порт на юге Испании. *...славный мыс Трафалгар...* — имеется в виду Трафальгарское сражение; 21 октября 1805 года английский флот под командованием адмирала Г. Нельсона разгромил франко-испанский флот адмирала П. Вильнёва. *Тангер* (Танжер) — порт на север Марокко. *Марокезы* — занавески из плотной ткани (искусственного шелка). *Тариф Абензакка* (VII—VIII вв.) — предводитель мавров, вторгшийся в Испанию. *Левант* — Восток. *Велизарий* (505—565) — полководец византийского императора Юстиниана, успешно сражавшийся против германцев и Персии. Впоследствии подвергся опале и был лишен богатств, что дало повод к легенде о его ослеплении. На сюжет возникшей легенды сочинены многочисленные произведения. *Напрасно испанская артиллерия* — имеется в виду безуспешная попытка испанцев и французов отвоевать Гибралтар у англичан в 1779—1783 годах. *Питт Уильям* (1759—1806), Младший — премьер-министр Великобритании в 1783—1801 и 1804—1806 годах, один из организаторов коалиционной борьбы против революционной, а затем наполеоновской Франции. *Остатки конституционных испанцев* — в 1814 году после отмены конституции в Испании вспыхнуло восстание (1820). Повстанцы (инсургенты) добились введения конституции, но правительства России, Франции, Пруссии и Австрии решили восстановить в Испании абсолютизм. С этой целью в Испанию вторглись французские войска, часть которых осталась в стране, чтобы подавлять очаги сопротивления и охранять монархию. Один из эпизодов описан в очерке Бестужева. *О'Донель* (О'Донелль, 1769—1834) — испанский генерал, участник войны за независимость Испании, но перешедший в лагерь реакции. В 1823 году подавил испанскую революцию, возглавляемую Рафаэлем Риэго.

«СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1825 ГОД...». СПБ., 1825

Е. Баратынский. История кокетства. Изящная шутка Баратынского написана в 1824 году, и, вероятно, именно этот юмористический и аллегорический рассказ явился, по словам жены поэта, результатом пари. Критика встретила рассказ добродушно-снисходительно, отметив (П. А. Плетнев) «слог легкий и блестящий». Тема рассказа характерна для Баратынского, как раз в те годы размышлявшего о женской любви и главных достоинствах женщины. *Венера* — богиня любви (римск. миф.; в греч. — Афродита). *Меркурий* — бог скотоводства, покровитель пастухов, позднее — вестник и глашатай богов (римск. миф.; в греч. — Гермес). *Аполлон* — бог солнечного света и покровитель искусств (греч. миф.). *Марс* — бог войны (римск. миф.; в греч. — Арей). *Вулкан* — бог огня и кузнечного ремесла (римск. миф.; в греч. — Гефест). *Киприда* — прозвище Афродиты (Венеры) по месту ее культа — острова Кипр. *Паллада* — прозвище Афины — богини неба, повелительницы туч, молний, богини плодородия и покровительницы мирного труда (греч. миф.). *Амур* — бог любви (римск. миф.; в греч. — Эрот). *Олимп* — священная гора в Северной Фессалии,

считавшаяся местопребыванием богов (греч. миф.). *Грации* — богини красоты, радости и олицетворения женских прелестей (римск. миф.; в греч.— хариты). *Юпитер* — верховный бог, царь и отец богов и людей (римск. миф.; в греч.— Зевс). *...сочинениях многих софистов...*— по ироническому замечанию Баратынского, склонность к Венере, олицетворяющей в рассказе ветреную любовь, подпортила красноречивые, но ложные мудрствования греческих философов—софистов (Протагора, Горгия, Продика, Антифонта, Крития и др.) *При триумвирах...*— в Древнем Риме известны два триумвирата: первый (60—53 г. до н. э.) составили Ю. Цезарь, Г. Помпей и М. Красс; второй (43—36 до н. э.)— Октавиан (Август), М. Антоний и М. Лепид. *Подобно Юпитеру, отцу Паллады...*— согласно мифу, Минерва (Афина) вышла из головы Юпитера (Зевса). *Мусикийские орудия* — музыкальные инструменты. *Диана, похищающая Эндимиона...*— Баратынский допускает, как и его современники, смешение греческих и римских имен; согласно мифу, Артемида — целомудренная богиня-девственница (греч. миф.; в римск.— Диана), плененная небывалой красотой юноши Эндимиона (греч. миф.), усыпила его, чтобы целовать спящего юношу, и в течение 30 лет навещала его в пещере. *Киприда, ласкающая* Адониса...— Адо́нис — юноша, рожденный миртовым деревом и отличавшийся редчайшей красотой; к нему воспылала любовью Афродита (греч. миф.).

«НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ НА 1827 ГОД». СПБ., 1826

О. Сомов. Гайдамак. Малороссийская быль.

Эпиграф — из поэмы И. П. Котляревского (1769—1838) «Энеида». *Чумаки* — см. прим. Сомова к «Сказкам о кладах». *Ворган* — музыкальный инструмент; напевы записаны на валик, чтобы их воспроизвести, вертят ручку, вращающую валик. *...под красную шапку...*— в солдаты. *Добрый человек и скотов милует...*— изречение восходит к «Книге притчей Соломоновых» (12.10): «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко».

Эпиграф ко второй главе — из «Думы о походе Хмельницкого в Молдавию». *Хмельницкий Богдан-Зиновий* (ок. 1595—1657)— гетман Украинского Войска Запорожского, возглавил Освободительную войну украинского народа 1648—1654 гг. против феодальной несправедливости, социального и национального гнета шляхетской Польши. В 1654 году на Переяславской Раде провозгласил Универсал о добровольном воссоединении украинского народа с русским. *Каин* — по библейскому мифу, первый сын Адама и Евы, убийца своего брата Авеля. *Сеннахерим* — имеется в виду Сеннахираб (704—680 до н. э.), ассирийский царь, совершавший набеги в Иудею и сопредельные области. *Моавит* — житель древней страны Моав, ставшей в 9—8 вв. до н. э. самостоятельным государством и расположенной на восточном берегу реки Иордан; моавиты — семитский народ, генеалогически близкий

к израильтянам. *...в толпе этих назареев...* — цензор А. С. Бируков внес поправку: «в толпе народа»; назареи — иноверцы (здесь: христиане). *Велиал* — согласно мифологическим представлениям демон — обольститель человека, дух небытия, лжи и разрушения. *Торбан* — струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный бандуре. *Пейсики* — у патриархальных евреев длинные неподстриженные пряди волос с висков. *...дай ему осторогу...* — т. е. предостереги его. *З низу Днiпра тихий вiтер...* — из «Думы о походе Хмельницкого в Молдавию»; далее цитируются стихи из той же «Думы...». *...когда Малороссия... горе покоренным!..* — по цензурным соображениям этот фрагмент был изъят из текста «Невского альманаха».

Эпиграф к четвертой главе — неточная цитата из поэмы И. П. Котляревского «Энеида».

«СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1826 ГОД». СПБ., 1826

Н. Бестужев. Трактирная лестница. — В альманахе (несомненно, по цензурным соображениям) рассказ напечатан под псевдонимом «Алексей Коростылев». В произведении отразились отношения Н. Бестужева к *Любови Ивановне Степовой, жене генерал-директора* штурманского училища в Кронштадте.

Эпиграфы — отрывки из стихотворной повести Байрона «Шильонский узник». В переводе Жуковского этот отрывок («Взгляд узника на небо») появился в альманахе «Новые Аониды на 1823 год» (М., 1823). *...мне надо было остановиться на несколько дней в Копенгагене...* — в Копенгагене Н. Бестужев был в 1815 году («Записки о Голландии»). *Торвальдсен Бертель* (1768 или 1770—1844) — датский скульптор.

«УРАНИЯ». М., 1826

М. Погодин. Нищий. Повесть. — Написано в 1825 году. Для отдельного издания повестей («Повести Михаила Погодина». Ч. I—III. М., 1832) произведение подвергалось значительной стилистической правке.

Плошки — здесь: светильники. *...пора уже посадить меня на тягло...* — т. е. женить и отделить от родителей, дабы крестьянин мог самостоятельно нести податную повинность; *тягло* — мера земли и полная подать с нее, приходящаяся на семью (на две души). *...перед первым спасом...* — перед церковным праздником, приходящимся на 1 августа по старому стилю. *Поезжие* — участники свадебного поезда. *Огневка* — горячка. *...богоявленскою водою* — водой, освященной в церкви в праздник богоявления. *На другой год полк наш выступил в поход...* — речь идет об Итальянском походе Суворова 1799 года. *...был я под туркою, под шведом, и наконец в Грузии.* — Имеется в виду русско-турецкая война 1806—1812 годов, русско-шведская война 1808—1809 годов и военные действия в Гру-

зии, связанные с ее присоединением к России. *...в поминанье.*— В списке умерших, подаваемом для поминания в молитвах.

Как аукнется, так и откликнется.— Повесть написана в Знаменском в 1825 году. Для отдельного издания повестей была существенно переработана автором: в частности, Погодин исключил написанный в прозаической манере и социально острый рассказ о родителях Софьи, добывающих деньги путем нещадного обложения непредусмотренной податью крепостных крестьян, и об угрозе наказания за неповиновение.

...во время милой болезни «ни то ни се», прославленной Дмитриевым...— В сказке И. И. Дмитриева «Модная жена» говорится об ухищрениях молодой женщины, помыкающей своим мужем:

Однажды быв жена — вот тут беда моя!
Как лучше изъяснить, не приберу я слова —
Не так чтобы больна, не так чтобы здорова,
А так... *ни то ни се...* как будто не своя...

...говорить о Ростове...— т. е. о Ростове Великом, куда отправлялись на богомолье. *Пусть французские теоретики утверждают, что нет красоты безусловной, что все нам нравится по отношениям.*— М. Погодин, близкий к немецкой классической философии, полемизирует с французскими философами-просветителями; в частности, с Вольтером. *«Тот не в чинах...»* и сл.— цитата из басни И. А. Крылова «Разборчивая невеста» (1806). *Селадон* — волокита. *«Красавицы! видал я много раз...»* и сл.— цитата из басни И. А. Крылова «Тень и человек» (1813). *...отпраздновав 1 мая в Сокольниках...*— 1 мая в Сокольниках устраивалось народное гулянье. *...могла обворожить хоть Катона.*— Иронический намек на современного М. Погодину гражданина-республиканца, нечувствительного к женским прелестям; имя Катона Марка Порция (234—149 до н. э.) употреблялось нарицательно, обозначая презрение к жизненным радостям; Катон по своему аскетическому поведению оказался близок декабристам. *Н. И. Хмельницкий* (1789—1845)— русский комедиограф и переводчик, один из соавторов Грибоедова («Замужняя невеста»), о нем с теплотой отзывался Пушкин. *М. С. Загоскин* (1789—1852)— автор исторических романов и драматург. *А. И. Писарев* (1803—1828)— русский комедиограф и водевилист. *Ф. Ф. Кокошкин* (1773—1838)— русский драматург и переводчик. *А. А. Шаховской* (1777—1846)— драматург и поэт. *Свенельд* — воевода X века, варяг по происхождению; при князе Игоре руководил военными походами. *Нимвроды* — охотники. Нимврод — в верхозаветной мифологии — богатырь-охотник.

«СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1829 ГОД». СПБ., 1828

В. Титов. Уединенный домик на Васильевском. Повесть напечатана под псевдонимом «Тит Космократов». *В. П. Титов* (1807—1891)

(см. ранее «Три единства»)— любомудр, знакомый Пушкина, выведенный под именем Вершнева в повести «Мы проводили вечер на даче...». В. Титов в письме к А. В. Головину от 29 августа 1879 года писал: «В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове, поздно вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам... Апокалипсическое число 666, игроки — черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под высокие парики,— честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником ветхозаветной заповеди «Не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в «Северные цветы». Об устном рассказе Пушкина, относящемся к 1825 году, сообщала и А. П. Керн: «Когда Пушкин решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов...» Запись устного рассказа Пушкина, просмотренная им самим, отличается, однако, по мнению ряда крупных филологов и пушкинистов (ак. В. В. Виноградов и др.), от повествовательной манеры самого Пушкина. При всем том из записи В. Титова не исчезли некоторые автобиографические детали, содержавшиеся в пушкинском сюжете. *Коллегии* — высшие правительственные учреждения, основанные Петром I вместо бывших приказов и удержавшиеся до создания министерств в 1802 году. *Минея* — имеются в виду «Великие Четьи-Минеи», двенадцатитомное собрание прологов, патериков, житий святых, творений «отцов церкви» и духовных писателей с их толкованием, составленное под руководством митрополита Макария. Материал в «Четьях-Минеях» был расположен по месяцам и дням. *...на его челе... Галль верно заметил бы орган высокомерия...*— австрийский врач и анатом Франц Иосиф Галль (1758—1828) держался мнения, согласно которому по выпуклости черепа можно судить о характере человека и его психике («френология»). *...ему послышалось, что мужчина произносит его имя...*— А. А. Ахматова заметила, что приключение Павла в салоне графини И. напоминает случай, произошедший с Пушкиным в 1828 году,— столкновение с секретарем французского посольства Т.-Ж. Лагрене. *...статуя Командора приходит на ужин к Дон Жуану.*— Имеется в виду сцена из комедии Мольера «Дон Жуан» (д. 4, явл. 12). *...гобелены отличного рисунка* — вытканные вручную ковры-картины (шпалеры). *...похищение Европы* — популярный сюжет с изображением финикийской царевны Европы на спине быка, образ которого принял влюбленный в нее Зевс (греч. миф.). *Амплификация* — использование од-

народных элементов в ораторской речи. *Думская башня* — башня с часами на здании городской петербургской думы на Невском проспекте, рядом с Гостиным двором. *...луна во вкусе Жуковского...* — имеется в виду обычный для баллад Жуковского пейзаж: бледная луна, льющая холодный свет сквозь туман или разорванные тучи. *666, число Апокалипсиса...* — в Апокалипсисе (Откровении Иоанна Богослова) сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть» (гл. 13, с. 18). Число 666 указывало на дьявола, антихриста. *Церковь Андрея Первозванного...* — находилась на углу Большого проспекта и Шестой линии Васильевского острова. *Пенник* — очищенная хлебная водка. *... показывал признаки помешательства...* — А. А. Ахматова высказала мнение, что помешательство Павла напоминает затворничество и признаки безумия графа Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова, личностью которого интересовался Пушкин. *...при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство.* — В 1819 году гадалка А. Ф. Кирхгоф предсказала Пушкину гибель от руки высокого белокурого человека.

Д. Веневитинов. Три эпохи любви. — Текст представляет собой философический приступ к задуманному роману «Владимир Паренский». Начало, как и задуманный роман, содержит автобиографические черты, осмысленные в духе философской триады: первая эпоха восторгов — невинная пора юности, не знающая противоречий; здесь поэт отдается жизни и ее впечатлениям; вторая эпоха — познания радостей бытия и чувственных удовольствий; ей соответствует любовь к кн. А. И. Трубецкой («Лучший миг в жизни»); третья эпоха — горьких разочарований, критицизма и страданий; в этом духе осознана любовь к кн. З. А. Волконской.

Венера Медицейская — имеется в виду знаменитая копия со статуи, созданной древнегреческим скульптором Праксителем (ок. 390—ок. 330 до н. э.). *Лаокоон* — античная мраморная группа, изображающая Лаокоона (троянский герой, жрец Аполлона) и двух его сыновей в борьбе с громадными змеями. *Омир* — Гомер. *Петрарка* (1304—1374) — итальянский поэт-лирик.

«НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ НА 1830 ГОД». СПБ., 1829

О. Сомов. Сказки о кладах. — Произведение помещено в альманахе под псевдонимом «Порфирий Байский». В рецензии на «Невский альманах 1830 года» Пушкин писал: «Сказки о кладах» суть лучшие из произведений Байского, доныне известных».

Немврод — правильно: Нимврод; здесь употреблено в качестве нарицательного имени охотника. *...король Дагоберт — герой...* — герой шутливой песенки, высмеивающей незадачливого короля — любителя собак и

охоты; песенка была популярна после падения Наполеона в 1814 году. *...три гетманские универсала...*— т. е. три гетманских указа или грамоты, издававшиеся для всеобщего сведения. *...уставчатой рукописи...*— древние славянские рукописи писались особым почерком (уставом)— кириллицей с четким начертанием каждой буквы без сокращений. *...сказками о Соловье-разбойнике, о Семи мудрецах и о Юноше...*— первая — обработка в повествовательном духе былины об Илье Муромце и Соловье-разбойнике; вторая — сказка (точнее — история), изложенная в старинной переводной повести, известной на Руси XVII века; обе широко распространялись в рукописных списках. *...Никакому археологу не было столько труда от чтения и пояснения древних рукописей геркуланских...*—после известия о находке рукописей при раскопках Геркуланума (1754) научные результаты были добыты почти сто лет спустя, когда Сомова уже не было в живых. *...в семилетнюю войну...*— т. е. в период с 1756 по 1763 год, когда велась война между Австрией, Францией, Испанией, Саксонией, Швецией, Россией — с одной стороны, и Пруссией, Англией, Португалией — с другой. *Крестовики — петровские рубли* (с крестом из четырех букв «П»). *В первую Турецкую войну...*— в 1735—1739 годах Россия вела с Турцией в целях пресечения набегов крымских татар и за выход к Черному морю. *Аргамак* — порода верховых коней. *Сулея* — плоская бутыль. *Иванов день* — древний праздник у восточных славян (24 июня старого стиля). *«Зух Раббин, Каин, Абель!»*— набор слов, имитирующих колдовское заклинание. *Сагайдачный Петр Кононович* (ум. 1622)— гетман украинского казачества, участник и руководитель походов против Крымского ханства и Турции, сторонник сближения Украины с Россией.

«ДЕННИЦА, АЛЬМАНАХ НА 1830 ГОД...». М., 1830

Д. Веневитинов. Анаксагор. Беседа Платона.— Написано, по-видимому, в июле 1825 года., прочитано Веневитиновым на собрании философского кружка. В сочинении излагается платоновская теория идей в истолковании Шеллинга и учение Шеллинга о трех возрастах человечества, причем Веневитинов наполняет философские мысли о начале мира, о трех фазах развития познания, о будущей гармонии современным содержанием. Сочинение, как писал исследователь творчества Веневитинова А. П. Пятковский, обнаруживает и напряженность философских исканий поэта-любомудра, и силу его поэтического дара, состоящую в оживлении отвлеченных мыслей. *Анаксагор* (ок. 500—428 до н. э.)— греческий философ, изгнанный по обвинению в безбожии; здесь — условное имя, так как Анаксагор скончался до рождения Платона. *Платон* (427—329 до н. э.)— греческий философ. *Сократ* (ок. 470—399 до н. э.)— греческий философ, учитель Платона. *...в одном из наших поэтов описание Золотого века...*— в поэме Гесиода (VIII—VII вв. до н. э.) «Труды и дни» содержится миф о пяти поколениях

человечества, согласно которому люди начинают с «золотого века» и кончают «железным»; золотой век — время блаженного существования первобытных людей, относимое греками ко времени владычества Кроноса, когда на земле царили всеобщий мир и счастье (греч. миф.). *Но когда я на несколько времени перенесся в этот мир...* — в авторизованном списке перед словом «мир», как обнаружено Л. А. Тартаковской, вставлено слово «новый»; тем самым мысли о золотом веке и горькой действительности Веневитинов связывал с живой современностью. *Ты ошибаешься, Анаксагор.* — Письмо Веневитинова к А. И. Кошелеву от середины июля 1825 года разъясняет «ошибку»: «Если цель всякого познания, цель философии есть гармония между миром и человеком (между идеальным и реальным), то эта же самая гармония должна быть *началом* всего. Всякая наука, чтоб быть истинною наукою, должна возвратиться к своему *началу*; другой цели нет». Иначе говоря, человечество от золотого века движется через противоречия к золотому же веку, но уже к более высокой и осознанной ступени общей гармонии. *...твоей республики?* — В трактате «Государство» Платон создал утопическую республику, в которой нет места поэтам и художникам, но допускал, что они могут возвратиться и стать ее гражданами. *К такому обществу может ли принадлежать поэт...* — мысли Платова истолковываются Веневитиновым в духе его взглядов на современную поэзию, недостатки которой заключаются, по мнению писателя, в отрыве от общественно-философских проблем; личной, «интимной» поэзии Веневитинов противопоставляет философскую поэзию; отсюда последующее утверждение: «философия есть высшая поэзия», а высшей формой философии, как следует из учения любомудров, выступает философская поэзия. *Фидиас* (Фидий; нач. 5 в. до н. э. — ок. 432—431 до н. э.) — древнегреческий скульптор периода высокой классики.

Н. Полевой. Сохатый. *Расшива* — большая плоскодонная лодка или парусное судно. *Оссиан* — легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в 3 в.; шотландский поэт Джеймс Макферсон (1736—1796) обработал кельтские легенды и предания и выдал их за произведения Оссиана («Сочинения Оссиана, сына Фингала», 1765). *Ерофеич* — водка, настоянная травами.

«СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1831 ГОД». СПБ., 1830

В. Одоевский. Последний квартет Бетховена. — Опубликовано под криптонимом «ь, ъ, й» (последние буквы имени писателя: Князь Владимиръ Одоевский). Впоследствии с небольшими стилистическими изменениями вошло в «Русские ночи» («Ночь шестая»). Начертание В. Одоевским фамилии немецкого композитора «Беетовен» всюду изменено на со-

временное —«Бетховен». В. Одоевский сыграл огромную роль в развитии русской музыкальной культуры, ратуя за национально-самобытную музыку, проникнутую народным содержанием. По его мнению, задача композитора заключалась не в том, чтобы перенести в сочинение тот или иной народный напев, а «воспроизвести в себе тот процесс, посредством которого с незапамятных времен творилось русское народное пение...» («Русская и так называемая общая музыка»). Эта и другие повести В. Одоевского о немецких музыкантах, помимо познавательных и художественных целей, сопрягались с национальными культурными интересами. Бетховен — один из самых любимых композиторов В. Одоевского.

Эпиграф — сокращенная цитата из «Серапионовых братьев» (рассказ о безумном советнике Креспеле немецкого писателя Э.-Т.-А. Гофмана (1776—1822). *1827 года... разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати.*— В 1827 году в России были изданы последние квартеты Бетховена. *...ослабевшего гения...*— оценка последних квартетов Бетховена в повести подчинена художественному заданию и не совпадает со взглядами Одоевского, писавшего о «знаменитых» последних квартетах, «которых исполнение так редко бывает удовлетворительно и которые между тем превосходят все доныне существующие квартетные сочинения». *Галль Франц Иосиф* (1758—1828) — австрийский врач и анатом; выдвинул антинаучную теорию («френологию»), в которой доказывал связь между строением черепа и умственными способностями человека. *...я управлял оркестром моей ватерлооской баталии.*— Имеется в виду исполнение симфонической увертюры Бетховена «Победа Веллингтона, или Битва при Виттории» в зале Венского университета (8 и 12 декабря 1813 г.). Оркестром дирижировал автор. *Вебер Якоб Готфрид* (1779—1839)— немецкий композитор и музыкальный критик, издатель журнала «Цецилия» (Цецилия — католическая святая, покровительница музыки). *«Фрейшиц»*— опера немецкого композитора Карла Марии фон Вебера (1786—1826) «Вольный стрелок». *«Эгмонт»* (1810)— одно из крупнейших симфонических произведений Бетховена на сюжет трагедии Гете «Эгмонт» (1782—1787). *...моего батюшки, блаженной памяти Фредерика.*— Существовала легенда, что Бетховен был незаконным сыном прусского короля Фридриха-Вильгельма II. *...музыку на известную песню Гетева Мефистофеля:* «Es war einmal ein König...» («Жил-был король когда-то...»). Имеется в виду «Песнь о блохе», сочиненная в 1809 году. *...на таинственную мелодию, которою Бетховен объяснил Миньону.*— Речь идет о песне Бетховена «Миньона» (1809) на слова Гете («Kennst du das Land...»—«Ты знаешь край...») из романа «Ученические годы Вильгельма Мейстера». *...творец «Моисея»*— Микеланджело Буанаротти (1475—1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, автор статуи «Моисей» (1515—1567).

В. Одоевский. Opere del cavaliere giambat tusta Piranesi.— Труды кавалера Джамбатиста Пиранези (итал.). Опубликовано за подписью «ь, ъ, й». Впоследствии рассказ подвергся существенной правке и вошел в состав «третьей ночи» цикла «Русские ночи» (писатель снял эпиграф и посвящение, изменил начало, перенес действие из Петербурга в Неаполь). По первоначальному замыслу это произведение должно было открывать задуманный Одоевским философский цикл «Дом сумасшедших», в который предполагалось включить истории «гениальных безумцев». Как название цикла, так и сюжеты повестей перекликались с живой современностью: в литературе уже появился Чацкий, а Булгарин считал сумасшедшими любомудров. Одоевский как бы предугадал происшедшее позднее (1836) объявление сумасшедшим Чаадаева, прямо связывая печатание «Дома сумасшедших» с мыслями Чаадаева (письма к Шевыреву от 17 ноября 1836 года), с которым, однако, разошелся в суждениях о России и Европе.

Пиранези Джованни Баттиста (1720—1778)— итальянский художник и архитектор; в серии гравюр изображал колоссальные, фантастические сооружения. Герой повести Одоевского мало похож на реального Пиранези. *А. С. Хомяков* (1804—1860)— русский философ, писатель и публицист; посвящением ему рассказа Одоевский намекал на некоторую общность между Пиранези и Хомяковым, о чем свидетельствует Н. Гиляров-Платонов в воспоминаниях «Из пережитого»: «...В этой книге («Русские ночи».—*В. К.*) князь В. Ф. Одоевский имел в виду Хомякова-сына, то есть известного писателя, когда изображал архитектора Пиранези, сочинявшего пусть очень умные, даже гениальные проекты таких предприятий, как мост через Средиземное море». *Роско Уильям* (1753—1831)— английский историк; его книга называется: «The life and pontificate of Leox» (1805). Rosarium *Арнольда Виллановы...*— имеется в виду «Rosarium philosophorum»— сочинение испанского алхимика Арнольда Виллановакуса (1235—1312). *...русских романов Дюкре-Дюмениль.*— Речь идет о русских переводах французского писателя-сентименталиста Франсуа-Гильома Дюкре-Дюмениля (1761—1819). *Поповский Н. И.* (1730—1760)— поэт и переводчик, ученик М. В. Ломоносова. *Фрерона закрывают от пыли Вольтером...*— Эли Катрин Фрерон (1719—1776), французский писатель и критик, заслужил печально известную славу своими нападками на Вольтера, Руссо и энциклопедистов. *Лагарп Жан Франсуа* (1739—1803)— французский драматург и теоретик литературы. *Нодье Шарль* (1780—1844)— французский писатель. *Жанлис Стефания Мадлен-Фелисите Дю Кре де Сент-Обен* (1746—1830)— французская писательница. *Скотский лечебник* — возможно, имеется в виду книга И.-Б. Фишера «Скотной лечебник» (1-е изд.— М., 1774; 2-е изд.— М., 1778). *Амбодик* (Нестор Максимович Максимович; 1744—1812)— профессор акушерства, автор книг по медицине. Bonati The-

saurus medico-practicus indique colectus — «Боната. Сокровищница, либо Словарь отовсюду собранных медико-практических знаний» (1761); правильно: Bonetus Theophilus. Polyathes, sive Thesaurus medico-practicus (Бонетус Теофилус. Полиат, или Медицинский практический словарь). *«Advis fidel aux veritables Hollandais touchant ce qui s'est dans villages de Bodegrave et Swammerdam.* 1763». — «Достоверный отчет для природных голландцев о событиях, происшедших в деревнях Бодеграф и Своммердам. 1763 г.» *Эльзевир* — голландская книгоиздательская фирма в XVII в., книги которой ввиду их ценности стали также называть «эльзевирами». «Hortus sanitatis, Jardin de de'votion les Fleurs de bien dire, recueillies aux cabinets des plus rares e'sprits pour exprimer les passions amoureuses de l'un et de l'autre sexe par forme de Dictionnaire» — «Сад здравия, сад благочестия, цветы красноречия, выбранные в форме словаря из библиотек лучших авторов для выражения любовных страстей лиц обоего пола». (франц.) Альды — знаменитые итальянские книгопечатники XV—XVI вв., издававшие тексты греческих и римских классиков. Издания альдов отличались высокой полиграфической культурой и тщательностью текстологической подготовки и комментариев. «Virgilius ex recensione Naugerii» — «Сочинения Виргилия, издание Науджери» *(лат.)*. *Виньола* (Бароццио Джакомо; 1507—1573) — итальянский архитектор. *Жорж* (Веймер Маргерит Жозефин; 1787—1867) — французская актриса; в 1808—1812 гг. гастролировала в России (Петербург, Москва). *«Жизнь игрока»* — «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827) — мелодрама французского драматурга Виктора Дюканжа (1783—1833). «Chevalier Giambattista Piranesi, celebrite architecte, m. en. 1778» — «Кавалер Джамбаттиста Пиранези, знаменитый архитектор, умер в 1778 г.» (франц.). *Пантеон* — имеется в виду купол античного Пантеона, послуживший прообразом для купола собора св. Петра, возведенного Микеланджело. *Вечный жид* — еврей Агасфер, обреченный, согласно легенде, на вечные скитания за то, что не позволил Христу отдохнуть на пути к месту распятия. *Пилястры* — выступы в стене в виде части встроенного в нее четырехугольного столба.

«СИРОТКА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ НА 1831 ГОД, ИЗДАННЫЙ В ПОЛЬЗУ ПРИЗРЕНИЯ БЕДНЫХ СИРОТ». М., 1831

М. Погодин. Петрусь. Повесть посвящена И. П. Котляревскому, с которым М. П. Погодин познакомился в 1829 году. Написана по мотивам комической оперы И. П. Котляревского «Наталка-Полтавка», но с иными сюжетными подробностями и другим финалом.

Гетманщина — в 1667—1783 годах так называлась Левобережная Украина, присоединившаяся к России, но сохранявшая автономию. *Клечана неделя* — праздник троицы. *...в пестрой плахте, с червонною запаской...*

— украинская одежда, состоящая из двух платков, заменяющих юбку. *Заполочь* — цветные нитки. *Дукаты* — украшения, драгоценности. *Дробушки* — мелкие косы, косички. *Хустки* — носовые платки. *Кошик* — кошель, котомка. *Олея* — растительное масло. *Хорунжий, есаул* — казачьи офицерские чины. *Повытчик* — чиновник в канцелярии.

«НОВОСЕЛЬЕ». Ч. 1. СПБ., 1833

О. Сенковский. Антар.— Называя альманах «русским альманахом», Белинский выделил в нем среди других «Антар» Сенковского и «смешные сказки Барона Брамбеуса» (см. «Большой выход у Сатаны»).

Барон Брамбеус — псевдоним Осипа (Юлиана) Ивановича Сенковского (1800—1858), русского писателя, журналиста, востоковеда.

Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 865—928 гг. до н. э., сын Давида; библейская легенда приписывает ему необычайную мудрость. *Омар* — имеется в виду Омар I (ок. 581—644), второй халиф в Арабском халифате, сподвижник Мухаммеда; при нем арабские войска одержали ряд побед.

Большой выход у Сатаны.— По поводу фельетона разыгрался литературный скандал: в журнале «Московский наблюдатель» Сенковский был обвинен, как отметил Белинский, «в похищении идей и вымыслов из французской литературы» (статья «Брамбеус и юная словесность»). Автор статьи, Н. Павлищев, доказывал, что «Большой выход у Сатаны» заимствован у Бальзака. Однако критик не учитывал иронической манеры Сенковского. *Лукулл* (ок. 117 — ок. 56 до н. э.)— римский полководец; прославился богатством, роскошью и пирами. *Иппократ* (Гиппократ; ок. 460— ок. 370 до н. э.)— древнегреческий врач, реформатор античной медицины. *Аусгабе — издание, издатель.* Gelehrter — ученый (нем.). *Харон* — перевозчик в царстве мертвых (греч. миф.)— *Лета* — река забвения в подземном царстве (греч. миф.) *«... ец... оман... торич... сочин... а... 830»— прозрачный намек на издание: «Дмитрий Самозванец, роман исторический, сочинение Булгарина 1830 года». Плутон* — бог подземного царства (римск. миф.). *...великого библиотекаря и профессора, который недавно произвел на Севере такую ужасную суматоху.*— Имеется в виду Иоахим Лелевель (1786—1861)— идеолог польского национально-освободительного движения, историк; в период польского восстания 1830—1831 годов — председатель Патриотического общества, член Временного правительства. *Гернани* —«Эрнани» (1829), пьеса Виктора Гюго. *«Исповедь»* (1782—1789)— произведение Ж.-Ж. Руссо. *Петр Вижигин* —«Петр Иванович Вижигин» (1831), роман Булгарина. Notre Dame de Paris —«Собор Парижской богоматери» (1831), роман Виктора Гюго. *Рославлев* —«Рославлев, или Русские в 1812 году» (1830), роман М. Н. Загоскина (1789—1852). *Шемякин суд* — «Шемякин суд, или Междоусобие князей русских» (1832), роман издателя «Отечественных записок» в

1818—1830 гг. П. П. Свиньина (1787—1839). *Саламанка* — город в Испании. *Юнтахунта* — несколько советников, образующих администрацию. *Кариатида* — колонна, опора здания в виде женских фигур. *Тартар* — самая мрачная часть подземного царства (греч. миф.). *Штивер* — голландская монета. *...Умозрительную физику В...* — имеется в виду «Опытная, наблюдательная и умозрительная физика» (1831) русского ученого и философа-шеллингианца Д. М. Велланского (1774—1847). *Курс умозрительной философии Шеллинга* — имеется в виду книга Шеллинга «Введение в умозрительную физику» (Одесса, 1833), являющаяся переводом «Введения к опыту системы натурфилософии». *Немецкий студент, приговоренный в Майнце...* — речь идет о немецком студенте Карле Занде, убившем в 1819 году реакционного писателя Коцебу; Занд был казнен. *...шепнул ***ову, известному любителю, Канта, Окена, Шеллинга, магнетизма и пеннику...* — имеется в виду М. Г. Павлов (1793—1840), русский философ-шеллингианец, профессор Московского университета, издатель журнала «Атеней»; *Окен Лоренц* (наст. имя — Оккенфус; 1779—1851), немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, последователь Шеллинга; пенник — каламбур: любящий делать выговоры кому-либо (пенять) и любитель крепкого хлебного вина (пьяница). *...как ***ой о древней российской истории.* — Имеется в виду Н. А. Полевой, выпустивший в 1829—1833 годах «Историю русского народа» (т.т. I—VI); в 1828 году Полевой подверг критике философские статьи М. Г. Павлова, напечатанные в «Атенее». *Вельзевуф* — Вельзевул; в Новом завете — имя главы демонов. *Астарот* — демон, обитатель преисподней, провоцирующий нарушение социальной иерархии. *Болландисты* — сторонники иезуита Жана Болланда (Болландуса; наст. имя — Жульмон; 1596—1665). *Петр Пустынник* (XI в.) — Петр Амьенский, католический монах, вдохновитель и участник первого крестового похода (1096—1099); в начале 1830 годов русское общество познакомилось с итальянской оперой «Петр Пустынник». *...во время первого крестового похода...* — Первый Крестовый поход состоялся в 1096—1099 гг. *...прикинуться несколько раз сряду Димитрием...* — после убийства Лжедимитрия I в 1606 году тотчас (в 1607) объявился новый самозванец, Лжедимитрий II.

...года два тому назад я произвел прекрасную суматоху в Париже. — Намек на Июльскую революцию во Франции 1830 года. *...царь будет у них государем, а народ царем...* — ироническое объяснение существа июльской монархии во Франции. *Bene!* — хорошо! (лат.) *...безымянный народ, живущий при большом болоте, который с другим, весьма известным народом, живущим в болоте...* — имеется в виду Бельгия, которая в 1815—1830 годах входила в состав Нидерландского королевства. *...голландцы ночью подъехали под Брюссель...* — ироническое описание бельгийской революции 1830 года. *...из приболотного народа сделал особое приболотное царство...* — в 1830 году Бельгия стала самостоятельным государством. *...кто царь, а кто государь.* — Ироническое осмысление конституционной монархии в Бельгии (глава государства — король, а законодательная власть принадле-

жит парламенту). Gut! — Хорошо! (нем.). *...на сыпучих песках по обеим сторонам одной большой северной реки...* — имеется в виду Висла, река в Польше. *Барзо добже!* — Очень хорошо! (польск.). ...à posteriori — здесь: впоследствии, после того. *...произнесенных в Гамбахе...* — 27 мая 1832 года в деревне Гамбах состоялась политическая демонстрация, подготовленная либеральной немецкой буржуазией. Die deutsche Tribüne («Немецкая трибуна») — немецкая буржуазно-либеральная газета. Mein lieber Augustin («Мой милый Августин») — традиционная немецкая детская песенка. *Капуцин* — католический монах. ...guos ego!.. — *как говорит Виргилий...* — в поэме Вергилия «Энеида» Нептун обращается с угрозой «Я вас!» к ветрам, которые подняли бурю.

Фрауенгоферов телескоп — имеется в виду усовершенствованный способ изготовления линз, предложенный немецким физиком Йозефом Фраунгофером (1787—1826). *Лафайет Мари Жозеф* (1757—1834) — маркиз, французский политический деятель; во время Великой французской революции командовал Национальной гвардией, а затем перешел на сторону контрреволюции; во время Июльской революции 1830 года командовал национальной гвардией и способствовал вступлению на престол Луи Филиппа. *Наполеон II* (Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт; 1811—1832) — сын Наполеона I, никогда не правил, титуловался с 1818 года герцогом Рейхштадским. Rectum — седалище.
...à la Titus — здесь: подобно мужской прическе волос, коротко остриженных и приглаженных. *Антони* — возможно, герой трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра». *Роман Жюль Жанена, под названием: Барнав...* — роман «Барнав» французского писателя, фельетониста и театрального критика Жюля Жанена (1804—1874) вышел в 1831 году. *Родосский колосс* — одно из семи чудес света, по представлениям древних: статуя Гелиоса (бога солнца — греч. миф.) в Родосе (ок. 292—280 до н. э.).

О. Сомов. Киевские ведьмы. — Повесть появилась под псевдонимом «Порфирий Байский». Народное предание о ведьмах сочетается с темой вампиризма, весьма популярной в литературной фантастике того времени. Возможно, сюжет «Киевских ведьм» подсказал Пушкину сюжет баллады «Гусар» (1833).

Тарас Трясила (Трясило) — Тарас Федорович, украинский гетман, возглавил народное восстание против польских феодалов в 1630 году и нанес поражение коронному гетману Конецпольскому. *Брюховецкий И. М.* (?—1668) — гетман Левобережной Украины. *Инде* — здесь: тут же. *Крамарь* — мелкий лавочник.

В. Одоевский. Бал. — Рассказ напечатан за подписью «ь, ъ, й» (в оглавлении — «О.К.В.Ф», т. е. «Одоевский князь Владимир Федорович). Посвящен графине Аграфене Федоровне Закревской (1799—1879). Со

значительными изменениями рассказ вошел в «Ночь четвертую» («Русские ночи»), где посвящение было снято, а эпиграф был заменен другим — «Gaudium magnum nuntio vobis» («Великую радость возвещаю вам»), означающим формулу, которой в Риме объявляется об избрании папы. Рассказ встретил восторженный отзыв Белинского, а также был сопоставлен со стихотворением А. И. Одоевского «Бал», впервые опубликованным в альманахе «Северные цветы на 1831 год», где напечатан «Последний квартет Бетховена».

...вопль Анны...— имеется в виду ария донны Анны из второго действия оперы Моцарта «Дон Жуан» (1787); в дальнейшем упоминаются герои этой оперы. *...вот минута, когда Отелло...*— речь идет об опере итальянского композитора Джоаккино Россини (1792—1868) «Отелло» (1816).

Бригадир.— Напечатано за подписью «ь, ъ, й». Посвящено Ивану Сергеевичу Мальцеву (1807—1880), чиновнику Московского архива Министерства иностранных дел, первому секретарю русского посольства Персии (при Грибоедове), сотруднику «Московского вестника». Рассказ вошел (без посвящения) в цикл «Русские ночи» («Ночь четвертая»). Белинский писал: «Прочтите «Бригадира»: это история многих тысяч наших бригадиров,— история, к несчастию, всегда одинаковая».

Эпиграф — неточная цитата из «Эпитафии» (1803) И. И. Дмитриева; текст оригинала: «Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах. Вот жребий наш каков! Живи, живи, умри — и только что в газетах осталось: выехал в Ростов». *Калиостро Александр* (наст. имя: Джузеппе Бальзамо; 1743—1795)— итальянский авантюрист и мистик; с 1780 года несколько лет жил в России под именем графа Феникса и пользовался покровительством Потемкина. *...мое все со мною!*— Имеется в виду изречение, приписываемое греческому философу Бианту (VI в. до н. э.), но ставшее популярным благодаря Цицерону: «Omnia mea mecum porto» («Все мое ношу с собой»). *...как в жарких объятиях, обхватить и природу и человека...*— скрытая цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Молодость»: «Я схвачу природу в пламенных объятьях; я прижму природу к пламенному сердцу...»

«НОВОСЕЛЬЕ». Ч. 2. СПБ., 1834

В. Одоевский. Катя, или История воспитанницы — отрывок из романа, над которым писатель продолжал работать, но который остался незавершенным. В нем Одоевский проявил интерес к среднему классу общества, чья жизнь, по его мнению, «очень любопытна», хотя и не привлекла внимания, как он считал, современной ему литературы. Опубликовано за подписью «ь, ъ, й». Критика встретила произведение благожелательно. Рецензент «Молвы» писал: «Из всех прозаических статей «Новоселья» эта, неоспоримо, лучшая... Отрывок сей показывает в авторе и внимательную наблюдательность подробностей, и философический взгляд на целость жизни, и твердый навык в языке; все стихии, необходимые для романиста!»

...Гетевы слова о Гамлете... — имеется в виду следующее место из «Вильгельма Мейстера»: «Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишенное силы чувства, делающее героя, гибнет под бременем, которого он не мог ни снести, ни сбросить, всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжел». *...в ливреях, вышитых басоном...* — на ливреи нашивали шерстяную тесьму (басон). *Фурии* — здесь: балерины, представлявшие богинь мести. *Брянвилье* — Мария-Магдалена Бранвилье (1630—1679), маркиза, убила отца и братьев; история злодеяний и судебного процесса над ней опубликована в Париже в 1676 году. Она использована Э.-Т.-А. Гофманом в повести «Мадемуазель де Скюдери». *...сочинители Барнава и Саламандры...* — Жюль Жанен и Эжен Сю (1804—1857). *Вальтер Скотт* (1771—1832) — английский исторический романист. *...для замыслов каких-то непонятных...* — слова из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. 2, явл. 5). *...холодную нежность итальянской кавалетты...* — имеется в виду обязательная повторяемость музыкальной фразы в конце каватины или арии. *Аббат Леменне написал «Опыт о равнодушии в делах веры...»* — Фелисите Робер де Ламенне (1782—1854), французский публицист и религиозный философ, один из родоначальников христианского социализма; названное сочинение написано в 1817—1823 годах. *Прозелитизм* — горячая приверженность к чему-либо. *...копией Карло-Долчевой Цецилии...* — т. е. копией с картины итальянского художника Карло Дольчи (1616—1686), изображающей католическую святую Цецилию, считавшуюся покровительницей музыки.

В. Ушаков. Премьер-майор. — Рассказ принадлежит третьестепенному и плодовитому писателю Василию Аполлоновичу Ушакову (1789—1838). Ушаков был участником Отечественной войны 1812 года, сотрудничал во многих изданиях, состоял в знакомстве с Грибоедовым, А. С. Пушкиным, Н. Полевым, Булгариным, Гречем. Из его произведений известны «Киргиз-Кайсак», «Кот Бурмосеко», «Досуги инвалида». В основу рассказа положен исторический анекдот.

...1815 год будет долго памятен. — В 1815 году завершилась эпоха наполеоновских войн, потрясавших Европу. *...новое появление Наполеона* — имеется в виду период «100 дней», когда Наполеон снова захватил власть. *...министра Г. Т.* — возможно, речь идет о Д. П. Трощинском (1754—1829), государственном деятеле.

...кодекс Наполеона... — имеется в виду Французский национальный кодекс 1804 года. *...при герое Задунайском!* — т. е. при русском полководце генерал-фельдмаршале П. А. Румянцеве-Задунайском (1725—1796). *Завадовский П. В.* (1739—1812) — граф, русский государственный деятель. *Безбородко А. А.* (1747—1799) — светлейший князь, русский государственный деятель и дипломат. *Сегюр* — вероятно, имеется в виду граф Луи-Филипп де Сегюр (1753—1830), писатель и государственный деятель,

французский посол в Петербурге. ...*принц Евгений*...— вероятно, Евгений Савойский (1663—1736), знаменитый генерал.

Тюрень — возможно, Анри де Ла Тур д'Овернь Тюренн (1611—1675), маршал Франции.

«АЛЬМАНАХ НА 1838 ГОД...» СПБ., 1838

И. Панаев. Кошелек.— Повесть И. И. Панаева (1812—1862)— русского беллетриста, публициста, автора пародий — не включалась в прижизненные издания сочинений. При своем появлении она встретила сочувственный отзыв Белинского.

Эпиграф — из поэмы Пушкина «Домик в Коломне» (строфа XVII). ...*грезовскую головку*...— имеются в виду сентиментальные и несколько слащавые изображения на картинах французского живописца Жана Батиста Греза (1725—1805). *Гетева Маргарита* — героиня «Фауста» Гете гадает на ромашке («Фауст», ч. 1, «Сад»). *«Роберт-Дьявол»* (1830)— опера композитора Джакомо Мейербера (наст. имя: Якоб Либман Бер; 1791—1864). *«Михайла Скопин-Шуйский»*— имеется в виду драма Н. В. Кукольника (1809—1868) «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1834).

Эпиграф ко второй главе — из «Домика в Коломне« Пушкина (строфа XVIII). «Я услаждала б жребий твой...» и сл.— цитата из поэмы Пушкина «Кавказский пленник». ...*Теклою Шиллера*...— имеется в виду Тэкла (принцесса Фридландская), героиня драматической трилогии Ф. Шиллера «Валленштейн» (1798—1799). ...*Юлией Шекспира*...— имеется в виду Джульетта, героиня трагедии «Ромео и Джульетта» (1597; в русских переводах —«Ромео и Юлия»). *Транспарант* — лист с чертами для строк, подкладываемый при письме. ...*семилеровая* — т. е. имитирующая золото и состоящая из сплава меди с цинком. ...*бергамотовый* — выделанный из груши; бергамот — род грушевого дерева. *Саладин* — персонаж романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1820). *Ребекка* — персонаж романа В. Скотта «Ричард Львиное Сердце» (1825). *Елизавета Английская* — персонаж романа В. Скотта «Кенильворт» (1821). ...*цвета Аделаиды*...— по-видимому, пурпурно-лиловый, по вкусу знаменитой гетеры Аделаиды. *Фермуар* — нарядная застежка. *Солитер* — крупный бриллиант. *Роббер* — карточная игра. *О Шиллере, о славе, о любви*.— Слова из стихотворения Пушкина «19 октября» (1825). *Ричардсон Сэмюэл* (1689—1761)— английский писатель. *«Новая Элоиза»*—«Юлия, или Новая Элоиза» (1761), роман Ж.-Ж. Руссо. *«Вертер»*—«Страдания молодого Вертера» (1774), роман Гете. *Дарленкур Шарль Виктор Прево* (1789—1856)— французский писатель, автор сентиментальных романов. *Поль де Кок Шарль* (1794—1871)— французский романист.

Эпиграф к шестой главе — из стихотворения русского поэта и переводчика Э. И. Губера (1814—1847) «Могила матери» (1835).

«ОДЕССКИЙ АЛЬМАНАХ НА 1840 ГОД». ОДЕССА, 1839

А. Вельтман. Костешские скалы.— Рассказ написан в характерном для талантливого русского писателя А. Ф. Вельтмана (1800—1870) народном духе. Белинский в рецензии на «Одесский альманах» среди других произведений отметил «Костешские скалы» («...с удовольствием прочтете повесть г. Вельтмана»).

Бостон — карточная игра. *Громада* — множество людей; большое общество. *Армидин сад* — выражение в значении «великолепный, цветущий, благоухающий сад» происходит от волшебных «армидиных садов» в поэме «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).

«УТРЕННЯЯ ЗАРЯ. АЛЬМАНАХ НА 1841 ГОД...» СПБ., 1841

Е. Гребенка. Кулик.— Повесть украинского и русского писателя Е. П. Гребенки (1812—1848) вызвала положительные оценки при своем появлении. Белинский в рецензии на альманах «Утренняя заря» писал: «Кулик»— повесть г. Гребенки — показывает, что замечательное дарование этого автора крепнет и что гуманистическое начало начинает в его повестях брать верх над комическим элементом».

Эпиграф ко второй главе — из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. IV, явл. 13). *Афронт* — отказ. *...увертюры из «Калифа багдадского» и «Двух слепцов».*— Имеются в виду увертюры к операм «Калиф Багдадский» (муз. Ф.-Л. Беальдье) и «Двое слепых в Толедо» (муз. Э.-Н. Мэгюля). *«Природа и любовь» Лафонтена* — произведение немецкого писателя Августа Генриха Юлия Лафонтена (1759—1831).
«Алексис, или Дом в лесу» Дюкре-Дюмениля — популярный роман французского писателя Франсуа-Гильома Дюкре-Дюмениля (1761—1819).

СОДЕРЖАНИЕ

«Одесский альманах на 1840 год»

«Утренняя заря. Альманах на 1841 год...»

РУССКИЕ АЛЬМАНАХИ

Страницы прозы

Составитель **Коровин Валентин Иванович**

Редактор **В. Я. Дольников**
Художественный редактор **А. Ю. Никулин**
Технический редактор **В. М. Котова**
Корректор **Т. М. Воротникова**

ИБ № 4979

Сдано в набор 23.03.88. Подписано к печати 10.02.89. Формат 84×108/32. Гарнитура Акад. Печать офс. Бумага тип. № 1. Усл. кр.-отт. 59,22. Усл. печ. л. 29,4. Уч.-изд. л. 33,15. Тираж 100 000 экз. Заказ 394. Цена 3 руб.

Набрано на полиграфическом производственном объединении «Офсет» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Волгоградского облисполкома
400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6

Отпечатано с готовых диапозитивов на полиграфическом предприятии «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30